

V&R unipress

© V&R unipress GmbH, Göttingen

Irina Podtergera (Hg.)

Schnittpunkt Slavistik

Ost und West im wissenschaftlichen Dialog

Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag
Teil 2: Einflussforschung

Mit 17 Abbildungen

V&R unipress

Bonn University Press

© V&R unipress GmbH, Göttingen



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-89971-972-7

**Veröffentlichungen der Bonn University Press
erscheinen im Verlag V&R unipress GmbH.**

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung durch das Rektorat sowie das Dekanat der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, die Alexander von Humboldt-Stiftung und den Privatfonds Schulze-Thiergen.

© 2012, V&R unipress in Göttingen / www.vr-unipress.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.

Printed in Germany.

Titelbild: Vjačeslav Kryžanovskij

Druck und Bindung: CPI Buch Bücher.de GmbH, Birkach

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Inhalt

1. Texte im Kontakt

- Maria Christina Bragone
В лаборатории Й. В. Пауса-переводчика: Черновой и белой
варианты его перевода трактата Эразма Роттердамского
«De civilitate morum puerilium» 11
- Yannis Kakridis
Die Wiener Fragmente von Palamas' Zweitem *Logos apodeiktikos*:
Ein Blick in die Übersetzungsvorlage von Dečani 88? 31
- Michael Moser
Deutsche Klassik auf Galizisch-Ruthenisch – Schillers *Bürgerschaft*
in Josyf Levyc'kyjs Übersetzung aus dem Jahr 1841 41
- Ulrich Schweier
Kognitive Linguistik, *formulaic language* und linguistische
Intertextualitätsforschung: die ›Autorität der kanonischen Bücher‹ 71
- Neil Stewart
Commemoration and Identity in Paris and Moscow: The Pushkin
Celebrations of 1937 and the *Odnodnevnyaya Gazeta Pushkin* 89
- Peter Thiergen
Rötscher – Katkov – Belinskij. Streiflicht zu einer ›Translatio‹ 107
- Alan Timberlake
Language and The First (Slavic) Life of Wenceslaus 123

Boris Uspenskij Иларион Киевский и Псевдо-Исихий Иерусалимский (Неизвестная греческая параллель к Похвальному слову Илариона князю Владимиру)	139
--	-----

Giorgio Ziffer Il margravio Kocel' e la <i>Vita Constantini</i>	145
--	-----

2. Sprachen im Kontakt

Amir Kapetanović Kako se prevodio s hrvatskoga na srpski koncem 18. i početkom 19. stoljeća	159
---	-----

Heinrich P. Kelz, Irena Vassileva Sprachenwahl und Sprachenwechsel in den Spannungsfeldern von Migration und Kolonisation	173
---	-----

István Nyomárkay Mundarten und sprachliches Weltbild	187
---	-----

Achim Rabus Überlagerung vertikaler und horizontaler Einflüsse? Der Einfluss des Kirchenslavischen und Polnischen auf das Russische	195
--	-----

Sabine Riedel Die Slavia im Spannungsfeld zwischen europäischer Integration und nationaler Selbstbestimmung	211
---	-----

Erich Trapp Zu den slavischen Wörtern im byzantinischen Schrifttum	235
---	-----

Mateo Žagar Strategija leksičkog odabiranja u <i>Misalu bruackom</i> Šimuna Kožičića Benje (1531)	251
---	-----

3. Kulturen im Kontakt

Irena Avsenik Nabergoj Temptation and Abduction in Epic Poems and Short Narratives from Antiquity, the Middle Ages and Modernen Times: Intertextuality and the Slovenian Motif of Fair Vida	263
--	-----

Tomislav Bogdan	
Urbana kultura i postanak ljubavne lirike u Dubrovniku	277
Dagmar Christians	
Byzantinische Seefahrtsmetaphern in slavischer Übertragung	289
Sebastian Kempgen	
Zwei Anmerkungen zu Afanasij Nikitins <i>Reise über drei Meere</i>	313
Fred Otten	
»Geh zum Henker, (du) Satan!«	325
Johannes Reinhart	
Wie alt ist die altkroatische Übersetzung der <i>Regula Benedicti</i> ?	347
Barbara Schellewald	
Rhetorik um 1200: Die Ausmalung der Kirche von Kintsvisi (Georgien) und Byzanz	363
Vittorio S. Tomelleri	
Überlegungen zum Novgoroder »Humanismus«	383
Radoslav Večerka	
Anmerkungen zu so genannten Moravismen im Altkirchenslavischen ..	405

1. Texte im Kontakt

Maria Cristina Bragone

В лаборатории И. В. Пауса-переводчика: черновой и белой варианты его перевода трактата Эразма Роттердамского «De civilitate morum puerilium»

Одним из самых известных сочинений, содержащих этикетные наставления для детей, несомненно является трактат Эразма Роттердамского «De civilitate morum puerilium», опубликованный в 1530 г. в Базеле и пользовавшийся после своего появления большим распространением и успехом, особенно в странах Северной и Центральной Европы, как свидетельствуют его многочисленные переиздания, переработки и переводы, появившиеся в течение последующих лет.¹

В семи главах² спокойным и дружеским тоном, не предвещающим наказаний, опираясь на источники, восходящие к античности и средневековью, а также на современные ему сочинения эпохи Возрождения (БЬЕРЛЕР 1999: 18–20), Эразм излагает основы *civilitas morum*, т. е. необходимые этикетные нормы для правильного поведения в обществе в различные моменты жизни и в различных ситуациях, в которых дети могут оказаться. *Civilitas morum* была для Эразма существенной составной частью его воспитательной программы, которая в том числе предусматривала знание этикета.³

Несмотря на то что «De civilitate morum puerilium» был посвящен мальчику из дворянской семьи, а именно, одиннадцатилетнему Генриху

1 Так, в 1531 г. трактат был переведен на немецкий язык, в 1532 г. на английский, в 1537 г. на французский и чешский и т. д. (БРЮГЕМАНН/БРУНКЕН 1987: 651–652). Для общего представления о трактате, его изданиях, переработках и т. д. см.: *БиблЭр* 1893/1961; ФОНТЕН ДЕ ЛА ВЕРВЕЙ 1971; БЬЕРЛЕР 1978, 1999; БРЮГЕМАНН/БРУНКЕН 1987; РЕВЕЛЬ 2001.

2 «De civilitate morum puerilium» включает следующие главы: «De corpore», «De cultu», «De moribus in templo», «De convivii», «De congressibus», «De lusu», «De cubiculo».

3 «Munus autem formandi pueritiam multis constat partibus, quarum sicuti prima ita praecipua est, vt tenellus animus imbibat pietatis seminaria, proxima, vt liberales disciplinas et amet et perdiscat, tertia est, vt ad vitae officia instruat, quarta est, vt a primis statim xui rudimentis ciuilitati morum assuescat» (ЭР 1999: 28; 2004: 30).

Бургундскому,⁴ сыну Адольфа Бургундского и внуку Анны ван Борсселе, покровительницы Эразма, в действительности трактат обращался ко всем детям,⁵ в том числе из недворянских семей. Это отличает произведения Эразма от предшествующих ему сочинений подобного содержания, которые предназначались или одновременно как для взрослых, так и для детей, или, если только для детей, то только для детей дворянского происхождения (РЕВЕЛЬ 2001: 129–130).

Данное обстоятельство несомненно сыграло свою роль в широком распространении трактата. Этому способствовало также его использование в школах в качестве пособия по этикету, а одновременно и как учебника для чтения и упражнения по латинскому языку (БЪЕРЛЕР 1978: 243–244; 1999: 21–22).

Трактат Эразма Роттердамского пользовался успехом также и в России. По всей вероятности, не раньше второй половины 60-х годов XVII века он был переведён известным книжником Епифанием Славинецким на славянский язык (АЛЕКСЕЕВ 1958: 293). Как было установлено исследователями, перевод осуществлялся с польской версии текста, которая, в свою очередь, представляла собой перевод латинско-немецкой переработки трактата в форме вопросов и ответов. Эта переработка, также пользовавшаяся большой популярностью, была составлена теологом и педагогом Рейнхардом Лорихом (Reinhardus Lorichius Hadamarius) в 1537 г. для магдебургской школы. Польский же перевод, озаглавленный «Dworstwo obuczajów dobrych», сделал Себастьян Клёнович, известный польский писатель и переводчик (ЧИСЛЕНКО 1978: 13; БРЮГЕМАНН/БРУНКЕН 1987: 650–651).⁶

Московский перевод «De civilitate morum puerilium», анонимно распространявшийся в списках, был озаглавлен «Гражданство нравов благих» или «Гражданство обычаев детских». Этот перевод помещен, например, в рукописном букваре «Алфавитар ради учения малых детей», составленном, вероятно, книжником-грекофилом Евфимием Чудовским или его московскими единомышленниками не раньше 1685 г. (ПОДТЕРГЕ-

4 На самом деле в первом издании трактата (март 1530 г.) имя Генриха Бургундского не упоминается. Оно появляется во втором издании, вышедшем в свет в августе 1530 г. (БЪЕРЛЕР 1999: 13, ЭР 2004: 28 прим. 1).

5 «[...] aut quod omnia quæ præscribimus ad te pertineant et e principibus et principatui natum; sed vt libentius hæc ediscant omnes pueri, quod amplissimæ fortunæ summæque spei pueri dicata sint. Nec enim mediocre calcar addet vniuersæ publi, si conspexerint heroum liberos a primis statim annis dicari studiis et in eodem cum ipsis stadio currere» (ЭР 1999: 28; 2004: 28, 30).

6 Известны несколько изданий данного перевода: одно восходит к концу XVI – началу XVII в., другое – к первой четверти XVII в., третье – к 1674 г. (ЛЕВИЦКАЯ-КАМИНСКАЯ 1971: 108).

РА 2009: 279–282, 2010: 75–76). Перевод Епифания мы находим также в рукописном сборнике сочинений известного поэта Кариона Истомина.⁷

Свидетельством продолжительного успеха и авторитета, которыми пользовался трактат Эразма Роттердамского в России, являются его переводы, сделанные на протяжении XVIII в.: перевод Иоганна Вернера Пауса, выполненный в начале столетия и сохранившийся в рукописном виде, и перевод учителя и переводчика Александра Мельгунова, опубликованный в 1788 г. (АЛЕКСЕЕВ 1958: 325–328, РЕВУНЕНКОВА 1991: 139–141, БРАГОНЕ 2006).⁸

Перевод Пауса – предмет исследования в данной статье – не получил такого распространения, как перевод Епифания Славинецкого. Об успехе перевода Епифания свидетельствует не только вышеупомянутое включение его в списки «Алфавитара ради учения малых детей», но и наличие данного перевода в многочисленных сборниках, восходящих к концу XVII и к началу XVIII веков (НИКОЛАЕВ 2008: 196–199). В отличие от перевода Епифания перевод Пауса известен только в двух списках: черновом и беловом. Оба списка, форматом в четвертую долю листа, представляют собой автограф Пауса. Они хранятся в Отделе рукописей Библиотеки Академии наук в Санкт-Петербурге.⁹

Несмотря на эту «безызвестность» перевода Пауса, обращает внимание общность отдельных частей его текста с известным анонимным пособием по этикету «Юности честное зерцало», которое вышло в свет в

7 Включение трактата Эразма в «Алфавитарь ради учения малых детей» объясняется особым характером этого букваря. Он отличается от традиционных учебников своим богатым содержанием, включающим, например, обширную грамматическую и религиозную части (об «Алфавитаре» см. подробно в: БРАГОНЕ 2008).

Сборник сочинений Кариона Истомина (ГИМ, собр. Уварова № 73) содержит наряду с «Гражданство[м] нравовъ благихъ» «Букварь Славено-Россійскихъ писменъ» 1694 г., поэму «Эдемъ», так называемую «Похвалу розге» («Розгою Духъ Святыи дѣти бити велить [...]») и др. тексты (описание рукописи см. в: ЛЕОНИД 1894: 499–501).

8 Перевод Александра Мельгунова, озаглавленный «Еразма Ротердамскаго Молодымъ дѣтямъ наука какъ должно себя вести и обходиться съ другими», был сделан с латинского языка для учеников московской Славяно-греко-латинской академии. По мнению РЕВУНЕНКОВОЙ (1991: 140), Мельгунов использовал фрайбургское издание трактата Эразма 1530 г. Перевод Мельгунова вышел в 1788 г. в двух изданиях, первое из которых было на русском языке, а второе на латинском и русском языках. В обоих изданиях за переводом трактата Эразма следует перевод трактата «Introductio ad sapientiam», автором которого был известный гуманист Хуан Луис Вивес, приятель Эразма Роттердамского (СК 1966: 441).

9 БАН 26.3.1.10 (черновик), БАН 26.3.1.11 (беловик). См.: ПЕРЕТЦ 1902: Ч. 2, Приложения, 97–98.

Петербурге в 1717 г. и впоследствии многократно переиздавалось.¹⁰ В этой связи исследователи высказывали предположение, что Паус был автором данного пособия или, по крайней мере, одним из его авторов (ПЕРЕТЦ 1902: 165–170, 230–231, БЫКОВА/ГУРЕВИЧ 1958: 349).¹¹

Перевод «*De civilitate morum puerilium*» относится к периоду пребывания Пауса в Москве в школе пастора Глюка, где он преподавал разные предметы и в 1705 г., после смерти самого Глюка,¹² кратковременно занимал место ректора школы. Вероятно именно в это время, около 1705 года, согласно ПЕРЕТЦУ, Паус начинает заниматься переводами. В 1706 г. из-за несогласий в отношении с учениками и коллегами он вынужден был уйти из школы. В дальнейшем он посвятил себя преимущественно переводческой деятельности и стихотворству; в 1724 г. он был зачислен в переводчики Академии наук.¹³

Итак, перевод «*De civilitate morum puerilium*» Паус осуществил в период своего преподавания в школе Глюка. Логично предположить, что необходимость перевода была продиктована стремлением учителя снабдить своих учеников авторитетным педагогическим пособием, подобным сочинениям Яна Амоса Коменского «*Orbis pictus*» и «*Vestibulum linguae latinae*», которые в этой школе использовались в качестве учебников (ПЕРЕТЦ 1902: 156, 159; ЧУМА 1970: 28–30). В этой связи следует напомнить об успехе, которым трактат Эразма как сборник этикетных норм и как учебник для тренировки знаний по латинскому языку пользовался в школьной практике различных европейских стран. Можно

10 В период с 1717 по 1723 гг. это сочинение издавалось четыре раза; кроме того, известны издания 1740, 1742, 1745 и 1767 гг. (СК 1966: 452–453).

11 Его полное заглавие – «Юности честное зеркало, или показаніе къ житейскому обхожденію». За ним следует уточнение: «собранное отъ разныхъ авторовъ». Надо добавить, что в рукописном наследии Пауса числится перевод, озаглавленный «Книги о воспитаніи дщерей», возможным источником которого, как нам удалось установить, является вышедший в 1698 г. немецкий перевод трактата Фенелона «*De l'éducation des filles*» (см. БРАГОНЕ 2012). В тексте предлагаются указания и советы о том, как следует воспитывать девочек и как они должны вести себя в обществе (БАН 26.3.1.20). Трактат «Юности честное зеркало» включает в себя отдельную часть, посвященную достойному поведению девушек. В будущем исследователи непременно должны заняться выявлением возможных интертекстуальных связей между «Книгой о воспитаніи дщерей» и той частью в «Юности честном зеркале», которая касается воспитания девушек.

12 Подробнее о жизни и деятельности пастора Глюка см.: ПЕРЕТЦ 1902: 71–141, МОИСЕЕВА 1988.

13 Иоганн Вернер Паус родился в 1670 г. в Зальце в Саксонии и учился в разных немецких городах, в том числе в Галле. В 1702 г. он приехал в Москву. Умер в Петербурге в 1735 г. Биографию Пауса и обзор его деятельности можно найти в: ПЕРЕТЦ 1902: 142–254, КОВРИГИНА 1998: 313–332, МОИСЕЕВА 1999.

предположить, что Паус ориентировался именно на эту практику, когда приступал к новому переводу трактата для учеников школы Глюка.

Кроме того, Перетц выдвигает предположение, что Паус взялся за этот перевод «для себя», т. е. для того чтобы поупражняться в русском языке, которым он, только что приехавший в Россию, мог еще не владеть достаточно хорошо (ПЕРЕТЦ 1902: 231).¹⁴

Что касается источника, которым пользовался Паус, исследователи считают таковым вышедшее в 1678 г. в Гамбурге латинско-немецкое издание трактата Эразма «Liber aureus» (БЫКОВА/ГУРЕВИЧ 1958: 349, РЕВУНЕНКОВА 1991: 139).

Обратимся к спискам перевода Пауса и сопоставим их с оригиналом, т. е. с обозначенным немецким изданием.

Титульный лист немецкого издания –¹⁵

LIBER AUREUS ERASMI ROTERODAMI, DE CIVILITATE MORUM PUERILIIUM. Das ist: Ein Gölndenes Büchlein Des Erasmi Roterodami / Von Höfligkeit der Sitten und Gebärden der blühenden Jugend / Jetzo mit Fleiss ins Teutsche zu Nutz derselben transvertiret und übersetzet. LIPSLÆ, Imprensis MAURITII GEORG. WEIDMANNI, Typis CHRISTOPHORI FLEISCHERI, Anno MDCLXXXV.

Черновик перевода – **Златая Книжица Е.Р. ѡ гоженій нравъ, ѡ ли ѡ бл҃гочинномъ движеніи тѣла цвѣтѣюща младости** (2r) – включает 21 лист.¹⁶ Под «Е. Р.» подразумевается Эразм Роттердамский. На полях, рядом с заглавием, помещена запись «Erasmi de Civilit: morum».¹⁷

Беловой вариант перевода составляет всего лишь 4 листа. Его заглавие помещено на обложке рукописи: **Книжица Е.Р. златая нареченна, ѡ гоженій нравъ или ѡ бл҃гочинномъ движеніи тѣла цвѣтѣюща** ({8} < я) **младости** (1r).

14 В описании сочинений Пауса ПЕРЕТЦ (1902: Ч. 2, Приложения, С. 97–98) включил перевод «De civilitate morum puerilium» в раздел «Философия, педагогика и мораль». В другом описании рукописей Пауса этот перевод отнесен к политической литературе (МУРЗАНОВА et al. 1956: 209).

15 Для настоящей статьи было использовано лейпцигское издание 1685 г.

16 На обложке черновика помещены две записи: (1) **Златая книжица [sic'] Ерасма Р ѡ цвѣтѣущем младости** и (2) **Павзе**.

17 В составленном ПЕРЕТЦОМ (1902: Ч. 2, Приложения, С. 97) описании перевода, «Е.» истолковывается как «Е[вангелическая]», а для «Р.» не предлагается никакого объяснения.

18 Данный комментарий в круглых скобках здесь и далее во всем тексте следует понимать как буква 8 написана поверх буквы я. Поскольку квадратные скобки используются в рукописи Пауса, восстановленные буквы и слова, а также предпринятые нами реконструкции мы будем давать в угловых – < > – скобках. Многооточие в квадратных скобках – [...] – указывает на выпуск отдельных фраз в цитате. Издательские комментарии мы помещаем в круглые скобки.

Сопоставим содержание «Liber aureus» с черновым и беловым вариантом перевода Пауса:¹⁹

<i>Liber aureus</i>	Черновик перевода	Беловик перевода
Посвящение (A2r–A4r)	Прѣнсловіє (<i>in marg.</i>) – частичный перевод посвящения (2r)	Прѣнсловіє – частичный перевод посвящения (2r)
	Сар. I. De civilitate <in> genere (<i>in marg.</i>), частичный перевод посвящения (2r–v)	Глава ѧ. Ѡ гоженіи нравъ во обще [<i>sic!</i>] частичный перевод посвящения (2r–v)
De corpore (A4v–B8v) ²⁰	Сар. II. de Capite ejusque membris (<i>in marg.</i> ; 2v–8r)	Глава бѣ. Ѡ головѣ ѡ ѡдахъ ея (2v–4v)
DE CULTU. Von Zierrath oder Geschmuck des Leibes (B8v–C3r)	Ѡ стварѣ (<i>supra lin.</i> : ѡдѣяніи) или ѡкраженіи (ж: <i>supra lin.</i> ш) тѣла De Cultu corporis (<i>in marg.</i> ; 8r–9r)	
DE MORIBUS in Templo. Von den Sitten oder Gebården in der Kirchen (C3r–C6r)	Ѡ нравѣ ѡ стояніи тѣла въ цркви De Moribus in templo (<i>in marg.</i> ; 9r–10r)	
DE CONVIVIIS. Von den Gastereyen / Pancketen / oder Mahlzeiten (C6r–E4v)	Ѡ сопишестствѣ (10r–15v)	
DE CONGRESSIBUS. Von den Zusammenkunfften (E4v–F2v)	Ѡ сошествїяхъ (16r–18r)	
DE LUSU. Vom Spiel (F2v–F3v)	Ѡ играніи (18r–v)	
DE CUBICULO. Von der Schlaffkammer	Ѡ спальной комнатѣ	
Заключительная часть с обращением к Генриху Бургундскому и указанием на место и время, когда Эразм окончил свой труд, т. е. Фрайбург в Брайсгау, в марте 1530 г. (F3v–F6r)	Окончание (18v–20r)	

19 Латинский и немецкий тексты помещены на каждой странице в параллельных столбцах.

20 В издании трактата Эразма, использованном в настоящей статье, наименования этой главы нет. В издании 1530 г. имеется заглавие «De corpore».

Из приведённой таблицы видно, что перевод всех глав «Liber aureus» имеется только в черновике. Беловик прерывается примерно на половине второй главы.

Посвящение и в черновике, и в беловике приводится только частично. Ссылки на первоначального адресата трактата, Генриха Бургундского, в переводе Пауса полностью удалены. В переводе посвящения, например, нет первой части, в которой Эразм обращается непосредственно к своему юному читателю.²¹ Подобным образом в черновике, в переводе заключительной части, вычеркиваются имя Генриха и указания на место и время окончания работы над трактатом:

Hoc quicquid est muneris Henrice, fili charissime, universo puerorum sodalities, per te donatum esse, volui [...] Præclaram indolem tuam JESU benignitas servare dignetur, semperque in melius provehere. Datum apud Friburgum Brisgoiæ, Mense Martio, ANNO MDXXX.

Dieses geringe Geschenck / wie es denn auch an ihm selber ist / mein Henrice / liebster Sohn / habe ich allen und ieden jungen Knaben unter deinem Nahmen verehren wollen [...] Des HERRN Jesu Christi Güte wolle deine Herrlichkeit und fürtreffliche angebohrne gute Zuneigung gnädiglich bewahren / und allewege zum besten befördern. Gegeben bey Freyburg in Brissgow / im Mertz Monden / des 1530. Jahres (F5v–F6r).

Силъ малымъ ѿ тонкимъ ($\{и\} < о$) **подѣкомъ, такъ ѿ в севѣ есть, любезнои** ~~Сн~~
~~ри~~^[222] ~~е~~ ~~сн~~^[222]²² **моѿ всякихъ юношъ** (*corr. prius*: юношовъ) **ѿ отроковъ подѣ**
именемъ твоимъ почитати ѿ украсити хотѣлъ [...] **Гдѣ Іиса Хрѣта бл҃гость да**
величѣ славу твою ѿ ирядню природное твое приклоненіе бл҃годатнѣ сохранити ѿ
всегда во бл҃го поспѣвати [*поспѣшествовати*] (19v–20r).

Текст Эразма, таким образом, свободен от всякой исторической и фактической привязки, которая могла оказаться непонятной ученикам шко-

21 «ERASMUS ROTERODAMUS Generoso cumprimis & optimæ spei puero Henrico à Burgundia, Adolphi Principis Veriani filio [...] Itaque quemadmodum pridem ad Maximiliani, fratris tui, primam adolescentiam me accomodavi, dum adolescentulorum forma lingvæ: ita nunc, Heinricè svavissime, me ad tuam attempero, pueritiam [...]» – «Erasmus Roterodamus wünschet Dem Edlen und tapffern Knaben / Heinrichen von Burgunden / des Fürsten Adolphi zu Verian Sohne / auf dem fürnehmlich grosse Hoffnung stehet / viel Glück / Heil und Wolfarth [...] Derentwegen / gleich wie ich mich zuvorn deines Brudern Maximiliani ersten Jugend beqvemet haben / weil ich der Jungen Gesellen Sprache einrichte / also verhalte ich mich auch / mein lieber Henrice / ietzo gegen deiner Kindheit [...]» (A2r–v).

22 Обильное зачёркивание в тексте рукописи не позволяет разобрать отдельные буквы. Не поддающиеся прочтению части слов мы обозначаем с помощью вопросительных знаков, заключённых в квадратные скобки.

лы пастора Глюка. Тем самым текст приобретает более «универсальное» значение.

Что касается черновика, от самого начала перевода и до главы **Щ нрава ѿ стояній тѣла въ цркви** (2r–9r) на полях помещается значительное число маргинальных записей, по большей части на латинском языке. Они передают названия глав или с помощью ключевых слов фиксируют темы, о которых идёт речь в соответствующей части текста. Исправления отдельных слов или частей слов делаются на полях или же в самом тексте. Остальная часть черновика не содержит многочисленных исправлений, ни в тексте, ни на полях; заглавия помещаются в ней внутри текста. В беловике маргинальные пометы практически отсутствуют, а исправления в тексте встречаются лишь изредка.

Далее мы приводим несколько отрывков из черновой и беловой версии перевода Пауса и сравниваем их с латинским и немецким оригиналами:

(1.)

Quaquam autem extremum illud corporis decorum ab animo bene composito proficiscitur, tamen incuriâ præceptorum nonnunquam fieri videmus, ut hanc interim gratiam in probis & eruditis hominibus desideremus. Nec inficior, hanc esse crassissimam philosophiæ partem, sed ea, ut sunt hodiè mortalium judicia plurimum conducit, & ad conciliandam benevolentiam, & ad præclaras illas animi dotes oculis commendandas. Decet autem ut homo totus sit compositus animo, corpore, gestibus ac vestitu, sed inprimis pueros decet omnis modestia, & in his præcipuè nobiles.

Wiewol aber die eusserste Zier des Leibes von einem wohlgeschickten Gemüthe herfleust / dennoch sehen und erfahren wir / dass bissweilen aus Unachtsamkeit der Zuchtmeister es sich begiebt / dass wir an dieser Tugend oder Geschicklichkeit auch an gelehrten Leuten mangel spüren. Ich leugne es auch nicht / dass dieses der begreiflichste Theil der Weltweissheit sey / aber wie heute zu Tage die Leute urtheilen oder schliessen / nützt doch am meisten / erstlich dass man sich die Leute geneigt und günstig mache. Zum andern / dass man die herrlichen Gaben des Gemüths den Leuten für die Augen stelle. Es geziemet sich aber / dass der Mensch überall geschickt sey am Gemüthe / am Leibe / an Gebården / in Kleidung / aber insonderheit stehet es den Knaben wohl an / dass sie fein züchtig seyn / und in diesen voraus den Edelen (A3v–A4r).

Черновик

Хотя ꙗко внѣшная (*supra lin.*: нарѡжная) ѡгодность (*supra lin.*: ѿ бл҃годвиженіе) тѣла ѿ (*in marg.*: unde civilitas) бл҃городнаго ѡма **н҃текаетъ**²³ (*in marg.*:

23 Все подчёркивания в приводимых цитатах аутентичны: они принадлежат Паусу. Поэтому мы сохранили их при передаче текста.

- прои́ходитъ), а токми видимъ, такъ малораденіемъ дѣтѣоучителейъ сдѣчается, что ѿ вѣдѣннѣхъ (*in marg.*: добрыѣ) ѿ ѣченнѣннѣхъ людехъ сѣе бл҃годожденіе не изгавитсѣ (*supra* -итсѣ: лѣетсѣ). Такожде не запыраюсѣ (*supra lin.*: ѡрекаю), такъ сѣя часть естѣ толстѣннѣшѣя (*in marg.*: дебелиннѣшѣя) лювомиѣдрѣя ({я} < ю), а по рассѣжденію нынѣшннѣхъ людеѣ, множайшѣ ползѣетъ, первѣ (*in marg.*: usus civilitatis) чѣв, чтовы кто людеѣ сѣе бл҃говолннѣ ѿ хѣтннѣ сотворилъ, потомже чтовы кто бл҃гая дарованія ѣма своегѣ людемъ прѣ очами (*supra* -ми: пр[??]) поставилъ (*supra* -ставилъ: казалъ). ~~Она~~ ~~не~~ ~~подобателно~~ (*sub lin.*: чѣво) естѣ всемѣ человекѣмъ (*sub lin.*: toti homini) по ѣмѣ, тѣлѣ, нравамъ, платіямъ: особливѣ [*sic!*] же пристѣоно естѣ отрокамъ, наипаче же бл҃городннѣмъ (*sub lin.*: ѿшаннѣцамъ), быти стыдливннѣмъ. (2r-v)

Беловик

- Хотя чѣв нарѣжная ѣгоностъ ѿ бл҃годвиженіе тѣла ѿ бл҃городнагѣ чѣма ѿтекаетъ, а токми видимъ, такъ малораденіемъ дѣтѣоучителейъ сдѣчается, что ѿ вѣ добрыхъ ѿ ѣченнѣннѣхъ людехъ сѣе бл҃годожденіе не ѿваляется. Такожде не ѡрекаю, такъ сѣя часть естѣ дебелиннѣшѣя лювомиѣдрѣю, а по рассѣжденію нынѣшннѣхъ людеѣ множайшѣ ползѣетъ: первѣ чѣв, чтовы кто людеѣ сѣе бл҃говолннѣ ѿ хѣтннѣ сотворилъ, по сѣмъ же чтовы кто бл҃гая дарованія ѣма своегѣ людемъ прѣ очами поставилъ. Подобателно чѣво естѣ всемѣ чѣвкѣ по чѣмѣ, тѣлѣ, нравамъ, платіямъ, особливѣ же пристѣоно естѣ отрокамъ, наипаче бл҃городннѣмъ быти стыдливннѣмъ. (2r).

(2.)

Ut ergo benè compositus pueri animus undiqve reluceat (reluet autem potissimum in vultu) sint oculi placidi, verecundi, compositi, non torvi, qvod est truculentia: non improbi, qvod est impudentia: non vagi ac volubiles, qvod est insania: non limi, qvod est suspiciosorum, & insidias molientium, nec immodicè ducti, qvod est stolidorum: nec subindè conniventibus genis ac palpebris, qvod est inconstantium: Nec stupentes, qvod est attonitorum [...]. Picturæ quidem veteres nobis loqvuntur, olim singularis cujusdam modestiæ fuisse, semiclusis oculis obtueri, quemadmodum apud Hispanos quosdam, semipœtis intueri, blandum haberi videtur & amicum.

Item ex picturis discimus [...]

Derowegen / damit eines jungen Knaben wolgeschicktes Gemüthe allenthalben herfür schein oder leuchte / (allermeist aber scheint herfür im Gebärde oder Gestalt des Angesichts/) so sollen die Augen fein ruhesam und stille seyn / schamhaftig / höflich / nicht grausam / welches gresslich scheineth / nicht schalckhaftig / welches der Unverschamtheit zusteheth / nicht wild / oder hin oder her fliegende / welches der Unsinnigkeit zugehöret / nicht in der Qver sehende / welches argwöhnigen Leuten / und denen / so mit Hinterlist umgehen / zusteheth / nicht zu weit aufgesperret / welches die Narren thun / dass man auch die Augen nicht offt tieff in Kopff ziehe / und die Augenlieder eines über das ander Schläge / und damit wincke / welches den Unbeständigen oder Wanckelmü-

thigen zustehet / auch nicht erstarret / welches den Erschrockenen zugehöret [...] Die alten Gemählde sagen uns zwar / dass es vorzeiten vor eine Zucht sey gehalten / einen mit halb zugehanen Augen anschauen / gleich wie bey etlichen Hispaniern / iemand übersichtig anschauen / scheint / dass es für freundlich gehalten werde.

Auch lernen wir aus den Gemälden [...] (A4v–A5v).

Черновик

- (*in marg.*: Cap. II. de Capite ejusque membris) **Чтобы** **уво** **младово** **отрока** **бл̄го** **клячимо** **ѡмъ** **в̄здѣ** **н̄ави** **лся** [**наипаче же н̄авляется в̄ движеніи** (*in marg.*: oculi) **или** **въ** **привиденіи** **лица**] **гласи** (*supra* с: з) **да** **бүдѣтъ** **тихи** **и** **смирни**, **стыдливнн**, **в̄ѣственнн**, **не** **свирѣпи**, **кѣторое** (*supra* lin.: еже) **страшнн** **есть**, **не** **лѣкави**, **кѣторое** (*supra* lin.: еже) **безстыдности** **своѣ** **ственно**, **не** **рѣз** **веннн**, **или** **тѣда** **и** **сюда** **глядящїи**, **кѣторое** (*supra* lin.: еже) **безѡмїю** **своѣ** **ственно**: **не** **косвеннн**, **кѣторое** (*supra* lin.: еже) **пристойно** **есть** **людемъ** **невѣркѣ** **на** **кого** **имѣющимъ**, **и** **навѣтѣющимъ**, **не** **очень** **рѣпространнн**, **такъ** **дѣраки** **дѣлаютъ**. **Очи** **да** **не** **бүдѣтъ** **в̄тенѣти** **в̄** **главу**, **и** **рѣзвнцами** **не** **частъ** **быти** **и** **мыкати**, **сїе** **во** **непостояннымъ** **и** **двоедшнымъ** **пристойно**, **также** **не** **посто** **ящнн** (*supra* lin.: е), **кѣторое** (*supra* lin.: еже) **звѣханннмъ** **своѣ** **ственно** [...] **вѣтхїе** (**{ε}** < и; *supra* lin.: **Зане** **и**) **чѣ** **о** **брази** (*supra* lin.: **или** **персоны**) **пока** **зываютъ** **намъ**, **такъ** ~~дѣраки~~ (*supra* lin.: **древлѣ**) **чаяли** **наказанїе** (*supra* lin.: **пригожо**) **быти**, **кѣ** **во** **полѣзакрытими** **глазами** **наглядити** [**также** **ѡ** **нѣкѣ** **торь** **испанкихъ**, **кѣ** **во** **наглядити** **ѣ** **во** **ка** **видитъ** **бл̄гостинннѣ** **и** **по** **дрѣжвѣ** **быти**]
- Изъ** **образвѣ** (*supra* lin.: **персонъ**) **и** **ѡчимъ** [...] (2v–3r).

Беловик

- У** **головѣ** **и** **ѡдахъ** **ея**.
Чтобы **уво** **младово** (**{г}** < в, **{w}** < о) **отрока** **ѡмъ** **бл̄горѣ** **вездѣ** **н̄ави** **лся** [**наипаче же** **изявляется в̄ движеніи** **или** **привиденіи** **лица**] **глази** **да** **бү** **дѣтъ** **тихи** **и** **смирни**, **стыдливнн**, **в̄ѣственнн**, **несвирѣпи**, **кѣторое** (*supra* lin.: **еже**) **страшно** **есть**, **не** **лѣкави**, **еже** **вѣстыности** **своѣ** **ственно**, **не** **рѣзвеннн** **или** **тюдѣ** [*sic!*] **и** **сюда** **глядящїи**, **еже** **безѡмїю** **своѣ** **ственно**: **не** **косвеннн**, **еже** **пристойно** **есть** **людемъ** **невѣркѣ** **на** **кого** **имѣющимъ** **и** **навѣтѣющимъ**, **не** **очень** **рѣпространнн**, **такъ** **дѣраки** **дѣлаютъ**. **Глази** **да** **не** **бүдѣтъ** **в̄те** **нѣты** **въ** **голову**, **и** **рѣзвнцами** **не** **частъ** **быти** **и** **мыкати**, **сїе** **во** **непостояннн** **и** **двоедшнымъ** **пристойно**, **также** **непостояннн**, **еже** **звѣханннмъ** **своѣ** **ственно** [...] **Зане** **и** **вѣтхїе** **образи** **или** **персоны** **показываютъ** **на** **такъ** **древлѣ** **чаяли** **пригожо** **быти**, **кѣ** **во** **полѣзакрытими** **глази** **наглядити**. **Изъ** **персонъ** **и** **ѡчимъ** [...] (2v–3r).

(3.)

A naribus absit mucoris purulentia, quod est sordidorum: id quoque vitium Socrati Philosopho datum est probro.

Pileo aut veste emungi, rusticanum est: brachio cubitove, salsamentariorum: nec multò civiliùs, id manu si fiat, si mox pituitam vesti illinas.

Der Rotz soll einem nicht aus der Nasen hangen / welches den Unflättern zuste-
het: Dasselbe Laster ist auch dem weisen Manne Socrate zur Schmach aufgerü-
cket worden.

An dem Hute oder Kleide sich schneutzen / ist grob und bäurisch / mit dem Arm
und Ellbogen / stehet den Speckhöckern zu: Es stehet auch nicht viel höflicher /
wenn es mit der Hand geschicht / so du alsbald den Unflat auff die Kleider
schmierest (A6v–A7r).

Черновик

(*in marg.*: De naribus. Mucus narium) Сморкнѣ или вѣкры да не всягъ ѣ
носа, которое ~~свѣнныи~~ (*supra lin.*: дѣрныи) пристойтъ: сею нечистотѣ ѡ пре-
мѣдреномѣ мѣжѣ Сократѣ ѣ досажденію ево ~~говорян~~ (*supra lin.*: пишѣ; *in*
marg.: Emungere abstergere). На шляпѣ или кафтанѣ сморкати, есть холопно,
ѣ по деревенскомѣ, мышцею или локотью пристойно есть салопродавцамѣ. И
5 не многѡ пригожѣе есть, ~~какъ~~ (*supra lin.*: то) рѣкою дѣлаещя (*supra* -ется:
ти), аще сморками платнѣ точасъ [*sic!*] замарываешъ (3v).

Беловик

Сморки или вѣкры да не всягъ ѣ носа, еже дѣрныи пристойтъ: сею нечи-
стотѣ ѡ премѣрномѣ мѣжѣ Сократѣ въ досажденію ево пишѣтъ. На шляпѣ,
шапкѣ ѣ кафанѣ [*sic!*] сморкати, есть холопно, ѣ по деревенкомѣ, мышцею ѣ
5 локотью, пристойно есть салопродавцамѣ. И не многѡ пригожѣе есть, то рѣ-
кою дѣлати, аще сморками платнѣ замарываешъ (3v).

(4.)

Si aliis præsentiùs incidat sternutatio, civile est, corpus avertere: mox ubi se re-
miserit impetus, sublato pileo resalutatis, qui vel salutârunt, vel salutare debu-
erant, nam sternutatio, quemadmodum oscitatio, sensum aurium prorsus aufert
precarì veniam aut agere gratias [...] & si plures adsint natu majores, qui salutant
virum aut fœminam honorabilem, pueri est, aperire caput.

Porrò, vocis tinnitum studio intendere, aut data operâ, sternutamentum iterare,
nimirum ad virium ostentationem, nugonum est.

So einem in ander Leute Gegenwart das Prusten oder niesen anstöß / stehet es
höflich / dass man den Leib abwärts wende / und alsbald / wann der Anstoss vor-
bey ist / soll man den Hut abziehen / und die hinwieder grüssen / die da gegrüs-
set / oder hätten sollen grüssen / (denn das Prusten / so wohl das Hujanen /
nimmt gänzlich das Gehör hinweg /) um Verzeihung bitten / oder ihnen dafür
dancken [...] Und so mehr alte Leute vorhanden sind / welche einen erbarn
Mann oder Weib grüssen / sol ein junger Knabe sein häupt blößen.

Ferner den Klang oder Laut der Stimme mit Fleiss erheben / oder mit Fleiss das Prusten wiederholen / nemlich / dass man seine Kräfte damit will anzeigen / stehet zu den höflichen Possenreissern (A7v–A8r).

Черновик

- (*in marg.*: sternutare [???) **наес**) **Аще комѣ в присѣдствѣи ныи людеи чихота припадаетъ, лѣпо есть, тѣло ѿвернѣти, потомже скорѣ какъ ~~зѣреманіе~~** (*supra lin.*: чиханіе) прошло, шляпѣ (*supra lin.*: шапкѣ или) зняти (*supra* -яти: имати), ѿ впятъ поздравляти ихъ, которіи поздравляли, или ~~наже~~ (*supra lin.*: которымъ) подобаше, тебѣ поздравляти [чихота бо ѿ зеваніе весма ѿнимае тѣ слышаніе] прощеніе просити, или имъ за то бѣгодарствовати [...] **Присѣдшимъ** старымъ людемъ, которіи честнаво мѣжа или женѣ поздравляютъ: юношѣ (**{ѣ}** < **ѣ**) или отрокѣ подобаетъ шляпѣ или шапкѣ ѿ главы зняти. **Наже** звѣкъ или гласъ нарочнѣ вѣнести, или (*in marg.*: «studio» clamare in sterput:) чиханіе нарочкомъ повторити, сиречь силы своя показывати, то пристойно есть вѣждливымъ щѣтамъ [*sic!*] (3v–4r).

Беловик

- Аще комѣ в присѣдствѣи ныихъ людеи чихота припадаетъ, лѣпо есть, тѣло ѿвернѣти, потомже скорѣ какъ чиханіе прошло, шапкѣ или шляпѣ зымати, ѿ впятъ поздравляти ихъ, которіе поздравляли или которымъ подобаше, тебѣ поздравляти [чихота бо ѿ зеваніе весма ѿнимае тѣ слышаніе] прощеніе просити, или имъ за то бѣгодарствовати [*sic!*] [...] **Присѣдшимъ** же старымъ людемъ, которіи честнаво мѣжа или женѣ поздравляютъ: юношѣ (**{ѣ}** < **ѣ**) или отрокѣ подобаетъ шляпѣ или шапкѣ ѿ главы зняти. **Звѣкъ** ѿ гласъ нарочнѣ вѣнести, или чиханіе нарочкомъ повторити, сиречь силы своя показывати, то пристойно есть вѣждливымъ щѣтамъ [*sic!*] (3v–4r).**

(5.)

In lusibus liberalibus adsit alacritas, absit pervicacia, rixarum parens, absit dolus ac mendacium. Nam ab his rudimentis proficiscitur ad majores injurias.

In aufrichtigen Spielen soll man lustig seyn / und keine Frechheit üben / welche ist eine Mutter alles Zancks. Es soll auch kein Betrug oder Lügen dabey seyn. Denn von solchem geringen Anfange kömmt man zu grosser Uneinigkeit (F3r).

Черновик

Во незаказаныхъ играніи (*supra* и: **тахъ**) вѣди веселіи, а не побѣдайся небѣгочестіемъ, которое есть мать всякой рапрѣ. **Также** да ѿидетъ лестъ, или солганіе, ѿ того бо малаво начала ѿходитъ великое неединство (18r–v).

(6.)

Maxima civilitatis pars est, quum ipsi nusquam delinquamus, aliorum delictis facile ignoscere, nec ideo sodalem minus habere charum, si quos habet mores inconditiores. Sunt enim, qui morum ruditatem aliis compensant dotibus.

Das größte Theil der Höflichkeit ist / wenn man selbst nichts böses thut / andern ihre Feile gerne vergeben / auch nicht darum seinen Mitgesellen weniger lieben / ob er gleich etliche unhöfliche Geberde an sich hätte. Denn es seynd etliche / so die Unhöflichkeit ihrer Sitten mit andern Tugenden des Gemüths erstatten (F57).

Черновик

Большая часть вѣждливости есть, аще кто самъ ничто зло здѣлаеть инымъ погрѣшенія простити, и сиухъ ради товарища [*sic!*] своегоw меншѣ любви, хотя и нѣкоторыхъ неблагочинный нравъ на себѣ имѣлъ бы. Нѣкотори во шербѣтаются, котори слонравіе свое иными добродѣтели ѹма ѹличаютъ (197).

Первое замечание, которое можно сделать на основе приведѣнных отрывков, касается общего характера перевода: сличение с латинской и немецкой версиями текста показывает, что в ходе своей работы Паус опирался прежде всего на немецкий вариант, который он в большинстве случаев старался передать буквально.

Исключение составляет отрывок 2: в белой версии устранено место, в котором речь идет о народной примете, распространенной у испанцев. В черновике это место заключено в скобки: **также ѹ нѣкоторы испанкиухъ, ково наглядити съ бока видится блгостиннѣ и по дрѣжбѣ быти** (37). Можно предположить, что, как и в случае устранения имени адресата в посвящении и заключительной части трактата, а также устранения даты и места окончания работы над текстом, данное сокращение в беловике было вызвано желанием Пауса исключить конкретные ссылки, которые могли вызвать недоумение у его учеников.

Из особенностей, характеризующих текст Пауса, в первую очередь надо упомянуть влияние произношения на орфографию. На это обратил внимание уже ПЕРЕТЦ (1902: 132–134), когда в своем анализе исправлений, внесенных Паусом в текст песен Глюка, он пытался описать русское произношение Глюка и самого Пауса.

В тексте перевода обнаруживается, например, отмеченное ПЕРЕТЦЕМ смешение букв **в** и **ѡ**, при этом употребление буквы **ѡ** преобладает над употреблением буквы **в** (*ibid.*: 132), как, например, в слове **товарища** (6₂)²⁴

24 Цифра в строке указывает на номер отрывка, цифры в нижнем регистре называют номер строки в данном отрывке.

или в слове **особливѣ** (1₁₂) в черновике. Примечательно, что в беловом варианте **-ивѣ** исправлено на **-ивѣ** (ср. 1₈)

Наблюдается также отмеченное ПЕРЕТЦЕМ (1902: 132–133) смешение **с** и **з**. Так, например, в отрывке 2 в черновике зафиксировано написание **гласи** (2₃), которому в беловике соответствует написание **глази** (2₃). Незначительное различие **з** и **с** наблюдается также в словах **зняти** и **зънимати** в отрывке 4: вместо ожидаемого **с** здесь употребляется **з** (ср. черновик 4_{3,8} и беловик 4_{2,7}).

О влиянии произношения на орфографию свидетельствует и слово **дараванія** (черновик 1₉): оно отражает аканье. В беловике ему соответствует написание **дарованія** (1₆).

Интересный случай мы находим также в отрывке 2: слову **младово** черновика (2₁) соответствует в беловике **младогѣ** (2₂).

Сравнение черногого и белогого списков перевода показывает, что много поправок было сделано на лексическом уровне. Однако встречаются также грамматические исправления, как, например, в отрывке 1. Здесь откорректировано употребление глагольного вида: форме совершенного вида **изъавитсѣ** в черновике (1₅) соответствует в беловике форма несовершенного вида **ѣвляетсѣ** (1₃).

В отрывке 2 в беловике наблюдается замена зафиксированной черновиком формы множественного числа творительного падежа **глазами** (2₁₄) на **глази** (2₁₂), наряду с заменой окончания прилагательного **-ими** на **-ыми**.

В отрывке 5 поправке подвергается ошибка в окончании: корректируется форма единственного числа местного падежа **игрании**, с тем чтобы она согласовывалась со множественным числом прилагательного **незаказаныхъ** (5₁).

Особый интерес представляет употребление относительного местоимения: в именительном падеже единственного числа в беловике обнаруживается довольно последовательная замена характерного для черновика руссизма **которое** на церковнославянизм **еже** (см., например, 2_{4,6,7,11} черновик и 2_{4-5,5,6,10} беловик). В остальных падежах, наоборот, наблюдается употребление косвенных падежных форм варианта **которыи** (см. например, в отрывке 4_{4-5,5} черновик и 4_{3,3} беловик).

Также особый интерес представляет не всегда последовательная замена в черновике и в беловике некоторых неполногласных форм слов полногласными формами. Например, в беловом варианте некоторых из приведенных выше отрывков наблюдается замена имеющего место в черновике написание **главѣ** и **гласъ** на **головѣ** и **голосъ**, ср., например, 2₉ или 4₉ в черновике и 2₉ и 4₈ в беловике. С другой стороны, и в черновике, и в беловике форма родительного падежа **главы** встречается только с неполногласным написанием (ср., например, 4₈ черновик и 4₇ беловик).

Как уже отмечалось, исправления в переводе Пауса касаются по большей части лексики. Встречаются случаи, когда переводчик ограничивается заменой одного слова другим, более подходящим. Так, например, в отрывке 1, прилагательное **внѣшная**, соответствующее латинскому *extremum* и немецкому *eusserste*, заменено в беловике на **нарѣжная**. Как видно из этого примера, для более точной передачи значения слова Паус прибегает не только к замене одной лексической единицы на другую, но также и к добавлению слова: в качестве эквивалента латинскому *decorum* и немецкому *Zier* в черновике предлагается **Ѹгодность**, а над строкой добавляется **и блѣгодвиженіе** (1₁₋₂). В беловике данная лексическая пара вставлена в строку: **Ѹгодность и блѣгодвиженіе** (1₁).

Подобный случай встречается и в отрывке 2, где для латинского *pictura* и немецкого *Gemählde* в черновике предлагается вариант **образи**, к которому под строкой приписывается **или персоны** (2₁₂). Беловик фиксирует в строке **образи или персоны** (2₁₁).

Стремление более точно передать оригинал наблюдается также в конце отрывка 1: в качестве соответствия латинскому *nobiles* и немецкому *Edelen* в черновике дается **блѣгорѣднымъ** с добавлением под строкой **и шляхцамъ** (1₁₃). Однако данное добавление переводчик, судя по всему, счел неуместным: он зачеркнул его в черновике и в беловой вариант включил лишь **блѣгорѣднымъ** (1₉).

Особый интерес представляет перевод ключевого для трактата Эразма понятия ‘*civilitas/Höflichkeit*’ (см. об этом: МАРГОЛИН 1994), связанного с определённым представлением о воспитании и социальном поведении. Для передачи данного понятия Паус предлагает несколько лексических вариантов.

Заглавие перевода содержит слово **гоженіе**²⁵ (см., например, в черновике: **Златая Книжица С.Р. ѿ гоженія нравъ**). Этот вариант встречается и в других местах перевода, см., например:

ut [...] rudimentis civilitati morum assuescat –
dass er [...] zu Höflichkeit der Sitten sich gewehne (A3r-v) –
черновик и беловик: **чтобы [...] ко гоженію нравъ привыкался** (2r).

Однако для перевода термина *civilitas* Паус пользуется также словом **вѣждливостъ**,²⁶ см. например, отрывок 6:

25 Для слова **гоженіе** в словаре СРЕЗНЕВСКОГО (I: 539) и в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» (СРЯ IV: 59) даётся значение «угождение». В «Словаре русского языка XVIII века» (СРЯ-18 V: 151) зафиксировано только прилагательное *гожий* с примечанием «Простонар[одное]. Годный, пригодный; хороший». В «Лексиконе трехязычном» Фёдора Поликарпова (1704 г.) имени существительного **гоженіе** также нет (см. КАЙПЕРТ 1988: 165).

Maxima civilitatis pars est –
 Das größte Theil der Höflichkeit ist (F5r) –
 Большая часть вѣжливости есть (19v).

В качестве эквивалентов для прилагательного *civilis/höflich* в тексте Пауса можно встретить **лѣпный**²⁷ и **пригодный**,²⁸ например, в отрывке 4:

civile est, corpus avertere –
 stehet es höflich / dass man den Leib abwärts wende (A7v) –
 черновик и беловик: **лѣпо есть, тѣло ѡвернѣти** (3v);

а также дальше в тексте:

civilitatis erit, aliis aperire risus causam –
 stünde es höflich / andern die Ursache des Lachens entdecken (B2r) –
 пригодно бѹдетъ, инымъ причинѣ смѣхъ [sic!] сказывати (5r).

Вариант **гожеиѣ**, использованный Паусом в заглавии, а также встречающийся далее в тексте, представляет собой попытку найти подходящий

- 26 В СРЯ (II: 52) приводятся прилагательное **вѣжливый** («разумный, мудрый»; «учтивый») и наречие **вѣжливо** («учтиво, вежливо»; «аккуратно, осторожно»). В СРЯ-18 (II: 246) слово *вѣжливость* зафиксировано со значением «свойство вежливого». Кроме того, здесь делается замечание, что во множественном числе оно употребляется в значении «учтивые, любезные слова, поступки, обхождение», а в качестве синонимов называются существительные *приветливость, ласковость, учтивость, обходительность, обходительство*. «Лексикон трехязычный» ставит прилагательное **вѣжливый** в один ряд с греческим *πολιτικός* и латинскими *humanus* и *urbanus* (КАЙПЕРТ 1988: 150).
- 27 Прилагательное **лѣпный** СРЕЗН (II: 74) трактует в том числе как «годный»; для **лѣпо есть** даётся значение «прилично, годится, слѹдуетъ». В СРЯ (VIII: 210) **лѣпный** понимается как «3. Годный; полезный, необходимый»; «4. Подобающий, надлежащий, должный». Наречие **лѣпо** здесь фиксируется со значением «надлежащим образом, хорошо; красиво», а также – в функции сказуемого безличного предложения – со значением «прилично, подобает, следует» (*ibid.*: 208). Подобным образом в СРЯ-18 (XI: 154) для слова *лѣпный* дается среди прочего значение «приличный, пристойный; достойный, славный», а для слова *лѣпо* в предикативной функции – «прилично, пристойно, подобает» (*ibid.*: 153). «Лексикон трехязычный» выражение **лѣпо есть** приводит в качестве соответствия греческим глаголам *τρέπει* и *καθίκει* и латинским *decet* и *conuenit* (КАЙПЕРТ 1988: 343).
- 28 Для прилагательного **пригодный** в словаре СРЕЗН (II: 1393) дается значение «подходящий, соответственный». СРЯ (XIX:133) понимает **пригодный** как «соответствующий, подходящий, пригодный», а для наречия **пригодно** замечает, что оно употребляется в составе сказуемого в значении «уместно» (*ibid.*). Поликарпов сопоставляет **пригодный**, с одной стороны, с «*πρόσφορος, artus, accomodus*», с другой стороны с «*приличный, приличенъ, ἀρμόδιος, πρόσφορος, ikavός, conueniens, appositus, artus, congruus, idoneus*» (КАЙПЕРТ 1988: 525, 530).

перевод для лат. *civilitas*. Однако, судя по всему, этот лексический вариант не удовлетворяет Пауса целиком, что показывают его колебания в выборе соответствий для передачи не только существительного *civilitas*, но и прилагательного *civilis*. Нерешительность Пауса можно объяснить, вероятно, с одной стороны, объективной трудностью найти точное соответствие для терминологического выражения, относящегося к понятийному миру другой языковой культуры,²⁹ а с другой стороны, как уже отмечал ПЕРЕТЦ (1902: 231; см. выше), еще несовершенным владением Паусом русским языком во время его работы над переводом трактата Эразма.

Несмотря на обзорный характер наших рассуждений об особенностях переводческой техники Пауса, мы всё-таки рискнем сделать несколько выводов.

Изменения и исправления, которые Паус вводил в черновой и белой варианты своего перевода, вне всяких сомнений представляют собой ценный материал для реконструкции, с одной стороны, языковой ситуации Петровской эпохи, с другой стороны, процесса формирования представлений самого Пауса о функционировании и соотношении друг с другом языковых вариантов в Российском государстве. Кроме того, языковой материал перевода предлагает интересные данные, которые могут способствовать изучению языковой ситуации в московской немецкой колонии в Петровскую эпоху: уровня знания русского языка у проживающих в России немцев и процесса овладения языком на примере такого видного представителя немецкой колонии, как Паус.

Перевод Пауса «*De civilitate morum puerilium*» свидетельствует, кроме того, о долговременном успехе, которым пользовалось сочинение Эразма Роттердамского на протяжении нескольких веков во всей Европе. Одновременно с этим перевод предлагает любопытный материал для исследования системы обучения в России в Петровское время и, в частности, о деятельности школы Глюка, для учеников которой он был предназначен.

В рамках данной статьи мы ограничились лишь самой общей презентацией перевода Пауса. Тщательное и всестороннее изучение данного текста является задачей будущих исследований.

29 Епифаний Славинецкий переводит *civilitas* как **гражданство**. В заглавии издания, содержащего перевод Мельгунова, латинское понятие передается эксплицитно, т. е. целым предложением: «Молодымъ дѣтямъ наука какъ должно себя вести и обходиться съ другими».

Литература

Источники

Черновой вариант перевода:

**Златая Книжица Е.Р. ѡ гоженій нравъ, ѡ ли ѡ бл҃гочинномъ движеніи тѣла цвѣ-
тѣющія младасти**, БАН, 26.3.1.10.

Беловой вариант перевода:

**Книжица Е.Р. златая нареченна, ѡ гоженій нравъ или ѡ бл҃гочинномъ движеніи
тѣла цвѣтѣющія младасти**, БАН, 26.3.1.11.

Liber aureus Erasmi Roterodami, *de civilitate morum puerilium*. Das ist: *Ein Guldenes
Büchlein* Des Erasmi Roterodami / *Von Höflichkeit der Sitten und Gebärden der
blühenden Jugend* / Jetzo mit Fleiss ins Teutsche zu Nutz deroselben transvertiret
und übersetzt, Lipsiae, Anno 1685.

Научно-исследовательская и справочная литература

АЛЕКСЕЕВ 1958 = Алексеев, М. П.: «Эразм Роттердамский в русском переводе
XVII века», в: Бернштейн, С. Б. [отв. ред.]: *Славянская филология*, Т. 1, *Сборник
статей, посвященных IV Международному съезду славистов*, Москва, 275–336.

БиблЭр 1893/1961 = van der Haeghen, F.: *Bibliotheca Erasmi. Répertoire des œuvres
d'Érasme*, Nieuwkoop 1961 [репринт издания: Gent 1893].

БРАГОНЕ 2006 = Bragone, M. C.: «К истории восприятия Эразма Роттердамско-
го в России в XVIII веке», в: *Study Group on Eighteenth-Century Russia. News-
letter* 34, 44–47.

— 2008 = Bragone, M. C.: *Alfavitari radi učenija malych detej. Un abbecedario nella
Russia del Seicento*, Firenze (= Biblioteca di Studi Slavistici 6).

— 2010 = Bragone, M. C.: «La traduzione di J. W. Paus di “De civilitate morum pue-
rilium” di Erasmo da Rotterdam», in: Bertolissi, S./Salvatore, R. (cur.): *forma for-
mans. Studi in onore di Boris Uspenskij*, Т. 1, 111–123.

— 2012 = Bragone, M. C.: «Фенелон в России: к истории трактата “De l'éducation
des filles”», в: Карп, С. Я. (отв. ред.)/Космолинская, Г. А. (сост.): *Век Просве-
щения*, Вып. IV: *Античное наследие в европейской культуре XVIII века*, Москва
(в печати).

БРЮГГЕМАНН/БРУНКЕН 1987 = Brüggemann, Th./Brunken, O.: *Handbuch zur Kin-
der- und Jugendliteratur. Vom Beginn des Buchdrucks bis 1570*, Stuttgart.

БЬЕРЛЕР 1978 = Bierlaire, F.: »Erasmus at School. The *De Civilitate Morum Pueri-
lium Libellus*«, in: DeMolen, R. L. (ed.): *Essays on the Works of Erasmus*, New Ha-
ven – London, 239–251.

— 1999 = Bierlaire, F.: «Habent sva fata libelli», in: ЭР 1999: 13–25.

БЫКОВА/ГУРЕВИЧ 1958 = Быкова, Т. А./Гуревич, М. М.: *Описание изданий, на-
печатанных кириллицей: 1689 – январь 1725 г.*, ред. и вступ. ст. П. Н. Беркова,
Москва – Ленинград (= Описание изданий, напечатанных при Петре I. Свод-
ный каталог).

- КАЙПЕРТ 1988 = Polikarpov, F.: *Leksikon trejazyčnyj = Dictionarium trilingue*, Moskva 1704, Nachdr. u. Einl. v. H. Keipert, München (= Specimina Philologiae Slavicae 79).
- КОВРИГИНА 1998 = Ковригина, В. А.: *Немецкая слобода Москвы и её жители в конце XVII – первой четверти XVIII вв.*, Москва (= Исследования по русской истории 9).
- ЛЕВИЦКАЯ-КАМИНЬСКАЯ 1971 = Lewicka-Kamińska, A.: «Erazm z Rotterdamu w Polsce. Katalog wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej», w: *Erasmiana Cracoviensia. W 500-lecie urodzin Erazma z Rotterdamu (1469–1536)*, Kraków (= Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 250, Prace Historyczne 33), 103–124.
- ЛЕОНИД 1894 = Архимандритъ Леонидъ: *Систематическое описание славяно-россійскихъ рукописей собранія Графа А. С. Уварова*, Ч. 4: *Отъ № 1770 по № 2243*, Москва.
- МАРГОЛИН 1994 = Margolin, J.-C.: «La civilité nouvelle. De la notion de civilité a sa pratique et aux traités de civilité», in: Montandon, A. (dir.): *Pour une histoire des traités de savoir-vivre en Europe*, Clermont-Ferrand (= Collection Littératures. Librairie Européenne des Idées), 151–177.
- МОИСЕЕВА 1988 = Моисеева, Г. Н.: «Глюк Эрнст», in: СРП I: 198–199.
— 1999 = Моисеева, Г. Н.: «Паузе (Паус) Иоганн Вернер», in: СРП II: 413–415.
- МУРЗАНОВА et al. 1956 = Мурзанова, М. Н./Боброва, Е. И./Петров, В. А.: *Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии Наук*, Вып. 1: *XVIII век*, Москва – Ленинград.
- НИКОЛАЕВ 2008 = Николаев, С. И.: *Польско-русские литературные связи XVI–XVIII вв. Библиографические материалы*, Санкт-Петербург.
- ПЕРЕТЦ 1902 = Перетцъ, В. Н.: *Историко-литературныя изслѣдованія и матеріалы*, Т. 3: *Изъ исторіи развитія русской поэзіи XVIII в.*, С.-Петербургъ (= Зап. ист.-фил. ф-та Имп. С.-Пб. ун-та 104).
- ПОДТЕРГЕРА 2009 = Podtergera, I.: «Der “Alfavitari radi učenija malych detej” und sein Umfeld», in: *ZfSlPh* 66.2, 271–285.
— 2010 = Podtergera, I. A.: «‘beinhalten’ auf Kirchenslavisch», in: *Russica Romana* 17 [2011], 43–87.
- РЕВЕЛЬ 2001 = Revel, J.: «Gli “usi” delle buone maniere», in: Ariès, Ph./Duby, G. (cur.): *La vita privata*, Vol. 3: *Dal Rinascimento all’Illuminismo*, Roma – Bari (= Storia e società), 125–160.
- РЕВУНЕНКОВА 1991 = Revunenkovna, N. V.: «Erasmus en Russie», in: *Dutch Review of Church History* 71.2, 129–156.
- СК = Кондаков, И. П. (председ. ред. кол.): *Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века: 1725–1800*, Т. 3: *Р–Я*, Москва 1966.
- СРЕЗН = Срезневский, И. И.: *Материалы для словаря древне-русского языка по письменнымъ памятникамъ*, Т. 1–3, С.-Петербургъ 1893–1903 [репринт. изд.: Москва 1989].
- СРП = Панченко, А. М. (отв. ред.): *Словарь русских писателей XVIII века*:
I: Т. 1: *А–И*, Ленинград 1988;
II: Т. 2: *К–П*, Санкт-Петербург 1999.
- СРЯ = *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, Москва:
II: Бархударов, С. Г. (гл. ред.): Т. 2: *В – волога*, 1975;
IV: Бархударов, С. Г. (гл. ред.): Т. 4: *Г–Д*, 1977;

- VIII: Филин, Ф. П. (гл. ред.): Т. 8: *крада – ляцина*, 1981;
XIX: Богатова, Г. А. (гл. ред.): Т. 19: *Пренебесный – Присвѣдѣтельствовати*, 1994.
- СРЯ-18 = Сорокин, Ю. С. (гл. ред.): *Словарь русского языка XVIII века*:
II: Т. 2: *Безпристрастный – Вейэр*, Ленинград 1985;
V: Т. 5: *Выпить – Грызть*, Ленинград 1989;
XI: Т. 11: *Крепость – Льянной*, Санкт-Петербург 2000.
- ФОНТЕН ДЕ ЛА ВЕРВЕЙ 1971 = Fontaine de la Verwey, H.: «The first ‘book of etiquette’ for children. Erasmus’ “De civilitate morum puerilium”», in: *Quaerendo* 1, 19–30.
- ЧИСЛЕНКО 1978 = Численко, Н. Д.: «Гражданство обычаев детских» и его польский источник», в: Алексеев, М. П. (отв. ред.): *Зарубежные славяне и русская культура*, Ленинград, 5–17.
- ЧУМА 1970 = Чума, А. А.: *Ян Амос Коменский и русская школа (до 70 годов 18 века)*, Bratislava (Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešovensis, Monographia, paedagogica 4).
- ЭР 1999 = Érasme de Rotterdam: *La Civilité puérile. Petit manuel de savoir-vivre à l’usage des enfants*, accompagnée du texte latin original en regard *De civilitate morum puerilium libellus*, traduction nouvelle, intégrale et annotée par F. Bierlaire, Bruxelles (Notulæ Erasmianæ 3).
- 2004 = Erasmo da Rotterdam: *Il Galateo dei ragazzi*, a cura di L. Gualdo Rosa, Napoli (= Nuovo Medioevo 68).

Yannis Kakridis

**Die Wiener Fragmente von Palamas'
Zweitem *Logos apodeiktikos*:
Ein Blick in die Übersetzungsvorlage von Dečani 88?***

Es war Helmut Keipert, der mich am Vorabend meiner ersten Bulgarienreise – vor mehr als einem Vierteljahrhundert! – auf die kirchenslavischen Übersetzungen der Werke von Gregorios Palamas in den Sofioter Handschriftensammlungen hinwies. Weder er noch ich konnten damals ahnen, dass die Spur dieser Übersetzungen nicht nach Bulgarien, sondern nach Serbien führte; dass die slavische Überlieferung unter dem Namen von Palamas auch Schriften seines großen Gegners, Barlaams von Kalabrien, bewahrt hatte; und dass diese Schriften unser Bild von der Anfangsphase der hesychastischen Kontroverse entscheidend modifizieren würden. So blieb die Byzantinistik zunächst skeptisch. Erst die Entdeckung der griechischen Vorlagen, so Albert FAILLER in einer 1989 erschienenen Rezension, würde endgültig beweisen, dass die Unterschiede zwischen dem griechischen Text und der slavischen Übersetzung nicht durch Eingriffe der Übersetzer zu erklären seien (FAILLER 1989: 297). Genau dies ist nun vor kurzem der jungen griechischen Byzantinistin Eleni KALTSOGIANNI (2009) gelungen: Sie hat in einer Wiener Handschrift zwei Fragmente identifiziert, die nicht nur das Vorhandensein einer früheren Fassung von Palamas' Antilateinischen Traktaten (*Λόγοι ἀποδεικτικοί*) beweisen, sondern auch die von mir postulierte Überarbeitung durch Palamas selbst dokumentieren (vgl. KAKRIDIS 1988: 33–141).

Es handelt sich um den *Vindobonensis theologicus graecus 78*, eine Pergamenthandschrift hymnographischen Inhalts aus dem 14. Jh. Neben dem Hauptblock enthält der Vind. theol. graec. 78 verschiedene Papierblätter, die im 14. und 15. Jh. geschrieben wurden. Die Fragmente aus Palamas' 2. *Λόγος*

* Ich danke Eleni Kaltsogianni (Ioannina), Elisabet Kojer (Amsterdam), Lora Taseva (Sofia/Bern), Vladan Trijić und Irena Špadijer (Beograd) für anregende Diskussionen über einzelne Aspekte dieses Aufsatzes. Der Aufsatz ist im Rahmen des Projektes Nr. 100012_129571 des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) »Die kirchenslavische Übersetzung der Werke von Gregorios Palamas und Barlaam von Kalabrien« entstanden. Eine serbische Fassung erscheint in: *Naučni sastanak slavista u Vukove dane* 40.1. Beograd 2011.

ἀποδεικτικός sind als *v_r-v* und *361/1_r-v* (Nr. 13b bei HUNGER/KRESTEN 1976: 139–147) nummeriert. Wasserzeichen und Schreibduktus erlauben eine Datierung in das dritte Viertel des 14. Jh. Ich übersetze nun die Beschreibung von E. KALTSOGIANNI (2009: 91 f.):

Der Schreiber verwendet 35–36 Zeilen pro Seite und markiert die Absatzanfänge mit roten Buchstaben. Auf den Rändern befinden sich zahlreiche Zusätze zum Haupttext. Sie stammen von einer zeitgenössischen Hand, die vielleicht nicht mit der des Hauptschreibers identisch ist. Außerdem finden wir auf den Rändern *apophthegmata patrum*, die von zwei verschiedenen, wahrscheinlich späteren, Händen geschrieben wurden. Zusätze bzw. Änderungen des Haupttextes sind auch zwischen den Zeilen angebracht; diese Eingriffe stammen von demselben Schreiber, der die Randzusätze machte. Dieselbe Hand durchstreicht schließlich einige Abschnitte im Haupttext der Handschrift (vor allem auf Blatt v); der Anfang und das Ende der durchstrichenen Abschnitte sind in bestimmten Fällen mit Punkten markiert, die miteinander mit geraden oder gezackten Linien verbunden werden. Nach der Tilgung der fraglichen Abschnitte nimmt der Schreiber Änderungen vor, um den syntaktischen Zusammenhang des Textes wiederherzustellen.

Zusätze und Tilgungen ergeben zusammen einen Text, der praktisch mit der Fassung der übrigen Handschriftentradition bzw. der auf sie fußenden kanonischen Ausgabe von P. CHRISTOU (1962: 23–153) identisch ist. Dies erlaubt die Vermutung, dass die fraglichen Blätter des Vind. theol. gr. 78 ursprünglich zu einer Abschrift der ersten Redaktion von Palamas' Antilateinischen Traktaten gehörten, die von Palamas oder einem unter seiner Aufsicht arbeitenden Schreiber korrigiert wurde. Wie schon E. KALTSOGIANNI festgestellt hat, wird diese Vermutung zur Sicherheit, wenn man den Text des Vind. theol. gr. 78 mit der slavischen Übersetzung von Dečani 88 vergleicht. Hierzu zunächst eine kleine Kostprobe:

Ἔτ' ἔχει τις λέγειν διὰ τὴν ἀποστολὴν ὡς ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα | τὸ ἅγιον; Οὐκ ἔγωγε οἶμαι, εἰ μὴ σαφῶς ἐθέλει θεομαχεῖν. Ἄλλὰ καὶ αὐτοῦ, φησί, τοῦ υἱοῦ τὸ πνεῦμα καὶ ἴδιον αὐτοῦ λέγεται. «Ἐξαπέστειλε γὰρ ὁ θεός, φησὶν ὁ ἀπόστολος, τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, κρᾶζον ἄββᾶ, ὁ πατήρ» (KALTSOGIANNI 2009: 93, vgl. CHRISTOU 1962: 103_{30–35}).

Wagt es noch jemand, wegen der Sendung [des Heiligen Geistes durch den Sohn] zu behaupten, dass er vom Vater und vom Sohn ausgeht? Sicher nicht, es sei denn, er will offen gegen Gott kämpfen. Aber, so sagt er [sc. der Lateiner], der Geist heißt ja auch »Geist des Sohnes« und »dem Sohn eigen«. Der Apostel sagt ja [Gal 4,6]: »Gott [hat] den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, den Geist, der da ruft: Abba, Vater!« [Übersetzung der Schriftzitate nach der *Zürcher Bibel* (Ausgabe 2007)].

Der Text des Wiener Fragments setzt auf fol. *vr* mit den Worten τὸ ἅγιον ein. Die kursiv gesetzten Passagen sind über der Zeile bzw. am oberen Rand hinzugefügt. Es handelt sich um typische redaktionelle Zusätze: Verdeutlichung im ersten Fall, Ergänzung eines Zitats im zweiten. Genau sie fehlen nun in der kirchenslavischen Übersetzung:

(24 ^v ₇₋₁₁)	ИЩЕ ИМАТ ЛИ КТО ГЛАТИ
‘	οὐχο ἰακο ὦ ῥῖα η ῥ σῖα ησχοδιτῆ δῆς σῖγς;
‘	иѣ ‘поразоумѣваю азъ. аще не авствнѣ хо-
ЛАТ	щеть богоборѣтвovati. нь и того глѣк-
	тъ и свонство того глѣтъ се.

Dies erlaubt, die Übersetzungsvorlage von Dečani 88 wie folgt anzusetzen:

Ἔτ’ ἔχει τις λέγειν ὡς ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ ἐκπορεύεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον; Οὐκ ἔγωγε οἶμαι, εἰ μὴ σαφῶς ἐθέλει θεομαχεῖν. Ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ, φησί, καὶ ἴδιον αὐτοῦ λέγεται.

Anmerkungen:

1. Bei der Auslassung der Worte διὰ τὴν ἀποστολὴν stützen wir uns nur auf das Zeugnis des slavischen Textes (das Wiener Fragment setzt erst weiter unten ein).
2. Die Fehlübersetzung von ἴδιον »eigen« als **свонство** »Eigenschaft (ιδίωμα)« ist zwar theologisch höchst bedenklich, hat aber für die Rekonstruktion der griechischen Vorlage keine Bedeutung.¹
3. Dasselbe gilt für die Wiederholung der Präposition ὦ vor **сῖα**, die Einfügung von **οὐχο** nach **ГЛАТИ** und die Auslassung von -γε in ἔγωγε: Solche Unterschiede auf der Mikroebene kommen in der Übersetzung durchgehend vor und erlauben keine Rückschlüsse über die Gestalt der Vorlage.²
4. Ein Zweifel könnte höchstens hinsichtlich der Umstellung von οὐκ ἔγωγε οἶμαι zu **иѣ поразоумѣваю азъ** angemeldet werden, da im Griechischen auch die Wortfolge οὐκ οἶμαι ἔγωγε möglich ist. Im *Thesaurus linguae Graece* ist allerdings οὐκ οἶμαι ἔγωγε nur siebenmal belegt, und zwar nahezu ausschließlich in den platonischen Dialogen. Von οὐκ ἔγωγε οἶμαι gibt es dagegen 59 Belege; es ist sehr häufig bei Johannes Chrysostomus und wird auch von Palamas sonst verwendet. In Verbindung mit dem Zeugnis des Vindob. theol. graec. 78 darf als sicher gelten, dass auch die Umstellung von οὐκ ἔγωγε οἶμαι zu **иѣ поразоумѣваю азъ** auf das Konto des Übersetzers geht.

1 Der Ausdruck ἴδιον πνεῦμα (Χριστοῦ) kommt in der Bibel nicht vor, aber in der patristischen Literatur, e. g. Basilius Caesarensis (Bas. *ep.* 38.476), Cyrillus Alexandrinus (Cyr. *Jo.* 1.187_{2c}) etc. (Angaben aus dem TLG [28.05.2011]).

2 Zum »Polyprothetismus« im Altkirchenslavischen siehe VEČERKA 1989: I, 120–122. Die monoprothetischen Konstruktionen des Griechischen werden Aksl. entweder poly- oder monoprothetisch übersetzt, e. g. παρὰ θεῶ καὶ ἀνθρώποις – **отъ бога и чловѣкъ**, ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα – **на нища и на оубога**.

Der Satz **нѣ поразоумѣваю азъ** verdient aus einem weiteren Grund unsere Aufmerksamkeit. Der Übersetzer (oder ein Redaktor) hat nämlich nachträglich an den Rand ein **іако** geschrieben und mit einem Verweiszeichen angedeutet, dass es zwischen **нѣ** und **поразоумѣваю** einzufügen ist.³ Wie ist diese Korrektur zu erklären?

Der Sprecher drückt durch **οὐκ ἔγωγε οἶμαι** aus, dass er mit der Meinung des Adressaten nicht einverstanden ist. Im Text von Palamas dient dieser Ausdruck als verneinende Antwort auf die unmittelbar vorangehende rhetorische Frage »Wagt es noch jemand, wegen der Sendung [des Heiligen Geistes durch den Sohn] zu behaupten, dass er vom Vater und vom Sohn ausgeht?« Rein theoretisch könnte man den griechischen Satz allerdings auch anders auflösen, indem man nach **οὐκ** ein Komma setzt: **οὐκ, ἔγωγε οἶμαι**. Dann wäre **οὐκ** nicht mehr Negation zu **οἶμαι**, sondern Satzäquivalent,⁴ und **ἔγωγε οἶμαι** abtönende Parenthese. Aus dem energischen »Ich jedenfalls meine das nicht« wird dadurch ein etwas unsicheres »Nein, meine ich«. Für das Griechische ist diese Analyse mit Sicherheit auszuschließen – nicht nur, weil das abtönende »meine ich« nach einer rhetorischen Frage fehl am Platze wäre, sondern auch, weil **οὐκ οἶμαι ἔγωγε** bzw. **οὐκ ἔγωγε οἶμαι** bereits in klassischer Zeit zu einer festen Verneinungsformel geronnen war.⁵ Der slavische Übersetzer hat den formelhaften Charakter seiner Vorlage entweder nicht erkannt oder nicht nachzuahmen gewagt und übersetzt deshalb mit **нѣ** (Satzäquivalent), **поразоумѣваю азъ** (Parenthese). Die Hinzufügung von **іако** geschah nun offensichtlich in der Sorge, dass ein Leser **поразоумѣваю азъ** nicht als Einschub erkennen würde.⁶

Interessanterweise enthält unser Kontext eine weitere Korrektur, die ein parenthetisches Element betrifft: Ein Leser (oder vielleicht der Übersetzer

3 Zu den Übersetzerkorrekturen in Dečani 88 siehe KAKRIDIS 1988: 218–235 und KAKRIDIS (i. Dr.); zu den Korrekturen in der gleichzeitig entstandenen Übersetzung des *Corpus areopagiticum slavicum* FAHL/FAHL 2008.

4 Die ersten unzweifelhaften Belege für die Verwendung von **οὐ(κ)** als Satzäquivalent (in Entsprechung zu **vaí**) stammen aus dem späten 5. Jh., siehe MOORHOUSE 1959: 17; cf. MEIER-BRÜGGER 1992: I, 109.

5 Cf. die verwandte Formel **ἐγὼ μὲν οὐκ οἶμαι**, wo die Interpretation der Partikel als Satzäquivalent ausgeschlossen ist. In all diesen Fällen bezieht sich die Negation nicht auf das *verbum cogitandi*, sondern auf den Inhalt des Gedankens. Zu ähnlichen Übergängen bei anderen Verben (**οὐ φημί**, **οὐ κελεύω**, **οὐκ ἐώ**) siehe WACKERNAGEL 2009: 727 f.

6 Die kirchenslavische Entsprechung zu »nein« ist **ни**, doch ist **нѣ** in den slavischen Sprachen ebenfalls bezeugt. Es geht entweder auf die Kontraktion von *ne (j)estъ* zurück (wofür in Dečani 88 aber sonst **нѣсть** vorkommt) oder ist Reflex einer alten emphatischen Längung von *ne*. Weniger wahrscheinlich ist die direkte Rückführung auf idg. **nē* oder **noi*. Siehe KOPEČNÝ 1973: 448 (Anm. 4) und 474, ĚSSJA 24: 92, SCHUSTER-ŠEWIC: II, 997.

selbst, der sich vergewissern wollte, dass sein Text auch ohne Einsicht in das Original verständlich sei) hat im Satz **НѢ И ТОГО ГЛ҃КЕТЬ И СВОИСТВО ТОГО ГЛ҃КЕТЬ СЕ** den parenthetischen Charakter des ersten **ГЛ҃КЕТЬ** (= φησι) nicht erkannt und es auf eine Stufe mit **ГЛ҃КЕТ' СЕ** (= λέγεται) gestellt, als ob der griechische Text zwei identische, miteinander kopulativ verbundene Prädikate enthalten würde (*"Ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ λέγεται καὶ ἴδιον αὐτοῦ λέγεται). Der Korrektor hat deshalb zwischen **ГЛ҃КЕТЬ** und **И** über der Zeile das aus seiner Sicht fehlende **СЕ** eingefügt. Als man den Fehler erkannte, wurde es wieder ausgeschabt. Dass der parenthetische Charakter des ersten **ГЛ҃КЕТЬ** im Slavischen nicht so leicht zu erkennen war, zeigt auch die Sprecherzuweisung **ЛАТ(И. ИИИИ)**, die an dieser Stelle (wie auch an vielen anderen) am Rand des Textes vorkommt. Auch sie dürfte vom Übersetzer stammen.

Dürfen wir nun den Text des Vind. theol. gr. *ante correctionem* mit der Übersetzungsvorlage von Dečani 88 einfach gleichsetzen? Gewiss nicht, wie folgender, an das Vorangehende direkt anschließende Abschnitt zeigt:

Ἐπερυγε·τήν «ἐξ» γὰρ ἀφείς, σύγε ὅς τις ποτ' εἶ ὁ πρόσφατος ἀντικείμενος, τὸ «αὐτοῦ» νῦν ἡμῖν προβάλλη ταύτης χωρὶς· ἢ σοι κακ τοῦ «αὐτοῦ» τὸ «ἐξ αὐτοῦ» νοεῖται τε καὶ κατασκευάζεται, τῷ διαλεκτικῷ τῶν ἀπερινοήτων; Εἰπέ δή μοι, καὶ σὺ αὐτὸς οὐ σαυτοῦ; (Τοῦτό γε, οἶμαι, ἀποδράσεις ἡμῶν. Οὐ γὰρ ἔοικάς μοι ἀκοῦσαι τοῦ λέγοντος, «γενοῦ σεαυτοῦ ἄνθρωπε». Εἰ γὰρ ἤκουσας καὶ ὑπήκουσας, ἔστεργες ἂν τὰ παραδεδομένα περὶ θεοῦ καὶ τοῖς ὑπὲρ ἄνθρωπον καὶ λόγοις καὶ πράγμασι, καὶ ταῦτα καινοτομῶν ἥκιστα ἐπεχείρησας.) Ἄλλ' εἰ ὁ ἄνθρωπος ἑαυτοῦ, οὐκοῦν ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἑαυτοῦ κατὰ σέ. (CHRISTOU 1962: 104₁₋₁₀ [mit Änderungen der Interpunktion])

Bravo! du lässt die Präposition »aus« (ἐξ) aus (wer du auch immer seiest, unser neuer Gegner), und hältst uns das »sein« (αὐτοῦ) nun ohne sie vor; oder kann nach dir das »aus ihm« (ἐξ αὐτοῦ) zu dem »sein« (αὐτοῦ) hinzugedacht bzw. daraus abgeleitet werden, du Dialektiker des Unergründlichen? So sag mir doch, du selbst – bist du etwa nicht auch dein? (Dies wirst du uns, befürchte ich, doch nicht zugestehen. Denn du scheinst mir nicht den gehört zu haben, der sagt »Mensch, komm zu Dir selbst!« [wörtl.: »werde dein«]. Wenn du nämlich gehört und gehorcht hättest, würdest du das akzeptieren, was uns über Gott überliefert ist – Gedanken und Gegenstände, die den menschlichen Verstand übersteigen – und würdest dich auf keinen Fall daran machen, darin Neuerungen einzuführen.) Aber wenn der Mensch sich selbst gehört [wörtl. »seiner selbst ist«], so ist der Mensch nach deiner Argumentation aus sich selbst [hervorgegangen].

Die Entsprechung dieser Passage in Dečani 88 weist erhebliche Unterschiede auf:

(24v_{11-25r6}) *Прѣблго.*
КЖЕ, ѿ, ОУБѢ УСТАВАЛЪ, ТЫ КТО ИЖЕ ^{АА} КСИ
НОВЫ СΟΥПРОТНВБЛЕЖЕ^{ИИИ}ИИ. КЖЕ ТОГО НИ-

на намь прѣлагаѣши кромѣ же, ѿ.
 зѣлау кси бл҃гомѣтельнь и многозѣ-
 внагель рѣче попрѣливо хоудѣствѣ
 в члѣче. ты и таже не соуца прѣстави-
 ши словѣ тако соуца. и таже соуца тако не
 соуца. Нь оубо аще снѣ сице имѣють, и
 ѿць твон проче ѿ тебе, заже твон.
 и мѣти такожде. и ма чка ѿ тебе понѣ
 твога. и цене такоже. и съ братъ тво-
 и ѿ тебе заже твон. Оубы. оубы. И не-
 изгладѣльнь намь ави се, иже зритель
 прѣмирный и таже тамо видѣнна на-
 мь иже долѣ прѣчюднѣ сказоуки. и прѣ-
 данна намь в бзѣ словеса самовласть-
 нѣ вва изнимаѣши, вва же прѣлага-
 юши. *рѣци ми. и ты самъ не самога ли;*
 по снѣ непцоюю ѿбѣгнеши мене. ||

мнитъ се ^{хис} *мнѣ тако не оуслыша глѣоцаго*
боуди свои себѣ в члѣче. нбо аще оуслы-
ша и послуша оутвържаль би таже прѣ-
данна в бзѣ. и нимала начель би иствѣ-
цавати сна. нь аще члѣкъ свои себѣ,
проче члѣкъ ѿ себе.

Wir haben die Abschnitte kursiv gesetzt, die in Dečani 88 und der kanonischen (zweiten) Redaktion der *Antilateinischen Traktate* einander entsprechen. Über den restlichen Text ist folgendes zu sagen: Das κατὰ σέ, das im Slavischen fehlt, wurde im Vind. theol. gr. 78 über der Zeile hinzugefügt, ist also mit Sicherheit erst in der zweiten Redaktion hinzugekommen. Umgekehrt verhält es sich beim längeren Abschnitt in der Mitte des slavischen Textes, der nicht kursiv gesetzt ist, weil er in der Ausgabe von CHRISTOU keine Entsprechung hat: Er war Teil der ersten Redaktion und wurde während des Überarbeitungsprozesses getilgt. Dies zeigt wiederum der Vind. theol. gr. 78, wo wir folgende – durchgestrichene – Sätze finden:

ὡς περιττὸς εἶ καὶ ποικίλος τὴν σοφιστικὴν ἐπιστήμην ὧ ἄνθρωπε· σύ γε ἡμῖν καὶ τὰ μὴ ὄντα τῷ λόγῳ παραστήσῃς ὡς ὄντα, καὶ τὰ ὄντα ἐκ μέσου καταστήσῃς τῶν ὄντων. εἰ δὲ καὶ κατὰ τῆς σαυτοῦ κεφαλῆς, οὐ φροντιεῖς· ἀλλὰ γὰρ εἰ τοῦθ' οὕτως ἔχει, καὶ ὁ πατήρ σου λοιπόν, ἐκ σοῦ· ἐπεὶ σοῦ· καὶ ἡ μήτηρ ὁμοίως· καὶ αὐτὸς ὁ ἀδελφός σου ἐκ σοῦ· ἐπεὶ σοῦ· καὶ ἀρρητοῦργος ἡμῖν ἀναπέφηνεν, ὁ θεωρὸς τῶν ὑπερκοσμίων, καὶ τὰ ἐκεῖ θεάματα καὶ ἡμῖν τοῖς κάτω καινῶς ἐξηγούμενος, καὶ τῶν παραδεδομένων ἡμῖν περὶ θεοῦ λόγων, αὐτεξουσίως τοὺς μὲν, ἐκβάλλων, τοὺς δέ, προστιθεῖς (KALTSO-GIANNI 2009: 93).

Wie reich und verschiedenartig deine sophistischen Künste doch sind, mein Lieber. Du wirst uns ja noch mit deinen Argumenten das Nichtseiende als seiend vorstellen und das Seiende aus dem Bereich des Seienden verbannen. Sogar wenn sich das gegen dich selbst [wörtl. »dein eigenes Haupt«] richtet, kümmert es dich nicht. Wenn dies aber so ist, so ist also auch dein Vater aus dir, weil er dein Vater ist; und die Mutter ebenfalls; und sogar dein Bruder ist aus dir, weil er dein Bruder ist; so entpuppt sich vor unseren Augen als (Mutter)schänder [wörtl.: als jemand, der das begeht, was schon auszusprechen ein Frevel ist], wer das Überweltliche zu schauen vorgab und das dort Geschaute auch uns, die wir hier unten leben, auf neuartige Weise auslegte und aus dem, was uns über Gott überliefert ist, nach eigenem Gutdünken das eine verwarf, das andere hinzufügte.

Das ἀρρητοῦργός »jemand, der das begeht, was schon auszusprechen ein Frevel ist« (cf. Soph. *Oed. Rex* 465) der Wiener Handschrift erklärt nun das seltsame **НЕЗГЛѠДѢЛЕНЪ** des Slavischen – ein Wort, das übrigens Korrekturspuren aufweist und so ein weiteres Mal die Schwierigkeiten illustriert, mit denen die Übersetzer zu kämpfen hatten.

Wie bereits angedeutet, treten beim genaueren Vergleich des Textes von Vind. theol. gr. 78 mit Dečani 88 Unterschiede zutage, die beweisen, dass die Wiener Handschrift *ante correctionem* als direkte Übersetzungsvorlage nicht in Frage kommt. Die entsprechenden Stellen wurden durch Sperrung hervorgehoben:

1. Die Wiener Handschrift enthält (wie auch der Text der Ausgabe von **CHRISTOU**, d. h. die zweite Redaktion) die Frage ἢ σοι κάκ τοῦ «αὐτοῦ» τὸ «ἐξ αὐτοῦ» νοεῖται τε καὶ κατασκευάζεται, τῷ διαλεκτικῷ τῶν ἀπειροήτων;
2. Auch das καὶ τοῖς ὑπὲρ ἄνθρωπον καὶ λόγοις καὶ πράγμασι ist im Vind. theol. gr. 78 und im Text der Ausgabe von **CHRISTOU** enthalten, fehlt jedoch in Dečani 88;
3. Dagegen enthält die slavische Übersetzung die Worte **И МАЧКА Ѡ ТЕБЕ ПОНКЪ ТВОЈА. И ЦЕНЕ ТАКОЖЕ**, die in der entsprechenden (später als ganzes durchgestrichenen) Passage des Wiener Fragmentes fehlen.

Welche Schlüsse sind aus diesen Unterschieden zu ziehen? Im Prinzip könnte es sich um Auslassungen (1 und 2) bzw. Hinzufügungen (3) des slavischen Übersetzers oder seiner griechischen Vorlage handeln. In diesem Fall hätte uns der Vind. theol. gr. 78 ein getreueres Bild von der ersten Redaktion der *Λόγοι ἀποδεικτικοί* bewahrt als Dečani 88. Es scheint allerdings, dass die Sache genau umgekehrt liegt: der Text des Vind. theol. gr. 78 enthielt bereits *ante correctionem* nicht den ursprünglichen, sondern einen überarbeiteten Text der ersten Redaktion der *Antilateinischen Traktate*. Den Beweis dafür liefert Beispiel (2): Die Nominalphrase καὶ τοῖς ὑπὲρ ἄνθρωπον καὶ λόγοις καὶ πράγμασι ist, ebenso wie die ihr unmittelbar vorangehende τὰ παραδεδομένα περὶ θεοῦ, Objekt von ἔστεργες. Obwohl diese beiden Objekte nun miteinander parataktisch verbunden sind, stehen sie in verschiedenen Kasus (Akkusa-

tiv vs. Dativ; στέργω erlaubt beide Konstruktionen). Das seltsame syntaktische Zeugma, das dadurch entsteht, entlarvt das zweite Konjunkt καὶ τοῖς ὑπὲρ ἄνθρωπον καὶ λόγοις καὶ πράγμασι als Zusatz von Palamas, der nicht bemerkt hat, das die Rektion vereinheitlicht werden muss. Die Überarbeitungsspuren im Text des Vind. theol. gr. 78 *ante correctionem* bestätigen den Schluss, zu dem schon E. KALTSOGIANNI gekommen ist: Die fraglichen Blätter sind in der Werkstatt von Gregorios Palamas entstanden und stellen nicht (wie man auch denken könnte) den Versuch eines anderen Lesers dar, sein Exemplar der ersten Redaktion der *Antilateinischen Traktate* mit Hilfe der zweiten zu aktualisieren.⁷

Stellen wir mit α den Archetyp dar, mit v den Vind. theol. gr. 78 *ante correctionem* und mit δ die Vorlage von Dečani 88, so gibt es theoretisch drei Möglichkeiten der Abhängigkeit zwischen ihnen:

(1) α -----> v -----> δ, (2) α -----> δ -----> v, (3) α -----> δ, α -----> v.

Von diesen Möglichkeiten kann die erste nach den hier vorgetragenen Überlegungen ausgeschlossen werden. Ob (2) oder (wahrscheinlicher) (3) zutrifft, müssen weitere Untersuchungen zeigen.

Literatur

- CHRISTOU 1962 = Χρήστου, Π. Κ. (εκδ.): *Γρηγορίου του Παλαμά Συγγράμματα*, Τ. Α': *Λόγοι αποδεικτικοί. Αντεπιγραφαί. Επιστολαί προς Βαρλαάμ και Ακίνδυνον. Υπερ ησυχάζόντων*, εκδ. υπο Β. Bobrinsky, Π. Παπαευαγγέλου, Ι. Meyendorff, Π. Χρήστου, Θεσσαλονίκη.
- ÉSSJA = Трубачев, О. Н. (ред.): *Этимологический словарь славянских языков. Пра-славянский лексический фонд*, Вып. 24: **navijati(se)/*navivati(se) – *nerodimъ(jb)*, Москва 1977.
- FAHL/FAHL 2008 = Фаль, С./Фаль, Д.: »Исправления в автографе перевода *Corpus areopagiticum slavicum* (XIV в.)«, in: *ТОДРЛ* 59, 213–244.
- FAILLER 1989 = Failler, J.-C.: Rez. zu KAKRIDIS 1988, in: *REB* 47, 296–297.
- HUNGER/KRESTEN 1976 = Hunger, H./Kresten, O.: *Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek*, Teil 3,1: *Codices theologici 1–100*, Wien (= Museion N. F. 4.3.1) [vgl. : http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/katalogseiten/HSK0783_b0139_jpg.htm (28.05.2011)].
- KAKRIDIS 1988 = Kakridis, I.: *Codex 88 des Klosters Dečani und seine griechischen Vorlagen: Ein Kapitel der serbisch-byzantinischen Literaturbeziehungen im 14. Jahrhundert*, München (= Slavistische Beiträge 233).

⁷ Weitere Argumente, die gegen diese Vermutung sprechen, finden sich bei KALTSOGIANNI 2009: 95.

- i. Dr. = Kakridis, Y.: »Zur Systematisierung der Übersetzerkorrekturen von Dečani 88«, in: Reinhart, J. (Hg.): *Hagiographia slavica*, München – Wien.
- KALTSOGIANNI 2009 = Καλτσογιάννη, Ε.: »Δύο άγνωστα αποσπάσματα του δευτέρου Αποδεικτικού Λόγου του Γρηγορίου Παλαμά Περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος (cod. Vind. theol. gr. 78)«, in: *Ελληνικά* 59, 89–100.
- KOPEČNÝ 1973 = Kopečný, F.: *Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena*, Sv. 1: *Předložky. Koncové partikule*, věd. red. B. Havránek, Praha.
- MEIER-BRÜGGER 1992 = Meier-Brügger, M.: *Griechische Sprachwissenschaft*, Bd. 1: *Bibliographie. Einleitung. Syntax*, Berlin – New York (= Sammlung Götschen 2241).
- MOORHOUSE 1959 = Moorhouse, A. Ch.: *Studies in the Greek Negatives*, Cardiff.
- SCHUSTER-ŠEWIC = Schuster-Šewc, H.: *Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache*, Bd. 2: *kisončk – ptońjo*, Bautzen 1981–1984.
- TLG = *Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature*: <http://www.tlg.uci.edu> (mit site licence).
- VEČERKA 1989 = Večerka, R.: *Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax*, Bd. 1: *Die lineare Satzorganisation*, Freiburg i. Br. (= MLS 27).
- WACKERNAGEL 2009 = Wackernagel, J.: *Lectures on Syntax with Special Reference to Greek, Latin and Germanic*, ed. with notes and bibliography by D. Langslow, Oxford.
- Zürcher Bibel* = <http://www.die-bibel.de/online-bibeln/zuercher-bibel/lesen-im-bibeltext/> (Ausgabe 2007) [05.06.2011].

Michael Moser

Deutsche Klassik auf Galizisch-Ruthenisch – Schillers *Bürgschaft* in Josyf Levyc'kyjs Übersetzung aus dem Jahr 1841

1. Josyf Levyc'kyj, Übersetzer der *Bürgschaft*

Vor uns liegt ein bemerkenswerter ruthenischer (ukrainischer) Druck aus der südostpolnischen Stadt Przemyśl aus dem Jahr 1841. Das Titelblatt ist wie der Haupttext in alter Zierkyrilliza (inklusive Diakritika) gehalten. Es handelt sich um *Шильєра: Борьба со смѣломъ (Романчикъ) и Порѣка (Баллада)* in der Übersetzung Josyf Levyc'kyjs aus Šklo (»переведены Їосифомъ Львѣцкимъ зѣ Шклѣ«) in die »galizisch-ruthenische« Sprache (»на языкъ Галицко-Русскій«). Es sind dies die ersten bekannten Übersetzungen der beiden Werke in das »Galizisch-Ruthenische«, welches – wie hier gezeigt werden soll – als galizisches Ukrainisch identifiziert werden kann.

Josyf Levyc'kyj, der u. a. schon im Jahr 1838 Goethes *Erlkönig* und ein Jahr später Schillers *Glocke* veröffentlicht hatte (vgl. einen Ausschnitt der Übersetzung des *Erlkönigs* in MOSER 2004: 90), ist in der Slavistik wenig bekannt und selbst innerhalb der Ukrainekunde noch kaum angemessen gewürdigt worden. Dies beruht wohl nicht zuletzt darauf, dass mit Ausnahme der über Gebühr heroisierten »Ruthenischen Triade« (»Руська Трійця«, das sind die Erneuerer Markijan Šaškevyč, Ivan Vahylevyč und Jakiv Holovac'kyj) fast die gesamte galizisch-ruthenische (ukrainische) Erneuerungsbewegung der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon von der nächsten Generation der Erneuerer diskreditiert wurde. Sie nämlich stellten im Unterschied zu ihren ganz in Galizien verhafteten Vorgängern den Sprach- und Kulturausbau auf ein neues, weitgehend auf Taras Ševčenko und dem Dnipro-Ukrainischen ruhendes Fundament. Eine Schlüsselrolle für diesen Distanzierungsreflex zwischen den Generationen spielte der ukrainische Nationaldichter Ivan Franko, der im Übrigen von niemand anderem als Josyf Levyc'kyj seine Taufe empfing (HRYCAK 2006: 251).

In der Meistererzählung der ukrainischen Sprachgeschichte kommt Josyf Levyc'kyj wenn überhaupt, dann in einer negativen Rolle vor. In Wirklichkeit war er allerdings ohne Zweifel eine der zentralen und innovationsfreu-

digsten Gestalten der galizisch-ukrainischen Erneuerungsbewegung. Im Jahr 1801 im Dorf Barančyč (heute: Barančivci) bei Sambir als Sohn des griechisch-katholischen Priesters Ivan geboren, absolvierte Levyc'kyj im Jahr 1825 das Wiener Geistlichenseminar zu St. Barbara, bevor er in Przemysł zum Kaplan des Bischofs Ivan Snihurs'kyj wurde und seinen Teil dazu beitrug, dass sich Przemysł in diesen Jahren zum vielleicht vielseitigsten Zentrum der damaligen ukrainischen Erneuerungsbewegung entwickelte. So organisierte er unter anderem im Jahr 1829 in Przemysł einen Kirchenchor, der weithin Vorbildwirkung erzielte (vgl. MOSER 2004: 94). Vor allem aber kümmerte er sich um sprachliche Belange: Im bischöflichen Seminar zu Przemysł unterrichtete er die kirchenslavische Sprache, gleichzeitig bereitete er die erste umfangreiche gedruckte Grammatik des modernen Ukrainischen vor, welche im Jahr 1834 als *Grammatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache* in Przemysł in den Druck ging und von der Nachwelt teils mit Recht, teils in übertriebener Weise und auf anachronistischer Grundlage (s. Abschnitt 4) ablehnend beurteilt wurde. In den Jahren 1835 bis 1844 war Levyc'kyj als Pfarrer in Šklo (Šklo) bei Javoriv tätig. Gerade in dieser Zeit legte er seine wichtigsten Versuche der Übersetzung weltlicher Dichtung in das Galizisch-Ruthenische vor, nachdem er schon im Jahr 1822 in Wien mit einer sprachlich eigenartigen, am Russischen orientierten Übertragung aus dem Deutschen mit dem von Kritikern viel geächteten Titel *Домоболіє проклятыхъ* (mit *домоболіє* als Calque nach dt. *Heimweb*) debütiert hatte (vgl. *ibid.*: 89). Ebenso verfasste er seit seiner Zeit in Šklo völlig neu gestaltete, auf der Volkssprache gründende panegyrische Dichtungen, einige der ersten Arbeiten zur modernen ukrainischen Sprachkultur und Sprachenpolemiken (*id.* 2006/07) sowie mehrere Sprachlehrbücher, darunter auch das wohl älteste bekannte Lehrbuch für Arithmetik in einer Sprache, die als modernes Ruthenisch/Ukrainisch konzipiert war. Am Vorabend der Revolution von 1848/49 übernahm Josyf Levyc'kyj die griechisch-katholische Pfarre in Hrušova bei Drohobyč, bevor er im Jahr 1848 als Lehrer an das Geistlichenseminar nach Przemysł zurückkehrte. Sechs Jahre später übersiedelte er in Ivan Frankos Heimatdorf Nahujevyči bei Drohobyč, wo er bis zu seinem Ableben am 24. Mai 1860 (DR: 225) blieb.

Der sprachwissenschaftlichen Ukrainistik gilt Josyf Levyc'kyj geradezu als Prototyp eines »Jazyčije«-Autors. Selbst wenn man diesen »Pseudoterminus« nicht wie der Verfasser dieser Zeilen für unangebracht und kontraproduktiv halten sollte (v. a. MOSER 2004a), so ist er mit Bezug auf allzu zahlreiche konkrete angebliche »Jazyčije«-Texten besonders deutlich fehl am Platz. Wie in der vorangegangenen Festschrift für den verehrten Jubilar anlässlich seines 65. Geburtstages dargelegt wurde (*id.* 2006), gilt dies etwa für Josyf Levyc'kyjs Panegyrikon für Ivan Snihurs'kyj aus dem Jahr 1837, das be-

sonders deswegen von Interesse ist, weil Panegyrika für die höchsten geistlichen Würdenträger als unumstrittene Hochstilgattung galten, für welche viele die »ruthenische oder kleinrussische« (ukrainische) Sprache für unangemessen hielten.

Die Übersetzungen der Dichtungen Goethes und Schillers stellten zweifellos ebenfalls ein besonderes Wagnis dar: Texte wie der *Erkönig* oder die *Bürgschaft* haben nicht nur einen festen Platz im Kanon des deutschsprachigen Bildungsbürgertums, sondern gehören in den Bereich der deutschsprachigen Weltliteratur. Jede fremdsprachige Bearbeitung, noch dazu im deutschsprachig dominierten imperialen Kontext, ist unweigerlich Bestandteil eines besonders ambitionierten Programms.

2. Poetische Momente?

Im Anhang findet sich der gesamte Text der Übersetzung der *Bürgschaft* parallel zum deutschen Original. Im Unterschied zum *Erkönig* beinhaltet der Druck der *Bürgschaft* nur die Übersetzung, nicht aber die Vorlage. Der Name *Mepoc̆* in der Übersetzung zeigt, dass aus der ursprünglicheren Version übertragen wurde, die, 1798 verfasst, in Schillers *Musen-Almanach für das Jahr 1799* veröffentlicht wurde (erst in der so genannten Prachtausgabe von 1804 war bekanntlich *Möros* erstmals auf den aus Schullesebüchern und späteren Ausgaben weitaus geläufigeren *Damon* geändert worden) (SCHILLER 1799/2011). Im Anhang wird der vollständige Text parallel mit der deutschsprachigen Originalfassung ediert.

Ein Blick auf den Text zeigt, dass Levyc'kyj dasselbe Reimschema wie im Original wählte, nämlich *a-b-b-a-a-c-c*. Auch bei ihm ist das Grundmetrum der in der Regel drei- bis vierhebige Daktylus, und sogar die Verteilung männlicher und weiblicher Reime stimmt mit dem Original überein. Von der dichterischen Kunstfertigkeit des Originals ist Levyc'kyjs Text allerdings weit entfernt. Um nur ein Beispiel zu nennen: Schillers zum Teil gewagtere Enjambements, welche die Dynamik der Rückkehr des Möros unterstreichen, gehörten nicht zum Repertoire des im Wesentlichen »brav« arbeitenden galizischen Erneuerers. In der Tat ist der künstlerische Wert von Levyc'kyjs Übersetzungen – und zwar m. E. im Fall der *Bürgschaft* deutlicher als etwa im Fall des *Erkönigs* – fragwürdig. Die Kriterien sollten jedoch auseinander gehalten werden: Die poetische Kraft der Texte sagt nichts über andere Aspekte ihrer Sprache aus.

3. Die Sprache der Übersetzung

3.1. Alphabet, Orthographie, Lautung

Alphabet und Orthographie der *Порѣка* stehen auf einer konservativen Grundlage. Wie erwähnt, findet man die alte Zierkyrilliza vor, nicht etwa die Zivilschrift, die ja auch in Galizien schon im Vormärz verschiedentlich verwendet, aber von weltlichen und kirchlichen Zensurbehörden nicht gerne gesehen wurde, weil man sie als »russische Schrift« betrachtete. Fast konsequent sind die Akzente angegeben (hier werden sie nur dann wiedergegeben, wenn Zweifel bestehen könnten). Trägt ein auslautender Vokal den Akzent, ist dieser mit dem Gravis bezeichnet; andernfalls steht der Akut. Die Markierung des Akzents hilft in vielen Fällen, die nicht immer ebenmäßigen Verse Levyc'kyjs im Sinn des Verfassers zu lesen; oft findet man charakteristische galizische Akzentverhältnisse vor, die hier nicht weiter erörtert werden sollen.

Die Orthographie ist etymologisch ausgerichtet. Man liest zwar *дєсь* (14) oder *доуѣ* (13) und auch *шо* (12 u. a.), einmal sogar *шобѣ* (16) oder auch *пѣзно* (16)¹, doch andererseits wird sogar etwa *солнце* (14) u. a., auch *чолѣнѣ* (Akk. Sg.) (S. 13; zu *o* s. unten; vgl. ukr. *човен* gegenüber russ. *челн*) ganz etymologisch geschrieben. Levyc'kyjs Grammatik ist zu entnehmen, dass er Wortformen wie *никто* (13) oder *крестѣ* (12) bzw. *крестне* (12) wohl als [kt-] bzw. [kr-] gelesen haben wollte, denn es heißt dort:

In einigen Büchern findet man das *кто* mit *x* geschrieben d. i. *xто*. Wie grundlos diese Orthographie sey, kann sich jeder sowohl aus der Aussprache, als auch aus anderen Endungen überzeugen (LEVYC'KYJ 1834: 91).

Der Reflex aus *o* in neuer geschlossener Silbe wird mit *ѡ* wiedergegeben. Manchmal kommt es zu Inkonsistenzen: Man liest *ѡ Шклѡ* im Titelblatt, aber *пѡйде зо свѣта* (12) sowie *зо скѡлы* (15) im Text. Durch Analogiebildung ist *мѡстокѣ* (13) statt zu erwartendem *мосток* zu erklären. Sicherlich um eine Fehlschreibung handelt es sich in [кѡ] *вѣрной* [ѡслѡзѣ] (16) statt *вѣрнѡй*.

Mit Prothese finden sich *вѡнѣ* (12) sowie *вѡтѣ* (12). Letzteres erscheint im Übrigen auch als Präfix mit Jorschreibung wie in *вѡтѣдаеса* (13), *вѡтѣважнѣ* (14). Keine Prothese wird vor anlautendem *o-* im Personalpronomen notiert, vgl. *Но кѣ вѣчѣрѣ ѡкѣ онѡ и зайдѣ* (13); keine Prothese zeigen auch *отѣ* (15) sowie *осѣ* (12).

1 Die so »mutige« Schreibung in *шо тхѣ* [16] ist zweifellos durch die Stütze des polnischen Vorbildes *co tchu* zu erklären (mit *tchu* zu *dech* < **dѣхѣ*).

Der Reflex aus *e* in neuer geschlossener Silbe wird mit *ь* notiert: *ръкъ* (12), *по намышльню* (12), *скльпѣна* (13) (vgl. ohne »neues Jat'« *мѣченье* [12], *по-кѣшенье* [12]), *по камѣню* (15), *при вечѣрнѣмъ сѣанѣи* (15), *перенѣсь* (14). Dass *ь* als [i] zu lesen ist, zeigt nicht nur *термѣнь* (12), sondern auch die Konjunktion *нѣмѣ* (13; vgl. poln. *nit*). Überraschend ist die Schreibung von *ь* statt *e* in *къ вѣчѣрѣ* (13), die durch Analogiebildung nach dem Nom./Akk. zu erklären ist. Die hämischen Bemerkungen der Zeitgenossen, dass der mitunter eifernde *Levyc'kyj* nicht wusste, wie er seinen eigenen Namen schreiben sollte, sind nicht ganz unberechtigt: Die hier gewählte Schreibform »Іосифомъ Львѣцкимъ« überzeugt nicht, denn *Levyc'kyj* wollte gewiss kein »Li-vyc'kyj« sein.

In den Grundzügen weicht die Orthographie kaum von jener ab, die man aus dem Galizien der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch sonst kennt. Erwähnung verdient allenfalls das Fehlen von *ω*. Auffällig sind außerdem schon auf dem Titelblatt die Schreibungen *Шѣльбера* und *Баллада* mit der zumindest seit dem 19. Jahrhundert vor allem für Galizien (zuvor auch für andere ukrainischsprachige Regionen) typischen Übernahme westeuropäischen Wort- und Namenguts mit weichem *l*, die in der angesichts moderner ukrainischer Verhältnisse ebenfalls erwähnenswerten Doppelschreibung der Konsonanten gleich zweifach notiert wird. Formen mit postponiertem *са/сь* (s. dazu unten) werden größtenteils zusammen geschrieben, mitunter aber auch getrennt, vgl. *минѣтѣса* (12), *свѣнчалась* (13), *стаѣса* (13) neben *вѣрнешь са* oder *жѣритѣ са* (13), *стискаютьѣ са* (16) usw. Die Negationspartikel wird ebenfalls mitunter mit dem Verb zusammen geschrieben, mitunter aber auch getrennt, vgl. *несвѣнчалѣ* (12), *недбаю* (12) neben *не выдамѣ* (12), *не вѣрнѣсь* (12), *не мѣже* (16) etc.

Auch das Temporalsuffix wird im Nom. Sg. Mask. ausschließlich etymologisch mit *-лѣ* wiedergegeben. Die einzige Ausnahme scheint auf den ersten Blick vorzuliegen in *Прѣйшовѣ ко прѣателю рѣкъ* [...] (12). Es handelt sich hier jedoch sicherlich um eine von *Levyc'kyj*s manierten Formen, nämlich um ein Quasi-Partizip oder auch Adverbialpartizip, wie es weder im Ukr. noch in irgendeiner anderen der in Frage stehenden Sprachen gebräuchlich ist – die einzig mögliche ukrainische Form wäre ukr. *прѣйшовши*, vgl. auch hier im Text *добѣвши* (14), die nächstliegende russ. Form *пришед*. Auch in seiner Grammatik behauptet *Levyc'kyj*, man könne in der »ruthenischen oder kleinrussischen« Sprache präteritale Adverbialpartizipien auf *-вѣ* bilden (*LEVYC'KYJ* 1834: 121).

Kurios erscheinen die Schreibungen mit *Jor* nicht nur etymologisch »richtig« in *называлѣса* (12), *дочекалѣса* (13), *пѣстѣлѣса* (13), sondern auch in *продолѣжити* (12), *толѣчѣсь* (15), *дѣлѣгѣи* (15), *дѣлѣго* (16), *полѣный* (15), aber *молчѣ* (13), gegenüber *стагнѣвши* (12), *махнѣвши* (14) u. a. Reine or-

thographische Konvention wie etwa im modernen Russischen ist es, wenn man in der 2. Pers. Sg. Präs. Jer nach *и* liest, vgl. *вѣрнешь са* (12), *бѣдешь* (12) gegenüber der Partikel *-жѣ* wie in *однакожѣ* (12), *ногажѣ* (13), *рѣкажѣ* (13) oder der Schreibung im Prädikativum *можѣ*. Obwohl *стражѣ* [... *строгѣ*] (13) als Femininum behandelt wird, steht im Auslaut Jor (13). Um einen Druckfehler handelt es sich eindeutig im Auslaut von *прихильндѣсть* (15). Jor wird schließlich auch wie im modernen Russischen im hart auslautenden Präfix vor anlautendem [j] geschrieben in *обѣемйлѣ* (13; bekanntlich wird im modernen Ukr. in derselben Funktion der Apostroph gesetzt).

Rein orthographischer Natur ist auch die Frage der Schreibung von passiven Präteritalpartizipien. In adjektivischer oder appositiver Funktion werden sie im Text immer nach der spätkirchenslavischen Konvention mit *-нн-* geschrieben: *знѣрѣннѣ силы* (15), *крѣстѣ вознесѣннѣ* [...] *нарѣдомѣ барзѣ обѣстѣлѣннѣ* (16); *вѣнѣ же роспыхѣе скѣлѣннѣхѣ* (16), *и смѣтрѣтѣ скѣлѣннѣ долѣго на нѣхѣ* (16). Im Prädikat tritt hingegen die Schreibung mit *-н-* auf, vgl. *бѣдешь дѣннѣ* (12) sowie *встѣмѣ дѣмѣ егѣ прихильндѣсть* [sic!] *знѣна* (15). Auf dem Titelblatt findet sich die Form mit *-н-* auch in appositiver Funktion *Шѣльбера: Борѣба со смокомѣ (Романчикѣ) и Порѣжа (Балѣлада), Сѣ нѣмецкого на языкѣ Галицко-Рѣсскѣй переведены Йосифомѣ Львѣйцкимѣ зѣ Шкѣла*. Bemerkenswert ist hier außerdem die auch für ruthenische Verhältnisse merkwürdige Endung *-ы* im Nom. Pl., die quasi für das Femininum zu stehen scheint. Zu den manierierten adjektivisch gebrauchten Partizipien des Typs *собрѣнѣ* vgl. Abschnitt 3.3.

Als Fehlschreibung ist *порѣвае* (13) zu betrachten, vgl. später die etymologisch richtige Form *вѣрывае* (14); ebenfalls fehlerhaft mit *и* statt *ы* ist *выпливѣ* (14), andererseits mit *ы* statt *и* sowohl *вѣрынае* (15, vgl. poln. *wyrzupać* < *rip-*) als auch *лыновѣ* (Instr. Sg.) (16), vgl. ukr. *лынва*, poln. *linda* (zu *lina*, aus mhd. *līne* »Leine«; ETYMSLOV III, s. v. *лина*, *линва*). Sicherlich als [y^e] ist <i> auszusprechen in der traditionellen ksl. Schreibform *мѣрѣ* in *и дѣкѣ Богови мѣра* (14) – hier kommt ja der Orthographie angesichts des homonymen *мѣрѣ* »Friede«, »Welt« bedeutungsunterscheidende Funktion zu. Wohl für [j] steht <i> in *три дни* (12, 2x), *тѣни* (Akk. Pl.) (15), ziemlich sicher für [y^e] steht <i> in *трѣтимѣ* (16), da es im galizischen Ukr. keine weichstämmigen Adjektiva gibt (s. Abschnitt 3.2.). Für die adjektivische und partizipiale Endung des Nom./Akk. Pl. ist wiederum die Aussprache [i] anzunehmen in *води глѣбоки, трѣщащи склѣпѣнѣ каблѣки* (13) u. a. Durchaus überraschend ist die Schreibung der Pronominalendung *тѣ слова* (Akk. Pl.) (15); man hätte eher *тѣ* erwartet, und zwar umso mehr angesichts der Schreibformen *всѣ* (14), *встѣмѣ* (Dat. Pl.) (15).

Um einen Manierismus handelt es sich bei der quasi-femininen Endung des *l*-Partizips in *а зѣ трѣдной, прикрой дороги, / Ослѣблы трѣмѣщици но-*

zu (14) – eine gewisse Vorbildrolle des Polnischen ist hier nicht ganz auszuschließen. Als Fehlschreibung muss wohl *спени* [повѣда] (13) statt *спини* (vgl. *спинае* [14]) gelten; sie ist durch die [e]-artige Aussprache des etymologischen *i* vor allem in nicht-akzentuierter Position zu erklären. Ebenso falsch ist angesichts von Levyc'kyjs orthographischem System die Schreibung *цѣвковъ* (13) – wie u. a. poln. und russ. *севка/цевка (цѣвка)* zeigt, hätte er *ѣ* schreiben müssen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach für [ji] steht *и* in *ихъ* (15, 16) und *цѣлои* (Gen. Sg. Fem.) (16). Für die adjektivische Endung ist in Betracht zu ziehen, dass in anderen Fällen <й> notiert wird, etwa im Dat./Lok. Sg. Fem. -ѣй. Auch im Gen. Sg. Fem. begegnet allerdings an anderer Stelle wohl aus metrischen Gründen gewähltes »gekürztes« -ой (*зѣ трѣдной, прикрой дороги*, 14), welches in manchen galizischen Dialekten durchaus authentisch ist.

Erwähnung verdient die Schreibung des Präfixauslautes in *вѣ роспачи* (13) und *роспыхае* (16), die lautliche Verhältnisse widerspiegelt: Zwar kommt es in der ukr. Standardsprache in dieser Position zu keinem Verlust der Stimmbeteiligung, doch gilt dies für einen Großteil der galizischen Dialekte nicht. Andernorts liest man freilich nicht nur *безпечнѣ* (16), sondern auch *розсѣало* (14).

Inkonsequent ist die Schreibung der nicht-ruthenischen Adverbialpartizipien auf -а. Nach ihrem wohl zufällig übereinstimmenden Stammauslaut *ч*-steht einmal <а>, einmal <а> geschrieben: *И объѣмль го прѣтель молчѣ* [!] (13) und *И отъ! зо скалы смѣлѣнко мрѣчѣ / Жрѣдлѣва вѣрынае вода* (15). Dies könnte mit der erhaltenen Weichheit von *ч* in mehreren galizischen Dialekten zu tun haben.

Immer von Interesse ist im ukr. Kontext die Schreibung der alten Gruppen auf -СѣV (Typ *знанѣ*), die nie in der ksl. Form mit vokalisiertem »gespanntem« Jerlaut nach dem Typ *знаніе*, fünfmal in der traditionellen ostslav. Form nach dem Typ *знанье* und achtmal nach dem ukr. Typ *знаня* (also wie im Galizischen üblich ohne Geminierung) auftreten: [*Шанѣи*] *житѣ* [свое власне!] (15), *мѣченѣ* (12), *пожѣиенѣ* (12), *старанѣ* im Reim mit *сѣанѣи* (15); *житѣ* (Akk. Sg.), *житѣ* (Gen. Sg.) (14), *лістѣ зелѣне* (15), *повѣда* (Akk. Sg.) (13), *по камѣню* (15), *склѣпѣнѣ* (13) sowie *смѣанѣ* (Nom. Pl.) im Reim mit *ѣновѣна* (Gen. Sg.) (15). Außerhalb des Suffixes findet sich die Notation des ksl. oder aber auch poln. Reflexes *ліє* (13), vgl. standardukr. *лє* [l':e], poln. *lije*; im präteritalen Passivpartizip steht *заланѣ* (16, vgl. poln. *zalanu*). Der ksl. Reflex begegnet außerdem in der Wurzel in *при* [...] *сѣанѣи* (15, vgl. ukr. *сяти* [veraltet auch *сяти*], *сяиний*) etc.

Ganz nach den ukr. (und weißruss.) Regeln alternieren *и/ѣ/и*, vgl. *вмерѣти* (12) statt *ѣмерѣти* (vgl. auch 14), [*но если*] *вѣ тебе* [*ласкѣмаю*] (12) statt *ѣ тебе*, *вѣиню* (12) statt *ѣиню*, *до лѣса вѣткае* (14), *вамѣ са вѣало* (16),

außerdem *высоко солнце вже* (13), *не вѣбавишь вже прїятела* (15), *и плачѣтъ зѣ втѣхи сердѣчнѣ* (16) gegenüber *оуже* (13) am Versbeginn. In diesem Zusammenhang ist wohl auch der Gebrauch von *во* zu betrachten, das zunächst wie die Präposition mit dem vokalisiertem hinteren Jerlaut im Präfix nach den Traditionen des Zweiten kirchenslavischen Einflusses aussieht, aber gerade bei *Levyc'kyj* einen anderen Hintergrund haben könnte. Im Gedicht finden sich folgende Belege:

Но вирь мѣстокъ поривае, несе, / И быстро дре фала во штѣки (13); Стрѣловь во кипащїи мѣчесь валѣи, / Самь сильными мчитъ са рѣками (14); Во радости нїцѣ са схилѣе, / Знѣренныи силы скрѣплае (15); Колѣ ю пѣзно не мѣжна егѣ, / Спасти во тѣ злѣю годїнѣ, / То радѣ съ нимѣ рѣзомѣ загїнѣ (16); Тепѣрь же прїймѣтъ ма мѣжи свойхѣ, / Най бѣдѣ ко вѣрной [!] ѣслѣзѣ, / Хотѣ трѣтимѣ во вѣшѣмѣ соѣзѣ (16).

Sollte *Levyc'kyj* wirklich die Lautform *во* im Sinn gehabt haben, so handelt es sich in der Tat um den besagten Kirchenslavismus. Zumindest zusätzlich scheint sich jedoch etwas anderes dahinter zu verbergen: *Levyc'kyj* benötigte den Silbenwert der Präposition, den er ja aus dem Ukr. leicht beziehen konnte, da dort bekanntlich altes *вѣ* vor allem in prä- und umso mehr in interkonsonantischer Position zu *и* vokalisiert wird. In der Tat steht *во* in allen fünf Fällen wohl nicht zufällig vor einem Konsonanten. Es widerstrebte dem vor allem in orthographischen Belangen konservativen *Levyc'kyj* jedoch, *ѣ* statt *вѣ* zu schreiben, und so wählte er die von der kirchenslavischen Tradition abgesicherte Schreibform *во*. An anderer Stelle gelangte *Levyc'kyj* offensichtlich aus metrischen Gründen zu einer aus ukrainischer Sicht wenig zufriedenstellenden Lösung, indem er in interkonsonantischer Position (nicht silbentragendes) *вѣ* in *вѣнѣ вѣ брѣмѣ* (15) notierte. Außerhalb dieser Debatte steht die Präpositon *вокрѣзѣ* (15), bei der es sich offensichtlich um eine Entlehnung aus dem Russischen oder Kirchenslavischen handelt.

Man könnte nun mit Recht einwenden, dass *Levyc'kyj* doch in *прїйшовѣ ко прїятелю рѣкѣ* (12), *а вѣнѣ при лѣсцѣ ко мостѣиде* (13) sowie *най бѣдѣ ко вѣрной [!] ѣслѣзѣ* (16) auch dreimal *ко* schreibt. Hier ist zu bedenken, dass die Präposition *кѣ* als solche *Levyc'kyj* wahrscheinlich weitgehend fremd war, da sie in den meisten ukrainischen Mundarten und so auch in Galizien weitgehend außer Gebrauch gekommen ist (NIMČUK 1978: 424–425). Was die Galizier kannten, ist der (auch im Lemkischen verwendete) Polonismus *ku*, den jedoch viele nicht schreiben wollten, weil sie sich der Polonizität der Form bewusst waren. In der Tat ist ja auch poln. *ku* bekanntlich nicht allzu frequent, da es zumeist durch *do* vertreten wird. Sehr gebräuchlich ist jedoch, wie eine rasche Google-Suche bestätigt (Recherche am 5.1.2011), die Wendung *ku usłudze*, die ja im dritten Beleg in ruthenisierter Form vorliegt.

Auch mit Personenbezeichnungen wie in *ku przyjacielowi* ist *ku* durchaus zu finden, wenngleich zumeist mit Verben der Bedeutung »sich zuwenden«, »sich wenden an«. Die Verbindung mit einem Nomen loci wie konkret *ku mostowi* findet sich ebenfalls, etwa in Henryk Sienkiewiczs Werken. Dreimal verwendete Levyc'kyj auch *кѣ*: *кѣ Тиранѣ* (12), *кѣ вѣчьрѣ* (13), *вамѣ са вдало*, / *Же кѣ вамѣ се сѣрдце пристало* (16). Die ihm eigentlich vertraute Form war aller Wahrscheinlichkeit nach das vor allem in bojkischen (und transkarpatischen Dialekten) gebräuchliche *id* (+ Dat.), vielleicht kannte er von den lemukischen Vertretern der Diözese Przemyśl auch das dort gebräuchliche *ry*, *κ*, *г* (*ibid.*: 425); er ging jedoch davon aus, solche Formen »nicht schreiben zu dürfen«, und wählte traditionelles *кѣ*, vgl. aber auch nicht-delimitatives *до* in *до Зевса все рѣки вноситѣ* (13), *решта же до льса втькае* (14), *велитѣ их до себе привести* (16).

Im einzigen Beleg für *со* in der Präposition: *Рѣкажѣ стаеѣа моремѣ со громомѣ* (13) gibt es nichts daran zu rütteln, dass Levyc'kyj auf die ksl. Form zurückgriff, wohl, um das Metrum zu wahren. Eine Google-Suche (5.1.2001) ergibt keinen einzigen Beleg für *зі громом*, jedoch »ungefähr 3.830 Ergebnisse« für *со громом*, von denen sich freilich fast alle auf *Туча со громом* (ѣ) *сговаривалась* aus Nikolaj Rimskij-Korsakovs *Снѣгурочка* beziehen.

Im Präfix finden sich fast ausschließlich Formen des Typs *вноситѣ* (13), *взмагаеѣа* (14) ohne Jervokalisierung, wobei die etymologische Schreibung als Wiedergabe der ukr. Aussprache [zn-], [zm-] interpretiert werden könnte. Einzige Ausnahme ist *вознесѣнный* (16), dessen kirchenslavischer Charakter sich jedoch durch den Bezug auf *крестѣ* leicht erklären lässt, selbst wenn das Kreuz hier nicht im christlichen Kontext steht.

Die Möglichkeit der für das Ukr. spezifischen Alternation *i-j* (mit *j* in bestimmten Positionen nach Vokalen) nützt Levyc'kyj nicht nachweislich: In *А вѣнь при льсць ко мостѣ иде* (13) steht nicht fest, ob *иде* als [ide] oder [jde] zu lesen ist; dasselbe gilt für die Konjunktion in *Минае часѣ, высоко солнце вжѣ, / Но кѣ вѣчьрѣ какѣ онѣ и зайдѣ [...]* (13). Auch auf die mit *z* alternierende Form *iz* greift Levyc'kyj im passenden Kontext nicht zurück in *И вѣрндѣсть зѣ мыслей не бѣде пѣстѣихѣ* (16) – er bevorzugt die deutlich nicht-ksl. und nicht-russ. Form, während *изѣ-* nur als Präfix in einem lexikalischen Russismus in [*царѣ хитрѣйшихѣ*] *измѣнѣ* (12) vorkommt. Die ukr. Form findet sich auch in *зѣ цѣлого горла* (13) sowie *зѣ тогѣ* (16), wobei Levyc'kyj für etymologisches **ъзѣ* in jedem Fall – im galizischen Ukr. kommt es hier ja anders als im Standardukr. vor stimmlosen Konsonanten durchaus zur Entstimmlichung – den stimmhaften Konsonanten notiert. Geht es jedoch um etymologisches *сѣ*(-), so schreibt er ebenfalls unabhängig von der Aussprache *с*(ѣ), vgl. *сѣ гѣрѣ* (13), *снѣсти* (16) oder auch *сгине* (12). Wie die Form *собрѣнѣ* (16) ausgesprochen werden sollte, ist nicht mit Sicherheit zu sagen.

Da die Form auch morphologisch von der Volkssprache abgehoben ist (s. unten), mag Levyc'kyj die ksl. Lautung [sobran] statt ukr. [zi-] oder [zo-] bevorzugt haben.

Dennoch spielt das Kirchenslavische auch im lautlichen Bereich keine besonders große Rolle: Man findet keinerlei ksl. Liquidametathesen, vgl. die bestimmenden Volllautformen wie *сторожа* (12), *пóворотъ* (15), *дéревъ* (Gen. Pl.) (15), *подорóжныхъ* (Gen. Pl.) (14, 15), *сполóшенный* (15), *перенѣсъ* (14), *въ тдѣ переправъ* (14) u. a. Stößt man auf Metathesen, so handelt es sich um Polonismen wie *пребранный* (12, vgl. poln. *przebrany*), *стражъ* (13, vgl. den poln. Bohemismus *straż*), *влáсне* (15, vgl. den poln. Bohemismus *wláśnie*).

Für **tj* und **dj* finden sich fast ausschließlich die authentisch ukr. Reflexe (vgl. auch *межъ* [15] und *мѣжи* [16], nicht etwa *мѣждѣ*) – die einzige Ausnahme bilden die auch in morphologischer Hinsicht buchsprachlich-kirchenslavisch markierten aktiven Präsenspartizipien.

Nach Zischlauten und *й* steht *o* wie in *чогò* (14), *чогòсь* (12) – eine Ausnahme bildet *съ челоувкомъ* (13), das jedoch als funktionaler Kirchenslavismus gelten kann (vgl. standardukr. *чоловік* neben vorherrschendem *людина*).

Die Anlautmetathese findet sich nur in der nicht-ksl. Form, vgl. *розбити* (12) sowie die erwähnten *розсѣало* (14), *росныхѣе* (16), *въ роспачи* (13).

Levyc'kyjs Schreibung suggeriert eine harte Aussprache der dentalen Affrikate [c] in *зъ сѣрдца* (13), *солнца мигъ* (15), *r'* bleibt im Silben- oder Wortauslaut weich wie in *царь* (12, 2x), *тепѣрь* (15, 16), *тепѣрька* (15) sowie in *борьба* (Titelblatt, vgl. standardukr. *borot'ba*). In *ездò* (15, 16 u. a.) ist anlautendes *je-* wie im galizischen Ukr. erhalten, in *насѣпрòтивъ* (15) wurde auslautendes *-ѣ* nicht nur geschrieben; es sollte wohl auch – als [ɥ] – gesprochen werden. Alle in diesem Absatz genannten Merkmale unterscheiden sich von den Normen der modernen ukrainischen Standardsprache, sind aber in mehreren galizischen Dialekten anzutreffen.

3.2. Flexionsmorphologie

Die substantivische Flexion entspricht weitgehend dem galizischen Schreibusus der Zeit. Auffällig ist die Dat.-Endung des belebten Maskulinums *-и* statt des gerade in Galizien vorherrschenden *-ову* (standardukr. *-ови*) in *къ Тиранѣ* (12) neben *царѣви* (12) und *Богови* (13). Der Gen. unbelebter Maskulina auf *-и* wie im lexikalisierten *до домѣ* (13, vgl. standardukr. *додому*) passt ins Bild. Weichstämmige Maskulina und Neutra enden im Lok. Sg. in der Regel auf *-и*, vgl. *въ тѣню* (15, vgl. poln. *w cieniu*), *по намьшлѣню* (12), *по камѣню* (15), wie dies besonders in den galizischen Dialekten üblich ist. In *при*

[...] *сі́ньи* (15) fügte sich *Левуц'ку* wohl nicht nur dem Reimzwang (angesichts von *старáнье*), sondern er konnte die im Ksl. allein übliche Endung für dieses Wort auch aus anderen Gründen bewusst gewählt haben. Die Dualform *очі́ма* (15) ist im Ukr. bekanntlich bis heute üblich. Die Palatalisierung des Velars in *на бѣрезѣ* (13) u. a. ist hier selbstverständlich authentisch und nicht etwa (wie im Russ.) als funktionaler Kirchenslavismus zu werten.

Am auffälligsten in der substantivischen Flexion sind sicherlich die femininen Instr.-formen auf *-ов* wie in *порѣжковѣ* (12), *товѣ мѣжковѣ* (12), *смѣртевѣ* (14) u. a. Nur ausnahmsweise begegnen »volle Formen« wie *пáлкою* (14).

Beim Adjektiv und adjektivischen Pronomen konkurrieren Lang- und Kurzformen, vgl. im Neutrum *ліста зелéне* (15), *житѣе свое влáсне* (15) sowie *крестне мѣченѣе* (12) neben *злое мое покѣшенѣе* (12) in zwei aufeinanderfolgenden Versen, im Femininum *жрѣдлѣваа вѣрынае вода* (15) gegenüber *фáла сі́на* (14), *всѣмѣ дѣмѣ егѣ прихíльнѣстѣ* [sic!] *знáна* (15, also prädikativ, doch für das Ukr. hat das wenig Bedeutung), *во тѣ злѣю годíнѣ* (16) gegenüber *пѣдѣ стражѣ вѣтѣдаеса стрѣжѣ* (13), im Plural *во кипáции мѣчесь валы* (14), *трѣтáции ноги* (14), *знѣрѣнными силы* (15), *дѣлѣгíи тѣни* (15) neben *воды глѣбоки* (13), *трѣщáци склѣпѣнна каблѣки* (13). Charakteristisch für die südwestukr. Dialekte ist schließlich auch das Fehlen weicher adjektivischer Stämme, vgl. *трѣтого* (13), das sicher schwerer als das erwähnte, orthographisch letztlich zweideutige *трѣтимѣ* (16, s. o.) wiegt, s. auch *подо-рожныхѣ* (14, 15), *послѣдний* (13), *сі́на* (14).

Das Gradationssuffix erscheint als *-ijs-* wie in *хитрѣйшихѣ* (12), ganz so, wie es in den galizischen Dialekten durchaus üblich ist (vgl. hingegen standardukr. *хитріший*).

Auffällig sind die vergleichsweise häufig gewählten Adverbien auf *-нь* [-i], vgl. *безкарнь* (12), *вѣтѣважнь* (14), *безпѣчнь* (16), *сердѣчнь* (16), denen polnische Adverbien auf *-e* entsprechen.

Personalpronomina erscheinen als enklitische Formen, wie man sie aus den südwestukr. Dialekten kennt, vgl. *ми* (12; häufig, es gibt kein akzentuiertes *менѣ* o. *Á.*), *ма* (16), *за ма* (14), *за тá* (12), *го* (12, mehrfach) neben *егѣ* (15, ebenfalls mehrfach), *мѣ* (15). Die Vollformen finden sich nur in der ukr. Form wie in *мене* (12), *вѣ тебе* (12), *тобѣжѣ* (12), vgl. auch reflexives *до сѣбе* (16), *собѣ* (14). Das reflexive Possessivpronomen zeigt die spezifisch ukr. gekürzte Form *свогѣ* (16).

Demonstrativpronomina zeigen Langformen wie *мое* (12, 14). Diese Form ist zu *той* zu stellen, wohingegen redupliziertes *момѣ* (die südwestukrainischen femininen und neutralen Entsprechungen dazu wären *тома*, *томо*) in der spezifisch galizischen Form *тамтѣомѣ* (13, vgl. poln. *tamten*) begegnet. Daneben findet sich auch galizisches *сей* wie in *вѣ сей часѣ* (12), vgl. standardukr. *цей* (< [o]t sej), *се мѣсто* (12) sowie *се сердце* (16). Schließlich

tritt das selten belegte dialektale Pronomen *ной* (12) auf, das man auch in Jevhen ŽELECHIVS'KYJS Wörterbuch (1886) findet, vgl. s. v. *ной, ная, ноє: »pron. det. s. оний, нон«* sowie s. v. *нон, нона, ноно: »s. онон«*. Charakteristisch für galizische Dialekte ist schließlich die Form des Negationspronomens *ничъ* (14).

Unter den Numeralia verdient nicht nur die Form *двохъ* (15) Erwähnung, sondern auch das in den galizischen Dialekten stark verbreitete *трьохъ* (14).

Infinitive enden auf *-ty*, Verben des Typs urslav. **pekti* erscheinen in der für Galizien charakteristischen Form als *забѣчи* (vgl. standardukr. [nicht auf die ursl. Lautung zurückgehendes] *забігти*). In der 3. Pers. Sg. Präs. steht authentisches *-e* wie in *бѣде* bzw. hart auslautendes *-yt* wie in *мовитъ* (12). Der Imp. der 2. Pers. Pl. endet, wie in den galizisch-ukr. Dialekten üblich, hart auf *-it* in *пріймѣтъ* (16). Besondere Erwähnung verdienen die Formen mit Reflexivpartikel des Typs *смѣса* (12), in denen, wie in den galizischen Dialekten üblich, vor der Partikel kein *-t-* steht (vgl. hingegen standardukr. *смѣється*). Dass die Reflexivpartikel wie in *вѣрнѣсь* (12), *толчѣсь* (15) oder *свѣнчалась* (13) auch in der gekürzten Form erscheint, hat mit den galizischen dialektalen Verhältnissen wenig zu tun; Levyc'kyj betrachtete die Kürzung offensichtlich als *licentia poetica* – die Form *-s'* kannte er keineswegs nur aus dem Russischen, sondern ebenso aus dem ukrainischen Schrifttum des Russischen Imperiums, über das er sich ja spätestens im Zusammenhang mit der Abfassung seiner Grammatik einen recht guten Überblick verschafft hatte (vgl. LEVYC'KYJ 1834: XIX u. a.). Die Reflexivpartikel steht im Übrigen fast immer beim Verb, ist aber in typisch südwestukrainischer Manier grundsätzlich mobil wie im Polnischen, vgl. *во радости ніцъ са схилѣе* (15), *вамъ са вдало* (16). Auch gekürztes *-s'* ist bei Levyc'kyj mobil, vgl. *Тирѣнь не бѣдѣсь хвалити зъ того* (16) sowie *колісь вѣтѣвернѣлъ опрѣшкѣвъ вѣдрѣ* (14).

Keineswegs selbstverständlich sind für das galizische Schrifttum der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Schreibungen des Typs *бѣлъ* (13), *прѣбѣвае* (14) statt *былъ, прѣбывае*. Der Präsensstamm von *знати* lautet wie im Standardukr. *женѣсь* (15), daneben findet sich *зѣнитъ* zu standardukr. *зонити* (vgl. poln. *znać, zonić*). Als Form der 2. Pers. Pl. Präs. von *хотѣти* begegnet mit dem Standardukr. übereinstimmendes *хѣчете* (14).

Wie im modernen Standardukr. findet sich *прѣйшовъ* (12), *прѣйдѣ* (12), *прѣймѣтъ* (16) mit *j* in der Wurzel.

Eigenartig ist das unmittelbare Nebeneinander der beiden Formen *шѣмѣтъ, стрѣмѣтъ* (13), die also in der 3. Pers. Pl. Präs. einmal epenthetisches *l* aufweisen (wie im Standardukr.), einmal nicht.

Der Imp. der 1. und der 3. Pers. wird mit der spezifisch westukr. Partikel *най* gebildet, vgl. *Най двѣ забивѣе офѣры* (16), *Най бѣдѣ ко вѣрной* [!] *вслѣзъ* (16).

Levyč'kyj verwendet mehrfach aktive Präsenspartizipien, die im Standardukr. grundsätzlich vermieden werden, weil sie in der Volkssprache keine lebendige Kategorie darstellen. Dies gilt grundsätzlich nicht für die präteritalen Adverbialpartizipien, wobei bereits auf die manierierte Form *прійшовъ* (12) neben den authentischen Entsprechungen des Typs *чѣвши* (16) hingewiesen wurde. Ganz unmöglich sind im Ukr. die erwähnten hier auftretenden präsentischen Adverbialpartizipien oder Partizipien des Typs *молчѧ* (13), die Levyč'kyj in seiner Grammatik (*ibid.*: 120 f.) ausdrücklich als Hochstilelemente bezeichnet – authentische ukr. Äquivalente des Typs *мовчаць* kommen im Text nicht vor.

Ebenfalls ganz besonders charakteristisch für die westukr. Dialekte ist das Präteritum mit erhaltenen Personalformen in der 1. und 2. Pers. Hier findet es sich in authentischer Form, u. a. in *чогось тѣ съ кинжаломъ залъзъ* (12) oder *закъ ѣмъ законно сестры несвѣнчалъ* (12), *Кобѣмъ но хотъ дла прѣателя жилъ* (14) u. a.

3.3. Syntax

Auf der syntaktischen Ebene fällt gleich zu Beginn der Relativsatz mit *що* auf in *къ Тиранѣ, що называлъса Денисъ* [...] (12). Dies gilt als die »volks-sprachlichste« Variante eines Relativsatzes, dabei gibt es im gesamten weiteren Text nur einen weiteren Nebensatz dieses Typs, und zwar mit *кто* (*хто*) in *Бо то ѧ, за когдъ вѣнъ рѣчилъ* (16). Relativpronomina wie etwa *который*, *акій*, ksl. *иже* etc. fehlen. Einem Konditionalsatz mit der im Standardukr. unüblichen Konjunktion *если* steht in derselben Strophe ein konjunktionsloses konditionales Satzgefüge in *Не вѣрнѣсь? вѣнъ гине товѣ мѣковъ* (12) gegenüber. An anderer Stelle findet sich die prononciert westukr.-volks-sprachliche Konjunktion im soeben zitierten *Кобѣмъ но хотъ дла прѣателя жилъ* [...] (14).

Ansonsten finden sich Nebensätze eher selten. Zu nennen sind temporale Nebensätze mit den Konjunktionen *закъ* (*не*) (12), *докъ* (*не*) (12), *нѣмъ* (13, aus dem Poln.), *скоро* (15, wohl auch aus dem Poln.), *якъ* (12, 13), *коли* (14, 16), ein Finalsatz und eine finale Infinitivgruppe mit der Konjunktion *жебы* (13), indirekte Reden mit *же* (15, 16 [2x]) sowie *шобы*, ein indirekter Frage-satz mit *якъ но* (13) u. a. Unter Umständen steht die Konjunktion nicht in Initialposition, wie etwa im folgenden Beispiel: *Но къ вѣчърѣ якъ ондъ* [die Sonne, M. M.] *и зайде, / Ногѧжъ моѧ до мѣста не встѣгне, / То мѣй прѣатель про мѣне застигне* (13).

Insgesamt ist der Text vor allem parataktisch geprägt, was auch durch asyndetische Konstruktionen wie in »*Чогдъ вы хочете*« *крикнѣлъ сблѣднѣлъ*

(14) unterstützt wird. Gerne setzt Levyc'kyj adversatives *же/жѣ*, wie schon die oben zitierten Verse aufzeigen. Mitunter finden sich Konstruktionen mit Adverbialpartizipien wie in *Спыталъ мѣдителъ стагнувши ось нѣсъ* (12), *сдѣлѣвшиса пѣзнае самъ пана* (15), oder Partizipialkonstruktionen wie in *И быстро дре фала во штѣки, / Треща ци склѣпѣна каблѣки* (13) u. a.

Im nominalen Prädikat wird der Instrumental des Substantivs so eingesetzt, wie man sich dies im ukr. Bereich erwartet, vgl. *Пріятель мой бѣде порѣковъ* (12). In *смѣса царь хитрѣйшихъ измѣнѣ* findet sich eine in dieser Form kaum gebräuchliche Verwendung eines Genitivus qualitatis. Im Passiv wird, wie im Ukr. üblich, die Langform des präteritalen Passivpartizips gewählt wie in *въ закладѣ царевѣ бѣдешъ дѣный* (12). Nach den ukr. (mit den poln. übereinstimmenden) Regeln findet sich die Präposition *по* auch in distributiv-lokaler Bedeutung mit dem Lok., nicht wie im Russ. mit dem Dat.: *Собѣ по лѣсъ свавѣльно крѣжитѣ* (14). Im Südwestukr. üblich ist der mit dem Poln. übereinstimmende Gebrauch von *о* mit dem Akk. wie in *о то жита ю недбаю* (12). Charakteristisch für das Ukr. (und Poln.) ist auch die Verbalrektion in *Тиранѣ не бѣдешъ хваліти зѣ тогѣ / Же пріятель сдѣрѣлъ самъ свогѣ* (16).

Ein Fragesatz wird mit der volkssprachlichen Partikel *чи* (westukr. dialektal auch *ци*, vgl. poln. *czy*) eingeleitet in *Чи маю тѣгѣрко стогнати, / Пріятель же за ма вмерати?* (14). Ganz umgangssprachlich ist auch der Infinitivsatz in *И чѣти! же щось ги течѣ сюдѣ / Шѣмитѣ толѣчѣсь по камѣню* (15). Beachtung verdient der Accusativus cum infinitivo im folgenden Satzgefüge: *И скоро хѣче минѣти ихѣ, / Въ тѣмѣ чѣе тѣ слова казати* (15). In solchen einfachen Strukturen wie *ich höre jemanden sagen* o. Ä. ist der AcI bekanntlich nicht als Latinismus zu betrachten, ist er doch auch in südpolnischen Dialekten bestens belegt.

Erwähnung verdient die mitunter manierierte Wortordnung wie in *самъ пѣдѣ стражѣ вѣтѣдаеса стрѣжѣ* (13), *Великій солнце розсѣало жарѣ* (14), *Всѣмѣ дѣмѣ егѣ прихѣльнѣстѣ [sic!] знана* (15) oder *Межѣ лѣста зелѣне солнца мигѣ / Женѣсь, и вокрѣгѣ долины, / Малѣе, дѣревѣ дѣлѣгѣи тѣни* (15) u. a. Betrachtet man sie als legitimes poetisches Mittel, so wirken doch andererseits die beiden Kurzformen der präteritalen Passivpartizipien im folgenden Abschnitt aus heutiger Sicht verfehlt: *И чѣдѣсь нѣрѣдѣ на дѣво собранѣ, / Стискаютѣ са ѣба безпѣчнѣ, / И плѣчѣтѣ зѣ вѣтѣхи сердѣчнѣ. / Зѣ прѣтѣмнѣхѣ кѣждѣй слѣзѣми залѣнѣ* (16). So gerne Levyc'kyj solche Kurzformen verwendete, so fremd waren sie dem Ukr. des 19. Jahrhunderts, zumal in attributiver Position (wie im ersten Vers des soeben zitierten Abschnitts). Insgesamt steht jedoch auch der Satzbau des Texts auf einer klar ukr. und eindeutig nicht russ. oder ksl. Grundlage.

3.4. Lexik

Vor allem Funktionswörter unterstreichen die galizische Ukrainizität des vorliegenden Texts. Es sind dies im Einzelnen, abgesehen von bereits besprochenen (*ной, тамтотъ, къ/ко* etc.) oder gemeinslav. Lexemen (*въ/во, за, до* etc.): *що* (12), *гнетъ* (12; vgl. *гнетъ* bei ŽELECHIVS'KYJ), *тѣ* (12), *ось* (12), *ю* (12 u. a., mehrfach, aus poln. *już*, bei ŽELECHIVS'KYJ ohne weiteren Vermerk mit einem Verweis auf Ivan Franko), *докъ* (12), *икъ* (12, 13 u. a.; modal, temporal), *однакожъ* (12), *закъ* (*не*) (12), *докъ* (*не*) (12), *та* »und« (13, mehrfach), *нѣмъ* (13), *жебѣ* (13, 2x, aus poln. *żeby*); *що* in *що хвила* (13, 15), *що разъ* (14) und *що тхѣ* (16); *по надъ* (13); *но* als Partikel in [*зритъ икъ*] *но* [*можъ бѣкомъ забѣчи*] (13) und [*кобѣмъ*] *но* [*хоть дла прѣтеля жилъ*] (14); *все* »immer« (13), *про* »für« in *мѣй прѣтель про мене застигне* (13, neben *за ма* [14]), *однако* (14), *тогда* (14), *десъ* (14), *крѣмъ* (14), *ничъ* (14), *днесъ* (14, im Westukr. authentisch), *ндѣжъ* (14), *кобѣмъ* (14), *хоть* (14, mehrfach), *коли* (14, 16), *чи* (15), *же* (15, Konjunktion, mehrfach, aus poln. *że*), *ги* (15, bei ŽELECHIVS'KYJ als »*ги, гий, ги, гий* mit einem Verweis auf *гей*, wo es heißt: »*гей, гейби, гей коли сопъ*. wie, gleich wie, gleichsam, wie wenn, als wenn, gleichsam als«, *отъ!* (15), *ницъ* (15), *межъ* (15), *мѣжи* (16), *скоро* (15, vgl. poln. *skoro*; im Standardukr. laut SUM »selten«), *бо* (15, postponiert in *егд печѣ бо старанье*; 16, am Satzbeginn), *наспрѣтивъ* (15), *най* (16, mehrfach), *шобѣ* (16), *кождый* (16), *потѣмъ* (15). Die Konjunktion *если* (12) war im älteren Ukr., zumal in Galizien, üblich und wird noch bei ŽELECHIVS'KYJ ohne jeglichen Vermerk angeführt; sie gilt ja mit gutem Grund als Polonismus im Russ. (vgl. standardukr. *якщо*). Die Konjunktion *но* »aber« (12, mehrfach), die heute als Kirchenslavismus oder Russismus betrachtet wird, findet sich noch bei ŽELECHIVS'KYJ ebenfalls ohne jeglichen Kommentar; *але* begegnet in Levyc'kyjs Text nicht. Während im modernen Standardukr. nur *суди* zulässig ist, wurde *судѣ* (15), das man noch heute auch in Galizien und keineswegs nur im »Suržyk« oft hört, bei ŽELECHIVS'KYJ als eine von zwei gleichberechtigten Formen betrachtet (auch *судою* findet man bei ihm). Nur die im Text auftretende Präposition *вокрѣзъ* (15) wird von ŽELECHIVS'KYJ nicht verzeichnet – sehr wohl begegnet man bei ihm dem Eintrag *вкрузъ*, das jedoch nur als Adverb mit der Bedeutungsangabe »ringsum« erscheint.

Im Folgenden finden sich zwei Listen mit Autosemantika. Zunächst werden Lexeme genannt, die weder im Russ. noch im Ksl. Entsprechungen haben, sondern wohl als ukr. oder auch nur galizisch-ukr. gelten können, selbst wenn manche von ihnen aus dem Poln. entlehnt worden sein sollten (Wörter, die mehrfach vorkommen, werden nur einmal genannt). Es sei hier daran erinnert, dass infolge der bereits seit dem Spätmittelalter intensiven Sprach-

kontakte poln. Entlehnungen in das Ukr. insgesamt, vor allem aber in das galizische Ukr. ebenso integriert wurden wie (in weitaus geringerem Umfang) umgekehrt Ukrainismen in das Poln. (besonders das Poln. als Minderheitensprache im ukrainischsprachigen Gebiet). Dabei ist es keineswegs immer klar, ob jedes mit dem Poln. übereinstimmende und im Russ. nicht vorhandene Wort des Ukrainischen auch tatsächlich aus der Nachbarsprache stammt (und umgekehrt), denn nicht immer weisen die Lexeme die notwendigen diagnostischen Kontexte auf wie etwa *певно* (12) mit $e < \varepsilon$ u. a. (Findet ein bestimmtes Wort auch etwa im Tschech. eine Entsprechung, so wird man vielleicht umso weniger annehmen, dass es seinen Ursprung gerade im ukr. Bereich hat.)

Im zweiten Abschnitt werden Lexeme genannt, die als Russismen oder Kirchenslavismen in Betracht kommen. Im Unterschied zum Poln. spielte das Russ. für das Ukr. bis in das 18. Jahrhundert keine wichtige Rolle als Lehnspender. Die der ukr. Sprachgeschichte zuzuordnende Texttradition lässt es außerdem nicht plausibel erscheinen, dass kirchenslavische Sprachelemente zumal vor dem 19. Jahrhundert massiv in die ukr. Volkssprache eingedrungen sind. Eine Ausnahme bilden kirchliche Fachbegriffe, denen jedoch im vorliegenden Text keine Bedeutung zukommt.

3.4.1. Galizisch-ukrainische Lexik

Zu nennen sind: *пребраний* (vgl. standardukr. *переодягнути* gegenüber poln. *przebrać*), *закдла* (vgl. standardukr. *закути* neben *закувати* [beides perf.] mit dem sekundären Imperfektivum *заковувати*, poln. *zakuć*), *кайданы* (2x, vgl. poln. *kajdany*), *спыталъ* (vgl. standardukr. *спитати*, poln. *spytać*), *мъсто* »Stadt« (vgl. standardukr. *місто*, poln. *miasto*), *до рана* (vgl. standardukr. *до ранку*, poln. *do rana*), *вмерати* (vgl. standardukr. *вмирати* gegenüber poln. *umierać*), *мовитъ* (vgl. standardukr. *казати*, *говорити* gegenüber poln. *mówić*), *треба* (vgl. standardukr. *треба*, poln. *trzeba*), *житя* (vgl. standardukr. *життя*, poln. *życie*), *ласкѣ маю* bzw. die standardukr. Wendung *ласку маю* (vgl. poln. *łaskę mat; маю* findet sich noch später, S. 14 u. a., es begegnet auch als Auxiliar in *мають го брати* [15]), *часъ* »Zeit« (mehrfach, vgl. standardukr. *час*, poln. *czas*), *гараздѣ* (vgl. standardukr. *гаразд*), *вѣрнѣсь* (Akzent!, mit der Reflexivpartikel, vgl. galizisch-ukr. auch *вернути* »zurückkehren«), *сгине* (vgl. standardukr. *згинути*, poln. *zginąć*), *недбаю* (vgl. standardukr. *дбати*, poln. *dbać*), *каже* »sagt« (mehrfach, vgl. standardukr. *каже* gegenüber poln. *mówi*), *по намышльню* (vgl. standardukr. *намислити* und *намисел*, poln. *namyślenie się* von *namyślić się* bzw. *namyśleć się*), *безкарнѣ* (vgl. standardukr. *безкарно* und poln. *bezkarnie*), *не-свѣнчалъ* (vgl. standardukr. (з)вінчати »begränzen, trauen« gegenüber poln. *wieńczyć*, *zwieńczyć/zwieńczać* »be-

kränzen« und russ. *увенчать*), *закладъ* (vgl. standardukr. *заклад*, poln. *zakład*) (alle 12), *дождалъса* (vgl. standardukr. *дождатися*, poln. *doczekać się*), *сѣ чловѣкомъ свѣнчалась сестра* (zu *свѣнчатися* s. o., vgl. auch *чловѣкъ* in der Bedeutung »Ehemann« wie im modernen Standardukr.), *до домъ* (vgl. standardukr. *додому*, poln. *do domu*), *жѣритъ са* (vgl. standardukr. *жури-тися* »sorgt sich, ärgert sich«, poln. *żurzyć się* »ärgert sich«), *цѣвковъ* (vgl. standardukr. *цѣвкою/цѣвками*, poln. *cewka/cewkami* »in Strömen«), *що хвила* (2x, vgl. standardukr. *що хвиля*, poln. *co chwila*, seltener *co chwile*), *при льсцѣ* (vgl. ŽELECHIVS'KYJ mit *ліска* »Stock« und dem Verweis auf *палиця*, im SUM gibt es keinen passenden Eintrag, vgl. poln. *laska*), *виръ* (vgl. standardukr. *вир*, poln. *wir*, vgl. DAL', s. v. *виръ* mit dem Vermerk »westlich«), *фала* (vgl. poln. *fala* gegenüber standardukr. *хвиля* – *фаля* erscheint im SUM mit dem Vermerk »dialektal«, während ŽELECHIVS'KYJ es ohne Vermerk ebenso wie *хвиля* anführt), *[дре] во штѣки* (vgl. *штука* in der Bedeutung »Stück, Teil« mit dem Vermerk »veraltet« im SUM sowie analog poln. *sztuka* in derselben Bedeutung mit dem Vermerk »altertümlich« im SJP; bei ŽELECHIVS'KYJ ist diese Bedeutung ohne jeglichen Vermerk angeführt), *склѣпѣна* (vgl. standardukr. *склепіння* und poln. *sklepienie*), *каблѣки* »Bögen« (vgl. poln. *kabłak* »Bogen« und *каблук* in derselben Bedeutung bei ŽELECHIVS'KYJ, während SUM nur die aus dem Russ. geläufige Bedeutung »Absatz« anführt), *въ роспачи* (vgl. standardukr. *розпач* und poln. *rozpacz*), *можъ* (in SUM gibt es keinen Eintrag zu dialektalem *мож*, vgl. ŽELECHIVS'KYJ mit einem Eintrag, unter welchem jedoch auf *можна* verwiesen wird; im poln. Standard gibt es kein Prädikativum *moż*), *кліче* (mehrfach, vgl. standardukr. *кликати*), *чолѣнъ* (vgl. standardukr. *човен* sowie poln. *czółn* mit dem Vermerk »altertümlich« neben *czółno/czółno*), *на [...] сторонѣнькѣ* mit der von Levyc'kyj auch in diesem Gedicht mehrfach gewählten charakteristisch ukrainischen Deminutivform), *поромомъ* (vgl. standardukr. *пором* sowie poln. *prot*), *стаѣса* »wird« (vgl. den Eintrag *ставатися* mit dem Vermerk »veraltet« in SUM gegenüber poln. *stać się*; auch bei ŽELECHIVS'KYJ findet sich kein *ста(ва)тися*), *ревѣ* (vgl. standardukr. *реве* zu *ревити* mit der Nebenform *ревіти*), *спенѣ* (mehrfach, vgl. standardukr. *спинити*), *повѣда* (vgl. standardukr. *повідь* und *повіддя* neben *повінь*), *минає [часъ]* (vgl. standardukr. *минає* gegenüber poln. *mija* und russ. *миновать*), *встѣгне* (vgl. standardukr. *встигне* und veraltetes poln. *ścignąć*) (alle 13), *що разъ* (vgl. standardukr. *щораз*, poln. *coraz*), *година* (vgl. standardukr. *година*, poln. *godzina*), *взмагаѣса* (vgl. standardukr. *змагатися*, poln. *wzmacać się*), *въ [...] переправѣ* (vgl. standardukr. *переправа* und poln. *przeprawa*), *скоро [бѣжитъ]* (vgl. standardukr. *скоро* auch »schnell«, poln. veraltetes *skoro* »schnell«), *дакѣ* (vgl. standardukr. *дякувати*, poln. *dziękować*), *спира* (kein Eintrag im SUM oder SJP) mit den Erklärungen Levyc'kyjs »шайка (vgl. ukr. *шайка* mit

dem Vermerk »umgangssprachlich« im SUM und poln. *szajka*), *рота* (vgl. standardukr. *рота* nur in der Bedeutung einer Militärabteilung im alten Heer, so wie bei poln. *rota*, wo es im SJP für die Teilbedeutung »Zusammenrottung, Gruppe« den Vermerk »altertümlich« gibt), *свавільно* (vgl. standardukr. *свавільно*, poln. *swawolnie*), *подорожнихъ* (2x, vgl. standardukr. *подорожній* und poln. *podrózny* mit dem Vermerk »altertümlich« im SJP), *кроки* (vgl. standardukr. *крок*, poln. *krok*), *складáю* (vgl. standardukr. *складати* und poln. *składać*), *забиває* »erschlägt, tötet« (auch 16, vgl. standardukr. *забити/забивати* und poln. *zabić/zabijać*), *вѣтъ рáзъ* (bei ŽELECHIVS'KYJ nicht verzeichnet, vgl. standardukr. *відразу* neben *зараз*), *решта* (vgl. standardukr. *решта*, poln. *reszta*), *втѣкає* (vgl. standardukr. *втікати* und poln. *uciekać*), *прикрой* (Gen. Sg. Fem.) (vgl. standardukr. *прикрий*, poln. *przykry*), *ослаблы* (vgl. standardukr. *ослабти/ослабнути*, ipf. *ослабати* mit dem perf. Prät. *ослаб* sowie poln. *osłabnąć* mit dem perf. Prät. *osłabł*), *тремтáциі* (vgl. standardukr. *тремтати*), *опришкѡвъ* (vgl. ukr. *опришок*, in der allgemeinen Bedeutung »Räuber« im SUM mit dem Vermerk »dialektal«, poln. *oprzysek*), *тяжáръ* (vgl. standardukr. *тягар* sowie als »veraltet« bezeichnetes *тяга*, poln. *ciężar*), *стогнáти* (vgl. standardukr. *стогнати*) (alle 14), *чѣти* (mehrfach, vgl. standardukr. *чоти* gegenüber poln. *ślyszec*), *по камі́ню* (vgl. standardukr. *по камінні*, poln. nur *po kamieniu*, *лего́нько* mit der charakteristisch ukr. Suffigierung), *слѣхає* (vgl. standardukr. *слухати*, poln. *śluchać*), *въ тѣню* (vgl. standardukr. *тінь*, *у тині* fem., poln. *w cieniu*, auch ŽELECHIVS'KYJ notiert nur *тінь*, Gen. Sg. *тїни*), *смѣлѣнько* mit der charakteristisch ukr. Suffigierung, *мрѣчá* (vgl. ukr. *мрукати* im SUM mit dem Vermerk »dialektal« und dem Hinweis auf standardukr. *муркотати* gegenüber poln. *truczeć*; auch ŽELECHIVS'KYJ notiert nur *мрук* »mürrischer Mensch« und *мрукливий* zu *мрукати*), *жрддлѣваа* (SUM und auch ŽELECHIVS'KYJ nennen keine entsprechenden ukr. Formen, vgl. standardukr. *джерельна* gegenüber der poln. Quelle *źródło*), *вѣрынає* (vgl. standardukr. *виринати/вирунути* und poln. *wyrzynać/wyrzynać* oder *wyrzynać*), *са схилáє* (vgl. standardukr. *схилатися* und poln. *schylać się*), *знѣрѣннии* (vgl. standardukr. *занурити* ohne einen Eintrag für *знурити* im SUM, poln. *znurzyć* mit dem Vermerk »altertümlich« und dem Hinweis auf *zanurzyć* im SJP), *скрѣпляє* (vgl. standardukr. *скрїпити/скрїпляти* oder *скрїплювати*, poln. *skrzepić/skrzepiać*), *ліста* (vgl. standardukr. *листя*, poln. *liście* mit den Vermerk »veraltet« und »poetisch« im SJP), *малює* (vgl. standardukr. *малювати* und poln. *malować*), *дѣревъ* (nicht *деревьевъ*, vgl. standardukr. *дерево* und poln. *drzewo*), *сполошєнный* (vgl. standardukr. *сполошити* und poln. *spłoszyć*), *напрѣжїлѣ* (vgl. standardukr. *напружити* und poln. *naprężyć*), *прихїльндѣстѣ* [!] (vgl. standardukr. *прихильність* und poln. *przechylność*), *сдѣлѣвшисѣ* (mehrfach, vgl. standardukr. *здумитися* und poln. *zdumieć się*), *на-*

на (vgl. standardukr. *пан* und poln. *pan*), *выбавишь* (vgl. standardukr. *вибавити* und poln. *wybawić*), *шаньш* (vgl. standardukr. *шанувати* und poln. *szanować*), *власне* (vgl. standardukr. *власний* und poln. *własny*), *пéвно* (vgl. standardukr. *певний* und poln. *rewny*), *чекáлѣ* (vgl. standardukr. *чекав* und poln. *czekał*), *надѣй* (Gen. Pl.) (vgl. standardukr. *надія* und poln. *nadzieja*), *певный* (vgl. standardukr. *певний*, poln. *rewny*), *пóворотѣ* (vgl. ukr. *поворот*, »selten« *поворит* mit dem Vermerk »selten« im SUM gegenüber poln. *powrót*), *позбавити* (vgl. standardukr. *позбавити*, poln. *rozbawić*), *насѣпрóтивѣ*, *тепéрь* (15, auch 16), *тепéрька* (15) (alle 15), *не мóжна* (vgl. Standardukr. *не можна*, poln. *nie można*), *загíнѣ* (vgl. standardukr. *згинути*, poln. *zaginać*), *сдѣрилѣ* (vgl. ukr. *здурити* mit dem Vermerk »dialektal« und dem Verweis auf *обдурити* sowie poln. *zdrzyć* mit dem Vermerk »altertümlich« und »dialektal« im SJP), *рáзомѣ* (vgl. standardukr. *разом*, poln. *razem*), *офíры* (vgl. ukr. *офіра* mit dem Vermerk »selten« im SUM und dem Verweis auf *жертва* sowie poln. *ofiara*), *чѣдѣ* (Nom. Sg.!; im SUM findet sich nur *чудо*, doch bei ŽELECHIVS'KYJ gibt es einen Eintrag *чуд*, wo freilich auf *чудо* verwiesen wird, vgl. poln. *cid*), *въ брáмѣ* (vgl. standardukr. mit der Bedeutungsangabe »великі ворота« im SUM, poln. *brama*), *барзѣ* (im Standardukr. unüblich, nur in westukr. Dialekten gebräuchlich, aus poln. *bardzo*), *лýнвовѣ* (vgl. standardukr. *линва* und poln. *lina* »Leinen« sowie dazugehöriges *linowka*, dessen unmittelbare Derivationsbasis im Ukr. erhalten ist), *въ горѣ* (vgl. standardukr. *вгору*, *угору* und poln. *w górę*), *росныхѣ* (vgl. standardukr. *розпихати* und poln. *rozpruchać*), *скѣлѣнныхѣ* (vgl. standardukr. *скунити* [Akzent!] und poln. *skupić*), *що тхѣ* (vgl. standardukr. *щодуху* und poln. *co tchu*, *щотху* oder *що тху* findet sich auch nicht bei ŽELECHIVS'KYJ), *на кáтá* (vgl. standardukr. *кат* und poln. *kat*), *чѣдѣсь* (vgl. standardukr. *чудуватися* gegenüber *сидоваć* ohne Reflexivpartikel, das laut SJP »altertümlich« ist), *нарѣдѣ* (vgl. standardukr. *нарѣд* gegenüber poln. *paród*, doch noch ŽELECHIVS'KYJ verweist unter *народ* auf *нарід*), *дíво* (vgl. standardukr. *диво* und poln. *dziwo*), *стискáютѣ сá* (vgl. standardukr. *стискатися*, poln. *ściskać się*), *безпéчнѣ* (vgl. standardukr. *безпечно*, poln. *bezpiecznie*), *зѣ втíхи* (vgl. standardukr. *утíха/втíха*, poln. *uciecha*), *зѣ притѣмныхѣ* (vgl. Standardukr. *притомний* in der Bedeutung »anwesend« mit dem Vermerk »dialektal« im SUM und poln. *przytomny* in derselben Bedeutung mit dem Vermerk »altertümlich« im SJP), *залáнѣ* (vgl. standardukr. *залляти* neben laut SUM häufigerem *заливати* und poln. *zalać*), *цѣлои рѣчи* (vgl. standardukr. *рiч*, poln. *rzecz*, vgl. auch standardukr. *цiла рiч* und poln. *cała rzecz* gegenüber russ. *все дело*), *стáнѣ* (vgl. standardukr. *стан* und poln. *stan*); *снѣсти* (vgl. standardukr. *знести* und poln. *znieść*) (alle 16).

3.4.2. Vermeintliche und echte Kirchenslavismen und Russismen

Für die allermeisten Wörter, die aus der Sicht des modernen Ukr. vorschnell als Russismen aufgefasst werden könnten, kann diese Annahme nicht bestätigt werden.

Schwerlich als Russismus zu werten ist *съ кинжаломъ* (vgl. standardukr. *кинжал* und poln. *kindżał* gegenüber russ. *кинжал*), denn die vereinfachte Schreibung des Turzismus im Russischen empfand Levyc'kyj wohl bloß als eine orthographische Angelegenheit – er schlug das ihm aus der eigenen Sprachwelt bekannte Wort wahrscheinlich in einem russ. Wörterbuch nach, um es »richtig« zu schreiben. Das ksl. *мѣчитель* findet in poln. *mieczyciel* (im SJP mit dem Vermerk »selten«) seine Entsprechung. Natürlich keine Russismen sind ältere ukr. Formen wie *оба* (16) statt standardukr. *обидва* (vgl. ukr. *обâ* [Akzent] mit den Vermerken »veraltet« und »dialektal« im SUM gegenüber poln. *oba*), *скалы* (15) gegenüber standardukr. *скеля*, vgl. *скала* mit dem Vermerk »veraltet« im SUM und poln. *skala*), *глубоки* (13) gegenüber standardukr. *глибокий* (vgl. ukr. dial., gerade für Galizien authentisches *глубокий* ohne Eintrag im SUM und poln. *głęboki*) oder *радь* (16), vgl. standardukr. *радій*, neben welchem laut SUM »seltener« die Kurzform *рад* gebraucht wird. Dass es sich hier schwerlich um einen Russismus handelt, zeigt nicht zuletzt der Gebrauch der poln. Kurzform *rad*.

Ein traditioneller Kirchenslavismus, der aufgrund der zentralen Bedeutung des christlichen Errettungsgedankens sicherlich auch in der ukr. Volkssprache bestens bekannt war, ist *спасти* (12, 2x, poln. ohne Entsprechung): Im SUM wird das Verb nur in religiöser Bedeutung als standardsprachlich akzeptiert, außerhalb davon ist das Wort wohl in der Tat als »umgangssprachlich« zu betrachten. Das im Poln. nicht gebräuchliche Verb *велитъ* (16) ist laut SUM (s. v. *велити*) auch im modernen Standardukr. ohne Einschränkungen gebräuchlich, wengleich man es für einen Russismus bzw. Kirchenslavismus halten könnte. Für das wohl aus dem Ksl. adaptierte *похваиенье* (12) gibt es im modernen Ukr. laut SUM keine Entsprechung, wengleich man auch im SJP das Wort *pokuszenie* mit dem Vermerk »altertümlich« vorfindet. Das Adjektiv *последный* (13) wird mit weichem Stamm als *последній* im SUM durchaus verzeichnet; es erhält dort jedoch die Vermerke »dialektal« und »veraltet«, und es wird auf neutrales *останній* verwiesen; auch poln. *posledni* wird im SJP als »altertümlich« betrachtet. Obwohl man im Ukr. üblicherweise *швидкий* u. a. statt des von Levyc'kyj verwendeten *быстро* (13) gebraucht, wird dieses etwa im SUM ohne jegliche Einschränkungen kodifiziert (wobei die Bedeutung der besonders hohen Geschwindigkeit hervorgehoben wird); dass es sich nicht unbedingt um einen Russismus handelt, bestätigt poln. *bystry*, das im SJP ohne jeglichen Vermerk genannt wird. Auch *мигъ* (16) und das adverbialisierte *вмигъ* (14) sind nicht als Russismen zu be-

trachten, wenngleich man im modernen Standardukr. *мить* verwendet. Zwar findet sich im SUM s. v. *миг* der Vermerk »selten«, doch auch das Poln. kennt nicht nur das Substantiv *mig*, sondern auch adverbialisiertes *w mig*; es handelt sich auch nicht um einen Kirchenslavismus: D'JAČENKO nennt das Wort nicht, es begegnet auch weder in Stsl noch in SDRJa IV). Keine Russismen sind fernerhin *достигъ* (15), das nicht nur im SUM ohne jegliche Einschränkungen kodifiziert wird, sondern auch im poln. *dościgać/doścignąć* seine Entsprechung findet, sowie *жаръ* (14), für welches *mutatis mutandis* dasselbe gilt (poln. *żar*).

Ganz künstlich ist allem Anschein nach die nach ksl. *объемлю* (s. D'JAČENKO) gebildete Form *объемилъ* (13). Im modernen Standardukr. würde ihr *обійняв* entsprechen, im Poln. *objął*, im Russ. *обнял* oder, kirchenslavisierend, *объял*.

Lautlich als Kirchenslavismus ausgewiesen ist das von Levyc'kyj in *во [...]* *союзь* (16) gebrauchte *союз*, das nicht nur erwartungsgemäß im SUM ohne Einschränkungen kodifiziert wird, sondern auch im Poln. in der Form *sojusz* gebräuchlich ist. Den Kirchenslavismus *Шована* (15) verzeichnet SUM als *уповання* mit dem Vermerk »selten« – immerhin verwendete Ševčenko die verbale Ableitungsbasis (vgl. poln. etymologisch identisches *ufanie*, das in der Bedeutung »Vertrauen« im SJP als »altertümlich« bezeichnet wird).

Die Form *ръкъ* (12, 2x) ist wohl schon für die Mitte des 19. Jahrhunderts als markiert buchsprachlich zu betrachten. Das Verb *ректи* wird nicht nur im SUM als »veraltet« oder »poetisch« bezeichnet, sondern auch poln. *rzec* klassifiziert SJP als »buchsprachlich«. Ähnliches gilt für *зрѣтъ* (13), welches im SUM s. v. *зрѣти* und s. v. *здрѣти* (mit Notation der Anaptyxe) als »veraltet« bezeichnet wird und als Simplex laut SJP keine Entsprechung im Poln. hat. Völlig anders einzuschätzen ist präfigiertes *ѣзрѣлъ* (15), welches im SUM als *узрѣти/взрѣти* mit dem Vermerk »selten« erscheint, aber als *уздрѣти/уздрѣвати* ohne jegliche Einschränkung kodifiziert wird, wohingegen poln. *ujrzeć* im SJP als »buchsprachlich« klassifiziert wird.

Einen Kirchenslavismus oder Russismus stellt wohl *смотритъ* (16) dar, welches nicht nur im SUM nicht verzeichnet ist (dort findet sich nur *смотритель, смотрительский* als »Aufseher« im vorrevolutionären Russland), sondern auch im Poln. keine Entsprechung findet.

Das Wort *измѣна* in *царь хитрѣйшихъ измѣнъ* (12) ist wohl als Russismus aufzufassen. Im SUM gibt es kein *изміна* oder auch *зміна* in entsprechender Bedeutung, für das Ksl. ist die Bedeutung »List, Verrat« unüblich (Stsl, D'JAČENKO). Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte Levyc'kyj in einem deutsch-russischen Wörterbuch, möglicherweise bereits in dem bei den Ruthenen, besonders später bei den ruthenischen Russophilen sehr beliebten Wörterbuch Johann Adolph Erdmann SCHMIDTS (1841/1870), nach einer

Entsprechung des von Schiller deutschen Wortes *List* gesucht. Als Übersetzung findet man dort zwar *хитрость* und *лукавство* vor, doch Levyc'kyj kann durchaus nach der Manier geübter Wörterbuchbenützer unter dem bedeutungsverwandten Wort *Verrat(h)* nachgeschlagen haben, um dort das genannte *измѣна* zu finden.

Einen Russismus stellt wohl auch *стремлѣтъ* (13) dar, das keine Entsprechung im Poln. hat und im SUM (*стремити*) als »selten« bezeichnet wird (im Unterschied zu *стремління*). Weder D'JAČENKO noch StSl noch SREZN[EVSKIJ] nennen das Wort. Bei ČERNYCH findet man die Information, dass *стремить* von Lomonosov verwendet wird, während *стремиться* in den russ. Wörterbüchern erst seit der Hälfte des 18. Jahrhunderts belegt ist.

4. »Языкъ галицко-русскій«

Wenngleich sich Josyf Levyc'kyj in seinem literarischen Debüt im Jahr 1822 stark am Russischen orientiert hatte, wenngleich er außerdem als einer von wenigen auch in den letzten Jahren des Vormärz konsequent *рѣсскій/русскій* und nicht *рѣскій* oder (in Galizien selten) *рѣській* schrieb, weil er aus rein orthographischen Gründen davon ausging, dass einzig diese Schreibung korrekt sei, hat auch dieser Text denkbar wenig mit einer *Geschichte der russischen Bewegung in Galizien* (so PAŠAEVA 2001) zu tun. Zunächst ist offensichtlich, dass die Distanz zwischen Levyc'kyjs »языкъ галицко-рѣсскій« und dem Russischen außerordentlich groß ist und Levyc'kyjs Sprache ungeachtet genetischer Aspekte dem Polnischen in vielerlei Hinsicht wesentlich näher steht als dem Russischen, vor allem im Wortschatz und in der Syntax, teilweise auch in der Flexionsmorphologie (vor allem der verbalen).

Vor allem aber erweist sich die Sprache dieses Texts aus moderner Sicht schlichtweg als eine Spielart des Ukrainischen. Ungeachtet einiger eigenartiger Formen stellt sie keineswegs irgendein künstliches »Jazyčije«-Gebilde dar, sondern steht fest auf dem Fundament der südwestukrainischen Mundarten und der auf ihnen fußenden Schrifttraditionen. Weder die altertümlichen Schriftzüge noch die vom modernen Ukrainischen weit entfernte etymologische Orthographie sollten den Blick darauf verstellen.

Nun mag man einwenden, dass diese Sprache trotz des großen Abstandes durchaus als russisch betrachtet werden könnte, da ja auch andere Sprachgemeinschaften nicht minder große sprachliche Unterschiede überbrückt haben und überbrücken, um eine gemeinsame Überdachung zu schaffen und zu wahren. Fernerhin könnte festgestellt werden, dass sich ja das moderne Ethnonym der Ukrainer ebenso wie das Glottonym ihrer Sprache erst spät (in der modernen Bedeutung letztlich erst seit der Mitte des 19. Jahrhun-

derts) etabliert hätten (vgl. hierzu MOSER 2009) und der Ausdruck »ukrainisch« daher ein unzulässiger Anachronismus sei. Hierzu kann festgestellt werden, dass das erste Argument durchaus zutrifft, dass es jedoch wesentlich ist, ob denn auch der Wunsch zur Ausbildung einer gemeinsamen Überdachung mit dem Russischen nachgewiesen werden kann. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Das zweite Argument hingegen überzeugt schon an und für sich nicht. Gehen wir davon aus, dass die modernen Nationen ebenso konstruiert sind wie ihre modernen (Standard-)Sprachen, so sind sie ja alle konstruiert, auch die so genannten »historischen« Nationen und ihre Sprachen. Die »imaginierten Gemeinschaften« können dabei grundsätzlich älter sein als ihr aktueller Name, während auch die traditionellen Namen der »historischen Nationen und Sprachen« in der älteren Zeit mitunter ganz andere Referenzbereiche hatten. Levyc'kyj bestätigt dies grundsätzlich, wenn er beschreibt, welche »kognitive Karte« (»mental map«) seinem Ausdruck *русскій* zugrunde liegt:

Der östliche Theil der Karpathen, und die Ebene zwischen den Flüssen: San, Wiar, Dniester, Bug, Boh, Dnieper, Przywiec [САНЪ, ВѢГОРЪ, ДНѢСТЕРЪ, БѢГЪ, БОГЪ, ДНѢПРЪ, ПРИПЕЦЪ] werden von einem slavischen Stamme, der sich in seiner Muttersprache R u s s u n [РУССИНЪ, НАРОДЪ РУССКІЙ, РЪСЬ, КРАЙ РУССКІЙ], das L a n d aber selbst R u ś nennt, bewohnt (LEVYC'KYJ 1834: 1).

In Russland erstreckt sich diese Mundart über Podolien, Volhynien, Kijow und die Ukraina, wo sie von mehr als 5 Millionen Einwohnern noch heutigen Tages gesprochen wird (*ibid.*: VII).

Auch der ungrischen Bewohner von Munkács, Unghvár, Eperies, (nach den neuesten Diöcesan-Angaben über 500000 an der Zahl,) darf hier wohl erinnert werden, die einen wiewohl sehr stark mit ungrischen, slowakischen Wörtern vermischten russinischen Dialekt sprechen, sich selbst Russinen (Ruthenier) nennen, und von den M a g y a r e n , O r o s z e m b e r e k (Russi homines) genannt werden (*ibid.*: IX).

Die russinische Sprache (Dialekt) wird also von mehr als 8 Millionen Menschen gesprochen, verdiente daher einen angemessenen Platz in der Geschichte der slavischen Sprachen (*ibid.*) [alle Hervorhebungen original].

Vom eigentlichen Russischen ist also in diesen Schlüsselpassagen nirgends die Rede.² Was Levyc'kyj hier wie letztlich alle ruthenischen Grammatiker des Vormärz im Blick hat (vgl. MOSER i. Dr.), ist ein Geltungsbereich seiner Sprache, der den großrussischen Bereich ebensowenig einschließt wie den

2 Andernorts wird zwar von einer gemeinsamen Schrifttradition der Ruthenen oder Kleinrussen mit den »Hochrussen« (*ibid.*: x) erzählt, doch wird diese ausschließlich in »der sogenannten Kirchensprache« verankert (*ibid.*).

polnischen. Nur hinsichtlich des »Minskischen (weissrussischen) Dialekts, welcher in Lithauen noch heutigen Tages gesprochen wird« (ЛЕВУС'КУЈ 1834: 7), ist nicht ganz klar, ob Levyc'kyj ihn noch wie viele seiner Zeitgenossen schlichtweg als eine Spielart des »Ruthenischen oder Kleinrussischen« auffasste (MOSER i. Dr.) – doch scheint dies nicht der Fall gewesen zu sein.³

»Языкъ галицко-русскій« ist also bei Josyf Levyc'kyj, ganz im Unterschied zur Terminologie der Russophilen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, keine »galizisch-russische« Sprache, weil sie nicht im Geringsten mit dem Blick auf eine gemeinsame schriftsprachliche Tradition mit dem Russischen hin konzipiert worden ist.

Levyc'kyj erhob aber in der Tat den Anspruch, dass sich die Reichweite seines Idioms nicht nur auf Galizien beschränkte. Er zog durchaus jenen gesamten »ruthenischen oder kleinrussischen« Kontext in Betracht, den die Protagonisten dieser sprachlichen und nationalen Identität erst im Lauf der folgenden Jahrzehnte immer öfter als »ukrainisch« zu bezeichnen begannen, weil sie die Abgrenzung zum Russischen zunehmend deutlicher hervortreten lassen wollten und es dafür auch in Kauf nahmen, in der Folge immer wieder die Historizität dieser sprachlichen und nationalen Identität in Frage gestellt zu sehen. Levyc'kyj orientierte sich allerdings andererseits noch kaum an der »kleinrussischen« Sprache seiner Zeitgenossen aus dem Russischen Imperium und war sich dabei der regionalen Begrenztheit mancher von ihm eingesetzter galizischer Sprachmerkmale durchaus bewusst (vgl. etwa seine Anmerkung zur fem. Instr.-Endung *-овъ, -евъ*; ЛЕВУС'КУЈ 1834: 36). Dennoch schrieb auch er keineswegs einfach im Dialekt, denn die allermeisten Merkmale der galizischen Dialekte finden keinen Eingang in seine Sprache (vgl. MOSER 2007: 232–237). Levyc'kyjs »языкъ галицко-русскій« war also eine bewusst gewählte regionale Spielart einer Sprache, die er in einen weiteren Zusammenhang stellte, welchen man getrost als ukrainisch bezeichnen kann, weil die Bedeutung mit dem erst später etablierten Terminus faktisch zusammenfällt. Sein »языкъ галицко-русскій« erweist sich also in jeder Hinsicht als galizisches Ukrainisch.

3 Kein Ukrainer orientierte sich jedoch m. W. auch faktisch an weißrussischen Varietäten, wenngleich etwa die Litauischen Statute oder das Werk Francysk Skarynas als Teil der gemeinsamen ruthenischen Tradition betrachtet wurden.

Literatur

I. Primärtexte

- SCHILLER 1799/2011 = Schiller, F.: »Die Bürgschaft«, in: *Musen-Almanach für das Jahr 1799*, hrsg. v. F. Schiller, 176–182, Gotha (http://de.wikisource.org/wiki/Die_B%C3%BCrgschaft [21.01.2011]).
- SCHILLER (ruth.) 1842 = Schiller, F.: *Шільєра: Борьба со смокомъ (Романчикъ) и Порѹка (Баллада)*, съ нѣмецкого на языкъ Галицко-Рѹсскій переведены Їосифомъ Львѣцкимъ зѡ Шкла, въ Перемышли, въ Тѹпографіи Єпископской при Соборномъ Храмѣ Рождества С. Їванна Крестителя.

II. Sekundärliteratur

- ЇЕРНУСН = Черных, П. Я.: *Историко-этимологический словарь современного языка*, Т. 1–2, Москва 1993.
- DAL' = Даль, В. И.: *Толковый словарь живаго великорускаго языка Владимира Даля*, 2-е изд., испр. и значит. умнож. по ркп. автора, Т. 3: П, С-Петербургъ – Москва 1882 [Reprint: Москва 1980].
- D'JAЇENKO = Дьяченко, Г.: *Полный церковно-славянской словарь (со внесениемъ въ него важнѣйшихъ древне-русскихъ словъ и выражений)*, Москва 1899 ст. ст. [Reprint: Москва 1993].
- DR 2002 = *Дух і ревність. Владика Снізурський та інші перемишляни*, упор. В. Пилипович, Львів – Перемишль (= Перемиська бібліотека 2).
- ETYMŚLOV = Мельничук, О. С. (гол. ред.): *Етимологічний словник української мови*, Т. 3: *кора – м*, Київ, 1989.
- HRYSAK 2006 = Грицак, Й.: *Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886)*, Київ.
- LEVYC'KYJ 1834 = [Lewicki, J.]: *Grammatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache in Galizien – Грамматика языка рѹсского въ Галиціи – Gramatyka języka ru-skiego w Galicyi*, Przemyśl.
- NIMČUK 1978 = Німчук, В. (відп. ред.): *Історія української мови. Морфологія*, Київ.
- MOSER 2004 = Moser, M.: »Die sprachliche Erneuerung der galizischen Ukrainer zwischen 1772 und 1848/1849 im mitteleuropäischen Kontext«, in: Pospíšil, I./Moser, M. (ed.): *Comparative Cultural Studies in Central Europe*, Brno, 81–118.
- 2004a = Moser, M.: »Jazyčije« – ein Pseudoterminus der sprachwissenschaftlichen Ukrainistik«, in: *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae* 49.1–2, 121–147.
- 2006 = Moser, M.: »Panegyrika für griechisch-katholische Bischöfe und die galizisch-ukrainische Erneuerung – Josyf Levyc'kyjs ›Стихъ во честь Јєго Преосвященства Кѹрѣ Іоаннѣ Снѣгѹрскомѹ‹ von 1837«, in: Bunčić, D./Trunte, N.: *Iter philologicum. Festschrift für Helmut Keipert zum 65. Geburtstag*, München (= WdSl. Sammelbände/Сборники), 125–137.
- 2006/07 = Мозер, М.: »Йосиф Левицький як борець за культуру ›русської‹ (української) мови«, in: Крикун М. (відп. ред.), *Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича*, Львів, 447–460.

- 2007 = Moser, M.: »Ruthenische« (ukrainische) Sprach- und Vorstellungswelten in den galizischen Volksschullesebüchern der Jahre 1871 und 1872, Wien (= Slavische Sprachgeschichte 2).
- 2009 = Moser, M.: »Antiukrainische sprachgeschichtliche Mythen der Gegenwart (Contemporary anti-Ukrainian Myths on the History of Language)«, in: Höhne, S./Ulbricht, J. H. (Hg.): *Wo liegt die Ukraine? Standortbestimmung einer europäischen Kultur*, Köln etc. (= Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe A: Slavistische Forschungen, N. F. 64), 197–226.
- i. Dr. = Мозер, М.: »Русини« й »руська мова« в галицьких граматиках першої половини XIX ст. [im Druck].
- PAŠAEVA 2001 = Пашаева, Н.: *Очерки истории русского движения в Галичине XIX–XX вв.*, Москва.
- SCHMIDT = Schmidt, J. A. E.: *Neues Russisch-Deutsches und Deutsch-Russisches Taschenwörterbuch*, Leipzig 1841 [Reprint: Leipzig 1870].
- SDRJA = Аванесов, Р. И. (гл. ред.): *Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)*, Т. 4: *изживати – моление*, Москва 1991.
- SJP = Doroszewski, W. (red. nac.): *Słownik języka polskiego*, Т. 1–11, Warszawa 1958–1969 [przedruk elektroniczny: Warszawa 1997].
- SREZN = Срезневский, И. И.: *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам*, Т. 3: *Р–Я* и дополнения, С.-Петербург 1912.
- stSl = Цейтлин, Р. М./Вечерка, Р./Благова, Э. (ред.): *Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков)*, Москва 1994.
- SUM = Білодід, І. К. (ред.): *Словник української мови*, Т. 1–11, Київ, 1970–1980.
- ŽELECHIVS'KUJ = *Малорусько-німецький словар – Ruthenisch-Deutsches Wörterbuch*, Т. 1: *А–О*, улож. Є. Желеховский; Т. 2: *П–Я*, улож. Є. Желеховский і С. Недільський, Львів 1884–1886 [vgl. Nachdr. v. O. Horbatsch (in 3 Teilen) München 1982 (= Українські граматики/Grammatici Ucraini 3)].

Anhang

Die Bürgerschaft – Порѣка

Diakritische Zeichen im ruthenischen Text werden nur dort gesetzt, wo aus der Perspektive des modernen Ukrainischen Zweifel hinsichtlich des Wortakzents bestehen könnten.

SCHILLER 1799/2011:
[176] *Die Bürgerschaft*

Zu Dionys dem Tirannen schlich
Möros, den Dolch im Gewande,
Ihn schlugen die Häscher in Bande.
Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!
Entgegnet ihm finster der Wütherich.

SCHILLER (ruth.) 1842:
[12] *Порѣка*

Къ Тиранѣ, що называлъся Денисъ,
Съ кинжаломъ влѣзь Меросъ пребранный,
Гнетъ го сторожа закѣла въ кайданы,
Скажи чоґось тѣ съ кинжаломъ залѣзь?
Спыталь мѣчитель стагнѣвши ось нѣсь,

»Die Stadt vom Tyrannen befreien!«
Das sollst du am Kreutze bereuen.

Ich bin, spricht jener, zu sterben bereit,
Und bitte nicht um mein Leben,
Doch willst du Gnade mir geben,
Ich flehe dich um drey Tage Zeit,
Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit,
Ich lasse den Freund dir als Bürgen,
Ihn magst du, entrinn ich, erwürgen.

[177] Da lächelt der König mit arger List,
Und spricht nach kurzem Bedenken:
Drey Tage will ich dir schenken.
Doch wisse! Wenn sie verstrichen die
Frist,

Eh du zurück mir gegeben bist,
So muß er statt deiner erblassen,
Doch dir ist die Strafe erlassen.

Und er kommt zum Freunde: »der König
gebeut,

Daß ich am Kreutz mit dem Leben
Bezahle das frevelnde Streben,
Doch will er mir gönnen drey Tage Zeit,
Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit,
So bleib du dem König zum Pfande,
Bis ich komme, zu lösen die Bande.

Und schweigend umarmt ihn der treue
Freund,

Und liefert sich aus dem Tyrannen,
Der andere ziehet von dannen.
Und ehe das dritte Morgenroth scheint,
Hat er schnell mit dem Gatten die
Schwester vereint,

Eilt heim mit sorgender Seele,
Damit er die Frist nicht verfehle.

[178] Da gießt unendlicher Regen herab,
Von den Bergen stürzen die Quellen,
Und die Bäche, die Ströme schwellen.
Und er kommt an's Ufer mit
wanderndem Stab,

Da reisset die Brücke der Strudel hinab,
Und donnernd sprengen die Wogen
Des Gewölbes krachenden Bogen.

Und trostlos irrt er an Ufers Rand,
Wie weit er auch spähet und blicket

Се мѣсто спасти вѣтъ Тирана!
Пѣйдешъ за тоє на крестъ до рана.

«Вмерати, мовить ной, треба ми разъ,
О то жита ю недбаю;
Но если въ тебе ласкѣ маю,
Позволь ми прошѣ на тридневный часъ,
Сестры докъ замѣжъ не выдамъ гараздъ,
Пріатель мѣй бѣде порѣковъ,
Не вернѣсь? вѣнъ сгине товь мѣковъ.»

Смѣса царь хитрѣйшихъ измѣнъ,
И каже по намышлѣню:
Три дни продолжити? вѣино;
Но знай о томъ, какъ минѣ твѣй термѣнъ,

А ты не вернешъ са певно; то вѣнъ
За тѣ въ сей часъ пѣйде зо свѣта,
Тобѣжъ безкарнѣ минѣтѣса лѣта.

Прійшовъ ко пріателю рѣкъ: Царь
сказаль

Мене на крестне мѣченъе,
За злоє мое покѣшенъе;
Часѣ однакожъ на три дни ми даль,
Закъ ємъ законно сестры несвѣнчалъ:
То въ закладѣ царєви бѣдешъ даный,
Докъ не прійдѣ розбити кайданы.

[13] И объемилъ го пріатель молчѣ,

Та самъ пѣдъ стражъ вѣгдаеса строгѣ,
Тамтѣ же идѣ въ дорогѣ.

А нѣмъ дочекальса третого дня
Оуже съ челоукомъ свѣнчалася сестра:

Бѣжитъ до домѣ, жѣритъ са бѣдний.
Жебѣ не бѣлъ въ термѣнѣ послѣдний.

Та дощъ пѣстїльса, цївковъ лѣе,
Шѣмѣтъ, стремлѣтъ съ гѣръ потоки,
Що хвила воды глѣбоки,
А вѣнъ при лѣсцѣ ко мостѣ иде,

Но виръ мѣстокъ пориває, несе,
И быстро дре фала во штѣки,
Трещѣщи склѣпѣна каблѣки.

Въ распачи крѣжитъ по надѣ берега край,
Зритъ какъ но можѣ бѣкомъ забѣчи,

Und die Stimme, die rufende, schicket;
Da stößet kein Nachen vom sichern

Strand,

Der ihn setze an das gewünschte Land,
Kein Schiffer lenket die Fähre,
Und der wilde Strom wird zum Meere.

Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht,
Die Hände zum Zeus erhoben:

O hemme des Stromes Toben!

Es eilen die Stunden, im Mittag steht
Die Sonne und wenn sie niedergeht,
Und ich kann die Stadt nicht erreichen,
So muß der Freund mir erbleichen.

[179] Doch wachsend erneut sich des
Stromes Wuth,

Und Welle auf Welle zerrinnet,
Und Stunde an Stunde entrinnet,
Da treibet die Angst ihn, da faßt er sich
Muth

Und wirft sich hinein in die brausende
Flut,

Und theilt mit gewaltigen Armen
Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen.

Und gewinnt das Ufer und eilet fort,
Und danket dem rettenden Gotte,
Da stürzt die raubende Rotte
Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort,
Den Pfad ihm sperrend, und schnaubet
Mord

Und hemmet des Wanderers Eile
Mit drohend geschwungener Keule.

Was wollt ihr? ruft er für Schrecken
bleich,

Ich habe nichts als mein Leben,
Das muß ich dem Könige geben!
Und entreißt die Keule dem nächsten
gleich:

Um des Freundes Willen erbarmet euch!
Und drey, mit gewaltigen Streichen,
Erlegt er, die andern entweichen.

И зъ цѣлого горла все кличе;
Чолѣнъ на мою сторонѣнькѹ подай,

Жебы менѣ перевести въ мой край,
Но тамъ никто не ѣде поромомъ,
Рѣкажъ стаѣса моремъ со громомъ.

На березѣ падае, плаче, реве,
До Зевса все рѣки взносить,
«Спенй повѣда зъ сѣрдца прѣсвить!
Минае часъ, высоко солнце вжѣ,
Но къ вѣчърѹ какъ онѣ и зайдѣ,
Ногажъ моѣ до мѣста не встѣгне,
То мой прѣѣтель про мене застигне».

[14] Однако що разъ прибѣвае воды

За Фѣлевъ гонить фѣла сѣна
Летѣтъ за годиновъ година,
Взмагаеца страхъ вѣтъважнѣ тогды,

Стрѣловъ во кипашѣи мѣчесь валы,

Самъ сильными мчитъ са рѣками,
И въ той переправѣ, Бѣгъ съ нами.

И выпливъ на берегъ скоро бѣжитъ,
И дакъѣ Богови мѣра;
Но десь розбѣйникѣвъ спира⁴,
Собѣ по лѣсъ свавольно крѣжитъ,
Застѣпае дорогѣ, смѣртьевъ дышѣтъ,

Подорожныхъ спинае кроки,
Махнѣвши пѣлкою вмигъ на всѣ боки.

«Чогѣ вы хѣчете» крикнѣлъ сблѣднѣлъ

Кромѣ житѣ ничѣ не маю,
И тѣе царѣви днесъ складаю!
Нѣжъ вѣрываетъ пѣлкѣ добѣвши силъ:

«Кобѣимъ но хѣтъ дла прѣѣтѣла жилъ»,
И трѣхъ самъ вѣтъ рѣзъ забивае
Решѣ же до лѣса вѣткае.

4 Anmerkung Josyf Levyc'kyjs: »шайка, банда, рота«.

[180] Und die Sonne versendet
 glühenden Brand
 Und von der unendlichen Mühe
 Ermattet sinken die Knie:
 O hast du mich gnädig aus Räubershand,
 Aus dem Strom mich gerettet ans heilige
 Land,
 Und soll hier verschmachtet verderben,
 Und der Freund mir, der liebende, sterben!

Und horch! da sprudelt es silberhell
 Ganz nahe, wie rieselndes Rauschen,
 Und stille hält er zu lauschen,
 Und sieh, aus dem Felsen, geschwätzig,
 schnell,
 Springt murmelnd hervor ein lebendiger
 Quell,
 Und freudig bückt er sich nieder,
 Und erfrischt die brennenden Glieder.

Und die Sonne blickt durch der Zweige
 Grün,
 Und mahlt auf den glänzenden Matten
 Der Bäume gigantische Schatten,
 Und zwey Wanderer sieht er die Straße
 zieh'n,
 Will eilenden Laufes vorüber fliehn,
 Da hört er die Worte sie sagen:
 Jetzt wird er ans Kreuz geschlagen.

[181] Und die Angst beflügelt den
 eilenden Fuß,
 Ihn jagen der Sorge Qualen,
 Da schimmern in Abendroths Strahlen
 Von ferne die Zinnen von Syrakus,
 Und entgegen kommt ihm Philostratus,
 Des Hauses redlicher Hüter,
 Der erkennt entsetzt den Gebieter:

Zurück! du rettetest den Freund nicht mehr,
 So rette das eigene Leben!
 Den Tod erleidet er eben.
 Von Stunde zu Stunde gewartet' er
 Mit hoffender Seele der Wiederkehr,
 Ihm konnte den muthigen Glauben
 Der Hohn des Tirannen nicht rauben.

Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht
 Ein Retter willkommen erscheinen,

Великій солнце розсѣало жаръ,
 А зъ трѣдной, прикрой дороги,
 Ослаблы тремтáщии ноги,
 «Колісь вѣтъвернѣль опришкѣвъ ѡдárъ,
 Перенѣсь за вѣдѣ тѣла тажáръ,
 Чи маю тѣ горко стогнáти,
 Пріáтель же за ма вмерати?»

[15] И чѣти! же щось ги течѣ сюдà
 Шѣмитъ тольчѣсь по камѣню,
 Легѣнько слѣхае въ тѣню,
 И ѡтъ! зо скáлы смѣлѣнько мрѣчà
 Жрѣдлѣваа вѣрынае водà;
 Во радости ниць са схилáе,
 Знѣрѣнныи силы скрѣплае.

Межъ листа зелене солнца мигъ
 Женѣсь, и вокрѣгъ долины,
 Малюе, дѣревъ дѣльги тѣни;
 Подорѣжныхъ двоухъ очіма достигъ
 И скоро хѣче минѣти ихъ,
 Въ тѣмъ чѣе тѣ словà казáти:
 Тепѣрь на крестъ мають го брати.

Сполѣшанныи силъ напрѣжилъ,
 Єгѣ печѣ бо старáнье,
 А при вечѣрнѣмъ сіáнны
 Верхіи Свракѣзы ѡзрѣль,
 Филѣстратъ идѣ мѣ насѣпрѣтивѣ
 Всѣмъ дѣмѣ єгѣ прихильнѣсть [sic!] знáна,
 Сдѣмѣвшиса пѣзна самъ пáна:

Не вѣбавишь вѣжѣ пріáтѣла стѣй!
 Шанѣй житѣе своѣ влáсне!
 Тепѣрька пѣвно загáсне.
 Щѣ хвила чекáль вѣнъ польный надѣй,
 На скорый и певный пѣворотъ твѣй,
 Не смогли Тирáна смѣáна,
 Позбáвити гѣ ѡповáна.

[16] Колі ю пѣзно не мѣжна єгѣ,
 Спасти во тѣ злѣю годінѣ,

So soll mich der Tod ihm vereinen.
 Deß rühme der blutge Tirann sich nicht,
 Daß der Freund dem Freunde gebrochen
 die Pflicht,

Er schlachte der Opfer zweye,
 Und glaube an Liebe und Treue.

[182] Und die Sonne geht unter, da steht
 er am Thor

Und sieht das Kreutz schon erhöhet,
 Das die Menge gaffend umstehet,
 An dem Seile schon zieht man den Freund
 empor,

Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor:
 »Mich Henker! ruft er, erwürget,
 Da bin ich, für den er gebürget!«

Und Erstaunen ergreift das Volk umher,
 In den Armen liegen sich beide,
 Und weinen für Schmerzen und Freude.
 Da sieht man kein Auge thränenleer,
 Und zum Könige bringt man die
 Wundermähr,

Der fühlt ein menschliches Rühren,
 Läßt schnell vor den Thron sie führen.

Und blicket sie lange verwundert an,
 Drauf spricht er: Es ist euch gelungen,
 Ihr habt das Herz mir bezwungen,
 Und die Treue, sie ist doch kein leerer
 Wahn,

So nehmet auch mich zum Genossen an,
 Ich sey, gewährt mir die Bitte,
 In eurem Bunde der dritte.

SCHILLER.

То радъ съ нимъ разомъ загинѣ.
 Тиранъ не бѣдесъ хвалити зъ тогò,
 Же пріатель сдѣрилъ самъ свогò;

Най двѣ забивае офѣры,
 А знае чѣдъ любви и вѣры.

Заходитъ солнце, вонъ въ брамѣ ю

И видить крестъ вознесенный,
 Народомъ барзъ обступленный;
 П р і а т е л а лынвовъ тагнѣтъ въ горѣ,

Вонъ же распыхае скѣпленныхъ шо тхѣ:
 На ката кличе шобы го мѣчили!
 Бо то я, за когò вонъ рѣчилъ.

И чѣдесъ народъ на диво собранъ,
 Стискають са оба безпечнѣ,
 И плачѣтъ зъ втѣхи сердечнѣ.
 Зъ притомныхъ кождый слезами заланъ,
 Цареви доносать цѣлоу рѣчи станъ;

То чѣвши не може снести,
 Велитъ ихъ до себѣ привести.

И смотритъ сдѣмленный долъго на нихъ,
 Потомъ речѣ: Вамъ са вдало,
 Же къ вамъ се сердце пристало;
 И вѣрность зъ мыслей не бѣде пѣстыхъ,

Теперь же пріймѣтъ ма межи свойхъ,
 Най бѣдѣ ко вѣрной [!] услѣзѣ,
 Хоть трѣтимъ во вашомъ союзѣ.

Kognitive Linguistik, *formulaic language* und linguistische Intertextualitätsforschung: Die ›Autorität der kanonischen Bücher‹

1. Die Ausgangslage: Probleme mit ›prägenden Charakteristika‹ und mit Diglossie

Das »ständige Sich-Umschauen nach der Autorität der kanonischen Bücher« (VEREŠČAGIN 1977: 127), die permanente Interaktion zwischen »Autoren-text« und »direkten Zitaten, Paraphrasen, Analogien im Alten und Neuen Testament« (*ibid.*) gelten als prägende Charakteristika der mittelalterlichen slavischen Texttradition insgesamt, also insbesondere auch des umfangreichen religiösen (alt-)kirchenslavischen Schrifttums.¹ Im Folgenden soll das Interesse jedoch beispielhaft auf alt-ostslavische Texte überwiegend weltlichen Inhalts (Chroniken, *Povesti*/Erzählungen, (Auto-)Biographien, Belehrungen, etc.) konzentriert sein, in die nach traditioneller Auffassung Zitate aus prestigereichen, in erster Linie – wenn auch keineswegs ausschließlich – biblischen Prätexten in ksl. Sprache eingedrungen sind. In der Terminologie ŽIVOVS (2000: 573) handelt es sich hier insbesondere um solche Texte, die der zweiten von insgesamt vier sog. ›schriftlichen Traditionen‹ bzw. ›Registern‹ zuzuordnen sind und die sich durch ihre hybride Buchsprache auszeichnen.

Jene hybriden Texte werden nicht selten vor dem Hintergrund einer Diglossie-Debatte ›ksl. – alt-ostslav.‹ diskutiert und analysiert. Argumente für und gegen die These einer ksl.-ostslav. Diglossie in der Rus' sind bis zum heutigen Tage häufig genug ausgetauscht worden (vgl. SCHWEIER 2001; KRETSCHMER 1994; zum Stand bis 1989 auch REHDER 1989). Der teilweise unternommene Versuch, die von FERGUSON (1959) entworfene sozio-linguistische Diglossiekonzeption starr auf das Verhältnis zwischen dem Ksl. und dem Alt-ostslav./Alt-russ. im Zeitraum vom 11.-17. Jh. zu übertragen, darf dabei sicherlich als gescheitert betrachtet werden. Einer der prominentesten For-

1 Vgl. hierzu u. a. auch ALEKSEEV (1999: 69 ff.).

scher, B. A. USPENSKIJ (1987: 17), zog sich schließlich auf drei Negativkriterien zur Definition von Diglossie zurück, wobei die Endphase jener Diglossie in Russland dadurch geprägt sein sollte, dass die komplementäre Wahl des Codes – ksl. oder ostslav. – eine modale Funktion erfüllen konnte. USPENSKIJ (1987: 59, 63) sah dabei die Wahl der Sprache durch den Textautor derart mit dessen Einstellung zum jeweils dargestellten Sachverhalt verbunden, dass sich eine proportionale Homologie der Form »ksl. : ostslav. = objektiv : subjektiv« ergibt. Die Kritik an dieser Modalitätshypothese (vgl. etwa COLLINS 1992; ŠAPIR 1989; SHEVELOV 1987 u. a.) stützte sich bekanntlich nicht zuletzt auf den Vorwurf, dass eine entsprechende historische Sprechereinstellung nur in seltenen Fällen verifizierbar sei.

Wir folgen im weiteren USPENSKIJ dahingehend, dass der Faktor Modalität, d. h. die Einstellung des Textproduzenten zu einem von ihm dargestellten Textereignis, von zentraler Bedeutung ist. Anders als USPENSKIJ argumentieren wir allerdings (vgl. dazu genauer SCHWEIER 2001), dass für den historischen Textverfasser (als Einzelperson wie auch als Kollektiv von Verfassern) bei der Signalisierung seiner Einstellung die Sprache ein zwar gewichtiges, jedoch nicht das entscheidende Kriterium dargestellt hat. Kognitiv primär erscheint vielmehr eine subjektive Prätextorientierung: Der Verfasser bezieht sich entweder bei der Darstellung eines Sachverhalts in seinem eigenen Text auf solche Prätexte, indem er zitiert, d. h. Fragmente daraus inhalts- und/oder ausdrucksseitig reproduziert, oder er unterlässt eine solche Bezugnahme. Anders als von Befürwortern der These einer Diglossie in der Rus' postuliert, gehen wir somit streng von dem Primat einer *Text-* gegenüber einer *Sprachenorientierung* aus, indem wir an die Stelle einer glossischen Kategorisierung (ksl. vs. alt-ostslav. *Sprache*) eine Kategorisierung setzen, die in ihrem Kern eine intertextuelle ist, genauer: eine Frage der intertextuellen Bezugnahme. Auf diese nach unserer Auffassung adäquatere Sicht der Dinge hat, wenn auch mit einer veränderten theoretischen Ausrichtung, bereits A. A. GIPPIUS aufmerksam gemacht (vgl. GIPPIUS et al. 1988: 46 ff.).

Grundsätzlich kann mit PICCHIO (1977) vorausgesetzt werden, dass die autoritativen Prätexte, auf die Bezug genommen wurde, dabei nicht lediglich als »a source of truth regarding the meaning of words and verbal constructions« dienten; sie repräsentierten vielmehr

a model for imitation, [...]. From this point of view, the imitation of the sacred and authoritative texts of the Christian tradition resulted in a rhetorical technique (PICCHIO 1977: 3).

Genau diese Technik war maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich die in Rede stehenden Texte als je spezifische komplexe Konfigurationen aus zitierten und nicht-zitierten Textelementen präsentierten bzw. dass ein »double level

of reading« entstand: "This means that verbal signs had to be interpreted according to the double code of both their immediate context and their models" (*ibid.*: 5).² Der »double level of reading« kann dabei als eine zusätzliche intertextuelle bzw. distanztopologische Textkohärenzdomäne interpretiert werden, die zu der intratextuellen hinzutritt, wobei Zitate als Schnittstellen – sog. Intertextualitäts-Konnektive – fungieren (vgl. dazu SCHWEIER 1995; 2005).

Eine der Grundlagen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Texten der slavischen, insbesondere der alt-ksl. Texttradition ist häufig die Identifikation sowie die Klassifikation von Zitaten. In diesem Zusammenhang wurde und wird von der Forschung bereits mit Blick auf die Ermittlung und die Segmentierung bzw. Abgrenzung zitierter Prätextfragmente auf Schwierigkeiten verwiesen, die keinesfalls trivial sind. So beklagte etwa vor geraumer Zeit MARTI (1981: 443), den wir hier stellvertretend zitieren:

Abgesehen davon, dass das Zitat zunächst als solches zu identifizieren ist, muss auf den veränderten Kontext Rücksicht genommen werden: [...] der Satzbau des Zitats muss demjenigen des Satzes, in den es eingebettet wird, angepasst werden. Ebenso kann [...] das Zitat gekürzt, auseinandergerissen oder umgestellt werden. Daneben besteht die Möglichkeit, dass das Zitat in der Vorlage, aus der übersetzt wurde, bereits einen abweichenden Wortlaut bot und dieser in der übersetzten Version fortlebte.

Anknüpfend an die Schwierigkeit, »Zitate nach objektiven, bislang noch nicht definierten Kriterien zu identifizieren«, verweist noch in neuerer Zeit u. a. GARZANITI (2001: 298 f.) außerdem auf das Problem, Zitate »von den Paraphrasen und sogar von den mehr oder weniger expliziten Anspielungen oder Verweisen auf den Bibeltext zu unterscheiden« (vgl. auch THOMSON 1990: 15 f.).

Im Allgemeinen werden die Identifikation von Zitaten in Posttexten sowie Äquivalenzurteile über Zitate explizit oder implizit auf das Postulat eines statischen Urbilds bezogen, d. h. auf eine Ersterwähnung in einem Quellenprätext, der präzise fixierbar sein soll – nach Möglichkeit als eine bestimmte älteste, datierbare biblische Textvorlage (vgl. ALEKSEEV 1999: 70 ff.; BLÁHOVÁ 1982: 67; MOSZYŃSKI 1991: 142 ff.; THOMSON 1990: 17 ff.; VAILLANT 1957: 34 ff.; u. v. a.). Das textologische Bemühen, ein Zitat auf ein Urbild in einem bekannten Prätext zurückzuführen, ist selbstverständlich legitim und soll hier auch nicht zur Diskussion stehen. Allerdings können mit dieser häufig anzutreffenden idealtypischen Erwartung auch Risiken verbunden sein.

2 Hier lässt sich der Bogen spannen bis hin zu DAIBERS (1992: 27) Feststellung, dass sich auch seit der frühen slavischen Grammatikschreibung »zwei Darstellungen« unterscheiden lassen, »die sich deutlich entweder einer theologisch-philosophischen oder einer rein grammatischen Sprachauffassung zuordnen lassen.«

Zum einen sind wertende Tendenzen zu nennen, in deren Rahmen Zitate etwa dann, wenn sie volkssprachliche Elemente enthalten oder wenn Abweichungen von der erwarteten ksl. (buchsprachlichen) Norm vorliegen, etwa als ›sprachlich ungenau‹, ›verderbt‹ oder ›fehlerhaft‹ eingestuft werden. Ebenso wird häufig inhaltsseitig eine Bewertung der Zitiergenauigkeit vorgenommen, vgl. – weiterhin stellvertretend – einen lapidaren Kommentar wie den TŠCHIŽEWSKIJS (1969: 304; dazu auch SCHWEIER 1995: 271 ff.): »Ungenau Ps. 80, 4«, bzw. ausführlicher MARTI (1981: 443):

Man muss auch damit rechnen, dass der Übersetzer [...], noch wahrscheinlicher, ihm sehr geläufige Passagen aus dem Gedächtnis niederschrieb, was Fehler nur begünstigen konnte.

Letzteres Zitat verweist zu Recht darauf, dass Prätexte, aus denen zitiert wurde, sehr oft als mentale Repräsentationen aufgefasst werden müssen (vgl. dazu auch SCHWEIER 2004). Dieser Umstand wird von der Forschung zunehmend gewürdigt, er ist indessen von einer Tragweite, die nach wie vor unterschätzt wird. In den zahlreichen Fällen, in denen vom historischen Textproduzenten aus dem Gedächtnis zitiert wurde, müssen Analysen beliebiger linguistisch relevanter Äquivalenzrelationen, die diese Vermittlung über eine mentale Repräsentation außer Acht lassen und sich starr an – möglichst schriftlich fixierten – Urbild-Prätexen orientieren, notwendigerweise unzulänglich bleiben. Die Einstufung von Divergenzen zwischen idealtypisch gesetztem Urbild und Zitat als Fehler, wie sie sehr häufig vorgenommen wird, ist somit allenfalls von einem *post festum* eingenommenen linguistisch-textologischen Metastandpunkt aus erklärbar; über den historischen Textproduzenten sagt sie nichts aus (vgl. dazu u. a. GARZANITI 2001: 301; KEIPERT 1999: 27; DAIBER 2009: 378). Bei all diesen Überlegungen ist natürlich immer auch der trivialen Schwierigkeit Rechnung zu tragen, dass älteste datierbare Textvorlagen als Quellen von Ersterwähnungen wie auch als Grundlagen mentaler Textrepräsentationen vielfach nicht ermittelt werden können.

2. Schritte zu einer Lösung

Mit Blick auf die Thematik des vorliegenden Beitrags sind die erwähnten Problemstellungen, die bei der Zitatidentifikation und -segmentierung beginnen, sicherlich ernst zu nehmen. Dem Bedauern über Schwierigkeiten der Zitatidentifikation soll allerdings zunächst die berechtigte Erwartung gegenübergestellt werden, dass zitierte Prätextfragmente für den zeitgenössischen Textrezipienten erkennbar waren (vgl. dazu auch Abschnitt 3.2.1) bzw. gemäß den Intentionen des Textproduzenten erkennbar sein sollten. Die Bedeutung

dieses Umstandes wird u. a. auch von PICCHIO hervorgehoben, der von »biblical thematic clues« sowie von »key words« ausgeht:

Biblical thematic clues provided the reader with general reference concerning the interplay of 'senses'. Thanks to these marked labels the reader could find the key words that would have helped him unveil the hidden meaning of both (PICCHIO 1977: 6).³

KEIPERT (1999: 27) berichtet anhand des slavischen Traktats über die acht Redeteile (14. Jh.) von Korrekturversuchen, die unmittelbar auf das Erkennen von Zitaten zurückzuführen sind:

dieser Schreiber hat gesehen, daß er ein Bibelzitat vor sich hat und welche Stelle gemeint ist, und dementsprechend die »verderbte« Fassung nach Kräften zu berichtigen versucht.⁴

Gerade im Anschluss an derartige Ausführungen soll hier dafür plädiert werden, im Rahmen der Zitatforschung die Position des historischen Textproduzenten wesentlich deutlicher als bisher in den Blick zu nehmen und dabei zusätzlich kognitive Aspekte in den Vordergrund zu rücken. Aus dieser Perspektive heraus bietet sich bei der Zitatforschung in einem ersten Schritt der Versuch an, zu klären, wie die in einem prototypentheoretischen Sinne »bestausgestatteten« Vertreter von Zitaten, die entsprechend vom intendierten Rezipienten auch am besten identifiziert werden können, zu modellieren sind; von solchen als *dynamisch* aufgefassten Referenzgrößen aus können dann weniger zentrale bzw. periphere Vertreter klassifiziert werden. In Bezug auf letztere ergeben sich interessante Anschlussmöglichkeiten an neuere Beobachtungen, denen zufolge historische Textproduzenten auch mit solchen peripheren Zitaten bewusst umgegangen sind und sie teilweise sogar im Text mit einer Markierung (z. B. *jako*) versehen haben, an der ein Rezipient »erkennen sollte, dass die nun wiedergegebene direkte Rede in der Wortwahl [...] zwar übereinstimmt, jedoch kein genaues wörtliches Zitat bildet (DAIBER 2009: 378).

Die Orientierung an *dynamischen* Referenzgrößen erbringt natürlich auch den Vorteil, dass Bewertungen der Zitiergenauigkeit, zumal von einem nachträglich eingenommenen linguistischen Metastandpunkt aus, umgangen werden können. Methodologisch zu bedenken wäre also, nicht von vorneherein den Vergleich eines Zitats mit einem statischen Urbild als »model for imitation« (PICCHIO 1997: 3) ins Zentrum des Untersuchungsinteresses stellen,

3 Vgl. in diesem Kontext die »Basiswerte« und ihre Relationen in SCHWEIER 1995.

4 Vgl. ähnliche Beobachtungen bei ALEKSEEV (1999: 71) u. v. a.

sondern grundsätzlich mit dem Vergleich von Zitaten mit Zitaten innerhalb eines entsprechenden Netzwerkes zu beginnen.

2.1. Das alte Desiderat einer Zitatsammlung

Ein derartiger Vergleich von Zitaten mit Zitaten im Verbund eines Netzwerkes wird ohne eine leistungsfähige ›Zitat-Datenbank‹, ohne deren Ausstattung mit einer hinreichenden Menge von einheitlich strukturierten und linguistisch annotierten sprachlichen Daten sowie ohne ein ausgereiftes Konzept für eine ebenso flexible wie präzise, dabei auch technisch bzw. statistisch anspruchsvolle Auswertung auf Dauer nicht erfolgreich durchzuführen sein. Die Forderung nach der Sammlung von Zitaten an sich ist dabei natürlich keineswegs neu, sondern knüpft an alte Desiderate an. In diesem Zusammenhang gab es bereits eine Reihe nicht konsequent durchgeführter oder gescheiterter Versuche, Bibelzitate in der (alt-)ksl. Literatur in größerem Umfang in Kartotheken, Karteien etc. zusammenzustellen. Erinnert sei hier nur an eine entsprechende Initiative NAUMOWS (1983; vgl. auch 1985), die noch auf eine Anregung aus den 70-er Jahren des 20. Jh. zurückging; sie wurde zunächst begeistert aufgenommen, dann aber nicht verwirklicht (vgl. dazu auch GARZANITI 2001: 299). Vor einigen Jahren noch hat DUNKOV beklagt, dass es trotz der Bedeutung der Bibelzitate »in den altbulgarischen Handschriften und in der Epigraphik des 9.–11. Jh.« noch keine »systematische Darstellung« gebe, auch seien sie »nirgends zusammengestellt« (DUNKOV 1995: IV; vgl. u. a. THOMSON 1990: 18); er hat dies zum Anlass genommen, eine ca. 1200 Einträge (in 1700 Verwendungen) umfassende Sammlung von Bibelzitaten in Texten des alt-ksl. Kanons vorzulegen. Darüber hinaus existiert eine ganze Reihe von Zitatsammlungen zu jeweils einzelnen Texten bzw. Texteditionen (zum alt-ostslav. Schrifttum vgl. in Auswahl DEMKOVA et al. 1957: 228–251; MATVEENKO/ŠČEGOLEVA 2000: 521 ff.; PONYRKO 1994: 153 ff.; SEEMANN 1970: LXXIII; TŠCHIŽEWSKIJ 1969: 298 ff.), es fehlt jedoch außer an einer zentralen Datensammlung generell an einer umfassenden Auswertung nach einheitlichen Kriterien.

Die Konzeption einer zentralen Zitat-Datenbank für historische slawische Texte könnte hier ganz wesentlich auch von bereits bestehenden Initiativen bzw. Datenbanksystemen profitieren. Denkt man dabei auch über den slavistischen Bereich hinaus, so wäre hier beispielsweise an das renommierte Münchener Zentrum für Editionswissenschaft (MüZE) bzw. dessen Projekt *Editing glosses/Glossenedition* zu denken, das ebenfalls darauf abzielt, neue Erschließungsformen für historische Texte zu entwerfen und so wechselseitige

Abhängigkeiten von Texten zu dokumentieren, überdies an ORCHARDS (2003) *Anglo-Saxon Formulary*.

Die Qualität einer slavistischen Zitat-Datenbank wird zweifellos von der quantitativen und qualitativen Bestückung und Auswertbarkeit einzelner Datensatzkomponenten (nach unserer Vorstellung u. a. mit Angaben über: paradigmatische Variation, Slotvariabilität, Keywords, Basiswerte, etc., siehe dazu unten) abhängen, um messbare Erkenntnisse über Musterhaftigkeit bzw. Varianz in Beziehung zu wählbaren Parametern (Zeit, Tokensarten etc.) zu gewinnen. Darüber hinaus werden variierende Cluster- sowie Netzwerkbildungen auf der Basis beliebiger geeigneter Kriterien von Interesse sein. Dabei ist davon auszugehen, dass gerade auch einzelne Keywords als ›kognitive Anker‹ von mentalen Repräsentationen (bzw. Kombinationen solcher Keywords) zu spezifischen Assoziationen bzw. Textfunktionen in Relation zu setzen sind, und dass sie gleichzeitig signifikant zu Netzwerk- bzw. Clusterbildungen beitragen. Bei der entsprechenden Auswertung ist u. a. auch eine Orientierung an einer Darstellung denkbar, wie sie etwa FRUMKINA et al. (1991) bei ihren Kategorisierungsexperimenten gewählt haben.

3. *Chunks und formulaic sequences*

Es darf als erstaunlich bezeichnet werden, dass die reichhaltige Forschungstradition der sog. *formulaic language* bislang bei der Zitatforschung von Seiten der slavistischen historischen Linguistik bzw. Textforschung kaum zur Kenntnis genommen worden ist. Insbesondere gilt dies mit Blick auf einige Arbeiten von WRAY und PERKINS, deren Einbeziehung es erlaubt, Zitate bzw. zitierte Prätextfragmente weitgehend analog zu den »formulaic sequences« jener beiden Autoren aufzufassen, d. h. als

a sequence, continuous or discontinuous, of words or other meaning elements, which is, or appears to be, prefabricated: that is, stored and retrieved whole from memory at the time of use, rather than being subject to generation or analysis by the language grammar (WRAY/PERKINS 2000: 1).⁵

Wir wollen im folgenden zudem in Anlehnung an WRAYS (2008: 17) *Needs Only Analysis (NOA)* argumentieren, dass zitierte Prätextfragmente einer weiteren Analyse offenstehen, falls wichtige Gründe dafür auftreten. Diese weitere Analyseaktivität äußert sich insbesondere zitaintern in Form von

5 Vgl. dazu auch die Unterscheidung von »morpheme equivalent units« in WRAY 2008: 11 ff.

paradigmatischer Variation, zitatextern in Form der Entstehung und Besetzung variabler ›Slots‹ an Zitatgrenzen bzw. in Lücken. Die Ermittlung und die Auswertung derartiger Parameter können wertvolle Informationen beim Eintrag von Prätextfragmenten in eine Zitat-Datenbank liefern und im weiteren wertvolle Auswertungsparameter darstellen.

3.1. *Chunks*

Wir lassen uns zu Beginn von der Hypothese leiten, dass die Musterhaftigkeit bzw. Festigkeit von prätextorientierten Textkomponenten, d. h. zitierten Prätextfragmenten, im Sinne einer – modern gesprochen – holistischen, klaren Diffusion und vermutlich auch Routinisierung als *Chunks* (nach BYBEE 2010; s. dazu genauer unten) als charakteristisch für ein Ausgangs-Textualitätssystem *A* gelten kann, so dass sich vor diesem Hintergrund *Varianz*-phänomene (wie paradigmatische Variation, Diffusion schematischer(er) Repräsentationen, Anzeichen für Generalisierungen etc.) als Indizien für einen Wandel jenes Ausgangssystems interpretieren lassen.

Als grundlegend für die Musterbildung betrachten wir einen Prozess der ›Akkommodation‹. Darunter verstehen wir eine Veränderung der aktuellen Sprachverwendung – hier also: der Textproduktion des historischen Textverfassers (darunter fällt gegebenenfalls auch ein Kollektiv von Verfassern) – als Reaktion auf die Wahrnehmung der Sprachverwendung von Interaktanten – hier entsprechend: der Sprachverwendung in vorgängigen, von jenem Textverfasser rezipierten Prätexten. Das, was zu suchen und zu analysieren ist, sind somit in einer vorläufigen groben Formulierung die in den historischen Texten erkennbaren Manifestationen bzw. Folgen von Interaktionen zwischen dem Produzenten eines (Post-)Textes und einer Menge von Prätexten. Wir haben dabei unterstellt, dass – begünstigt durch die Similaritätsattraktion autoritativer, prestigereicher Prätexte – ein Prozess der Angleichung der aktuellen Textproduktion zugrundeliegt. Dieser Angleichungsprozess ist Ausgangspunkt und Voraussetzung für die in der Folge möglicherweise stattfindende Übernahme und Aushandlung von Textkomponenten in der Sprachgemeinschaft, also für den auf die Akkommodation folgenden soziopragmatischen Prozess der Diffusion.⁶

6 Mit Blick auf die aktuelle Textproduktion ist der von uns als Ausgangsplattform gewählte Prozess der Akkommodation gleichzeitig ein Akt der *Innovation*, soweit z. B. ein zitiertes Prätextfragment als Token einem Type zuzuordnen ist, der im alt-ostslav. Posttextbestand noch nicht konventionalisiert war.

Signifikant ist dabei, dass Fragmente prestigereicher Prätexte ganz offensichtlich – wie oben bereits erwähnt – als chunkartige Einheiten übernommen wurden, im Defaultfall ohne physische Koprpresenz eines Exemplars des Prätextes; dies wiederum legt es nahe, dass mentale Repräsentationen der Chunks bereits gespeichert sind. Plausibel erscheint weiterhin, dass diese Repräsentationen, die ja für den aktiven Gebrauch zur Verfügung standen, seitens des Textproduzenten zu einem beträchtlichen Grad routinisiert und als holistische Einheiten generalisiert waren.

Da sich in einer Untersuchung historischer Texte direkte, etwa experimentalspsychologische Methoden zur Untersuchung von Verfestigungsprozessen (*Entrenchment*) aus naheliegenden Gründen verbieten, muss der methodische Zugang über die Analyse der Musterhaftigkeit und der Varianz der historischen Sprachdaten erfolgen, die indirekt über kognitive Prozesse Aufschluss versprechen (BYBEE 2010). Entsprechend stellen wir das Wissen des historischen Textverfassers über Prätexte, über Textualitätsverfahren in Prätexten und über Zitate (Verwendung, Integration, syntaktische Durchlässigkeit, Dekomposition, Amplifikation, Fusion, Slotvariabilität, Funktion etc.) ins Zentrum des Interesses. Der erwähnte Prozess der Akkommodation ist dabei der entscheidende Motor für Sprachverwendungs- bzw. Vertextungsreaktionen, die als dynamische Verfahren des ›Switching‹ bzw. des ›Mixing‹ beschrieben werden können, und er ist mithin auch verantwortlich für systemverändernde Prozesse im Rahmen von Sprachkontakt, bzw. hier ganz wesentlich: Textkontakt.

3.1.1. Diglossie?

Die Einbettung der Untersuchung in den bisher beschriebenen Rahmen soll es ermöglichen, die traditionelle slavistische Debatte über Diglossie, aber auch die Debatte über die Gewichtung der Faktoren *Sprach-* vs. *Prätextorientierung* gleichsam zu hintergehen, das Phänomen hybrider alt-ostslav. Texte in einen neuen Kontext zu stellen und von dort aus auf eine innovative Art (text-)linguistisch zu analysieren. Nach dem oben Gesagten gilt, dass die für unser hybrides alt-ostslav. Textkorpus charakteristischen Switching- bzw. Mixing-Erscheinungen die an der Textoberfläche wahrnehmbaren Folgen des system-konstitutiven Prozesses der Akkommodation darstellen. Es handelt sich demzufolge um Reaktionen auf zugrundeliegende Prozesse, die interaktiv kognitiv-soziopragmatisch geprägt sind. Eine der zentralen Fragen muss deshalb lauten, wie diese grundlegenden Prozesse so präzise wie möglich dargestellt werden können.

3.2. *Formulaic sequences*

Zur Beantwortung dieser Frage und zu Beginn der weiteren Diskussion der Switching- bzw. Mixing-Phänomene wollen wir uns in einem ersten Schritt ausschließlich auf die *zitierten* Textkomponenten konzentrieren. Ein zitiertes Prätextfragment soll nun ganz allgemein als eine sprachliche Einheit unterschiedlicher Komplexität (in der Regel eine Mehrwortkombination) definiert sein, die

- vom historischen Textverfasser aufgrund häufigen Kontakts mit einem Prätext zunächst ganzheitlich erworben und mental gespeichert wurde,
- im individuellen Verständnis von Prätext-Szenarien/-Konzepten und deren kontextueller Einbettung und Vernetzung in Prätexten kognitiv verankert ist,
- was die einzelne Verwendung bzw. den einzelnen Akt des Zitierens durch den historischen Textproduzenten betrifft, im Defaultfall über eine mentale Vermittlung realisiert wird.

Zitierte Prätextfragmente sind somit als präfabrizierte Einheiten zur Erreichung spezifischer kommunikativer Ziele wie Prätextorientierung, Prestigesicherung, Autorität, Partizipation, Similarität, Etablierung eines »double level of reading« etc. für neue Verwendungen in Posttexten verfügbar.

Noch recht neu zumindest für die slavistische Zitatforschung ist, dass wir zitierte Prätextfragmente in enge Beziehung zu SINCLAIRS (²1991) *principle of idiom*, insbesondere aber, wie oben schon erwähnt, zu dem Begriff der *formulaic sequence* WRAYS und PERKINS' setzen, der, wie oben zitiert, definiert ist als

a sequence, continuous or discontinuous, of words or other meaning elements, which is, or appears to be, prefabricated: that is, stored and retrieved whole from memory at the time of use, rather than being subject to generation or analysis by the language grammar (WRAY/PERKINS 2000: 1).

Unter der Bezeichnung *Morpheme Equivalent Unit (MEU)* wurden später diejenigen Sequenzen, die *tatsächlich* vorgefertigt sind und somit unseren zitierten Prätextfragmenten besonders nahekommen, gesondert herausgehoben als

a word or word string, whether incomplete or including gaps for inserted variable items, that is processed like a morpheme, that is, without recourse to any form-meaning matching of any sub-parts it may have (WRAY 2008: 94 ff.).

Für die weitere Präzisierung unserer Definition zitiertes Prätexthfragmente, aber auch für deren Untersuchung sind folgende zusätzliche Aspekte von zentraler Bedeutung:

- Ein komplexes zitiertes Prätexthfragment kann analog zu einer *formulaic sequence* durchbrochen/diskontinuierlich bzw. in dem Sinne syntaktisch durchlässig sein, dass es freie Slots mit variabler Besetzung enthält.
- Ein vom historischen Textverfasser aufgrund häufigen Kontakts mit einem Prätexth zunächst ganzheitlich erworbenes und/oder ganzheitlich mental gespeichertes zitiertes Prätexthfragment, sei es kontinuierlich oder durchlässig, wird als generalisierte Konstruktion (*Chunk*) aufgefasst, die aufgrund ihrer potentiellen Kompositionalität zu einem beliebigen Zeitpunkt einer Analyse unterzogen werden kann.

Indikator für einen Analyseprozess ist ›Paradigmatische Variation‹, hier verstanden als Veränderungen *innerhalb* der Bestandteile von Konstruktionen (vgl. auch SCHWEIER 1995: 101 ff.). Paradigmatische Variation im engeren Sinne umfasst Veränderungen der lexikalischen Besetzung (z. B. durch Synonyme) und/oder der grammatischen Bedeutungen in ein und derselben syntaktischen Position sowie Umstellungen in der Wortfolge. Paradigmatische Variation im weiteren Sinne äußert sich als Dekomposition (Reduktion) im Sinne einer Tilgung von Konstruktionsbestandteilen, als Amplifizierung im Sinne einer Hinzufügung von Konstruktionsteilen bzw. einer Fusion zweier Konstruktionen zu einer neuen Konstruktion oder als Entstehung syntaktischer Durchlässigkeit.

Bei anderen, konstruktionsexternen Veränderungen sprechen wir von ›Slotvariabilität‹. Hier geht im Wesentlichen um zwei Bereiche, die Indizien für erfolgte Generalisierungsprozesse liefern: Einerseits um die oben erwähnte variable Besetzung freier Slots, die sich in Lücken zwischen Konstruktionsbestandteilen infolge syntaktischer Durchlässigkeit ergeben, andererseits um variable Besetzungen (Adaptationen) an den Grenzen von Konstruktionen, die häufig im Zuge der Integration von zitierten Prätexthfragmenten in jeweils neue Posttextumgebungen auftreten. Mit den genannten Ausprägungen von paradigmatischer Variation und Slotvariabilität verfolgen wir u. a. mögliche Prozesse von ›Schematisierung‹ (im Sinne LANGACKERS 1991: 107)

through the reinforcement and progressive entrenchment of recurring commonalities, as well as the ‘cancellation’ (nonreinforcement) of features that do not recur;

auch darüber hinaus verfügen wir damit über wichtige Parameter, die in Datenbankeinträge zitiertes Prätexthfragmente aufgenommen werden könnten.

3.2.1. Formelhafte Sprache / zitierte Prätextfragmente und Spracherwerb

An dieser Stelle ist der Hinweis darauf wichtig, dass wir bei unseren Überlegungen strenggenommen durchgehend von einer Situation des Erwerbs ausgehen, und zwar eines Erwerbs in zweifachem Sinne. Zum einen ist damit der auf Routinisierung, Chunking, Generalisierung etc. beruhende Erwerb von einzelnen zitierten Prätextfragmenten gemeint. Zum anderen geht es um den Erwerb der Sprache, bzw. besser – in der Terminologie ŽIVOVS (2000: 573) – der ›schriftlichen Tradition‹ jener Prätexte durch die Textverfasser, deren L1 in unserem Fall eine Umgangssprache auf alt-ostslav. Grundlage war. Es ist bekannt, dass die slavische Buchsprache im Wesentlichen textgestützt erworben wurde, d. h. auf der Basis der häufigen und regelmäßigen Lektüre meist biblischer Texte (vgl. dazu sowie zu daraus resultierenden Folgeerscheinungen SCHWEIER 1995: 48 ff.). Wir gehen davon aus, dass diese Methode allgemein ein »formulaic learning« (WRAY 2008: 221 ff.; vgl. auch WRAY/PERKINS 2000: 19) von Textkomponenten und damit verbunden ein *formulaic learning* von später zitierten Prätextfragmenten begünstigt hat. BERANT et al. (2008: 874) haben übrigens kürzlich in einer Studie zum *Entrenchment* u. a. von liturgischen Formeln bei Sprechern des Hebräischen vergleichbare Effekte nachweisen können, die sie als »laying down tracks in the subject's mind« bezeichnet haben.

Hinzu kommt Evidenz aus jüngeren Studien zum kindlichen Erstspracherwerb, aber auch zum L1- und L2-Erwerb von Erwachsenen, die die Rolle von Konstruktionen als Basiseinheiten des Spracherwerbs unterstreichen, vgl. stellvertretend TOMASELLO (2003: 99–100):

children do not first learn words and then combine them into sentences via contentless syntactic 'rules'. Rather, children learn [...] meaningful linguistic structures of many shapes and sizes and degrees of abstraction, and they then produce their own utterances on particular occasions of use by piecing together some of these many and variegated units in ways that express their immediate communicative intention.

Formelhaftes bzw. konstruktionsgestütztes Sprachlernen führt wieder zurück zu der oben bereits angesprochenen Analyse von Konstruktionen: Im Kontext des kindlichen Spracherwerbs hat WRAY (2008: 17) ihre bereits erwähnte *Needs Only Analysis (NOA)* formuliert, die besagt, dass

[the] process of analysis which the [native speaker] child engages in [is] not that of breaking down as much linguistic material as possible into its smallest components. Rather, nothing [is] broken down unless their [is] a specific reason.

Als ›specific reasons‹ für die Auslösung von Dekomposition nennt WRAY neben dem Verlust der einheitlichen Funktion (Bedeutung) einer Sequenz das Auftreten sequenzinterner paradigmatischer Variation (s. dazu oben).

Fragt man nach den Vorteilen des Erwerbs von Konstruktionen, Formelsequenzen, zitierten Prätextfragmenten, so sind die Speicherungsökonomie und die Abruffeffektivität derartiger gehunkter Großzeichen bei einem Minimum an analytischer Aktivität offenkundig. Daran schließen sich weitere Funktionen bzw. Leistungen an, die speziell im Hinblick auf die orthodox geprägte slavische Texttradition und -kultur von zentraler Bedeutung sind:

- *Kontrolle der Interpretation*: Zitierte Prätextfragmente verringern analog zu *formulaic sequences* die Interpretationsbandbreite, ja sie dienen der Lenkung des Rezipienten durch den Textproduzenten:

By choosing formulations for which the hearer is likely to have holistic lexical representations, complete with pragmatic and cultural associations, the speaker can exercise control over how the hearer interprets what is said, and minimize the chances of a different interpretation from the intended one (WRAY 2008: 20–21; vgl. dazu auch WRAY/PERKINS 2000: 13 ff.).

Holistische Einheiten erweisen sich in dem Sinne als risikoärmer, als sie das Textverstehen enger an die Intentionen des Textverfassers koppeln (vgl. dazu auch WRAY/PERKINS 2000: 16 ff.). Umgekehrt, d. h. aus der Position des Rezipienten, kann der Input zitierte Prätextfragmente von einer ›idiom-completion‹ im Sinne HARRIS' (1998: 57) profitieren, die sich dadurch auszeichnet, dass ›the first word or two activates the idiom level, which then top-down activates all words of the idiom‹. Die Erwartung derartiger Primingeffekte ist für uns auch ein wesentliches Argument bei der Diskussion über die Identifizierbarkeit (einschließlich Abgrenzbarkeit) von zitierten Prätextfragmenten bei historisch-zeitgenössischen Rezipienten.

- *Sicherung der Texttreue/Texttradition*: Die Konservierung der Texttradition steht in engem Zusammenhang mit der erwähnten Lenkung bzw. Kontrolle der Interpretation; Formelsequenzen können als ›mark of antiquity‹ (WRAY 2008: 41 f., 249 f.; vgl. auch WRAY/PERKINS 2000: 16) dienen und aufgrund ihrer Holistik und Festigkeit in hohem Maße gleichzeitig Texttreue und Exaktheit der Wiedergabe gewährleisten.
- *Sicherung der Identität*: WRAY/PERKINS (2000: 13 f.) unterscheiden die Sicherung einer ›separate identity‹ von einer für uns wichtigeren Sicherung der ›group identity‹ mit den Effekten ›overall membership‹ und ›place in hierarchy‹, für die u. a. rituelle Wendungen (Gebete, Beschwörungen etc.) sowie Zitate charakteristisch sind.

Von den beschriebenen Vorteilen formelhafter reproduzierender Sprachverwendung hinsichtlich Speicherung und Abruffeffektivität sowie hinsichtlich Sicherungs- und Kontrollfunktionen profitiert auch ein spezifisches Charakteristikum der mittelalterlichen slavischen Texttradition und Geschichtsdeutung: Der primäre Fokus ist historisch gerade nicht auf ein möglichst hohes »Aufmerksamkeitspotential in bezug auf die Singularität – die Neuheit oder Unerwartetheit – der [...] vermittelten Ereignisse« (SCHWEIER 1995: 42) gerichtet, als dominant erweist sich vielmehr die Erwartung dessen, was sich bereits einmal ereignet hat. In WRAY/PERKINS (2000: 13) erscheint die Tragweite einer vergleichbaren Erwartungshaltung mit Blick auf Formelsequenzen noch beträchtlich ausgedehnt:

In short, this model holds that our baseline strategy in every day language processing, both production and comprehension, relies not on the potential for the unexpected in a given utterance but upon the statistical likelihood of the expected.

3.2.2. Formelhafte Sprache: Holismus und Kreativität

Werfen wir zuletzt noch einen kurzen Blick auf zitierte Prätextfragmente in ihrer Eigenschaft als Teilkomponenten von Switching- bzw. Mixing-Phänomenen in Texten, d. h. auf ihre intratextuelle Verwendung in Kombination und in Interaktion mit anderen Teilkomponenten. Wichtig ist dabei über das bereits in Abschnitt 3.2 Gesagte hinaus insbesondere, dass unsere Grenzziehung zwischen intertextuell markierten/prätextorientierten Textkomponenten und anderen Textkomponenten nicht mit der Differenzierung *präfabriziert* (formelhaft, holistisch, chunking, multiword, etc.) vs. *frei* (kreativ, single word etc.) zusammenfällt. Für die slavische Texttradition gilt von Beginn an, dass auch außerhalb einer Kategorie »Zitierte Prätextfragmente« neben frei kreierten Textkomponenten solche auftreten können, die präfabriziert sind. Wir befinden uns damit erneut in Übereinstimmung mit WRAY/PERKINS (2000: 119), die in ihrem Modell davon ausgehen, dass sich Sprachverwendung generell sowohl auf Formelsequenzen als auch auf Komponenten stützt, die nicht »prefabricated« sind:

[...] the best deal in communicative language processing is achieved by the establishment of a suitable balance between creative and holistic processes. The advantage of the creative system is the freedom to produce or to decode the unexpected. The advantage of the holistic system is economy of effort when dealing with the expected [...]. Either system alone would be restrictive.

Vor dem Hintergrund dieses Zitats, das nicht zuletzt an Positionen des »Prinzips Zentrum – Peripherie« (u. a. Sicherung von Stabilität – Sicherung von

Flexibilität) der Prager Schule erinnert (vgl. dazu auch SCHWEIER 2004), sowie der an JACKENDOFF (2002) angelehnten Vorstellung,

that linguistic material is stored in bundles of different sizes [...]. That is, the mental lexicon contains not only morphemes and words but also many multiword strings, including some that are partly lexicalized frames with slots for variable material, treated as if they were single morphemes (WRAY 2008: 12)

wird das Switching bzw. Mixing unserer zitierten Prätextfragmente mit anderen Textkomponenten als Spezialfall erkennbar: Zitierte Prätextfragmente sind – ungeachtet möglicher Dekomposition – *per definitionem* immer Chunks, Großzeichen, Formelsequenzen, sie stellen aber unter dem Aspekt einer Gesamtbalance zwischen präfabrizierten und kreativen Komponenten in Texten nur eine Teilmenge der präfabrizierten Komponenten dar. Mit Blick auf den oben (vgl. Abschnitt 3.1) als Grundlage der Switching- und Mixing-Phänomene bezeichneten Prozesses der Akkommodation können wir analog dazu sagen, dass die Wahrnehmung der Sprachverwendung, auf die der historische Textproduzent reagiert hat, nicht auf formelhafte reproduzierende Verwendung generell gerichtet war, sondern speziell auf Formelsequenzen mit spezifischen intertextuellen Charakteristika.

Literatur

- ALEKSEEV 1999 = Алексеев, А. А.: *Текстология славянской Библии*, Köln etc. (= Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, N. F., Reihe A: Slavistische Forschungen 24).
- BERANT et al. 2008 = Berant, J./Caldwell-Harris, C./Edelman, Sh.: »Tracks in the Mind: Differential Entrenchment of Common and Rare Liturgical and Everyday Multiword Phrases in Religious and Secular Hebrew Speakers«, in: Love, B. C./McRae, K./Sloutsky, V. M. (ed.): *Proceedings of the 30th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Austin: Cognitive Science Society*, 869–874, vgl. <http://csjarchive.cogsci.rpi.edu/Proceedings/2008/pdfs/p869.pdf>.
- BLÁHOVÁ 1982 = Благова, Э.: »Библейские цитаты в Успенском сборнике (XII–XIII вв.)«, in: *Cyrrilomethodianum* 6, 67–80.
- BYBEE 2010 = Bybee, J.: *Language, usage and cognition*, Cambridge.
- COLLINS 1992 = Collins, D. E.: »On Diglossia and the Linguistic Norm of Medieval Russian Writing«, in: Barentsen, A. A./Groen, B. M./Sprenger, R. (ed.): *Studies in Russian Linguistics*, Amsterdam (= *Studies in Slavic and General Linguistics* 17), 79–94.
- DAIBER 1992 = Daiber, T.: *Die Darstellung des Zeitworts in ostslavischen Grammatiken von den Anfängen bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert*, Freiburg i. Br. (= *MLS* 32).

- 2009 = Daiber, T.: »Direkte Rede im Russisch-Kirchenslavischen. Zum pragmatischen Wert des *jako recitativum*«, in: Besters-Dilger, J./Rabus, A. (Hg.): *Text – Sprache – Grammatik. Slavisches Schrifttum der Vormoderne. Festschrift für Eckhard Weiber*, München – Berlin (WdSl. Sammelbände/Сборники 39), 363–386.
- ДЕМКОВА et al. 1975 = *Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания*, изд. подгот. Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова, Л. И. Сазонова, Ленинград.
- DUNKOV 1995 = Дунков, Д.: *Библейските цитати в старобългарската книжнина*. = *Die Bibelzitate in der altbulgarischen Literatur*, Teil 1, Salzburg (= Die Slavischen Sprachen 43).
- FERGUSON 1959 = Ferguson, Ch. A.: »Diglossia«, in: *Word* 15, 325–340.
- FRUMKINA et al. 1991 = Фрумкина, Р. М./Михеев, А. В./Мостовая, А. Д./Рюмина, Н. А.: *Семантика и категоризация*, Москва.
- GARZANITI 2001 = Garzaniti, M.: *Die altslavische Version der Evangelien. Forschungsgeschichte und zeitgenössische Forschung*, Köln etc. (= Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, N. F., Reihe A: Slavistische Forschungen 33).
- GIRPIUS et al. 1988 = Гишпиус, А. А./Страхов, А. Б./Страхова, О. Б.: »Теория церковнославянско-русской диглоссии и ее критики«, in: *Вестн. Моск. ун-та*, Сер. 9: Филология 5, 34–49.
- HARRIS 1998 = Harris, C. L.: »Psycholinguistic Studies of Entrenchment«, in: Koenig, J.-P. (ed.): *Discourse and Cognition. Bridging the Gap*, Stanford (= Conceptual Structure, Discourse and Language), 55–70.
- JACKENDOFF 2002 = Jackendoff, R.: *Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution*, Oxford – New York.
- KEIPERT 1999 = Keipert, H.: »Grammatik und Theologie. Zur Objektsprache des slavischen Traktats über die acht Redeteile«, in: *ZfSLPh* 58, 19–42.
- KRETSCHMER 1994 = Kretschmer, A.: »Und noch einmal zur Diglossie«, in: Berger, T. (Hg.): *Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland und Österreich. Jung-SlavistInnen-Treffen Wien 1992* (= *WSLAL* 33), 181–194.
- LANGACKER 1991 = Langacker, R. W.: *Foundations of Cognitive Grammar*, Vol. 2: *Descriptive Application*, Stanford.
- MARTI 1981 = Marti, R.: »Die Evangelienzitate im Glagolita Clozianus«, in: Riggenbach, H. (Hg.): *Colloquium Slavicum Basiliense. Gedenkschrift für Hildegard Schroeder*, Bern etc. (= *Slavica Helvetica* 16), 443–458.
- МАТВЕЕНКО/ŠČEGOLEVA 2000 = Матвеевко, В./Щеголева, Л.: *Временник Георгия Монаха: (Хроника Георгия Амартола). Русский текст, комментарий, указатели*, Москва.
- MOSZYŃSKI 1991 = Moszyński, L.: »Cytaty ewangelijne w »Szeszodniewie Jana Egzarchy Bułgarskiego«, in: Świdziński, J./Zdanczewicz, T. (Hg.): *II Kolokwium slawistyczne polsko-bułgarskie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet w Płowdżiwie im. Paisija Chilandarskiego, Poznań, 17-18.XI.1988*, Poznań (= Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Filologicznej, Wydział Filologiczno-filozoficzny), 143–150.
- NAUMOW 1983 = Naumow, A. E.: »О картотеке церкiewнословаи́ских у́чы́ библийных«, in: *Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique* 44.1, 21–29.

- 1985 = Naumow, A. E.: »Fragmenty psalmowe w Ewangeliarzu Ostromira«, in: Reinhart, J. (Hg.): *Litterae Slavicae Medii Aevi. Francisco Venceslao Mareš Sexagenario Oblatae*, München (= SSS 8), 231–240.
- ORCHARD 2003 = Orchard, A.: »Looking for an Echo: The Oral Tradition in Anglo-Saxon Literature«, in: *Oral Tradition* 18.2, 225–227.
- PICCIO 1977 = Picchio, R.: »The Function of Biblical Thematic Clues in the Literary Code of ›Slavia Orthodoxa‹«, in: *Slavica Hierosolymitana. Slavic studies of the Hebrew university* 1, 1–31.
- ПОНЬРКО 1994 = *Житие протопона Аввакума. Житие инока Епифания. Житие боярыни Морозовой: Статьи, тексты, комментарий*, изд. подгот. Н. В. Поньрко, Санкт-Петербург (= Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях 2).
- REHDER 1989 = Rehder, P.: »Diglossie in der Rus'? Anmerkungen zu B. A. Uspenskij's Diglossie-Konzeption«, in: *WdSl* 34, 362–382.
- ՏԱՐԻ 1989 = Шапир, М. И.: »Теория ›церковнославянско-русской диглоссии‹ и ее сторонники. По поводу книги Б. А. Успенского *История русского литературного языка (XI–XVII вв.)*«, in: *Russian Linguistics* 13.3, 271–309.
- SCHWEIER 1995 = Schweier, U.: *Paradigmatische Aspekte der Textstruktur. Textlinguistische Untersuchungen zu der intra- und der intertextuellen funktionalen Belastung von Strukturelementen der frühen ostslavischen Chroniken*, München (= SSS 23).
- 2001 = Schweier, U.: »Die ›kirchenslavisch-ostslavische Diglossie‹ und ihre Auflösung als Kategorisierungswandel: Vom aristotelischen zum prototypischen Modell«, in: *WdSl* 46.1, 27–42.
- 2004 = Schweier, U.: »Ein ideales Sprachsystem ist nur ein Phantom ...«. Zur Aktualität des Prager ›Universalen Prinzips Zentrum – Peripherie‹ für die sprachliche bzw. die (text-)linguistische Kategorisierung«, in: Okuka, M./Schweier, U. (Hg.): *Germano-Slavistische Beiträge. Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag*, München (= WdSl. Sammelbände/Sборники 21), 249–266.
- 2005 = Schweier, U.: »Texte in Kontakt. Ein linguistischer Beitrag zur Intertextualitätsdebatte (am Beispiel der ›Pronominalen Substitution‹ von R. Harweg)«, in: Kempgen, S. (Hg.): *Slavistische Linguistik 2003. Referate des XXIX. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Bamberg, 15.–19.9.2003*, München (= Slavistische Beiträge 442), 305–317.
- SEEMANN 1970 = Игумен Даниил: *Хождение* = Abt Daniil: *Wallfahrtsbericht, Nachdruck der Ausgabe von Venevitinov 1883/85*, m. e. Einl. u. bibliograph. Hinweisen v. K. D. Seemann, München (= Slavische Propyläen, Texte in Neu- und Nachdrucken 36).
- SHEVELOV 1987 = Shevelov, G. Y.: »Несколько замечаний о грамоте 1130 года и несколько суждений о языковой ситуации Киевской Руси«, in: *Russian Linguistics* 11, 163–178.
- SINCLAIR 1991 = Sinclair, J.: *Corpus, Concordance, Collocation*, Oxford (= Describing English Language).
- THOMSON 1990 = Thomson, F. J.: »Towards a Typology of Quotations in Early Slavic Literature, with an Assessment of their Value for Textology Illustrated by the Quotations from Ephraem Syrus' *Paraenesis in the Patericon Kievocryptense*«, in: *Anzeiger für Slavische Philologie* 20, 15–62.

- ТОМАСЕЛЛО 2003 = Tomasello, M.: *Constructing a Language. A Usage-Based Theory of Language Acquisition*, Cambridge – London.
- ТСЧИЖЕВСКИЈ 1969 = *Die Nestor-Chronik*, eingel. u. komm. v. D. Tschizewskij, Wiesbaden (= Slavistische Studienbücher 6).
- УСПЕНСКИЈ 1987 = Успенский, Б. А.: *История русского литературного языка (XI–XVII вв.)*, München (= SSS 12).
- VAILLANT 1957 = Vaillant, A.: »Les citations des Écritures dans le Suprasliensis et le Clozianus«, in: *Slavistična Revija* 10, 34–40.
- VEREŠČAGIN 1977 = Верещагин, Е. М.: »Ветхо- и новозаветные цитаты в Изборнике Святослава 1073 г.«, in: Рыбаков, Б. А. (отв. ред.): *Изборник Святослава 1073 г. Сборник статей*, Москва, 127–138.
- WRAY 2008 = Wray, A.: *Formulaic Language: Pushing the Boundaries*, Oxford (= Oxford Applied Linguistics).
- WRAY/PERKINS 2000 = Wray, A./Perkins, M. R.: »The Functions of Formulaic Language: An Integrated Model«, in: *Language and Communication* 20.1, 1–28.
- ŽIVOV 2000 = Живов, В. М.: »О связанности текста, синтаксических стратегиях и формировании русского литературного языка нового типа«, in: Июмдин, Л. Л./Крысин, Л. П. (отв. ред.): *Слово в тексте и в словаре. Сборник статей к семидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна*, Москва, 573–581 (= Studia philologica).

Neil Stewart

Commemoration and Identity in Paris and Moscow. The Pushkin Celebrations of 1937 and the *Odnodnevnyaya Gazeta Pushkin*

Using a very brief case study as an example, I would like to look at the question how a large emigrant community, the Russian emigrants of the so-called First Wave, constructed and strove to maintain its cultural identity abroad and how such efforts compared with those of the Soviet authorities back in the USSR. Russian culture has always had a strong tendency to define itself through the tradition of classical Russian literature, and this tradition is epitomised by the poet Aleksandr Pushkin (1799–1837). Pushkin’s position as *the* quintessentially Russian writer and cultural hero has for a long time been unrivalled, and as far as Russian and Soviet culture is concerned we can say of him what Harold BLOOM (²1997: xv, xxviii) has said of Shakespeare: that he is not just the most important canonical writer, but represents the canon as such. Between 1924 and World War Two, the Russian *émigré* community all over the world celebrated his birthday, the 8th June, as the “Day of Russian Culture”, the most important cultural event in its calendar. Pushkin was the one figure from the pantheon of Russian literature that everyone accepted regardless of ideological differences, of which there were many, and neither a political nor a religious event could possibly have fulfilled the same function. Because the cult of Pushkin was seen as indispensable for the unity of Russia Abroad,¹ tremendous financial and planning effort was made to keep it going and special committees were set up all over the world to organise the proceedings (cf. KUZINA 1995).

Analysing problems of canon and cultural identity largely amounts to analysing problems of collective memory. The cultural or collective memory of any community, of course, is not about reconstructing the past as it really

1 For this term and concept—the Russian interwar diaspora as a “stateless nation”, a “Russia beyond the borders”, with its “capital” Paris and its own set of cultural and social institutions—, see RAEFF 1990: 3–15. The remarkable proliferation of spatial, “geopoetical” metaphors in the literature of the Russian emigration and also in critical and scientific texts relating to it (see below) may quite conceivably be a result of this paradoxical cultural construct, a nation without a territory.

was. Rather, a past is carefully constructed according to the needs of that community's present (ASSMANN 1992: 48). Some things are remembered while others are left out, and this is a deliberate and ideologically motivated process. What interested me in the materials presented here was not so much a concern with Pushkin's work as such—indeed, as literary criticism most of the texts under consideration can scarcely be described as original. If anyone wanted to learn something about Pushkin, the *Однодневная газета* of 1937 would be about the last thing I would have them read, because in spite of invoking his name in almost every sentence these texts manage to say next to nothing substantial about the great man. They do, however, provide a good example of the ideological assumptions, rhetorical strategies, and patterns of argumentation, in other words: of the discourse employed by the Russian intelligentsia in exile in order to construct their image of Pushkin, to propagate and to preserve their common cultural identity as they perceived it.

The *One-day Gazette Pushkin* (OGP) was published in Paris in February 1937 to commemorate the centenary of the poet's duel and death.² This date, which also happened to coincide with the twentieth anniversary of the Bolshevik Revolution, had loomed large for many years and fascinated the collective imagination of Russians in exile as well as in the Soviet Union. 1937 has been aptly termed the "eschatological fixed point of Russian classical Modernism" by Wolfgang Stephan KISSEL (2004: 279). In the Russian diaspora, one-time publications like the *Gazette Pushkin* were quite common on special occasions. This particular one had been undertaken under the editorship of Nikolay Kul'man by a committee founded in 1935.³ It consisted of fourteen pages in broad-sheet format and contained forty-six separate contributions from intellectual representatives of the Russian *émigré* communities in Paris, Belgrade, Prague, and London, as well as four articles by French scholars, one by an Englishman, and one by a Pole. Note that the old, pre-revolutionary Russian orthography is used, which is typical of the First Wave of the Russian emigration. The last two pages (OGP: 11–12) were reserved for advertisements from various businesses catering for Russians in Paris. These commercials are in their own right a source of information on *émigré* life, affording a glimpse of the social and economic microcosm that was Russia Abroad: there are several bookshops advertising works by Pushkin (in the original, but also in a French translation by A. Gide), a wide choice of bars and restaurants ranging from "Chez Kornilov" in the Rue d'Armaillé to the "Яр" on the Champs Elysées. There is a distillery, naturally, and a tea shop boasting not only "the best among the cheap teas"—"no. 74 at 7 francs per 100

2 I used an identical second edition that came out later in the year (cf. FILIN 2004: 222–223).

3 For very full and detailed bio-bibliographic information on the members of the Paris committee and their work, cf. the two-volume compilation by FILIN 2000.

grams”—, but also “the cheapest among the best”: “no. 160 at 7.50 francs”. A host of doctors and dentists offer their services as well as a bank, a Russian grammar school, and no fewer than six companies specialising in the transport of goods to Russia.

Several prominent writers contributed to the *Gazette*, among them Mark Aldanov, Marina Tsvetaeva, Konstantin Bal'mont, Nina Berberova, and Aleksey Remizov. Pride of place was held by the first Russian winner of the Nobel Prize for literature, Ivan Bunin, whose essay shared the front page with a portrait of Pushkin and with statements by two eminent politicians: Vasily Maklakov, the last ambassador of the Tsar in Paris, and Pavel Milyukov, a former leader of the Russian Cadets party.⁴ Vladimir Nabokov, the Merezhkovskys, Berdyaev, Ivanov, and Khodasevich were absent, though, and it is also significant that even those literary authorities who did participate generally limited themselves to contributing a short poem or a few lines of pallid prose rather than elaborate articles like the politicians, the literary critics, the philosophers, and the clergymen. Thus the overall tone of the *Gazette* is one of festive oratory and feature journalism; it does not in a traditional sense represent a noteworthy literary event. This, however, is all to the good for the purposes of the present paper, which is concerned with literary propaganda rather than with literature proper. Literary histories have traditionally tended to present the subject of Russian culture in exile by focusing on famous authors, whether in biographical terms or in terms of the history of ideas. The Pushkinian subtext of Nabokov's novel *Дар* (*The Gift*) or Khodasevich's critical writings are naturally given priority over the more than four thousand newspaper articles, leaflets, and *One-day Gazettes* produced by the *émigré* institutions between the wars.⁵ But at the time, this institutionalised discourse may well have had much more influence on the rank-and-file reader than the works we consider canonical today. For contemporary Parisians, natives as well as Russians, the most noticeable part of the 1937 centennial was not any textual event, but the popular exposition *Pushkin and his Era* that attracted more than ten thousand visitors in the space of four weeks

4 Not all contributions were original texts specifically written for this occasion. Maklakov's front-page essay, for instance, is made up of excerpts of a speech he had held in 1926, under a slightly different title, Vladimir Vejdle's piece on Pushkin's drawings was taken from a 1935 book (cf. FILIN 2004: 117, 187).

5 G. A. KUZINA (1995: 54) is impressed by the fact that inside the office of the Paris committee organizing the “Day of Russian Culture” an entire cupboard (“целый шкаф”!) was filled exclusively with publications relating to the 1937 jubilee. For bio-bibliographic information—well researched and lucidly annotated, but by no means exhaustive—on the Russian *émigrés'* popular literary output on Pushkin, see FILIN 2004.

(and also provoked a minor diplomatic scandal).⁶ The public face of the jubilee was not a Pushkin scholar or a politician, but the exposition's organiser Sergey Lifar, a leading star of the Ballets Russes and an enthusiastic collector of Pushkiniana. The handsome Lifar may not have been an eminent man of letters—his introductory essays and addresses were rendered unpalatable by “the saccharine-sweet tonality of museum tour guides and grade school teachers” (BRINTLINGER 1999b: 59)—, but he was a prolific public relations man and a ubiquitous presence on the culture scene of the French capital.⁷

We must likewise bear in mind that, by the 1930s, the subject of Pushkin had finally ceased to be a literary affair in the Soviet Union as well as in the diaspora and had become a purely ideological one. The 1921 Pushkin celebrations in Petrograd had been dominated by great poets like Kuzmin, Blok, or Khodasevich, who in their poetic offerings engaged with Pushkin, revering and challenging him (KISSEL 2004: 87–95). *Avant-garde* critics in the relatively liberal 1920s had tackled his writings in Formalist and Freudian terms, producing some of the finest literary criticism ever. But in the 30s, while the enforcement of Socialist Realism put an end to all this in the Soviet Union, Russians abroad were gradually losing their original belief that exile would only be temporary, unpacked their suitcases and clung to Pushkin with increasingly conservative fervour (cf. KUZINA 1995: 53–54 and BRINTLINGER 2000: 166–167). On both sides of the border, the autonomous habitus of the intellectual was replaced by an idolatrous cult of Pushkin. And so, while it is always difficult to differentiate clearly between high culture and popular propaganda—not least because that distinction is itself ideologically motivated—, in the present case it is virtually impossible (cf. also BRINTLINGER 1999a: 308).

In order to gain some idea of the similarities and the differences between *émigré* and Soviet propaganda, I have also consulted the first 1937 number of *Новый Мир* (NM), the most important literary journal in the USSR, an issue heavily dominated by Pushkiniana.

-
- 6 The exposition was originally to be held at the *Bibliothèque nationale*, but the *émigré* organizers refused to invite the Soviet ambassador, who categorically demanded to be present at the opening ceremony and was supported in this claim by French government institutions. After the French minister of education had withdrawn his permission to use the National Library, the exhibition was moved to a private hall. “Pushkin and his Era”, after all, had been specifically designed to stress the continuity that existed between the great poet and the Petersburg Empire, not the USSR (cf. BRINTLINGER 1999b: 60–61).
- 7 “It is curious to note that not only did Pablo Picasso draw Sergei Lifar, but Lifar drew Picasso as well, penning himself into the landscape of a pan-European cultural heritage. Jean Cocteau and Lifar exchanged portraits as well, and at Lifar’s request” (BRINTLINGER 1999b: 53).

Some of the differences in the respective presentations of Pushkin are more or less obvious. The emigrant paper devotes a lot of attention to the question of the poet's religious faith, and this turns out to be a rather problematic point because to most of us today his writings would seem to be of a distinctly secular nature and he even composed a few notoriously blasphemous pieces, which the clergyman Yakov Ktitarev in OGP (11) attributes to dark moments of spiritual and bodily weakness. One would not, of course, expect NM to make quite as much of the religious motifs in Pushkin, but the Marxist journal's treatment of religion as folkloristic subject matter, as opposed to a serious spiritual issue, has a remarkably liberating effect. While OGP takes care not to mention texts like *Подражания Корану* (*Imitations of the Koran*), NM (5) ostentatiously opens with a commentary on that very cycle. It is also interesting to note that both publications refer to the same biographic anecdote: Pushkin is said to have seen Bryullov's painting *Распяятие Христа* (*The Crucifixion*) at a museum guarded by two soldiers and remarked that these reminded him of the Roman guards present at the execution of Christ, fending off the attending crowd. Ktitarev interprets this in religious terms—true faith will overcome the threat of worldly power (OGP: 11)—, while NM's G. Chulkov offers a communist reading: the proletariat will not be repressed by the forces of the establishment (286). There is a tendency in the *Gazette* to compare and identify Pushkin with Peter the Great, while a poem in NM (10) has the rousing (if slightly jarring) crescendo

Пушкин, Пушкин, будь же славен
 Славой родины чудесной!
 Да здравствует Сталин!
 Да здравствуют песни!

Pushkin, Pushkin, Fame to thee
 The Fame of our wonderful homeland!
 Hail Stalin!
 Hail songs!

Such differences were to be expected, of course, and in order to analyse how the two discourses function in a more general way it is necessary to take a more abstract approach and begin with a more general observation.

Whenever a writer is transmogrified into a classic to represent a certain society, a similar set of posthumous operations is performed on his biography and his work. He will be made to bear the basic values of that society, and texts that do not accord with these will be explained away or will be censored, and have indeed in some cases been physically removed from the li-

braries.⁸ Commentators will stress the exemplary character of his writings and their eternal quality, again neglecting or censoring any recalcitrant detail, dismissing it as accidental or of merely historical significance. The same commentators, when writing about him, will point out merits like completeness, clarity, and purity of style and genre. Short passages and single sentences will be singled out of his writings, anthologised and presented as general wisdom.⁹ Also, the future classic's life and art are, so to speak, sealed off against external influences, such as influences by other writers. Making someone a classic is typically a process of systematic de-contextualisation, exclusion and closure. Mikhail БАКХТИН (2010: 341, 344–346) has characterised the aesthetics of classicism, the canon of the establishment, in terms of smooth surfaces, plasticity, and isolation, and the iconography of Pushkin as exemplified by the many Russian monuments to him that were erected in the twentieth century or his profile on the cover of the Soviet Academy's *Collected Works* illustrate this description pretty well. Note, however, that Pushkin, of all poets, is one whose work would seem to put up particularly stout resistance to such refashioning: he was heavily and productively influenced by foreigners, by his Russian contemporaries and his time, and his poetics are, if anything, thoroughly eclectic (cf. also LACHMANN 1990: 280).

The two journals address this problem in different ways. And this is not surprising, because while both wanted Pushkin as a symbol of Russian society, they had two different societies in mind. The emigrants thought of themselves as Imperial Russia, the Russia founded by Peter the Great, the culture of which they were continuing abroad.¹⁰ The Soviets saw themselves as a new society altogether. In NM (287) we are told how “ПУШКИН БЫЛ ЖИВЫМ УКОРОМ ДВУХСОТЛЕТНЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИСТОРИИ” [“Pushkin was a living reproach to two hundred years of Petersburg history”],¹¹ while in the *Gazette*

8 David BRANDENBERGER (1999: 68) mentions the case of N. K. Krupskaya's purging of Pushkin's works from the libraries, for example.

9 Sure enough, the *Gazette* has its own section of “Избранные афоризмы и мысли” [“Selected Aphorisms and Thoughts”], called “Из жизненной мудрости Пушкина” [“Pieces of Wisdom by Pushkin”] (OGP: 5).

10 In the context of an *émigré* campaign to have a Parisian street named after Pushkin—much discussed in the French press at the time, but ultimately unsuccessful—, this ideological construction was explicitly translated into geographical terms by the author of an article called “Où sera la rue Pouchkine?” in *Le Temps* on 6th February 1937, commenting on the proposal to rename the Rue de la Neva, which runs near the Alexander-Nevsky-Cathedral and the Rue Pierre-le-Grand in the 8th *arrondissement*: “The rapprochement of Pushkin and Peter the Great on the map of Paris would be appropriate enough, since the great poet played in Russian literature a role analogous to that of the tsar reformer in national history” (cf. BRINTLINGER 1999b: 51).

11 Note the chronological inaccuracy: during Pushkin's lifetime, the city of St. Petersburg (founded in 1703) could not yet look back on “two hundred years of history”.

he is celebrated by V. Maklakov (OGP: 1) as a “symbol” of the Russian Empire and described by P. Struve as “Растущий и живой Пушкин”, an organically grown product of his milieu (OGP: 3). This latter view presents a problem, because Pushkin did not get on very well with the society he lived in, he was eternally at odds with the authorities and died in a duel at the age of thirty-seven. NM (282–287) is in a position to offer a very coherent narrative here and does so in only one short article: the poet was a revolutionary all his life, his downfall was effected by the Romanovs and his death was the work of a foreign hireling. The *Gazette* has no such straightforward story at its disposal and consequently a lot of interpretation and commentary is necessary in the many articles devoted to the subject of Pushkin’s biography. The poet’s life is presented as a problematic one, he tried to adapt to the necessities of practical existence, but failed for several reasons of a private nature. Chance and circumstance are blamed rather than systematic harassment by the regime. Pushkin’s contacts with other famous representatives of the contemporary intelligentsia are stressed, those with the Decembrist revolutionaries are played down (they simply did not take him seriously, according to V. Tsetlin in OGP: 9), while several contributions point out that he made a fatal mistake by marrying the wrong woman at the wrong time, or of marrying at all (M. Gofman in OGP: 10).¹² Ariadna Tyrkova-Williams’s essay sets out to refute the slanderous rumour—maliciously launched by the temporary rulers of Russia (“временными властителями России”)—, that Nataliya Pushkina was having an affair with Nicolas I., claiming to defend not only Pushkin’s good name, but also that of the Tsar, tsarist society and Russian woman in general (OGP: 9–10). The *émigré* writers also point out, and quite convincingly, that Pushkin fought his duel not to confront the social system, but in full accordance with his code of honour as an aristocrat.¹³ It is interesting to note that all this serves to deconstruct a cherished scheme of writing about Pushkin that had been developed during the Silver Age of Russian literature in the two-and-a-half decades preceding World War One, namely the notion of *жизнетворчество*, i. e., “life-creation”. The Russian Symbolists had maintained that Pushkin, like many great artists, had deliberately fashioned his life as a

However, this mistake, or rather: the deliberate assumption of such an achronological perspective, is quite typical of a Soviet discourse that treated Pushkin as a contemporary, suggesting, as it were, his “magical” presence. We will come back to this.

12 Soviet accounts, on the other hand, present Pushkin as a public person and do not blame his death on his unhappy marriage (PETRONE 2000: 132).

13 During the opening of Sergey Lifar’s 1937 exhibition there was even an attempt to symbolically “reconcile” the Pushkin and the d’Anthès clans. Nikolay Pushkin, the poet’s grandson, travelled from Brussels specifically to shake hands with the grandson of Pushkin’s killer, a meeting that received wide coverage in the press (BRINTLINGER 1999b: 62).

work of art, had been in control all along and even masterminded his own downfall as the culmination of a poetic composition. He was not the helpless victim of an intrigue, but a conscious and ultimately triumphant martyr. Paradoxically, this quasi-religious martyr legend is not used by the *émigré* journalists,¹⁴ who were intellectual children of the Silver Age, but is suggested, albeit in secularised form, by the atheist Bolsheviks at NM (281–285).¹⁵

Another central element of the Pushkin myth and one that is also connected to his classic or classicist image is the theme of his international relevance. National poets are traditionally not only presented as an embodiment of their own country's cultural values, but are also conceptualised as belonging to an international canon of world literature. In the case of Pushkin, this issue had been authoritatively elaborated by Fedor Dostoevsky, in a famous speech in 1880. According to Dostoevsky, Pushkin was as quintessentially Russian as Shakespeare was quintessentially English, but his work also exemplified the concept of “всемирность”, i. e., “all-worldliness”: while the Italians in Shakespeare's plays were always identifiable as dressed-up Englishmen, Pushkin's foreigners were totally authentic and this was where his true grandeur lay (D-SS 1958: 455). Obviously, the question of Pushkin in international context was of special importance to the Russian writers in exile, and so it is not surprising that the *Gazette* devotes a lot of attention to this and quotes Dostoevsky's speech on many occasions. There are no less than three articles on Pushkin's reception in France, one on Pushkin and Mérimée, and one on Pushkin's English translator George Borrow. Five essays were contributed to the journal by foreigners, underlining the international connections of Russian culture abroad. Two French and a Serbian translation of poems by Pushkin are given, many other such publications advertised, and a facsimile reproduction of Pushkin's passport (OGP: 11) served to suggest that here was a writer whose relevance did not stop at his country's border. It is well known, though, that Pushkin, unlike practically every other classic of 19th century Russian literature, never went abroad: his “passport” was issued in order to exile him to Bessarabia. Nor did he ever meet with an international reception to rival that of Tolstoy or Dostoevsky, not least because most of his work was in verse and very difficult to translate. This made him an ideal symbol for the exiles to identify with: he could be claimed as uniquely

14 M. Gofman (OGP: 4, 10) explicitly denounces the martyr-narrative, A. Remizov (OGP: 5) specifically blames Nikolay Gogol with having invented this and other “legends” about Pushkin.

15 This particular Pushkin myth has proved remarkably tenacious. It famously cropped up even in the scholarly work of so soberly-minded a critic as the structuralist paragon Yu. LOTMAN (1995); (for the ensuing controversy, cf. EGOROV 1995 and LOTMAN 1995: 388–390).

theirs. Paradoxically, Tolstoy, Turgenev, or Dostoevsky were perhaps too thoroughly internationalised to fulfil a similar function. And it strikes the reader of the *Gazette* how Pushkin is made strange, how many contributors take care to point out the difficulties that awaited foreigners trying to understand or translate him. Even tiny orthographic mistakes made by such people, like the omission of a “soft sign” (ь), merit a mentioning, the generally bad quality of French versions is repeatedly stressed, and cases of intercultural misunderstanding are gleefully commented on (cf. OGP: 4, 7–8, 12). The general message seems to be: Pushkin is a figure of international stature, but he is also and predominantly a Russian figure.

NM also addresses the question of the poet’s international relevance, but its reference is to a different context. Pushkin’s appeal to foreigners is treated in terms of his influence on the non-Russian ethnicities inside the USSR (cf. NM: 286). The journal is filled with short statements in which official Poets Laureate from Kyrgyzstan, Georgia, or Kamchatka voice their admiration for the Russian writer (NM 25–33); poems evoke images like that of an old Tungus walking in awe around a high (“высокий”) monument to Pushkin and murmuring verses by the great poet “на родном тунгусском языке” [“in his native Tungus tongue”] (NM: 17). This, of course, is in tacit reference to Pushkin’s 1836 poem beginning “Я памятник себе воздвиг нерукотворный” [“I have built a monument to myself not wrought by hands”] (P-PSS III: 424), in which he famously predicted his future appeal to various ethnicities in Russia, a text that had actually been inscribed on the 1880 Moscow monument to Pushkin:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.

Word about me will spread across all of Russia
And every tongue therein will speak my name
The proud grandson of the Slavs, the Finn, the Tungus, as yet still savage,
And the Kalmyk, the friend of the steppes.

The NM poem by a certain L. Berg presents this prophesy as fulfilled, the transcultural utopia complete, albeit with slight modifications. The formerly “savage” Tungus has been civilized and is happily munching a hot bagel in the middle of a festively illuminated town square, while somewhat less noticeably Pushkin’s provocative comparison of his own future fame to that of the emperor “Вознесся выше он главою непокорной / Александрийского столпа” [“It [the monument] raises its unruly head higher / Than the Alexander column”] has been dropped. Under Stalin, even to suggest this kind of

rivalry would have bordered on blasphemy, and so Pushkin's "выше" ("higher") became Berg's "высокий" ("high").¹⁶ We will return later to the motif of the monument, the talismanic powers of this particular poem by Pushkin, and their importance for the Soviet discourse on him.

NM was evidently designed to reflect the image of an empire on which the sun never set and to impress by its exotic and multilingual content, sporting not only A. Bestuzhev-Marlinsky's rendering of a contemporary Turkish poem on Pushkin's death (NM: 34–35), but also including original Ukrainian, Georgian, Armenian, Kazakhian and Kyrgyz poetry alongside Russian translations (NM: 18–24). Its agenda, of course, is every bit as Russo-centric as that of the *Gazette* and possibly even more so. In the USSR, the figure of the national poet represented the cultured, conscious, New Soviet Man (PETRONE 2000: 128). Celebrating him as the paragon of literary-mindedness and stressing his European ethnicity anticipated the formal declaration of Russian as the Soviet *lingua franca* (BRANDENBERGER 1999: 71). It is therefore hardly surprising that NM makes no mention of the African ancestry Pushkin himself was so proud of.¹⁷

This is indicative of the way in which the internationalist Soviet slogans of the 1920s had been replaced by a quasi-nationalist Russian ideology in the course of the 1930s. If the 1937 Pushkin issue of NM has a master plot underlying its composition, it is the story of the Russian and Soviet state mass-producing Pushkin and spreading him to all corners of the Empire. Long articles celebrate the millions of copies of Pushkin's works printed and transported to remote places in order to enlighten the unenlightened (cf. NM 291–304),¹⁸ and

16 Paradoxically, elsewhere, as part of the Soviet preparations for the 1937 jubilee, the very opposite correction was made to Pushkin's text, when the authorities re-inscribed the Moscow monument, using the modernised orthography and restoring the original wording in the place of V. Zhukovsky's censored version used by the tsarist regime in 1880.

17 In the *Gazette*, on the other hand, the poem *Поэму* (*To the Poet*) by A. Ladinsky describes the drama of intrigues and jealousy that led to Pushkin's fatal duel thus: "Но все превратно под луной / Красавиц мрамор ледяной / И африканской страсти зной" ["But everything under the moon is treacherous, / The icy marble of female beauty, / And the heat of African passions"] (OGP: 9).

18 It is true that the industrial and educational campaigns surrounding the Pushkin celebrations were conducted on a massive scale and represented no small technical and logistic achievement, although there were difficulties and setbacks (cf. PETRONE 2000: 121–124). In 1936/37 no less than nineteen million copies of the poet's works were produced and distributed in the Soviet Union, three million of these in languages other than Russian (BRINTLINGER 2000: 5). The head of the Gor'ky-Institute of Literature in his anniversary address at the Bolshoy Theatre boasted that "Pushkin is translated into a greater number of languages than the Bible was in several hundred years by tsarist

it is no coincidence that such texts read like contemporary reports on the fulfilment or over-fulfilment of industrial norms (cf. KISSEL 2004: 210). There are also rhetorical echoes of the late 1920's *грамотность* campaign, i. e., the government's programme against illiteracy, and such parallels seem quite in line with the more general tendencies of official Soviet discourse in 1937, as described by Karen Petrone (2000: 117–118, 125):

A letter in *Vecherniaia Moskva* from a collective farmer stated: "I confess, I only recently took a liking to the books of Pushkin. Living became better. Worries about bread were dispelled. Everything became abundant. And I am reading more. To read Pushkin is pure delight. You simply rest and feel like you are advancing" [...]. Soviet workers and peasants affirmed that reading Pushkin opened up new pathways to knowledge and culture. One worker explained: "Having liquidated my illiteracy, I made Pushkin's works my first companion". Another recommended: "If you want to be a poet, writer or a cultured person, study Pushkin". A third proclaimed that after reading Pushkin, she "became attracted to singing" [...]. The numerous testimonials of peasants who claimed that Pushkin helped them on the path of literacy, like claims that Pushkin made the harvests more plentiful, were part of the mythology of the Pushkin Centennial.

To paraphrase Lenin's famous dictum: Communism emerges as the power of the Soviets, plus electrification, plus Pushkin.

It is fairly easy for the Soviet journalists to focus on the mass reproduction and distribution of their image of Pushkin because that image itself is very stable and taken for granted. Apart from a little philological spadework, practically no analysis of Pushkin's biography or writing takes place in the pages of NM. The *émigrés* who wrote the *Gazette*, on the other hand, relied much more on interpretation and synthesis, and not only because they were naturally deprived of access to the Russian archives. Their attempts at reconstructing Pushkin resemble a jigsaw game that is still in progress. A typical article will begin by citing two apparently contradictory passages from his writings and then slowly attempt to reconcile the contradiction, ending with a panegyric to Pushkin, the one great poet who managed to synthesise what would seem irreconcilable to any other mortal. S. Frank (OGP: 5) blames the present political malaise of his country on the Russians' proverbial unwillingness to compromise and points to Pushkin as a positive example: "Подлинное живое знание [...] невозможно иначе, как через сочетание противоречащих мыслей" ["True, living knowledge is impossible without connecting contradictory ideas"]. In the end, a more or less homogeneous image

and imperial missionaries" (PETRONE 2000: 130). In the West, one *émigré* newspaper reported that every fifth book in Soviet libraries was by Pushkin (SANDLER 2006: 196).

of Pushkin will emerge, but the texts do not conceal that bringing this about is an uphill struggle.

This treatment makes Pushkin look a bit less like the marble classic referred to above and presented in NM, a writer covered in what Khodasevich called “anthological gloss”, “that patina or shellac which history gives its most venerated characters” (BRINTLINGER 2000: 7). The authors of the *Gazette* point out, for example, that his drawings were amateurish and had apparently been scribbled during momentary lapses of concentration (V. Vejdlé in OGP: 12), or that he imitated others (like the Decembrist Ryleev, according to Tsetlin in OGP: 9). Pushkin was not above making concessions to the public taste (A. Bem in OGP: 6), he had to develop and mature as an artist (P. Struve in OGP: 3), the quality of his writings varied, and there were pieces that did not deserve to be in the canon. Mark Aldanov (OGP: 5) is remarkably critical even of the iconic poem “Я памятник себе воздвиг”: it was apparently conceived in an agitated mood and executed in a strangely atypical style, good verses had inexplicably been discarded in favour of worse ones, and the whole poem just went to show that there were times when Pushkin wrote “badly” by his own standards. Also, he was in the habit of changing his views. “Что же нам думать?” [“What *are* we to believe?”] exclaims Nina Berberova in mock-desperation halfway through her essay, unable to reconcile two seemingly contradictory lines from *Евгений Онегин* (*Eugene Onegin*), and she even has her text conclude with a question-mark (OGP: 9)—a rhetoric that in itself would be difficult to imagine in the Soviet journal.

At this point, one may be tempted to contrast *émigré* and Soviet discourse in Bakhtinian terms as dialogical vs. monological language (almost an automatic reaction in cultural studies these days), but I do not think this would be justified. Both collections are decidedly ideological,¹⁹ only the *émigrés* were not in a position to impress a single, unambiguous Pushkin on their readers; instead, they had to reconcile and smooth over existing ideological differences. I would suggest we contrast the two discourses in terms of their respective concepts of memory. The expression “to remember” may be synchronically understood to imply that the pieces of some object are collected and put back together,²⁰ and this synthesising process requires

19 “In den doch angeblich verfeindeten und völlig getrennten Sphären von Exil und Mutterland lassen sich zwischen den Weltkriegen erstaunlich parallele Verhaltens- und Sprachmuster des Gedenkens konstatieren [...]. Sowjetischer Pseudoklassizismus und der Konservatismus der Emigration ähneln sich in mancher Hinsicht auffällig” (KISSEL 2004: 273).

20 Etymologically speaking, this interpretation is not strictly correct, as the verb *to remember* derives from the Latin (*re-*)*memorari*, while *member* relates back to the noun *membrum*. But let's enjoy ourselves!

taking the risk of personal interpretation. Under Stalin, attempting this sort of thing and making the wrong conjectures could very easily cost you your life,²¹ and significantly no-one in the USSR ever dared to undertake an authoritative biography of Pushkin. By the 1930s, many eminent specialists had retreated into pure textology in an attempt to continue their careers without having to subscribe to the official views of the national poet and contribute to what they considered to be false scholarship (PETRONE 2000: 140). It is no coincidence either that the seminal Soviet work on Pushkin's life, an important source to this day, was written by a rigidly positivist fact-and-document-bound critic, Vikenty Veresaev, who in his 1926 book *Пушкин в жизни* (*Pushkin in Life*) gathered together the stories and judgements of contemporaries alongside quotes from his hero's own papers and presented these unconnected by any kind of narrative. Veresaev explicitly claimed that by refraining from all commentary he was presenting Pushkin objectively, "as he was".²² The cultural-political authorities in Stalinist Russia were in general and quite explicitly averse to literary interpretation, insisting that what the situation demanded was "Pushkin for the masses [...], not Pushkinists" (cf. BRANDENBERGER 1999: 69–70) and decreeing in 1936/37 that all future volumes of the Academy of Science's *Collected Works* were to be published in a deluxe version, with high-quality paper and binding, but with only minimal annota-

-
- 21 Soviet public discourse was marked by an uncanny proximity of the themes of Pushkin and violent death in 1937, the apex of Stalin's great purges. "Newspapers in January and February 1937 feature two stories that received equally intense coverage: the trial, sentencing and execution of Karl Radek, Iurii Piatakov, and fifteen others; and the Pushkin celebration. Side-by-side front-page treatment was common [...]. Purges within organizations, including the Writers' Union and the newspapers and journals covering the purges, meant that accounts of the Pushkin commemorations were repeatedly contextualized by criticism, self-criticism, and news of the replacement of writers, journalists, and theatre workers [...]. The discourse of death and punishment, deviously renamed in the show trials, was transferred on to the narrative of Pushkin's death as a form of martyrdom. Trotskii's 'hirelings' (*naimity*), who deserve death for their treason, are little different from the foreign 'hireling' (D'Anthès) who murdered Russia's national poet. Xenophobia linked the two stories as much as did the choice of words, and both told tales of death. Many texts from the 1937 jubilee, in fact, retell Pushkin's death, often in ways that refer indirectly to the tragic fate of ordinary Soviet citizens that year" (SANDLER 2006: 199–200).—"Die an den Vorbereitungen der Akademie-Ausgabe mitwirkenden Puškin-Forscher schwebten ständig in der Gefahr, aus dem Verkehr gezogen zu werden—ähnlich wie laut antiker Überlieferung Pyramidenbaumeister nach getanem Werk geblendet oder exekutiert wurden" (KISSEL 2004: 209).
- 22 V. Khodasevich came out with a furious review of Veresaev's book, claiming that he had presented nothing, but a disparate mass of material, "Pushkin [...] as a living corpse". Khodasevich himself was then widely expected in *émigré* circles to write the definitive biography of Pushkin, a project that ultimately failed (cf. BRINTLINGER 2000: 13–14, 90–119).

tions (PETRONE 2000: 140–141). The material presence of the Holy Writ, so to speak, took total precedence over all potentially subjective exegesis. The many statements that appeared in the press around the time of the jubilee in which collective farmers and factory workers claimed that Pushkin’s work became immediately accessible to them as soon as they had mastered the alphabet, without any specialist mediation or special study,²³ were calculated to justify and stabilise this hierarchy.

The dead poet’s presence in Moscow and Leningrad during 1936 and 1937 was by no means purely literary or metaphorical. He was *actually* there in person, or rather, his living presence was suggested by a quasi-magical Soviet discourse that blatantly disregarded the basic tenets of Marxist materialism. The opening lines of the *Памятник* poem became “an official mantra of sorts” (BRANDENBERGER 1999: 66), a kind of shamanic spell, while in newspapers and festive oratory Pushkin was evoked as a contemporary:

This idea permeated many of the writings and speeches of the centennial. One worker affirmed, for example, “Pushkin is more our contemporary than he was the contemporary of his own generation”. This notion of Pushkin as contemporary could be taken quite literally. An article in *Pravda* on February 8, 1937, wistfully proclaimed: “it is useless to dream that in our time, someone with a wound like Pushkin’s would have a 50–60 per cent chance of being saved by an operation”. This statement highlighted the material and technical advances of the Soviet period that might have enabled Pushkin to defy death, but also sought to conjure up the image of a living Pushkin in Leningrad (PERONE 2000: 118).

By the same token, productions that staged Pushkin as physically absent, like M. Bulgakov’s *Последние дни* (*The Last Days*, 1934/35), or lying dead in his coffin, like S. Sergeev-Tsensky’s *У гроба Пушкина* (*At Pushkin’s Grave*, 1937), were banned from the theatres.

A look at the 1937 issue of NM reveals how its authors conformed to the rules of this ritual: they refrain almost totally from interpretation and remembrance in the sense described by relying, for example, on lyric poetry, a genre that does not require narration. Even the prose essays and stories tend to establish static situations: a veteran worker and a Komsomol girl quietly contemplating a bust of Pushkin (A. Peregunov in NM: 42–43), or a narrator who is half asleep and lets his mind drift to a snowy landscape, to a road lined by an endless row of telegraph poles (“highlight[ing] the material and technical advances of the Soviet period”). He hears the jingling of bells, a

23 A personal note: anyone who has even begun to study Pushkin’s work seriously will know from his own experience that this is not the case. Anyone who has ever taught Pushkin in a literary seminar will know from his own experience that many students, particularly those from Russia, will even today insist that it is.

carriage drives by, and guess who's sitting inside: "Пушкин!" ["Pushkin!"] (I. Rakhillo in NM: 44–45).

The poetics of NM differ from that of the emigrants' *Gazette* in that they shun the process of remembering and prefer to suggest magical presence; they function more like a memorial or a statue than a historical text and maybe it is here that their irrationally totalitarian quality lies. Memory in OGP is also an ideologically motivated affair, to be sure, but the structure is different in that it does not take the monument as its model. We have seen above how critically Mark Aldanov reviewed Pushkin's contribution to the *exegi-monumentum*-tradition, which enjoyed such exalted status in the USSR. Of the four original poems in the *Gazette*, just one employs the monument motif, M. Struve's *Пушкин на парижских афишах* ["*Pushkin on Paris Bill-Boards*"] (OGP: 8), but it does so in a way that stresses transience, physical absence, and geographical distance:

В Париже с уличных афиш
Глядят знакомые черты
И смотрит на Тебя Париж
И на Париж не смотришь Ты.

Нет. Через горы и поля
И каменноугольный ад
Туда, где русская земля,
Всегда Твои глаза глядят [...].

From bill-boards in Paris streets
The familiar features are looking down
Paris is looking at You
But You are not looking back at Paris.

No. Across hills and fields
And the coal-mining hell
To where the Russian land is
Are Your eyes always looking [...].

Not a particularly brilliant poem, but its central symbol, paper posters of the poet hanging on the walls of a foreign city for a brief period of time, neatly captures the cultural predicament of Russia Abroad. Ravaged by inner strife and scattered all over the world, the *émigré* community had neither a single Pushkin image that everybody agreed on, nor fixed places with grandiose marble monuments to rally around.²⁴ Commemoration under these circum-

24 Cf. also BRINTLINGER 2000: 171: "The *émigrés* had more difficulty raising funds for Pushkin monuments without the institutional resources of the Soviet Union, but some memorials can still be seen. For example, although the French concession in

stances could not be quite such a formulaic ritual as in the USSR (although the Paris committee's proceedings were certainly also pretty stiff and pompous affairs!), but had to take more fluid and flexible forms. The transitory situation of exile does not allow for static models of memory, therefore remembrance is performed as an ongoing process: M. Tsetlin, for example, openly acknowledges at the outset of his biographical piece (OGP: 9) that there are "several other more or less artificial patterns that the poet's life may be fitted into" ("Среди других более или менее искусственных схем, в которых можно свести жизнь поэта, не трудно начертить такую [...]"). And it is due precisely to this underlying concept of memory that OGP relies so heavily on prose essays, interpretative argument, and—ultimately—historical narration.²⁵

If we define a nation's identity as being determined by a common territory and a common history, the two inter-War Russias may thus be said to represent a paradoxical case: the Soviets had the land, and so the *émigrés* clung to the history.²⁶

References

- ASSMANN 1992 = Assmann, J.: *Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*, München.
- БАХТИН 2010 = Бахтин, М.: *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса* (1965), Москва (= Idem, *Собр. соч. в семи томах*, Т. 4.2, под ред. И. Л. Поповой, 7–508).

Shanghai, China, is now merely a historical memory, a version of the Shanghai memorial to Pushkin, erected at the corners of Gizi and Pishon Streets, stands even today as a peaceful island at a very busy intersection, still the lone Pushkin monument in China [...]. Today the monument has inscriptions in Russian and Chinese, but few Russians are around to read them. The Russian *émigré* schoolchildren who performed a ceremonial march around the statue at its opening in February 1937 fled the country long ago, for France and other destinations."

- 25 It fits into this picture that while biographical writing on Pushkin had more or less come to a standstill in the USSR, Russia Abroad experienced a veritable "biography boom" in the late 1930s (cf. PISKUNOV 1999b: 271). Several texts in OGP were actually chapters taken by their authors from larger book projects. It should also be mentioned, of course, that none of these efforts has really stood the test of time. The only contribution to the debate by Vladimir Nabokov, arguably the most eminent literary authority of the Russian emigration, was a French essay called *Le vrai et le vraisemblable* (1937), a vitriolic attack on the trite clichés of biographical writing.
- 26 BRINTLINGER (2000: 165) employs yet another "geopoetical" metaphor: "Pushkin became an important piece of cultural and historical territory, and Soviet and *émigré* Russia formed two political entities fighting for the occupation of this territory".

- BLOOM 1997 = Bloom, H.: "Preface. The Anguish of Contamination", in: *The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry*. New York – Oxford (= Oxford Paperbacks), XI–XLVII.
- BRANDENBERGER 1999 = Brandenberger, D.: "The People's Poet. Russocentric Populism During the USSR's Official 1937 Pushkin Commemoration", in: *Russian History/Histoire Russe* 26.1, 65–73.
- BRINTLINGER 1999a = Бринтлингер, А.: "А. С. Пушкин в восприятии Парижской эмиграции", in: PISKUNOV 1999a: 305–315.
- 1999b = Brintlinger, A.: "Pushkinist or P. R. Man? Sergei Lifar in 1930s Europe", in: *Pushkin Review/Пушкинский вестник* 2 (December), 45–65.
- 2000 = Brintlinger, A.: *Writing a Usable Past. Russian Literary Culture, 1917–1937*, Evanston/Ill. (= Studies in Russian Literature and Theory).
- D-SS 1958 = Достоевский, Ф. М.: "Пушкин. Очерк. Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности", in: Idem: *Собр. соч. в десяти томах*, Т. 10: *Братья Карамазовы: Часть IV. Эпизод. Произведения (1873–1880)*, под общ. ред. Л. П. Гроссмана, Москва, 442–459.
- EGOROV 1995 = Егоров, Б. Ф.: "Личность и творчество Ю. М. Лотмана", in: LOTMAN 1995: 5–20.
- FILIN 2000 = Филин, М. Д.: *Центральный Пушкинский комитет в Париже (1935–1937)*, Т. 1–2, Москва (= История. Люди. Тексты).
- 2004 = Филин, М. Д.: *Зарубежная Россия и Пушкин. Опыт изучения. Материалы для библиографии (1918–1940). Иконография*, Москва.
- KISSEL 2004 = Kissel, W. S.: *Der Kult des toten Dichters und die russische Moderne. Puškin – Blok – Majakovskij*, Köln etc. (= Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, N. F., Reihe A: Slavistische Forschungen 45).
- KUZINA 1995 = Кузина, Г. А.: "Значение 'Дней русской культуры' в жизни российской эмиграции первой волны", in: Квакин, А. В./Шулепова, Э. А. (отв. ред.): *Культура российского зарубежья*, Москва, 46–57.
- LACHMANN 1990 = Lachmann, R.: *Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne*, Frankfurt a. M.
- LOTMAN 1995 = Лотман, Ю. М.: *Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки, 1960–1990. "Евгений Онегин": Комментарий*, Санкт-Петербург.
- NM = *Новый мир. Литературно-художественный и общественно-политический журнал*, Кн. 1 (Январь), Москва 1937.
- OGP = *Одnodневная газета "Пушкин". 1837–1937*, изд. Комитета по устройству Дня русской культуры во Франции, под ред. Н. Кульмана, Париж 1937.
- PETRONE 2000 = Petrone, K.: *Life Has Become More Joyous, Comrades. Celebrations in the Time of Stalin*, Bloomington/Ind. (= Indiana-Michigan Series in Russian and East European Studies)
- PISKUNOV 1999a = Пискунов, В. М. (ред.): "От западных морей до самых врат восточных". А. С. Пушкин за рубежом. К 200-летию со дня рождения, Москва.
- 1999b = Пискунов, В.: "Пушкин и Русское Зарубежье", in: PISKUNOV 1999a: 256–304.
- R-PSS = Пушкин, А. С.: *Полное собрание сочинений*, Т. 3: *Стихотворения (1826–1836). Сказки*, Ч. 1, зав. ред. В. Д. Бонч-Бруевич, общ. ред. тома М. А. Цявловский, [Москва] 1948.

- RAEFF 1990 = Raeff, M.: *Russia Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration, 1919–1939*, New York – Oxford.
- SANDLER 2006 = Sandler, S.: “The 1937 Pushkin Jubilee as Epic Trauma”, in: Platt, K. M. F./Brandenberger, D. (ed.): *Epic Revisionism. Russian History and Literature as Stalinist Propaganda*, Madison, 193–229.

Peter Thiergen

Rötscher – Katkov – Belinskij. Streiflicht zu einer ›Translatio‹

Antike, westeuropäische und slavische Sprachen wie Literaturen sind aufs engste verflochten. Ihr gesamtes Schrifttum ist von Transportwegen gespeist worden, deren Kommunikationsmuster von unterirdischen Wasseradern über kleinste Rinnsäle und Bäche bis zu gewaltigen Stromsystemen reichen. Und manchmal hat es regelrechte Einfluss-Tsunamis gegeben. Häufig spielen neben evidenten Kanälen latente Osmoseprozesse eine Rolle. Nicht immer ist es leicht, im System der kommunizierenden Röhren Eigenes und Fremdes, Antizipation und Rezeption zu unterscheiden. Aus dem *panta rhei* der Sprach- und Literaturbildung entsteht ein Fluidum im doppelten Wortsinn. Helmut KEIPERT hat auf seinem Terrain der Sprachgeschichte zahlreiche verschlungene Wege diverser Unter- und Oberströmungen aufgedeckt. Weil er als Meister des *ad fontes* mit dem »Gott der Quellen«, auch Fontus genannt, einen Bund geschlossen hat.

I. Translatio

Geschichte ist ein unendlicher Prozess von Macht- und Kulturwanderung. Dieser Ablauf wird als *translatio imperii* bzw. *translatio religionis* oder *translatio artium* bezeichnet. Hinzu kommen Formeln wie *translatio studii* oder *propagatio scientiarum*. Auch und gerade Russland steht in dieser Translationskette.¹ Nachfolge wiederum steht im antagonistischen Spannungsfeld von *imitatio*, *aemulatio* und *innovatio*.² Die ganze Kulturgeschichte Russlands ist von diesen Antagonismen geprägt. Russlands wirkungsvollster Kritiker des 19. Jahrhunderts, Vissarion G. Belinskij (1811–1848), hat sich zeit seines Le-

1 Vgl. dazu u. a. THIERGEIN 1978; BULANIN 1991: 224 ff.; KNABE: 1996, 1999; FROLOV 1999; FONKIČ 2009. Einen kritischeren Ansatz vertritt NITSCHKE 1987. Aus aktueller Perspektive MÜNKLER 2005.

2 Vgl. hierzu e. c. CIZEK 1994 oder DE RENTIIS 1996.

bens mit dem *podražanie*-Problem befasst, ja regelrecht gequält. 1841 schrieb er dazu:

Литература наша началась формою без мысли, вышла не из народного духа, а из чистого подражания, и, однако ж, мы не должны презирать нашей подражательной литературы: без нее мы не имели бы Пушкина (В-РСС V: 145).

Als Lösungsweg, den Russland bereits beschritten habe, gab er an, dass

мы [...] уже и становимся европейскими русскими и русскими европейцами [...] Мы [...] хотим быть русскими в европейском духе (*ibid.*: 144; Hervorh. orig.).

An anderer Stelle fügte er hinzu, Russland sei zwar seit Peter d. Gr. in die *translatio imperii* eingetreten, habe aber noch keinen »allweltlichen« Rang in der *translatio artium* erreicht (*ibid.*: 649). Gleichwohl stehe dem »genialen Kind« Russland eine »großartige Zukunft« bevor, weil sich aus dem »fruchtbaren Samen« ein »majestätischer großblättriger Baum« (»величественное широколиственное дерево«) der russischen Literatur- und Kultursubstanz entwickeln werde. Die russische Literatur sei dabei, ihren Status als »sklavische Nachahmung fremdländischer Muster« und also als bloß »künstliche Verpflanzung« (»искусственная пересадка«) aus europäischen Kulturgärten abzulegen. Der beste Beweis dafür seien so großartige Autoren wie Puškin, Griboedov, Lermontov oder Gogol' (*ibid.*: 649–653). »Nationaldichter« wie Puškin und Gogol' hätten auch für Russland jene literarische Dignität erworben, die sich u. a. im Grundsatz »Der Dichter denkt in Bildern« offenbare (*ibid.*: 557 u. ö.).

II. Ut pictura poesis

Plutarch hat überliefert, dass Simonides (von dem das berühmte Epigramm auf die Gefallenen von Thermopylai stammt) die Malerei eine »stumme Dichtung« und die Dichtung eine »redende Malerei« genannt habe.³ In Horazens *Ars poetica* findet sich dann die bekannte Formel *ut pictura poesis* (Vers 361). Als Gottsched seinen *Versuch einer Critischen Dichtkunst* veröffentlichte (1730, ⁴1751), stellte er anstelle einer Einleitung Horazens *Ars poetica* voran und fügte eine eigene Übersetzung dieses, wie er sagte, »trefflichen Gedichts« hinzu, außerdem einen Kommentar, der sich auch zu *ut pictura poesis* äußerte. Auch

3 Vgl. GIULIANI 1998: 135 f. oder VOGT 2001: 20 und 49 f. (hier weitere Lit.). Vgl. auch BAUMBACH 2000.

in Boileaus *Art poétique* (Paris 1674) sind Gleichsetzungen von Dichtung und »peinture« selbstverständlich. All diese – und verwandte – Lehrschriften waren in Russland bekannt. Der russische Klassizismus ist ohne Horaz oder Boileau gar nicht denkbar.⁴ Entsprechend hatte man Kenntnis vom *ut pictura poesis*-Diktum (s. BUSCH 1964: 36 oder SAZONOVA 2006: 233). Heutige Übersetzungen lauten u. a. «Общее есть у стихов и картин» (vgl. HOR 1970: 392). Deutsche Übertragungen wie »Dichtung vergleich mit Gemälden« oder »Das Dichtwerk gleicht dem Gemälde« sind näher am Original. Das lateinische *pictura* konnte neben »Malerei« und »Gemälde« auch, jedenfalls annäherungsweise, das »Ausmalen« als Rede- oder Dichtungsschmuck bezeichnen, wobei sich Anklänge an *imago/imagines* ergaben (vgl. Cic. *Tusc.* 5,14 & 114: »ab ista pictura imaginibusque virtutum«).

Neben der Bildemphase gab es allerdings seit je Bilderablehnung bis hin zum Ikonoklasmus. Das biblische »Du sollst Dir kein Bildnis machen« (Dt 5,8) wurde von Kirchenvätern und christlichen Erbauungsschriften wie dem *Buch von der Nachfolge Christi* (Thomas von Kempfen) weitergereicht und mit zahlreichen Warnungen vor »schönem Schein«, »Gaukelbildern« oder der »Liebe zum bloß Sichtbaren« angereichert. Bildwerke konnten schnell als *temporalia* eingeordnet werden. Doch diese Bildkritik blieb, wir wissen es, ein aussichtsloses Unterfangen. Kultur lebt von der Suggestivkraft der sinnlichen Wahrnehmung und ihrer geistigen Verarbeitung.

III. »Denken in Bildern« (Belinskij)

Im Juli 1838 veröffentlichte Belinskij in der Zeitschrift *Moskauer Beobachter* (*Московский наблюдатель*) eine Abhandlung über die Frage, was ein Kunstwerk und was Literaturkritik sei. Dabei unterschied er für das literarische Werk eine allgemeine Idee als Inhalt von der besonderen (singulären) Präsentation als formalem Gebilde. Inhalt und Form seien allerdings interdependent. Der Künstler müsse eine so substantielle und klar fassbare Idee verfolgen, dass er sie in ein »konkretes dichterisches Bild« transponieren könne. Der Kritiker wiederum müsse aus philosophischer Bildung den Inhalt und aus künstlerischer Imagination die Form erfassen und beider Einheit plausibel beschreiben können. Dann folgt die entscheidende Formulierung: »Dichtung ist Denken in Bildern« («Поэзия есть мышление в образах») (В-РСС II: 560).

4 Vgl. e. c. BUSCH 1964. Zu den französischen Bezügen siehe zahlreiche Arbeiten von Joachim KLEIN, darunter KLEIN 2005.

Diese Definition gehörte danach zu Belinskijs Repertoire. Als er 1840 eine Besprechung zur zweiten Ausgabe von A. S. Griboedovs Komödie *Gore ot ita* veröffentlichte, erörterte er abermals Grundfragen der Literatur und führte aus, Kunst sei «истина в созерцании, т. е. не в отвлеченной мысли, а в образе, и в образе не как условном символе [...], а как в воплощенной идее [...]» (*ibid.* III: 423 und 431). In idealer Weise sei das in der griechischen Plastik und in den Epen Homers zutage getreten, in ihren »plastischen Bildern« (»пластические картины«) und in der »Plastizität der Figuren« (»пластичность образов«). Dort zeige sich, wie später bei Goethe, wahre Kunst als vollendeter, sinnlich-ideell fassbarer »Plastizismus« (»пластицизм«; *ibid.*: 424 ff.; Hervorh. orig.). Dichtung und Philosophie hätten denselben Inhalt, nämlich die »absolute Wahrheit« (»абсолютную истину«). In der Dichtung zeige sich diese als »unmittelbare Erscheinung der Idee im Bild. Der Dichter denkt in Bildern« («Поэт мыслит образами»; *ibid.*: 431).

Diese Formeln avancierten dann Anfang 1841 zum Eröffnungssatz einer programmatischen Abhandlung, die allerdings zu Lebzeiten Belinskijs ungedruckt blieb und später den Titel *Die Idee der Kunst (Идея искусства)* erhielt. Der Satz lautet: «Искусство есть непосредственное созерцание истины, или мышление в образах» (*ibid.* IV: 585; Hervorh. orig.). Der Erstdruck dieser Programmschrift erfolgte in Belinskijs erster großer Werkausgabe (Moskau, 1859–1862), die danach im zaristischen Russland zahlreiche Auflagen erlebte. Während Belinskij das »Denken in Bildern« 1838 und 1840 primär auf die Dichtung bezog, hat er die Definition nunmehr auf den gesamten Kunstbereich ausgeweitet.

1842 erschien in der angesehenen Petersburger Monatsschrift *Vaterländische Annalen (Отечественные записки, 1839–1884)* eine der üblichen Jahreschroniken Belinskijs zur russischen Literatur. Diese Überblicke hatten den Rang von *Ex-cathedra*-Verlautbarungen, die zahlreiche Leser fanden und ubiquitär diskutiert wurden. Belinskij nennt hier den Dichter einen »Konkurrenten der schöpferischen Natur« (»соперник творящей природе«) und fügt hinzu:

Поэт не терпит отвлеченных представлений: творя, он мыслит образами, а всякий образ только тогда и прекрасен, когда определен и вполне доступен созерцанию (*ibid.* V: 557).

Diesem Ideal sei Russlands »Nationaldichter« Aleksandr Puškin (1799–1837) trotz seines frühen Todes besonders nahe gekommen. In der Vollkommenheit seines dichterischen Formvermögens könne er es mit jedem Autor von Weltgeltung aufnehmen (*ibid.*: 557 ff.).

Ebenfalls in den *Vaterländischen Annalen* veröffentlichte Belinskij im selben Jahr 1842 einen Rezensionssatz zur russischen Literatur und Litera-

turkritik. Wieder erhebt er Puškin zum »Nationaldichter«, dessen Verse »Skulptur, Malerei und Musik in einem« seien («Его стих – это скульптура, живопись и музыка вместе»; *ibid.* VI: 295). Kunst sei »unmittelbares Bewusstsein« und werde immer mehr zu »Denken in Bildern« («теперь искусство становится мышлением в образах»; *ibid.*: 271 und 287). Dass auch in Russland Kunst um der Kunst und Literatur um der Literatur willen existierten, sei dem großen Puškin zu verdanken (*ibid.*: 296). In späteren Jahren steht Belinskij dann der *l'art pour l'art*-These kritischer gegenüber.

Belinskij's Definition wurde in ihrer prägnanten Kurzform zu einer Leitmaxime des russischen Realismus. Turgenev, Gončarov, Bunin und viele andere haben sich zu ihr bekannt und sie als ihr poetisches Glaubensbekenntnis zitiert.⁵ Doch so griffig die Formel auch ist, so unscharf bleiben ihre Aussagen. Was bedeutet *obraz*, was *kartina*? Wie verbinden sich Denken und Imaginieren? Inwiefern ist der Dichter ein »Maler«? Und welche Kunstphilosophie steht hinter all dem? Belinskij war bekanntlich kein sehr eigenständiger Kritiker oder begriffsscharfer Denker, sondern eher Vermittler, ja bisweilen sprunghafter Epigone, der sich an mehr oder weniger zufällig verfügbaren Quellen orientierte.⁶ Hierzu einige weitere Beobachtungen.

IV. Katkovs Rötscher-Übersetzung

Als Belinskij 1841 an seiner Grundsatzabhandlung *Die Idee der Kunst* schrieb, fügte er zum oben zitierten Eingangssatz »Kunst ist unmittelbare Anschauung der Wahrheit oder Denken in Bildern« eine Anmerkung hinzu, in der es hieß, diese Bestimmung erscheine hier »zum ersten Mal« in russischer Sprache, ja dies sei eine für Russland »vollkommen neue Definition der Kunst«, die bisher in keiner Poetik oder sonstigen literaturtheoretischen Lehrschrift Russlands anzutreffen sei (B-PSS IV: 585). Er ignorierte dabei merkwürdigerweise, dass er selber genau die Formulierung «поэзия есть мышление в образах», wie ebenfalls oben zitiert, schon im Juli 1838 im *Moskovskij nabljudatel'* verwendet hatte. An gleicher Stelle hatte er sich zustimmend auf den deutschen Theoretiker Heinrich Theodor Rötscher (1803–1871) bezogen und besonders auf dessen *Abhandlungen zur Philosophie der Kunst* verwiesen (*ibid.* II: 556 ff.).

Die ersten beiden »Abtheilungen« dieser »Abhandlungen« waren 1837 bzw. 1838 in Berlin bei Duncker und Humblot erschienen und sogleich von

5 Vgl. hierzu demnächst THIERGEN i. Dr.

6 Immer noch sehr lohnend die kritische Belinskij-Darstellung bei B. KÜPPERS 1966: 114–166, mit besonderer Beachtung des Konzeptes »мышление в образах«.

Michail N. Katkov (1818–1887) unter dem Titel *О философской критике художественного произведения (Статья Рётшера)* im Mai und Juni 1838 in Belinskij's *Moskovskij nabljudatel'* als russische Übersetzung publiziert worden. Belinskij's Kenntnis der Rötischer-Abhandlungen beruht auf dieser Übersetzung. Katkov hatte an der Philosophischen Fakultät der Moskauer Universität studiert, war dann dem Stankevič-Kreis beigetreten und Anfang der 1840er Jahre nach Berlin gegangen, um bei Schelling zu hören, zu dessen Familie er auch privaten Zugang hatte. Über Schellings Vorlesungen berichtete er 1842 in den *Otečestvennye zapiski*.

Rötischer wiederum hatte in Berlin u. a. das Gymnasium zum Grauen Kloster besucht, seit 1821 bei dem Klassischen Philologen August Boeckh und bei Hegel studiert und ebenda Promotion wie Habilitation erlangt.⁷ Neben Kunstphilosophie und Ästhetik galt sein besonderes Interesse dem Drama und der Schauspielkunst, was sein Nachdenken über Szenen-, (Bühnen)Bild- und Figurengestaltung von der konkreten Dramaturgie her intensiviert hat.⁸

Unter den Popularisatoren von Hegels Kunstphilosophie nimmt Rötischer einen bedeutenden Platz ein. Seine genannten *Abhandlungen* kreisten entsprechend um die Frage, wie »philosophisches Denken« mit der »lebendigen Anschauung« des künstlerischen Bildens zu vereinen sei. Es ging ihm in zahlreich variierten Formulierungen um das Zusammenfügen von »abstraktem Begriff« und »konkretem Bild«, von Idee und Gestalt, Inhalt und Form, Idealem und Realem, Allgemeinem und Besonderem, Unendlichem und Endlichem. Gelingen dem Künstler diese Verschmelzung bzw. dem Kritiker das Erkennen derselben, könne die »begreifende Erkenntnis des Kunstwerks« erreicht werden. Nur die »Ineinsbildung der Gegensätze« des »Was« und des »Wie« im Kunstwerk bringe seine »Totalität« hervor. Die »zwingende Gewalt des Gedankens« müsse durch »anschauungsreiche Darstellung« vermittelt werden. Für Letzteres verwendet Rötischer Wörter wie Bild, Gemälde (auch »Gesamtbild« oder »Gesamtmal«), Abbild, Gestalt, Symbol u. a. m. Erst die perfekte Einheit von Denk- und Bildleistung ergebe das ideale Kunstwerk. Solche Lehrsätze mögen heute als reichlich abgegriffen erscheinen, doch damals galten sie als das, was Botho Strauß kürzlich »Gedankenschönheit« genannt hat.

Katkov stellte seiner Übersetzung ein Vorwort voran, in welchem er dem Bemühen deutscher Gelehrter, die neueste Kunstphilosophie »zu popularisieren«, höchste Anerkennung zollte und die »gegenwärtige Aufgabe der Ästhetik« gemäß Rötischer darin sah, die »innere Einheit« (»внутреннее един-

7 Zu Rötischer siehe u. a. KLEIN 1919.

8 Vgl. RÖTSCHER 1841; dazu GÜNTHER 1921.

ство«) von Gedanke und Ausdruck, von allgemeinem Inhalt und konkreter Anschauung fassbar zu machen, damit endlich allem »trivialen Gerede über die Kunst« ein Ende gesetzt werde. Nur »Begriff« (*понятие*) und »Begreifbares/Zubegreifendes« (*понимаемое*), Abstraktion und Bild, Geist und Empirie zusammen könnten »die Idee des Ganzen« (*»идея целого«*) vermitteln. Das habe Rötschers Abhandlung »in höchstem Maße« geleistet.⁹

Katkov weist in Anmerkungen zu seiner Übersetzung mehrfach darauf hin, dass ›deutsche‹ Begriffe wie »Moralität«, »Reflexion« oder »Totalität« nicht ohne weiteres mit russischen Äquivalenten wiedergegeben werden könnten. Es sei nicht immer möglich, im Russischen die »строгость философской терминологии« zu wahren, zumal bestimmte Termini in Russland noch nicht »in Umlauf« (*»в обороте«*) seien (*ibid.*: 166, 191 u. ö.). Keine Probleme bereiten Katkov Rötschers Begriffe »Denken« und »Anschauung«: Sie erscheinen als *мышление* und *созерцание*. Auffälliger ist, dass Rötschers Varianten »Bild/Gemälde/Gestalt« fast durchweg mit *образ* (bzw. *образный* oder *образность*) wiedergegeben werden, wobei Katkov die Anfangsilben zu meist mit Akzent versieht. Die Gedankenfülle des literarischen Kunstwerks müsse durch »Bildlichkeit« als »образность« eine »Organisation der Idee« (*»организацию идеи«*) bekommen, indem das »Was?« (*»что такое?«*) mit der gestaltenden Veranschaulichung des »Wie?« zu verbinden sei. Im »Wie?« stecke die russische Frage *»какимъ образомъ«*, was wörtlich »in welcher Gestalt, in welcher Form (auf welche Art und Weise)?« heißt. Katkov setzt das russische *какимъ образомъ* ausdrücklich in Kursivdruck (*ibid.*: 191).

Auch wenn eine explizite Fügung *»мышление в образах«* bei Katkov, soweit ich sehe, nicht begegnet, spricht doch alles dafür, dass Belinskij's Formel von Katkov's Rötscher-Übersetzung und ihren zahlreichen Postulaten zum dichterischen Bilddenken herkommt. Rötscher hat Hegels Kunstphilosophie über Katkov und Belinskij an die russischen Klassiker und später an die Diskussionen um den Char'kover Theoretiker A. A. Potebnja (1835–1891) und die russischen Symbolisten vermittelt, ohne dass all diesen sein Name noch bekannt gewesen sein dürfte. Hegel hat gedacht, Rötscher popularisiert, Katkov übersetzt und Belinskij griffig propagiert. Die wahrscheinlich von ihm gefundene Suggestivformel »Der Dichter denkt in Bildern« wiederum haben die russischen Klassiker übernommen und befolgt. ›Translation‹ kann – im Doppelsinn – eine verzwickte Angelegenheit, zugleich aber höchst folgenreich sein. Geistige Produktpiraterie und »kreatives Plündern« sind Bestandteile der Kulturwanderung.¹⁰

9 Vgl. KAT 1838. Ich danke meinen Tomsker Kollegen Ol'ga B. Lebedeva und Aleksandr S. Januškevič für die freundliche Besorgung des russischen Textes.

10 Vgl. mit Blick auf Russland zuletzt INGOLD 2009 sowie dazu JEDIG 2010.

V. Semantisches

Die Wörter für »Bild« lauten im Russischen in unserem Zusammenhang *картина* und *образ*. *Картина* (Herkunft wohl, direkt oder indirekt, aus ital. *carta* bzw. *cartina*) taucht relativ spät in der russischen Sprache auf und bezeichnet zunächst ein auf Papier oder Karton gemaltes (Öl)Bild, also das Gemälde (vgl. *картинная галерея* »Gemäldegalerie«). Danach auch malerische Naturansichten (= »вид природы«) oder eine markante bildlich-szenische Beschreibung (SRJA-18: IX, 265; BAS VII: 678 f.). Paradigmatisch hierfür ist Nikolaj Gogol's (1809–1852) Prosa. In der berühmten Geschichte vom absurden Streit der beiden Ivane (*Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем*, 1834) ruft der Erzähler, sobald er besonders »pittoreske« Szenen veranschaulichen will, regelmäßig aus: »Ein Bild, wie es die Maler lieben!« (»картина, которую любят живописцы!«), »ein starkes Bild« (»сильную картину«), »Oh, wenn ich ein Maler wäre!« («О, если б я был живописец!»), »Wo nehme ich nur Pinsel und Farben her« («Где возьму я кистей и красок?») oder »Das war ein Bild, würdig des Pinsels eines großen Künstlers!« («Это была картина, достойная кисти великого художника!») (G-PSS II: 231, 238, 242, 264, 271 u. ö.). In einem programmatischen Brief an V. A. Žukovskij (1783–1852) von Anfang 1848 aus Neapel bekennt Gogol: »Мое дело – говорить живыми образами, а не рассуждениями« [»Meine Aufgabe ist es, in *lebend(ig)en Bildern* zu sprechen, nicht in abstrakten Erörterungen«] (*ibid.* XIV: 36; Hervorh. orig.). *Образ* bedeutet hier zugleich, wie auch sonst häufig (s. u.), Figur oder Musterbeispiel im Sinn von repräsentativer Typus/charakteristischer (Bild)Ausschnitt.

»Lebende Bilder« heißen im Russischen *живые картины*. Daneben ist *картина* ein Terminus der Bühnen- sowie der späteren Photographie- und Filmsprache. Das seltene Verbum *картиниться* konnte für »sich herausputzen, posieren« stehen. *Картина* verweist also primär (nicht ausschließlich) auf eine konkrete Bildlichkeit, auf etwas Gegenständlich-Anschauliches als äußeres, szenisch-optisch fassbares und suggestiv-auffallendes Phänomen. Die Nähe zur *ut pictura poesis*-Konvention ist jederzeit erkennbar.

Das altkirchenslavisch-altrussische *икона* (»Heiligenbild«) ist einer der bekanntesten Gräzismen der russischen Sprache. Ein weiteres altes Wort für Heiligenbild ist *образ*. Seine Bedeutungsmöglichkeiten sind umfangreicher als die für *картина* oder *икона*. Heiligenbilder im Plural heißen *образá*; der sonstige Plural lautet *образы*, wie im formelhaften »Denken in Bildern« (»мышление в образах«). Der Unterschied im Wortakzent trennt die sakrale von der säkularen Sphäre.

In erklärenden Wörterbüchern der russischen Sprache fehlt s. v. *образ*, wenn ich recht sehe, ein Verweis auf »картина« (vgl. zuletzt BAS XIII: 271 ff.).

Das gilt auch für Synonymie- und Etymologiewörterbücher. *Картина* hingegen kann u. a. mit »ряд образов« oder »конкретные образы« erläutert werden. Synonymische Varianten zu *образ* sind vielmehr in Wörtern wie Vorstellung, Idee, Entwurf, Umriss, Gestalt, Typus, Charakterform u. ä. zu finden. Wort und Begriff *образ* bezeichnen hier vor allem mentale Bilder, die vor dem ›inneren Auge‹ (»внутренний взор«) entstehen oder im persönlichen Bildspeicher abgerufen werden können. Die mentale Bilderzeugung zielt dabei auf die Produktion von Struktur gebenden Formen und Konfigurationen, von Gestalt- und Systemhaftem bis hin zum Metabild.

»Bilddenken« (»образное мышление«) bzw. »Denken in Bildern« (»мышление в образах«) vereint endogen-abstrakte Gedankenentwürfe mit konkreter Veranschaulichung in vorgestellter Visualisierung. Der Dichter denkt in konkreten Bildern wie in abstrakten Gebilden. Die Grenze zwischen *res factae* und *res fictae* verschwimmt, ähnlich den Überschneidungen von Poetik und Historik (vgl. hierzu KOSELLECK 1967: 204 f.). Der Dichter entwirft ja schließlich auch, zumal in den Panoramaromanen des russischen Realismus, Menschen-, Gesellschafts-, Geschichts- und Weltbilder. Tolstojs Literaturideal bestand darin, »Gedankenverkettungen« indirekt durch »Bilder, Handlungen, Situationen« (»образы, действия, положения«) zur Darstellung zu bringen. Der unmittelbare Gedanke allein sei unzureichend, ja trivial (vgl. seinen berühmten Brief an N. N. Strachov vom April 1876). In Turgenevs Roman *Rudin* (1856) heißt es vom gleichnamigen Haupthelden (Kap. III):

Обилие мыслей мешало Рудину выражаться определительно и точно. Образы сменялись образами; сравнения [...] возникали за сравнениями (Т-РСС VI: 269).

Überfluss an Gedanken hinderte Rudin daran, sich klar und deutlich auszudrücken. Bilder wechselten mit Bildern, Vergleiche [...] folgten auf Vergleiche.

Inspiration und Improvisation seien gleichwohl »die Musik der schönen Rede« (»музыка красноречия«). In einer Kurzrezension zu Gedichten F. I. Tjutčevs hielt Turgenev 1854 fest, ein Dichter solle seine Gedanken nicht als »nackte Abstraktion«, sondern als überzeugende Einheit von Bild (*образ*) und Gedanke präsentieren.

Картина und *образ* können als Konzeptualisierungsbegriffe durchaus unscharfe Ränder haben. Das »Bild des Menschen in der Kunst« heißt russisch »образ человека в искусстве«. Der Titel »Das Bild des Rhetors in der sowjetischen Sprachkultur« erscheint im Russischen als »Образ ритора в советской словесной культуре«. Die Kombination »Idee und Bild« bzw. »Idee und Gestalt« begegnet als »идея и образ«. Die Fügung »sprachliches Weltbild« lautet russisch »языковая картина мира« (vgl. e. c. ZALIZNJAK et al.

2005). Das deutsche »Bild« ist gegenüber *картина* und *образ* eine Art Passepartout-Wort, das vom materiell-sichtbaren Gemälde bis zum immateriell-abstrakten Gedankenentwurf oder Traumbild alles bezeichnen kann. Es gibt Ur- und Abbilder, Sinnbilder, Spiegel- und Zerrbilder, Manns-, Weibs- und Menschenbilder. Englische Übersetzungen zu *образ* können *image* oder *depiction* lauten.

Zum Wortfeld um *образ* gehören zahlreiche Varianten wie *образец* »Musterbild, Musterbeispiel«, *образование* »Bildung« im Sinn von »gebildet«, *своеобразный* »eigenartig, originell«, *пробобраз* »Ur-, Vorbild«, *безобразный* »hässlich, flegelhaft« und vieles andere. Das auf der zweiten Silbe betonte Adjektiv *безобразный* heißt »bilderlos« (= trockener Stil). In Tolstojs *Анна Каренина* stellt das Verbum *образоваться* (in der Bedeutung von »устроиться, уладиться« = »sich regeln, in Ordnung kommen«) eine hoch signifikante Leitmotivkette dar. Typus in der Bedeutung »bekannter Unbekannter« (»знакомый незнакомец«) kann im Russischen nicht nur mit *тип*, sondern auch mit *образ* wiedergegeben werden. *Образ* erscheint dann als »ewiger Typus« (»вечный тип«) bzw. als Archetypus oder »Weltfigur« (»мировой образ«).¹¹ Der »Ritter von der traurigen Gestalt« heißt russisch »рыцарь печального образа«.

* * *

Wenn die russische Kritik seit Belinskij schöne Literatur als »Denken in Bildern« definiert und Belinskij diese Definition als »vollkommen neu« bezeichnet, hat das – auf Russland bezogen – durchaus Gründe. Michail M. Speranskij (1772–1839), einer der großen Reformvordenker Russlands, hatte in jungen Jahren eine Schrift verfasst, die im Jahre 1844 postum unter dem Titel *Правила высшего красноречия* erschien. Das Kapitel »Теория слога« eröffnet Speranskij folgendermaßen: «Не слог, не выражение, не слова усиливают мысль: мысли украшаются мыслями».¹²

Weiter führt er aus, Wörter und Bilder seien letztlich nur Diener der Begriffe und Gedanken. Entscheidend sei, ob ein »Hauptgedanke« mit vertiefenden »Nebengedanken« (»побочные мысли«) weitergeführt werde. Alles hänge davon ab, ob ein Autor über klare Begriffe (»понятия«) verfüge und aus ihnen ein kohärentes »Gedankensystem« (»образ мыслей«) entwerfe. Begriffsverwirrung und Phantasieüberschuss seien schädlich, weil sie die Gedanken »entstellen« (*обезобразить*). Speranskij legt den Akzent auf Gedankenklarheit und Abstraktion, nicht auf Anschauung durch Bildentwürfe. Das

11 Vgl. BAGNO 2009: 61 ff., 118 f. u. ö. Siehe auch MANN 1987, PAVLOVIČ 1995, HETÉNYI 1999, PETROVSKAJA 2010.

12 Vgl. SPR²2011: 162. Zu Speranskij vgl. u. a. КУЅЕ 1998 und 2004.

hatte auch Puškin so gesehen. In seiner berühmten Miniatur *О прозе* (1822; erschienen 1884) dekretiert er mit Nachdruck: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат». Diese Forderungen wird er dann vielfach wiederholen, u. a. in dem Text *О поэтическом слоге*. Belinskij, nicht mehr vom Klassizismus geprägt, hat sich anders orientiert.

VI. Ad finem

Als Ivan Turgenev Ende der 1860er Jahre seine »Literarischen Erinnerungen« zusammenstellte, hielt er im 1868 in Baden-Baden verfassten Vorwort fest:

И если нельзя отрицать воздействия Греции на Рим и обоих их вместе – на германо-романский мир, то на каком же основании не допускается воздействие этого – что ни говори – родственного, однородного мира на нас? Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния [...] Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой, – нашей русской сути из нас не вывести (Т-РСС XIV: 10).

Jede große Kultur – und das heißt: auch die russische – überwindet den *relata refero*-Status und gewinnt im Migrationsprozess der ›Vor-Läufigkeit‹ ihr eigenes, unverwechselbares *chirographum*.

»Einfluss«-Kanäle wie die Abfolge Hegel-Rötscher-Katkov-Belinskij können viele Parallelströmungen haben. Die deutschen Ästhetikdiskussionen kreisten spätestens seit dem 18. Jahrhundert um das Syntheseproblem von Anschauung und Abstraktion, und zahllose – heute noch bekannte oder eher unbekannt – Theoretiker wie Bodmer, Breitinger, Herder, Hamann, Kant, Schelling, Fichte, die Schlegels, Solger, Thrandorff oder eben Rötscher haben sich mit dieser Vexierfrage abgeplagt.¹³ Das Horaz-Wort *ut pictura poesis* war letztlich nur eine konventionelle, allerdings ahnungsvolle Annäherungsformel. Die eigentlichen Quellen, aus denen sich die damals neueste Literaturtheorie auch in Russland gespeist hat, lieferte die Kunstphilosophie des deutschen Idealismus, Schiller und Goethe inbegriffen. Dabei ist diese Kunstphilosophie ihrerseits nicht selten formelhaft geblieben, was bei einem so ›fluiden‹ Terrain wie der Dichtung kaum vermeidbar ist, sobald man das so schwer fassbare »Ganze« (= *целое*) derselben erkennen will.

»Denken in Bildern« allerdings war eine Glücksgriff-Formulierung Belinskij's mit integrativem, disziplinverbindendem Potential. Auch wenn der *Pic-*

13 Vgl. u. a. ALBUS 2001, BRAUN 2009, GRAVE/SCHUBBACH 2010.

torial bzw. *Iconic Turn* heute zu den ambitioniertesten ›Diskursen‹ gehört, so hat er doch unzählige Ahnherren, von denen drei zitiert seien – ein Philosoph, ein Maler und ein Dichter:

Der innerste Kern jeder echten und wirklichen Erkenntnis ist eine Anschauung; auch ist jede neue Wahrheit die Ausbeute aus einer solchen. Alles Urdenken geschieht in Bildern: darum ist die Phantasie ein so notwendiges Werkzeug desselben [...]. Hingegen bloß abstrakte Gedanken, die keinen anschaulichen Kern haben, gleichen Wolkengebilden ohne Realität (Arthur Schopenhauer, *Die Welt als Wille und Vorstellung*, Bd. 2, Buch 1, Kap. 7; Buch 3, Kap. 31).

Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht. Sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht (*Caspar David Friedrich in Briefen und Bekenntnissen*, hrsg. v. Sigrid Hinz, München 1968, S. 128).

Всем известно изречение: *поэт мыслит образами*; это изречение совершенно неоспоримо и верно.

Allen ist das Diktum bekannt: *Der Dichter denkt in Bildern*; dieses Diktum ist vollkommen unbestreitbar und wahr (Ivan S. Turgenew, *Predislovie k romanam*; Hervorh. orig.).

* * *

Was Belinskij und seine Zeitgenossen zum »Denken in Bildern« gesagt haben, mag das heutige vielbeschworene ›Reflexionsniveau‹ unterschreiten. Gleichwohl bleibt bedenkenswert, was der Latinist Manfred FUHRMANN (2002: 84) so festgehalten hat:

Den Goldgrund des für die philologisch-historischen Fächer maßgeblichen Methodenrepertoires gibt noch immer der Historismus ab – mit all den Verfeinerungen und Verästelungen, die im Laufe der Zeit den Grundbestand ergänzt haben.¹⁴

Nicht zufällig sind (waren?!) Slavisten häufig genug auch Klassische Philologen.

14 Von russischer Seite vgl. zuletzt die neueste Ausgabe zu V. A. Žukovskij, Bd. VI: *Perevody iz Gomera*, Moskva 2010 (Ž-PSS VI).

Literatur

Quellen und Lexika

- VAS = *Большой академический словарь русского языка*, Москва – Санкт-Петербург VII: Горбачевич, К. С. (гл. ред.): Т. 7: *И – Каюр*, 2007; XIII: Герд, А. С. (гл. ред.): Т. 13: *О – Опор*, 2009.
- V-PSS = Белинский, В. Г.: *Полное собрание сочинений*, гл. ред. Н. Ф. Бельчиков, Москва:
 II: Десницкий, В. А. (ред. тома): Т. 2: *Статьи и рецензии. Основания русской грамматики: 1836–1838*, 1953;
 III: Бурсов, Б. И. (ред. тома): Т. 3: *Статьи и рецензии. Пятидесятилетний дялюшка: 1839–1840*, 1953;
 IV: Бельчиков, Н. Ф. (ред. тома): Т. 4: *Статьи и рецензии: 1840–1841*, 1954;
 V: Бельчиков, Н. Ф. (ред. тома): Т. 5: *Статьи и рецензии: 1841–1844*, 1954;
 VI: Бурсов, Б. И. (ред. тома): Т. 6: *Статьи и рецензии: 1842–1843*, 1955.
- G-PSS = Гоголь, Н. В.: *Полное собрание сочинений*, ред. изд. Н. Ф. Бельчиков, Б. В. Томашевский, [Ленинград]:
 II: Гиппиус, В. В. (ред. тома): Т. 2: *Миргород*, 1937;
 XIV: Михайлова, А. Н. (ред. тома): *Письма 1848–1852*, 1952.
- НОР 1970 = Квинт Гораций Флакк: *Оды. Эподы. Сатиры. Послания*, пер. с лат., изд. осуществл. под общ. ред. С. Апта, вступ. ст. М. Л. Гаспарова, Москва (Библиотека античной литературы. Рим).
- КАТ 1838 = Катковъ, М. Н.: »Отъ переводчика. [Vorwort zu:] О философской критикѣ художественнаго произведенія. Статья Рётшера«, in: *Московский наблюдатель* 17.2 (май), 159–165, 165–195; 17.1 (июнь), 303–334; 17.2 (июнь), 431–457.
- SPR ²2011 = Сперанский, М. М.: *Правила высшего красноречия*, предисл. И. Я. Ветринского, Москва (= Лингвистическое наследие XIX века).
- SRJA-18 = Сорокин, Ю. С. (гл. ред.): *Словарь русского языка XVIII века*, Т. 9: *Из – Каста*, Санкт-Петербург 1997.
- T-PSS = Тургенев, И. С.: *Полное собрание сочинений и писем*, гл. ред. М. П. Алексеев, Москва – Ленинград:
 VI: Измайлов, Н. В. (ред. тома): Т. 6: *Повести и рассказы. «Рудин». Статьи и воспоминания: 1853–1856*, 1963;
 XIV: Назарова, Л. Н. (ред. тома): Т. 14: *Воспоминания. Критика и публицистика: 1854–1883*, 1967.
- Ž-PSS = Жуковский, В. А.: *Полное собрание сочинений и писем*, Т. 6: *Переводы из Гомера:»Илиада«,»Одиссея«, гл. ред. А. С. Янушкевич, Москва 2010.*

Sekundärliteratur

- ALBUS 2001 = Albus, V.: *Weltbild und Metapher. Untersuchungen zur Philosophie im 18. Jahrhundert*, Würzburg (Epistemata: Reihe Philosophie 306).
- BAGNO 2009 = Багно, В. Е.: *»Дон Кихот« в России и русское донкихотство*, Санкт-Петербург.

- BAUMBACH 2000 = Baumbach, M.: »Wanderer, kommst Du nach Sparta...«. Zur Rezeption eines Simonides-Epigramms«, in: *Poetica* 32, 1–22.
- BRAUN 2009 = Braun, L.: *Bilder der Philosophie*, hrsg. v. R. Konersmann, aus d. Franz. v. C. Brede-Konersmann, Darmstadt.
- BULANIN 1991 = Буланин, Д. М.: *Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI вв.*, München (= Slavistische Beiträge 278).
- BUSCH 1964 = Busch, W.: *Horaz in Russland. Studien und Materialien*, München (= Forum Slavicum 2).
- CIZEK 1994 = Cizek, A. N.: *Imitatio et tractatio. Die literarisch-rhetorischen Grundlagen der Nachahmung in Antike und Mittelalter*, Tübingen (= Rhetorik-Forschungen 7).
- DE RENTIIS 1996 = De Rentii, D.: *Die Zeit der Nachfolge. Zur Interdependenz von »imitatio Christi« und »imitatio auctorum« im 12.–16. Jahrhundert*, Tübingen (= Beihefte zur ZrP 273).
- FONKIČ 2009 = Фонкич, Б. Л.: *Греко-славянские школы в Москве в XVII веке*, Москва (= Россия и Христианский Восток, Библиотека 7).
- FROLOV 1999 = Фролов, Э. Д.: *Русская наука об античности. Историкографические очерки*, Санкт-Петербург.
- FUHRMANN 2002 = Fuhrmann, M.: *Bildung. Europas kulturelle Identität*, Stuttgart (= Reclams Universal-Bibliothek 18182).
- GIULIANI 1998 = Giuliani, L.: *Bilder nach Homer. Vom Nutzen und Nachteil der Lektüre für die Malerei*, Freiburg i. Br. (= Rombach-Wissenschaften: Reihe Quellen zur Kunst 7).
- GRAVE/SCHUBBACH 2010 = Grave, J./Schubbach, A. (Hg.): *Denken mit dem Bild. Philosophische Einsätze des Bildbegriffs von Platon bis Hegel*, München (= eikones).
- GÜNTHER 1921 = Günther, J.: *Der Theaterkritiker Heinrich Theodor Röscher. Mit besonderer Berücksichtigung seiner Kritik der theatralischen Darstellung*, Leipzig (= Theatergeschichtliche Forschungen 31).
- HETÉNYI 1999 = Hetéyi, Zs.: »Идея в образах, абстрактное в визуальном. Фигуры-образы Исаака Бабеля«, in: *Russian Literature* 45.1, 75–85.
- INGOLD 2009 = Ingold, F. Ph.: *Die Faszination des Fremden. Eine andere Kulturgeschichte Russlands*, München.
- JEDIG 2010 = Jedig, A.: »Russland als Imitat?: Zu Felix Philipp Ingolds »Die Faszination des Fremden. Eine andere Kulturgeschichte Russlands««, in: *JBfGOE* 58.4, 537–558.
- KLEIN 1919 = Klein, R.: *Heinrich Theodor Röschers Leben und Wirken. Ein Beitrag zur Geschichte der literarischen Kritik*, Berlin (= Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte 30).
- KLEIN 2005 = Кляйн, Й.: *Пути культурного импорта. Труды по русской литературе XVIII века*, Москва (= Studia philologica).
- KNABE 1996 = Кнабе, Г. С. (общ. ред.): *Античное наследие в культуре России*, Москва.
- 1999 = Кнабе, Г. С.: *Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. Программа-конспект лекционного курса*, Москва.
- KOSELLECK 1967 = Koselleck, R.: »Historia Magistra Vitae«, in: Braun, H. (Red.): *Natur und Geschichte. Karl Löwith zum 70. Geburtstag*, Stuttgart, 196–219.

- KÜPPERS 1966 = Küppers, B.: *Die Theorie vom Typischen in der Literatur. Ihre Ausprägung in der russischen Literaturkritik und in der sowjetischen Literaturwissenschaft*, München (= Slavistische Beiträge 23).
- KUŔE 1998 = Kuŕe, H.: »Die Rhetorik der Leidenschaften: Speranskijs ›Regeln der höheren Redekunst‹ als Quelle einer historischen Pragmatik des Russischen«, in: *ZfSl* 43, 62–80.
- 2004 = Kuŕe, H.: *Metadiskursive Argumentation. Linguistische Untersuchungen zum russischen philosophischen Diskurs von Lomonosov bis Losev*, München (= SSS 28).
- MANN 1987 = Манн, Ю. В.: *Диалектика художественного образа*, Москва.
- MÜNKLER 2005 = Münkler, H.: *Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten*, Berlin.
- NITSCHKE 1987 = Nitsche, P.: »Translatio imperii? Beobachtungen zum historischen Selbstverständnis im Moskauer Zartum um die Mitte des 16. Jahrhunderts«, in: *JBfGOE* 35.3, 321–338.
- PAVLOVIČ 1995 = Павлович, Н. В.: *Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке*, Москва.
- PETROVSKAJA 2010 = Петровская, Е. В.: *Теория образа*, Москва.
- RÖTSCHER 1841 = Rötscher, H. Th.: *Die Kunst der dramatischen Darstellung in ihrem organischen Zusammenhange wissenschaftlich entwickelt*, Berlin.
- SAZONOVA 2006 = Сазонова, Л. И.: *Литературная культура России. Раннее Новое время*, Москва (= *Studia philologica*).
- THIERGEN 1978 = Thiergen, P.: »Translationsdenken und Imitationsformeln. Zum Selbstverständnis der russischen Literatur des XVIII. und XIX. Jahrhunderts«, in: *arcadia* 13, 24–39.
- i. Dr. = Thiergen, P.: »›Pictoris nos ars delectat‹ oder ›Der Dichter denkt in Bildern‹«, in: *Festschrift für Dieter Wuttke*.
- VOGT 2001 = Vogt, E.: *Das Leipziger Antikenmuseum und die griechische Literatur*, München – Leipzig (= *Lectio Teubneriana* 10).
- ZALIZNJAK et al. 2005 = Зализняк, А. А./Шмелев, А. Д./Левонтина, И. Б.: *Ключевые идеи русской языковой картины мира*, Москва (= *Язык. Семиотика. Культура*).

Alan Timberlake

Language and The First (Slavic) Life of Wenceslaus

After the Bohemian prince Wenceslaus was murdered by his brother Boleslav in 929,¹ his life and death were memorialized in a series of *vitae*. The earliest *vita* was composed a dozen years after the murder. It was followed by four Latin texts over the next century. It is generally assumed that the oldest *vita*, which is attested only in Slavic, was in fact composed directly in Slavic.² That assumption goes hand in hand with the conviction that the tradition of Slavic writing and Slavic worship continued uninterrupted in Bohemia after the Moravian Mission was obliterated on Methodius' death in 885. The statement that Wenceslaus **Павиче же к'ниги словѣнскіе и латинскіе добръ** (*Nov* 377-8) seems to confirm that Slavic traditions were alive and well during Wenceslaus' life.

Yet if we keep in mind the work of Helmut Keipert, which teaches us that the best philology synthesizes the analysis of specific textual details with discussion of the historical context, we are prompted to raise the question of the language in which the oldest life of Wenceslaus was written: was it in fact written in Slavic, as is generally assumed, or could it have been written in Latin and later translated into Slavic? This philological question about a specific text is part of a larger question about language in Bohemia in the late tenth and the eleventh centuries.

It will be useful to review the relevant texts. To keep the question of language open, I will refer to the oldest stage of the Wenceslaus legend not by

1 According to the Eastern (Cyrillic) texts (*Vost* 19.17-18, *Min* 28.3-5), 5337 AM, or 929 AD, though other dates have been suggested.

2 Though the presumption of Slavic originalism is general, there are exceptions. VONDRÁK (1903: 148) suspects "[...] že původce legendy sám byl původně vlastně latiněkem a že se pak přiučil církevní slovanštině," almost an admission that Latin was the original language. NOVOTNÝ (1929: 27-44) argues for an early, bare-bones transcript of facts in Latin (*sepsání*) reworked at Sázava. KRÁLÍK (1966: 146) dates the First Slavic Life to the end of the tenth century and precedes it by an unattested Latin source "x" of the 980s (and therefore *younger* than *CF*).

its usual name “First Slavonic Life of Wenceslas” but by the more neutral “First Life of Wenceslaus,” for which I will use the abbreviation **1VV* (for a hypothetical “Vita Vencezlai prima”). All the direct reflexes of this **1VV* are Slavic and must derive from a Slavic (Glagolitic) prototype, which we might designate as **VSV* (for a hypothetical “Vita Sclavonica Vencezlai”). The basic question, then, is whether **VSV* is simply the oldest legend **1VV* (the traditional view) or a later translation of a Latin **1VV* into Slavic (an alternative). **VSV* divides into two lineages, a set of Croatian Glagolitic texts from the fourteenth and fifteenth centuries, which must go back to an intermediate “occidental” source **VSV/Occ* (because the texts share simplifications in phraseology, discussed below, as well as Croatian Glagolitic orthographic norms) (VONDRÁK 1903: 146), and two “oriental” Cyrillic texts from the sixteenth century, the “Vostokovsky” text and the Mineja Četija, which presuppose an intermediate prototype **VSV/Oc* (because the original Glagolitic text was transposed into Cyrillic).

To review the Latin texts,³ *Crescente Fide* (*CF*) was composed to commemorate the inauguration of the Prague bishopric around 975–976. Next came Bishop Gumpold of Mantua’s rewriting of *CF* in the 980s, a text we might term “Latin Gumpold,” or *Gump/L*. In the eleventh century *Gump/L* was expanded with other texts (*Crescente Fide*, *Legenda Christiani*, *Legenda Laurentii*) and translated into Slavic and transported to East Slavic territory.⁴ To emphasize the connection to the prior tradition, we could call this text “Slavic Gumpold,” or *Gump/S*, instead of the usual “Second Slavonic Life” or “Nikolsky” text. *Legenda Christiani* (*LChr*) was written by one Christianus during Adalbert’s tenure as bishop of Prague (980s–990s). Of only tangential interest here is the *Legenda Laurentii* (c. 1039).

Let us first review some considerations that suggest that **1VV* was written in Latin.⁵ One derives from Josef STABER’S (1970) investigation of *Crescente Fide*. STABER observed resonances between *Crescente Fide* and Arbeo’s eighth-century *Vita Haimhrammi* (*VH*). In both we find: the “certaminis campus” that vouchsafes martyrdom; planned but frustrated pilgrimages to Rome; demons hounding the murderers; scattering of the saint’s followers (with an explicit reference to Mt 26.31/Mk 14.27). Citing such “Anklänge”, STABER argued that *Crescente Fide* was written by a monk in St. Emmeram’s Monastery in Regensburg who used Arbeo’s *Vita Haimhrammi* as a model.

3 Texts chronologized by TŘEŠTÍK (1997).

4 VAŠICA (1929: 73–74) argues that an expanded text was created with Latin expansions, then written in Glagolitic and later converted to Cyrillic.

5 The following paragraphs summarize the argument of TIMBERLAKE (in press).

STABER's method extends to **1VV*, in two ways. Firstly, **1VV* (in its attested form in Slavic) also shows resonances with *VH*: in both, the saints' bodies were hacked to pieces, the pieces collected, and the restored body buried in an appropriate church. The saint's followers were scattered in **1VV* as well as in *VH*. Secondly and more importantly, *CF* shows resonances with ***1VV*. The burials in **1VV* and *Crescente Fide* are analogous: **Положише и в' костелѣ стѣга Вида, о десноу ю с'траноу олгара обую и десете аплоу, и дѣже бѣ и смѣ рекаль сазидати црѣки** (*Nov* 43₁₇₋₂₀) ≈ "ut tranferrent illud ad ecclesiam, quam ipse construxit" (*CF/Bav* 188).⁶ In both **1VV* and *CF* but not in *VH*, Wenceslaus' blood will not disappear for three days. In **1VV* and *CF* but not in *VH*, prisoners are freed. Thus *CF* exhibits resonances with **1VV* as well as with *VH*.

The three texts, then, constitute a series: *VH*, then **1VV*, which used *VH*, and later *CF*, which used both *VH* and **1VV*. If, as STABER argued, *CF* was written at St. Emmeram's, it follows that **1VV*—which both used a text of St. Emmeram's as a source (*VH*) and itself served as the source for a later text of St. Emmeram's (*CF*)—must also have been written at St. Emmeram's in Regensburg.

On the level of context, it is unlikely that Slavic writing and Slavic worship continued uninterrupted in Bohemia after Bishop Wiching disbanded the Moravian Mission in 885. The Regensburg bishopric was responsible for missionary activity in Bohemia from the end of the ninth century until a Prague bishopric was created and attached to Mainz in 975–976.⁷ Bohemia swore fealty to Arnulf and fought on behalf of Bavaria against Moravia in the 890s. Given Bohemia's subordination, political and ecclesiastical, to Bavaria and the Holy Roman Empire, there was no cultural room for Slavic writing and Eastern rite. The language of written discourse of the Church in Regensburg was Latin. Because the First Life of Wenceslaus belongs firmly in the Latin tradition of Regensburg, that *vita* was most likely written in Latin, not in Slavic. If so, the original Latin **1VV* must have been translated to become Slavic **VSV* at some distinctly later point, presumably during the Slavic Renaissance at Sázava in the eleventh century.

And yet, this evidence notwithstanding, the traditional assumption that **1VV* was written in Slavic seems to find support in the report **Навиче же к'ниги словѣн'ские и латин'ские добрѣ** (*Nov* 37₇₋₈) in Western (Glagolitic) reflexes of **1VV*. Taken at face value, **Навиче же к'ниги** [...] suggests that Slavic writing was active during Wenceslaus' lifetime, a necessary (though not sufficient) condition for a *vita* such as **1VV* to have been written in Slavic. To

6 And they differ from *VH*: "Tunc quidem christiani, inito consilio, in eodem loco ecclesiam in honorem ipsius martyris Christi moeniis construxerunt" (*VH* §30 [71₂₀₋₂₄]).

7 On context, see: GRAUS 1969; STABER 1966, 1970, 1972; MAI 1973; MAYER 1973.

explore the significance of **НѢВИЧЕ ЖЕ К'НИГИ** [...], we need to examine discussions of learning and language in texts of the Wenceslaus cycle, beginning with the descriptions of Wenceslaus' education in the three texts *CF*, *Gump/L*, and *LChr*, shown synoptically in Table 1. *Gump/S* closely follows *Gump/L*; additions reflected in *Gump/S* are cited as bracketed Cyrillic phrases.

Table 1: *Synoptic Comparison of Discourse on Education in CF, Gump/L, and LChr*

<i>Crescente Fide/Bav</i> (183)	<i>Gumpold/Latin</i> (§4/125–126)	<i>Legenda Christiani</i> (§3/28)
Cuius filius maior beatus Uendezlavus dei instinctu ab in-eunte aetate semper desiderabat discere litteras, et optans pater eius desiderium animi ipsius perficere, misit eum in civitatem nuncupatam Budeceam, ut ibi disceret psalterium a quodam presbytero nomine [Ucino (<i>CF/Boh</i> 58)]. Tunc beatus Uendezlaus capaci mente gratanter coepit discere, de die in diem melius meliusque proficiens. Postea autem migravit pater eius de hoc mundo.	Qui vero mirae claritatis ac amandae indolis [ѡтроча], dum floridam iuventutis aetatem primum attigisset, patre adhuc vivo, ad litterarum disponi exercitia desiderans, paternumque crebro flagitamine deflectens animum [н оумъ и мысль], eius transmissu in civitate Budec, [к попиноу именов оученѣ] litteris addiscendis est positus. Cuius itaque ingenio celeri capacitate divinitus instructo, brevi studio librum psalmodialem ceteraque compluria perdidicit, et solidius interiori memoriae conexuit.	Filium vero suum etatis preeuntis Wenceslaum es-tuantis animi in lege divina litteris imbuendum tradiderat in civitatem, que Budecz nuncupatur, ubi ab antecedente fratre suo Spitigneo in honore principis apostolorum beati Petri consecrata inerat et inest ecclesia. Cumque sagax ingenio cuncta, que a pedagogo sibi tradita forent, Spiritu sancto inspirante, alte memorie contraderet [...].

We see here elements of a topos of education: the child initiates study and overcomes the father's resistance, thereby revealing the force of the child's desire for knowledge (*CF*); the child is gifted with a quick mind and a sure memory (all three), demonstrated by mastering the Psalter in particular (*Gump/L*). These "facts" have no referential value; they are conventional signals of the still young child's innate saintliness, analogous to Wenceslaus' properties such as concern for the poor and for widows. Components of this topos of education appear in John Canaparius' vita of Adalbert: "Puer autem proficiens aetate et sapientia, ubi tempus erat, christianis inbuitur litteris; nec egressus est domum patria, donec memoriter didicit psalterium" (*Adalb./JC* 582).⁸

Against the background of the topos of education, we note that *CF* reports two facts that are not conventional elements of a topos: the name of the place to which Wenceslaus was sent to study (*Budeč*) and the name of his teacher (*Učeno*). *Gump/L* and *LChr* keep the place *Budeč* but lose the

8 Adalbert was sent off to be educated in "liberal studies" ("pro discendis liberalibus studiis"), which AMANN (1943: 523–24) understands to consist of seven subjects—grammar, rhetoric, etc. Emmeram was similarly educated in liberal studies.

puzzling name (or epithet) *Učeno*.⁹ Such details have the ring of authenticity. They are details that must have been learned from eyewitnesses to the events who were available when the narrative was written down. For example, **1VV* has a rich list of the names of the villains who murdered Wenceslaus that must derive from eyewitnesses. The author of **1VV*, then, had access to eyewitnesses, a dozen or so years after the murder of Wenceslaus. In contrast, it is improbable there were any eyewitnesses available to the scribe who wrote *CF* forty years after Wenceslaus' death. Absent eyewitnesses, *CF* must have taken this information from a written source, which, as far as we know, must have been the earliest vita of Wenceslaus, namely **1VV*; in other words, **1VV* must have recorded *Budeč* and *Učeno*. For future reference, we also note that, although *CF* reports factual details about Wenceslaus' education, it does not mention the language(s) Wenceslaus learned¹⁰ nor his grandmother Ludmila's involvement.

Before we look at the discussions of education and languages in the Slavic texts, it will be useful to digress and examine how Christianus discusses language and the history of Slavic writing and ritual.

After the dedication to his kinsman Adalbert (Vojtěch), the second bishop of Prague from 982 until he was martyred proselytizing to the Baltic Slavs in 997, Christianus gives a summary of Slavic Christianity and the Moravian Mission.¹¹ Christianity in Moravia dates back to the time of Augustine, even earlier in Bulgaria; Constantine converted Bulgaria prior to the Moravian Mission.¹² Constantine, in addition to knowing Greek, was educated in Latin. After inventing the alphabet in Moravia, he translated the Bible (as Methodius did in *Vita Methodii*) and the liturgy and hours (as Constantine did

9 This name might reflect a process whereby a Latin scribe, interviewing an eyewitness with a translator, understood a *description* of a "learned" priest to be a name.

10 Languages are mentioned in the revised, Slavic version of Gumpold. Gumpold's Latin "in miram scripturarum capacitatem produvit" (*Gump/L* 126) is translated as *на чюдодивныя разѡмы кнѣгъ изыде* (*Gump/S* 94). The phrase *латиньски ѿко и грѣчески*, marked by square brackets in Table 2, was inserted when *Gump/L* was revised and augmented during the Sázava Renaissance in the eleventh century, during a time when the status of languages came to the fore.

11 His history is roughly consistent with the Pannonian legends; it makes use of Constantine's polemics with opponents of Slavic ritual. The origin of his less than canonical information is not clear. CHALOUPECKÝ (1939) suggests Christianus relied on a non-extant "Privilegium moraviensis ecclesie" for his information about the Moravian Mission and also about Augustine, Constantine's conversion of Bulgaria, and Bořivoj's conversion by Methodius.

12 *LChr* (§ 17-8) "postquam Bulgri crediderant"; in related texts, "postquam Bulgariam ad fidem Ihesu Christi convertisset" (Diffundente sole), "[...] beatus Cirillus, divina gracia cooperante, Bulgaros convertisset ad fidem" (Beatus Cirillus) (CHALOUPECKÝ 1939: 81, 80).

in Vita Constantini). Summoned to Rome, Constantine was accused of violating canon law by conducting worship in Slavic (“ut quid contra statuta canonum ausus fuerit missarum sollempnia instituere canere Sclavonica lingua” [*LChr* § 124–25]). He defended himself eloquently with scriptural arguments used in Vita Constantini:

Si [...] omnis spiritus laudet Dominum [Ps 150.6], cur me, patres electi, prohibetis missarum celebritatem modulare Sclavonice seu alia queque de Latino vel Greco verbo eorum vertere in sermonem? (*LChr* § 128–32).

He continues with the practical argument that he would have used Latin and Greek to preach to the Slavs if these languages would have been effective. He closes with a second quote from Vita Constantini: echoing his own question “cur [...] prohibetis,” he pleads, “Loqui linguis nolite prohibere” [1 Cor 14.39] (*LChr* § 141). His audience is overwhelmed, and the Pope grants permission to conduct worship in Slavic.

In Christianus’ dramatization, Constantine ostensibly speaks for himself, to a specific audience in a specific historical context. Even though Constantine was victorious in achieving permission to worship in Slavic in the immediate context, his two speech acts—his question “cur [...] prohibetis” and his plea “Loqui linguis nolite prohibere”—nevertheless have a timeless force which can be applied to any future time and situation beyond his disputation in Rome, such as Bohemia and Moravia.

Christianus then shifts attention to Princes Sviatopolk’s distortion of the faith in Moravia: “verum membra sua, scilicet plebem populumque suum, partim Christo, partim dyabolo servire exhibuit” (*LChr* § 178–80), which led to various calamities that continue to the present day (“usque in hodiernum diem deflet” [*LChr* § 183]). In this way Christianus draws a parallel between Moravia and Bohemia and sees them as linked:

Quorum exempla nos quoque videntur respicere, qui eisdem passibus conamur incedere, quoniam qui domum vicini sui conspicit concremari, suspectus debet esse de sua (*LChr* § 187–90).

He also claims that the Bohemian prince Bořivoj was baptized by Methodius.¹³ Whatever the veracity of this claim, it serves to establish a link between the Moravian Mission and the state of Christianity in Bohemia.

13 The conversion of Bořivoj by Methodius in Christianus (§2)—repeated by Cosmas (who uses the impossible date of 894, after Methodius’ death) and by modern historians of the history of Bohemia—is not supported by early sources, internal (*Crescente Fide* [*CF/Bav* 183]) or external (*Annales Fuldenses*, s. a. 895), which indicate that Svytihněv was the first Bohemian prince to be baptized (not counting the desultory conversion of 14 princes in 845). For critical analysis, see VONDRÁK 1903: 156–157,

Throughout this history Christianus seeks to use the authority of Constantine and the papal decree to give Greek and even Slavic the same dignity as Latin and the right to serve as a language of worship. Inasmuch as the argument traces back to Constantine, it is not new. But with the demise of the Moravian Mission, Constantine's arguments for Slavic worship disappeared from the discourse of Central Europe. The two earlier Latin *vitae* of Wenceslaus—Crescente Fide and Gumpold—simply did not discuss language. Christianus' attention to language, including but not limited to his attempt to argue for the dignity of Slavic, is then an innovation in the cultural context of Central Europe at the end of the tenth century.

Where did Christianus get his awareness to the question of language? Was it simply a continuation of the Moravian Mission into Bohemia? No, for Christianus paints a picture of tension between the true faith and devilish worship, which continues to this day, he says. And indeed, when he talks about the extent of Slavic worship, he says vaguely,

Missas preterea ceterasque canonicas horas in ecclesia publica voce resonare statuit, quod et usque hodie in partibus Sclavorum a pluribus agitur, maxime in Bulgariis (*LChr* § 1₁₅₋₁₈).

He names Bulgaria, not Bohemia or Moravia. As CLIFTON-EVEREST (1996: 263) commented:

In diesem Zusammenhang wäre Bulgarien kaum einer solchen Erwähnung wert gewesen, hätte Christian stolz sagen können, die Liturgie sei auch noch in seinem eigenen Lande in Gebrauch.

Christianus' view, then, did not stem from an uninterrupted continuation of the Slavic tradition.

Christianus' interest in language probably derives from a movement stemming from Rome and the monastery devoted to St. Alessio in particular (HAMILTON 1961, 1965; BOSL 1970). In the course of the tenth century Greek-only monasteries were established in Rome. Archbishop Sergius of Damascus, who arrived in Rome in 977, was granted permission by Benedict VII to use the decrepit St. Boniface's as a monastery devoted to St. Alessio. Consistent with the saint's history—he was a Roman by birth who was venerated in the Eastern Church—this monastery was populated by both Greek and

GRAUS 1969: 11–12. SOMMER et al. (2007: n. 54) discount Spytihněv's baptism in *CF* as "a polemic of the Bavarian clergy against the domestic tradition of Bořivoj's baptism by Methodius, which the Bavarian church did not recognize." One might say rather the opposite: Christianus' account of Bořivoj's baptism is part of a strategy of providing the Bohemian conversion with historical legitimacy, by tying it to the Moravian Mission.

Latin monks; the liturgy was celebrated in both languages. The ecumenical practice at St. Alessio's is relevant to Bohemia inasmuch as Bishop Adalbert (Vojtěch) fled Prague in 989 and entered the monastery. In 992 he was ordered to return to Prague, where, on his return, he founded a monastery at Břevnov in 993 (HAMILTON 1965: 299–300).

The development is summarized by ŽIVOV (2002: 164):

Однако к концу X в. положение существенно меняется: славянский язык в качестве литургического утверждается в христианской церкви (по крайней мере, в Болгарии) и в этом плане перестает отличаться, скажем, от сирийского. В этой ситуации образцы литургического двуязычия в монастырях восточной и западной церкви могли быть значимы в особенности в рамках своеобразного экуменизма политики *Renovatio Romani Imperii* и для таких духовных деятелей, как св. Войтех.

To this I would add only that the development was still tentative. The ecumenical spirit of equating Greek with Latin, not to mention the further step of extending that equation to Slavic—of treating Slavic as equi-apostolic—may not have been universally accepted in the Roman Church. Constantine's plea in *Legenda Christiani*—"Loqui linguis nolite prohibere"—indicates that Adalbert had not yet had the opportunity of implementing the extension of the ecumenical spirit to Slavic, his founding of Břevnov notwithstanding. It was only in the eleventh century at the Sázava Monastery in Bohemia and at Visegrád in Hungary (KNEZSA 1964) that the program could be implemented, and even then, as history shows, the attempt to give Slavic a status equal to Latin was precarious. Christianus' history shows a trajectory of change that had begun but had not been fully implemented.

Against this background let us compare discussions of education in the two lineages of the Slavic life of Wenceslaus (*VSV), shown below in Table 2.

The segment of interest begins with the assertion <a> that Wenceslaus had special favor with God and ends with comparable lists of *opera misericordiae*. There is obvious similarity between the two lineages in segments <a, c, e, g, h>, leaving no doubt that they derive from a single Slavic source, termed *VSV above.

Leaving aside for a moment the major differences and <h> between the two lineages, we note some minor differences between the Western and Eastern variants. The Eastern text includes some phrases absent from the Western texts which appear to be old: <d> Eastern **на столѣ дѣдъни**, without which the verb **поставиша** in the Western tradition seems forlorn; <f> Wenceslaus' sisters and their fate, a biographical detail not likely to have been invented and inserted. Further on (not cited here) Eastern texts give Wenceslaus' age, which Western texts omit. The Eastern texts state the year, indict,

month and day when Wenceslaus died (*Vost* 19₁₇₋₁₈, *Min* 28₃₋₅), whereas Western texts report only the day and month. These details must have been original in *1VV. They are preserved in the Eastern lineage (*VSV/Or) but eliminated in Western texts, showing that there was a common Western proto-text *VSV/Occ. These passages also show that the Eastern lineage can sometimes be more archaic than the Western lineage (KØLLN 2003).¹⁴

Table 2: Synoptic Comparison of Discourse on Languages in Western and Eastern lineages

	*VSV/Occ (<i>Nov</i> 37 ₅₋₁₇)	*VSV/Or (<i>Vost</i> 14 _{20-15,6})
⟨a⟩	начеть отрокъ расти благодѣтнѣю бѣжнѣю хранимь.	нача отрокъ рости блѣтѣю бѣжнѣю хранимь.
⟨b⟩	Навиче же к'ниги словѣнскіе и латинскіе доврѣ.	и възда и баба своа людмина (!) оучити книгамъ словенскимъ. по слѣдѣ попову и навиче развѣмъ доврѣ. ѿсади воротиславъ в вѣдѣчъ. и нача штрокъ оучитиса книгамъ латынскимъ. и наоучиса доврѣ.
⟨c⟩	Оумр'вшоу же оцѣу его, поставише Чесни кнеза сего Вещеслава сина его.	в тоже время оумре воротиславъ князь. и поставишъ князѣмъ вачеслава
⟨d⟩		на столѣ дѣдѣни
⟨e⟩	Болеслав' же брѣтъ его рас'тѣаше под' нимь, бѣшета же оцѣ мала. На мати его Драгомира оутверди зѣмлю, и люди строн дон'деже в'зрасте Вещеслѣвъ, и в'зраст'ши, наче смѣ стронити люди с'вое.	и ѿтоле болеславъ нача подъ нимъ ходити. башета бо шба мала. мѣти же ею дорогомир оутверди зѣмлю и люди своа оустрон. іако възспитѣ сѣны своа. іако нача вачеславъ стронити люди своа
⟨f⟩		имаше же сестры •дѣ• и вѣаства іа в [разна (<i>Min</i> 22 ₂)] княженъа и оустронсте іа
⟨g⟩	Благодѣтнѣю же бѣжнѣю вистиноу Вещеславъ кнезь	и възложи бѣ блѣтъ такѣ на вачеслава кнѣзѣмъ.
⟨h⟩		и нача же оумѣтити книги латынскіа. іакоже доврѣ епѣи или попѣ. да ацѣ іа възмаше іа грѣческіа книги или словенскіа прочитгаше лѣвнѣ безъ блазна.
⟨i⟩	не токмо книги навиче доврѣ, на вероу сввршень вѣ.	не токмо же книги оумѣаше но вѣрѣ свершаша
⟨j⟩	[opera misericordiae]	[opera misericordiae]

14 Often, however, Western texts preserve phraseology better: cf. garbled Eastern *научили видати матеръ свою без вины* with original Western *наустинили вигнати матеръ свою без вины* (VAJS 1929: 33). Evidently we cannot say that one lineage is consistently more archaic than the other.

Let us turn now to line in Table 2. The Western reflexes do not mention the locale of *Budeč* while the Eastern texts do. Since it is unusual to add details such as placenames in the transmission of texts, we can assume that *Budeč* is old and dates back to *1VV.

That fits with the argument above that *CF* must have taken *Budeč* from *1VV. Something similar can be said about the other factual detail of Wenceslaus' education, the priest *Učeno*, mentioned in *CF*. Strictly speaking, none of the Slavic texts mentions this name as such. But the Eastern texts do report that Wenceslaus was educated by a priest, without naming him: **по сльѣдѣ поповѣ** (*Vost* 14₂₂₋₂₃), **послѣдѣдуѣмъ оучителю своему добрѣ** (*Min* 21₁₈₋₁₉). That unnamed priestly presence is a trace of what in *CF* was stated explicitly as “discret psalterium a quodam reverenti presbitero nomine Ucino” (*CF/Boh* 58). We can then trace the history of these details as follows. Both details—locus *Budeč* and teacher-priest *Učeno*—were in the original *1VV, from which they were copied into *CF*. They were also preserved in the Slavic prototext *VSV. The Western lineage *VSV/*Occ* eliminated both details; the Eastern lineage *VSV/*Or* preserved at least the place and the idea of teacher-priest, though the name *Učeno* was lost.

That much is reasonably certain. Less certain is the question of languages, and further, the association of Wenceslaus' grandmother Ludmila with education in Slavic, his father Bratislav with Latin. As we see in in Table 2, the two languages are mentioned in both Eastern and Western lineages, but only the Eastern lineage associates the languages with different parental figures.

How old is this association, and how old is the discussion of languages?

In the Slavic texts, Ludmila is mentioned only in *VSV/*Or* in connection with her role in teaching Slavic to Wenceslaus (line). In fact, Ludmila is otherwise not mentioned at all in the Slavic texts derived from *1VV, neither in the Western nor the Eastern reflexes. In *CF*, Ludmila plays a modest role. She is said to have cultivated priests, which practice was thought to have contributed to Wenceslaus' acting like a monk rather than as a secular ruler. Wenceslaus' mother says, “Quid facimus? quia qui princeps debeat esse, per-versus est a clericis et est ut monachus” (*CF/Boh* 59). As a consequence of her influence on Wenceslaus Ludmila was murdered. Crucially, although Ludmila is presented in *CF* as devout, nothing in *CF* associates her specifically with the *Slavic* rite or language. That may well be the modern interpretation—that she was murdered because she was insisting on *Slavic* worship—but *CF* does not say that. Nor does *Gump/L*.

Ludmila's importance grows in *LChr*.¹⁵ She speaks dialogue full of bathos about her imminent death, for she, destined to be a saint, knows her destiny. Ludmila, like Wenceslaus, is portrayed as a true believer, their adversaries Drahomir and Boleslav, as pagans. The image of Ludmila presented in *LChr* is the image of her that has come down in time. And yet even *LChr* stops short of saying that Ludmila conducted worship in Slavic; after all, it was the *absence* of Slavic rite in Bohemia which Christianus bemoaned

Si [...] omnis spiritus laudet Dominum, cur me, patres electi, prohibetis missarum celebritatem modulari Sclavonice seu alia queque de Latino vel Greco verbo eorum vertere in sermonem? (*LChr* § 128-32).

Thus even *Legenda Christiani*—the text which devoted the most attention to Ludmila and went the furthest in advocating the use of Slavic—did not associate Ludmila with Slavic.

Accordingly, when we read in **VSV/Occ* that Ludmila taught Wenceslaus to read Slavic, we should be suspicious. In their discussion of Wenceslaus' education, the series *CF*, *Gump/L*, and *LChr* say that it was Wenceslaus' father Vratislav who sent Wenceslaus off to be educated, but Ludmila is a different matter; none of them mentions Ludmila in connection with Wenceslaus' education. We may conclude that **1VV*—the original version of the Wenceslaus cycle from the first half of the tenth century—did not mention Ludmila in connection with Wenceslaus' education and most likely not at all. Accordingly, the phrase **И ВЪДА И БАБА СВОА ЛЮДМИНА ОУЧИТИ КНИГАМЪ СЛОВЕНЬСКИМЪ** is not old. It was added when **VSV*—the prototext for Slavic texts—was created. It was preserved in **VSV/Or* but simplified to **НАВИЧЕ ЖЕ КНИГИ СЛОВЪНЬСКНЕ И ЛАТИНЬСКНЕ ДОБРЪ** in the editorial episode when **1VSV/Occ* was created from the inherited text from **1VSV/Or*; recall that other details (*Budeč*, *Učeno*, sisters, year of death) were also eliminated.

To this point I have argued that there was an ancient, unattested text with certain properties (Ludmila and languages of instruction were not mentioned, *Budeč* and *Učeno* were) which is distinct from the Slavic text **VSV* from which the actual Slavic texts derived (in which languages of instruction were interpolated, Ludmila was given responsibility for Wenceslaus' education; and *Budeč* and *Učeno* were maintained). That is to say, **1VV*, written in Latin, is distinctly older than and separate from **VSV*, the Slavic translation of **1VV*. When was the Slavic version prepared? We should note again that there was no discussion of language in *CF* or *Gump/L*. The awareness

15 It is usually assumed that Christianus made use of a separate hagiography of Ludmila, known as "Fuit in provincia Boemorum [...]," whose oldest manuscript dates to the twelfth century.

of language and the attempt to praise the Lord in all languages was just starting with Christianus and reached its florescence in the eleventh century in the Sázava Monastery. It was during this period, in 1080, that Prince Vratislav II petitioned Pope Gregory VII (albeit unsuccessfully) to allow the use of Slavic. Thus, in terms of overt discussion of language, there is an upward trajectory from *CF* and *Gump/L* through *LChr* to mid-eleventh-century Sázava. If we follow that trajectory backwards in time, we get to starting point of the original Wenceslaus vita, **1VV*, inasmuch as the trajectory is one of increasing interest in language, the starting point lacked any overt discussion of language. To be fully explicit, I suggest that **1VV* said approximately (I hesitate to attempt a Latin original): “Vratislav sent Wenceslaus to Budeč to study with a certain esteemed priest Učeno [i. e., a learned priest?], and Wenceslaus learned books well.”

When **1VV* was translated into Slavic to become **VSV*, the languages of instruction Latin and Slavic were introduced retrospectively, and responsibility for Wenceslaus’ education was split between Ludmila, who was given responsibility for his imagined home education in Slavic, and Vratislav, who was given responsibility for his more public education in Latin. Interestingly, Canaparius breaks Adalbert’s learning into two phases, divided so that his sacred education in the Psalter took place at home (“nec egressus est domum patria, donec memoriter didicit psalterium” [*Adalb/JC* 582]) and his secular education in liberal studies away from home (“pro discendis liberalibus studiis misit eum pater ad archiepiscopum Adalbertum”). It is just conceivable that Canaparius’ vita could have served as a model for the distinction between private, domestic learning and general, public learning during the translation of **1VV* to **VSV*.

The Vostokovsky text of **VSV/Or*, at line ⚭ in Table 2, returns to the question of language: и нача же оумѣти книги латыньския. такоже добры еписѣпъ или попъ. да аще ја възмаше ја грѣческия книги или словеньския прочиташе авънѣ безъ блазна (*Vost* 15₁₁₋₁₅). This passage resonates with Christianus’ historical sketch, in which he goes out of his way to establish Constantine’s knowledge of Latin as well as Greek, as if Christianus felt it necessary to allay possible concerns about Constantine’s linguistic skills. As noted, Christianus’ brief biography of Constantine seems to have been influenced by the ecumenical spirit of the end of the tenth century at St. Alessio’s. That spirit led to a kind of chain of imitation (similarity) of languages: Latin is appropriate for worship and scripture, by imitation, Greek is equal (or almost equal to) Latin in status, and, Slavic is equal to (or almost equal to) Greek; by transitivity, Slavic therefore has as much (almost as much) dignity as Latin, and is appropriate for worship. On this view, the reprise on language in **VSV/Or* at line ⚭ is not, as it might seem, a contradiction of the earlier

mention of languages or a needless duplication. It is rather an attempt to make explicit that Slavic belongs along with Greek (as well as, self-evidently, Latin) in the circle of languages appropriate for worship.

We can summarize briefly. The description of education in *CF* (and later Gumpold and *Legenda Christiani*) is largely a topos, but it includes one authentic fact, Vratislav's sending Wenceslaus to *Budeč* to be educated by *Uče-no*. No languages were mentioned. Since *CF* maintained the locale and agent of teaching on the basis of **1VV*, it might be expected to have maintained mention of languages if languages had been mentioned in **1VV*. True, this is an argument *ex silentio*, but it is justified by the fact that *Budeč* was maintained both in *CF* and in **VSV/Or*. The reference to Ludmila in **VSV/Or* and her association with Slavic writing is not consistent with the role of Ludmila in any Latin text, even in *LChr*, the text that devotes the most attention to her.

To this argument can be added a contextual argument. Attention to language and the status of languages appears with the *Legenda Christiani*, in the 990s, and this is no accident; it fits with the innovative practice of St. Alesio's in Rome. The possibility of writing and worshipping in Slavic becomes possible (again) in Central Europe only in developments inspired St. Alesio's in the eleventh century; it was then that the Slavic translators of **1VV* inserted the reference to languages and attributed the domestic education in Slavic to Ludmila. That conclusion dovetails with other evidence about the First Life: it was written in Regensburg in a Latin-language milieu, and the Slavic reflexes show signs of having been translated.

It may be in the long run that the significance of the argument above lies not so much in the question of whether the First Life of Wenceslaus was or was not originally composed in Slavic, but in the argument that the situation in Central Europe was not static; there was an evolution of awareness of the status of languages other than Latin (and the use of Slavic in practice) from the low point after the demise of the Moravian Mission through Adalbert and Christianus to the Sázava Renaissance, followed, of course, by the final elimination of Slavic.

References

Primary Sources

Adalb/JC = "[Vita s. Adalberti Episcopi] Vita antiquior auctore Iohanne Canapario", in: Pertz, G. H. (ed.): *MGH 6, Scriptores 4*, Hannover 1841, 381–395 [Reprint: Leipzig 1925], cf.: http://www.veritatis-societas.org/201_MGH/1925-1933_MGH_1_Scriptores._SS_04._Annales_Chronica_et_Historiae_Aevi_Carolini_et_Saxonici_LT.pdf.

CF = Crescente fide:

CF/Bav = "Passio s. Uendezlavi martyris [incipiens verbis 'Crescente fide christiana in illis diebus'. Recensio bavarica]", přelož. J. Truhlář, in: Emler, J. (jednat.): FRB, D. 1.: *Životy svatých a některých jiných osob nábožných*, Praha 1873, 183–190.

CF/Boh = "Passio s. Venezlai martyris [incipiens verbis 'In diebus illis crescente fide Christiana'. Recensio bohemica]", in: Ludvíkovský, J.: »Nově zjištěný rukopis legendy Crescente fide a jeho význam pro datování Kristiána«, in: LF 81 (1958): 56–68 [here: 58–63].

Gump/L = "Mense Septembri die 28. Incipit prologus de sancto Venceslao, martyre Christi. Benedic, pater! [Latinský překlad s poznámkami]", in: VAŠICA 1929: 124–135.

Gump/S = "МѢСАЦА СЕПТѢВРА ВЪ .КН. ДЕНЬ ПОЧИНАЕТСА ПРОЛОГЪ ѿ СВАТѢМЪ ВАЧЕСЛАВѢ МОУЧЕНИЦѢ ХРИСТОВѢ. БЛАГОСЛОВИ ѿТЧЕ [Text druhé staroslovanské legendy s variantami a poznámkami]", in: VAŠICA 1929: 84–124.

LChr = [Incipit vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius.] *Kristiánova legenda. Život a umučení svatého Václava a jeho báby svatě Ludmily*, k vyd. přípr., přelož. a poznámkami opatř. J. Ludvíkovský, Prague 1978.

Min = Serebrjanskij, N. J.: "Text Minejní, varianty a překlad", in: SEREBRJANSKIJ 1929: 20–28.

Nov = Vajs, J.: "Charvátskohlaholská redakce původní legendy o sv. Václavu. Úvod a texty", in: VAJS 1929, 29–43 [31–35: "Úvod"; 36–43: "Na (den) sv. Václava vyznavače"].

VH = Krusch, B. (ed.): *Arbeonis episcopi frisingensis Vitae Sanctorum Haimbrammii et Corbiniani*, Hannover 1920 (= MGH, Scriptorum rerum germanicarum in usum scholarum 13).

Vost = Serebrjanskij, N. J.: "Text Vostokovský s českým překladem", in: SEREBRJANSKIJ 1929: 14–20.

Secondary Literature

AMANN 1943 = Amann, É.: "La Vie intellectuelle et artistique. §2: L'Enseignement", in: Amann, É./Dumas, A.: *L'église au pouvoir des laïques: (888–1057)*, [Paris] (= *Histoire de l'Église, depuis les origines jusqu'à nos jours* 7), 523–530.

BOSL 1970 = Bosl, K.: "Das Kloster San Alessio auf dem Aventin zu Rom. Griechisch-lateinisch-slavisches Kontakte in römischen Klöstern vom 6./7. bis zum Ende des 10. Jahrhunderts, Kulturbewegung im Mittelmeerraum im archaischen Zeitalter Europas", in: Beck, H.-G./Schmaus, A. (Hg.): *Beiträge zur Südosteuropa-Forschung anlässlich des II. Internationalen Balkanologenkongresses in Athen, 7.V.–13.V.1970*, München (= *Beiträge zur Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients* 10), 15–28.

CHALOUPECKÝ 1939 = Chaloupecký, V.: *Prameny X. století. Legendy Kristiánovy o Svatém Václavu a Svaté Ludmile*, Praha (= *Svatováclavský sborník na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého*, D. 2.: Svatováclavská tradice, Sv. 2).

CLIFTON-EVEREST 1996 = Clifton-Everest, J. M.: "Slavisches Schrifttum im 10. und 11. Jahrhundert in Böhmen", in: *Bohemia* 37, 257–270.

GRAUS 1969 = Graus, F.: "Böhmen zwischen Bayern und Sachsen. Zur böhmischen Kirchengeschichte des 10. Jahrhunderts", in: *Historica* 17: 5–42.

HAMILTON 1961 = Hamilton, B.: "The City of Rome and the Eastern Churches in the Tenth Century", in: *OCP* 27, 5–26.

- 1965 = Hamilton, B.: “The Monastery of S. Alessio and the Religious and Intellectual Renaissance in Tenth-Century Rome”, in: *Studies in Medieval and Renaissance History* 2, 263–310.
- KNIEZSA 1964 = Kniezsa, I.: “Zur Frage der auf Cyrillus und Methodius bezüglichen Traditionen auf dem Gebiete des Alten Ungarn”, in: Hellmann, M./Olesch, R./Stasiewski, B./Zagiba, F. (Hg.): *Cyrillo-Methodiana. Zur Frühgeschichte des Christentums bei den Slaven: 863–1963*, Köln – Graz (= Slavistische Forschungen 6), 199–209.
- KØLLN 2003 = Kølln, H.: *Westkirchliches in altkirchenslavischer Literatur aus Grossmähren und Böhmen*, Copenhagen (= Historisk-filosofiske meddelelser 87).
- KRÁLÍK 1966 = Кралік, О.: “Возникновение 1-го старославянского ‘Жития Вячеслава’”, in: *ByzSl* 27, 131–163.
- MAI 1973 = Mai, P.: “Regensburg als Ausgangspunkt der Christianisierung Böhmens”, in: STABER et al. 1973: 9–21.
- MAYER 1973 = Mayer, F.: “Die Errichtung des Bistums Prag”, STABER et al. 1973: 23–42.
- NOVOTNÝ 1929 = Novotný, V.: *Český kníže Václav svatý. Život, památka, úcta*, Praha.
- SEREBRJANSKIJ 1929 = Serebrjanskij, N. J.: “Ruské redakce původní staroslověnské legendy o sv. Václavu: A. jihoruská (Vostokovská), B. Severoruská (Minejni). Úvod. Prameny starší a novější, jejich vzájemný poměr”, in: VAJS 1929: 9–28.
- SOMMER et al. 2007 = Sommer, P./Třeštík, D./Žemlička, J.: “Bohemia and Moravia”, in: Berend, N. (ed.): *Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900–1200*, Cambridge – New York, 214–262.
- STABER 1966 = Staber, J.: *Kirchengeschichte des Bistums Regensburg*, Regensburg.
- 1970 = Staber, J.: “Die älteste Lebensbeschreibung des Fürsten Wenzeslaus und ihr Ursprungsort Regensburg”, in: Zagiba, F. (Hg.): *Das heidnische und christliche Slaventum. Acta II Congressus internationalis historiae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis anno 1967 celebrati*, Bd. 2.2: *Das christliche Slaventum. Beiträge zur literarischen Bildung der Slaven zur Zeit ihrer Christianisierung*, Wiesbaden (= Annales Instituti Slavici 6), 183–193.
- 1972 = Staber, J.: “Die Missionierung Böhmens durch die Bischöfe und das Domkloster von Regensburg im 10. Jahrhundert”, in: Schwaiger, G./Staber, J. (ed.): *Regensburg und Böhmen. Festschrift zur Tausendjahrfeier des Regierungsantrittes Bischof Wolfgangs von Regensburg und der Errichtung des Bistums Prag*, Regensburg (= Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 6), 29–38.
- STABER et al. 1973 = Staber, J./Mai, P./Mayer, F. (Hg.): *Millennium ecclesiae Pragensis 973–1973*, Regensburg (= Schriftenreihe des Regensburger Osteuropainstituts 1).
- TIMBERLAKE (in press) = Timberlake, A.: “Translation and the First Slavic Life of Wenceslaus”, in: Izmirlijeva, V./Gasparov, B. (ed.): *Translation and Tradition* (in press).
- TŘEŠTÍK 1997 = Třeštík, D.: *Počátky Přemyslovců: Vstup Čechů do dějin (530–935)*, Praha (= Edice Česká historie 1).
- VAJS 1929 = Vajs, J. (uspoř.): *Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile*, Praha.
- VAŠICA 1929 = Vašica, J.: “Druhá staroslovanská legenda o sv. Václavu. Úvod. Vzájemný poměr obou pramenů rukopisů. Původní pramen, psaný hlaholicí. Její poměr k pramenům latinským: ‘Gumpoldovi’, ‘Crescente fide’, k legendě Kristiánově a Vavřincově”, in: VAJS 1929: 69–135.

VONDRÁK 1903 = Vondrák, V.: “Nový text hlaholský církevněslovanské legendy o sv. Václavu”, in: *Časopis Musea Království Českého* 77, 145–162.

ŽIVOV 2002 = Живов, В. М.: “Slavia Christiana и историко-культурный контекст”, in: Idem: *Разыскания в области истории и предыстории русской культуры*, Москва (= Язык. Семиотика. Культура), 116–169.

Boris Uspenskiĭ

Иларион Киевский и Псевдо-Исихий Иерусалимский (Неизвестная греческая параллель к Похвальному слову Илариона князю Владимиру)

Похвала князю Владимиру в «Слове о законе и благодати» Илариона начинается с уподобления Владимира апостолам:

хвалить же похвалными гласы. Римская страна Петра и Паоула. има же въ-
рочаша въ Ис[ъ]с Х[ри]с[т]а с[ы]на Б[о]ж[и]а. Асія і Ефесъ и Паѳмъ. Іоан[н]а Б[о]-
гословца. Индіа Ѡомѣ. Египетъ Марка. вса страны и гради и людїе. чтжть и
славать. коегождо ихъ оучителя. иже наоучиша а православнѣи вѣрѣ. похва-
лимъ же и мы. по силѣ нашеи. малыми похвалами. великаа и дивнаа сътвори-
шааго. нашего оучителя и наставника. великааго кагана. нашаа земли Володи-
мера [...] (Иларион 1984: 91, fol. 184v).

Сравнение с апостолами соответствует при этом эпитету «равноапостольный», усваиваемому Владимиру как «подобнику» Константина Великого (УСПЕНСКИЙ 2004: 78–81).

Трудно назвать текст, который имел бы такой резонанс в древнерусской литературе: уподобление апостолам, прямо восходящее к похвале князю Владимиру, становится, можно сказать, трафаретным приемом прославления святого (НИКОЛЬСКАЯ 1928/29: 557–563, 853–855).

Но является ли сам это пассаж оригинальным? Не может ли он, в свою очередь, восходить, к еще более ранней – византийской – риторической модели?

Предположение такого рода ни в коей мере не кажется невероятным. Как известно, «Слово о законе и благодати» насыщено литературными реминисценциями, обнаруживая знакомство автора с разнообразным кругом византийских источников. *A priori* мы могли бы ожидать, что к одному из них восходит и энкомиум князю Владимиру, однако до сих пор такой источник не был найден. Л. МЮЛЛЕР (1962: 160) предположил, правда, что последняя фраза соответствует Похвальному слову св. Иакинфу Амастридскому Никиты Пафлагона:

Τοιγαροῦν ἐπαινέσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ἀξιεπαίνετον τοῦ θεοῦ παῖδα. Τοῦτον [...] τοῖς τῶν λόγων ἄνθεσιν κατὰ δύναμιν καὶ ἡμεῖς ἀναδησώμεθα (Nicet.Paphl. *laud.Hyas.*}, *НикитПафл* 1862: 421).

Поэтому восхвалим и мы достохвального сына Божия. Его [...] увенчаем и мы по мере сил цветами речей.

Независимо от того, насколько убедительным может показаться это сопоставление, оно не затрагивает наиболее яркую часть Похвального слова Владимиру – его начало.

Полагаем, что мы можем указать на текст, который обнаруживает несомненное сходство с началом этого слова: речь идет о Житии и мученичестве св. Лонгина-сотника, которое приписывается св. Исихию, пресвитеру Иерусалимскому. Авторство Исихия давно вызывает сомнения – начиная с де Тиллемона (1709: 231–232) и кончая новейшим исследователем сочинений Исихия, Мишелем Обино (1980: 787–793); представляется более корректным поэтому говорить о Псевдо-Исихии. По мнению Обино, интересующее нас сочинение могло быть написано в Иерусалиме (с меньшей вероятностью – в Каппадокии) и относится к VI–VII вв. (*ibid.*: 793–800).

Здесь читаем:

Καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ καταλιπὼν ἀνέστρεψεν σὺν αὐτοῖς καὶ γίνεται τῇ Καππαδοκῶν χώρα κῆρυξ, ὡσπερ Θωμᾶς τοῖς Ἰνδοῖς, Ῥωμαίοις δὲ Πέτρος, Ἀσιανοῖς δὲ Ἰωάννης, Παῦλος «ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ», καὶ ἄλλος ἄλλοις, εὐαγγελιζόμενος τὸν Χριστὸν καὶ τὰ παρ' αὐτοῦ καὶ ἐπ' αὐτῷ πεπραγμένα μυστήρια (Hesych.H. *m.Long.* 48–13}, *Исихий* 1980: 822; 1865: 1548).

И оставив Иерусалим, он вернулся с ними и стал вестником [слова Божия] для каппадокийцев, как Фома стал для индусов, Петр для римлян, Иоанн для азиатов, Павел – «от Иерусалима до Иллирика» [ср.: Rm 15.19] и другие для других народов, возвещая учение Христа и чудеса, совершаемые Им и во имя Его.¹

Можно предположить, что сочинение Псевдо-Исихия было источником (скорее всего, не непосредственным) Похвалы Владимиру, хотя ка-

1 Сочинение Псевдо-Исихия было переведено на церковнославянский язык и вошло в Минеи четии митрополита Макария (под 16 октября); этот перевод не обнаруживает связи с сочинением Илариона. Интересующее нас место здесь читается таким образом: «И оставивъ Иерусалима, возвратився со объма воинома своима, таже и достойна бысть с нимъ блаженныя его страсти и воскресенія его проповѣдника же в' Кападокейстѣй земли, и сѣдя в дому своемъ, и бысть якоже и Фома Ин'диоумъ. Рим'ляномъ же Петръ, Асианомъ Иоаннъ, Павель же отъ Иерусалима даждь до Алирика, і инѣмъ, благовъстужа содѣянныя имъ тайны [...]» (ВМЧ 1874: 1050).

жется более вероятным, что оба автора имели общий источник. Этот неизвестный нам текст мог отразиться и в Житии св. Саввы Сербского, написанном Доментианом, иеромонахом Хиландарского монастыря, учеником св. Саввы (XIII в.).²

Что касается географического распределения деятельности апостолов, то оно у обоих авторов может восходить к «Церковной истории» Евсевия Кесарийского (кн. III, гл. 1), ср. здесь:

Τὰ μὲν δὴ κατὰ Ἰουδαίους ἐν τούτοις ἦν τῶν δὲ ἱερῶν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀποστόλων τε καὶ μαθητῶν ἐφ' ἅπασαν κατασπαρέντων τὴν οἰκουμένην, Θωμᾶς μὲν, ὡς ἡ παράδοσις περιέχει, τὴν Παρθίαν εἰληχην, Ἀνδρέας δὲ τὴν Σκυθίαν, Ἰωάννης τὴν Ἀσίαν, πρὸς οὐκ καὶ διατρίψας ἐν Ἐφέσῳ τελευτᾷ. Πέτρος δ' ἐν Πόντῳ καὶ Γαλατίᾳ καὶ Βιθυνίᾳ Καππαδοκίᾳ τε καὶ Ἀσίᾳ κεκρηχέναι τοῖς ἐκ διασπορᾶς Ἰουδαίοις ἔοικεν· ὃς καὶ ἐπὶ τέλει ἐν Ῥώμῃ γενόμενος, ἀνεσκολοπίσθη κατὰ κεφαλῆς, οὕτως αὐτὸς ἀξιώσας παθεῖν. Τί δεῖ περὶ Παύλου λέγειν, ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκότος τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ὕστερον ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐπὶ Νέρωνος μεμαρτυρηκότος; Ταῦτα Ὀριγένης κατὰ λέξιν ἐν τρίτῳ τόμῳ τῶν εἰς τὴν Γένεσιν ἐξηγητικῶν εἴρηται (Eus. h.e. 3.1.1–3), *Евсевий* 1964: 151).

Таковы были события в Иудее; святые же апостолы и ученики Спасителя рассеялись по всей земле. Фоме, как повествует предание, выпала по жребию Парфия, Андрею – Скифия, Иоанну – Асия, там он жил, там в Эфесе и скончался; Петр, по-видимому, благовествовал иудеям, рассеянным по Понту, Галатии, Вифинии, Каппадокии и Азии [ср.: 1 Pt 1.1]. Под конец жизни он оказался в Риме, где и был распят головой вниз: он сам счел себя достойным такой казни. Надо ли говорить о Павле, возвещавшем Христово Евангелие от Иерусалима до Илирика [ср.: Rm 15.19] и пострадавшем при Нероне в Риме. В точности так рассказано у Оригена в третьем томе его толкования на Бытие (*Евсевий* 1993: 78).

Сочинение Оригена до нас не дошло, и вопрос о том, в какой мере Евсевий использовал здесь текст Оригена, является предметом полемики. Адольф ФОН ГАРНАК (I: 110) считал, что предание (παράδοσις) о разделении территории земли по жребию между апостолами Фомой, Андреем

2 Ср. у Доментиана: «не противоу ли намъ Господь тогда апостолы явить, иже къ царствию съ собою множество вѣрныхихъ оучеште привели соуть? тоу Петръ съ люди показавышисе, еже по себѣ привлѣче, съ ними явить се; тоу Павль обрати се, тако рекоу, вьсь мирь веды; тоу Аньдрѣи по себѣ веды Ахаию, Иоань Асию, Тома Индию, прѣдъ лице своего царя наказану приведуотъ» (*Доментијан* 1865: 291; *ПЕТРОВСКИЙ* 1908: 125).

М. П. ПЕТРОВСКИЙ предполагал, что Иларион и Доментиан пользовались в сопоставляемых нами пассажах одним общим источником (*ibid.*: 125). Иное мнение у А. Б. НИКОЛЬСКОЙ (1928/29: 559), которая возводит цитируемое место Доментиана к сочинению Илариона.

и Иоанном не было известно Оригену и что последнему принадлежат лишь сообщения о миссии Петра и смерти Петра и Павла.

Вслед за Евсевием о рассеянии апостолов говорят Руфин Тираний («Церковная история», кн. I, гл. 9 {Ruf. *h.e.*1.9}), Руфин 1878: 478; 1986: 84) и Сократ Схоластик («Церковная история», кн. I, гл. 19 {Socr. *h.e.*1.19}), *Сокр Схол* 1864: 125; 1996: 42). Согласно обоим авторам, Фома получил жребий апостольства в Парфии, Матфей в Эфиопии, а Варфоломей в Индии; о других апостолах они не упоминают.

Как бы то ни было, для нашего сопоставления особенно важен мотив прославления святого и уподобления его деятельности апостольскому служению. Этот мотив отсутствует у Евсевия, Руфина и Сократа, но представлен у Псевдо-Исихия и Илариона.

Обращает на себя внимание, что как у Псевдо-Исихия, так и у Илариона – в отличие от Евсевия! – отсутствует упоминание апостола Андрея, столь важного для константинопольской церкви (ср. в этой связи: Дворник 1958). Л. Мюллер (1962: 160) справедливо полагает, что отсутствие упоминания апостола Андрея в Похвальном слове Илариона едва ли объясняется церковной политикой (противостоянием Киева и Константинополя) и проницательно видит в этом указание на то, что Иларион следует какому-то более древнему источнику («Vielleicht ist der Grund für die Nicht-Erwähnung Konstantinopels und des Apostels Andreas [...] darin zu finden, daß Ilarion einem älteren Vorbild folgt, in dem sie fehlen»). Таким источником и могло быть сочинение Псевдо-Исихия – или, может быть, другое какое-то сочинение, которое отразилось как у Псевдо-Исихия, так и у Илариона.

* * *

Иларион заявляет в своей проповеди, что он обращается к просвещенной книжной аудитории:

еже поминати въ писаніи семь. и пророчьскаа проповѣданіа о Х[ри]с[т]ѣ и ап[о]с[то]льскаа оученіа ѿ бждѣщїимъ вѣѣ. то излиха есть. и на тѣщеславїе съкланягася. Еже бо въ инѣх книгах писано. и вами вѣдомо. ти седе положити. то дрѣзости ѿбразъ есть и славохотїю. Ни къ невѣдѣщїимъ бо пишемъ. нѣ прѣзблиха насытъшемса сладости книжныа. не къ врагомъ Б[о]жїемъ ино-вѣрнымъ. нѣ самѣмъ с[ы]номъ его. не к стран'нымъ. нѣ къ наслѣдникомъ н[е]б[е]снаго ц[ар]ства (*Иларион* 1984: 79, fol. 169v–170r).

По отношению к аудитории Илариона, эту фразу можно воспринимать как риторическую фигуру (УСПЕНСКИЙ ³2002: 50, § 3.2.1), вместе с тем по отношению к самому Илариону она кажется вполне оправданной: Ила-

рион предстает в «Слове о законе и благодати» как весьма эрудированный христианский автор.

Литература

Источники

- вмч 1874 = *Великія минеи четіи, собранныя Всероссійскимъ митрополитомъ Макаріемъ. Октябрь, дни 4–18*, С.-Петербургъ.
- Евсевий 1964 = Eusebio di Cesarea: *Storia ecclesiastica e i martiri della Palestina*, testo greco con tradizione e note di G. del Ton, Roma etc. 1964 (= *Scrinium Patristicum Lateranense* 1).
- 1993 = Евсевий Памфил: *Церковная история*, Москва.
- Доментијан 1865 = Доментијан: «Живот светога Симеуна», в: Даничић, Ђ.: *Живот светога Симеуна и светога Саве. Написао Доментијан*, Биоград.
- Иларион 1984 = Иларион: [«Слово о законе и благодати»], в: Молдован, А. М.: «Слово о законе и благодати» Илариона, Киев, 78–108.
- Исихий 1865 = Hesyehius Hierosolymitanus: «Martyrium sancti Longini centurionis», in: Idem [...]: *Opera omnia*, Paris (= PG 93), 1545–1560.
- 1980 = Ἡσύχιος Ἱεροσολυμίτης: «Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου [...]», in: ОБИНО 1980: 817–844.
- НикитПафл 1862 = Nicetas Paphlagon, qui et David: [...] *Opera quae reperiri poterunt omnia* [...], Turnhout (= PG 105).
- Руфин 1878 = Tyrannius Rufinus: «Historiae ecclesiasticae libri duo», in: Idem: *Opera omnia*, Paris (= PL 21), 465–540.
- 1986 = Rufino: *Storia della Chiesa*, trad., introd. e note a cura di L. Dattrino, Roma (= Collana di testi patristici 54).
- СокрСхол 1864 = Socrates Scholasticus: *Historia ecclesiastica*, Paris (= PG 67, 30–852).
- 1996 = Сократ Схоластик: *Церковная история*, пер. СПбДА под ред. И. В. Кривушина, ст. и коммент. И. В. Кривушина, Москва 1996 (= Классики античности и средневековья).

Научно-исследовательская литература

- ФОН ГАРНАК = von Harnack, A.: *Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten*, Bd. 1: *Die Mission in Wort und Tat*, Leipzig 41924.
- ДВОРНИК 1958 = Dvornik, F.: *The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew*, Cambridge/Mass. (= *Dumbarton Oaks Studies* 4).
- МЮЛЛЕР 1962 = *Des Metropolitens Ilarion Lobrede auf Vladimir den Heiligen und Glaubensbekenntnis*, nach der Erstausgabe von 1844 neu hrsg., eingel. u. erläut. v. L. Müller, Wiesbaden (= Slavistische Studienbücher 2).

- НИКОЛЬСКАЯ 1928/29 = Никольская, А. [Б.]: «Слово» митр[ополита] Киевского Илариона в позднейшей литературной традиции», in: *Slavia* 7.3–4, 549–563, 853–870.
- ОБИНО 1980 = Aubineau, M.: «Hésychius de Jérusalem, Hom. XIX, *In S. Longinum*, editio critica», in: Idem (publ.): *Les homélies festales d'Hésychius de Jérusalem*, Vol. 2: *Les homélies XVI–XXI et tables des deux volumes*, Bruxelles (= Subsidia hagiographica 59), 778–844.
- ПЕТРОВСКИЙ 1908 = П[етровск]ий, М. П.: «Иларіонъ, митрополитъ Кіевскій, и Доментіан, іеромонахъ Хиландарскій (Библиографическая замѣтка)», in: *Изв. ОРЯС* 13.4, 81–133.
- ДЕ ТИЛЛЕМОН 1709 = Le Nain de Tillemont, L.-S.: *Memoires pour servir a l'histoire ecclesiastique des six premiers siecles, justifiez par les citation des auteurs originaux. Avec les notes pour eclaircir les difficultez des faits et de la chronologie*, T. 14, Paris.
- УСПЕНСКИЙ ³2002 = Успенский, Б. А.: *История русского литературного языка (XI–XVII вв.)*, Москва.
- 2004 = Успенский, Б. А.: «Когда был канонизирован князь Владимир Святославич?», in: Idem: *Историко-филологические очерки*, Москва (= *Studia philologica. Series minor*), 69–121.

Giorgio Ziffer

Il margravio Kocel' e la *Vita Constantini*

In un giorno imprecisato tra la fine dell'866 e l'inizio dell'867 Kocel' accolse nella propria residenza, situata non lontano dalla sponda sud-occidentale del Lago Balaton, e centro politico e religioso del suo margraviato, Costantino e Metodio, che avevano lasciato la corte del duca della Moravia Rostislav e avrebbero poi proseguito il loro viaggio alla volta di Roma, allo scopo di ottenere l'approvazione papale per la loro attività missionaria e far consecrare sacerdoti alcuni dei loro discepoli. I due fratelli rimasero qualche tempo presso il margravio Kocel'; questi manifestò subito un forte interesse per la nascente tradizione religiosa e letteraria slava ecclesiastica che non venne meno neanche negli anni successivi quando, all'indomani della morte di Costantino nel febbraio dell'869, Metodio si sarebbe trovato a dover fronteggiare da solo la dura opposizione del clero franco-bavarese, e proprio in Kocel' avrebbe avuto uno strenuo sostenitore.¹ Non sorprenderà allora che Kocel' compaia in diverse opere della letteratura cirilometodiana, dalla *Vita* di Metodio al *Panegirico* di Costantino e Metodio al trattatello di Chrabr Monaco, oltre a figurare anche nella *Povest' vremennyx let* (sotto l'anno 898). Idealmente questo elenco si apre tuttavia con quella che forse è la più antica opera originale composta in slavo ecclesiastico, la *Vita Constantini*, dove Kocel' viene evocato due volte, verso la fine del cap. xv. Questo il dettato del testo che, mancando un'edizione critica, cito secondo una delle più autorevoli edizioni della *Vita*, quella di Petr LAVROV (1930: 29):

И тако четьредесать мѣсаць створи въ Моравѣ, и иде сватитѣ оученикъ своихъ. Приятъ же и идощь Кочель, князь Панонскъ и възлюбѣ вельми словенскы воукви, и наоучиса имъ, и въздавъ до пантидесать оученикъ оучитиса имъ, и великоу емоу честь створи, мномо проводѣ и. Не взатъ же ни утѣ Ростислава, ни утѣ Кочела ни злата, ни сребра, ни иного вещи, положи же еванггельское слово безъ пища, нъ токмо плѣнники испрошь утѣ овою девать сотъ, и утпоустѣ я.

1 Per i principali dati della biografia di Kocel', vd. SOTIROV 1995 (e relativa bibliografia).

L'aggettivo **ПАНОНЕСКЪ** o, a norma dello slavo ecclesiastico antico, **ПАНОНЫСКЪ** corrisponde a una lezione senza dubbio sensata, che non a caso è stata preferita sia dai redattori dello SJS (s. v.) sia da molti traduttori moderni della *Vita*, i quali evidentemente l'hanno considerata genuina.² Ma in realtà le cose non sono affatto così semplici: a cominciare dal rilievo che il ms. Mosca, RGB, MDA 19 (= *M*), posto alla base dell'edizione di LAVROV, ma dal quale questa si discosta in un discreto numero di casi, reca in realtà una lezione diversa, **ПОГАНЕСКЪ**, che di **ПАНОНЕСКЪ** costituisce una trivializzazione tanto trasparente quanto errata, poiché noi sappiamo bene che Kocel', figlio di Pribina e di una nobile bavarese della stirpe dei Wilhelminer, non era affatto pagano, ma era stato educato nella religione cristiana. Uno sguardo cursorio all'apparato critico allestito da LAVROV rivela tuttavia la presenza di un'altra variante, **БЛАТЕНЬСКИН**, registrata anche dallo SJS come variante di **ПАНОНЫСКЪ** (s. v. **БЛАТЪНЬСКЪ**), la cui genesi riesce però difficile comprendere ove si consideri genuina la lezione **ПАНОНЫСКЪ**; se poi apriamo l'edizione approntata da Fran TOMŠIČ, vi scopriremo un'ulteriore variante, **ЛИВРЕСКЪ**, non meno difficile da spiegare a partire da **ПАНОНЫСКЪ** (GRIVEC/TOMŠIČ 1960: 133), mentre nulla registra l'apparato dell'edizione di ANGELOV e KODOV (1973: 117).³ S'impone dunque un esame della *varia lectio*, che il ricorso diretto ai testimoni della *Vita* rivela ancora più ricca, come dimostrano le varianti tratte dai manoscritti da me fin qui collazionati integralmente:

ПАНОНЫСКЪ Kb Sol Pogod Mda Sf Sl	ПАНОНСКИ Buc	ПАНОНСКИН Vl Hop
ПОНАНЫСКЪ Bars	ПОНАНЫСКИН Vjaz ¹	
ПОГАНЕСКЪ M N Fer Vjaz ² Eg		
ПАГАНЕСКЪ Čud Sin	ПОГАНСКИН S ¹ Egor Str	
ЛИВРЕСКЪ Pog Vat	РИВРЕСКЪ Vil Supr	
БЛАТЕНЬСКИН So Sof Tich Nik S ² .		

La variante messa a testo da LAVROV è attestata nel 1° gruppo novgorodiano (**Є**) e, nella forma determinata, in quello serbo (**С**), nonché in una parte (*Bars* e *Vjaz¹*) del 2° gruppo novgorodiano, **a**, sia pure in questi ultimi due casi in due forme, una breve e l'altra lunga, entrambe lievemente alterate a causa di una

2 Fra le innumerevoli traduzioni vedi per es. « Auf seiner Reise nahm ihn der Fürst von Pannonien, Kocel, auf [...] » (BUJNOCH² 1972: 97); « Принял же его на пути Коцел, князь паннонский, [...] » (FLORJA 1981: 88); « Mentre era in cammino, lo accolse Kocel, principe della Pannonia [...] » (GARZANITI 2005: 199).

3 I due studiosi bulgari giustificano la loro scelta programmatica di elencare solo poche varianti dei testimoni slavi orientali anche con l'affermazione che quei testimoni, quando siano successivi al xv secolo (il che, fra parentesi, vale per la maggior parte di essi) non « recano alcunché di sostanzialmente nuovo » (ANGELOV/KODOV 1973: 34).

metatesi vocalica che ha interessato le vocali delle prime due sillabe. La variante sicuramente secondaria **ПОГАНЕСКЪ**, oltre a essere attestata in tutto il gruppo **η** di cui fa parte anche il menzionato *M*, è stata aggiunta in *Vjaz* dal copista stesso nel margine inferiore e, soprattutto, pare caratteristica del gruppo moscovita (**b**), all'interno del quale **ПОГАНЕСКЪ** rappresenta senz'altro un'evoluzione ulteriore, così come di una parte di **a** che legge la relativa forma determinata **ПОГАНСКИИ**. La tradizione del testo presenta poi le due varianti **ЛИБРЕСКЪ** e **РИВРЕСКЪ**, chiuse nel 1° gruppo ruteno (**γ**), che erano rimaste ancora sconosciute a LAVROV, mentre TOMŠIČ aveva addotto la prima delle due (vd. sopra); è evidente che siamo di fronte a due varianti innovative, essenziali – in negativo – per confermare che la lezione **ПАНОНЬСКЪ** non può in alcun caso esser considerata la matrice delle varianti attestate, e utili poi a ribadire l'indipendenza del 1° gruppo ruteno dal resto della tradizione. **Е БЛАТЕНЬСКИИ?**

Che la lezione **БЛАТЕНЬСКИИ**, documentata solo in **j** (vale a dire in quello che è un sottogruppo di **a** o, meglio, pare esserlo, in quanto la sua compattezza deve essere ancora compiutamente dimostrata), nonché nel margine di *S*, non sia una variante innovativa qualsiasi,⁴ ci viene suggerito anzitutto da un'opera slava ecclesiastica nota già da più di un secolo e in anni recenti rivendicata da Anatolij TURILOV alla letteratura moravo-pannonica, il sermone *Sulla lode alla Madre di Dio di Cirillo Filosofo*, nella quale fra i popoli che tributano le loro lodi a Maria, madre di Gesù, troviamo insieme ai Moravi anche i Blatani: come giustamente osserva lo studioso russo, si tratta delle popolazioni slave che vivevano entro i confini dell'arcidiocesi di Metodio (TURILOV 2011: 19).

A questo primo indizio se ne aggiunge poi un secondo, ancora più prezioso perché strettamente legato al medesimo Kocel'. All'interno della tradizione manoscritta di un testo per tanti versi affine alla *Vita Constantini*, vale a dire il trattatello *Sulle lettere* di Chrabr Monaco, troviamo due diversi gruppi di testimoni nei quali Kocel' viene presentato come **КНАЗЪ БЛАТЕНСКЪ**: nel gruppo **α**, particolarmente conservativo, che è formato da due soli testimoni slavi orientali, così come in **β²**, costituito da testimoni slavi meridionali fra i quali figura anche il *codex vetustissimus* della tradizione, esemplato dal famo-

4 Tale la considera anche DIDI (2009: 214–215) che la inserisce nell'elenco delle varianti innovative del gruppo da lui siglato C², definendola « in ogni caso secondaria e innovativa all'interno di C [= a] » senza tuttavia discuterla e tentare in alcun modo di spiegarne la genesi. Segnalo inoltre che la lezione **БЛАТЕНЬСКИИ** è attestata egualmente negli altri rappresentanti di **j**: si tratta dei mss. S. Pietroburgo, RNB, Sof. 1288, e Kir.-Bel. 57/1134; Mosca, RGB, Und. 330, e Obšč. ist. i drevnostej rossijskich 342 (vd. ZIFFER 1990b [1996]: 417 nota 49; DIDI 2009: 270).

La variante **КОЧЕЛЪ**, recata da *M* così come dal resto di **η** e messa a testo da LAVROV è dovuta al noto fenomeno russo nord-occidentale dello *cokan'e*, e si rivela dunque una semplice forma secondaria della lezione corretta (lascero qui in sospenso la questione della terminazione in *jer* molle o duro della forma originaria del nome, *Кочьль* o *Кочьльъ*, messi entrambi a lemma nello *SJS*) che si conserva in una parte di **a**, in **b** e in **γ**. Altre forme innovative sono **КОЦЛЫ**, che si legge in **c**, e **КОЛЕЦЪ**, che si legge in una piccola parte di **a**, mentre **ε** semplicemente omette il nome.⁸ Rimane la variante, in sé senza dubbio erronea, **КОСТЕЛЪ**, che si legge proprio in alcuni dei testimoni che sono gli unici ad aver conservato la lezione **ВЛАТЕНЬСКЫН**, oltre che nuovamente anche nel margine di *S*.⁹ Variante erronea, certo, ma di grande significato, se la si valorizzi appieno: grazie anche qui al ricorso alla tradizione chrabriana, e nella fattispecie al gruppo **β¹**, che reca non già la lezione di **α** e di **β²** **КОЦЕЛЪ КНЯЗА ВЛАТЕНСКА**, bensì la lezione **КОСТЕЛА КНЯЗА ВЛАТЪНСКА** (così legge per es. il ms. Mosca, GIM 269, vd. KUEV 1967: 217, che ho però verificato sul manoscritto). Evidentemente, nel capostipite di questo gruppo la seconda parte del toponimo non è semplicemente caduta senza lasciar tracce come in **α** e in **β²**, ma si è sostituita al nome proprio di Kocel', dando vita a una lezione sì aberrante, ma di notevole importanza in quanto assimilabile a un'ulteriore prova del carattere genuino della lezione del ms. di Hilandar: perché è solo a partire dalla sua lezione, **КВЦЕЛА КНЯЗА ВЛАТЪНСКА КВСТЕЛА**, che noi siamo in grado di spiegare la genesi della lezione di **β²**. Ma torniamo ora alla *Vita Constantini*, che costituisce il vero fulcro di queste pagine.

Laddove non si voglia invocare un influsso diretto della tradizione chrabriana sul testo della *Vita*, un'ipotesi che non è suffragata da alcun dato concreto, o addirittura presupporre che un copista abbia potuto congetturare la lezione originaria in forma più o meno compiuta, che è un'ipotesi ancora meno verosimile, la soluzione andrà ricercata in un'altra direzione: perché è evidente che la variante **КОСТЕЛЪ** per **КОЧЕЛЪ**, conservatasi in una parte di quello stesso sottogruppo che reca la lezione **ВЛАТЕНЬСКЫН**, non può aver avuto origine se non da una lezione iniziale come **КОЦЪЛЪ КНЯЗА ВЛАТЪНСКА КОСТЕЛА**. Ma come spiegare dunque la presenza di **ВЛАТЕНЬСКЫН** e anche di **КОСТЕЛЪ** in un sottogruppo di **a**, e – a parte *S*² – solo lì? La soluzione più razionale ed economica, dovendo escludersi senz'altro la possibilità di un emendamento *ope ingenii*, è quella di pensare a una contaminazione extrastemmatica, vale a

8 Il ms. S. Pietroburgo, BAN, Arch. sobr. D. 242, che rientra in **a**, presenta inoltre la lezione **КОНЕЦЪ** (DIDDI 2009: 270).

9 Anche questa variante è da DIDDI (2009: 216) considerata secondaria ed è da lui citata senza alcuna parola di commento; la si legge egualmente nei menzionati mss. S. Pietroburgo, RNB, Sof. 1288, e Kir.-Bel. 57/1134 (vd. *ibid.*: 270).

dire una contaminazione che ha riguardato un ramo poi andato perduto della tradizione, dal quale un copista ha tratto alcune lezioni di estremo interesse perché non documentate nelle altre parti della tradizione del testo.¹⁰ Che le lezioni **БЛАТЕНЬСКЫИ** e **КОСТЕЛЪ** fossero penetrate all'interno di **a** grazie a una contaminazione extrastemmatica era stata una conclusione raggiunta da chi scrive già quasi vent'anni fa (ZIFFER 1992: 170–175; 1990a [1996]; 1990b [1996]: 406–407 e nota 49); solo che disponendo allora di una documentazione solo parziale del gruppo **a**, non avevo potuto che attribuire quella contaminazione extrastemmatica al sottogruppo **j**, mentre vedo ora con chiarezza che ad attingere svariate lezioni da quel ramo poi perduto della tradizione della *Vita* fu lo stesso copista del capostipite **a**. Difficile o, meglio, impossibile dire se nell'esemplare di collazione usufruito si leggeva ancora la lezione genuina **КОЦЕЛЪ КЪНАЗА БЛАТЕНЬСКА КОЦЕЛА**, sia pure con più o meno lievi differenze formali, oppure se quel testimone recava una lezione come **КОСТЕЛЪ КНАЗЪ БЛАТЕНЬСКЫИ**, che risulta ipotesi più probabile: quel che pare certo è che il copista di **a** deve aver registrato sia la lezione **КОСТЕЛЪ** insieme a **КОЦЕЛЪ**, sia la lezione **БЛАТЕНЬСКЫИ** con **ПАНОНЬСКЪ** (e forse anche **ПОГАНЕСКЪ**): solo così possiamo spiegare infatti la compresenza e la dispersione delle varianti menzionate all'interno di **a**.

Poco permette di aggiungere all'analisi il secondo passo, che segue a breve distanza il primo, in cui viene nuovamente richiamato il margravio Kocel'. Questa la *varia lectio*, che non pare richiedere oramai alcun particolare commento con l'unica eccezione di una variante:

КОЦЕЛА S Bars So¹ Sof¹ Tich Nik Vjaz Pog Vat Vil
КОЛЕЦА Egor Str **КОЦЛА** Buc Hop Eg Sin Čud
КОЦЕЛА Supr **КОЦЕЛА** M N Fer
КОЦЛА Vl **(КО)СТЕ(ЛА)** So² Sof²
om. Kb Sol Pogod Mda Sf Sl

Oltre alla lezione corretta **КОЦЕЛА** e a varianti più o meno innovative quali sono le altre, registriamo infatti anche la variante **(КО)СТЕ(ЛА)** riferita a **КОЦЕЛА** e segnata nel margine dai copisti di *So* e *Sof* (ma questa volta non di *S*), la quale documenta lo scrupolo filologico dei rispettivi copisti, poiché entrambi avevano scritto poco prima il nome **КОСТЕЛЪ** (vd. sopra).

Riassumendo, noteremo come sia la tradizione della *Vita Constantini*, sia quella del trattatello chrabriano offrano il medesimo fenomeno di diffrazione, per usare il termine e il concetto con il quale Gianfranco CONTINI (2007:

10 Un'altra lezione che rivela la medesima origine è quella che riguarda Barda, zio materno dell'imperatore Michele III, di cui l'autore della *Vita* parla all'inizio del cap. XIV (ZIFFER 2011).

987–990) ha definito la genesi di varianti plurime provocate da una *lectio difficilior*.¹¹ Un caso analogo di diffrazione che ha poco o nulla di casuale poiché quasi identica è la lezione di partenza, l'unica differenza consistendo nella differente funzione sintattica di Kocel' e dell'apposizione **КНАЗЪ (БЛАТЕНЬСКА КОСТЕЛА)**, che nella *Vita* costituisce il soggetto della frase, e nel trattatello chrabriano rappresenta invece un complemento di specificazione. La lezione costituisce del resto un vero e proprio *piège à copiste*, in quanto comprende tre nomi propri su quattro parole, e tre nomi propri che già a qualche distanza di tempo dalla composizione delle due opere non dovettero più far parte del bagaglio di conoscenze storiche dei copisti della civiltà letteraria slava ecclesiastica. Se sostanzialmente uguale è il punto di partenza, e simile lo sviluppo, diverso è invece l'esito: nella *Vita Constantini* siamo di fronte a una diffrazione in assenza, nel senso che nessun testimone ha conservato la lezione originaria,¹² mentre nel trattatello chrabriano abbiamo una diffrazione in presenza, perché qui un testimone almeno, ma appunto un solo testimone, ha conservato quella che senza dubbio era la lezione dell'archetipo (e dell'originale). Le due fattispecie affiancate sembrano così fornire un'esemplificazione perfetta delle considerazioni generali svolte da CONTINI (1990: 989) intorno alla diffrazione:

Nella fenomenologia ecdotica c'è una progressione dalla diffrazione in presenza, dove un testimone (generalmente uno solo) ha serbato la voce o forma relativamente rara, a quella in assenza, dove essa è rimasta documentariamente travolta, si riesca poi o non si riesca a ricostruirla.

La progressione da un tipo all'altro di diffrazione di cui discorreva il grande filologo romanzo sembra rispecchiare esattamente la situazione testuale in cui il margravio Kocel' appare nel trattatello chrabriano e quindi nella *Vita Constantini*. Interessante è rilevare anche, di là dal diverso tipo di diffrazione osservabile, come la tradizione chrabriana si mostri qui molto più uniforme, in quanto **БЛАТЕНЬСКИИ** si conserva quasi in tutta la tradizione, e come al contrario la tradizione della *Vita*, dove **БЛАТЕНЬСКИИ** è solo una lezione del

11 Il fenomeno era stato notato da un altro sommo filologo romanzo, Adolf Tobler, nella sua recensione al *Saint Alexis* di Gaston Paris pubblicata nel 1872, dalla quale avvia la sua riflessione CONTINI.

12 Un bell'esempio di diffrazione in assenza è stato illustrato dallo stesso festeggiato nella tradizione slava ecclesiastica della *Leggenda dei 40 martiri di Sebaste*, là dove egli ha dimostrato che le varianti attestate, **ДЪНЬ** e **КАЛАНДЪ**, derivano da *ИДИ (ИДЪ al gen. pl.), traduzione del greco ἰδοί (εἶδος), « idi », una lezione non documentata da alcun manoscritto, ma non per questo meno sicura (KEIPERT 1980: 23–25).

tutto marginale e isolata, si riveli invece – almeno in questo luogo – assai più instabile.

In ogni caso, la contaminazione extrastemmatica di cui in queste pagine ho analizzato una singola reliquia meriterà senz'altro nel prossimo futuro uno studio più approfondito, che dovrà definire con la massima precisione possibile l'intensità della contaminazione stessa, vale a dire determinare con buon grado di certezza il numero di lezioni che il copista di **a** ha tratto dall'esemplare di un ramo della tradizione poi andato perduto. Non è del resto difficile prevedere che una definizione più esatta della fisionomia di tale contaminazione si ripercuoterà sull'intero quadro stemmatico della tradizione; quadro stemmatico che ho qui deliberatamente negletto perché del tutto influente ai fini della corretta soluzione del problema posto dal passo esaminato. Una postilla filologica non può non riguardare infine un particolare aspetto della cronologia della tradizione manoscritta della *Vita*: sia *S* sia i testimoni di **a**, e più precisamente di **j**, che ci hanno permesso di restaurare la lezione genuina **Коцьль кѣнаса Блацьньска Костела** sono infatti tutti senza eccezioni del XVI sec., se non più recenti: una circostanza che smentisce l'affermazione, richiamata in precedenza (vd. la nota 3), di ANGELOV e KODOV, secondo i quali i testimoni slavi orientali della *Vita Constantini* dal XVI sec. innanzi sarebbero inoperanti per la costituzione del testo, e che conferma la validità della massima *recentiores non deteriores* anche in ambito slavo ecclesiastico.

Quanto alla lezione discussa, abbiamo dunque più d'un motivo per ritenere che **Блацьньскъ Костелъ**, cioè il nome slavo della residenza dove Kocel' accolse Costantino e Metodio, figurasse anche nell'originale del testo. L'emendamento suggerito – anche alla luce dell'analogo passo nel trattatello di Chrabr Monaco – è infatti ovvio, ma risulta al tempo stesso necessario, poiché serve anche a render ragione della proliferazione delle varianti (vd. sopra). Sul piano lessicale recuperiamo così una seconda volta (dopo il trattatello chrabriano) non solo un toponimo strettamente legato alla missione cirillometodiana, ma anche un reperto lessicale, **КОСТЕЛЪ**, che è insieme un latinismo e un germanismo, se è vero che **КОСТЕЛЪ** risale al latino *castellum*, ma probabilmente attraverso l'antico altotedesco *kastel*; e se a questo aggiungiamo che dall'antico altotedesco questo lessema passa allo slavo ecclesiastico antico non *recta via*, ma secondo ogni verosimiglianza per il tramite di un dialetto slavo parlato nel IX secolo, e che in una serie di lingue slave il medesimo prestito sarà destinato a una larga fortuna nell'accezione di < chiesa > (vd. per es. ceco *kostel*, slovacco *kostol/kostel*, polacco *kościół* ecc.) potremo concludere che si tratta di una parola che come un microcosmo riflette una storia lessicale, e dunque culturale, molto più grande: una storia che si è ripetuta infinite volte nelle complesse vicende dei rapporti linguistici e culturali fra il

mondo slavo e il resto d'Europa, e che il festeggiato ha così tante volte lumeggiato con una chiarezza e una profondità di analisi esemplari. Anche per questa ragione mi auguro che possa risultargli gradito l'esercizio critico-testuale qui proposto.

Appendice

Prospetto delle sigle

γ = 1° gruppo ruteno

ε = 1° gruppo novgorodiano (o gruppo del menologio di ottobre)

η = gruppo contaminato

a = 2° gruppo novgorodiano (o gruppo dei codici miscellanei)

b = gruppo moscovita (o gruppo del menologio di febbraio)

c = gruppo serbo

j = sottogruppo di **a**

Elenco dei mss. collazionati

- Bars = Mosca, GIM, sobr. Barsova 619 (**a**)
 Buc = Bucarest, Bibl. Acad. Române, Slavo 135 (**c**)
 Čud = Mosca, GIM, Čud. sobr. 311/9 (**b**)
 Eg = Mosca, RGB, sobr. Egorova 1144 (**b**)
 Egor = Mosca, RGB, sobr. Egorov 167 (**a**)
 Fer = S. Pietroburgo, RNB, Q.1, 1135 (**η**)
 Hop = Belgrado, Patrijaršijska Bibl. 282 (**c**)
 Kb = S. Pietroburgo, RNB, Kirillo-Belozerskoe sobr. 14/1253 (**ε**)
 M = Mosca, RGB, sobr. MDA 19 (**η**)
 Mda = Mosca, RGB, sobr. MDA 63 (**b/ε**)
 N = S. Pietroburgo, RNB, F.I.738 (**η**)
 Nik = S. Pietroburgo, BAN, sobr. Nikol'skogo 264 (**j**)
 Pog = S. Pietroburgo, RNB, sobr. Pogodina 957 (**γ**)
 Pogod = S. Pietroburgo, RNB, sobr. Pogodina 1131 (**ε**)
 S = S. Pietroburgo, RNB, Sofijskoe sobr. 1455 (**a**)
 Sf = S. Pietroburgo, RNB, Sofijskoe sobr. 1335 (**ε**)
 Sin = Mosca, GIM, Sinodal'noe sobr. 801 (179) (**b**)
 Sl = S. Pietroburgo, RNB, Soloveckoe sobr. 509/528 (**b/ε**)
 So = S. Pietroburgo, RNB, Sofijskoe sobr. 1356 (**j**)
 Sof = S. Pietroburgo, RNB, Sofijskoe sobr. 1307 (**j**)
 Sol = S. Pietroburgo, RNB, Soloveckoe sobr. 620/501 (**ε**)
 Str = Mosca, RGB, sobr. Stroeva 25 (**a**)
 Supr = S. Pietroburgo, RNB, I.I.29 (**γ**)
 Tich = Mosca, RGB, sobr. Tichonravova 145 (**j**)

- Vat = Roma, BAV, Slavo 12 (y)
 Vil = Vilnius, Lietuvos mokslų akademijos Bibl., Fondo 19 (Codici slavi ecclesiastici e russi), n. 80 (y)
 Vjaz = S. Pietroburgo, RNB, sobr. Vjazemskogo Q 10 (a)
 Vl = Zagabria, Arhiv Hrvatske Akad. Znanosti i Umjetnosti III.a.47 (c)

Bibliografia

- ANGELOV/KODOV 1973 = Климент Охридски: *Събрани съчинения*, Т. 3: *Пространни жития на Кирил и Методии*, подгот. за печат Б. Ст. Ангелов и Хр. Кодов, София.
- BUJNOCH ²1972 = *Zwischen Rom und Byzanz. Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen Legenden und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Rußlands nach der Laurentiuschronik*, übers., eingeleit. und erkl. v. J. Bujnoch, Graz etc. (= Slavische Geschichtsschreiber 1).
- CAPALDO 2004 = Capaldo, M.: « Castrum Chezilonis noviter Mosapurc vocatum », in: Okuka, M./Schweier, U. (Hg.): *Germano-Slavistische Beiträge. Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag*, München (= WdSl. Sammelbände/Сборники 21), 53–62.
- CONTINI 2007 = Contini, G.: « Scavi alessiani », in: Idem: *Frammenti di Filologia romana. Scritti di ecdotica e linguistica (1932–1989)*, a cura di G. Breschi, Vol. 2, Firenze (= Archivio romano 11), 987–1018 [1^a ed. in: Segre C. (cur.), *Linguistica e Filologia. Omaggio a Benvenuto Terracini*, Milano 1968, 57–95; poi in: Contini, G.: *Breviario di ecdotica*, Milano – Napoli 1986 [Torino ²1990], 99–134].
- DIDDI 2009 = Diddi, C.: « [Materiali e ricerche per l'edizione critica di *Vita Constantini*.] VI. I testimoni delle collezioni di contenuto variabile (gruppo 'C') », in: *Ricerche slavistiche* 7 (53), 173–224.
- FLORJA 1981 = Королюк, В. Д. (отв. ред.): *Сказания о начале славянской письменности*, вступ. ст., перевод и комм. Б. Н. Флори, Москва (= Памятники средневековой истории народов центральной и восточной Европы).
- GARZANITI 2005 = Garzaniti, M.: « Le vite paleoslave di Cirillo e Metodio », in: Tachiaos, A.-E. N.: *Cirillo e Metodio. Le radici cristiane della cultura slava*, ed. ital. a cura di M. Garzaniti, Milano (= Biblioteca di Cultura Medievale), 163–223.
- GIAMBELLUCA-KOSSOVA 1980 = Черноризец Храбър: *✠ писменехъ*, критич. изд. изгот. А. Джамбелука-Коссова; словоук. изгот. Е. Дограмаджиева, София.
- GRIVEC/TOMŠIČ 1960 = *Constantinus et Methodius Thessalonicensis. Fontes*, rec. et illust. F. Grivec et F. Tomšič, Zagreb (= Radovi Staroslavenskog Instituta 4).
- KEIPERT 1980 = Keipert, H.: « Eine Übersetzungskontamination im "Codex Suprasliensis" », in: Заимов, Й. (отг. ред.): *Проучвания върху Супрасълския сборник. Старобългарски паметник от X век. Доклади и разисквания пред Първи международен симпозиум за Супрасълския сборник. 28–30 септември 1977, Шумен*, София, 18–35.
- KUEV 1967 = Куев, К. М.: *Черноризец Храбър*, София.
- LAUROV 1930 = Лавров, Р. А.: *Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности*, Ленинград (Труды Славянской комиссии 1).

- NAHTIGAL 1948 = Nahtigal, R.: « Nekaj pripomb k pretresu Hrabrovega spisa o azbuki Konstantina Cirila », *Slavistična revija* 1, 5–18.
- SJS = Kurz, J./Hauptová, Z. (hl. red.): *Lexicon linguae palaeoslovenicae/Slovník jazyka staroslověnskébo*, T. 1–4, Praha 1966–1997.
- SOTIROV 1995 = Сотиров, Г.: « Коцел », in: Динеков, П. (гл. ред.): *Кирило-Методиевска енциклопедия*, Т. 2: И–О, София, 448–450.
- TURILOV 2011 = Турилов, А. А.: « К истории великоморавского наследия в литературе южных и восточных славян (Слово “О похвале Богородице Кирилла Философа” в рукописной традиции XV–XVII вв.) », in: Idem: *От Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия Софийнина. История и культура славян IX–XVII вв.*, Москва, 11–44 (1^a ed. in: Санчук, Г. Э./Поулик, Й. (отв. ред.): *Великая Моравия. Ее историческое и культурное значение*, Москва, 253–269).
- VEDER 1999 = Veder, W. R.: *Utrum in alterum abiturum erat? A Study of the Beginnings of Text Transmission in Church Slavic. The “Prologue” to the “Gospel Homiliary” by Constantine of Preslav, the Text On The Script and the Treatise On The Letters by Anonymous Authors*, Bloomington/Ind.
- ZIFFER 1992 = Ziffer, G.: *Ricerche sul testo e la tradizione della “Vita Constantini”*, Udine [Tesi di dottorato].
- 1993 = Ziffer, G.: « Sul testo e la tradizione dell’*Apologia* di Chrabr », *Annali dell’Istituto Orientale di Napoli. Slavistica* 1, 65–95.
- 1990a [1996] = Ziffer, G.: « Nota sulla tradizione manoscritta della *Vita Constantini* », in: *Quaderni Utinensi* 8 (15/16), 321–324.
- 1990b [1996] = Ziffer, G.: « Per la tradizione manoscritta della *Vita Constantini* », in: *Quaderni Utinensi* 8 (15/16), 399–419.
- 2010 = Ziffer, G.: « Ancora su *Blatъnъskъ kostelъ* », *Studi Slavistici* 7, 173–186.
- 2011 = Ziffer, G.: « La verità intorno a Barda. Un caso di contaminazione extrastemmatica nella tradizione slava ecclesiastica della *Vita* di Costantino », in: *Filologia italiana* 8, 9–16.

2. Sprachen im Kontakt

Kako se prevodilo s hrvatskoga na srpski koncem 18. i početkom 19. stoljeća?

1. Uvod

U Habsburškoj Monarhiji provodila se u drugoj polovini 18. stoljeća reforma školstva carice i kraljice Marije Terezije (1717.–1780.), a pritom su važnu ulogu imale metode Johannesa Ignatiusa Felbingera (1724.–1788.). Na području čitave Monarhije u školama se poučavalo prema jedinstvenom nastavnom programu, pa tako i u Hrvatskoj kao njezinu sastavnom dijelu, a školski priručnici prevedeni su na jezike naroda koji su u Monarhiji živjeli (tiskani su najčešće paralelno s njemačkim izvornikom). Za hrvatsko govorno područje prevodili su se školski priručnici na kajkavski i štokavski,¹ pa se hrvatsko jezično dvojstvo iz 18. stoljeća ogledalo i u prijevodima školske literature.² Osim toga, nedovoljno je poznato da su se unutar hrvatske etničke zajednice u to vrijeme prevodili neki književni tekstovi s štokavskoga/čakavskoga na kajkavski, primjerice Ivan Krizmanić (1766.–1852.; o tome v. DUKAT 1912) preveo je čakavsko-štokavsku Mrnavićevu *Osmanščicu* iz 1631. i štokavsku Kanžličevu *Svetu Rožaliju* iz 1780. godine.³ Kako je Krizmanić prevodio na kajkavski dva spomenuta teksta, može nam dočarati usporedba izvornikâ s prijevodima:

-
- 1 Na hrvatskom govornom području danas se osim općenacionalnoga hrvatskoga standardnoga jezika govore dijalekti triju narječja (kajkavskoga, štokavskoga i čakavskoga) i sva su tri narječja imala ulogu u povijesti hrvatskoga jezika.
 - 2 V. npr. radove: PTIČAR 1991, 1993, 1994, 2004. Pregled kajkavskih školskih udžbenika 17. i 18. stoljeća v. u poglavlju *Hrvatskokajkavski školski udžbenici* (JEMBRIH 1997); poglavlje prvotno objavljeno 1996. kao prilog u zbirci radova više autora *Kajkaviana Croatica*.
 - 3 Pritom treba naglasiti da je unutar hrvatske etničke zajednice od srednjega vijeka postojala međuregionalna razmjena hrvatskih književnih tekstova i njihova jezična (dijalekatska) adaptacija, odnosno prevođenje tekstova s jednoga na neki drugi hrvatski književni idiom. O tome dosta raspravljamo u drugoj, još neobjavljenoj raspravi *Višestoljetne silnice hrvatske jezične integracije*.

Kanižlićeva Sveta Rožalija	Krizmanićev kajkavski prijevod
Shto miše umivash? lipaši, i cisfata Shto mi neprosivash, o lipoto ifata!	Lépa szi, y chizta, zakaj misze vmivash? O zmosna Lepota! Zakaj mi neszivash? (<i>ibid.</i> : 43);
Mrnavićeva Osmanščica	Krizmanićev kajkavski prijevod
Tkoja [!] posilna moch iz yame paklenne Potexe moyu Zloch na strane vedrenne?	Kakva preszilna Moch iz Jame peklene Vleche moju Zlobu na Ztrani vedrene? (<i>ibid.</i> : 54).

Unatoč vitalnosti i funkcionalnoj razvijenosti ondašnjega kajkavskoga hrvatskoga književnoga jezika, prestižni hrvatski književni idiom u drugoj polovini 18. stoljeća postao je štokavski hrvatski književni jezik zbog svoje nadregionalne proširenosti.⁴ To pokazuju mnoga književna ostvarenja pisana štokavski od Dubrovnika i dijela Dalmacije do Slavonije, među kojima je važna poveznica bila i bosanska franjevačka književnost. U susjedstvu se razvijao srpski književni jezik, čiji prestižni tip u to vrijeme nije bio narodni štokavski, nego hibridni slavenosrpski, koji je postojao “од почетка друге половине XVIII до друге деценије XIX века” (MLADENović 1989: 82), a nastao je

мешањем црта рускословенског језика и језика српског грађанског друштва у Војводини, уз присуство језичких особина из још два језика – српкословенског и руског књижевног (MILANOVIĆ 2004: 93).⁵

Dakle, prestižni tipovi hrvatskoga i srpskoga književnoga jezika⁶ iz druge polovine 18. i na početku 19. stoljeća razlikovali su se međusobno više nego današnji standardni jezici Hrvata i Srba jer su ustrojstva tih književnih jezika bila konceptijski oprečna: srpski je bio hibridan, a hrvatski usmjeren poglavito na jednu narječnu strukturu (štokavsku). Treba osim toga reći da se među

4 Čakavska stilizacija i hibridna jezična koncepcija hrvatskoga književnoga jezika napuštene su sredinom 17. stoljeća (pisci čakavskoga podrijetla izražavaju se otada štokavski, a hibridna jezična koncepcija izgubila je podršku koju je imala do smaknuća hrvatskih plemića P. Zrinskoga i F. K. Frankopana).

5 Taj kratki MILANOVIĆEV pregled sadržava dosta materijalnih pogrešaka i neprihvatljivih interpretacija o štokavskom književnom jeziku Dubrovnika 16–18. stoljeća, koji MILANOVIĆ ugrađuje u povijest srpskoga književnoga jezika, što je na tragu kulturne politike koja zanemaruje činjenicu da srpskom kulturnom naslijeđu ne pripada sve što je bilo gdje i bilo kada napisano na štokavštini, a da štokavština u srpsku književnost ulazi u većoj mjeri tek od 19. stoljeća, poslije “slavenosrpske faze”.

6 Kada govorimo o tim jezičnim odnosima s konca 18. i početka 19. stoljeća, razumije se da atributi *hrvatski* i *srpski* označuju pripadnost dvjema etničkim zajednicama prije oblikovanja tih dviju modernih nacija.

Hrvatima ruski jezik nije upotrebljavao kao književni jezik, a epizoda s rusificiranjem (ruteniziranjem) hrvatskih crkvenih knjiga vođena iz Rima u 17. i 18. stoljeću nije ostavila značajan trag u razvoju hrvatskoga književnoga jezika. Dva današnja standardna južnoslavenska jezika, hrvatski i srpski, tek su se u 19. stoljeću počela zbližavati (jedan pored drugoga) jer su Srbi u 19. stoljeću odbacili hibridnu koncepciju i okrenuli se jednonarječnoj, također štokavskoj strukturi. Zbog toga su se u 19. stoljeću počele javljati ideje da se ta dva književna jezika, s različitom poviješću i tradicijama, prikazuju kao jedan južnoslavenski jezik, a to je osobito došlo do izražaja u Jugoslavijama i slavistici 20. stoljeća kada se govorilo o dvjema nacionalnim varijantama jezika koji je bio nazvan “srpskohrvatski”/“hrvatskosrpski”. Premda je u tisućljetnoj povijesti hrvatskoga jezika “srpskohrvatski” samo kratkotrajna faza u njegovu razvoju, postoje lingvisti koji zastupaju tezu da “srpskohrvatski jezik” i danas postoji, a ima i takvih neprihvatljivih tumačenja da je hrvatski jezik nastao tek “raspadom” “srpskohrvatskoga” koncem 20. stoljeća. U ovom prilogu nećemo se baviti “srpskohrvatskim”, nego odnosom prestižnih tipova hrvatskoga (štokavskoga) i srpskoga (slavenosrpskoga) jezika na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće.

2. Prijevodi i adaptacije hrvatskih štokavskih tekstova na (slaveno)srpski

Odnos srpskoga i hrvatskoga na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće može se sagledati na temelju srpskih prijevoda i adaptacija hrvatskih književnih djela pisanih književnom štokavštinom. Riječ je napose o Rajićevu (Raičevu) prijevodu *Satira M. A. Reljkovića* (1793.) [= RAI], Mihaljevićevu prijevodu *Aždaje sedmoglave V. Došena* (1803.) [= MIH], Kovačevićevu prijevodu/adaptaciji *Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga A. Kačića Miošića* (1818.) [= KOV], Popovićevoj adaptaciji *Suza Radmilovih V. Menčetića* (1826.) [= POP]. Neka od navedenih izdanja već su bila predmetom analize. O Rajićevu prijevodu pisali su S. DAMJANOVIĆ (1991)⁷ i D. BOGDANOVIĆ (1908), a potonji je opisao i Mihaljevićevo izdanje Došenove *Aždaje sedmoglave* (id. 1932–1933). S. DAMJANOVIĆ (1991: 148) piše: “Reljkovićeve jezik mijenjao je Rajić na svim razinama [...], ali [...] nijednu promjenu Rajić ne provodi dosljedno”. DAMJANOVIĆ tvrdi da je Rajić najviše mijenjao na leksičkoj razini, ali “kadšto uopće nije jasno zašto Rajić mijenja Reljkovićeve leksem jer se radi o elementima istoga sustava, ali

7 Članak je objavljen iste godine i u zborniku sa znanstvenoga skupa *Vrijeme i djelo Matije Antuna Reljkovića* (Nova Gradiška, 25.–27. listopada 1984.) i treći put u autorovoj knjizi *Slavonske teme* (Zagreb, 2006).

različitoga značenja” (*ibid.*: 149), npr. *mlin* > *grad*, *slavonski* > *srpski*, *Ivka* > *Marta* i dr. Osim toga, Rajić je mijenjao i sadržaj predloška (npr. ažurirao je neke brojčane podatke, dodavao je bilješke, v. *ibid.*: 150–151). Dakle, umjesto poznatih početnih stihova na ikavskoj štokavštini *Slavonijo, zemljo plemeni-ta, / Vele ti si lipo uzorita* u Rajićevu izdanju nalazimo: *Slavonije zemle plemeni-ta / Vesma ti si lepo uzorita*.⁸

O Mihaljevićevu prijevodu Došenove *Aždaje sedmoglave* na slavenosrpski BOGDANOVIĆ piše da je Mihaljević

postupao jednako kao i Rajić prevodeći Relkovićeve “Satira” u “prsto-serbskij” jezik: zapadni (ikavski) govor okrenuo je u istočni (ekavski); mjesto lijepih narodnih riječi i izražaja uzimao je rusko-slovenske, a ako bi našao, da se koja riječ ili izričaj upotrebljava samo u katoličkoj crkvi, zamijenio bi ga s riječju, koja se upotrebljava u srpskoj pravoslavnoj crkvi. Obojica su postupala u ovom poslu bez ikakva pravila, samovoljno su izostavljali ili mijenjali čitave stihove i čitav niz stihova; više puta su izvvnuli, promijenili i pokvarili smisao teksta, ovo naročito vrijedi za Mihaljevića, ili mu dali drugi smisao te su tako nagrdili, iznakazili i pokvarili dva najznatnija i najljepša djela hrvatske lokalne književnosti u Slavoniji (BOGDANOVIĆ 1932/33: 300–301).⁹

Ako usporedimo nekoliko Došenovih stihova s Mihaljevićevim prijevodom, lako se može uočiti razlika između ondašnje hrvatske književne štokavštine i slavenosrpskoga:¹⁰

Došen	Mihaljević
[...] grad visoki dà saziđe dà k nebesom pò ñem ide, dà pò čudu od visine [...] kod posljedka sv̑ vikovâ, [...] za uzdignut svoj grad više. [...] ostà uvik nedospita i za rugo promiñena [...] i svitovñe ispraznosti. Bòg pò sudu pravom svome, [...] kome crkve sazidaše i misnike nadodaše [...] ¹¹	[...] Столпъ високо̑й да созижду И да к небу по нѣм иду; Да чрезъ чуда от висине [...] (12) Кодъ послѣднии сви векова [...] (13) Да уздигну столпъ свой выше [...] Оста бо вѣкъ недоспѣта И у подсмѣхъ промѣнена [...] нити мѣрске суетности Бгъ по суду своме правомъ [...] Кому храме созидаше И попове додадоше [...] ¹²

8 Više uspoređenih stihova v. u BOGDANOVIĆ 1908: 567.

9 Osim toga, Mihaljević nigdje u svom izdaju ne spominje Došena, što je pokazatelj nedovoljne osviještenosti o autorstvu teksta.

10 Ima dijelova koji nisu prevedeni (redigirani) slavenosrpski, a štokavština je samo ekavizirana.

11 Stihovi iz Došenova *Ukora I.* prema DOŠ 1969: 49. Usp. BOGDANOVIĆ 1932/33: 292–293.

12 МИН 1803: 12–13. Usp. BOGDANOVIĆ 1932/33: 292–293.

U svojim *Raznim delima* Jevta Popović (1826) objavio je *Idilu* (*Suze Radmilove*)¹³ V. Menčetića (v. POP 1826) i *Osmana* I. Gundulića (u dva sveska, v. *id.* 1827). Što se Menčetićeva teksta tiče, Popović je vršio neke jezične prilagodbe jer u uvodu piše kako je riječ o izvodu iz pjesmotvorstva na *dubrovačkom* odnosno na *dalmatinskom* jeziku te da je on “posrbiо то, колико се могло, и то нарјечјем отечества свог, Срема” (*id.* 1826: [7]). Teško je reći koje su jezične izmjene, osim ekavizacije, Popovićev doprinos jer danas ne znamo prema kojem je rukopisu Popović čitao tekst.¹⁴ Međutim, na prvi pogled vidi se da je Popovićeva “posrbljena” inačica Menčetićeva teksta prije *adaptacija* nego *prijevod* poput Rajićeva i Mihaljevićeva. Zanimljivo je da Popović u bilješkama ispod crte tumači neke riječi, za koje pretpostavlja da ih njegova publika neće razumjeti, (npr. *pedepsa*, *požuda*, *tašta*, *zamani*, *tresk*, *polača*, *tlo*). No, što se Popovićeva nekritičkoga izdanja Gundulićeva *Osmana* tiče, on nije *Osmana* prevodio na slavenosrpski, a takav zaključak podupire i sam Popović riječima izrečenim u uvodu *Osmanide*: “Из мои руку изиде Османѣда на видило такова, каква е у природи својој и била” (POP 1827[I]: VII).

3. Slavenosrpski i ilirski Kačićev *Razgovor ugodni naroda slovinskoga*

3.1. Kovačevićevo izdanje

U ovom odsječku osvrnut ćemo se na izdanje Gavrila Kovačevićeva, koje je objavljeno 1818. u Budimu (= KOV 1818),¹⁵ a riječ je o prilično skraćenom i pretrađenom *Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga* hrvatskoga štokavskoga pisca Andrije Kačića Miošića (1704.–1760.). To je priorčio i priređivač na naslovnici napisavši da je knjiga “изъ книги г. Андрее Качиѣна изведена; по образу, вкусу и глаголу Сербскомъ”. U kratkom uvodu stoji priređivačeva bilješka

13 Osim toga, tekst je u dosadašnjim izdanjima nazivan *Radmilova tužba cječ Zorke vile* (Kurelac) i *Zorka* (Kolendić).

14 Postoje tri prijepisa toga teksta naslovljena *Radmio* u knjižnici Male braće u Dubrovniku, a našlo bi se prijepisa i u zagrebačkim arhivima; 2001. godine dubrovačka Znanstvena knjižnica otkupila je jedan novi rukopis koji sadržava taj tekst. Najprije bi trebalo ponovno kritički istražiti tekst prema sada dostupnim rukopisima i identificirati izvorник Popovićeva izdanja da bi se moglo utvrditi što je sve Popović mijenjao.

15 МАТИЋ (?1964: xxx–xxx1) spomije i jedno kratko ćirilichno izdanje Kačićevih pjesama tiskano 1807. u Budimu prije Kovačevićeva izdanja, a za tekst pjesama tvrdi da “im je preuđešavan, i po jeziku i inače”, a tu se oslanja na jedan Ćurčićev rad o tom izdanju iz 1961–1962.

vrijedna pozornosti: “Повѣстице сам одъ већъ сократио, и на другѣи начинъ, или образъ претворио” (КОВ 1818: [6]). Međutim, u skraćivanju i slobodnom prepričavanju proznih dijelova Kačićev tekst se itekako izmijenio. Navedimo i usporedimo ulomke iz proznoga ljetopisa u izvornom i prerađenom izdanju:

Каčić	Kovačević
Na 3522 po ftuoregnu fvita Farani dalmatini naffellifce Otok Viis [...]	На 3522. лѣто. По створеню света Фарани Далмати населише Отокъ, Висъ и проча места.
Na 3784. Gencio kragl slovinski po nagovoru Perlea kraglia macedonskoga, učinnife nepriategl Rimglianá, koji svelikom vojskom dogiofce ú dalmacziu termu mnoghé Gradove ofvojifce; najposlii skadar, ú kogafe bifce zatuorija. Itadda kraglieftvo slovinsko, i macedonsko pod oblaf Rimglianá padde. [...]	На 3784. лѣто. Владао е Генцио Краль Слав: кои по наважденю Персея Краля Макед: завадисе са Римляни, кои велику силу противъ нѣга дигоше, и тада освоише Далмацию и Македоню
Na 7. po Ifuffovu porrogegniu bihu Kragli od Dalmatiiná, i Slovincza Batana, i Pinet. Ovufe Digofce Protiva Rimglianom, á imadihu Vojske Oflam Strotiiná [!] Iglíadá Pifcacza, i Dvifta iglíadá Kogniiká [!], kako pifce Vellejus Rimglianin, tó ĉinnii migliun ú Sve. Na punno miiftà Rimgliane iffikofce na tà naĉin, da nifu nikadar bili ú Vechiemu Strahu, tuzi ni xalofiti. [...]	На 7-мо лѣто. По рождеству Христову Краль Слав: Батана, и Пинетъ са 800 хїляда пешака, и 200 хїляда коняника яко Римляне побише и многа имъ места разорише.
Na 421. Poĉefcese Mleczi zigiati. (Kač 1759: 4–5)	На лѣто. Почеше се Млетцы (Венеція) зидати. (КОВ 1818: 7–8)

Iz navedenih primjera jasno se vidi da je Kovačević dodavao, prerađivao i skraćivao Kačićev tekst. Osim toga, ikavske oblike Kovačević ekavizira (*fvita* 2 > *света* 7) ili na mjestu negdašnjega glasa jat i sekvence *je* (nejatovskoga podrijetla) bilježi ćirilični znak <ѣ> (*лѣто*, *нѣга* 7; na nekim drugim mjestima propustio je ikavizam, npr. *зди* 9). Kovačević korigira Kačićevo ispuštanje etimološkoga *h* (*iglíadá* 5 > *хїляда* 8), ali nedosljedno (npr. *gniovo* 2 > *нїово* 17). Osim toga, Kovačević zamjenjuje hrvatske (štokavske) riječi srpskim (ruskoslavenskim/slavenosrpskim): *nagovori* 4 > *наважденю* 7, *porrogegniu* 5 > *рождеству* 8, a mijenja također *Pifcacza* i *Kogniiká* [*Kogniiká!*] 5 (uobičajeno u starih hrvatskih pisaca) > *пешака* i *коняника* 8 (što je danas prihvatljivo hrvatskom standardnom jeziku, ali jekavsko *pješak*). Kovačević je tumačio kadšto riječi u zagradama, npr. *Млетцы* (*Венеція*) 5, a izbjegavao je neke (neslavenske) sintaktičke sklopove koje upotrebljava Kačić (npr. *učinnife nepriategl Rimglianá* 5 > *завадисе са Римляни* 8).

Stihovima pristupa na sličan način, primjerice, iz usporedbe pjesme naslovljene *Slidi poskočnica, koja se može u koli pjevati* i Kovačevićeva prijevoda/adaptacije stihova te pjesme jasno se vidi da Kovačević neadekvatno prevodi/adaptira (npr. *Kripost* > *Право*, *sarčenoft* > *вѣрностѣ*, *prijakii* > *пре-святый*), ekavizira (npr. *riči речи*), dodaje etimološko *h* koje Kačić često ispušta (npr. *Rabrenóst* > *храбреностѣ*), umjesto *f* uvodi starije *hv* (*fali* > *хвали*), unosi ruskoslavenizme/slavenosrbizme (*vojnikii* > *воинству*, *Uznosi* > *Возноси*, *junaftva* > *юначества*) itd.:

Kačić	Mihaljević
OSlobitú Narod fvakki Kripost immá, skomfe diči, Kuju daje Bogh prijakii. Mudrii kaxu ovvé riči. A kragliuje fva Rabrenóst U' Narodu slovinskomu Snaga, jakoft i sarčenoft U' vojniku Arvatskomu. Alexandro tó svidočii Kragl vellikii fvega sviita Svakom noffech on pridocçi Dillovagna plemenita, Koja vazda ukozafce [! ukazafce] Slovigniani vitezovi I zatofe zovialce Slauni jaki narod ovvii. Prii negh umrii gnim oftavi. Dopufchiegnia blagodarna Uznosiji, fali, slavii. Rad junaftva velle harna.	Особито народѣ сваки, Право има съ чимсе дичи. Кое дае Богѣ пресвятый, Мудры кажу ове речи. А цару е сва храбреностѣ У народу славенскому; Снага, якостѣ а и вѣрностѣ, У воинству Хорватскому. Александрѣ то сведочи, Царѣ велики свега света, Свакомѣ даюћѣ онѣ предѣ очи, Славна дѣла племенита. Коя свагда показаше, Сви Славенскіи витезови, И зато се называше Славны, храбріи народѣ ови. Пре неѣ умре, нимѣ остави, Допущеня благодарна, Возноси и, хвали слави, Радѣ юначества веле хвална.
(KAČ 1759: 2)	(KOV 1818: 17)

Navedeni primjeri potvrđuju MATIĆEVE riječi kako je Kovačević u dvadeset Kačićevih pjesama

narodnu ikavsku štokavštinu Kačićevu okrenuo u ekavštinu i prošarao slaveno-srpskim osobinama jer se nadao da će tako Srbi njegova doba bolje razumjeti fra Andrijiine pjesme (MATIĆ ²1964: xxxi).

Iz primjera se jasno vidi da je priređivač 1818. postupao suprotno od smjera što se nazire iz srpskoga rječnika i drugoga izdanja gramatike (*Pismenice*) V. Stefanovića Karadžića, koji su bili objavljeni iste godine.

3.2. Ilirska “Danica”, Kačić, prijevodi i adaptacije

Kulturne veze i odnosi između južnoslavenskih naroda u prvoj polovini 19. stoljeća veoma su zanimljiva, ali kompleksna istraživačka tema. Bogat materijal za takva istraživanja pružaju južnoslavenska književna glasila. U posljednje vrijeme važna istraživanja objavljenih priloga u zagrebačkoj “Danici ilirskoj” provodi H. KEIPERT,¹⁶ a rezultati tih istraživanja mijenjaju neke davno olako prihvaćene predodžbe u južnoslavenskim filologijama. Osobito su važne KEIPERTOVE analize zagrebačkih prijevoda u “Danici” sa srpskoga jezika, a to su najčešće priloge iz raznih europskih publikacija (nisu izvorno pisani srpskim jezikom, nego je srpski jezik pritom bio jezik-posrednik). Takva se istraživanja ne zaustavljaju na otkrivanju tekstoloških veza između prijevoda i predloška, nego se proširuju filološkom analizom tih prijevoda, koja omogućuje uvid u odnos hrvatskoga i srpskoga u vrijeme ilirizma. Taj odnos nije moguće u potpunosti objasniti ako istražujemo samo preporodne knjige, rječnike i časopise, primjerice, netočno je da je riječ *točka* potvrđena u hrvatskim tekstovima tek od prve polovine 19. stoljeća jer se prve potvrde nalaze u Vitezovićevu rječniku s konca 17. i početka 18. stoljeća (*točka*, ali i *dvotočje*, *dvotočka*).¹⁷ Kako je u Vitezovićev rječnik ušao taj rusizam, do sada nije utvrđeno, ali najvjerojatnije u nj nije dospio srpskim posredništvom. Isto tako, riječ *rječnik* potječe iz Belostenčeva *Gazophylaciuma* (1740.), a iz toga hrvatskoga tronarječnoga rječnika (ili posredno iz mlađih hrvatskih rječnika) preuzeo ju je i V. Stefanović Karadžić, pa otada taj kroatizam (kajkavizam) istiskuje rusizam *slóvar* u srpskom jeziku.¹⁸

Osim toga, “Danica ilirska” pruža i važnu građu za proučavanje odnosa iliraca prema dopreporodnim hrvatskim književnim tekstovima. Od prvoga godišta preporodne “Danice” ilirci su objavljivali ulomke iz tekstova starije hrvatske književnosti kako bi pokazali ne samo starinu i kontinuitet “ilirskoga” jezika nego i njegovu izražajnost. U prvom godištu tiskani su ulomci iz djela P. Rittera Vitezovića, M. P. Katančića i A. Kačića Miošića (stihovi P. Zrinskoga i I. T. Mrnavića iskorišteni su kao motto pojedinim brojevima), a u drugom godištu izbor se proširio na renesansne (čakavske) pjesnike kao što

16 Vidi npr. KEIPERT 2004; 2007; 2008a–d; 2009.

17 To je utvrdio PUTANEC, koji ovako piše o *točki* i *zapeti* u Vitezovića: “Ja sam mislio da se radi o odrazu koji su mogli imati naši rusifikatori glagoljskih tekstova (Levaković i sl.) [...] Da bi se riješilo to pitanje, trebalo bi pretražiti rusificirane glagoljaške tekstove (to nisam dospio učiniti), a s time u vezi istražiti i pitanje kojim putem i u kolikoj mjeri ulaze rusizmi u Vitezovićev rječnik. To je dosada uostalom malo istraženo” (PUTANEC 1976/77: 145).

18 *Ibid.*: 143: “Vuk Karadžić, koji je bio u opoziciji sa slavenosrpskim jezikom, napušta rusizam *slóvar* [...] i odlučuje se za Belostenčevu riječ *rječnik* [...]”.

je H. Lucić, potom i na rane dubrovačke petrarkiste (npr. Dž. Držić). Objavljeni stari tekstovi bili su uzor mladim "ilirskim" pjesnicima u pjesničkom jeziku i stilu (v. o tome VONČINA 1993: 28–43).

Ako se pažljivo pogledaju te objave, može se primijetiti da ilirci često nisu posve realno prikazivali jezik dopreporodnih hrvatskih tekstova tiskanih u "Danici" i drugim izdanjima jer su izabrane tekstove ponešto jezično prilagođavali svojoj jezičnoj normi kako bi dobili idealne, uzorne tekstove (ponekad su mijenjali i ono što nije trebalo mijenjati).¹⁹ Iz današnje perspektive takvi su tekstološki postupci neprihvatljivi, ali se mogu objasniti u kontekstu 19. stoljeća.

U prvom godištu "Danice" objavljena je poznata Kačićeva pjesma o Radovanu i Mjelovanu iz knjige *Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga*, koja je u cijelosti u Beču objavljena sljedeće godine (1836.), a pod pseudonimom Venceslav Juraj Dunder priredio ju je V. BABUKIĆ,²⁰ vodeći hrvatski jezikoslovac u vrijeme ilirizma. To je Kačićevo djelo steklo veliku popularnost među južnoslavenskim narodima, a davno je već upozoreno na njegovu važnost u procesu jezične standardizacije u Hrvata prije ilirizma (v. BROZOVIĆ 1970: 138–139), u prvom redu zbog toga što je pisano književnom štokavštinom. Razlike između štokavštine kojom piše Kačić i one koju normiraju ilirci treba pripisati procesu standardizacije jer neke pojedinosti koje su bile opće značajke razgovorne i književne štokavštine do 19. stoljeća ne pripadaju hrvatskoj standardnoj štokavštini oblikovanoj od iliraca do danas. Da ilirskoj jezičnoj normi nisu bile prihvatljive baš sve jezične značajke što ih nalazimo u Kačićevim izvornim tekstovima, može se uočiti već iz sedam stihova (od 72) *Pisme Radovana i Mjelovana*, objavljene u drugom (KAČ 1759) izdanju *Razgovora ugodnoga* i u dvama preporodnim izdanjima u kojima je pjesma transkribirana i redigirana (*id.* 1835 i 1836):

7. stih [1759.] Mjelovane fvaje Vjeka nate
 [1835.] Milovane sva je vika na te,
 [1836.] Milovane! sva je vika na te,

19 O tome načelno VONČINA 1999: 65–69. VUČKOVIĆ (2006: 20) analizira objavu ulomaka iz *Kučnika* J. S. Reljkovića u "Danici ilirskoj" i zaključuje o radu priređivača: "Osim slovopisnih i pravopisnih prilagodbi, učinio je dosta promjena na fonološkoj razini i znatno manje na morfološkoj. Zamijenio je neke Reljkovićeve lekseme svojima, pri čemu nije uvijek pazio na značenje. Mijenjao je čitave stihove, neke ispuštao, a na jednom mjestu čak i dodao".

20 O tome se BABUKIĆ izjašnjava na početku svojega rada *Misli o pravopisu*, gdje svjedoči također da je izdanje pripremljeno 1834.–1835., v. BABUKIĆ 1982: 255 (reprint BABUKIĆEVA rada iz "Bačke vile", 1841.).

8. [1759.] Probudife bichie boglie zate;
[1835.] Probudi se bit' će bolje za te
[1836.] Probudi se bit' će bolje za te!
11. [1759.] Ter zapjeva pjelmu od junàkà
[1835.] Ter zapěva pěsmu od junàkah;
[1836.] Ter zapjeva pjesmu od junakah,
21. [1759.] Ta etofi brexan oftarijo
[1835.] Ta eto si brižan ostario
[1836.] Ta eto si brižan ostario,
32. [1759.] Kol' izpjevat po Svietu junake.
[1835.] Tko l' izpěvat' po světu junake?
[1836.] Ko l' izpjevat' po svjetu Junake?
51. [1759.] Nije lafno pofvietu odditi
[1835.] Nije lasno po světu hoditi,
[1836.] Nije lasno po svjetu hoditi
64. [1759.] Alme nechie Gecza precěkati.
[1835.] Al' me neće děca pričekati.
[1836.] Al me neće djeca prečekati.

Iz navedenih stihova jasno se vidi da je uklonjen Kačićev sporadični hiperjekavizam (*Mjelovane, vjeka* > *Milovane, vika*), a jekavski refleks jata prikazan je znakom <ě> (1835.), odnosno dvoslovom <je> (1836.). U izdanju iz 1836. godine, treba posebno naglasiti, nisu jekavizirani izvorno ikavski tekstovi. Srašteni oblik futura (*bichie* = *bice*) zamijenjen je u obama izdanjima oblikom *bit' će*. U dvama preporodnim izdanjima dodano je finalno *-b* u obliku Gmn. m. r. *junaka* prema ilirskoj jezičnoj normi. Prema istoj normi ignorirano je pisanje intervokalne jote u glagolskoga pridjeva radnoga (*ostarijo* > *ostario*). U izdanju iz 1835. oblik *ko* zamijenjen je oblikom *tko* prema ilirskoj jezičnoj normi. Dometnuto je /h/ ondje gdje mu je po etimologiji mjesto (*odditi* > *hoditi*). Zanemarena je tercijarna (jekavska) jotacija (*Gecza* = *đeca* > *děca/djeca*), koja nije postala značajka hrvatskoga standardnoga jezika. Kada bismo pomno pregledali izdanje iz 1836. godine, našli bismo još zanimljivosti kao što je šćakavizacija (*godišće* 14), zamjenički oblik *ju* umjesto *je* (14), korekcija *f* > *hv* (*ufatili* > *ubvatili* 15), uporaba grafema <š> i <ś> (*ś zemljom* 15), leksičke zamjene (*ali* > *pako*) i prilagodbe imena (*Pava* > *Pavel*, *Ljutovid* > *Ljudevit* 15), unošenje kajkavizama (*mora* > *morja* 15) itd. Kadšto je nekim riječima dodan sinonim u zagradi, npr. *sto navah* (*ladjih*) *od boja* (10).

Takve prilagodbe dopreporodnoga štokavskoga teksta ilirskoj jezičnoj normi posve su drukčije od slavenosrpskih prijevoda i ilirskih prijevoda kajkavske pisane baštine na štokavski, kao u poznatoj *Ilirskoj čitanci*. U njezinu predgovoru Antun Mažuranić hvali jezik dvaju kajkavskih pisaca: “Što se tiče

pravilnosti i čistoće jezika ove literature, najveći vèrhunac dostigla je u evangelistaru biskupa Petretića (1651), pak onda u Habledićevih knjigah (1674)” (MAŽ et al. 1856: IX). Ulomke tekstova starijih cijenjenih pisaca (npr. Habledićev *Pervi otca našega Adama greb*) prenosili su djelomice izvornim jezikom u transkripciji, a jednim dijelom u štokavskom prijevodu. Usporedimo dva ulomka izvornoga Habledićev teksta u transkripciji i prijevodu u *Ilirskoj čitanci*:

Habledić	Mažuranić et al.
A1 Vřzegdarje pervo fzlovenfzkoga orfzaga, lúydi kakti pravoga kerfchanfzkoga Catholichanfzkoga, ta huala i dika bila, dafzu naypervo verni u prave Rimfzke vere bili, pak fzuojem kralyem, Banom, Generalom, Capitanom i druge zemelfzke tot czirkvene, tot fzuetfzke gofzpode [...]	A2 Vsegdar je pervo slovenskoga orsaga, ljudi kakti pravoga kerřćanskoga catholićanskoga, ta huala i dika bila, da su najpervo verni u prave Rimske vere bili, pak svojem kraljem, Banom, Generalom, Capitanom, i druge zemelzke tot cirkvene tot svetske gospode.
B1 Prevofiuřfzje adda chez Szavu, kay goder lepfeh bilo duorov i marofou, naulafztito pako Ferencza Tahia, keje on bil lepo czifrafzto uchinil nachiniti, ognym i orusjem jezfu prez ufze milofche terli i fgali. (HAB 1674: 185–186)	B2 Preřavři dakle prěko Save, řtograd je bilo lěpřih dvorovah i marofah, navlastito pako Franje Tahia, koje je on dao lěpo cifrasto naćiniti, ognjem i oružem bez milosti potěře i požgaře. (MAŽ et al. 1856: 257–258)

Jasno se vidi da između A1 i A2 nema jezičnih razlika (osim fonološke adaptacije *kerřćanskoga*). Između B1 i B2 razlika je toliko da se slobodno može reći kako je riječ o prijevodu (na primjer: *lepfeh* > *lěpřih*, *lepo* > *lěpo*; *milofche* > *milosti*; *duorov* i *marofou* > *dvorovah* i *marofah*; *terli* i *fgali* > *potěře* i *požgaře*; *keje on bil* [...] *uchinil nachiniti* > *koje je on dao* [...] *naćiniti*; *Prevofiuřfzje* > *Preřavři*; *adda* > *dakle*; *Ferencza* > *Franje*). Zanimljivo je da lekseme kao što su *marof*, *navlastito*, *cifrasto* ilirci ne mijenjaju, dakle, njihova ih leksička norma priznaje.

4. Zaključak

Provedena analiza uzoraka izabranih tekstova pokazuje da je na južnoslavenskom prostoru na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće bilo malo svijesti o autorstvu teksta (nenavođenje autora, slobodno prevođenje i prerađivanje predložaka) i da hrvatski štokavski tekstovi nisu slavensorbizirani podjednako (na isti način i u istoj mjeri): dok slavensorpska komponenta dominira u starijim izda-

njima (Rajić, Mihaljević), pa možemo govoriti o prijevodima s štokavskoga hrvatskoga na (slaveno)srpski jezik, u mlađim je izdanjima pri jezičnoj adaptaciji slavenosrpska sastavnica slabije zastupljena. U raspravi o dotičnim prijevodima kao južnoslavenskom kulturološkom fenomenu ta činjenica nije uočena ili se nije isticala, a važna je jer upravo taj nalaz pokazuje da analizirani prijevodi nisu neshvatljivi postupci pojedinaca (priređivača) nego su zrcalna slika ondašnjih odnosa i težnji u srpskom društvu i kulturi, napose odraz razvoja srpskoga književnoga jezika u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća, kada je hibridna koncepcija književnoga jezika (slavenosrpski) radikalno okrenuta prema samo jednoj, narodu bliskoj jezičnoj strukturi (štokavskoj). U to vrijeme hrvatski štokavski književni jezik već je po svojoj nadregionalnoj proširenosti i razvijenosti bio prestižni književni idiom unutar hrvatske etničke zajednice, koji se u 19. stoljeću nastavio na čvrstim temeljima normirati, izgrađivati i obogaćivati s obzirom na potrebe novoga doba. Te čvrste temelje i nove (trajne ili privremene) normativne zasade pokazuju preporodne objave Kačićeva *Razgovora ugodnoga* i drugih tekstova dopreporodne hrvatske književne baštine. U vrijeme ilirizma postignuta je konačna jezična integracija Hrvata u jednom jeziku štokavskoga tipa jer se nadnarječni i nadregionalni štokavski hrvatski književni jezik počeo upotrebljavati i na kajkavskom području, pa tada nije više bilo potrebno prevoditi školske priručnike i na kajkavski i na štokavski. Starija ugledna kajkavska djela prevodila su se u ilirskim čitankama na štokavski kako bi svi te tekstove mogli razumjeti. Sve to ukazuje na odnos srpskoga i hrvatskoga književnoga jezika na koncu 18. i na početku 19. stoljeća, koji su koncepcijski bili oprečni, ali su se u 19. stoljeću počeli približavati jer je prestižni tip srpskoga književnoga jezika postao narodni (štokavski). Stoga, navedene prijevode treba uzeti u obzir kada govorimo o povijesnoj dimenziji jezičnih kultura dvaju južnoslavenskih naroda, hrvatskoga i srpskoga.

Literatura

Vrela

DOŠ 1969 = *Djela Vida Došena*, prir. T. Matić i A. Djamić, Zagreb (= Stari pisci hrvatski 34).

HAB 1674 = Habelich, Juraj: *Pervi otca nassega Adama greb*, Nemski Gradecz.

KAČ 1759 = Cacich, Andria: *Razgovor ugodni naroda slovinskoga*, po Dominiku Lovixi, Mleczi.

— 1835 = Kačić Miošić, Andrija: “Pësma Radovana i Milovana”, u: *Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka*, Tech. I, Br. 10, Dana 14. Szushcza, 38.

- 1836 = Kačić Miošić, Andrija: *Razgovor ugodni národa slovinskoga*, izd. V. Ju. Dunder, Beč.
- КОВ 1818 = *Пъснословка, илити повѣсть о народу славенскомъ*, изъ книге г. Андрее Качића изведена, по образу, вкусу и глаголу Сербскомъ Гаврииломъ Ковачевичъ устроена, Будимъ.
- МАŽ et al. 1856 = Mažuranić, Antun/Veber, Adolfo/Mesić, Matija (prir.): *Ilirska čitanka za gornje gimnazije 1*, Beč.
- МИН 1803 = [Дошен, Вид], *Аждѣа седмѣглава*, сѣрѣчь: Описаніе семи грѣхѣвъ смѣртныхъ стѣхотворнымъ хѣдожествомъ уострѣное и съ далматинскаго языка на славено-сѣрбскій пречищено тщаніемъ Георгіа Міхальвича, Будимъ.
- РОР 1826 = *Разна дѣла* Иевте Поповића, св. 1.: *Идилиа*, Будимъ.
- 1827 = *Разна дѣла* Иевте Поповића, св. 1./2.: *Османида*, Будимъ.
- РАИ 1793 = Релковичъ, Антоніе: *Сатыръ или дивий човекъ [...] преведенъ же на просто-сербскій языкъ Стефаномъ Раичемъ [...]*, Віена.

Citirana stručna literatura

- БАВУКИЋ 1982 = Бабукић, В.: “Мисли о правопису”, у: Krtalić, I. (prir.): *Polemike u hrvatskoj književnosti 1: Pet slova rogatih*, Zagreb, 255–260 [iz časopisa *Bačka vila* 1841].
- БОГДАНОВИЋ 1908 = Bogdanović, D.: “Prvo izdanje Reljkovićeва ‘Satira’ ćirilicom”, у: *Nastavni vjesnik* 16, 561–569.
- 1932/33 = Bogdanović, D.: “Kako je Georgij Mihaljević ‘Aždaju sedmoglavu’ Vida Došena s dalmatinskoga jezika ‘prečistio’ na jezik ‘slavenoserbski’”, у: *Nastavni vjesnik* 41, 223–237; 287–302.
- БРОЗОВИЋ 1970 = Brozović, D.: “О почетку hrvatskoga jezičnog standarda”, у: Idem: *Standardni jezik: teorija, usporedbe, geneza, povijest, suvremena zbilja*, Zagreb, 127–157.
- ДАМЈАНОВИЋ 1991 = Damjanović, S.: “Rajićeва izdanja Relkovićeва Satira”, у: Idem: *Jedanaest stoljeća nezaborava*, Osijek – Zagreb (= Mala teorijska biblioteka 41), 147–153.
- ДУКАТ 1912 = Dukat, V.: “Život i književni rad Ivana Krizmanićа”, у: *Rad JAZU* 191, 1–67.
- ЈЕМБРИН 1997 = Jembrih, A.: “Hrvatskokajkavski školski udžbenici”, у: Idem: *Na izvorima hrvatske kajkavske književne riječi: rasprave i građa iz povijesti hrvatskoga jezika i književnosti*, Čakovec (= Biblioteka Znanstveno popularna djela 44), 213–233 [1996. у: Idem (gl. i odg. ur.): *Kajkaviana Croatica: izložba od 4. do 30. lipnja 1996*, Muzej za Umjetnost i Obrt; osnovni katalog, Zagreb, 143–161].
- КЕИПЕРТ 2004 = Keipert, H.: “Wie hat man 1835 in Zagreb aus dem Serbischen übersetzt?”, у: Okuka, M./Schweier, U. (Hg.): *Germano-Slavistische Beiträge, Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag*, München (WdSl. Sammelbände/Сборники 21), 99–112.
- 2007 = Keipert, H.: “Zu einer Übersetzungskontamination in Ljudevit Gajs ‘Danicza’ 1835”, у: Gladrow, W./Stern, D. (Hg.): *Beiträge zur slawischen Philologie, Festschrift für Fred Otten*, Frankfurt a. M. (= Berliner slawistische Arbeiten 31), 65–81.

- 2008a = Keipert, H.: “Übersetzen aus zweiter Hand in Ljudevit Gajs ‘Danica ilirska’”, u: *Slovo* 56/57, 229–240.
- 2008b = Keipert, H.: “Ljudevit Gajs Artikel ‘Nima domorodstva prez lyubavi materinzkog’ jezika’ und die ‘Sbirka někojih řečih’ von 1835”, u: Aloe, S. (Hg.): *Die slavischen Grenzen Mitteleuropas. Festschrift für S. Bonazza*, München (WdSl. Sammelbände/Сборники 34), 87–95.
- 2008c = Keipert, H.: “Die ‘Sbirka někojih řečih’ als ‘Danica’-Glossar”, u: *ZfSLPh* 65.1, 51–84.
- 2008d = Keipert, H.: “Kroatische Übersetzungen aus dem Serbischen in der ersten Hälfte des 19. Jh.”, u: Dubisz, S./Stapor, I. (red. i oprac.): *Wielojęzyczność. Kontakty językowe w rozwoju kultur słowiańskich*, Pułtusk, 155–178.
- 2009 = Keipert, H.: “Lj. Gajs Artikel ‘Kein Patriotismus ohne Liebe der Muttersprache’”, u: Berger, T./Giger, M./Kurt, S./Mendoza, I.: *Von grammatischen Kategorien und sprachlichen Weltbildern. Die Slavia von der Sprachgeschichte bis zur Politsprache, Festschrift für D. Weiss zum 60. Geburtstag*, München – Wien (= WSlAL, Linguistische Reihe), 303–314.
- MATIĆ 1964 = Matić, T.: “Život i književni rad Andrije Kačića Miošića”, u: *Djela Andrije Kačića Miošića*, Knj. 1, prired. T. Matić, Zagreb (= Stari pisci hrvatski 27), V–LV.
- MLADENović 1989 = Младеновић, А.: *Славеносрпски језик. Синтаксије и чланци*, Нови Сад (= Едиција Нови Сад 180).
- MILANOVIĆ 2004 = Милановић, А.: *Крајка историја српској књижевној језика*, Београд (= Библиотека Аз 1).
- PTIČAR 1991 = Ptičar, A.: “Školski jezični priručnik *Uputjenje k’ lipopisanju iz 1785. godine*”, u: *Rasprave ZHJ* 17, 145–151.
- 1993 = Ptičar, A.: “Početnica ‘Knjižica slovoznanja’ (1831) kao leksikografski poticaj”, u: *Rasprave ZHJ* 19, 273–287.
- 1994 = Ptičar, A.: “Prvi slavonski pravopis”, u: *Rasprave ZHJ* 20, 273–280.
- 2004 = Ptičar, A.: “Prvi hrvatski računski priručnici”, u: *Rasprave IHJ* 30, 173–179.
- PUTANEC 1976/77 = Putanec, V.: “Podrijetlo nekih novijih jezičnih termina u hrvatskom književnom jeziku: rječnik, točka, pravopis”, in: *Jezik* 5 (24), 141–149.
- VONČINA 1993 = Vončina, J.: “Jezični izbor za pjesništvo u *Danici ilirskoj*”, u: Idem: *Preporodni jezični temelji*, Zagreb (= Mala knjižnica Matice hrvatske, Novi niz, Kolo 1: 3), 28–43.
- 1999 = Vončina, J.: *Tekstološka načela za pisanu baštinu hrvatskoga jezičnog izraza. Posebni prilog Stoljećima hrvatske književnosti*, Zagreb.
- VUČKOVIĆ 2006 = Vučković, J.: “Izbor iz ‘Kućnika’ u ‘Danici ilirskoj’”, u: *Fluminensia* 18.1, 15–21.

Sprachenwahl und Sprachenwechsel in den Spannungsfeldern von Migration und Kolonisation

1. Einführung

Sprachenwechsel ist ein häufig zu beobachtendes Phänomen in Gemeinschaften, in denen mehr als eine Sprache von den Mitgliedern, freilich manchmal in unterschiedlichem Grad, gesprochen wird. Die Ursachen für diese Art von Mehrsprachigkeit entstehen meist unter den Bedingungen der Migration oder denen der Kolonisation. Dies betrifft sowohl die individuelle Kommunikation als auch die öffentliche Kommunikation innerhalb der Gemeinschaft.

In der Untersuchung dieses Phänomens findet man verschiedene Ansätze, die sich aus unterschiedlichen Richtungen diesem Problem nähern. Das am häufigsten verwendete Modell ist das von MYERS-SCOTTON (1972, 1976, 1983), die eine systematische Darstellung des Prozesses des Sprachenwechsels versucht, während zahlreiche Arbeiten aus den Gebieten der linguistischen Anthropologie, der Soziolinguistik und anderer Nachbardisziplinen eher interpretative und interaktionale Gesichtspunkte ins Spiel bringen und dabei den Sprachenwechsel in einen breiteren sozialen und kulturellen Kontext einbinden.

NILEP (2006: 12) behauptet in Anlehnung an HELLER (1992): “[S]uch studies stand as illustrations of the place of code switching in particular social and historical settings, rather than as models for a universal practice or potential”. Ohne hier auf Einzelheiten einzugehen, kann gesagt werden, dass die am weitesten verbreiteten und weithin akzeptierten Definitionen des Sprachenwechsels zeigen, dass eine große Übereinstimmung bei der Interpretation dieses Phänomens besteht. BIEGEL (1996: 8 f.) meint

Zwei- oder Mehrsprachige können innerhalb einer Interaktion ihre gerade benutzte Sprache bewusst oder unbewusst aufgrund bestimmter linguistischer oder extralinguistischer Auslösemechanismen für eine kurze oder für eine längere Zeitspanne mit einer zweiten Sprache vermischen.

HELLER (1988: 1) weist auf die Möglichkeit des Gebrauchs von mehr als einer Sprache innerhalb einer »communicative episode« hin, ähnlich wie in AUERS (1984: 1) Definition: »The alternating use of more than one language«, ebenso wie bei MYERS-SCOTTON (1993: VII): »The use of two or more languages in the same conversation.«

Zusätzlich stellt VOGT (1954: 368) heraus, dass Sprachenwechsel ein außersprachliches Phänomen darstellt: "Code-switching in itself is perhaps not a linguistic phenomenon, but rather a psychological one, and its causes are obviously extralinguistic", während STROUD (1998: 322) den Sprachenwechsel vornehmlich als soziales Phänomen betrachtet:

My argument is that conversational code-switching is so heavily implicated in social life that it cannot really be understood apart from an understanding of social phenomena.

In Anbetracht der vorgebrachten Definition gehen wir von der Annahme aus, dass Sprachenwechsel nicht nur ein rein linguistisches, sondern ebenso ein soziales, psychologisches und pragmatisches Phänomen ist, das sich auf allen Sprachebenen manifestiert. Darüber hinaus meinen wir, dass Sprachenwechsel sowohl bewusst als auch unbewusst vorkommt, wobei es eines der Ziele der Untersuchung ist, durch Interviews herauszufinden, welcher der beiden Mechanismen Vorrang hat.

APPEL und MUYSKEN (1987: 118–120) definieren sechs Funktionen des Sprachenwechsels:

1. Die referentielle Funktion: In diesem Fall wechselt der Sprecher die Sprache, entweder weil er das passende Wort nicht findet oder aber das Wort existiert in der jeweiligen Sprache nicht. GROSJEAN (1982: 125) nennt dies »the phenomenon of the most available word«, das dem Sprecher Zeit und Aufwand spart.
2. Die direkte Funktion: Der Sprecher wechselt die Sprache, um einen oder mehrere Teilnehmer aus dem Gespräch auszuschließen.
3. Die expressive Funktion: Der Sprecher wechselt die Sprache unbewusst, und damit kommt seine »doppelte Identität« zum Ausdruck.
4. Die phatische Funktion: Diese ist zu beobachten, wenn der Sprecher in der Konversation etwas betonen, einen Witz machen oder etwas metaphorisch formulieren möchte, um eine bestimmte Reaktion hervorzurufen.
5. Die metalinguistische Funktion: Diese bezieht sich auf Fälle, in denen der Sprecher die Sprache bewusst wechselt, um die anderen Teilnehmer zu beeindrucken.
6. Die poetische Funktion: Hierbei handelt es sich um Fälle, in denen der Sprecher die Sprache wechselt, wenn er einen Witz erzählen oder ein Wort-

spiel in einer anderen Sprache vorführen will oder wenn er versucht, Tabuwörter und -wendungen in der Hauptsprache zu vermeiden.

2. Sprachenwechsel Bulgarisch-Deutsch

In dieser Studie werden wir uns hauptsächlich mit so genannten »*ad-hoc*-Entlehnungen« beschäftigen, die nach POPLACK/MEECHAN (1995: 200), eine Art »verbindende Form« zwischen Sprachenwechsel und Entlehnung darstellen, d. h. sie sind linguistisch betrachtet Entlehnungen, verhalten sich aber sozio-linguistisch wie Sprachenwechsel.

Wir werden v. a. »diskursorientierten« Sprachenwechsel betrachten, in dem die neue Sprache prototypisch einen neuen »Rahmen« oder ein *footing* in der Interaktion evoziert, das von allen Teilnehmern geteilt wird (AUER 1998: 8). Der Terminus *footing* stammt von GOFFMAN (1979, 1981), der meint, dass das Alternieren von Sprachen eine Möglichkeit beschreibt, die es dem Sprecher erlaubt, Änderungen im Kontext zu markieren oder die Rolle zu wechseln, die er im Verlauf der Interaktion übernommen hat.

Es wird erwartet, dass die Ergebnisse Typen von Kontexten herausstellen und die Gründe für die Einfügung von Wörtern, Wendungen und gar ganzen Sätzen einer anderen Sprache in die Konversation erhellen, die üblicherweise in der einen Sprache ausgedrückt werden. Die Untersuchung schließt auch eine Analyse der Wortklassen ein, die am häufigsten in dem jeweiligen Corpus vorkommen, sowie die Mittel und Wege ihrer morphologischen und syntaktischen Integration in den Diskurs.

Die Untersuchung von Sprechern des Bulgarischen basiert auf Aufnahmen von persönlichen, informellen Gesprächen zwischen Muttersprachlern des Bulgarischen, die dauerhaft in Deutschland leben. Alle Probanden sind Fachleute mit Universitätsabschluss, die mindestens zehn Jahre in Deutschland verbracht haben und beide Sprachen perfekt beherrschen.

Die Gesamtlänge der Aufnahmen beläuft sich auf 5 Stunden (ohne Pausen). Weder wurden Themen vorgegeben noch wurden die Gespräche in eine bestimmte Richtung gedrängt. Diese Vorgehensweise war eine Voraussetzung für große Spontaneität der Äußerungen der Probanden.

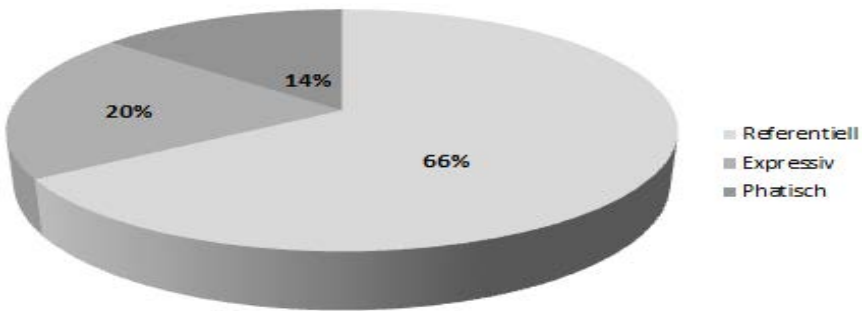
Die Analyse der Aufnahmen wurde durch informelle Interviews mit den Probanden unterstützt.

In Durchschnitt kommt Sprachenwechsel 0,3 Mal pro Minute vor. Die Verteilung ist aber ungleich abhängig vom Thema des Gespräches und variiert zwischen 0,15 und 1,3 pro Minute. Am häufigstens kommen Fälle des Sprachenwechsels beim Thema »Wohnung vermieten« vor, während das Gegenteil beim Thema »Essen und Trinken« zu beobachten ist.

In Anbetracht der oben eingeführten Klassifizierung beinhaltet unser Korpus keine Fälle der direkten und der metalinguistischen Funktionen und – nur begrenzt – der poetischen Funktion. Die Abwesenheit der direkten Funktion lässt sich durch die Auswahl der Probanden erklären. Wie schon erwähnt, teilen sie einerseits dieselben Sprachen und andererseits sind sie eng miteinander verbunden, so dass der Ausschluss eines Gesprächsteilnehmers sowohl unmöglich als auch unerwünscht ist. Was die metalinguistische Funktion betrifft, sind die Probanden, wie wir später sehen werden, in der Lage, ihre eigenen Sprachwechsel-Strategien zu kommentieren, aber nur wenn sie gezielt danach gefragt werden. Ansonsten ist es ihnen eher völlig unbewusst, dass sie die Sprachen wechseln.

Die anderen drei Funktionen, nämlich die referentielle (einschließlich Fälle von Zitaten), die phatische und die expressive haben die folgende Distribution:

Diagramm 1: Funktionen



Die referentielle Funktion wird am häufigsten in den folgenden Fällen beobachtet:

1. Um auf kulturspezifische Realien hinzuweisen:

- (1) Ходи ли в *Ausländeramt-a*
Warst du im *Ausländeramt*?
- (2) Какво беше – за къщата – *Wohngelderstattung*?
Wie war das mit der *Wohngelderstattung* für das Haus?
- (3) Наемът не е *übertrieben*, нормален е наемът, колкото е по *Mietspiegel*.
Die Miete ist nicht *übertrieben*, die Miete ist normal, nach dem *Mietspiegel*.
- (4) Реших да си погледна *Konto-to*.
Ich habe mich entschieden, nach meinem *Konto* zu sehen.

2. Um sich kürzer auszudrücken:

- (5) Ама този диван е само за *Selbstabholer*.
Aber dieses Sofa ist nur für *Selbstabholer*.
- (6) Само с това трябва да се занимавам – с *Annahme, Übernahme, Übergabe* – при краткосрочно даване под наем.
Ich muss mich ständig damit beschäftigen – mit *Annahme, Übernahme, Übergabe* – wenn ich die Wohnung kurzfristig vermiete.

3. Um auf Objekte und Phänomene hinzuweisen, mit denen die Probanden ausschließlich in Deutschland zu tun haben – der häufigste Fall:

- (7) Къщата е точно на *Bahnlinie*, иначе *elektrische Fensterrollladen*, с *Alarmanlage*, с *Gartenhäuschen*, врата на гаража с *Fernbedienung*.
Das Haus steht direkt an der Bahnlinie, ansonsten hat es *elektrische Fensterrollladen, Alarmanlage, Gartenhäuschen*, die Garagentor mit *Fernbedienung*.
- (8) Искана ми *schriftliche Erklärung*, да го пратя по пощата.
Sie wollten von mir eine *schriftliche Erklärung*, ich sollte sie per Post schicken.
- (9) Д. беше *biet-val* за дивана в еБей, ще ти пратя номера да *biet-vasch* и ти.
D. hat in E-bay für das Sofa *geboten*, ich schicke dir die Nummer, so dass du auch *bieten* kannst.

Im Fall der expressiven Funktion benutzen die Probanden ein deutsches Wort oder eine Phrase unbewusst, obwohl ein bulgarisches Äquivalent existiert:

- (10) Имаше ли *mündliche Prüfung*?
Hat es eine *mündliche Prüfung* gegeben?
- (11) Те правят курсове *gezielt* за този изпит.
Sie organisieren Kurse *gezielt* für diese Prüfung.
- (12) Опитвала ли си се *möbliert* да го дадеш под наем?
Hast du schon probiert, [die Wohnung] *möbliert* zu vermieten?

In manchen Fällen ist es schwierig, eine klare Grenze zwischen der phatischen und der poetischen Funktion zu ziehen. Dies illustrieren Beispiele 13, 14 und 15, in denen Metaphern benutzt werden, um die Aussage expressiver zu gestalten:

- (13) Тази къща беше *mitten in der Pampa*, много спокойно.
Dieses Haus war *mitten in der Pampa*, sehr ruhig gelegen.
- (14) Хотелът се оказа български *Hochburg*.
Das Hotel hat sich als eine bulgarische *Hochburg* herausgestellt.
- (15) Другият хотел беше *rappelvoll* само с българи.
Das andere Hotel war *rappelvoll*, nur mit Bulgaren.

Diese Funktion wird auch in direkten Zitaten aus dem Deutschen beobachtet, wo der Sprecher etwas Bestimmtes besonders betonen möchte und deswegen vorzieht, das Original zu zitieren.

- (16) Германците непрекъснато търсят *ruhiges Zimmer*, *ibr Hotelzimmer soll ruhig sein*.

Die Deutschen suchen immer ein ruhiges Zimmer, ihr Hotelzimmer soll ruhig sein.

- (17) И пише »би ли« – »würdest du unterstützen, vielleicht ein bisschen anschieben und dann zurückziehen« – *anschieben und zurückziehen* няма да стане.

Und er schreibt mir »würdest du« – »würdest du unterstützen, vielleicht ein bisschen anschieben und dann zurückziehen« – *anschieben und zurückziehen* – das geht nicht.

Diagramm 2: Sprachmittel

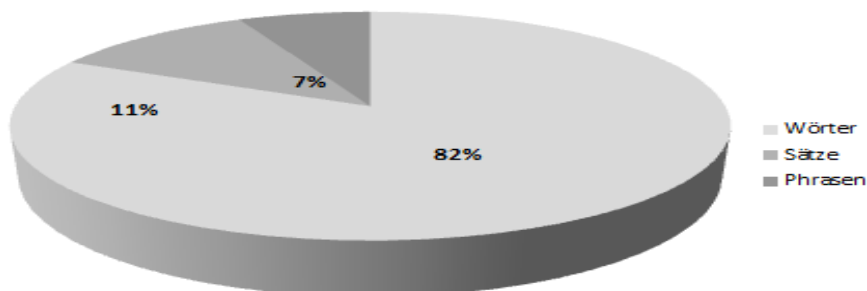
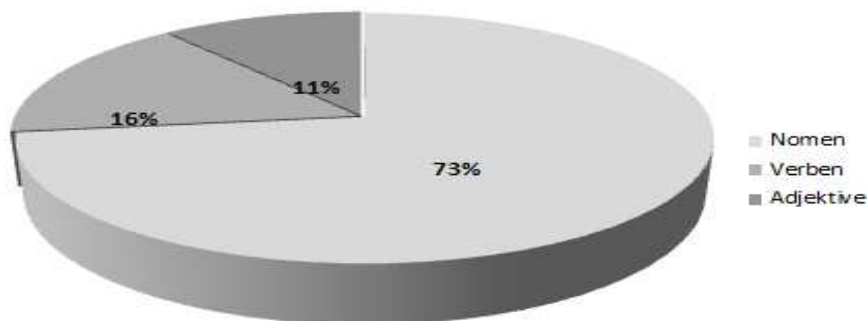


Diagramm 3: Wortarten



Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen frühere Beobachtungen, nämlich dass Nomina sich am leichtesten entlehnen lassen. Darüber hinaus ist es wegen des Fehlens eines Kasussystems im Bulgarischen unproblematisch, ein Nomen zu entlehnen, ohne seine grammatische Form zu ändern, solange es im Satz die richtige Position annimmt. In ungefähr 20% der Fälle bekommt

das deutsche Nomen einen bulgarischen postpositionierten Artikel (siehe Beispiele 1 und 4).

Die entlehnten Adjektive werden normalerweise zusammen mit dem Bezugswort übernommen. Dadurch bekommen sie keine bulgarische Endung. Die Verben ihrerseits tendieren dazu, in das ziemlich komplizierte bulgarische morphologische System integriert zu werden und somit die entsprechenden Endungen für Zeitform, Numerus und Person zu bekommen, die im Bulgarischen obligatorisch sind.

- (18) Трябва да отида да си *beantrag-vam* паспорт.
Ich muss einen Pass beantragen gehen.
- (19) Той трябва да се *anmeld-va*.
Er soll sich *anmelden*.

Das Thema des jeweiligen Gesprächs bestimmt die Frequenz der Verwendung deutscher lexikalischer Elemente: Themen, die mit Realien und unmittelbaren Lebenserfahrungen in Deutschland verbunden sind, führen zu einem erhöhten Grad des Sprachenwechsels.

Nicht alle Funktionen nach APPEL/MUYSKEN (1987) sind im Korpus repräsentiert: Die direkte Funktion ist in dem untersuchten Fall irrelevant, weil alle Probanden beide Sprachen teilen.

Die metalinguistische Funktion ist im Korpus nicht vertreten. Informelle Interviews mit den Probanden zeigten aber, dass sie die Sprachen völlig unbewusst und automatisch wechseln. Manche der Probanden haben die interessante Bemerkung gemacht, dass sie, wenn sie deutsche Wörter im bulgarischen Diskurs verwenden, dann auch die Aussprache der entlehnten lexikalischen Elemente verändern. Dies wird auch durch die Aufnahmen bestätigt. Das heißt, Sprachewechsel betrifft in der Tat alle Sprachebenen.

Aus theoretischer Sicht ergab die Analyse, dass der Unterschied zwischen der *phatischen* und der *poetischen* Funktion höchstwahrscheinlich irrelevant ist.

Die Auswahl und Verteilung der Sprachmittel, die vom Sprachenwechsel betroffen wurden, war nicht überraschend und zwar in Anbetracht der spezifischen Merkmale des grammatischen und lexikalischen Systems der zwei Sprachen.

Und *last but not least* scheinen die Ergebnisse dieser Untersuchung AUERS (1998: 8) Behauptung nicht zu bestätigen, dass diskursbezogener Sprachenwechsel auch zu einem »change of footing« führt. Wie die Interviews zeigen, wechseln unsere Probanden die Sprache unbewusst und beabsichtigen keine Veränderungen ihrer Rolle oder »stance«.

3. Sprachenwechsel Filipino – Englisch

Eine ganz andere Ursache für den Sprachenwechsel finden wir in den ehemaligen Kolonien und Protektoraten, in Ländern also, die zwar über eine oder mehrere Sprachen verfügen, in denen während der Kolonial- bzw. Protektorszeit eine andere Sprache eingeführt wurde. Diese Sprache, meist eine europäische, wurde zunächst Amtssprache, später auch Bildungssprache und schließlich oft auch das allgemeine Kommunikationsmittel zunächst in den großen Handelszentren, dann auch in den größeren Städten. Dies hatte zudem zur Folge, dass in den Städten und stadtnahen Gebieten zunehmend die »importierte« Sprache verwendet, auf dem Land eher die einheimische Sprache gesprochen wurde, aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ein großer Teil der Einwohner, vorwiegend in den Städten, zweisprachig aufwuchs.

Als Beispiel mögen hier die sprachlichen Verhältnisse auf den Philippinen dienen. In diesem Land mit seinen 7107 Inseln und ohne Grenzen zu Nachbarländern werden 75 einheimische (malayo-polynesische) Sprachen gesprochen. Der sprachliche Einfluss während der rund 400-jährigen spanischen Herrschaft war jedoch vergleichsweise gering und beschränkte sich vornehmlich auf Entlehnungen. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Philippinen, anders als die meisten hispanoamerikanischen Kolonien, kein Einwanderungsland waren und sich die spanische Präsenz auf wenige Gegenden (v. a. auf die Städte Cebu, Manila, Vigan und Zamboanga und deren Umland) beschränkte.

Viel merkbarer als der spanische Einfluss ist heute der amerikanische und damit der englischsprachige Einfluss, der 1898 begann. Hierfür gibt es mehrere Gründe; der wichtigste ist die Einführung eines allgemeinen Schulsystems sowie die Gründung der *University of the Philippines* im Jahre 1908 in Quezon City. In den 30er Jahren wurde auch das Rechtssystem vom spanischen auf das amerikanische umgestellt.

Mit der Gründung des *Commonwealth of the Philippines* 1935 begann man freilich auch darüber nachzudenken, eine einheimische Sprache zur Nationalsprache zu erklären. Zu diesem Zweck wurde 1936 das *Surian ng Wikang Pambansa* (Institut für Nationalsprache) gegründet. Die Entscheidung, welche der vielen Sprachen Nationalsprache werden sollte, wurde Ende 1937 zugunsten des Tagalischen, der Sprache Manilas, getroffen. Wegen der Kriegsergebnisse und der japanischen Besetzung von 1940 bis 1944 mussten die weiteren Arbeiten an der Entwicklung und der Durchsetzung der Nationalsprache unterbrochen werden. Mit der Unabhängigkeit der Philippinen im Jahre 1946 wurden Tagalisch als Nationalsprache und Englisch als Amtssprache festgelegt, gleichzeitig aber auch bestimmt, dass Tagalisch durch Sprachplanung des

Surian ng Wikang Pambansa so weit zu entwickeln ist, dass es auch als Amtssprache dienen kann.

Diese vom *Surian ng Wikang Pambansa* zu entwickelnde Sprache wurde in den 50-er Jahren in *Pilipino* umbenannt, um den Vorbehalten der nicht Tagalisch sprechenden Bevölkerung entgegen zu wirken, die befürchteten, dass öffentliche Stellen nur mit Personen besetzt würden, die gut Tagalisch sprechen konnten, und das waren natürlich die Muttersprachler des Tagalischen.

Mit dieser Terminologie wurden dann aber die beiden Termini sehr bald mit neuem Inhalt gefüllt: Danach wurde Tagalisch als die natürlich gewachsene Sprache, *Pilipino* hingegen als eine geplante Sprache mit vielen neuen Wortbildungen gewertet. In den 70-er Jahren wurde dann entschieden, die gewachsene Struktur der im Schmelztigel Manila gesprochene Sprache, die bereits viele Einflüsse anderer philippinischer Sprachen aufwies, zur Grundlage der National- und später auch Amtssprache zu machen.

An der Zweisprachigkeit bzw. Mehrsprachigkeit hat sich damit aber nichts geändert, so dass die einheimische Sprache (Tagalisch/*Pilipino*/*Filipino*) in vielen Bereichen mit dem Englischen konkurrierte. Für den Schulunterricht wurde bestimmt, dass die geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer in der einheimischen Sprache (im Schulwesen immer *Filipino* genannt) und die naturwissenschaftlichen und technischen Fächer auf Englisch unterrichtet wurden. Im Rundfunk wurden (Welt-)Nachrichten weitestgehend auf Englisch gelesen, während Unterhaltungssendungen eher in *Filipino* gesendet wurden. Die großen Tageszeitungen erschienen auf Englisch (kleinere auch auf *Filipino*), die bei *Filipinos* äußerst beliebten »Comics« aber ausschließlich auf *Filipino*.

Bei der Suche nach Präferenzen für die eine oder andere Sprache etwa im Rundfunk durfte man freilich nicht davon ausgehen, dass die Wahl der jeweiligen Sprache die Präferenz der Bevölkerung widerspiegelte. Die Wahl der Sprache konnte auch durch (ggf. auch willkürliche) Setzungen der Intendanten der Rundfunkanstalten bestimmt worden sein.

Freilich gab es ein Format von Sendungen, bei denen man sicher sein konnte, dass die Wahl der Sprache sehr wohl die Präferenz der Bevölkerung widerspiegelte: die Werbesendungen. Um ein Produkt dem potenziellen Käufer schmackhaft zu machen, musste es in der Sprache beworben werden, die der Adressat am liebsten hörte bzw. am besten verstand.

Besonders interessant sind aber solche Werbesendungen, in denen beide Sprachen verwendet werden. Dabei stellt sich Frage, unter welchen Bedingungen oder in welchen Kontexten der einen oder der anderen Sprache der Vorzug gegeben wird.

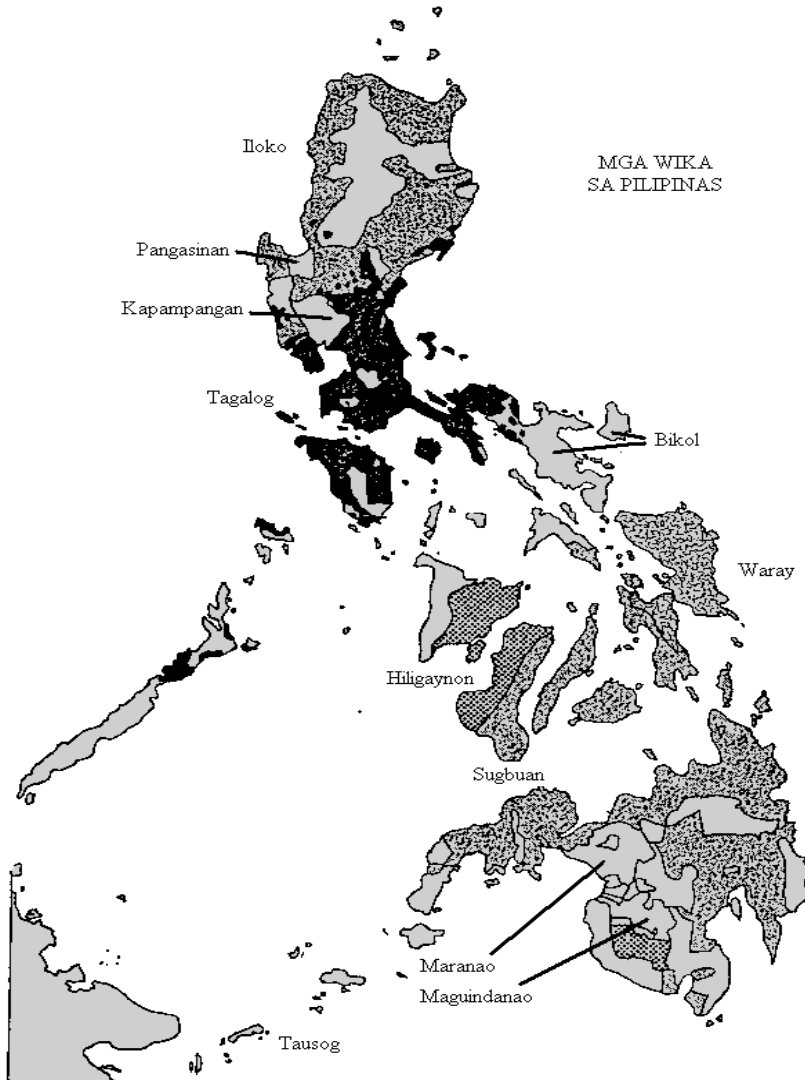


Abb. 1: Sprachenkarte der Philippinen (Quelle: KELZ ⁶1997: 88)

Zwei Beispiele sollen dies illustrieren:

Beispiel 1: Englisch – Filipino – Englisch

Come to the new Barrio Fiesta, the Barrio Fiesta on Aurora Boulevard, Quezon City. Here you get a complete choice of your favorite native recipies with house specialities kare-kare, crispy pata, and chicheron bulaklak. And if you want to dine the truly native way come upstairs to the Kamayan Room. Doon maari'y kayong sa pagkain ng sug-

po, alimango at alabang nakahain sa dahon ng saging, kasama ng maninit na kanin. Barrio Fiesta on Aurora Boulevard opposite Queen's supermarket in Quirino District. It's your home away from home.

Kommen Sie zum neuen Barrio Fiesta (= Name einer Restaurantkette) am Aurora Boulevard in Quezon City. Hier bekommen Sie die ganze Auswahl Ihrer einheimischen Lieblings Speisen mit Spezialitäten des Hauses wie Kare-Kare, Crispy Pata und Chicheron Bulaklak. Und wenn Sie in wirklich einheimischer Art speisen möchten, kommen Sie herauf in den Kamayanraum. Dort können Sie Garnelen, Krabben und Alabang (= Fischart) auf Bananenblättern und heißen Reis mit den Händen essen. Barrio Fiesta am Aurora Boulevard gegenüber von Queen's Supermarkt im District Quirino. Es ist Ihr Zuhause, wenn sie nicht zu Hause sind.

Bei diesem Werbespot lässt sich unschwer feststellen, dass der Sprachenwechsel am Übergang zwischen der Beschreibung des von der Strasse her zugänglichen Erdgeschosses und des im ersten Stock befindlichen »Kamayanraums« eintritt. Wird dieser Raum in der Vorstellung des Sprechers (und Zuhörers) wieder verlassen, so wechselt die Sprache wieder zum Englischen. Kamayan, was so viel wie »mit den Händen essen« bedeutet, steht für die einheimische Küche und die philippinische Atmosphäre. Das »Anheimelnde« dieses Raumes wird durch die die Wahl der einheimischen Sprache unterstrichen.

Beispiel 2: Filipino – Englisch – Filipino

Tamang pagkain, tamang exercise at Lifeboy care yan health program ng aking pamilya. Ang tamang pagkain ay nagpapalakas, tamang exercise ay nagpapatibay ng katawan, and Lifeboy keeps my family truly clean. Lifeboy is especially formulated to get rid of germs and dirt. You can smell the healthy freshness, you can feel the healthy cleanness kaya mahalagang bahagi ang Lifeboy sa aming health program.

Richtige Ernährung, richtige Bewegung und Lifeboy-Pflege, das ist das Gesundheitsprogramm für die ganze Familie. Richtige Ernährung gibt Kraft, richtige Bewegung hält den Körper in Schwung und Lifeboy hält meine Familie wirklich sauber. Lifeboy nimmt besonders Bakterien und Schmutz weg. Sie können die gesunde Frische riechen und die gesunde Sauberkeit fühlen. Lifeboy ist auch ein wichtiger Bestandteil unseres Gesundheitsprogramms.

Es handelt sich also um die Werbung für eine Seife, deren Bedeutung für die Gesundheit der von gesunder Ernährung und körperlicher Betätigung gleichgesetzt wird, und deren Verwendung so ein Teil des auf die Familie bezogenen nationalen Gesundheitsprogramms sein soll. Auch hier lässt sich aus der Abfolge der Sachaussagen leicht der Grund für den Sprachenwechsel erkennen: Die Begründung im Rahmen der Gesundheit der Familie wird in der vorwiegend zu Hause verwendeten Sprache, Filipino, gegeben. Der Schutz

vor Bakterien soll dagegen als öffentlich, vielleicht auch als international abgesichert gelten; dies wird durch den Gebrauch des Englischen unterstrichen.

Diese beiden typischen Werbespots illustrieren deutlich: durch Filipino wird vorwiegend eine Häuslichkeit, Geborgenheit oder Gemütlichkeit im Zusammenhang mit der jeweiligen Mitteilung signalisiert, während Englisch eher die Internationalität, den hohen Öffentlichkeitsgrad und den technisch-wissenschaftlichen Zusammenhang unterstreicht.

4. Zusammenfassung

Das Phänomen des Sprachenwechsels wurde an zwei Fällen in zwei verschiedenen Wirkungsbereichen illustriert und exemplifiziert – im ersten unter den Bedingungen der Migration und auf einer eher persönlichen Ebene der Kommunikation, im zweiten unter den Bedingungen der Kolonisation, basierend auf den historischen Entwicklungen, die die ganze Gesellschaft betreffen.

Obwohl die beiden Fälle – wenigstens bei einer ersten Betrachtung – als sehr verschieden erscheinen, zeigen sie doch Ähnlichkeiten in den Gründen für den Sprachenwechsel unter synchronem Aspekt. Die Gründe liegen vorwiegend in der oder den Funktionen des jeweiligen Teils des Diskurses, der Art der Teilnehmer, den Intentionen der Sprecher im Diskurs – sei er persönlich oder öffentlich, in der generellen Haltung der Teilnehmer am Diskurs und deren Präferenz für eine bestimmte Sprache.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Ergebnisse der Untersuchung die eingangs formulierte These bestätigen, nämlich dass Sprachenwechsel nicht nur ein rein linguistisches, sondern ebenso ein soziales, psychologisches und pragmatisches Phänomen ist, das sich auf allen Sprachenebenen, der phonetischen, der lexikalischen, der phraseologischen Ebene ebenso wie auf der Satzebene und letztlich auch auf der Diskursebene manifestiert.

Literatur

- APPEL/MUYSKEN 1987 = Appel, R./Muysken, P.: *Language Contact and Bilingualism*, London.
- AUER 1984 = Auer, J. C. P.: *Bilingual Conversation*, Amsterdam etc. (= Pragmatics and Beyond 5, 8).
- 1998 = Auer, P. (ed.): *Code-Switching in Conversation: Language, Interaction and Identity*, London.

- BIEGEL 1996 = Biegel, Th.: *Sprachwahlverhalten bei deutsch-französischer Mehrsprachigkeit. Soziolinguistische Untersuchungen mündlicher Kommunikation in der lothringischen Gemeinde Walscheid*, Frankfurt a. M. etc. (= Studien zur allgemeinen und romanischen Sprachwissenschaft 4).
- GOFFMAN 1979 = Goffman, E.: *Gender Advertisements*, Cambridge/Mass.
- 1981 = Goffman, E.: *Forms of Talk*, Philadelphia/Pa.
- GROSJEAN 1982 = Grosjean, F.: *Life with two Languages. An Introduction to Bilingualism*, Cambridge/Mass.
- HELLER 1988 = Heller, M. (ed.): *Codeswitching: Anthropological and Sociolinguistic Perspectives*, Berlin – New York (= Contributions to the Sociology of Language 48).
- 1992 = Heller, M.: »The Politics of Codeswitching and Language Choice«, in: Eastman, C. M. (ed.): *Codeswitching*, Clevedon (= Multilingual Matters 89), 123–142.
- KELZ ⁶1997 = Kelz, H. P.: *Mabuhay. Einführung ins Filipino für Deutsche*, Bonn (= Sprachen und Sprachenlernen 114).
- MYERS-SCOTTON 1972 = Myers-Scotton, C.: *Choosing a Lingua Franca in an African Capital*, Edmonton (= Sociolinguistic Series 2).
- 1976 = Myers-Scotton, C.: »Strategies of Neutrality: Language Choice in Uncertain Situations«, in: *Language* 52.4, 919–941.
- 1983 = Myers-Scotton, C.: »The Negotiation of Identities in Conversation: A Theory of Markedness and Code Choice«, in: *IJSL* 44, 115–136.
- 1993 = Myers-Scotton, C.: *Social Motivations for Codeswitching: Evidence from Africa*, Oxford (= Oxford Studies in Language Contact).
- NILEP 2006 = Nilep, Ch.: »Code Switching' in Sociocultural Linguistics«, in: *Colorado Research in Linguistics* 19, 1–22, vgl. http://www.colorado.edu/ling/CRIL/Volume_19_Issue1/paper_NILEP.pdf.
- STROUD 1998 = Stroud, Ch.: »Prespectives on Cultural Variability of Discourse and some Implications for Code-switching«, in: AUER 1998: 321–348.
- VOGT 1954 = Vogt, H.: »Language Contacts«, in: *Word* 10.2/3, 365–374.

István Nyomárkay

Mundarten und sprachliches Weltbild

In der letzten Zeit beschäftigt sich die Linguistik immer mehr mit der interessanten Frage, wie sich die objektive Wahrheit/Wirklichkeit in der Sprache widerspiegelt (vgl. unter anderen BAŃCZEROWSKI 2008). Das sprachliche Bild innerer und äußerer Erscheinungen, konkreter Objekte und Gegenstände, verschiedener Handlungen usw. verkörpert sich in den Wörtern. Wörter verbergen in sich charakteristische Merkmale einzelner Objekte, Gegenstände, Erscheinungen, Handlungen usw., Merkmale, welche die Sprecher einzelner Sprachen für diese Objekte, Gegenstände, Erscheinungen oder Handlungen für symptomatisch halten. In den Wörtern spiegelt sich die Weltanschauung einer Sprachgemeinschaft wider.

Unter dem Begriff ›sprachliches Weltbild‹ versteht man den Anschauungshintergrund, der der Wort- und Ausdrucksschöpfung zu Grunde liegt. Man denke nicht nur an Bezeichnungen für abstrakte Begriffe, sondern auch an Bezeichnungen für konkrete Gegenstände. Nehmen wir zwei Beispiele.

Vor zwei Jahren fand in Budapest eine wissenschaftliche Tagung statt, die dem Begriff der Sünde und dessen theologischer, juristischer und sprachwissenschaftlicher Interpretation gewidmet wurde. Die Vorträge und die Diskussionen haben gezeigt, dass die zur gleichen Begriffsklasse gehörenden Wörter und Ausdrücke in unterschiedlichen Sprachen auf unterschiedliche Anschauungshintergründe hinweisen; so kommen darin auch unterschiedliche semantische Welten bzw. sprachliche Weltbilder zum Ausdruck. Das Grundwort etwa von lat. *peccatum* »Sünde« ist *peccus* »hinkend, humpelnd«, welches schließlich auf lat. *pes* »Bein« zurückzuführen ist. Hinter diesem Wort steht die Vorstellung einer unsicheren Bewegung. Im Text des Vaterunsers lesen wir: »*et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris*« (Mt 6.12). Der Begriff der Sünde beruht in diesem Fall auf der Vorstellung von Schulden, wahrscheinlich nach der Parabel des bösen Knechts, dessen Herr ihm seine erhebliche Schuld erließ, obwohl er selbst mit seinen Schuldnern anders umgegangen war (vgl. Mt 18.21–35). In der Wurzel des slavischen Wortes *grěbъ* versteckt sich das Verb *gorěti* »brennen«, und somit

drücken sich in dieser Bezeichnung die Vorstellungen über das Feuer sowie über das Gefühl eines inneren Feuers, einer inneren Spannung aus.

Man kann auch Benennungen konkreter Gegenstände, z. B. die des Fensters anführen. Skr. *prozor* wurde vom Verb *prozrěti* »durchschauen« abgeleitet. In der Wurzel des ostsl. *okno* ist *oko* »Auge«. In den beiden Fällen steht im Vordergrund die Vorstellung des Sehens. Auch die gemeinsame Wurzel von dt. *Fenster* und frz. *fenêtre*, welche auf lat. *fenestra* »Öffnung in der Mauer« zurückgehen, ist mit dem Sehen verbunden. Ahd. *augatora* (got. *Augoduro*), aisl. *Vindauga* spiegeln die Vorstellung der Augen wider, usw.

Wertvolle Quellen unserer Erkenntnisse über die Vielfältigkeit des sprachlichen Weltbildes sind Mundarten und kleinere lokale Idiome. Von dieser Perspektive her ist der Sprachgebrauch von Sprechern, die ihre Muttersprache in fremdsprachiger Umgebung verwenden, z. B. der ungarländischen Deutschen, Kroaten, Serben, Slowaken usw., von besonderem Interesse.

Es erhebt sich die Frage, ob sich das sprachliche Weltbild der Mehrheitsprache in entsprechenden Entlehnungen im Sprachgebrauch der Minderheitssprache widerspiegelt. Dafür gibt es überzeugende Beweise. Falls sich in einer Sprache an Stelle eines Wortes, das auf einem schon seit Jahrhunderten etablierten Weltbild beruht, eine neue Entlehnung einbürgert, so ist es denkbar, dass diese »Einbürgerung« auch eine Änderung oder Modifizierung des sprachlichen Weltbilds der Sprecher der Nehmersprache oder -mundart mit sich bringt. In der alltäglichen Kommunikation werden sich die Entlehnungen wie Eigenwörter benehmen: Sie werden sich an das System der Nehmersprache, an ihre Wortbildung, Morphologie und Syntax, adaptieren.

Im Folgenden sollen auf Basis des Dialektwörterbuches des Murtals (*Muramenti tájszótár – Rječnik pomurskih Hrvata* [= MMT]) einige ungarische Elemente des Wortschatzes dieser kleinen kroatischen Mundart (Lokalsprache) dargestellt werden, in denen sich das Weltbild der Geber- oder Mehrheitssprache widerspiegelt. Das sicherste Indiz dafür sind ihre phonetische, morphologische, syntaktische und semantische Einbettung in Sprachsystem und Sprachgebrauch.

Die Mundarten des Murtals bilden einen kleineren Teil des kajkavischen Dialekts (vgl. LONČARIĆ 1982: 240: *Karta kajkavskoga narječja*). Das Wortmaterial unseres Wörterbuches wurde in zehn Gemeinden, größtenteils in Mlinarci (ung. Molnári), Murski Krstur (ung. Murakeresztúr) und Serdahelj (ung. Tótszerdahely) gesammelt. Der kroatisch-ungarische Bilingualismus in den betroffenen Gemeinden hat eine tausendjährige Geschichte. Aus politischen Gründen lebte ein Teil der Kroaten im historischen Ungarn. Mit der Zeit wurde ein bedeutender Teil der Bevölkerung, wiederum infolge politischer Verhältnisse, Ungarn auch administrativ-politisch unterworfen. Diese Tatsache hat natürlich ihre Spuren im Wortschatz hinterlassen. Die Sprachge-

meinschaft der genannten Lokalsprache hat einige Wörter aus dem Ungarischen entlehnt, die für das Kroatische unbekannte Begriffe ausdrücken. Unter den Entlehnungen gibt es aber auch solche, für die es auch im gegenwärtigen Kroatischen Wörter gibt, wobei aber das ungarische Wort ein anderes Weltbild widerspiegelt.

Die ungarischen Lehnwörter werden im Folgenden nach Wortarten angeführt.

In der erforschten Mundart verwendet man zahlreiche ungarische Verben. In morphologischer Hinsicht bereiten sie kein Problem: Alle wurden mit dem Adaptationssuffix *-ovati/-uvati* dem System des lokalen Kroatischen angepasst. Es fällt aber auf, dass die meisten von ihnen nicht genuin ungarische, sondern im Alltagsleben sehr frequente internationale »Wanderwörter« sind. Bei diesen Verben ist eine eigenartige Derivationsart zu beobachten, bei der nämlich das Suffix *-ovati/-uvati* an die ungarische Form der 3. Person Präsens angefügt wird, z. B.:

arijazuvati »eine Arie singen«, zu ung. *áriáz(ik)*;
blokoluvati »blockieren«, zu ung. *blokkol*;
boksolovati »boxen«, zu ung. *bokszol*;
centrifugazovati »mit einer Zentrifuge arbeiten«, zu ung. *centrifugáz(ik)*;
konzervaluvati »konservieren«, zu ung. *konzervá*;
korepetaluvati »korrepetieren«, zu ung. *korrepetál* usw.

Diese Art der Adaptation zeigt sich auch im Falle einiger Verben ungarischer Herkunft, z. B.:

daraluvati »malen«, zu ung. *darál*;
fekezuuvati »bremsen«, zu ung. *fékez*;
pipazuvati »eine Pfeife rauchen«, zu ung. *pipáz(ik)* usw.

Besonders beachtenswert ist das Verb *mondati* »sagen«, zu ung. *mond*, weil es sich dabei um die Entlehnung eines Wortes handelt, das dem organischen Teil des Grundwortschatzes angehört. Der Gebrauch von *mondati* statt *reći*, *kazati*, *govoriti* kann als Rarität beobachtet werden. Damit wird die allgemeine Regel widerlegt, dass die Wörter des Grundwortschatzes nicht entlehnt werden. Ein Beispiel:

Vek nekaj m o n d a , nigdar ne muči.
 Immer redet er etwas, niemals schweigt er.

Seltsam ist auch der Gebrauch des Verbs *kockaztatuvati* »riskieren«, zu ung. *kockáztat*: Zum Ausdruck dieser Bedeutung in der kroatischen und serbischen Umgangssprache steht nämlich das Verb *riskirati* zur Verfügung. In diesem Fall ist ein bedeutender Unterschied zwischen den sprachlichen Weltbildern,

die sich aus der Bedeutungsextension des kroatischen Verbs *riskirati* und des ungarischen Verbs *kockáztat* rekonstruieren lassen, offensichtlich. Hinter *riskirati* steht die Vorstellung einer Gefahr (frz. *risquer* »sich in Gefahr bringen, riskieren«), im Anschauungshintergrund des ung. Verbs drückt sich die Vorstellung des Glücksspiels aus, denn *kocka* bedeutet »Glücksspielwürfel«.

Ferner gibt es in dieser Mundart einige Verben, die für eine Varietät der Umgangssprache charakteristisch sind, nämlich für die *társalgási nyelv*, (d. h. »Unterhaltungssprache, Jargon«):

flancoluvati »Pflanz machen« (österr. »angeben prahlen«), zu ung. *flancol* < österr. Pflanz;
beceluvati »hetzen«, zu ung. *beccel*;
tračaluvati »tratschen«, ung. *traccsol* usw.

Diese und ähnliche Wörter sind folgenden Weg gegangen: Deutsche Umgangssprache → Ungarische Umgangssprache → kroatischer Dialekt.

Es kommen auch Dubletten vor:

bombazuvati – *bombarderati*,
garantalovati – *garanterati*,
komentaluvti – *komentirati*,
koncentraluvati – *koncentrirati* usw.

Es gibt Gründe zu vermuten, dass im Sprachbewusstsein der Kroaten in Murtal die traditionellen, in der kroatischen Literatur- und Gemeinsprache eingebürgerten Formen in den Hintergrund treten. Darauf weist, wie bereits gesagt, ihre Derivationsweise hin: Die kroatischen Adaptationssuffixe werden nach den Regeln der ungarischen Grammatik den ungarischen Wortstämmen (3. Person Präsens) angefügt.

So geschieht es im Falle einiger Entlehnungen, mit denen im Kroatischen unbekannte Begriffe bezeichnet werden. Noch in sozialistischer Zeit entstand im Ungarischen die hybride Zusammensetzung: *maszek* (< *ma* eine Abkürzung von *magán* »privat«, *szek* Abkürzung von *szektor*). Das aus diesem Substantiv abgeleitete Verb *maszekol* hat die Bedeutung »zusätzlich arbeiten; an seinem Arbeitsplatz zu eigenem Nutzen arbeiten«. Der Begriff selbst war außerhalb des ehemaligen »sozialistischen Lagers« unbekannt und hätte im Kroatischen nur durch eine Umschreibung ausgedrückt werden können, z. B. kr.: *prekovremeno raditi*, wobei aber das im ung. Verb ausgedrückte besondere Kolorit verloren gegangen wäre. Am einfachsten ist in solchen Fällen die Adaptation des betreffenden Wortes und damit auch die Entlehnung des Begriffs: *masekerati*, z. B.:

dojde dimu z dela i ide m a s e k e r a t . T r e b a s u m u p e n e z i

Nach der Arbeit kommt er nach Hause und geht »masekieren«. Er braucht Geld.

Substantive und Adjektive, die auch im Ung. fremder (lateinischer) Herkunft sind, bewahren das ungarische (mittellateinische) *-uš/iš*: *katolikuš* »römisch-katholisch«, *reformatuš* »reformiert«, *proteziš* »Prothese«, *pulzuš* »Puls« usw. Die Adjektive kommen teils in ungarischer Form:

ti nisi normališ

du bist nicht normal/du bist verrückt,

teils mit dem Adaptationssuffix *-k*:

to je dekla malo d e f e k t e š k a , v i d i š k a k s e č u d n o p o n a š a

dieses Mädchen ist ein bisschen defekt, siehst du, wie sonderbar sie sich benimmt.

Unter den ungarischen Entlehnungen sind einige Wörter zu finden, die zum festen Wortbestand der alltäglichen Kommunikation gehören, z. B. *lakaš* »Wohnung«, *ovudaš* »Kind, das in den Kindergarten geht«, *penztaroš* »Kassierer«: Diese Wörter sind im Grunde unnötig, da für sie die muttersprachlichen Ausdrücke *stan*, *polaznik dječjeg vrtića*, *blagajnik* zur Verfügung stehen. Zum Fußballwortschatz gehört das Lexem *leš* (»Abseits«, zu ung. *les*). Es wird für die muttersprachlichen Wörter *prikrajak* oder *zalede* gebraucht. Im Ungarischen ist *les* »lauern, lauschen« seit dem 13–14. Jh. belegt; als Fachausdruck des Fußballspiels wird es seit dem Anfang des 20. Jh. als Äquivalent für engl. *offside* gebraucht. Das engl. Wort und dessen kr. Lehnübersetzung deuten auf die Vorstellung über einen konkreten Ort hin, nämlich den Ort oder die Position, wo der Stürmer des Gegners auf den Ball wartet, »lauert«; das ung. Wort drückt die Handlung mit einem Bewegungsverb aus. *ovudaš* konnte teils infolge der Kürze, teils weil das Suffix *-aš* die Adaptation erleichterte, entlehnt werden. Im Anschauungshintergrund des ung. Wortes drückt sich die Vorstellung der Bewachung, des Hüten aus, während das kroatische explizite Äquivalent, das nach deutschem Vorbild entstand (*dječji vrtić* < *Kindergarten*), nur eine Information darüber enthält, dass es um eine Kindergruppe geht; auf Grund des zweiten Gliedes der Zusammensetzung ist aber auch die Vorstellung der Pflege und des Hüten wahrzunehmen.

Die muttersprachliche Denkart spiegelt sich in einigen Wörtern ungarischer Herkunft oder Vermittlung wider, z. B. im Fall von *mafla* – *mafleš* »Maulaffe« und *harpija* – *harpijaš* »Harpyie«. Beide sind im Ung. Adjektive, die auch substantivisch gebraucht werden können. Da sie ins Kroatische in der Form *mafla* und *harpija* gekommen sind, wurden sie unter dem Zwang des Sprachsystems als Substantive interpretiert. Da die Endung *-a* auf das weibliche Ge-

schlecht hinweist, musste auch eine männliche Form gebildet werden: *mafleš* – *barpijaš*:

Al si v e l i k a m a f l a ! N e v i d i š k a j t e s a k i z a n o s p e l j a ?

Du bist blöd! Siehst du nicht, dass dich alle an der Nase herum führen?

K a k m o r e š t a k o v m a f l e š b i t i ?

Wie kannst du ein solcher Tölpel sein?.

Für die angeführten ungarischen Lehnwörter ist festzustellen, dass sie sich im kroatischen Dialekt mit ihrer ungarischen Form eingebürgert haben. Die entlehnten Wörter füllen, von einigen Fällen abgesehen, keine semantische Lücke. Ihr Gebrauch könnte neben dem Einfluss des ungarischen Anschauungshintergrundes wahrscheinlich auch mit einem gewissen Streben nach Bequemlichkeit erklärt werden.

Die aus dem Ungarischen entlehnten Adjektive können in direkte und indirekte Entlehnungen eingeteilt werden. Die als Internationalismen gebrauchten Adjektive bekommen im allgemeinen kein Adaptationssuffix, z. B.: *diskret* »diskret«, *fer* »fair«, *feš* »fesch«, *korekt* »korrekt«, z. B.: *diskret čovek*, *jako feš žena* usw. Die unmittelbaren Entlehnungen ungarischer Herkunft finden ihren Platz im morphologischen System des Kroatischen durch Anfügung von kroatischen Adaptationssuffixen, z. B.: *csámpás* > *čampast* »krummbeinig«, *mamlasz* > *mamlast* »tölpelhaft«, *bátor* > *batroven* »tapfer«, *hitvány* > *hitvalen* »erbärmlich, wertlos, schlecht« usw.

Einige Bedeutungsentlehnungen beruhen auf Homonymie, z. B.: *pazariti* < ung. *pazarol* »verschwenden« und *pečatliv* > *pecsétes* »fleckig«:

T a ž e n a s a m o p a z a r i a m o š p a k j i n i k a j n e v e l i .

Diese Frau verschwendet nur, ihr Mann sagt ihr nichts.

H l a č e s u t i p e č a t l i v e

Deine Hosen sind fleckig.

Es ist anzumerken, dass im Ungarischen beide angeführten Wörter slavischer Herkunft sind; die ungarische Bedeutung von *pazarol* (»verschwenden«) könnte auf Grund des skr. *pazar* (türkisches Wort, slavische Vermittlung) leicht erklärt werden: Mit dem Begriff des Jahrmarkts kann die Vorstellung der Verschwendung verbunden werden.

Aus dem ungarischen Wort *mesterkedik* »manövrieren, manipulieren, Ränke schmieden« wird das kr. *mešetariti* »izvlačiti korist mutnim poslovima« [»aus dunklen Geschäften Nutzen ziehen«] gebildet. In der Bedeutung des Wortes *mester* »Meister« dominiert im Ung. die Vorstellung des Fachmanns

und der Sachkenntnis, das im kr. Dialekt von *mester* abgeleitete *mešetar* ist dagegen emotional gefärbt:

Vek mešetari, od sega ona žije najbole

Immer manipuliert er/sie (?), so lebt sie am besten.

Eine ähnliche Bedeutungsentlehnung ist im Fall der Adjektive *gazdinski* »wirtschaftlich, ökonomisch« (nach ung. *gazdaságos*), z. B.: *gazdinski poslovati* »ökonomisch arbeiten«, und *drága* »teuer« (nach ung. *drága*), z. B.: *a telkek nálunk nagyon drágák* [»die Baugründe sind bei uns sehr teuer«], zu beobachten. Interessant und illustrativ ist das Wort *postruganec* »das letzte, jüngste Kind in der Familie«, »zadnje dijete u obitelji«, das eine Lehnübersetzung des ung. *Vakarék* ist. Dieses Wort ist ein klassisches Beispiel der metaphorischen Bedeutungsentwicklung *konkret* → *abstrakt*. Das formale dt. Äquivalent *Gekrätz* hat nur eine konkrete Bedeutung. Eine ähnliche Vorstellung kommt im russischen *носокpёбыш* vor.

Aufgrund dieser flüchtigen Darstellung kann man einen bedeutenden ungarischen Einfluss erkennen. Es geht nicht nur um Entlehnungen, sondern um die Wirkung der ungarischen Mehrheitssprache auf dem Gebiet verschiedener Erscheinungen, Handlungen, Institutionen, Gegenstände usw. Außer der morphologischen, syntaktischen und semantischen Adaptation zahlreicher ungarischer Wörter steht der Sprachgebrauch der ungarländischen Kroaten im Murtal auch unter einem starken Einfluss der ungarischen Denkart.

Literatur

- BAŃCZEROWSKI 2008 = Bańczerowski, J.: *A világ nyelvi képe: a világgép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban*, Budapest (= Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 86).
- LONČARIĆ 1982 = Lončarić, M.: »Prilog podjeli kajkavskoga narječja«, in: *Hrvatski dijalektološki zbornik* 6, 237–246.
- MMT = Blažek, Đ./Nyomárkay, I./Rác, E.: *Mura menti tájszótár – Rječnik pomurskih Hrvata*, Budapest 2009 (= Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 95).

Überlagerung vertikaler und horizontaler Einflüsse? Der Einfluss des Kirchenslavischen und Polnischen auf das Russische

Die Geschichte der russischen Literatursprache lässt sich mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung untersuchen. Die von KEIPERT (²1999: 727 f.) favorisierte Untersuchung »als Geschichte der Ausbildung der literatur- bzw. schriftsprachlichen Merkmale insgesamt« (vgl. hierzu auch *id.* 1985) impliziert nicht zuletzt auch die »historischen und rezenten Sprachkontakte des Russischen« (HAARMANN 1999). Dieser Ansatz wird im vorliegenden Beitrag aufgegriffen und die Geschichte des Russischen aus der Perspektive seiner Prägung durch Sprachkontakte betrachtet.

In Bezug auf den Kontakt des Russischen mit anderen slavischen Sprachen, also den innerslavischen Kontakt (und der soll im Zentrum des Beitrags liegen), ist zuvorderst das Kirchenslavische zu nennen, das als High Variety im Sinne FERGUSONS (1959) gleichsam in vertikalem Kontakt mit der russischen vernakulären Varietät stand und die Entwicklung der russischen Literatursprache entscheidend beeinflusst hat.¹ Die aus quantitativer und auch qualitativer Perspektive zweitwichtigste Slavine, die das Russische vor allem in vorpetrinischer und petrinischer Zeit beeinflusste – und zwar horizontal, d. h. als geographisch (zumindest mittelbar) benachbarte, aber bezüglich des Prestiges und ähnlicher Faktoren grundsätzlich gleichgeordnete Varietät –, ist das Polnische (vgl. z. B. RABUS 2011).² Verschiedene Einflüsse

1 Zum »Kirchenslavisch-Problem« vgl. auch KEIPERT ²1999: 736 ff.

2 Die erwähnte grundsätzliche Gleichordnung des Polnischen und des Russischen impliziert nicht zwingend einen ähnlichen Ausbau- oder Kodifikationsgrad. In dieser Hinsicht ist das Polnische im genannten Zeitraum dem Russischen voraus. Die Gleichordnung bezieht sich vielmehr auf die Tatsache, dass es sich sowohl beim Russischen als auch beim Polnischen *nicht* um *linguae sacrae* handelt, sondern um vernakuläre Ausbausvarietäten, die also in einer »Varietätenpyramide« gemäß RABUS 2008: 40 eine mittlere Position einnehmen.

Das Polnische übte kulturellen Druck auf die ostslavischen Gebiete Polen-Litauens, also die heutigen weißrussischen und (west-)ukrainischen Gebiete aus. Dieser manifestierte sich durch die sprachliche Beeinflussung der ruthenischen Sprache (vgl. z. B. RABUS 2008: 19 ff.), wobei die Sprache(n) der ruthenischen Gebiete ihrerseits auch das

dieser beiden Varietäten auf das Russische werden in ihrer Wirkung gegenübergestellt und verglichen.

Im Rahmen der vorliegenden Studie soll anhand ausgewählter lexikalischer und struktureller, d. h. über das Lexikon hinausgehender Einflüsse auf das Russische – die Studie strebt keine enzyklopädische Vollständigkeit an – diskutiert werden, inwieweit sich polnische und kirchenslavische Einflüsse ergänzen oder verstärken. Hierbei möchte ich mich insbesondere auf Derivationsuffixe konzentrieren (vgl. hierzu z. B. KEIPERT 1977), aber auch einzelne flexionsmorphologische Phänomene ansprechen.

Lexikalische Entlehnungen

In der klassischen Literatur über lexikalische Kirchenslavismen in der russischen Literatursprache gelten vor allem lautgruppenspezifische Merkmale als Erkennungskriterien lexikalischer Kirchenslavismen. Gemäß der laut KEIPERT (²1999: 740) traditionsbildend wirkenden Liste von ŠACHMATOV beispielsweise (auch in ihrer kritisch kommentierten Form bei ŠACHMATOV/SHEVELOV 1960) sind lexikalische Kirchenslavismen daran zu erkennen, dass die urslavischen Lautgruppen nicht in der genuin ostslavischen, sondern in der kirchenslavischen, also genuin (ost-)südslavischen Gestalt realisiert werden. Dies gilt beispielsweise für die TolT-Kontinuanten: Lexeme wie *время* »Zeit« oder Bildungen mit dem Kompositaerstglied *благо-* »wohl-« werden aufgrund ihrer südslavischen Metathesegestalt anstelle des ostslavischen Polnoglasi als Kirchenslavismen klassifiziert. Gleiches gilt beispielsweise, *mutatis mutandis*, für Lexeme wie *вождь* »Führer«, die das südslavische *žd* anstelle des ostslavischen *ž* als **dj*-Kontinuante aufweisen.

Bei Vorhandensein der südslavischen Lautgestalt kann jedoch nicht zwingend darauf geschlossen werden, dass es sich um ein direkt aus dem Kirchenslavischen entlehntes Lexem handelt. Denn es existieren zum einen sogenannte Neoslavismen im Sinne von HÜTTL-FOLTER (z. B. ČHJUTL' VORT 1968), also Neubildungen mit produktiven kirchenslavischen Morphemen.³

(Groß-)Russische beeinflusste(n). Direkte und indirekte Einflüsse des Polnischen auf das Russische sind nicht immer scharf zu trennen, so dass hier, übereinstimmend mit den Gepflogenheiten der einschlägigen Literatur (vgl. z. B. MOSER 1998), grundsätzlich keine explizite Trennung zwischen den genannten Einflusslinien angestrebt wird.

- 3 Z. B. das mehrere schöne lautliche Kirchenslavismen beinhaltende Kompositum *время-препровождение* »Zeitvertreib« (s. a. ČHJUTL' VORT 1968: 112). Das Vorhandensein und die Produktivität von – nicht nur lexikalisch-lautgruppenspezifischen, sondern v. a. auch suffixalen – Neoslavismen im heutigen Russischen zeigt deutlich, dass der Einfluss des Kirchenslavischen auf die moderne russische Literatursprache kaum überschätzt werden kann. Vgl. hierzu auch RABUS 2011.

Zum anderen – und das ist für die vorliegende Fragestellung von Belang – existieren Lexeme, deren oberflächlich kirchenslavische Lautgestalt nicht, nicht direkt oder nicht ausschließlich auf das Kirchenslavische zurückzuführen ist. Insbesondere existieren im Russischen einige Lexeme polnischen Ursprungs, die diese horizontale Beeinflussung lautgestaltlich nicht reflektieren, sondern im Gegenteil südslavisch-kirchenslavische Gestalt aufweisen. Dies trifft beispielsweise für *награждать* »belohnen«, *поздравление* »Gratulation« oder *равнина* »Ebene« zu (ZOLTÁN 2009: 75). Es muss hier also von einem mehrschichtigen Entlehnungsprozess ausgegangen werden: Vom Polnischen gelangte das Lexem in die vernakuläre Literatursprache der *Jugo-Zapadnaja Rus'*, die ruthenische Schriftsprache beziehungsweise *prosta mova*,⁴ und von dort – über Vermittlung der dortigen Redaktion des Kirchenslavischen – in die großrussische Literatursprache. Im Verlauf dieses Prozesses wurde die Lautgestalt der Lexeme kirchenslavisert.⁵

Daneben existieren auch kirchenslavisch-polnische Hybridbildungen bzw. Semi-Calques. So konstatiert KOCHMAN (1975: 50 f.): „Ros. *črezvyčajnyj* jest niewątpliwą kalką hybridną pol. *nadzwyuczajny*“. *Чрезвычайный* »außerordentlich« taucht im Russischen an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert in verschiedenen Quellen auf. Anhand des nicht erfolgten Polnoglasié⁶ des Präfixes wird deutlich, dass es sich hier nicht um eine autochthon ostslavische, sondern um eine kirchenslavische Bildung handelt, also um eine hybride neoslavische Bildung im Sinne von HÜTTL-FOLTER, wobei das Wurzelmorphem wie erwähnt auf polnischen Einfluss zurückzuführen ist.

Neben dem unstrittigen Vorhandensein zahlreicher voneinander unabhängiger kirchenslavischer⁷ und polnischer⁸ lexikalischer Entlehnungen im Russischen existieren also einige Beispiele, in welchen der vertikale und horizontale Einfluss gleichzeitig zum Tragen kam. Deutlicher wird ein solcher gleich gerichteter oder einander verstärkender Einfluss bei der Betrachtung von Ebenen des Sprachsystems jenseits des Lexikons.

4 Zu terminologischen Fragen vgl. bspw. RABUS 2008: 15 ff.

5 Vgl. ZOLTÁN 2009: 75 ff. für eine ausführliche Diskussion des Lexems *битва* »Schlacht«, das ebenfalls ein über das Kirchenslavische vermittelter Polonismus ist, sich aber nicht lautgruppenspezifisch als solcher auszeichnet, sondern durch das Derivationsuffix *-tva*.

6 Bekanntlich findet Polnoglasié auch im Polnischen nicht statt; doch ist dort keine Kontinuante einer Präposition oder eines Präfixes **čerz-* vorhanden (vgl. ÉSSJA IV: 76), sondern die Form *przez*, was darauf hindeutet, dass es sich hier um eine Bildung nach kirchenslavischem Muster handeln muss.

7 Zu diesen siehe beispielsweise die oben erwähnte Klassifizierung von ŠACHMATOV/SHEVELOV.

8 Zu diesen siehe beispielsweise WITKOWSKI 2006.

Derivationsmorphologie

Verschiedene Affixe, die derivationalen Zwecken dienen und auf dieselbe urslavische Form zurückgehen bzw. mehr oder weniger in der gesamten Slavia verbreitet sind, sind in den slavischen Einzelsprachen auffallend unterschiedlich verbreitet. Dies wird auf die Wirkung von Sprachkontakt zurückgeführt (KEIPERT 1977: 15), so dass das Phänomen als Lehn-Wortbildungstyp bezeichnet werden kann (*ibid.*). Diese Entlehnungen konnten sich innerslavisch leicht ausbreiten, der Ausgangspunkt konnte allerdings eine nichtslavische Sprache sein, vor allem die Kultursprachen Griechisch und Latein.

Zu beachten ist daher, dass viele der Affixe einen deutlich buchsprachlichen Charakter haben (ALEKSEEV 2009: 43). Dies trifft beispielsweise für das Suffix *-tel'* zur Bildung von Nomina Agentis zu (KIPARSKY 1975: 174), das VLASTO (1986: 269) für im Russischen kaum autochthon hält, ebenso für das hiervon abgeleitete *-tel'n'* zur Adjektivbildung (KEIPERT 1977). In diesen Fällen ist lediglich von einem vertikalen, nicht aber von einem horizontalen Einfluss auszugehen, es handelt sich hierbei um reine gelehrte Suffixe, die aufgrund von *literacy contact* im Sinne von VERKHOLANTSEV (2008: 11) ihren Weg ins Russische fanden. Dies wird daraus deutlich, dass die Produktivität dieser Suffixe in horizontal benachbarten Sprachen, beispielsweise dem Polnischen, deutlich eingeschränkt ist.⁹ Die genannten entlehnten Suffixe entwickelten jedoch auf ostslavischem Boden eine gewisse Produktivität.

Daneben existieren noch weitere, eindeutig buchsprachlich markierte und lediglich durch vertikalen Kontakt beeinflusste Derivationsuffixe, bspw. *-stvie* wie in *путешествие* oder *-enie* wie in *сожаление*.¹⁰

Bei einer Anzahl von Derivationsaffixen – beziehungsweise Lexemen, die mithilfe dieses Affixes gebildet wurden und durch ihr Eindringen in das Sprachsystem des Russischen zumindest teilweise eine begrenzte Produktivität des Affixes verursachten – ist indes wahrscheinlich, dass sie einerseits, bezogen auf bestimmte Lexeme, durch das Kirchenslavische, andererseits jedoch auch durch die westlichen Vernakulärvarietäten beeinflusst wurden.

⁹ Bemerkenswert ist, dass Lexeme mit dem entsprechenden Suffix ihrerseits aus dem Tschechischen ins Polnische entlehnt wurden, bspw. *obywatel*, das gemäß polnischer Lautrealisierung **obywaciel* heißen müsste. Vgl. hierzu KEIPERT 1977: 22; RABUS 2010: 208.

¹⁰ ŠACHMATOV/SHEVELOV 1960: 33 f. Siehe ebenda für weitere Beispiele.

Dies betrifft beispielsweise das – kaum produktive¹¹ – Suffix *-izna* zur Bildung von Substantivabstrakta.¹² Das Suffix tritt unter anderem an ursprünglich kirchenslavischen und mittlerweile ungebräuchlichen Lexemen wie *главизна* »Hauptsache, Ergebnis« auf (KIPARSKY 1975: 211).¹³ Bereits seit dem 11. Jh. belegt (Sreznevskij gibt den *Izbornik 1073* g. als Quelle an [SREZN I: 514]), wird es noch in der zweiten Auflage des Dal'schen Wörterbuchs (DAL' I: 361) angeführt. Ähnliches gilt für *укоризна* »Schimpf, Schmähung«, das im Gegensatz zu *главизна* jedoch im *Akademičeskij slovar'* (SSRLJA XVI: 478 f.) auftritt, allerdings markiert archaischen und hochsprachlichen Charakter hat.

Hieraus wird deutlich, dass Lexeme kirchenslavischen Ursprungs mit dem genannten Suffix seit Beginn der Schriftlichkeit bis weit in die Zeit nach der Herausbildung der modernen russischen Literatursprache eine gewisse Rolle im russischen Schrifttum gespielt haben. Darüber hinaus existieren aber einige jüngere, die »offensichtlich westrussischer Herkunft« (KIPARSKY 1975: 211) sind. Als Beispiel führt Kiparskij *отчизна* »Vaterland« an, das über die ruthenische Schriftsprache beziehungsweise *prosta mova* den Weg ins Russische fand (ŠANSKIJ 1958: 340) und durch polnisch *ojczyzna* beeinflusst wurde (vgl. ESSUM III: 409). Auch SINIELNIKOFF (1982) ist mit Bezug auf ŠANSKIJ (1958) der Meinung, dass das Suffix vorwiegend in neuerer Zeit aus dem Polnischen (bzw. Ruthenischen, ŠANSKIJ 1958: 337) ins Russische entlehnt wurde und dort die Produktivität der Bildungen erhöht habe.¹⁴

Interessant ist im Hinblick auf das betrachtete Suffix ein Lexem, das die ostslavisch-vernakuläre Realisation der in *главизна* kirchenslavisch realisierten TolT-Gruppe in sich trägt, nämlich *головизна* »Fischkopf zum Essen«. Das Polnische hat für ein mit Bezug auf Tierköpfe gebildetes Nahrungsmittel ein Lexem mit analoger Form, aber abweichender Bedeutung: *głowizna* »Schweinskopf«, was als *галавизна* auch im Weißrussischen übernommen ist. Zusammenhänge zwischen der großrussischen und der westlichen Form können aufgrund der naheliegenden Bildweise nicht nachgewiesen werden. Allerdings wird auch hier deutlich, dass das Suffix *-izna* ganz offensichtlich kein

11 Vgl. ŠANSKIJ 1958: 332: «Ни одного нового слова, по крайней мере с середины XIX в., с этим суффиксом [...] не появилось, и, напротив, несколько слов из общего литературного употребления исчезло».

12 Die mit dem identischen Suffix, allerdings mit Endbetonung, abgeleiteten deadjektivischen Substantive, die eine Qualität bezeichnen (bspw. *белизна* »Weißße, Weißheit«) und wahrscheinlich teilweise autochthone Bildungen sind, sollen hier nur am Rande behandelt werden. Vgl. auch SP I: 123 f.

13 Vgl. zur kirchenslavischen Herkunft dieser Bildungen auch ŠANSKIJ 1958, insbesondere 335 f.

14 „Dopiero w wieku XIX daje się zauważyć, najprawdopodobniej pod wpływem polskim, wzrost produktywności tego formantu, głównie w kategorii nomina abstracta“, SINIELNIKOFF 1982: 7.

rein hochsprachliches ist, könnte es ja sonst nur schwer an ein nicht-kirchenslavisches Wurzelmorphem angehängt werden.

Im Gegensatz zu *-izna* ist das Suffix *-ost'*, das zur Bildung deadjektivischer Abstrakta dient, sehr produktiv. Gemäß VLASTO (1986: 268) ist das Suffix – zusammen mit dem Suffix *-stvo* – vorwiegend durch das Kirchenslavische, also vertikal, beeinflusst. Hierfür sprechen die mannigfachen Belege bei SREZNEVSKIJ bereits in sehr frühen Denkmälern. Doch gilt dies nicht exklusiv:

Both [suffixes, A. R.] appear in the vernacular (dialect) vocabulary untouched by learned influence. But the great extension of these still productive suffixes took place at least partly under ChSl. influence. (*ibid.*)

Neben den hochsprachlichen, kirchenslavischen Lexemen existieren nach VLASTO also einige autochthon ostslavische Bildungen. Bezüglich *-ost'* erwähnt er jedoch weiterhin Folgendes:

In this case [i. e. in the case of *-ost'*, A. R.], however, the extension may also be partly due to Polish, which had already developed by the 17th c. an extensive abstract vocabulary in *-ość*. (*ibid.*)

Diese Position, dass auch horizontaler Einfluss eine Rolle gespielt habe, wird durch ŠANSKIJ (1959) unterstützt. Er lehnt die Hypothese der kirchenslavischen Vermittlung dieses Suffixes, die bereits OBNORSKIJ (1927: 77 f.; 1946: 27, 75, 79, 121, 188) vertrat, ab und sieht polnisch vermittelten Einfluss der Literatursprache der *Jugo-Zapadnaja Rus'*, also des Ruthenischen beziehungsweise der *prosta mova*, als die wahrscheinlichste Entlehnungs- und Verbreitungsquelle an. Insbesondere die Zunahme von Lexemen, die mithilfe dieses Suffixes gebildet werden, ab dem 17. Jahrhundert lässt sich durch diesen Ansatz erklären – nicht aber das Vorhandensein einer Großzahl von mit diesen Suffixen gebildeten Lexemen bereits vor diesem Zeitpunkt.

Was die stilistische Konnotation von Bildungen mit diesem Suffix angeht, konstatiert ŠANSKIJ (1959: 127 f.) und mit ihm auch HÜTTL-FOLTER (СНЈУТЛ' VORT 1968: 120) einen «яркий антицерковнославянский и 'росский' стилистический характер». Dies gilt für die produktive Zeit dieses Suffixes, also ab dem 17. Jahrhundert. Jedoch wurde dieser *rosskij charakter*, der wohl als polonoruthenischer, vernakulärer Charakter zu interpretieren ist, im Wörterbuch von Polikarpov von 1704 deutlich abgemildert, wodurch Bildungen mit *-ost'* wieder auch der hochsprachlichen Sphäre zugeordnet werden konnten (*ibid.*).

Zusammenfassend lässt sich im Hinblick auf das Suffix *-ost'* Folgendes festhalten: Autochthon bereits in Ansätzen angelegt, ist ein erster Kontakteinfluss vertikaler Art – mit der Übernahme und Weiterentwicklung des Kir-

chenslavischen in die bzw. in der Rus' – schon früh festzustellen. Einen entscheidenden Produktivitätsschub erhielt das Suffix im Russischen allerdings durch horizontalen Kontakt mit den westlichen benachbarten slavischen Varietäten Ruthenisch und Polnisch in späterer Zeit.

Die Parallelwirkung vertikaler und horizontaler Einflüsse lässt sich KIPARSKY (1975: 184) zufolge auch bei Wortbildungsmitteln für die Komparation der Adjektive feststellen,¹⁵ namentlich bei den Suffixen *-ajšij*, *-ejšij*: Diese »wurden [...] im 15./16. Jh. aus dem Kirchenslavischen und Polnischen in der Bedeutung der Superlative oder Elative aufgenommen«.

Doch geht KIPARSKY hier nicht darauf ein, wodurch er auf die Idee kommt, dass diese Suffixe erst zu so später Zeit auftreten. Dies ist auch zu hinterfragen, da beispielsweise in der russischen Redaktion des *Šestodnev* superlativisch beziehungsweise elativisch gebrauchte Formen mit dem betreffenden Suffix auftreten (cf. BARANKOVA 1998: f. 1a, 1; f. 102a, 25 etc.). Unbestreitbar ist indes, dass Formen mit den genannten Morphemen im Polnischen häufig sind, so dass KIPARSKYS Position der gemeinsam wirkenden vertikalen und horizontalen Beeinflussungen trotz der erwähnten strittigen Details im Grundsatz plausibel erscheint.

Insgesamt wird aus den genannten Beispielen deutlich, dass in verschiedenen Fällen west- und kirchenslavische Impulse auf das Russische in eine ähnliche Richtung zielten und das derivationale System des Russischen sichtbar prägten.

Flexionsmorphologie und Morphosyntax

Neben der Derivationsmorphologie finden sich – wenn auch in geringerem Maße – auch im Bereich der Flexionsmorphologie des Russischen Erscheinungen, die durch ähnlich wirkenden horizontalen und vertikalen Einfluss zumindest teilweise erklärt werden können.

Ein in dieser Hinsicht teilweise widersprüchlich bewertetes Phänomen ist das Vorkommen und die Distribution der Endungen *-a* und *-u* im Gen.Sg. der maskulinen Substantive. Bekanntlich existierten – bezeugt durch das Altkirchenslavische – im Urslavischen die *o*- und *ŷ*-Stämme, die sich in den hier betrachteten Varietäten – Russisch, Kirchenslavisch und Polnisch – unterschiedlich weiterentwickelten. Im heutigen Russischen hat sich ein neuer partitiver Gen.₂ herausgebildet (BREU 1994: 48), der allerdings nicht von allen Wörtern gebildet werden kann. Im Polnischen hingegen ist die Distribu-

15 KIPARSKY weist (*ibid.*) mit Bezug auf ES'KOVA 1964 darauf hin, dass die Komparativsuffixe aufgrund ihrer geringen Frequenz tendenziell als Wortbildungs- und nicht als Flexionssuffixe betrachtet werden können.

tion der Endungen *-a* und *-u* im Gen.Sg.masc. komplexer und nicht vollständig klar geregelt. Nach BARTNICKA et al. (2004: 210) gibt es »[t]endenziell [...] eine semantisch motivierte Einteilung in Substantive mit einer ›gestalt-haften‹ und ›nicht-gestalt-haften‹ Semantik. Letztere erhalten oft die Endung *-u*«. Im Ostslavisch-Kirchenslavischen wurde die Endung *-u* bei verschiedenen hochfrequenten Lexemen beibehalten, so dass *synu* und *domu* im Gen.Sg. die Regel bilden (vgl. auch BULIČ 1893/1986: 186); somit ist sowohl im Polnischen als auch im Kirchenslavischen die Kasusendung *-u* häufiger zu finden als im Russischen.

Ein Anwachsen der Endung im Verlauf der Geschichte des Russischen ließe sich daher auf vertikalen wie horizontalen Einfluss zurückführen. KIPARSKY (1967: 26) ist so auch der Ansicht, dass das Anwachsen dieser Endung bei nicht ursprünglich *u*-stämmigen, v. a. einsilbigen Substantiven als früher Einfluss des Kirchenslavischen gewertet werden kann.

Doch ist darüber hinaus – ohne auf die genaueren distributionellen und semantischen Implikationen einzugehen – festzustellen, dass im 16. und 17. Jahrhundert, in der Zeit stärkeren westlichen Einflusses, bei Autoren, die diesem Einfluss besonders unterworfen waren, die Frequenz der Endung *-u* zunimmt (KIPARSKY 1967: 27). Ähnliches konstatiert auch VLASTO (1986: 92), der die Popularität der Endung insbesondere im *delovoj jazyk* im 16. und 17. Jh. hervorhebt, ohne dass hier die spezifisch partitive Bedeutung zum Tragen kommt. Somit ist auch hier für unterschiedliche Register des Russischen in definierten Zeitperioden horizontaler und vertikaler Einfluss in jeweils unterschiedlichem Maße auszumachen.¹⁶ Diese doppelte Einflusswirkung manifestiert sich in der Einschätzung naiver Sprecher. KIPARSKY (1967: 29) zufolge wird heute [d. i. in den 1960er Jahren, A. R.] der Gen.Sg. auf *-u* als »etwas Archaisches, Hochsprachliches aufgefaßt [...], während er vor 200 Jahren genau umgekehrt, als dem ‚niederen Stil‘ angehörig betrachtet wurde«.

Somit erschien die Endung *-u* den Sprechern zur Zeit der Entstehung der modernen russischen Literatursprache stilistisch als dezidiert nicht-kirchenslavisch, also entweder vernakulär-russisch oder polonoruthenisch. Im 20. Jahrhundert hingegen erschien die Endung aus Sprecherperspektive – angesichts der geringeren Frequenz des Phänomens zu Recht – als archaisch, was angesichts der Vernakularisierung des Russischen, also der Tatsache, dass die russische Literatursprache vor dem 18. Jahrhundert deutlich kirchenslavischer als in späterer Zeit war, gleichbedeutend mit hochsprachlich-kirchenslavisch ist.

16 Ähnliches gilt auch für die Endung des Dativs der Maskulina *-evi*, die möglicherweise auch kirchenslavischen Ursprungs ist, aber schnell wieder schwand (KIPARSKY 1967: 30). Auch hier sind Überlagerungen mit (süd-)westlichen Einflüssen zu konstatieren.

Ungeachtet der zeitlich unterschiedlichen Bewertungen dieses Phänomens, die die mehrschichtigen Beeinflussungen reflektieren, kann an diesem Beispiel die katalytische Funktion des Sprachkontakts festgestellt werden. Darunter ist Folgendes zu verstehen: Ein sprachliches Phänomen – hier das Vorkommen sowohl von *-u* als auch von *-a* – ist intern in der Zielsprache – hier dem Russischen – bereits angelegt. Durch Sprachkontakt verändern sich dann Frequenz, Funktion, stilistische Bewertung oder weitere Parameter dieses Phänomens. Insbesondere bei Kontakt zwischen nahe verwandten und typologisch ähnlichen Sprachen, also beispielsweise im inner-slavischen Kontakt, ist der Katalysatoreffekt häufig wirksam.

Auch das Vorkommen des Modalprädikativums *можно* »es ist möglich, man kann« lässt sich – unter leicht abweichenden Voraussetzungen – als Ergebnis eines solchen katalytischen Effekts des Sprachkontakts interpretieren. Erste Belege in ostslavischen Varietäten finden sich (in nicht-negierter Form) nicht vor dem 17. Jahrhundert (KOCHMAN 1975: 87 ff.),¹⁷ was den Einfluss des polnischen *można* nahelegt. Doch existieren etymologisch verwandte, ebenfalls auf ursl. **mogni* »können« oder dessen Derivate zurückgehende Formen mit anderem Konsonantismus bereits seit Beginn der Schriftlichkeit,¹⁸ namentlich ostslavisch *močьno* und kirchenslavisch *moščьno*.¹⁹ Diese Formen sind lautlich – abgesehen vom unterschiedlichen Konsonantismus – aufgrund der gemeinsamen Etymologie so ähnlich, dass ein Transfer subjektiv und objektiv leicht erscheint. Hier wirkt also der Katalysatoreffekt in Gestalt eines funktionsgleichen, lautlich ähnlichen Morphems. Während *možno* aufgrund des polnischen Einflusses in erster Linie als horizontal beeinflusst gelten kann, ist laut KOCHMAN (1975: 90) auch eine zusätzliche vertikale Komponente durch das kirchenslavische Adjektiv *возможьный* im Spiel.

Im Folgenden soll nun eine syntaktische Konstruktion betrachtet werden, die zwar sowohl im Kirchenslavischen als auch im Polnischen existiert und jeweils zu bestimmten Zeiten der Geschichte der russischen Literatursprache diese beeinflusste, aber je unterschiedliche Bedeutung hat. Es handelt sich um die Konstruktion **iměti* + Infinitiv. Im Kirchenslavischen wird dieser Ausdruck zur Futurperiphrase verwendet,²⁰ wobei die Konstruktion in

17 Cf. SRJA IX: 234. Bei SREZN fehlt ein entsprechender Eintrag.

18 Vgl. KOCHMAN (*ibid.*), ebenso SRJA IX: 283, 286; SDRJA V: 28–30; SREZN II: 180.

19 Der differierende Konsonantismus ist davon abhängig, ob die jeweilige Form der 1. Palatalisierung **g > ž* unterworfen war, oder ob die »Palatalisierung« von **gt'* zum Tragen kam, welche im Ostslavischen das Ergebnis *č*, im Ostsüd- und damit Kirchenslavischen das Ergebnis *št*, später Russ.-Ksl. *šč* hatte. Dies wiederum hängt von der konkreten Gestalt der jeweils motivierenden Wurzel sowie des wortbildenden Suffixes (vgl. hierzu ĚSSJA XIX: 115, XX: 103) ab.

20 Cf. SDRJA IV: 28–30; SREZN I: 1096 f.

dieser Bedeutung als markierter Kirchenslavismus des vormodernen Russischen gelten kann (MOSEK 1998: 331). Im Polnischen hingegen drückt die Konstruktion *mieć* + Infinitiv deontische Notwendigkeit aus²¹ und kommt auch in dieser Bedeutung in horizontal-westlich beeinflussten Dokumenten vor. Das parallele Vorkommen der Konstruktion in beiden Bedeutungen in ein und demselben Text ist jedoch kaum wahrscheinlich.

Im heutigen Russischen ist keine der beiden Konstruktionen erhalten.²² Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass dann, wenn horizontale und vertikale Einflüsse nicht im Gleichklang, sondern gegenläufig verlaufen, kein nachhaltiger Transfer gewährleistet werden kann, sondern die entsprechenden Phänomene wieder verschwinden.

Diskussion

Es wurde dargestellt, dass von der Lexik bis zur Morphosyntax unterschiedliche Ebenen des Systems der russischen Sprache gleichgerichtet wirkende horizontale, d. h. polnische und vertikale, d. h. kirchenslavische Beeinflussung erfuhren. Zu fragen ist nun, was die Ursache für diese häufige Parallelsetzung bzw. Gleichgerichtetheit des polnischen und kirchenslavischen Einflusses ist.

Zwei Erklärungsansätze bieten sich hierfür an. Erstens handelt es sich bei den hier relevanten Sprachen um eng verwandte und typologisch sehr ähnlich funktionierende Sprachen. Verschiedene Entwicklungen sind daher sprachstrukturell vorgeprägt und dementsprechend wahrscheinlich. Der katalytische Effekt, also das Phänomen, dass bestimmte Erscheinungen, die in der Zielsprache des Kontakts bereits vorhanden oder angelegt waren, durch die Kontakteinwirkung verstärkt oder (bezüglich ihrer Gestalt, Distribution, Funktion, Frequenz oder Stilistik) verändert werden, spielt hier eine zusätzliche Rolle.

Zweitens liegt neben diesem sprachstrukturellen ein in der äußeren Sprachgeschichte begründeter Erklärungsansatz nahe. Dieser liegt in der Sprachsituation der *Jugo-Zapadnaja Rus'* begründet: Dort ist die Koexistenz zweier polyfunktionaler Schriftsprachen zu konstatieren, nämlich der vernakulären,

21 Beispielsweise in der polnischen Version des Litauischen Status: „*A pisarz ziemski ma po rusku [...] pisać*“ [»aber der Landschreiber hat auf ruthenisch [...] zu schreiben«], zit. nach STRUMINS'KYJ 1984: 22.

22 Generell besitzen *habere*-Konstruktionen auch ohne Infinitiv im Russischen Seltenheitswert. Dies wird gemeinhin auch auf Sprachkontakt, nämlich mit finno-ugrischen Sprachen, zurückgeführt (GRENOBLE 2010: 584 f. mit Bezug auf VEENKER 1967). Dennoch lassen sich die genannten Infinitivkonstruktionen, induziert durch inner-slavischen Kontakt, in vormodernen russischen Texten finden.

stark polnisch beeinflussten *prosta mova* sowie dem Kirchenslavischen ruthenischer Redaktion.²³ Durch die *prosta mova* gelangten verschiedene Polonismen in das Ruthenisch-Kirchenslavische.

Im Zuge des sogenannten 3. Südslavischen Einflusses, gleichsam dem letzten großen normverändernden Ereignis für die russische vorpetrinische Literatursprache, erreichte diese indirekt polonisierte Sprachform – zusammen mit zahlreichen ruthenischen Gelehrten – Moskau und übte dort großen Einfluss aus, der zur Zeit Lomonosovs in der Hochsprache noch spürbar war.²⁴ Die Überlagerung polnischer und kirchenslavischer Einflüsse lässt sich also teilweise²⁵ auf *einen* Nenner bringen: das Ruthenisch-Kirchenslavische, das beide Rollen ausübte und in dem – ursprünglich in verschiedenen Textsorten wirkende – horizontale und vertikale Einflüsse zusammenfielen.

Zusammenfassung und Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurden verschiedene lexikalische und strukturelle Phänomene des Russischen diskutiert, die in der Forschungsliteratur als kontaktinduziert klassifiziert werden. Die Quellsprachen dieser Phänomene sind ebenfalls slavische Sprachen, nämlich einerseits das hierarchisch übergeordnete Kirchenslavische und andererseits das hierarchisch nebengeordnete Polnische. Es wurde dargestellt, dass verschiedene Erscheinungen durch die gleichgerichtete Überlagerung des kirchenslavischen und polnischen Einflusses erklärbar sind. Offensichtlich wird die Durchsetzung und nachhaltige Etablierung dieser kontaktinduzierten Phänomene durch den Gleichklang der Einflussrichtung erleichtert, wobei gegenläufige Beeinflussungen die Etablierung der Phänomene zu erschweren scheinen.

23 Gemäß USPENSKIJ (³2002: 396) liegt hier mit der polyfunktionalen *prosta mova* als Konkurrenz zum Ruthenisch-Kirchenslavischen eine – potentiell instabile – Situation des Bilingualismus vor – im Gegensatz zur großrussischen Situation der stabilen Diglossie zwischen Russisch-Kirchenslavisch und großrussischem *vernacular*. Die funktionale Überlappung der genannten Varietäten in der *Jugo-Zapadnaja Rus'* lässt aber nicht den Schluss zu, dass kein Prestige-Unterschied zwischen Kirchenslavisch und *prosta mova* bestanden habe (vgl. hierzu die Darstellung bei RABUS 2008: 40).

24 Unterstützend wirkt das von ALEKSEEV (2009: 44) im Gefolge von A. I. SOBOLEVSKIJ (1980: 113) vorgetragene Argument, die aus der *Jugo-Zapadnaja Rus'* nach Moskau kommenden Gelehrten seien nicht des Moskauer *vernacular* mächtig gewesen, weshalb sie fast zwangsläufig die Rolle des (Ruthenisch-)Kirchenslavischen bei der Herausbildung einer polyfunktionalen russischen Standardsprache gestärkt hätten.

25 Selbstverständlich existieren viele kirchenslavische Entlehnungen im Russischen, die weit älter als der 3. Südslavische Einfluss sind. Die dennoch hohe Übereinstimmung mit polnischen Einflüssen lässt sich vor allem durch die strukturelle Nähe der Varietäten erklären.

Als Erklärungsansätze lassen sich einerseits die historisch gewachsene strukturelle Nähe der beteiligten Idiome festmachen, die bestimmte Einfallstore für Kontakt und Entwicklungsrichtungen prädestiniert.

Andererseits verbinden sich im Ruthenisch-Kirchenslavischen, das im Zuge des 3. Südslavischen Einflusses und dessen Folgen die Entwicklung der großrussischen Literatursprache entscheidend prägte, in synthetisierender Weise beide Einflüsse.²⁶

Künftigen Studien möge vorbehalten sein, eine nach Vollständigkeit zumindest strebende und nach Textsorten differenzierte Analyse des vertikalen und horizontalen Einflusses slavischer Sprachen auf das Russische durchzuführen, um damit den hier erzielten Befund zu stärken und zu differenzieren.

Literatur

Lexika

DAL' = Даль, В.: *Толковый словарь живаго великорускаго языка*, 2-е изд., испр. и значит. умнож. по ркп. автора, Т. 1: А–З, С.-Петербург – Москва 1880 [Reprint: Москва 1935].

ĚSSJA = Трубачев, О. Н. (ред.): *Этимологический словарь славянских языков. Пра-славянский лексический фонд*, Москва:

Вып. IV: *čaběniti – *děla, 1977;

Вып. XIX: *męs^(s)arь – *morzakъ, 1992;

Вып. XX: *morzatъjь – *mъrsknqti, 1994.

ESSUM = Митр. Іларіон [Іван Огієнко]: *Етимологічно-семантичний словник української мови*, ed. by G. Mulyk-Lutzyk, Т. III, Winnipeg 1988 (= Институт дослідів Волині 39.3).

SDRJA = *Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)*, Москва:

IV: Аванесов, Р. И. (гл. ред.): *изживати – моление*, 1991;

V: Аванесов, Р. И./Улуханов, И. С. (гл. ред.): *молимъ – обатьнъ*, 2002.

SP = Ślawski, F. (red.): *Słownik prasłowiański*, Т. I: А–В, Wrocław 1974.

SREZN = Срезневский, И. И.: *Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникамъ*, Т. 1–3, С.-Петербургъ 1893–1903 [Reprint: Москва 1989].

SRJA = Филин, Ф. П./Богатова, Г. А. (ред.): *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, Вып. IX: М, Москва 1982.

SSRLJA = Филин, Ф. П. (председ. редкол.): *Словарь современного русского литературного языка*, Т. 16: У–Ф, Москва – Ленинград 1964.

26 Vgl. hierzu auch KEIPERT 1977: 25, der im Hinblick auf die *-tel'*-Bildungen ebenfalls den ruthenischen Raum als Überlagerungsgebiet horizontal-polnischer und vertikal-kirchenslavischer Einflüsse benennt: »Diese beiden ›Einflußwellen‹ überlagern sich im Weißrussischen und Ukrainischen, bei denen ksl. (und russ.) und poln.-čech. Wortgut sich vereinen«.

Studien

- ALEKSEEV 2009 = Алексеев, А. А.: »Западное влияние в России нового времени и церковнославянское языковое наследие«, in: BESTERS-DILGER/POLJAKOV 2009: 41–68.
- BARANKOVA 1998 = *Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского. Ранняя русская редакция*, изд. подгот. Г. С. Баранкова, Москва (= Памятники древнерусской мысли).
- BARTNICKA et al. 2004 = Bartnicka, B./Hansen, B./Klemm, W./Lehmann, V./Satkiewicz, H.: *Grammatik des Polnischen*, München (= Slavolinguistica 5).
- BESTERS-DILGER/POLJAKOV 2009 = Besters-Dilger, J./Poljakov, F. (Hg.): *Die russische Sprache und Literatur im 18. Jahrhundert: Tradition und Innovation. Gedenkschrift für Gerta Hüttl-Folter*, Frankfurt a. M. etc. (= RCE 5).
- BREU 1994 = Breu, W.: »Der Faktor Sprachkontakt in einer dynamischen Typologie des Slavischen«, in: Mehlig, H. R. (Hg.): *Slavistische Linguistik 1993. Referate des XIX. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens Kiel 21.–23.9.1993*, München (= Slavistische Beiträge 319), 41–64.
- BULIČ 1893/1986 = Буличъ, С. К.: *Церковнославянскіе элементы въ современномъ литературномъ и народномъ русскомъ языкѣ*, Ч. I, Nachdr. u. Nachw. v. P. Kosta, München (= Specimina philologiae Slavicae 65) [Nachdr. d. Ausg.: С.-Петербургъ '1893 (= Записки историко-филологического факультета Императорскаго С.-Петербургскаго университета 32)].
- СНЈУТЛ' VORT 1968 = Хютль Ворт, Г.: »Роль церковнославянского языка в развитии русского литературного языка. К историческому анализу и классификации славянизмов«, in: Kučera H. (ed.), *American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists Prague, 1968, August 7–13*, Vol. 1: *Linguistic contributions*, The Hague – Paris (= Slavistic Printings and Reprintings 80), 95–124.
- ЕС'КОВА 1964 = Еськова, Н. А.: »Образование синтетических форм степеней сравнения в современном русском литературном языке«, in: Мучник, И. П./Панов, М. В. (ред.): *Развитие грамматики и лексики современного русского языка*, Москва, 235–255.
- FERGUSON 1959 = Ferguson, Ch. A.: »Diglossia«, in: *Word* 15, 325–340.
- GRENOBLE 2010 = Grenoble, L. A.: »Contact and the Development of the Slavic Languages«, in: Hickey, R. (ed.): *The Handbook of Language Contact*, Malden/Mass. etc. (= Blackwell Handbooks in Linguistics), 581–597.
- HAARMANN 1999 = Haarmann, H.: »Zu den historischen und rezenten Sprachkontakten des Russischen«, in: JACHNOW ²1999: 780–813.
- JACHNOW ²1999 = Jachnow, H. (Hg.): *Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen*, Wiesbaden (= Slavistische Studienbücher, N. F. 8).
- KEIPERT 1977 = Keipert, H.: *Die Adjektive auf -telъnъ. Studien zu einem kirchenslavischen Wortbildungstyp*, 1. Teil, Wiesbaden (= Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin 45).
- 1985 = Keipert, H.: »Old and New Problems of the Russian Literary Language (Arguments for a New Kind of Russian Linguistic History)«, in: Stone, G./Worth, D.: *The Formation of the Slavonic Literary Languages. Proceedings of a Conference Held*

- in Memory of Robert Auty and Anne Pennington*, Columbus/Ohio (= UCLA Slavic Studies 11), 215–224.
- ²1999 = Keipert, H.: »Geschichte der russischen Literatursprache«, in: JACHNOW ²1999: 726–779.
- KIPARSKY 1967 = Kiparsky, V.: *Russische historische Grammatik*, Bd. II: *Die Entwicklung des Formensystems*, Heidelberg (= Slavica: Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher, N. F.).
- 1975 = *Ibidem*, Bd. III: *Die Entwicklung des Wortschatzes*.
- KOCHMAN 1975 = Kochman, S.: *Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w. Słownictwo*, Opole 1975.
- MOSER 1998 = Moser, M.: *Die polnische, ukrainische und weißrussische Interferenzschicht im russischen Satzbau des 16. und 17. Jahrhunderts*, Frankfurt a. M. (= *Schriften über Sprachen und Texte* 3).
- ОВНОРСКИЈ 1927 = Обнорский, С. П.: »К истории словообразования в русском литературном языке«, in: *Русская речь* (новая серия) 1, 75–89.
- 1946 = Обнорский, С. П.: *Очерки по истории русского литературного языка старшего периода*, Москва – Ленинград.
- RABUS 2008 = Rabus, A.: *Die Sprache ostslavischer geistlicher Gesänge im kulturellen Kontext*, Freiburg i. Br. (= MLS 52).
- 2010 = Rabus, A.: »Das Polnische im innerslavischen Sprachkontakt«, in: Fischer, K. B./Krumholz, G./Lazar, M./Rabiega-Wisniewska, J. (Hg.): *Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav)*, Bd. 13, München – Berlin (= WdSl. Sammelbände/Сборники 40), 206–213.
- 2011 = Рабус, А.: »Русский язык в межславянском языковом контакте (на примере церковнославянско-русского и польско-русского контактов)«, in: Karl, K. B./Krumholz, G./Lazar, M. (Hg.): *Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav)*, Bd. 14, München – Berlin (= WdSl. Sammelbände/Сборники 43), 192–200.
- ŠACHMATOV/SHEVELOV 1960 = Šachmatov, A./Shevelov, G. Y.: *Die kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen Literatursprache*, Wiesbaden (= Slavistische Studienbücher 1).
- ŠANSKIЈ 1958 = Шанский, Н. М.: »Имена существительные с суффиксом *-изна* в русском языке«, in: Ефимов, А. И. (ред.): *Сборник статей по языкознанию. Профессору московского университета академику В. В. Виноградову в день его 60-летия*, Москва, 330–341.
- 1959 = Шанский, Н. М.: »О происхождении и продуктивности суффикса *-ость* в русском языке«, in: Кузнецов, П. С. (ред.): *Вопросы истории русского языка*, Москва, 104–131.
- SINIELNIKOFF 1982 = Sinielnikoff, R.: *Formacje z sufiksem -izna w języku polskim na tle słowiańskim*, Warszawa (= Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 141).
- СОВОЛЕВСКИЈ 1980 = Соболевский, А. И.: *История русского литературного языка*, изд. подгот. А. А. Алексеев, Ленинград.
- STRUMINS'KYJ 1984 = Strumins'kyj, B.: »The Language Question in the Ukrainian Lands before the Nineteenth Century«, in: Picchio, R./Goldblatt, H. (ed.): *Aspects of the Slavic Language Question*, Vol. 2: *East Slavic*, New Haven (= Yale Russian and East European Publications 4b), 9–47.

- USPENSKIJ ³2002 = Успенский, Б. А.: *История русского литературного языка (IX–XVII вв.)*, Москва.
- VEENKER 1967 = Veenker, W.: *Die Frage des finnougri-schen Substrats in der russischen Sprache*, Bloomington (= Uralic and Altaic Series 82).
- VERKHOLANTSEV 2008 = Verkholantsev, J.: *Ruthenica Bohemica. Ruthenian Translations from Czech in the Grand Duchy of Lithuania and Poland*, Wien – Berlin (= Slavische Sprachgeschichte 3).
- VLASTO 1986 = Vlasto, A. P.: *A Linguistic History of Russia to the End of the Eighteenth century*, Oxford.
- WITKOWSKI ²2006 = Witkowski, W.: *Nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim*, Kraków.
- ZOLTÁN 2009 = Zoltán, A.: »Вопросы о неославянизмах в исследованиях последних десятилетий«, in: BESTERS-DILGER/POLJAKOV 2009: 69–82.

Die Slavia im Spannungsfeld zwischen europäischer Integration und nationaler Selbstbestimmung

1. Die Slavia als Forschungsgegenstand und/oder wissenschaftliche Projektionsfläche

Keine andere europäische Sprachfamilie hat im Verlauf der letzten beiden Jahrhunderte solch große Wandlungen in ihrem lexikalischen und grammatischen Normengefüge erfahren wie die der slavischen Sprachen. Zwar wurden diese Prozesse von Sprachträgern selbst angestoßen. Doch kamen die entscheidenden Impulse für diesen Sprachwandel fast ausnahmslos durch gesellschaftliche und politische Veränderungen. Deshalb bleibt es erklärungsbedürftig, warum die slavistische Forschung in Deutschland diese extralinguistischen Faktoren in einer solch unverzeihlichen Weise vernachlässigt.¹ Jüngstes anschauliches Beispiel für dieses Desiderat extralinguistischer Faktoren für den Sprachwandel innerhalb der Slavia ist die EU-Osterweiterung der Europäischen Union in den Jahren 2004 und 2007.² Mit diesem Schritt wurden fünf slavische »Staats Sprachen«, nämlich das Polnische, Tschechische, Slowakische, Slowenische sowie das Bulgarische zu offiziellen »Amtssprachen der Europäischen Union«. Deren Sprecherzahl zusammen genommen entspricht mit ca. 64 Millionen Muttersprachlern etwa der Einwohnerzahl Frankreichs.

1 Ein Blick in das Programm des Deutschen Slavistentags 2009 ergab, dass von den 157 Fachbeiträgen nur etwa jeder fünfte einen thematischen Bezug zur aktuellen sprachlichen oder gesellschaftlichen Realität herstellt, vgl. unter: <http://www.slavistentag2009.uni-tuebingen.de/programm.html#allg> [23.06.2011].

2 Kein einziger Beitrag des Slavistentags 2009 hat sich dieser Thematik angenommen oder zumindest angenähert; nur drei Teilnehmer diskutierten die veränderte Stellung des Russischen als Fremdsprache (s. o. Anm. 1, vgl. Vladislava Zhdanova: *Auf dem Weg zu einer neuen Varietät des Russischen? Systematische und funktionale Veränderungen des Russischen in Deutschland*, Irmgard Wielandt: *Russisch an Gymnasien* und Mathias Burghardt: *Neue Wege im deutsch-russischen Schüleraustausch*), ein Beitrag behandelte das Russische als Migrantensprache in Deutschland (vgl. Stefan Höhbusch) und ein weiterer Teilnehmer äußerte sich kritisch zum europäischen Referenzrahmen (vgl. Hermann Fegert: *Rettet den Sprachunterricht*).

Täglich werden neue EU-Dokumente oder Parlamentsreden in alle Amtssprachen übersetzt, so dass die EU – wenn auch nicht sprachlich – so doch zumindest begrifflich zu einem gemeinsamen Kommunikationsraum zusammenwächst. Dies verändert zwangsläufig auch die neuen slavischen Amtssprachen. Hinzu kommt die Aufwertung des Russischen als offizielle EU-Minderheitensprache sowie als eine der fünf führenden Fremdsprachen. So liegt Russisch derzeit gleichauf mit Spanisch, die beide von jeweils 6 Prozent der EU-Bürger verstanden werden.³

Warum diese sprachlichen und gesellschaftlichen Realitäten an der deutschen Slavistik vorbeiziehen, ohne als Forschungsfragen nennenswerte Spuren zu hinterlassen, lässt sich nur vermuten. Eine Antwort liegt sicherlich in der leidvollen Erfahrung mit der politischen Instrumentalisierung slavistischer Forschungen. Auf die Diskreditierung und Vernichtung der slavischen Kulturen durch die Rassenideologie des Nationalsozialismus folgte ein halbes Jahrhundert lang betroffenes Schweigen. Dabei fördern gerade jüngere Forschungsarbeiten zu Tage, dass es in Deutschland namhafte Slavisten gab, die sich wie Max Vasmer dieser politischen Indienstahne verweigerten oder zumindest entzogen, und dass es vor allem politische Amtsträger waren, die mit ihrem Halbwissen und Unwissen antislavische Stimmungen erzeugten (vgl. SCHALLER 2002: 55 f.). Doch eine solche historische Aufarbeitung kann eigentlich nur der Auftakt dafür sein, einer nationalistischen Ideologie mit wissenschaftlichen Argumenten die Stirn zu bieten, die auch in den slavischsprachigen Gesellschaften des ehemaligen Osteuropa auf fruchtbaren Boden gefallen war. Denn entgegen allgemeinen Darstellungen wurden während der Systemkonfrontation die ethnisch-nationalen Konflikte Osteuropas nicht etwa »eingefroren« (vgl. den populären Begriff »frozen conflicts«), sondern in dieser Zeit erst angelegt und ausgebaut. Hierfür stehen stellvertretend die Namen von Stalin und Tito, die ihre Vielvölkerstaaten mit einer Nationalitätenpolitik beherrschten, die innerhalb ihrer Einparteiensysteme politische Repräsentationsrechte mit der Sprachidentität verknüpfte.

Als die Nationalismen Osteuropas zur Wendezeit 1990/91 außer Kontrolle gerieten und der Demokratisierungsprozess in den Zerfall der Sowjetunion und Jugoslawiens mündete, hielt sich die deutsche Slavistik aus den aufkeimenden Sprach- und Kulturkämpfen vornehm zurück. Sie überlies einigen Osteuropahistorikern die Meinungsführerschaft, die das Phänomen des Nationalismus in Osteuropa nicht etwa vergleichend analysierten, sondern es personalisierten: Während z. B. Slobodan Milošević und mit ihm ganz Serbien zu Hauptverantwortlichen der Jugoslawienkriege deklariert wurden, blie-

3 Zur Verwendung der Termini *Staatssprache* bzw. *Amtssprache der EU* sowie zur Verteilung der Fremdsprachenkenntnisse innerhalb der EU vgl. *EuBarSp*: 6 und 13.

ben andere wie Alija Izetbegović, Franjo Tuđman oder Hashim Thaçi bis heute weitgehend verschont. Ihre nationalistischen Ideologien werden umdatiert und als Antwort auf eine serbische Unterdrückung reinterpreted. Spuren des kroatischen, bosnischen oder albanischen Nationalismus, die bis in die Zeit der deutschen Besatzung Jugoslawiens während des zweiten Weltkrieges zurückreichen, werden verwischt oder bleiben ungenannt.⁴ Auch wenn sich die deutsche Slavistik mehrheitlich nicht in diese Politisierung der Kulturgeschichte einspannen ließ, so hat sie dem auch nichts entgegengehalten, sondern zugeschaut, wie die jugoslawischen Eliten ihre gemeinsame serbokroatische Standardsprache in ihre dialektalen Einzelbestandteile zerlegten und schließlich auflösten. Einen vergleichbaren Kulturkampf im deutschen Sprachraum hätten Germanisten ohne zu zögern als das beschrieben, was es wäre: als einen beispiellosen Zerfall einer hoch entwickelten Sprachkultur.

Während kroatische Sprachwissenschaftler wie z. B. Snježana KORDIĆ (vgl. 2010) heute kritisch nach den soziolinguistischen Kontexten für den Zerfall des Serbokroatischen fragen, d. h. Verantwortliche benennen und deren linguistische Kompetenzen in Zweifel ziehen, wollen andere Slavisten in diesen Entwicklungen keinen Verlust erkennen. Der Wegfall standardsprachlicher Normen sei nicht zu bedauern, weil dadurch der Blick frei werde für »den Zustand vor dem Eindringen der ethnonationalen Ideologie« (vgl. VOß/NA-GÓRKO 2009: 9 [Hervorh. orig.]). Diese Einschätzung ist in sich widersprüchlich und inkonsequent. Denn es ist geradezu der überregionalen serbokroatischen Standardsprache zu verdanken, dass für mehr als ein Jahrhundert die mentalen Grenzen nationalistischen Denkens überwunden werden konnten. Wer den heutigen Sprachnationalismus in Südosteuropa kritisiert, müsste folgerichtig für den Erhalt dieser Standardsprache plädieren. Schließlich führt der Gegenentwurf in Form von »synkretistischen Überlagerungen und Vermischungen von Kulturen« in die Irre. Mit diesem romantisierenden Sprachverständnis verzichtet man auf eine Unterscheidung zwischen Dialekten als offene und fluide Sprachsysteme des Alltagslebens und normierten Schriftsprachen, die unter bestimmten Voraussetzungen in unseren modernen Staaten die Funktion von Amtssprachen übernehmen. Beide Sprachebenen aber sind unabdingbare Voraussetzungen für die Entwicklung jedweder Sprachkultur. Während die Alltagssprachen eine kreative Dynamik entfalten, ist die normierte Standardsprache letztlich auch das Fenster zum Schrifttum anderer Schriftsprachen und somit zum Kulturaustausch schlechthin.

Wer diese unterschiedlichen Funktionsebenen von Sprache gegeneinander ausspielt, redet nicht nur einem Analphabetismus das Wort. Er bleibt letztlich auch gegenüber Nationalisten stumm, die ihre sprachpolitischen Ambi-

4 Verwiesen sei hier nur auf eine aktuelle Darstellungen von Holm SUNDHAUSSEN 2008.

tionen stets mit dialektalen Regionalismen begründen. Dies lässt sich am aktuellen Beispiel des Bosnischen oder Montenegrinischen beobachten, deren neue standardsprachlichen Normen unter Berufung auf historische oder lokale Besonderheiten entwickelt werden. Das Hauptanliegen der Sprachplanner ist die Abgrenzung vom bisherigen serbokroatischen Standard, der zum Symbol serbischer Unterdrückung stigmatisiert wird. Die neuen staatlichen Institutionen machen es möglich, dass die gesuchte sprachliche Differenz zur Ausgrenzung der Nachbarn auch ins Werk gesetzt werden kann. Das Interesse von Slavisten an der Erforschung dieser jüngsten Sprachnormierungsprozesse ist eigentlich nur dann zu verstehen, wenn man diese soziolinguistischen Realitäten ausblendet. Denn im Gegensatz zur Entwicklung neuer slavischer Schrift- bzw. Amtssprachen im 19. und 20. Jahrhundert, die dem Gros der Bevölkerung erstmals einen Zugang zu Bildung und Studium ermöglichten, hat die heutige Schöpfung neuer standardsprachlicher Normen für mehr oder weniger als eine Million Sprechern nichts mehr mit den ehemaligen Idealen der Aufklärung und noch weniger mit Demokratisierung zu tun. Im Gegenteil soll bereits erlerntes Wissen und eine erlernte Sprachfähigkeit vergessen gemacht werden.

Am wenigsten aber kann man in diesen Tendenzen irgendeine europäische Perspektive entdecken. Und dennoch wird derzeit die These vom »Osteuropa als Paradigma des postnationalen Europas« in den Forschungsraum gestellt. Doch wo sind dort »die neuen europäischen Ideale von Polykulturalität und Multioptionalität« tatsächlich zu finden, von denen selbst Deutschland etwas lernen könne (VOß/NAGÓRKO 2009: 9)? In Bosnien-Herzegowina, in der Republik Makedonien, im Kosovo? Vielleicht in der Ukraine, in Russland oder in Georgien? All diese Staaten leiden bis heute unter staatlichen Zerfalls- und Nationsbildungsprozessen, bei denen Sprachidentitäten die wichtigste Rolle zur politischen Legitimation und Partizipation spielen. Gesellschafts- und Nationsmodelle, die ethnische Vielfalt, sprachliche Differenzen und religiösen Pluralismus akzeptieren und gleichzeitig die Entwicklung einer politischen Kultur auf der Basis gemeinsamer politischer Werte ermöglichen, sind in Osteuropa nur selten anzutreffen, am ehesten in den neuen EU-Mitgliedstaaten. Deshalb führt es nicht weiter, den Nationalstaat als ausgedientes Modell zu verteufeln und ihm alternativ ein fiktives polykulturelles »Alltagsmilieu« entgegenzuhalten. Vielmehr muss die konkrete Frage gestellt werden, wie die derzeitigen Nationalstaaten Europas mit dieser kulturellen Vielfalt umgehen und zwei extreme Entwicklungen vermeiden, nämlich eine ausgrenzende sprachliche Homogenisierung wie auch eine sprachliche Atomisierung der Gesellschaft durch die Entstehung paralleler Sprachwelten.

Die These vom »Osteuropa als Paradigma des postnationalen Europa«, in der sich die Staats- und Sprachgrenzen förmlich auflösen, wird jedoch nicht nur als ein neues »europäisches Ideal« formuliert, sondern auch als mögliche Gefahr gesehen, vor allem was die Slavia in Mitteleuropa betrifft. Denn einige Autoren haben mit dem Thema »Panslavismus« bzw. »Euroslavismus« einen weiteren Forschungsraum entdeckt. Für sie erscheint eine »Reaktivierung der ›slavischen Idee‹ [...] auch im 21. Jahrhundert als politisch-kulturelle Option«, so dass weitere wissenschaftliche Analysen über die »slawische Solidarität« notwendig seien (TROEBST 2009: 19). Doch erstens zeigen Beiträge wie z. B. zur Internet-Plattform »Slovio«, dass hier eher sogenannte »Pseudo-Panslawen« am Werk sind und an der Rekonstruktion einer gesamt-slavischen Sprache arbeiten (BERGER 2009). Zum anderen wird Russland als möglicher Initiator im Hintergrund eher eine Abkehr von der »panslawischen Idee« zugunsten einer neuen »eurasischen Ideologie« bescheinigt (BEHRENDTS 2009: insb. 113). Schließlich überzeugt der Hinweis auf Länderbeispiele wie die Slowakei, die Ukraine und Belarus' nicht. Deren Diskurse drehen sich allenfalls um den slavischen Charakter ihrer eigenen Nationalgeschichten, nicht aber um neue slavische Einigungsideen (HADLER 2009; TEMPER 2009). Selbst im Fall der Ukraine kann man die Diskussionen um die kulturelle und politische Nähe zwischen den ostslavischen Staaten eher als Entwürfe einer nationalen oder auch nationalistischen Geschichtspolitik interpretieren (JILGE 2009; TEMPER 2009). Alle diese Beispiele zusammengenommen lassen keine neue »Gefahr« aus dem Osten erkennen. Und schon gar nicht kann man der Einschätzung zustimmen:

Zu beobachten ist eine schrittweise »Slawisierung« der Europäischen Gemeinschaft. Ursache waren Arbeitsmigration und politisch bedingte Immigration, dann die Ausweitung der europäischen Integration (TROEBST 2009: 17).⁵

Derartige Feststellungen verführen lediglich dazu, eine fast schon in Vergessenheit geratene Slavenfeindlichkeit mit einer aufkommenden Europaskepsis zu verbinden. Mit der sprachlichen Realität in der Europäischen Union haben sie nichts zu tun. Denn wie eingangs erwähnt, sind mit der letzten Osterweiterung 2004 und 2007 ca. 64 Millionen Menschen mit einer slavischen Muttersprache EU-Bürger geworden. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung der Europäischen Gemeinschaft liegt aktuell bei ca. 13 %, was etwa dem An-

5 Auch die historischen Ausführungen dieses Autors sind befremdlich: So werden auf S. 15 »Slawophobie und Antislavismus« des Nationalsozialismus als eine ideologische »Gegenreaktion« auf »die slawische Einheitsvorstellung« gedeutet. Verschwiegen wird die Kontinuität eines Slavenfeindbildes, mit dem schon die Außenpolitik des deutschen Kaiserreichs die Eroberung Osteuropas rechtfertigte. Der Leser erwartet hier eine Reflexion über die größeren historischen Zusammenhänge.

teil der englischen oder französischen Muttersprachler (mit 13 bzw. 12 %) entspricht. Weitere 25 % wachsen mit einer germanischen Sprache auf (davon ca. 18 % Deutsch als Muttersprache) und ca. 40 % gehören der romanischsprachigen Bevölkerungsgruppe an (einschließlich des Französischen).⁶ Die Slaven sind somit in einer eindeutigen Minderheitenposition, so dass nicht etwa eine fiktive »Slavisierung« der Europäischen Union als Problem zu sehen ist, sondern ihr Umgang mit der neuen Mehrsprachigkeit innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Über welche eigenen Erfahrungen verfügen die fünf slavischesprachigen EU-Mitglieder und welche Strategien haben sie entwickelt, um auf gesamteuropäischer Ebene auf die sprachpolitischen Herausforderungen angemessen zu reagieren?

2. Die Slavia und die neue Mehrsprachigkeit innerhalb der Europäischen Union

In allen heutigen EU-Staaten Mittel- und Südosteuropas verliefen seit den 90er Jahren zwei Prozesse parallel zu einander: auf der einen Seite die Wiedererlangung der vollen nationalen Souveränität infolge der Auflösung des Ostblocks unter sowjetischer Hegemonie, auf der anderen Seite die wirtschaftliche und politische Annäherung der Transformationsländer an die Europäische Gemeinschaft. Davon ausgenommen blieb lediglich das ehemalige Jugoslawien, das mit seinem Modell der »sozialistischen Marktwirtschaft« bereits über einen Assoziiertenstatus verfügte und dennoch kurz vor seinem Staatszerfall vergeblich einen Beitrittsantrag stellte. Dagegen erhielten die Staaten mit einer ehemals sozialistischen Planwirtschaft von Beginn an Assoziierungsverträge, die in eine spätere EU-Mitgliedschaft münden sollten. Rückblickend lässt sich feststellen, dass die Beitrittsperspektive offenbar ein Abgleiten der heutigen EU-Mitglieder in nationalistische Auswüchse wie in Jugoslawien verhindern konnte. Das heißt allerdings nicht, dass damit die Gefahr eines Sprachnationalismus völlig gebannt worden wäre, der auf eine sprachliche wie auch politische Ab- und Ausgrenzung orientiert ist. So kam es im Falle der ehemaligen Tschechoslowakei schon 1993 ebenfalls zur staatlichen Trennung entlang der damaligen föderalen Grenze. Doch die Aufteilung des gemeinsamen Kultur- und Sprachraums vollzog sich ohne tiefer gehende Konflikte. Dabei muss man allerdings in Rechnung stellen, dass Tschechen und Slowaken schon seit der Kodifizierung ihrer beiden Schriftsprachen im Verlauf des 19. Jahrhunderts unterschiedliche Sprachsysteme besa-

6 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, *Sprachenregelung in EU-Behörden*, http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Lexikon/EUGlossar/S/2005-11-22-sprachenregelung-in-eu-behoerden.htm [8.2.2011]; vgl. auch *EuBarSp*: 8.

ßen, so dass die Auflösung einer gemeinsamen Amtssprache wie im Fall des Serbokroatischen gar nicht zur Diskussion stehen konnte. Doch akzeptieren die Behörden beider Staaten bis heute den gegenseitigen Gebrauch dieser beiden Standards.

Die Aufteilung des tschechisch-slowakischen Kommunikationsraums hat jedoch für die Bevölkerung mit einer nichtslavischen Muttersprache unterschiedliche Konsequenzen nach sich gezogen. Während das Deutsche seit 1990 eine gesellschaftliche Aufwertung erfährt und mit dem Englischen zur favorisierten Fremdsprache aufgestiegen ist, gibt es anhaltende Konflikte um den Gebrauch des Ungarischen. Zu erklären ist dies mit einer Wiederbelebung der historischen Mehrsprachigkeit aus der Zeit der Habsburgermonarchie, als das Deutsche noch über eine dominante Stellung in der Verwaltung verfügte. Mit der Gründung der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn im Jahre 1867 kam die slowakischsprachige Bevölkerung größtenteils zur ungarischen Reichshälfte. Während Wien in seinem Reichsteil allmählich die Sprach- und Kulturpolitik vor allem zugunsten der slavischen Bevölkerung liberalisierte, erhöhte Budapest seinen Assimilationsdruck auf seine romani- und slavischsprachigen Untertanen, denen – mit Ausnahme der Kroaten – keinerlei Minderheitenrechte zugestanden wurden. An diese negative historische Erfahrung erinnern heute vor allem solche slowakischen Politiker, die wie die Slowakische Nationalpartei (SNS – Slovenská Národná Stranka) eine nationalistische Agenda verfolgen und gegen die großzügigen Minderheitenrechte der ungarischsprachigen Bevölkerung polemisieren. Sie befürchten eine sprachliche Ghettoisierung der Slowaken in der Südslowakei, wo mehrheitlich die ungarische Sprachminderheit lebt (RAFAJ 2010).

Doch auch die ungarische Geschichtspolitik tut sich bis heute schwer damit zu akzeptieren, dass die Bevölkerung im historischen Ungarn mehrsprachig war. Zum Zeitpunkt der Einführung der Doppelmonarchie lag der Anteil der Bevölkerung ungarischer Identität auf dem gesamten Gebiet der ungarischen Reichshälfte nur bei 36,5 % und stieg innerhalb von 50 Jahren auf 48,1 % (1910).⁷ Trotzdem wird die Auflösung des Kaiserreichs am Ende des verlorenen Ersten Weltkriegs als ein territorialer Verlust und als nationales Trauma empfunden. Dabei übersehen Historiker, dass aus der Konkursmasse des Vielvölkerreichs nicht nur die Tschechoslowakei hervorgegangen ist, sondern mit dem Friedensvertrag von Trianon (1920) auch Ungarn erstmals als souveräner Nationalstaat gegründet wurde. Die politische Wende von 1990 nutzt nun eine Reihe ungarischer Politiker, um diesen vermeintlichen Verlust zu kom-

7 Dies entsprach dem Anteil der deutschsprachigen Bevölkerung in der österreichischen Reichshälfte (Cisleithanien) von 36,1 %. In der gesamten Habsburgermonarchie hatten damals 13,4 % eine ungarische Identität; vgl. hierzu: RIEDEL 2005: 215 f.; vgl. ebenso: KATUS 1980: 414.

pensieren. Im Mittelpunkt ihrer neuen souveränen Außenbeziehungen steht eine Minderheitenpolitik, die sich auf die Bewahrung der ungarischen Kultur und Sprache in benachbarten Regionen orientiert. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn dabei nicht nationalistische Töne angeschlagen würden, die selbst eine Revision des Trianon-Vertrags in Betracht ziehen. Seitdem Victor Orbán mit seiner Partei Fidesz die Parlamentswahlen vom 29. Mai 2010 gewonnen hat, ist die Regierung erneut in die Offensive gegangen. Sie hat ein neues Staatsangehörigkeitsgesetz auf den Weg gebracht, wonach Angehörige der ungarischen Muttersprache in Rumänien, Serbien und in der Slowakei zukünftig die ungarische Staatsbürgerschaft beantragen können und damit auch das Wahlrecht in Ungarn erhalten. Bislang kamen die sogenannten »Auslandsungarn« nach dem Statusgesetz aus dem Jahre 2001 lediglich in den Genuss von ungarischen Sozialleistungen (vgl. THANEI 2002). Die betroffenen Nachbarländer kritisieren weniger das Konzept der doppelten Staatsbürgerschaft, vielmehr beschwerten sie sich darüber, dass diese gesetzliche Neuregelung ohne vorherige bilaterale Konsultationen beschlossen wurde. Sie befürchten nicht ohne Grund, dass dadurch Forderungen nach einer Territorialautonomie Auftrieb erhalten, die bislang nur von einzelnen Vertretern der Minderheit geäußert worden sind (MÜHLBERGER/JANSSEN 2010).

Um derartigen Forderungen den Wind aus den Segeln zu nehmen, hatte die Slowakei bereits im Jahre 1995 ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Gebrauch der slowakischen Amtssprache auf dem gesamten Staatsterritorium verbindlich regelt. Damit sollte auch in den südlichen Grenzregionen, wo die Bevölkerung mehrheitlich Ungarisch spricht, das Slowakische in allen öffentlichen Einrichtungen als verpflichtende »Staatsprache« geschützt werden.⁸ Doch erst die Gesetzesnovelle von 2009 gab Anlass zur Kritik und sorgte für neue Spannungen zwischen der ungarischen und slowakischen Regierung. Stein des Anstoßes war die Neuregelung, dass die slowakische Amtssprache zukünftig auch auf offiziellen Landkarten und Straßenschildern in den zweisprachigen Regionen stehen müsse. Zudem hätten Lehrwerke und Schulbücher der Sprachminderheiten fortan das Slowakische zumindest im pädagogischen Teil zu berücksichtigen.⁹ Die Sprachminderheit kriti-

8 Vgl. auf der Internetseite des Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky *Zásady vlády Slovenskej republiky k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky, č. 270/1995: Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov*: <http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/dokumenty>; vgl. engl. Ministry of Culture of the Slovak Republic, *An Act of Parliament Dated November 15 (1995) on the State Language of Slovak Republic*, <http://www.culture.gov.sk/en/legislation/jazykov-zkon---anglick-verzia> [15.07.2011].

9 Vgl. § 3a und § 4.3 der Gesetzesnovelle von 2009, in: *Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky, 357/2009 Z. z., 1.9.2009*, vgl. die slowakische, ungarische und englische Fassung des Gesetzes unter: <http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/legislatva> [15.07.2011].

sierte diese Vorschriften als einen Versuch der slowakischen Bildungspolitik, die Geographielehrbücher für die ungarischsprachigen Bürger umzuschreiben und auf diese Weise deren Muttersprache aus der Öffentlichkeit zurückzudrängen. »Pazsony [sollte] plötzlich Bratislava, die Duna Dunaj« heißen (SZIGETVARI 2008/2010).

Schließlich legte Budapest im Namen der ungarischsprachigen Minderheit bei verschiedenen europäischen Institutionen Protest ein, so z. B. beim Europäischen Parlament, beim Europarat und beim Hohen Kommissar für nationale Minderheiten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Der Hauptvorwurf lautet, die Gesetzesnovelle zur Regelung des Gebrauchs der slowakischen Amtssprache würde die vertraglich garantierten Minderheitenrechte einschränken. Dies komme ganz besonders drastisch durch die Androhung von Strafgeldern bis zu 5.000 Euro zum Ausdruck.¹⁰ Die slowakische Regierung wies diese Kritik zurück. In mehreren Interviews erklärte der damalige Außenminister Miroslav Lajčák: »Das Recht auf den Gebrauch der Minderheitensprache wird dadurch keineswegs eingeschränkt, das ist ja schon in anderen Gesetzen garantiert. Dass neben einer ungarischen Aufschrift auch eine slowakische sein muss, darin sehe ich absolut keine Diskriminierung der Minderheit« (THANEI 2009). Außerdem habe seine Regierung schon im Vorfeld der Ausarbeitung der Gesetzesnovelle den OSZE-Kommissar für nationale Minderheiten, Knut Vollebaek, konsultiert. Dieser bemühte sich nun im Verlauf des Jahres 2009, die Wogen zu glätten und die Kontroverse auf eine sachliche Grundlage zu stellen. In seinem Statement vom 22.7.2009 bescheinigte er der Slowakei einerseits, dass sie die garantierten Minderheitenrechte tatsächlich nicht antaste, machte ihr aber andererseits den Vorschlag, das Gesetz nochmals zu überarbeiten und durch eine präzisere Formulierung einzelner Passagen die ungarischen Vorbehalte und Missverständnisse auszuräumen.¹¹ So kam am 10.9.2009 unter seiner Vermittlung die »Gemeinsame Vereinbarung von Szécsény« zustande. Doch auch die daraufhin revidierte Gesetzesfassung vom 16.12. 2009, die am 1.1.2010 in

10 »Ungarn: Slowakisches Gesetz verstößt gegen EU-Vorschriften«, in: *EurActiv.com*, 17.12.2009, update: 29.1.2010: <http://www.euractiv.com/de/erweiterung/ungarn-slowakisches-gesetz-verstt-gegen-eu-vorschriften/article-188441> [15.07.2011].

11 »OSCE minorities commissioner discusses amendments to Slovakia's language law«, in: *High Commissioner on National Minorities, Press release*, 22.7.2009, vgl. <http://www.osce.org/hcnm/51194> [15.07.2011].

Kraft trat,¹² kritisierte das ungarische Außenministerium als Bruch der gemeinsamen Vereinbarung und lehnte sie abermals ab.¹³

Erst der Regierungswechsel in Bratislava Mitte 2010 brachte Bewegung in den Sprachenkonflikt. Denn zum einen machte sich die neue Regierung unter Iveta Radičová für eine weitere Gesetzesnovelle stark, in der kritische Textstellen korrigiert und konkretisiert wurden. So soll die angedrohte Geldstrafe für die Missachtung der slowakischen Amtssprache auf maximal 2.500 Euro begrenzt bleiben und ausdrücklich nur für offizielle Stellen gelten, nicht aber für Privatpersonen.¹⁴ Zum anderen wurde die Partei der ungarischen Minderheit Most–Híd als Koalitionspartner der Christdemokraten an der Neufassung des Sprachgesetzes beteiligt. Ihr Parteimitglied Rudolf Chmel wurde Vizepremier und übernahm mit diesem Amt auch den Geschäftsbereich für Menschenrechte und Minderheiten. Im Vorfeld der Parlamentswahlen hatte sich Most–Híd als »Partei der Zusammenarbeit« neu gegründet und damit von der »Partei der ungarischen Koalition« abgewendet, die sich von der ungarischen Außenpolitik hatte vereinnahmen lassen. Wie schon der Name »Brücke« auf Slowakisch und Ungarisch zum Ausdruck bringt, betont sie die Zugehörigkeit der Sprachminderheit zur Slowakei. Die Mehrsprachigkeit wird als Bindeglied betrachtet und nicht als Zeichen des nationalen Andersseins. Das Gros der Sprachminderheit scheint diesen Kurs zu befürworten: Während die Ungarische Koalition bei den Parlamentswahlen mit 4,3 % unter der 5-Prozent-Hürde blieb und ihre 20 Parlamentssitze verlor, erreichte Most–Híd 8,1 % und gewann somit auch Stimmen von der slowakischen Mehrheit.¹⁵ Eine solche Entwicklung, in der Organisationen der Sprachminderheit ihre Rechte als gleichberechtigte Staatsbürger einfordern und dabei ihre ethnischen Schranken überwinden, wäre vielleicht ein nachahmenswertes Beispiel.

12 Vgl. *Zásady vlády Slovenskej republiky k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky*, č. 270/1995: *Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov*, decembra 2009 č. 933/2009, vgl. den Text auch auf Ungarisch und Englisch unter: <http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/legislatva> [15.07.2011].

13 »The Foreign Ministry's standpoint on the statement of the OSCE minority High Commissioner regarding the Slovak State Language Law«, in: Ministry of Foreign Affairs [Ungarisches Außenministerium], 1.4.2010, vgl. unter: http://www.mfa.gov.hu/kum/en/bal/actualities/spokesman_statements/Vollebaek_eng_100104.htm [15.07.2011].

14 Vgl. Änderungspunkt 25 in der Gesetzesnovelle vom 2.2.2011, die vom Parlament beschlossen wurde und am 1.3.2011 in Kraft trat, vgl. in: z 2. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995: *Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov*, unter: <http://www.culture.gov.sk/umenie/ttny-jazyk/legislatva> [15.07.2011].

15 Vgl. die Homepage der Partei unter: <http://www.most-hid.sk/> [15.07.2011].

So gibt es innerhalb der EU-Mitgliedstaaten heute Sprachkonflikte, in denen sich die Slavia in einer Minderheitenposition befindet, wie z. B. im Baltikum. Dort stellt sich umgekehrt das Problem, inwieweit die slavischsprachige Bevölkerung bereit ist, die neuen baltischen Amtssprachen zu lernen und über diesen Weg als vollwertige Bürger am gesellschaftlichen und politischen Leben zu partizipieren. Allerdings ist hier eine völlig andere Ausgangslage des Konflikts als in Mitteleuropa zu berücksichtigen: In der (Tschecho-)Slowakei konnte sich die ungarische Sprachminderheit seit der Staatsgründung im Jahre 1919 auf einen Minderheitenschutz berufen, der sich immer stärker ausdifferenzierte und heute unter demokratischen Rahmenbedingungen auf einem hohen Niveau angekommen ist. Im Baltikum dagegen geriet insbesondere die Bevölkerung mit einer russischen Muttersprache erst mit der Souveränitätserklärung der ehemaligen baltischen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen im Jahre 1991 in eine Minderheitenposition. Dabei verlor sie nicht nur quasi über Nacht Führungspositionen in Wirtschaft und Gesellschaft, sondern auch ihre staatsbürgerlichen Rechte. Alle ehemaligen Sowjetbürger und ihre Nachkommen, die nach 1940 ins Baltikum eingewandert waren, d. h. sowohl Russen als auch Weißrussen und Ukrainer, wurden entweder zu Ausländern oder zu staatenlosen »Nicht-Bürgern« deklariert. Damit bleiben sie seitdem nicht nur von allen neuen demokratischen Partizipationsrechten wie z. B. vom Wahlrecht ausgeschlossen, sondern kommen auch nicht in den Genuss von Minderheitenrechten, weil diese nur für anerkannte »nationale Minderheiten« gelten, die im Besitz der Staatsbürgerschaft sind. Deshalb drängten Vertreter der Europäischen Union, des Europarats und der OSZE die baltischen Staaten während des EU-Beitrittsprozesses zu einer offensiven Einbürgerungspolitik. Seitdem hat sich zwar die Lage der Sprachminderheiten verbessert, doch sorgen Parteien mit einer explizit nationalistischen Orientierung wie z. B. die lettische »Partei für Vaterland und Freiheit/LNNK« dafür, dass die Hürden für eine Einbürgerung hoch bleiben.

Dies leitet Wasser auf die Mühlen derjenigen, die auch zwanzig Jahre nach der Auflösung der Sowjetunion die neuen politischen Realitäten nicht akzeptieren wollen und sich als Angehörige einer Sprachminderheit den Integrationsangeboten verweigern. Die größten Integrationsprobleme hat immer noch Lettland, wo nach der letzten Volkszählung (2000) 58,2 % der Einwohner Lettisch und 39,6 % Russisch als Muttersprache sprechen (vgl. ODIHR: 15). Diese Angaben berücksichtigen allerdings nicht die jeweiligen Zweitsprachenkenntnisse, die sich infolge der politischen Umstände stark veränderten. Schon am Ende der Sowjetzeit, nämlich im Jahre 1988 wurde das Lettische dem Russischen als zweite »Staatsprache« rechtlich gleichgestellt. Doch erst mit der Erlangung der staatlichen Souveränität (1991) konnte es seine Dominanz durchsetzen, während das Russische auf den Status einer

Minderheitensprache zurückfiel. Da die neuen politischen Machtverhältnisse allerdings nicht die sprachlichen Realitäten abbildeten, war eine offensive Sprachpolitik gefordert, um das Lettische auf das Niveau einer funktionierenden Amtssprache zu heben. Trotz vielerlei Angebote waren neun Jahre nach der Unabhängigkeit (2000) erst etwa 75 % der Bevölkerung Lettlands der Amtssprache mächtig (DRUVIETE/KANGERE 2001),¹⁶ während das Russische noch von nahezu allen Einwohnern verstanden wurde.

Deshalb ging Lettland daran, sein Sprachengesetz zum Schutz der lettischen Staatssprache aus dem Jahre 1999 zu revidieren, so dass z. B. ab 2004 in öffentlichen weiterbildenden Schulen für die russischsprachige Minderheit mindestens 60 % des Unterrichts auf Lettisch abgehalten werden muss. Dies ist eine klare Absage an das Modell eines eigenen Schul- und Bildungssystems für Sprachminderheiten vom Kindergarten bis zur Hochschule, wie es von einigen Minderheitenvertretern gefordert wird. Doch wenn sich die lettischen Behörden mit überzeugenden Argumenten für die Mehrsprachigkeit entscheiden, dann müssen sie die Angehörigen der Minderheit auch von diesem Konzept überzeugen. Allerdings können sie deren Bereitschaft zum Erlernen der lettischen Amtssprache nur dann erwarten, wenn sie auch als gleichberechtigte Staatsbürger betrachten und ihnen die Staatsbürgerschaft zugestehen. Noch heute müssen 336.000 Einwohner Lettlands und damit jeder sechste mit dem Status eines »Nicht-Bürgers« zurechtkommen (Stand: 1.7.2010).¹⁷ Deshalb empfiehlt der jüngste OSZE-Bericht den lettischen Behörden, zumindest auf lokaler Ebene den Sprachminderheiten das Wahlrecht zu geben (vgl. ODIHR: 18). Dies wäre ein erster entscheidender Schritt zur rechtlichen Gleichstellung aller Einwohner Lettlands.

3. Herausforderungen an die EU-Sprachenpolitik nach der Osterweiterung

Die oben dargestellten Fallbeispiele haben gezeigt, dass die EU-Beitrittsperspektive und die Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft dazu beigetragen haben, dass die Reformstaaten des ehemaligen Ostblocks ihre Kulturkonflikte um den Status ihrer jeweiligen Amts- und Minderheitensprachen mit unterschiedlichen politischen Instrumenten und d. h. vor allem auf friedlichem Wege bearbeiten konnten. Eine gewaltsame Eskalation wie im

16 Vgl. zur lettischen Integrationspolitik auch: Ministry of Foreign Affairs of the Republic Latvia, Integration Policy in Latvia: A Multi-Faceted Approach, 21 May 2010: <http://www.am.gov.lv/en/policy/4641/4642/4649/> [15.07.2011].

17 Vgl. ODIHR: 5. Im Jahre 2008 lag die Zahl der »Nicht-Bürger« noch bei 372.000, vgl. BUZAJEVŠ 2008: 12.

Falle des ehemaligen Jugoslawien oder der Nachfolgerepubliken der Sowjetunion blieb glücklicherweise aus. Gleichzeitig aber wurde mit ihrem Beitritt ein historisches Erbe in den Kreis der EU-Mitgliedstaaten hineingetragen, das noch einer großer Anstrengung und Aufklärungsarbeit bedarf, damit es nicht dem Europäischen Integrationsprozess insgesamt schadet. Notwendig wird in den kommenden Jahren ein Diskurs darüber sein, inwieweit das Modell einer Kulturnation, die als Idee vor etwa zweihundert Jahren geboren wurde, noch heute als politische Basis zur Entwicklung moderner Demokratien taugt. Denn sämtliche heutigen Sprachkonflikte entspringen der einfachen Formel: *sprachliche Identität = nationale Zugehörigkeit*. Hieraus leitet sich die Forderung von Sprachgemeinschaften ab, entweder eine nationale Minderheit oder aber eine Nation zu sein, der das Recht auf Gründung eines eigenen Staates zustehe. Könnten die EU-Mitgliedstaaten diesen gordischen Knoten durchbrechen und ausgehend vom Status quo alle ansässigen Bürger ihrer Länder als Staatsangehörige akzeptieren, wäre der Weg frei für eine Lösung der eigentlichen Probleme: Solche politisch verfassten Willensnationen könnten sich dann an die Arbeit machen und Konzepte entwickeln, wie sie mit der ethnischen, religiösen und sprachlichen Differenz ihrer Einwohner umzugehen denken.

Dies ist kein Plädoyer für die Verbannung der Kultur oder Sprache aus der Politik, sondern für eine klare Trennung zwischen den staatlichen Institutionen mit ihren gesetzlich festgelegten Regeln und einer darauf aufbauenden Kultur, die offen und grenzüberschreitend bleiben muss, um am dynamischen gesellschaftlichen Wandel teilzunehmen. Wenn sich aber die politische Legitimation und der Zugang zu öffentlichen Ämtern aus kulturellen Identitäten ableiten, muss es notwendigerweise zu Friktionen und Konflikten kommen: Entweder führt der kulturelle Wandel dazu, dass die kulturell legitimierte politische Macht und somit staatlich-institutionelle Fundamente in Frage gestellt werden, oder aber die Politik beginnt, aus eigenem Machterhalt heraus, die Kultur in ihrer Entwicklung zu begrenzen, zu instrumentalisieren und zu manipulieren. Beide Wege führen auf Abwege und gefährden unsere demokratisch verfassten Gesellschaften, dies ist jedenfalls die zentrale Erfahrung Europas des 20. Jahrhunderts. Deshalb wird an dieser Stelle die These vertreten, dass unsere europäischen Staaten unter einem politischen Nationskonzept wesentlich bessere Zukunfts- und Überlebenschancen haben. Dies setzt allerdings einen Bewusstwerdungsprozess voraus, in dem die Notwendigkeit einer Trennung von Kultur und Politik erkannt wird, ähnlich den Säkularisierungsprozessen im Verlauf des 19. Jahrhunderts und der Trennung zwischen Religion und Politik.

Bevor auf die Frage näher eingegangen wird, was dies letztlich für die Sprachpolitik der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten bedeutet,

sollen noch einige Argumente dargelegt werden, die gegen das Kulturnationsmodell und für das Konzept einer politischen Willensnation sprechen. Zu bedenken ist an erster Stelle, dass die kulturelle Verfasstheit einer Nation allein durch die Muttersprache notwendigerweise ein exklusives Modell darstellt: Bürger mit einer anderen Muttersprache werden per Definition aus der betreffenden Nation ausgeschlossen und zur Minderheit erklärt, obwohl sie meist die Staatsbürgerschaft dieses Landes besitzen. Mit anderen Worten: Durch die Anwendung des Kulturnationsmodells stellt der betreffende Staat ein bestimmtes Verhältnis zwischen Mehrheit und Minderheiten her und weist dem Einzelnen unabhängig von seinem Willen darin einen festen Platz zu. Selbst wenn ein Angehöriger einer Sprachminderheit die Sprache der Mehrheit erlernt, kann er sich seiner zugewiesenen Rolle als Minderheitenvertreter kaum entziehen. Dies muss auf kurz oder lang zur Unzufriedenheit führen, da nun einmal die Rechte entlang der muttersprachlichen Grenzen unterschiedlich verteilt sind. Wie die oben dargestellten Sprachkonflikte deutlich machen, wehren sich die Betroffenen aber genau dagegen, stets als Vertreter einer Minderheit wahrgenommen zu werden, schließlich erleben sie sich in ihrem regionalen Umfeld als Mehrheitsgesellschaft.

Aus dieser Minderheitenlage können Nachbarstaaten Vorteile ziehen, wenn sie als Angehörige derselben Sprachgruppe in ihrem Land in der Mehrheit sind. Denn folgen auch sie dem Kulturnationsmodell, können sie für die betreffende Sprachminderheit außerhalb ihrer Landesgrenzen die Rolle einer »Schutzmacht« (vgl. engl. »kin-state«) ableiten. So hatte die ungarische Opposition bereits Ende 2004 ein Referendum durchgesetzt und die ungarische Bevölkerung um Zustimmung zur Einführung einer Staatsbürgerschaft für »Auslandsungarn« gebeten. Doch statt der erforderlichen 2 Millionen – das sind 25 % der Wahlberechtigten – haben nur 1,5 Millionen Ungarn mit Ja gestimmt, so dass der Volksentscheid zunächst negativ ausfiel.¹⁸ Einen neuen Anlauf zur Revision des Staatsangehörigkeitsgesetzes unternahm der Fidesz erst nach seinem Sieg bei den Parlamentswahlen 2010. Wie oben schon herausgearbeitet, kritisieren die Slowakei und Rumänien diese Politik der doppelten Staatsbürgerschaft als direkte Einmischung in ihre innenpolitischen Belange. Dass ihre Befürchtungen nicht unbegründet sind, sollte dem Leser spätestens am Beispiel der Freiheitlichen Partei Österreich (FPÖ) deutlich werden. Denn auch sie drängt derzeit ihre Regierung zu einer verfassungsmäßigen »Verankerung der Schutzmachtfunktion Österreichs für die Südti-

18 »Ungarn: Referendum über Doppel-Staatsbürgerschaft gescheitert«, in: *derStandard.at* (6.12.2004), vgl.: <http://derstandard.at/1881327> [15.07.2011]; vgl. weiterführend CSER-GO 2005.

roler deutscher und ladinischer Muttersprache«. ¹⁹ Im Unterschied allerdings zum Fidesz verbindet die FPÖ die Schutzmachtrolle ihres Landes ganz offen mit der Möglichkeit einer Grenzrevision und des Beitritts der autonomen italienischen Region Trentino-Südtirol zu Österreich. ²⁰

Die politische Indienstnahme von Sprachminderheiten im benachbarten Ausland ist nichts Neues, sondern begann in demselben Augenblick, in dem die europäischen Staaten mit den Pariser Vorortverträgen im Jahre 1919 ein erstes Minderheitenschutzsystem vereinbarten (vgl. RIEDEL 2006: 247). Ursprünglich basierte es auf dem demokratischen Modell der Willensnationen, das die Bürger – unabhängig von ihrer Abstammung, ihrer religiösen oder sprachlichen Identität – rechtlich gleichstellt. Dies belegt z. B. der Vertrag von Saint-Germain-en-Laye, wo es in Artikel 66 Österreich betreffend heißt:

Alle österreichischen Staatsangehörigen ohne Unterschied der Rasse, der Sprache oder Religion sind vor dem Gesetze gleich und genießen dieselben bürgerlichen und politischen Rechte. ²¹

Ein paar Sätze später wird außerdem das Verhältnis von Staatsbürgerschaft und Muttersprache thematisiert und gemäß dem politischen Nationsmodell deutlich von einander getrennt:

Unbeschadet der Einführung einer Staatssprache durch die österreichische Regierung werden nicht deutschsprechenden österreichischen Staatsangehörigen angemessene Erleichterungen beim Gebrauche ihrer Sprache vor Gericht in Wort oder Schrift geboten werden.

Eine solche Differenzierung zwischen Staatsangehörigkeit und Muttersprache wurde auch im Vertrag von Trianon für Ungarn vorgenommen, wo Artikel 58 festlegt:

Unbeschadet der Einführung einer offiziellen Sprache durch die ungarische Regierung wird den ungarischen Staatsangehörigen anderer Zunge als der ungarischen

19 Vgl. Entschließungsantrag der Abgeordneten Strache, Neubauer und weiterer Abgeordneter betreffend die Verankerung der Schutzmachtfunktion Österreichs für die Südtiroler deutscher und ladinischer Muttersprache, XXIV.GP.-Nr. 346/AE, 21.1.2009, vgl.: http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00346/pmh.shtml [15.07.2011].

20 Vgl. das Zitat aus: Das Parteiprogramm der FPÖ, Salzburg, 23.4.2005, Kapitel VII: »Artikel 4. Österreich bleibt Schutzmacht der deutschen und ladinischen Südtiroler. Dem Land Südtirol ist die Möglichkeit des Beitritts zur Republik Österreich in freier Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes der Südtiroler offenzuhalten«, vgl. unter: <http://www.fpoe.at/dafuer-stehen-wir/partei-programm> [15.07.2011].

21 Vgl. Artikel 66, *Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye*, vom 10. September 1919, III. Teil: *Politische Bestimmungen über Europa*: <http://www.versailles-vertrag.de/svsg.htm> [15.07.2011].

schen angemessene Möglichkeit des mündlichen und schriftlichen Gebrauches ihrer Sprache vor Gericht geboten werden.²²

Deshalb wurde 1919 der ungarische Staat ebenso wie Österreich nach dem Modell einer politischen Willensnation und nicht als Kulturnation aus der Taufe gehoben. Da beide Länder ebenso wie das Deutsche Reich Gebietsverluste hinnehmen mussten, bestanden sie bei der Unterzeichnung dieser Friedensverträge auf einem Minderheitenschutz für ihre ehemaligen Reichsangehörigen im neuen Ausland. Deshalb mussten z. B. auch die Tschechoslowakei, Polen und Rumänien entsprechende Bestimmungen aufnehmen, die »zum Schutze der Interessen der nationalen, sprachlichen und religiösen Minderheiten [...] für notwendig erachtet« wurden.²³

Doch diese vertraglichen Vereinbarungen zwischen den europäischen Willensnationen wurden schon bald der Ideologie des Nationalismus geopfert. Den unrühmlichen Anfang machte die deutsche Außenpolitik, als das NS-Regime am 14.10.1933 den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund verkündete. Wissenschaftliche Publikation jener Zeit flankierten diese folgenschwere Entscheidung mit dem Hinweis auf die »Krise des Minderheitenschutzes«. Denn dieses System gewähre »kein Kollektivrecht der Nationalität, sondern lediglich ein individuelles Recht auf Nationalität«. Der Minderheitenschutz sei »auf dem Umweg über den abstrakten demokratischen Staatsbürgerbegriff in ein Problem des Schutzes individueller Freiheitssphären verwandelt« worden (RASCHHOFER 1936: 238). Demgegenüber verteidigte das NS-Regime den Anspruch einer Nation oder Nationalität »auf ein rechtlich gesichertes nationalkulturelles Eigendasein« und deren Existenz als kollektive Kulturgemeinschaft. Ausgehend von dieser begrifflichen Neuordnung forderte es eine Revision der Friedensverträge von 1919, die das »sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Völker« zum »obersten Maßstab« machen sollte. Nur dort, wo dies nicht zu verwirklichen sei, werde »Der Minderheitenschutz [...] zur Korrektur der Vorenthaltung des Selbstbestimmungsrechts« empfohlen (*ibid.*: 250, 236). Der weitere Verlauf des Zweiten Weltkrieg hat gezeigt, wohin die kulturalistische Neudefinition des Nations- und Minderheitenbegriffs durch die nationalsozialistische Ideologie führte: Dem Schutz der eigenen nationalen (Sprach-)Minderheit im Ausland folgte die Revision

22 Vgl. Artikel 58, Vertrag von Trianon vom 4. Juni 1920, III. Teil: *Politische Bestimmungen über Europa*: <http://www.versailles-vertrag.de/trianon/index.htm> [15.07.2011].

23 Vgl. die Artikel 57 bzgl. der Tschechoslowakei und Artikel 60 bzgl. Rumänien, in: *Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye*, vom 10. September 1919, III. Teil: *Politische Bestimmungen über Europa* (s. o.). Auch im Versailler Vertrag finden sich entsprechende Bestimmungen zum Minderheitenschutz, so im Artikel 86 bzgl. der Tschechoslowakei, Artikel 93 bzgl. Polen, in: *Versailler Vertrag*, vom 28. Juni 1919, III. Teil: *Politische Bestimmungen über Europa*: <http://www.versailles-vertrag.de/vv-i.htm> [15.07.2011].

der bestehenden Staatsgrenzen und schließlich die Verfolgung und Vernichtung anderer »Minderheiten« und Nationen.

Nicht nur wegen dieser historischen Erfahrung sollte man gegenüber einem Nationsmodell skeptisch bleiben, welches die Zugehörigkeit von kulturellen Faktoren wie dem der Muttersprache ableitet. Es gibt noch einen weiteren gewichtigen Grund, der im Gegenteil für das politische Nationsmodell spricht: Nicht zufällig wird die politische Nation auch als Willensnation bezeichnet. Denn in diesem Fall werden Kriterien zur Bestimmung der Nationsangehörigkeit durch Gesetze festgelegt und – bei entsprechenden politischen Voraussetzungen – von einem demokratischen Willensbildungsprozess politisch gestaltet. Dabei bestimmt der einzelne Bürger selbst über seine Staats- bzw. Nationsangehörigkeit. Dies ist beim Kulturnationsmodell kaum möglich, weil hier das Elternhaus und damit äußere Umstände über die Nationszugehörigkeit entscheiden. Wegen dieser vermeintlich »objektiven Faktoren« erliegen viele Wissenschaftler bei ihren Länderanalysen häufig der Versuchung, mit dem Begriff der Kulturnation zu arbeiten, ohne ihn kritisch zu hinterfragen. Doch was auf den ersten Blick eine wissenschaftliche Objektivität besitzt, erweist sich bei Licht betrachtet ebenfalls nur als eine soziale Konstruktion. Denn die Muttersprache ist in der Regel nur der Ausgangspunkt zur Entwicklung einer individuellen Sprachkompetenz. Diese kann sich je nach persönlichem Lebensweg ganz unterschiedlich entfalten. Fühlt sich eine Person bereits in ihrem regionalen oder lokalen Sprachumfeld zuhause, bemüht sich eine andere um Kompetenzen der standardsprachlichen Norm und eine dritte um zusätzliche Fremdsprachenkenntnisse. Eine weitere Person wächst mit mehr als einer Sprache auf oder lebt berufsbedingt oder infolge von Migration in einer anderen sprachlichen Umgebung als ihr Elternhaus. Das Kulturnationsmodell, das sich durch die eindeutige Zuordnung von Sprache und Nation definiert und deshalb gezwungen ist, kulturelle Mehrdeutigkeiten und Veränderungen auszublenden, eignet sich deshalb nicht zur Bearbeitung von Kultur- und Sprachkonflikten, sondern ist eher Teil des Problems.

Ein viel versprechender Ansatz zur Lösung derartiger Spannungen ist hingegen die Förderung der Mehrsprachigkeit im Rahmen politischer Willensnationen, wie sie durch den europäischen Integrationsprozess angestoßen wurde. Hier geht es nicht mehr um kulturelle Ab- oder Ausgrenzungen und nicht mehr um die leidige Diskussion über die Machtverteilung zwischen sprachlichen Mehrheiten und Minderheiten, sondern um die Sprachkompetenzen aller EU-Bürger und damit um einen ganz und gar integrativen Ansatz im Rahmen nationaler Bildungspolitiken. Aus verschiedenen Gründen hat die Osterweiterung einen wesentlichen Beitrag zur Popularisierung dieses Ansatzes der Mehrsprachigkeit geleistet. So ergaben jüngere Untersu-

chungen über die Fremdsprachenkenntnisse der EU-Abgeordneten (MdEP), dass gerade die Parlamentarier aus den neuen Mitgliedstaaten sehr viel Kompetenzen mitbringen: »Ein Teil dieser MdEP beherrscht mehrere Sprachen, darunter Englisch auf einem sehr hohen Niveau. Zu nennen sind hier v. a. die ungarischen Abgeordneten« (STREIDT 2010: 68; vgl. dort Verweis auf WRIGHT 2007). Bedenkt man, dass die Abgeordneten der alten EU noch im Jahre 2000 im Durchschnitt 2,6 Sprachen beherrschten – einschließlich ihrer Muttersprache –, hat sich durch den Beitritt dieser Staaten nicht nur die Zahl der Amtssprachen erhöht, sondern auch die Sprachkompetenz der EU-Parlamentarier.²⁴ Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Kommission seit 2004 der Mehrsprachigkeit ihre besondere Aufmerksamkeit widmet. Als Anfang 2007 Rumänien und Bulgarien der Gemeinschaft beitraten, wurde dieser Geschäftsbereich sogar für zwei Jahre zu einem eigenständigen Kommissariat aufgewertet und dem Rumänen Leonard Orban anvertraut.

Auch wenn nach den letzten Wahlen zum Europaparlament am 14.7.2009 die Verantwortung für den Themenbereich Mehrsprachigkeit an das Ressort für Bildung und Kultur zurückgegeben wurde, so gehen von der zuständigen Kommissarin Androulla Vassiliou weiterhin entscheidende Initiativen aus.²⁵ Rechtliche Grundlage hierfür ist die »Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit« aus dem Jahre 2005, der ein Sprichwort aus dem Slowakischen als Leitgedanke vorangestellt wurde: »Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom« [»Je mehr Sprachen du sprichst, desto mehr bist du Mensch«]. Dabei stehen vor allem drei Ziele im Vordergrund:

Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt in der Gesellschaft; Förderung einer gesunden, multilingualen Wirtschaft; Zugang der Bürger/innen zu den Rechtsvorschriften, Verfahren und Informationen der Europäischen Union in ihrer eigenen Sprache.²⁶

Um dies zu erreichen, sind alle EU-Mitgliedstaaten aufgerufen, nationale Pläne auszuarbeiten und darin ihre spezifischen Maßnahmen zur Analyse und zur Förderung der Mehrsprachigkeit darzulegen. Auf dieser Grundlage will die Kommission einen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedsstaa-

24 Noch im Jahre 1992 beherrschten ca. 48 % der MdEP nur ihre Muttersprache, vgl. STREIDT 2010: 67.

25 Vgl. den Internetauftritt der Europäischen Kommission zum Thema Mehrsprachigkeit unter: http://ec.europa.eu/education/languages/index_de.htm [15.07.2011].

26 Vgl. alle Zitate aus: Kommission der Europäischen Gemeinschaften, *Eine neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit. Mitteilung der Kommission an den Rat, das europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen*, KOM(2005) 596, Brüssel, 22.11.2005, S. 1 und 3; vgl. unter: http://ec.europa.eu/education/languages/archive/doc/com596_de.pdf und weiterführend: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11084_de.htm [15.07.2011].

ten auf gesamteuropäischer Ebene anstoßen, ihn durch den Einsatz elektronischer Medien transparent und bekannt machen und durch spezielle Forschungs- und Förderprogramme vertiefen.

Noch steht die Europäische Union mit ihrer Strategie zur Förderung der Mehrsprachigkeit ganz am Anfang, denn nicht alle Mitgliedstaaten unterstützen aus voller Überzeugung diese Initiative. Dies hat nicht zuletzt damit zu tun, dass es trotz vieler Fortschritte bei der Integration noch keinen europäischen Kommunikationsraum jenseits der nationalen Ebene gibt und deshalb in manchen Ländern die Einsicht für eine gemeinsame Strategie fehlt. Erst eine Kooperation einzelner nationaler Medien mit dem Ziel, dieselben Programme mehrsprachig zu senden, könnte längerfristig eine europäische Öffentlichkeit schaffen, die EU-weit multilingual über europäische Themen debattiert. Einen ersten Schritt hierzu hat das Europaparlament unternommen, indem es über Internet die Plenarsitzungen und Anhörungen live überträgt und dabei sämtliche Übersetzungen zur Verfügung stellt, die von den Dolmetscherdiensten für die 23 Amtssprachen angeboten werden.²⁷ Hier bekommt man eine Vorstellung davon, was es bedeutet, die europäische Sprachenpolitik nach demokratischen Kriterien auszurichten. Es bedarf eines sehr großen materiellen und ideellen Einsatzes, um jedem Abgeordneten das Recht zu garantieren, seine Redebeiträge in seiner Muttersprache zu präsentieren und dabei vom vielsprachigen Publikum auch verstanden zu werden. Mit dieser bereits institutionalisierten Mehrsprachigkeit sind einer Umfrage aus dem Jahre 2007 zufolge 64 % der Europaabgeordneten zufrieden, wobei 60 % gegen wenige Amtssprachen als Alternative votierten (STREIDT 2010: 246). Das Konzept der Mehrsprachigkeit scheint sich offenbar auch als ein Korrektiv anzubieten, um Tendenzen einer zunehmenden Zentralisierung und Bürokratisierung der EU-Institutionen entgegenzuwirken.

4. Fazit: Die Relevanz slavistischer Forschung im 21. Jahrhundert

Wie bereits eingangs hervorgehoben sind seit 2004 die Sprecher von fünf slavischen Amtssprachen an diesem Kommunikationsprozess und somit an der Entstehung einer mehrsprachigen europäischen Öffentlichkeit beteiligt. Dies bietet der slavistischen Forschung in Deutschland vielerlei Möglichkeiten, sich an bereits initiierte Forschungsthemen zur Mehrsprachigkeit zu beteiligen oder ganz eigene Forschungsprojekte zu formulieren, um den Erfahrungsaustausch über die europäische Mehrsprachigkeit aus dem Blickwinkel der

27 Europäisches Parlament, *Sehen & Hören. Live aus dem Europaparlament*, vgl. unter: <http://www.europarl.europa.eu/de/see-and-hear> [15.07.2011].

Slavia zu bereichern. Das setzt allerdings voraus, dass sich Slavisten mehr als bisher extralinguistischen Themen zuwenden und historische, sozioökonomische und/oder politische Kontexte bei der Erforschung von Sprachsystemen und deren Entwicklung berücksichtigen. Dabei läge es nahe, neue Forschungskonzepte in fächerübergreifenden Ansätzen zu entwickeln, also linguistische oder literaturwissenschaftliche Fragestellungen mit Erkenntnissen der modernen Soziologie, der Politikwissenschaft oder auch der Medienwissenschaft zu verbinden. Auf diesem Wege könnte sich die Slavistik an der Ausgestaltung neuer interdisziplinärer Studiengänge beteiligen und ihre Stellung in der Wissenslandschaft behaupten.

Dass spannende slavistische Forschungsthemen zum Greifen nahe sind, soll abschließend die folgende Ideenskizze am Beispiel des hier besprochenen Themas zeigen: Zunächst bedarf es slavistischen Fachwissens, um die europäische Mehrsprachigkeit in ihrer historischen Dimension zu betrachten und zu erforschen: Über welche Sprachkompetenzen verfügte z. B. die Bevölkerung im Baltikum, in Mittelost- und Südosteuropa in den zurückliegenden Jahrhunderten und wie bestimmten sie deren Alltagsleben? Welche Sprachkenntnisse sicherten die Existenz und welche versprachen darüber hinaus einen sozialen Aufstieg und damit wirtschaftlichen Wohlstand? Welche Bedeutung hatten normierte Schriftsprachen für den Aufbau einer modernen staatlichen Verwaltung und wie unterschieden sie sich von mittelalterlichen Schriftsystemen? Welche Anforderungen erwachsen aus dieser neuen Sprachkultur für die Ausbildung und Rekrutierung der Eliten? Verfügtten mehrsprachige Bildungsschichten auch über mehr Macht oder reichten die Kenntnisse einer bestimmten Sprache, um gesellschaftlich und politisch Karriere zu machen? Welche Rolle spielte letztlich die Mehrsprachigkeit der Bevölkerung für die weitere politische Entwicklung? Waren die Kultur- und Sprachkonflikte des 19. und 20. Jahrhunderts – entsprechend der These Samuel Huntingtons vom »Kampf der Kulturen« – unvermeidlich, oder wurden sie von bestimmten Eliten gesteuert? Wenn ja, auf welcher konzeptionellen Grundlage entwarfen sie ihre Sprachpolitiken?

Eine Rekonstruktion der historischen Mehrsprachigkeit unter Berücksichtigung slavistischer Sprachkontaktforschung könnte schließlich auch zum Verständnis innersprachlicher Phänomene beitragen, wie z. B. der Entstehung sprachlicher Interferenzen. Zwar haben die derzeitigen Konflikte in Südosteuropa die Ergebnisse der Balkanlinguistik vergessen lassen, die Ähnlichkeiten in der grammatischen Struktur u. a. mit der These einer Substratsprache erklärte. Eine Wiederbelebung dieser Forschung könnte einen intellektuell erhellenden Kontrapunkt gegen die viel beschworene kulturelle Differenz setzen. Denn man kann davon ausgehen, dass sich auch innerhalb der EU eine Sprachkultur entwickeln wird, die über bestehende linguistische Un-

terschiede hinweg sprachliche Gemeinsamkeiten herausbildet. So hat z. B. die EU-Richtlinie zur Gleichstellung von Mann und Frau aus dem Jahre 2004 dazu beigetragen, dass in offiziellen Dokumenten aller Amtssprachen zunehmend geschlechtsneutrale Ausdrücke bevorzugt oder zumindest feminine Formen berücksichtigt werden. Derartige lexikalische Veränderungen im Rahmen der EU-Gesetzgebung führen unmittelbar zu extralinguistischen Themen, wie z. B. zu Fragen über die Professionalisierung des Dolmetscherwesens oder über die Veränderung der Fremdsprachendidaktik in Bezug auf die Slavia.

Dieser Fragenkatalog ließe sich beliebig verlängern. Er sollte lediglich die Relevanz und die Potentiale slavistischer Forschung im 21. Jahrhundert hervorheben und auf die wachsende Bedeutung extralinguistischer Themen aufmerksam machen. Denn wie die Analyse verschiedener Einzelfälle gezeigt hat, kann die wissenschaftliche Forschung eine politische Indienstnahme von Sprache und Kultur nicht verhindern, indem sie sich aus aktuellen kontroversen Diskursen heraushält. Im Gegenteil, gerade hier können sich fachliche Kompetenz und analytische Weitsicht bewähren und in Kooperation mit Forschungsansätzen anderer Disziplinen neue wissenschaftliche Erkenntnisse bieten. Auf diesem Weg lassen sich Mythenbildungen über kulturelle und sprachliche Identitäten in ihre Schranken weisen oder ganz aus der seriösen Wissenschaft verbannen. Nicht zuletzt ist eine intensive Forschung zur Geschichte der europäischen Mehrsprachigkeit für die Zukunft der Europäischen Union überlebenswichtig – ob als Staatenverbund wie derzeit oder als Europäische Föderation. Denn sowohl die Habsburgermonarchie als auch Jugoslawien sind mit oder an ihren jeweiligen Modellen der Mehrsprachigkeit gescheitert.

Literatur

- BERGER 2009 = Berger, T.: »Potemkin im Netz. *Slovio* und die Pseudo-Panslawen«, in: OE 59.12: 309–316.
- BEHRENDTS 2009 = Berends, J. C.: »Die ›sowjetische Rus'‹ und ihre Brüder. Die slawische Idee in Russlands langem 20. Jahrhundert«, in: OE 59.12: 95–114.
- BUZAJEVS 2008 = Buzajevs, V.: »The Long-term Phenomenon of Mass Statelessness in Latvia«, in: *Citizens of a Non-Existent State. The long-term Phenomenon of Mass Statelessness in Latvia*, Riga, 10–17, www.zapchel.lv/pdf/citizens_nonexisting.pdf [15.07.2011].
- CSERGO 2005 = Csergo, Zs.: »Kin-State Politics in Central and Eastern Europe: the Case of Hungary«, in: *Wilson Center, Meeting Report* 315, Washington [Speech at an EES noon discussion on January 12], vgl. <http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/MR%20315%20Csergo.doc> [15.07.2011].

- DRUVIETE/KANGERE 2001 = Druviete, I./Kangere, B.: »Die Lettische Sprache«, in: Latvijas institūts/Das Lettland-Institut, <http://www.li.lv/index.php?option=content&task=view&id=17&lang=de> [15.07.2011].
- EuBarSp = *Die Europäer und ihre Sprachen*. Befragung: November – Dezember 2005, Veröffentlichung: Februar 2006 = *Eurobarometer Spezial 243/Welle 64.3*, http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc631_de.pdf [23.06.2011].
- HADLER 2009 = Hadler, F.: »Alter Slowake! ›Vernünftiger Staatshistorismus‹ statt ›Slawenbeschwörung‹«, in: OE 59.12: 273–279.
- KATUS 1980 = Katus, L.: »Die Magyaren«, in: Wandruszka, A./Urbanitsch, P. (Hg.): *Die Habsburgermonarchie 1848–1918*, Bd. 3.1: *Die Völker des Reiches*, Wien, 410–488.
- KORDIĆ 2010 = Kordić, S.: *Jezik i nacionalizam*, Zagreb.
- JILGE 2009 = Jilge, W.: »Fragmente der Einheit. Ostlawisches Gemeinschaftsdenken in der Ukraine«, in: OE 59.12: 281–292.
- MÜHLBERGER/JANSSEN 2010 = Mühlberger, A./Janssen, Ch.: »Auslandsungarn in der Slowakei und Rumänien. Autonomie jetzt!«, in: *Bayerischer Rundfunk online* (9. Juni), <http://www.br-online.de/bayern2/nahaufnahme/reportagen-politik-ungarische-minderheiten-ID1275899297664.xml> [23.06.2011].
- ODIHR = Office for Democratic Institutions and Human Rights, Latvia, Parliamentary Elections 2 October 2010, *Limited Election Observation Mission. Final Report*, Warsaw, 10 December 2010, vgl. unter: <http://www.osce.org/odihr/74757> [15.07.2011].
- OE 59.12 = Gašior, A./Troebst, S./Sapper, M./Weichsel, V. (Hg.): *Gemeinsam einsam. Die slawische Idee nach dem Panslawismus*, Berlin 2010 (= Themenheft von *Ost-europa. Zeitschrift für Gegenwartfragen des Ostens*, Jg. 59, H. 12).
- RAFAJ 2010 = Rafaj, R.: »Na južnom Slovensku vzniklo jazykové geto«, vgl.: Internetseite der SNS, Aktuality, Rafael Rafaj v relácii ›O päť minút 12‹, (13.12.2010): <http://www.sns.sk/aktuality/rafael-rafaj-v-relacii-%e2%80%9e-pat-minut-12%e2%80%9c-na-južnom-slovensku-vzniklo-jazykove-geto> [23.06.2011].
- RASCHHOFER 1936 = Raschhofer, H.: »Die Krise des Minderheitenschutzes«, in: *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht* 1936, 235–251, vgl. den Text unter: http://www.zaoerv.de/06_1936/6_1936_1_a_235_251.pdf [15.07.2011].
- RIEDEL 2005 = Riedel, S.: *Die Erfindung der Balkanvölker. Identitätspolitik zwischen Konflikt und Integration*, Wiesbaden.
- 2006 = Riedel, S.: »Instrumentarien des Minderheitenschutzes in Europa«, in: Salzborn, S. (Hg.), *Minderheitenkonflikte in Europa. Fallbeispiele und Lösungsansätze*, Innsbruck, 241–258.
- SCHALLER 2002 = Schaller, H.: *Der Nationalsozialismus und die slawische Welt*, Regensburg.
- STREIDT 2010 = Streidt, C.: *Mehrsprachigkeit in einem Organ der Europäischen Union. Eine Untersuchung des Amtssprachengebrauchs der Europaabgeordneten*, Aachen.
- SUNDHAUSSEN 2008 = Sundhaussen, H.: »Der Zerfall Jugoslawiens und dessen Folgen«, in: *APuZ* 32, 4. August: *EU – Balkan* (Beilage zur Wochenzeitung *Das Parlament*), 9–18, <http://www.bpb.de/files/BW6O3P.pdf> [23.06.2011].
- SZIGETVARI 2008/2010 = Szigetvari, A.: »Das Schulbuch des Anstoßes«, in: *derStandard.at* 24.10.2008 [Printausgabe 25.10.2010].
- TEMPER 2009 = Temper, E.: »Der reinste slawische Stamm. Identitätsbildung à la bielarusse«, in: OE 59.12: 293–307.

- THANEI 2002 = Thanei, Ch.: »Streit über den Status der ungarischen Minderheit in der Slowakei eskaliert«, in: *Konrad-Adenauer-Stiftung*, St. Augustin 1.3.2002: <http://www.kas.de/wf/de/33.719/> [23.06.2011].
- 2009 = Thanei, Ch.: »Streit Slowakei – Ungarn: ›Wir hatten keine Wahl‹«, in: *DiePresse.com*, 26.8.2009: http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/504209/Streit-Slowakei-Ungarn_Wir-hatten-keine-Wahl [18.07.2011].
- TROEBST 2009 = Troebst, S.: »Slavizität. Identitätsmuster, Analyserahmen, Mythos«, in: OE 59.12: 5–19.
- VOß/NAGÓRKO 2009 = Voß, Ch./Nagórko, A.: »Vorwort«, in: Iidem (Hg.): *Die Europäizität der Slavia oder die Slawizität Europas. Ein Beitrag der Kultur- und sprachbreitivistischen Linguistik*, München 2009 (= SLCCEE 2).
- WRIGHT 2007 = Wright, S.: »English in the European Parliament: MEPs and their Language Repertoires«, in: *Sociolinguistica*, 21, 151–165.

Erich Trapp

Zu den slavischen Wörtern im byzantinischen Schrifttum

In Erinnerung an eine einstige gemeinsame byzantinoslavische Lehrveranstaltung zu Gregorios Sinaites sowie in Anknüpfung und Erweiterung zweier thematisch verwandter Aufsätze von Peter Schreiner¹ soll hier auf der Basis des Lexikons zur byzantinischen Gräzität (LBG)² – soweit bereits veröffentlicht – bzw. der umfassenden Sammlung für den Rest des Alphabets eine nach Sachgebieten geordnete Übersicht über das ganze bis jetzt bekanntgewordene (und gesicherte) lexikalische Material geboten werden. Ergänzend und in teilweiser Überschneidung tritt hinzu das Lexikon von Emmanuel Kriaras (s. v. ΚΡ, fortgeführt von I. N. Kazazes bis προβίβασις, 2011) sowie in eher bescheidenem Maße und in etymologischer Hinsicht teilweise fehlerhaft oder ungesichert der kurze Abschnitt über die slavischen Elemente in dem bekannten alten Werk von M. A. Triantaphyllidis³, dessen inhaltliche Anordnung des Wortmaterials aber immerhin als brauchbarer Ausgangspunkt genommen werden kann:

- (I) die Natur (Tierreich – Pflanzenreich – Erde),
- (II) der Mensch (Allgemeines – Körper – Kleidung – Verschiedenes),
- (III) das gesellschaftliche Leben,
- (IV) Eigenschaftswörter (Eigenschaften – Farben).

Allerdings wird diese Aufteilung nicht nur wesentlich zu bereichern, sondern in einigen Punkten auch genauer aufzugliedern und zu präzisieren sein, wozu die bedeutend ausführlicheren Abschnitte über die lateinisch-romanischen Lehnwörter bei Triantaphyllidis helfen können.

Die Stichwörter sind so aufgebaut, dass auf das Lemma die Angabe der Etymologie, danach die griechischen Zitate und schließlich Hinweise auf grie-

1 SCHREINLEX und SCHREINSLAVATHOS. Für Hilfe technischer und inhaltlicher Art danke ich den KollegInnen I. Podtergera, M. Popović und V. Zervan.

2 Neue Ergänzungen zu den Faszikeln 1–6 sind hier berücksichtigt; der bis ταριχευτικός reichende 7. Faszikel ist 2011 erschienen).

3 Vgl. TRIANTLEHN: 452–454. Als Vorläufer zu nennen ist Gustav MEYER (1894).

chische und slavische Wörterbücher gegeben werden (in der Reihenfolge: altkirchenslavisch, ostslavisch, südslavisch). Die Klammern beim Verweis auf Lexika weisen auf die abweichende Bedeutung hin.

I. Die Natur

Zunächst ist aus dem Tierreich anzuführen.

1a. Tierreich

βερβερίτζα, ἡ (*slav.* вѣверица)⁴ »Eichhörnchen«: γούνας, -ίτζας *MM* II 375 (a. 1400). — HL -ίτσα. ◇ SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; BER.

ζόμβρος, ὁ (*slav.* зѡбрь) »Ur, Auerochs«: *Morelli* 59; ζούμπρος *NChonHi* 333₅₂. — LSSUP, KR (+ x 82^{*}; XII 373); vgl. ζούμπερο ANDR. ◇ SRJA; BER.

κουνάδιον, τό (< *slav.* коуна) »Marder(fell)«: σκεπαστὰ κουνάδια ρούχα γ' *Pris Otrivki* 50. — KR, DEM, (SOMAV) -ι; κουνάβι ANDR. ◇ SREZN, SDRJA, SRJA; BER.
πέστρουφα, ἡ (*bulg.* пѣстърва) »Forelle«: Iatrosophion, s. KR. — πέστροφα ANDR. ◇ BER.

χορνοστάη, ἡ (*russ.* горностаѣ) »Hermelin«: *Pris Otrivki* 50. — ◇ SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER.

1b. Pflanzenreich

λαβόρα, ἡ (< *slav.* лаворѣ) »Ahorn«: εἶδος ὀπώρας *DelAn* II 350₃; λάβωρα *PsZon* 1284; — ◇ SREZN, VASMER.

σενόν, τό (*slav.* сѣно) »Heu«: *ALavra* 130₂₄ (a. 1350/1?); σενὼ ὁ ξηρὸς χόρτος *DelAn* II 298₂. — ◇ SJS; SREZN, SRJA, VASMER; DANI, BER.

σμαρδάλος, ὁ (*serb./bulg.* смърдлика) »*ristacia terebinthus*, Terebinthenbaum«: *AIv* 10₃₈ (a. 996), σμαρδέλος 50_{215q}. (a. 1101). — ◇ DANI, BER.

1c. Die Landschaft

βάλτον, τό (*slav.* блато) »Sumpf«: *LudwAnek* 1948; *MM* IV 386 (a. 1267); *ALavra* 75_{1,35} (a. 1284), 101₂₂ (a. 1306?); *AChiland* 18₄₀ (a. 1299/1300) etc.; *DelAn* II 307₁₅, 381₉. — KR, TLG. ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA; DANI, BER.

4 Der Einfachheit halber bedeutet im Folgenden die Angabe *slav.*, dass das betreffende Wort bei F. MIKLOSICH, *Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum* belegt ist.

- βηρός, ὁ (*slav.* виръ) »Fischteich«: *AZog* I₂₉ (a. 980), II₆₉ (βυρός, a. 1023 sive 1038); *ACHiland* 40₃₉ (a. 1318); *VRom* 123 f. — DETOR II; HL βιρός; ◇ DANI, BER.
- γραμμάδα, ἡ (*slav.* грамада »Haufen«) »Steinhaufen«: *AIv* 55_{a10} (a. 1142). — In der Schreibung γραμάδα in einer Vermessungsurkunde des 12. Jh. als Toponym (*AIv* 53) sowie im Ngr. (HL). ◇ SJS; SREZN, SDRJa, SRJa; DANI, BER.
- ζαγόνη, τό (*slav.* загонь) »Gehege«: *PetBel* 282 f., 285 (s. XIV). — ◇ BER.
- κλεατίνα, ἡ (< *slav.* клѣтъ) »Hürde«: μάνδραι, ἅς -ίνας ἐγχωρίως φασίν *AProdB* 128₃₅ (a. 1325?). — ◇ SJS; SREZN, SDRJa, SRJa, VASMER; BER.
- λάμπη, ἡ (*altruss.* ламба) »Teich«: *MM* IV 3 (a. 1228), 17 (a. 1235), 150 (a. 1265). — ◇ ламба SRJa, vgl. BER s. v. ламба³, VASMER.
- λόγγος, ὁ (*slav.* лѡгъ) »Gehölz, Gebüsch, Dickicht«: *MetAnna* 13; *ABatop* 52₁₁ (a. 1319/20), 60₁₀ (a. 1323); *Zepos* I 686 (a. 1336); *DocPhil* 6_{26,35} (a. 1376); *NChonPar* 72; *PapVar* 293₂₃ (Jos. Bryennios). — KR, TLG, SKUBOL 318, SOMAV, STAM. ◇ SJS; SREZN, SDRJa, SRJa, VASMER; DANI.
- πλανηνά, ἡ (*slav.* планина) »Bergweide, Alm«: *TheophylEp* 85₃₂; *TypGregPak* 37_{28,4}, 43_{39,1}; *TypPant* 123_{15,43}; *ALavra* 66_{1,6} etc. (a. 1184); πλανινά *AIv* 54_{2,6,4,4} (s. XII), 74_{33,1} (a. 1316); πλανηνή *AZog* 11₄₀ (a. 1289); id. *ACHiland* 18₅₁₋₅₃ (a. 1299/1300); id. *ABatop* 38₁₄ (a. 1305/20), 78₃ (a. 1332). — TLG, MOR II 256, SCHILMETROL 240 f. ◇ SREZN, SRJa; DANI, BER.
- πότοκος, ὁ (*slav.* потокъ) »Bach«: *ABatop* 82_{67,77-79} (a. 1338). — Toponym in *ABatop* 36₂₉ (a. 1304); ◇ SJS; SREZN, SDRJa, SRJa, ПОТОК' VASMER; DANI, BER.
- στροῦγα, ἡ (*slav.* строуга) »Wassergraben, Fischteich«: *TheophylEp* 13₁₉, 96₉₈; *JoPhocas* 548B; *GedSymb* 115₁₉. — TLG (auch Ortsname am Ochridsee), DUC, MOR II 292, SCHREINLEX 487. ◇ SJS; SREZN, SRJa; VASMER; BER.

II. Der Mensch und seine Umgebung

2a. Der Körper

- γρούντα, ἡ (*slav.* гpyдa »Scholle, Klümpchen«) »Haarschof«: *Tsiouni* 927b. — HL. ◇ SJS; SREZN, SDRJa, SRJa, VASMER; BER.
- σαλματογέν(ν)ης (< *slav.* слама + γένειον/γένιν) »mit strohigem Bart, strohbärtig«: *Bees* 29 (s. XV). — cf. σάλμα ARABANT, LEX TSAK. ◇ SREZN, SRJa, VASMER; DANI, BER.

2b. Wohnung und Haushalt

βεδούριον, τό (*slav.* вѣдро) »Eimer«: ἀργυρᾶ *KonstPorphMil* C 193, χαλκᾶ 195; -iv *ScholApRh* III 756/59b. — HL -ρι; vgl. KR XI 389, HL -ρα. ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; BER.

γρίβνα, ἡ (*slav./russ.* гривна »Silbermünze«) »ein Gewichtsmaß (für Silber)«: *SchilMet* 144¹³, cf. 174. — ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; BER.

κορύτα, ἡ (*slav.* корыто) »Trog, Bottich«: -ύτας σταφυλῶν *DemChom* 84^{77,78}; κορυτᾶς (gen.) *AZog* 14¹⁵ (a. 1299). — STAM; Κορύται als Toponym bei *DemChom* 52³. ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; BER.

κρίνα, ἡ (*slav.* крина) »Scheffel«: σίτου *DemChom* 148⁴. — ◇ SREZN, SRJA; DANI, BER.

λοσνίκιον, τό (*slav.* ложникъ) »Decke (aus Schafwolle)«: *TypKosm* 49^{2,9} (λουν. male); *TypPant* 85^{9,16}; *MichItal* 63¹; -iv *AProdB* 159³³ (a. 1353). — SCHREIN LEX 486 f.; Λοσνίκης als Personennamen 1341 (PLP; TLG). — ◇ BER.

πεπελᾶ (*slav.* пепель) »Asche«: τέφρα ἡ στακτή, ἰδιωτικῶς π. *ScholArK* I.3.2 40^{1083f}. — ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; DANI, попел BER.

ποκρόβιον, τό (< *slav.* покровъ) »Wolldecke«: *TypKosm* 53⁸. — -i *Glossar in PANTAZOPULOS* 1974. ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA; DANI, BER.

ποστάβιν, τό (*slav.* поставъ) »Tuch«: *AProdB* 159³³ (a. 1353). — *Glossar in PANTAZOPULOS* 1974 (»hölzerner Bottich«; so auch bulgarisch, vgl. BER постав²). ◇ SREZN, SDRJA, SRJA; DANI, постав³ BER.

τζερέπα, ἡ (< *slav.* чръпъ »Scherbe«?) »Topf«: *Pradel* 35¹. — ◇ SJS; SREZN, VASMER (Schädel, Hirnschale).

2c. Nahrung

βοῖνον, τό (*slav.* вино) »Wein«: *JoKatr* 68. — ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; DANI, BER.

λοβίνα, ἡ (*bulg.* ловина) ein berauschendes Getränk: χομελοβότανον ᾧπερ χρῶνται οἱ Βούλγαροι εἰς τὰς -ίνας *DelAn* II 368⁵; λωβίνη *KommAnd* 262¹⁴. — ◇ VASMER II 132 f. (s. v. ол); (ο)ловина BER; s. ούλοβίνα.

μουδουβίνα, ἡ (*slav.* медовина) »Met«: *Hesseling Levit.* x 9 etc., vgl. KR. — ◇ SDRJA, SRJA.

ούλοβίνα, ἡ (*slav.* оловина) »Gerstenwein, Bier«: *EustDam* 68^{0D}. — KUKLAO I 214; ◇ VASMER s. v. ол; SDRJA, SRJA; BER; s. λοβίνα.

χλάβα (*slav.* хлѣбъ) »Brot«: *JoKatr* 68. — ◇ SJS; SREZN, VASMER; DANI.

III. Regierung und zivile Verwaltung

- βοστίνα, ἡ (< *slav.* баштина »Erbschaft, Herrschaft«) »eine Abgabe«: *Chalk* II 199¹⁴. — MOR II, HL; DANI, BER s. v. баща.
- ζάκανον, τό (*slav.* законъ) »Gesetz«: *DeAdmImp* 8¹⁷, 38⁵²; *Suda* δ 90. — SCHREIN LEX 485 f., vgl. ζακόνι KR. ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA; VASMER; DANI, BER.
- ζοῦπα, ἡ (*slav.* жоупа) »Gebiet«: *AKut* App. II A 3 (a. 1348?). — ◇ SREZN, VASMER; DANI, BER.
- ζουπάνος, ὁ (*slav.* жоупанъ) »Anführer, Statthalter, Herrscher« bei den Südslaven: *DeAdmImp* 29⁶⁷, 32¹²⁰, 348; *AnnaR* 28⁰⁹, 423⁴⁶; *RacPoiem* I 26; II 333; *Kinnam* 103¹¹; μέγας ζ. τῆς Σερβίας *GeorgTorn* 343¹⁸; id. *ACHiland* 4¹ (a. 1198); id. *DemChom* 1¹. — KR (+ VIII 416), TLG, MOR II, *Solov* 444 f., STAM. ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; DANI, BER.
- κνέζης, ὁ (*slav.* князь) »(serbischer) Fürst«: *DarPit* 60; *SchreinChron* I 561^{6,10}, 562¹⁵, 636; *AXer* 30⁶⁶ (a. 1445); κνέτζης *DemChom* 40³; κνέντζης *ACHil* 158^{75, 115} (a. 1388); γνέζης *SchreinChron* III 158⁷ (a. 1389). — KR, STAM, PLP. ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; DANI, BER.
- κράλης, ὁ (*slav.* краль) »König (der Ungarn)«: *JoScyl* 350⁵⁶, 409⁹⁵; *JoScylCo* 185²⁴; *AnnaR* 423⁴⁵; *PapProdr* 105; Τουρκίας *JoScyl* 409⁹³; Σερβίας *GAkrop* I 96; id. *ACHiland* 18¹ (a. 1299/1300) etc. — KR, DUC, TLG, MOR II 173, KLEIS, DEM, STAM, PLP. ◇ SJS; SREZN, король/крьоль SDRJA, краль SRJA; DANI, BER.
- κραλίτζα, ἡ (*slav.* кралица) »Königin«: *Lambros* 22²¹, 23¹⁷ (s. XVI). — KR., vgl. κράλαινα LBG ◇ королица/кροлеваа SDRJA, кралевна SRJA; DANI; BER s. v. крал.
- ὄτροκος, ὁ (*slav.* отрокъ) »Diener, Beamter«: *Solov* XXXVI 149 (a. 1352). — PLP 22236. ◇ SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; отьрокъ DANI, BER.
- ὄτρωτζίνα, ἡ (*slav.* отрочина »Kindheit«) »eine Steuer für Paröken«: *TheophylEp* 12²². — MOR II 222; ◇ SREZN, SRJA.
- ποζόβησμα, τό (< *serb.* позобъ) »Lieferung von Pferdefutter«: *ALavra* 130²⁴ (a. 1350/1?). — SCHREINSLAVATHOS 312.
- ποζόβιτζα, ἡ (*serb.* позобъ, позобица) »Lieferung von Pferdefutter«: *Solov* XX 98 (a. 1348); cf. S. 482.
- πολύδιον, τό (< *slav.* bzw. *altruss.* полюдие) »Rundreise zur Steuereintreibung«: τὰ -δια, ὃ λέγεται γύρα *DeAdmImp* 9, (cf. *Commentary* 59). — ◇ SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER.
- πόροτα, ἡ (*slav.* порота) »Geschworenengericht«: *ALavra* 130²⁴ (a. 1350/1?). — ◇ DANI.
- ρέδνηκος, ὁ (*slav.* радъникъ) »hoher Beamter«: τοῦ τόπου τούτου ἄρχων, ἦτοι ῥ. *AXer* 30⁴⁰ (a. 1445). — TLG. ◇ SREZN, SRJA; BER s. v. радник.

- σέμπρος, ὁ (*slav.* себрь) »Pächter, Pachtarbeiter«: *SchreinFin* 20₁. — TLG, *EpMes Arch* 6+7, ΟΙΚΛΙΚΙΝ, ANDR, STAM. ◇ SREZN, себра SRJA, сябѣр VASMER; себрь DANI.
- τεπέτζιας, ὁ (*slav.* тепѣчий) »Würdenträger«: *Zograf* 49 (s. XIV). — ◇ DANI, LSSV 728; терѣ LEXLATIUG.
- ψοῦνος, ὁ (*serb.* псуњь) »Transportgebühr«: τοῦ ποταμοῦ *ALavra* 130₂₅ (a. 1350/1?), cf. III, 43.

IV. Militärwesen

- βοέβοδος, ὁ (*slav.* воевода) »Heerführer, Anführer, Oberhaupt, Vojvode«: *DeAdm Imp* 38_{5,7,12,16} etc.; βοεβόδας *MM* I 532, 534 (a. 1370), II 241, 243 (a. 1395), 528 (a. 1401); id. *Mazaris* 38₉; id. *Syrop* 460₂₇, 596₂₄; βοιβόδας *MM* I 383–386 (a. 1359); id. *DarPit* 61; βοβώδας *LatSborn* 3 (a. 1440). — KR, MOR II, KLEIS. ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; BER.
- λέσα, ἡ (*slav.* лѣса) »Flechtwerk, Flechtzaun, geflochtenes Schutzdach, Sturmdach« (gedecktes Gestell auf Rädern): *DeAdmImp* 51_{114,119}; πετροβόλοι *MilTreat* 316₇; *KekaumS* 116₂₅; *JoScyl* 463_{76,89}; λαῖσα *SullSiege* 2₄₃, 9₁ etc.; id. *AnonObsid* 50₆, 57₃, 74₁₈; id. *Uran* 158_{86,91,97,105}, 160_{114,147}; λαισσαί *DainMemor* 6. — TLG; λεισιά KUK 280. ◇ SRJA, VASMER; BER.
- πρεσέλιτζα, ἡ (< *slav.* прѣселитиса »umziehen«) »Einquartierungspflicht«: *Solon* XX 99 (a. 1348), cf. P. 467, 482 (= μιτάτον). — ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; DANI.
- σάμπια, ἡ (*bulg.* сабя; *slav.* сабля) »Säbel«: σπαθίον σάμπιαν κεκοσμημένον *ABator* 64₁₅₂ (a. 1325). — (Σάμπιας PLP); ◇ сабля SREZN, SRJA, VASMER; сабиа/сабля DANI, BER.
- τζελνίκος, ὁ (*slav.* чельникъ) »Feldherr«: *KekaumII* 188₃₁. »Vorsteher«: τζέλνικος *AEsph* 27₂ (a. 1365); *ADion* 32₁₀. — SCHREINLEX 483, MOR II 311; (τζέλνικας SKUBOL 141: »Ältester«). ◇ DANI.

V. Religion

- Βογόμελος, ὁ (*slav.* богомили) »Bogomile«: *AnnaR* 455₄₇, 485₄₀; *JusCan* 1028C, 1029A; *Zigab* III 1289C; *FickPhund* 3₄, 116₁₀; *Balsam* I 844B; *NChonPan* 55₁₁; -μηλοι *ProcMyst* 78₂; -μίλιοι *Nomoc* 144A. — KR + X 46^{*}, MOR II 92 f., DUC, TLG, KLEIS, LMA; ◇ SREZN, SRJA; DANI.
- βόγος, ὁ (*slav.* богъ) »Gott«: *Zigab* III 1289C. — Βογ MOR II 92 und TLG (Matthaios Blastares, 14. Jh.). ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; DANI, BER.

μπαστᾶς, ὁ (*serb./bulg.* башта) »geistlicher Vater (des Chilandar-Klosters)«: *AChiland* 14₁₂ (a. 1294); *AChil* 134_{1,5,54} etc. (a. 1345); *DocPhil* 4_{11,21} (a. 1347); *Solov* XXXVI 22 (a. 1369); παστᾶς *AChil* 158₁₇₁ (a. 1388). — PLP. ◇ DANI, BER.

VI. Eigenschaften

βογάτος (*slav.* богатъ) »reich«: *Kekaumii* 136₂₅. — SCHREINLEX 484. ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; BER.

γαρασδοειδής (<*slav.* гораздъ) »schlau, durchtrieben aussehend«: ὄψις ἐσθλαβωμένη *DeThem* 6₄₀. — SCHREINLEX 487, (Γαράσδος als Personennamen in *AProt*). ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER.

κροσσώτης, ἡ (<*slav.* красота) »Schönheit«: ἡ κ. καὶ τερπνότης (vers. slav. 353₁₆ unum tantum verbum *krasota* habet; κρ. fort. glossa est) τοῦ ἁγίου πνεύματος *RystMat* 157₁₄. — ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; DANI, BER.

πρεβόλεος (*slav.* прѣболий) »größter«: *PrinzJustin* 279₂₉. — ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA; DANI.

σίβος (*slav.* сивъ) »grau«: λαυράτον *ALavra* 90₁₂₂ (a. 1300); id. 108₈₆ (a. 1321). — *Spanos*; *DelAn* I 165₁₆; (PLP). ◇ SREZN, SRJA, VASMER; BER.

VII. Handlungen

νεδάλα, ἡ (*slav.* недѣлая) »Fest, Feier«: *GautBulg* 6₁₉. — SCHREINLEX 484 f. ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; DANI, BER.

πόδρεζα, ἡ (*slav.* подръѣзь) »Abreißer (beim Ringen, mit Fallrichtung in die Rückenlage)«: τῆ κατὰ -αν προσπλοκῆ *JoGen* 78₂₇. — KISLINGER 1981: 147–149, SCHREINLEX 482 f.; REINSCH 2005. ◇ SRJA.

χουγιάζω (*serb.* хуяти) »schreien«: *Irmscher*: 46₁₄₂. — TRIANTLEHN, DEM, ANDR, LKN.

VIII. Völkernamen⁵

Νέμιτζος, ὁ (*slav.* нѣмыць) »Germane, Deutscher«: *AttalP* 95₁, 110₅; *JoScylCo* 135₅, 144₁; *PavlovPol* 189; *ZonarEpit* 727₁₄ etc.; *AnnaR* 79₂₈ etc.; *VClemII* 588. — TLG; Νέμιτζος/-σος KR, SOMAV. ◇ SJS; SREZN, SDRJA, SRJA, VASMER; DANI, BER.

5 Die Ethnika Σκλάβοι usw. sowie Ῥῶσ(σ)οι usw. konnten aus sprachwissenschaftlicher Sicht hier außer Acht gelassen werden; zu ersterem vgl. GLOSSAR Beiheft 5, zu letzterem (außer dem TLG) z. B. SCHREINSLAVATHOS 313 f.

* * *

Wenn nun Triantaphyllidis in seiner weit weniger umfangreichen Liste (TRIAN T LEHN: 452–454) andererseits noch weitere »slavische Elemente« anführt, so erweist sich bei einigen die Herkunft aus einer anderen Sprache als tatsächlich zutreffend:

κουνέλι, τό »Kaninchen« ist von ital. *coniglio* abzuleiten, vgl. KR;
 στρούντζα, ή »Kot«, vgl. ital. *stronzo* zu lat. *strondius*, deutsch *strunt*, REW 8322, KR;
 δραγάτης, ό »Weinhüter« ist schon altgriechisch (ἀρχιδραγάτης, δραγατεύω), vgl. KR, LBG;
 κότσι, τό »Knöchel« schon byz. (9. Jh.) Deminutiv zu spätantikem κόττος, vgl. KR;
 γούνα, ή »Pelz« kommt aus mlat. *gunna*, vgl. KR, LBG;
 ρούχο(ν), τό »Kleid« stammt aus mlat. *rochus* und dies aus ahd. *roc*, vgl. LBG;
 κούβα, ή »Dirne« in dieser Bedeutung byz. seit dem 11. Jh., aus lat. *curvus*, vgl. KR.

Es könnten jedoch einige weitere Lemmata aus KR bzw. dem LBG angeführt werden, bei denen die slavische Herkunft angenommen wurde, aber (sehr) zweifelhaft ist:

βαγένιον, τό (slav. ваган) »Faß, Tonne«: *Alv* 12₁₂ (a. 1001); *ALavra* 18₂₈ (a. 1014); 67₈₂ (a. 1196); *APantel* 7₃₄ (a. 1142); -iv *ALavra* 22₁₇ (a. 1017); id. *AXer* 9 B 62 (ca. 1270–1274). — KR + XI 388, TLG, CAR, HL (-i); VASMER. Ableitung aus arab. *waghna* über mlat. *vagna* nach KARAPOTOSOGLU 1984: 3–9.

μοῦντος »braun«: *Digenes*, vgl. KR.

παγανέα, ή (slav. порога?) »Dickicht«: *Digenes*, vgl. KR.

σουβάλλα, ή »Zusammenfluß«: *Eustil* I 788₁₁. — KUKGRAM 122 f., KUKLAO II 353, LEX TSAK, ANDR -άλα (TIB I 265; Ortsname).

τζέμπρον, τό (serb. чабар?) »ein Weinmaß«? *ALavra* 130₂₅ (a. 1350/1?), cf. III P. 43.

* * *

Versuchen wir nun eine Gesamtbetrachtung der als sicher geltenden slavischen Lehn- bzw. Fremdwörter im byzantinischen Griechisch zu geben, so kommen hierfür vier Kriterien in Betracht:

1. die Art der Quellen,
2. der zeitliche Aspekt,
3. die räumliche Verbreitung,
4. der kulturhistorische Aspekt.

Was zunächst den ersten Punkt betrifft, so ist unmittelbar einleuchtend, dass die Urkunden – und dabei naturgemäß die Privaturkunden – die größte Gruppe ausmachen. Dazu treten dann juristische Texte (Demetrios Chomatenos), verwaltungsgeschichtliche (*DeAdmImp* etc.), historische (Skylitzes, Anna Komnene), und vereinzelt sonstige literarische Werke (Theophylaktos von Ochrid).

Hinsichtlich des zeitlichen Rahmens ist festzustellen, dass vor dem 10. Jh. kaum Belege anzutreffen sind, wohingegen die Zeit vom 12.–14. Jh. die bedeutendste ist.

Die räumliche Verbreitung hängt natürlich mit der Kontaktbreite zwischen der slavisch und der griechisch sprechenden Bevölkerung zusammen, die im mazedonischen Raum am intensivsten war (Athosurkunden als die ergiebigste Quelle).

Kommen wir schließlich zum kulturhistorischen Aspekt, so kann man Folgendes festhalten: Die Bandbreite der sprachlichen Kontakte war am größten im bäuerlichen Alltagsleben, der Natur und z. T. im Bereich der Verwaltung, etwas verstärkt nach der Besetzung größerer Gebiete Griechenlands (Makedonien, Thessalien, Epirus) durch Stefan Dušan im 14. Jh.

Literatur

1. Quellen

- ABatop* = Bompaire, J./Lefort, J./Kravari, V./Giros, Ch./Smyrlis, K. (éd.): *Actes de Vatopédi. Texte* (= Archives de l'Athos 21, 22):
 I: *Des origines à 1329*, Paris 2001;
 II: *De 1330 à 1376*, Paris 2006.
- ACHil* = Petit, L./Korablev, B.: *Actes de Chilandar*, Amsterdam 1975 (= Actes de l'Athos 5) [Nachd. d. Ausg.: BB 17 (1911), Приложение 1].
- ACHiland* = Živojinović, M./Kravari, V./Giros, Ch.: *Actes de Chilandar. Édition diplomatique*, T. I: *Des origines à 1319. Texte*, Paris 1998 (= Archives de l'Athos 20).
- ADion* = Oikonomidès, N.: *Actes de Dionysiou. Édition diplomatique. Texte*, Paris 1968 (= Archives de l'Athos 4).
- AEsph* = Lefort, J.: *Actes d'Esphigménou. Édition diplomatique. Texte*, Paris 1973 (= Archives de l'Athos 6).
- AIv* = Lefort, J./Oikonomidès, N./Parachryssanthou, D. et. al.: *Actes d'Iviron. Édition diplomatique. Texte* (= Archives de l'Athos 14, 16, 18):
 I: *Des origines au milieu du XI^e siècle*, Paris 1985;
 II: *Du milieu du XI^e siècle à 1204*, Paris 1990;
 III: *De 1204 à 1328*, Paris 1994.
- AKut* = Lemerle, P.: *Actes de Kutlumus. Édition diplomatique. Texte*, Paris 1988 (= Archives de l'Athos 2).
- ALavra* = Lemerle, P./Guillon, A./Svoronos, N./Parachryssanthou, D.: *Actes de Lavra. Édition diplomatique. Texte* (= Archives de l'Athos 5, 8, 10):
 I: *Des origines à 1204*, Paris 1970;
 II: *De 1204 à 1328*, Paris 1977;
 III: *De 1329 à 1500*, Paris 1979.
- AnnaR* = Reinsch, D. R./Kambylis, A. (rec.): *Annae Comnenae Alexias*, P. 1–2, Berlin – New York 2001 (= CFHB 25.1–2, Series Berolinensis) [s. XII].

- AnonObsid* = Anonymus: *De obsidione toleranda*, ed. critica, qvam cur. H. van den Berg, Leiden 1947 (= Dissertationes inauguales Batavae ad res antiquas pertinentes 4) [s. x].
- APantel* = Lemerle, P./Dagron, G./Ćirković, S.: *Actes de Saint-Pantéléémôn. Édition diplomatique. Texte*, Paris 1982 (= Archives de l'Athos 12).
- AProdB* = Bénou, L.: *Le codex B du monastère Saint-Jean-Prodrome (Serrès), A: (XIII^e–XV^e siècles)*, Paris 1998 (= Textes. Documents. Études sur le Monde Byzantin Néohellénique et Balkanique 2).
- AProt* = Papachryssanthou, D.: *Actes du Prôtaton. Édition diplomatique. Texte*, Paris 1975 (= Archives de l'Athos 7).
- AttalP* = Miguel Atalíates: *Historia*, introduc., ed., traduc. y com. de I. Pérez Martín, Madrid 2002 (= Nueva Roma. Bibliotheca Graeca et Latina Aevi Posterioris 15) [s. XI].
- AXer* = Bompaire, J.: *Actes de Xéropotamou. Édition diplomatique. Texte*, Paris 1964 (= Archives de l'Athos 3).
- AZog* = Regel, W./Kurtz, E./Korablev, B. (éd.): *Actes de Zographou*, Amsterdam 1969 (= Actes de l'Athos 4) [Réimpr. anastatique de l'éd.: C.-Περεπύργη 1907 (= BB 13.1, Приложение)].
- Balsam* = Theodorus Balsamon: *Opera*, T. 1, Paris 1865 (= PG 137) [s. XII].
- Bees* = Bees, N. A.: *Les manuscrits des Météores. Catalogue descriptif des manuscrits conservés dans les monastères des Météores, Vol. I*, Athènes 1967 [Œuvre posthume].
- Chalk* = *Laonici Chalcocandylae historiarum demonstrationes*, ad fidem codicum recensuit, emendavit annotationibusque criticis instruxit E. Darkó, T. 1–2, Budapest 1922–1927 [hier: Index II, S. 342–349] (= Editiones criticae scriptorum Graecae et Rom) [s. XV].
- DainMemor* = Dain, A.: »Mémoire inédit sur la défense des places«, in: *REG* 53 (1940), 123–136. [s. x?].
- DarPit* = Darrouzes, J.: »Ekthésis néa. Manuel des pittakia du XIV^e siècle«, in: *REB* 27 (1969), 5–127.
- DeAdmImp* = Constantine Porphyrogenitus: *De administrando imperio*, greek text ed. by Gy. Moravcsik, engl. transl. by R. J. H. Jenkins, Washington 1967 (= CFHB 1, Dumbarton Oaks Texts) [s. x].
Vol. 2: *Commentary*, London 1962.
- DelAn* = Delatte, A. (éd.): *Anecdota Atheniensia et alia*, T. I: *Textes inédits relatifs à l'histoire des religions*, T. II: *Textes grecs relatifs à l'histoire des sciences*, Liège – Paris 1927–1939.
- DemChom* = Demetrii Chomateni *Ponemata diaphora*, recensuit G. Prinzing, Berlin – New York 2002 (= CFHB 38, Series Berolinensis) [s. XIII].
- DeThem* = Costantino Porfirogenito: *De Thematribus*, introd., testo crit., com. a cura di A. Pertusi, Vatikan 1952 (= Studi e testi 160) [s. x].
- DocPhil* = Kravari, V.: »Nouveaux documents du monastère de Philothéou«, in: *TM* 10 (1987), 261–356 [s. XIV].
- EpMesArch* = *Ἐπετηρίς τοῦ μεσαιωνικοῦ ἀρχείου*, Ἀθήναι 1939.
- EustDam* = Eustathius Thessalonicensis metropolita: »Interpretatio hymni pentecostalis Damasceni«, in: Idem, *Opera*, Paris 1865 (= PG 136, S. 501–754) [s. XII].
- EustIl* = Eustathius Archiepiscopus Thessalonicensis: *Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes*, Vol. 1: *Praefationem et commentarios ad libros α–δ complectens*, cur. M. van der Valk, Leiden 1971 [s. XII].

- FickPhund* = Ficker, G.: *Die Phundagiagiten. Ein Beitrag zur Ketzergeschichte des byzantinischen Mittelalters*, Leipzig 1908 [s. XI–XIII].
- GAkrop* = Georgii Acropolitae *Opera*, rec. A. Heisenberg, Vol. 1: *Continens historiam, breviarivm historiae, Theodori Scvtariotae additamenta*; Vol. 2: *Continens scripta minora. Praecedat Dissertatio de vita scriptoris*, Leipzig 1903; ed. anni 1903 corr. cur. P. Wirth, Stuttgart 1978 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana) [s. XIII].
- GautBulg* = Gautier, P.: »Mœurs populaires bulgares au tournant des 12^e/13^e siècles«, in: Dufrenne, S. (resp. de l'éd.): *Byzance et les slaves. Études de Civilisation. Mélanges Ivan Dujčev*, Paris 1979, 181–189 [ca 1200].
- GedSymb* = Γεδεών, Μ. Ή.: »Βυζαντινά συμβόλαια«, in: *BZ* 5.1 (1896), 112–117; Verbesserungen und Datierung in: Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α., »Βυζαντινά Ἀνάλεκτα«, in: *BZ* 8.1 (1899), 66–81 (hier S. 80 f.) [a. 1466/67].
- GeorgTorn* = Georges et Dēmētrios Tornikēs: *Lettres et discours*, introduction, texte, analyses, traduction et notes par J. Darrouzès, Paris 1970.
- Hesseling* = Hesseling, D. Ch.: *Les cinq livres de la Loi (le Pentateuque)*, traduction en néo-grec publiée en caractères hébraïques a Constantinople en 1547, Leiden 1897.
- Irmscher* = Ἰάκωβος Τριβώλης: *Ποιήματα*, hrsg., übers. u. erkl. v. J. Irmscher, Berlin 1956 (= Berliner byzantinische Arbeiten 1).
- JoGen* = Iosephus Genesius: *Regum libri quattuor*, rec. A. Lesmueller-Werner et I. Thurn, Berlin – New York (CFHB 14, Series Berolinensis) 1978 [s. X].
- JoKatr* = Дуйчев, И.: »Проучвания върху българското средновековие«, in: *СБАН* 41.1 (1945), 3–176 [hier: »Ioannes Katrares«, С. 130–150; s. XIV].
- JoPhocas* = Ioannes Phocas, in: Miller, E. (éd.): *Recueil des historiens des croisades. Historiens grecs*, T. 1, Paris 1875, 527–558 [s. XII].
- JoScyl* = Ioannis Scylitzae *Synopsis historiarum*, rec. I. Thurn, Berlin – New York 1973 (= CFHB 5, Series Berolinensis) [s. XI].
- JoScylCo* = Τσολάκης, Ε. Θ.: *Η Συνέχεια τῆς χρονογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σκυλίτση (Ioannes Skylitzes continuatus)*, Θεσσαλονίκη 1968 (Ἴδρυμα Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἴμου 105) [s. XI].
- JusCan* = *Jus Canonicum Graeco-Romanum. Sententiae synodales et sanctiones pontificiae, archiepiscoporum et patriarcharum Constantinopolis*, Paris 1864 (= PG 119, S. 725–1094).
- KeκαυπII* = *Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского полководца XI века*, подгот. текста, введ., пер. и ком. Г. Г. Литаврина, Москва 1972 (= Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы) [Санкт-Петербург 2003; s. XI].
- KeκαυпS* = Cecaumeno: *Raccomandazioni e consigli di un galantuomo (Στρατηγικόν)*, testo critico, traduzione e note a cura di M. D. Spadaro, Alessandria 1998 (= Hellenica. Testi e strumenti di letteratura greca antica, medievale e umanistica) [s. XI].
- Kinnam* = *Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum*, ad fidem codicis Vaticani rec. A. Meineke, Bonn 1836 (= Corpus scriptorum historiae Byzantinae 26) [s. XII].
- KommAnd* = Giannouli, A.: *Die beiden byzantinischen Kommentare zum Großen Kanon des Andreas von Kreta. Eine quellenkritische und literarhistorische Studie*, Wien 2007 (= Wiener byzantinistische Studien 26) [s. XIII].

- KonstPorphMil* = Constantine Porphyrogenitus: *Three Treatises on Imperial Military Expeditions*, introduction, edition, translation and commentary by J. F. Haldon, Wien 1990 (= CFHB 28, Series Vindobonensis).
- Lambros* = Lambros, S. (ed.): *Ecthesis Chronica and Chronicon Athenarum*, London 1902.
- LatSborn* = Латышевъ, В. В.: *Сборникъ греческихъ надписей христіанскихъ временъ изъ Южной Россіи*, С.-Петербургъ 1896.
- LudwAnek* = Ludwig, A. (Hg.): *Anekdoten zur griechischen Orthographie*, Bd. VII, Königsberg 1908 (= Verzeichnis der auf der Königlichen Albertus-Universität zu Königsberg im Winter-Halbjahre vom 15. Oktober 1908 an zu haltenden Vorlesungen und der öffentlichen akademischen Anstalten).
- Mazaris* = *Mazaris' Journey to Hades or Interviews with Dead Men about Certain Officials of the Imperial Court*, Greek Text with Transl., Not., Introd. and Index, by Seminar Classics 609, New York at Buffalo 1975 (= Arethusa Monographs 5) [s. XV].
- MetAnna* = Hunger, H.: *Anonyme Metaphrase zu Anna Komnene, Alexias XI–XIII. Ein Beitrag zur Erschließung der byzantinischen Umgangssprache*, Wien 1981 (= Wiener byzantinistische Studien 15) [s. XIV?].
- MichItal* = Michel Italikos: *Lettres et discours*, éd. P. Gautier, Paris 1972 (= Archives de l'Orient chrétien 14) [s. XII].
- MilTreat* = Dennis, G. T. (ed.): *Three Byzantine Military Treatises*, Washington 1985 (= CFHB 25, Series Washingtoniensis, Dumbarton Oaks Texts 9) [s. VI–X].
- MM* = Miklosich, F./Müller, J.: *Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, collecta et edita*, in 6 vol., Aalen 1968:
- II: Vol. II, T. 1.2: *Acta patriarchatus Constantinopolitani, 1315–1402, e codicibus manu scriptis bibliothecae palatinae Vindobonensis edita*, in 2 tomis, tomus posterior [Nachdr. d. Ausg.: Wien 1862];
- IV: Vol. IV, T. III.1: *Acta et diplomata monasteriorum et ecclesiarum orientis*, in 3 tomis, tomus primus [Nachdr. d. Ausg.: Wien 1871].
- Morelli* = Morellius, J.: *Bibliotheca manuscripta Graeca et Latina*, T. I, Bassano 1802.
- NChonHi* = *Nicetae Choniatae Historia*, rec. I. A. van Dieten, P. I–II, Berlin – New York 1975 (= Corpus fontium historiae Byzantinae 11.1–2, Series Berolinensis) [ca. 1200].
- NChonPan* = van Dieten, J. L.: *Zur Überlieferung und Veröffentlichung der Panoplia dogmatike des Niketas Choniates*, Amsterdam 1970 (= Zetemata Byzantina. Studien und Vorträge zur byzantinischen Geschichte 3) [ca. 1200].
- NChonPar* = *Nicetae Choniatae Historia*, ex recensione I. Bekkeri, Bonn 1835 (= Corpus scriptorum historiae Byzantinae 41) [Paraphrase im krit. App.; s. XIV?].
- Nomoc* = Cotelier, J. B. (ed.): »Nomocanon«, in: *Monumenta ecclesiae graecae*, T. 1, Paris 1677, 68–158 [s. XII–XIV?].
- PapProdr* = Παπαδημητρίου, Σ. Δ.: »Ὁ Πρόδρομος τοῦ Μαρκανοῦ κώδικος XI 22«, in: *BB* 10 (1903), 102–163 [s. XII].
- PavlovPol* = Павловъ, А.: *Критическіе опыты по исторіи древнѣйшей греко-русской полемики противъ латинянъ*, С.-Петербургъ 1878 [s. XI/XII].
- PapVar* = Пападопуло-Керамевъ, А.: *Varia Graeca Sacra. Сборникъ греческихъ неизданныхъ богословскихъ текстовъ IV–XV вѣковъ, съ предисловіемъ и указателемъ*, С.-Петербургъ 1909 (= Записки историко-филологического факультета Императорскаго С.-Петербургскаго университета 95) [Nachdr.: Leipzig 1975 (= Subsidia Byzantina lucis ore iterata 6)].

- PetBel* = Петрушевски, М. Д.: »Белешки за натписот од црквата Константин и Елена«, in: *Жива Антика* 2.2 (1952), 273–288 [s. XIV?].
- Pradel* = Pradel, F. (Hg.): *Griechische und süditalienische Gebete, Beschwörungen und Rezepte des Mittelalters*, Giessen 1907 (= RGVV III.3).
- PrinzJustin* = Prinzing, G.: »Entstehung und Rezeption der Justiniana-Prima-Theorie im Mittelalter«, in: *Byzantinobulgarica* 5 (1978), 269–287 [s. XII].
- PrisOtryvki* = Приселковъ, М./Фасмеръ, М.: »Отрывки В. Н. Бенешевича по истории русской церкви XIV века«, in: *ИОРЯС* 21.1, Петроградъ 1916 [1917], 48–70 [s. XIV].
- ProcMyst* = Gouillard, J.: »Quatre procès de mystiques à Byzance (vers 960–1143). Inspiration et autorité«, in: *REB* 36 (1978), 5–81.
- PzZon* = *Ioannis Zonarae Lexicon, ex tribus codicibus manuscriptis nunc primum ed. I. A. H. Tittmann, T. I–II, Leipzig 1808* [ca. s. XIII].
- RacPoiet* = Rácz, S.: *Βυζαντινά ποιήματα περί τῶν Οὐγγρικών ἐκστρατειῶν τοῦ αὐτοκράτορος Μανουήλ*, Budapest 1941 (= Οὐγγροελληνικαὶ Μελέται 16) [s. XII].
- RystMat* = *Матеріали з історії візантійсько-слов'янської літератури та мови*, підг. до друку А. В. Ристенко, перед. сл. П. О. Потапова, Одеса 1928 [Reprint: Rystencko A. V., *Materialien zur Geschichte der byzantinisch-slavischen Literatur und Sprache*, Leipzig 1982].
- SchilMet* = Schilbach, E.: *Byzantinische metrologische Quellen*, Θεσσαλονίκη ²1982 (= Βυζαντινά Κείμενα καὶ Μελέται 19).
- ScholApRb* = Wendel, C.: *Scholia in Apollonium Rhodium vetera*, Berlin ²1958.
- ScholArK* = *Scholia in Aristophanem*, P. I: *Prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes*, Fasc. 3.2: *Scholia recentiora in Nubes*, ed. W. J. W. Koster, Groningen 1974.
- SchreinChron* = Schreiner, P.: *Die byzantinischen Kleinchroniken*, T. 1: *Einleitung und Text*, Wien 1975; T. 3: *Teilübersetzungen, Addenda et Corrigende, Indices*, Wien 1979 (= CFHB 12.1–3, Series Vindobonensis).
- SchreinFin* = Schreiner, P.: *Texte zur spätbyzantinischen Finanz- und Wirtschaftsgeschichte in Handschriften der Bibliotheca Vaticana*, Vaticano 1991 (= Studi e Testi 344) [s. XIV/XV].
- Solov* = Solovjev, A./Mošin, V. (ed.): *Grčke povelje srpskih vladara. Diplomata graeca regum et imperatorum Serviae*, London 1974 [Reprint of the Belgrad 1936 edition; s. XIV–XV].
- Spanos* = Spanos. *Eine byzantinische Satire in der Form einer Parodie*, Einl., krit. Text, Kommentar u. Glossar besorgt v. H. Eideneier, Berlin – New York 1977 (= Supplementa Byzantina. Texte und Untersuchungen 5) [s. XV].
- Suda* = Adler, A. (ed.): *Suidae Lexicon*, P. II: δ–θ, Leipzig 1931 (= Lexicographi Graeci, recogniti et apparatus critico instrvcti 1) [s. X].
- SullSiege* = Sullivan, D. F.: *Siegecraft. Two Tenth-Century Instructional Manuals by »Heron of Byzantium«*, Washington/D.C. 2000 (= Dumbarton Oaks Studies 36).
- Syrop* = Laurent, V.: *Les »Mémoires« du Grand Eclésiarque de l'Église de Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence (1438–1439)*, Paris 1971.
- TheophylEp* = Théophylacte d'Achrida: *Lettres*, introduction, texte, traduction et notes par P. Gautier, Thessalonique 1986 (= CFHB 16.2, Series Thessalonicensis) [s. XI/XII].
- Tsiouni* = Tsiouni, V.: *Παδιόφραστος διήγησις τῶν ζώων τῶν τετραπόδων. Critical edition*, München 1972 (= Miscellanea Byzantina Monacensia 15).

- TypGregPak* = Gautier, P.: »Le typikon du Sébaste Grégoire Pakourianos«, in: *REB* 42 (1984), 5–145 [a. 1083].
- TypKosm* = Petit, L.: »Typikon du monastère de la Kosmosotira près d'Ænos (1152)«, in: *ИПАИК* 13 (1908), 17–77.
- TypPant* = Gautier, P.: »Le Typikon du Christ sauveur pantocrator«, in: *REB* 32 (1974), 1–145 [s. XII].
- Uran* = McGeer, E.: *Sowing the Dragon's Teeth: Byzantine Warfare in the Tenth Century*, Washington/D.C. 1995 (Dumbarton Oaks Studies 33).
- VClemII* = Iliev, I. G.: »The Long Life of Saint Clement of Ohrid. A Critical Edition«, in: *Byzantinobulgarica* 9 (1995), 62–120 [s. XII].
- VRom* = Halkin, F.: »Un ermite des Balkans au XIV^e siècle. La Vie grecque inédite de Saint Romylos«, in: *Byz* 31 (1961), 111–147 [s. XIV].
- Zepos* = Zepos, I./Zepos, P.: *Ius Graecoromanum*, Vol. I: *Novellae et aureae bullae imperatorum post Iustinianum*, ex ed. C. E. Zachariae a Lingenthal, Athen 1931.
- Zigab* = Euthymius Zigabenus: *Opera*, T. 3, Paris 1864 (= PG 130) [ca 1100].
- Zograf* = Глигоричевић, М.: »Сликарство тепчије Градислава у манастиру Трескавцу«, in: *Зограф* 5 (1974), 48–51.
- ZonarEpit* = Büttner-Wobst, T.: *Ioannis Zonarae Epitomae historiarum libri XIII–XVIII*, Bonn 1897 (= Corpus scriptorum historiae Byzantinae 31) [s. XII].

2. Lexika und Sekundärliteratur

- ANDR = Ανδριώτης, Ν. Π.: *Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής*, Θεσσαλονίκη, 3¹⁹⁸⁸.
- ARABANT = Αραβαντίνοϋ, Π.: *Ἑπειρωτικὸν γλωσσάριον*, Ἀθήναι 1909 (= Βιβλιοθήκη Ἱστορικῶν Μελετῶν 220).
- BER = [Българска Академия на науките. Институт за български език]: *Български етимологичен речник*, Т. 1–5, Соφία 1971–2010 sqq.
- CAR = Carcausi, G.: *Lessico greco della Sicilia e dell'Italia meridionale (secoli X–XIV)*, Palermo 1990 (= Lessici Siciliani 6).
- DANI = Даничић, Б.: *Рјечник из књижевних старина српских*, Т. 1–3, Биоград 1863–1864.
- DEM = Δημητράκος, Δ.: *Μέγα λεξικὸν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης*, Т. 1–9, Ἀθήναι 1954–1958.
- DETOR II = Δετοράκης, Θ. Ε.: »Ἀθησαύριστα βυζαντινά. Ἑκατοντὰς δευτέρα καὶ τρίτη«, in: *Ἀθηνα* 77 (1978/79), 211–227.
- DUC = du Cange, Ch.: *Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis*, Vol. I–II, Lyon 1688.
- GLOSSAR = *Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa*, Beiheft 5: *Das Ethnikon Sklabenoi, Sklaboi in den griechischen Quellen bis 1025*, bearb. G. Weiss, red. A. Katsanakis, Stuttgart 1988.
- HL = Παπαδόπουλος, Α. Α./Κρεκούκιας, Δ. Α. (αρχισυντ.): *Ιστορικὸν λεξικὸν τῆς νέας ἐλληνικῆς*, Т. 1–5, Ἀθήνα 1933–1989 sqq.
- KARAPOTOSOGLU 1984 = Καραποτόσογλου, Κ.: »Κυπριακά ἔτυμα: Ετυμολογικά σε δημῶδη ονόματα αγγείων καὶ ἄλλα«, in: *Κυπριακαὶ Σπουδαί* 48, 1–45.

- KISLINGER 1981 = Kislinger, E.: »Der junge Basileos I. und die Bulgaren«, in: *JÖB* 30, 137–150.
- KLEIS = Καρανικόλας, Π.: Κλείς ὀρθοδόξων κανονικῶν διατάξεων, Ἀθήναι 1979.
- KR = *Λεξικό τῆς μεσαιωνικῆς ἑλληνικῆς δημόδου γραμματείας 1100–1669* τοῦ Ἐμμανουήλ Κριαρά, καθηγητῆς Ἰ. Ν. Καζάζης, Τ. 1–17, Θεσσαλονίκη 1968–2011 [sq].
- KUK = Κουκουλές, Φ. Ι.: »Νεοελληνικῶν λέξεων καὶ φράσεων παλαιότερα μνεία«, in: *Ἐπισημονική Ἐπετηρίς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν* 6 (1955/6), 225–338.
- KUKGRAM = Κουκουλές, Φ. Ι.: *Θεσσαλονίκης Εὐσταθίου τὰ γραμματικά*, Ἀθήναι 1953.
- KUKLAO = Κουκουλές, Φ. Ι.: *Θεσσαλονίκης Εὐσταθίου τὰ λαογραφικά*, Τ. 1–2, Ἀθήναι 1950 (= Ἐπισημονικαὶ Πραγματεῖαι, Σειρὰ Φιλολογικὴ καὶ Θεολογικὴ 5).
- LBG = *Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.–12. Jahrhunderts*, erstellt v. E. Trapp et al., Bd. 1–6 sq., Wien 1994–2007 sq. (= ÖAW, phil.-hist. Kl., Denkschriften 238, 250, 276, 293, 326, 352; Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik VI.1–6).
- LEXTSAK = Κοστάκης, Θ.: *Λεξικό τῆς Τσακωνικῆς διαλέκτου*, Τ. 1–3, Αθήνα 1986–1987.
- LEXLATIUG = Kostrenčić, M. (red.): *Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae*, Vol. II: *Litterae L–Z*, Zagreb 1978.
- LKN = [Ἰνστιτούτο Νεοελληνικῶν Σπουδῶν (Ἰδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)]: *Λεξικό τῆς κοινῆς νεοελληνικῆς*, Θεσσαλονίκη 1998.
- LMA = *Lexikon des Mittelalters*, Bd. 2: *Bettlerwesen bis Codex von Valencia*, München – Zürich 1983.
- LSSUP = Liddel, H. G./Scott, R./Stuart Jones, H./McKenzie, R.: *Greek-English Lexicon. A Supplement*, ed. by P. G. W. Glare, Oxford 1996.
- LSSV = Ђирковић, С./Михаљчић, Р. (ур.): *Лексикон српској Средњеј века*, Београд 1999.
- MEYER 1894 = Meyer, G.: *Neugriechische Studien II: Die slavischen, albanischen und rumänischen Lehnworte im Neugriechischen* (= Sitzungsberichte d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien, phil.-hist. Kl. 130.5).
- MIKLOSICH = von Miklosich, F.: *Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum*, Aalen 1963 [Neudr. d. Ausgabe: Wien 1862–1865].
- MOR = Moravcsik, G.: *Byzantinoturcica*, Bd. II: *Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen*, Berlin ²1958 (= Berliner byzantinistische Arbeiten 11).
- OIKLIKIN = Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ε.: »Οἱ οἰκογένειες Λικινίου καὶ Περδικάρη. Μελέτη βιογραφικὴ καὶ γενεαλογικὴ«, in: *Μεσαιωνικά καὶ Νέα Ἑλληνικά* 5 (1996), 307–379 [s. XVII].
- PANTAZOPOULOS 1974 = Πανταζόπουλος, Ν. Ι.: *Κῶδιξ μητροπόλεως Σισανίου καὶ Στατίστης 17– 18' αἰ.*, Θεσσαλονίκη 1974 (= Δικαιικὰ μεταβυζαντιακὰ μνημεῖα 1).
- PLP = *Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit*, erstellt von E. Trapp et al., Bd. 1–12, Wien 1976–1994 (= ÖAW, phil.-hist. Kl., Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik 1.1–12).
- REINSCH 2005 = Reinsch, D.: »Die Bedeutung einiger Fachausdrücke des byzantinischen Polospiels und Ringkampfs«, in: Hoffmann, L. (Hg.): *Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur*, Wiesbaden (= MVB 7), 633–638.
- REW = Meyer-Lübke, W.: *Romanisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg ⁶1992 (= Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher. Reihe 3: Wörterbücher 3) [Nachdr. d. Aufl. Heidelberg ³1935].

- SCHILMETROL = Schilbach, E.: *Byzantinische Metrologie*, München 1970 (= Handbuch der Altertumswissenschaft, Abt. 12, Byzantinisches Handbuch 4).
- SCHREINLEX = Schreiner, P.: »Slavische Lexik bei byzantinischen Autoren«, in: Olesch, R./Rothe, H. (Hg.): *Festschrift für Herbert Bräuer zum 65. Geburtstag am 14. April 1986*, Köln – Wien 1986 (= Slavistische Forschungen 53), 479–490.
- SCHREINSLAVATHOS = Schreiner, P.: »Slavisches in den griechischen Athosurkunden«, in: Rothe, H./Schmidt, R./Stellmacher, D. (Hg.): *Gedenkschrift für Reinhold Olesch*, Köln – Wien 1990 (= Mitteldeutsche Forschungen 100), 307–316.
- SKUBOL = Skouvaras, E.: *Olympiotissa: Description et histoire du monastère. Catalogue des manuscrits – notices historiques. L'acoulouthie de la vierge Olympiotissa. Documents tirés des archives du monastère (1336 – 1990)*, Athènes 1967.
- SDRJA = Аванесов, Р. И./Улуханов, И. С./Крысько, В. Б. (гл. ред.): *Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)*, Т. 1–8, Москва 1988–2008 sqq.
- SJS = Kurz, J./Hauptová, Z. (hl. red.): *Lexicon linguae palaeoslovenicae/Slovník jazyka staroslověnského*, Т. 1–4, Praha 1966–1997.
- SRJA = Бархударов, С. Г./Филин, Ф. П./Шмелев, Д. Н./Богатова, Г. А./Крысько, В. Б. (гл. ред.): *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, Т. 1–28, Москва 1975–2008 sqq.
- SOMAV = da Somavera, A.: *Tesoro della lingua greca-volgare ed italiana*, Paris 1709.
- SREZN = Срезневский, И. И.: *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам*, Т. 1–3, С.-Петербург 1893–1903.
- СТАМ = Σταματάκος, Ι. Δ.: *Λεξικόν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς γλώσσης. Καθαρευούσης καὶ Δημοτικῆς καὶ ἐκ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς εἰς τὴν Ἀρχαίαν*, Т. 1–3, Αθήναι 1952–1955.
- TIB = *Tabula Imperii Byzantini*, Т. 1: Koder, J./Hild, J.: *Hellas und Thessalia*, Wien 1976 (= ÖAW, phil.-hist. Kl., Denkschriften 125).
- TLG = *Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature*: <http://www.tlg.uci.edu> (mit site licence) [22.04.2011].
- TRIANTLEHN = Triantaphyllidis, M. A.: *Die Lehnwörter der mittelgriechischen Vulgärliteratur*, Straßburg 1909.
- VASMER = Фасмер, М.: *Этимологический словарь русского языка*, перевод с нем. и дополнения О. Н. Трубачева, под ред. и с предисл. Б. А. Ларина, Т. 1–4, Москва 1986–1987.

Mateo Žagar

Strategija leksičkog odabiranja u *Misalu hruackom* Šimuna Kožičića Benje (1531)

Jezična koncepcija izdanja riječke glagoljske tiskare Šimuna Kožičića Benje, u kojoj se kroz manje od pola godine (od 15. XII. 1530. do 27. V. 1531) otisnulo šest glagoljskih izdanja, u više je navrata pobuđivala znanstveno zanimanje.¹ Bilo je ono potaknuto potrebom da se procijeni odnos prema kontinuitetu hrvatske srednjovjekovne tradicije u novim, novovjekovnim uvjetima, no istraživanja su – sukladno tradicionalnoj metodologiji – obično stala na pobrojavanju posebnosti konkretnih odabira između naslijeđene staroslavenske ponude i hrvatske (čakavske) inovacije.² Kožičićevim tekstovima pristupalo se kao i hrvatskim srednjovjekovnim glagoljskim tekstovima, pisanima “hrvatskom redakcijom staroslavenskoga jezika”, u kojima je očigledno bilo s vremenom sve naglašenije uvlačenje elemenata hrvatskoga jezika u crkvenoslavensku bazu. S početkom XVI. st. nastupila je na općem hrvatskom planu razmjerno nagla promjena težišta kulturnih paradigmi: nove renesansne i humanističke smjernice dovodile su, kako do promjena obrazaca književne produkcije, tako i do preispitivanja pozicije književnoga jezika: uz sve očiglednije autorske koncepcije književnih djela, autorsku je dimenziju dobivalo i oblikovanje književnoga jezika – gramatički i leksički odabir, posebne relacije prema tradiciji, s jedne strane, i živim govorima s druge. Iako su ti obrati najvidljiviji u pojedinim regionalnim središtima (dalmatinskim gradovima i Dubrovniku), upravo se u djelima predstavnika *glagoljaškoga humanizma* pokazalo da je posrijedi slojevitiji i prostorno prošireniji preokret, te kako glagoljaški i latinički pol hrvatske kulture više nisu bili suprotstavljeni kao što su to bili još prethodnoga stoljeća. Činjenica da je Šimun Kožičić Benja, za-

1 TUTSCHKE 1983, BENVIN 1983, ŽAGAR 1993, TOMAŠIĆ 2001.

2 Pritom se slijedila koncepcija primjerena opisivanju srednjovjekovnih glagoljskih liturgijskih tekstova: potraga za omjerom “novih” (hrvatskih) i “starih” (crkvenoslavenskih) elemenata. Takav pristup počiva na zastarjeloj pretpostavci da je razvoj književnoga jezika “prirodan” te da se nužno i pravocrtno kreće prema konačnom “pročišćavanju” od svega suvišnog, nerazumljivog i zastarjelog.

darski humanistički intelektualac, ujedno i dobar, poznavatelj glagoljske baštine, postao modruškim (odnosno krbavskim) biskupom, i da je zbog turskih osvajanja dalje djelovao u riječkom izbjeglištvu, ovdje je od presudne važnosti. Osim po sveukupnosti svoga djelovanja (a poznat je i po svojim latinskim protuturskim govorima pred papom Leonom XI, sastavljenima po humanističkim standardima), kao i po objavljivanju humanističkog historiografskog priručnika *Knjižice od žitja rimskih arhijereov i cesarov*, Kožičićev je iskorak u *novu doba* osobito vidljiv po raskidu s dotadašnjom jezičnom tradicijom. U srednjem je vijeku, zaključno s djelovanjem prve hrvatske glagoljske tiskare u Senju (1494–1507), hrvatski književni jezik funkcionirao na tri *fekvencije*, s obzirom na odnos crkvenoslavenskih i hrvatskih elemenata: liturgijski su tekstovi pisani hrvatskom redakcijom crkvenoslavenskoga (“hrvatskim crkvenoslavenskim”), beletristički izrazitijim prepletom crkvenoslavenskoga i hrvatskoga narodnoga, a pravni tekstovi narodnim idiomima (DAMJANOVIĆ 2008: 24–37). Iako se moglo očekivati da će Kožičić, kao suvremenik zapadnih afirmacija narodnih jezika u književnosti, za jezičnu osnovicu povijesnoga izdanja *Knjižica od žitja...* odrediti kakav hrvatski idiom (kao što je slučaj među hrvatskim humanističkim književnicima koji su pisali latinicom), on je ipak posegnuo za okvirima već odavna visoko afirmiranoga književnoga jezika svoje sredine, onoga kojim su pisane liturgijske glagoljske knjige, odnosno onoga koji ima blagoslov Svete Stolice. Ujednačivši rezoluciju jezika novotiskanoga glagoljskog misala i ostalih obrednih priručnika te povijesnoga djela, svjesno je presadio funkciju latinskoga jezika sa susjednoga, “konkurentskoga” kulturnog pola i time potvrdio, još u srednjem vijeku u liturgijskoj praksi ovjerenu, usporednost njihovih funkcija. Kao što je i latinski tumačen kao starija inačica istoga, talijanskoga, jezika, tako je bilo i s crvenoslavenskim u hrvatskoj sredini. Ključni se motiv, koji je i spriječio Kožičića da odustane od crkvenoslavenštine, nalazio u različitosti ovih jezika po razumijevanju, i po mogućnostima njihova prepletanja s tzv. narodnim idiomima. Dok se latinski i talijanski nisu mogli plodno prožimati gradeći nov jezični izraz, takvo je što u odnosu staroslavenskoga i hrvatskoga bilo moguće od prvog njihova doticaja. Hrvatski je crkvenoslavenski kroz cijeli srednji vijek funkcionirao kao najviša frekvencija hrvatskoga književnojezičnog izraza. To što se nije posve mogao razumjeti, pa ni u Crkvi, bila je uobičajena cijena bilo kojeg odabira: da je odabran za književni jezik već tada neki lokalni govor, i on bi kod govornika susjednoga idioma u nekoj mjeri bio nerazumljiv. Razlika između crkvenoslavenskoga i pojedinih hrvatskih govora nije se doživljavala mnogo većom nego razlika među njima samima. Njegova posebnost tumačila se kao arhaičnost.

Novi je vijek, međutim, namro novi zadatak u jezičnom koncipiranju. Nakon izuma tiska, sve veće demokratizacije pisane riječi, pouzdanost punog

jezičnog razumijevanja postaje važnim zahtjevom. Isti motor koji je na Zapadu doveo do afirmacije narodnih jezika i sužavanja funkcija latinskih tekstova na hrvatskom je prostoru poticao veću skrb o gramatičkom i leksičkom odabiru unutar jednoga složenog jezičnog kompleksa, koji su Hrvati mogli razumjeti unatoč znatnim razlikama u odnosu na vlastite govore. Do izjednačenja s nekim narodnim govorom tada nije moglo doći, jer je zasigurno postojala svijest o znatnoj jezičnoj različitosti na terenu. Jezično koncipiranje nekog tiskanog izdanja podrazumijevalo je svijest o nužnosti nadlokalne i nadregionalne povezanosti. Skrb pak Svete Stolice o liturgijskom jeziku hrvatskih glagoljskih knjiga osobito u novome vijeku (sve do kraja XIX. st.) ogleдалa se u poticanju rušenja granica prema širim (južno)slavenskim prostorima. S druge strane, od prepoznatljivoga crkvenoslavenskoga sloja nije se smjelo odustati, s obzirom na njegovu uvaženost i priznatost u crkvenoj uporabi. Njegova uporaba nije bila samo privilegij, nego i obveza, što znači da je kontinuitet uporabe, još od prvih eksplicitnih papinskih dopuštenja hrvatskim glagoljašima u XIII. st. morao ostati prepoznatljiv. Takav udio crkvenoslavenskih elemenata jamčio je otvorenost i povezanost s ostalim slavenskim narodima koji baštine u liturgiji staroslavenski jezik, dakako u svojim inačicama. S vremena na vrijeme, kroz povijest, politici Rimske crkve takav je hrvatski model, koji neprijeporno pristaje uza Zapadnu crkvu, a u liturgiji se koristi pismom i jezikom oblikovanim u Bizantu (koje se zbog razumljivosti doživljuje svojim), mogao poslužiti kao deklaracija. Osobito će se to pokazati u narednom, XVII. stoljeću, u okviru projekta tiskanja glagoljskih liturgijskih knjiga u Rimu, pod nadzorom Kongregacije za nauk vjere, kao i prilikom opstruiranja tiskanja Kašićeve Biblije na štokavskome i latinici, s početka XVII. st.

U takvu dakle kontekstu treba promatrati tiskarsku, prevodilačku i prepisivačku djelatnost biskupa Benje. Nakon što je, prema stanju u *Knjižicama od žitija...*, bila prepoznana njegova namjera da crkvenoslavenski afirmira kao opći književni jezik (ŽAGAR 1993), uslijedila je potraga za odgovorom na pitanje: Koliko se prilikom prevođenja vodilo računa o karakterističnim udjelima staroslavenskih i hrvatskih gramatičkih oblika naslijeđenima iz starijih hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova? Budući da je za prijevod *Knjižica* bilo nužno aktivno poznavanje crkvenoslavenskog jezika (kojim su pisane liturgijske knjige), nema nikakve sumnje da se morao provoditi svjestan odabir posebnosti (izrazitih staroslavenskih i izrazitih hrvatskih osobina) u potrazi za željenim omjerom. Najprimjerenija metoda za takvo procjenjivanje jest raščlamba onoga Kožičićeva djela koje se izravno, po istoj funkciji, naslanja na stariju praksu, prema kojoj se dakle može izravno supostaviti, a to je *Misal hruatski* (1531), redom četvrti tiskani hrvatski glagoljski misal i svakako najznačajnije djelo riječke glagoljske tiskare. Istraživanja koja se provode po-

sljednje tri godine posve su jasno pokazala kako je Kožičić proveo radikalnan prekid s tradicijom:³ Kako bi postigao gotovo doslovnu podudarnost s Vulgatom, i na sadržajnoj, ali i na gramatičkoj ravni,⁴ nije samo redigirao starije prijevode koji vuku kontinuitet od najstarijih prevedenih slavenskih biblijskih tekstova (prevedenih prema *Septuaginti*), nego je zapravo sastavio nov prijevod, oslanjajući se u manjoj mjeri na poznata mu rješenja iz starijih, rukopisnih i tiskanih misala.⁵ Da bi postigao što veću podudarnost s latinskim predloškom, čak je i doslovno prevodio tvorbu nekih glagolskih oblika (npr. usp. tvorbu imperativa: usp. *ne btiite se boēti* prema latinskom *nolite timere* Ex 20.20; 42v), iako takav način tvorbe ne postoji ni u crkvenoslavenskome ni u hrvatskome jeziku (CEKOVIĆ et al. 2011: 144).

Budući da je posve neprijeporno da je Kožičić, kao biskup glagoljaške modruške biskupije koji se tek u svojim poznim godinama poduhvatio novog prijevoda misala, dobro poznao biblijska čitanja glagoljskoga misala (dijelove zacijelo i napamet), osobito nas je ovom prilikom zanimala njegova strategija leksičkog odabiranja, kako odluke o čuvanju naslijedenog inventara (staroslavenskoga ili čakavskog sloja), tako i odluke o zamjenjivanju pojedinih riječi, po njegovu uvjerenju, primjerenijima. Iako već i površno zagledanje u tekst *Misala bruatskoga* potvrđuje kako je riječ o crkvenoslavenskom jeziku, tragajući za karakterističnim staroslavenskim leksemima, nećemo ih nabrojiti mnogo. Kao takve prepoznajemo tek neke zamjenice (npr. *azz*,⁶ *iže*, *eže*, *ēže*,⁶ *čto*, *ničtože*) ili priloge *počto*, *abie*, *éko*,⁷ *sice*, te partikulu *že*, dakle

3 Ova bi rasprava, kao i čitav rad na projektu raščlambe jezika Kožičićeva *Misala bruackoga*, trebao biti odgovor na tvrdnju najbolje poznavateljice opusa ovoga glagoljaškog humanista Anice NAZOR, napisanu prilikom kratkog osvrtu na ovu prevažnu knjigu: "Što je Kožičić ponovno prevodio; što je dodavao tradicionalnom glagoljskom misalskom tekstu, a što mijenjao u jeziku – pokazat će istom istraživanja" (2008: 109).

4 Usp. isti postupak "prijevoda na razini riječi" kojim se služio Bartol Kašić pri prevodenju Vulgate (prema izdanju iz 1598. koje je za službenu uporabu odobrio Tridentski sabor) stotinjak godina poslije Kožičića, doduše na "narodni jezik", prema nalogu Zbora za širenje vjere (*Congregatio de propaganda fide*). Usporedba Kožičićevih i Kašićevih rješenja još nije provedena. Postoje, naprimjer u kalkiranju (*gazophylacium* : *blagohranilišče* /Kož/, *blagohranilica* /Kaš/) naznake da je Kašić konzultirao i Kožičićev prijevod (GABRIĆ-BAGARIĆ 2010: 52-56).

5 I ovaj je članak rezultat priređivanja kritičkoga izdanju *Misala bruatskog*, u kojemu se donose sve jezične razlike prema ostalim trima tiskanim hrvatskoglagojskim misalima. Izdanje se priprema u okviru projekta *Enciklopedija brvatskoga glagoljštva*, koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a vodi akademik Stjepan Damjanović.

6 Nisu rijetki primjeri da se i ove zamjenice zamjenjuju čakavskim oblicima, ponajviše oblikom *ki*. Zanimljivo je da je učestalost toga oblika u odnosu prema *iže* veća u *Senjskome misalu* (1494), nego u Kožičićevu.

one riječi koje ne iskazuju predmetnu stvarnost, čije se značenje spoznaje tek u tekstu, i koje se pojavljuju u tekstovima razmjerno često. Za autosemantičke riječi, koje imaju puno pojmovno značenje, Kožičić se brine da budu slušateljima i čitateljima potpuno razumljive.⁸ Dakle, razumljivost širem krugu slušatelja prvi je ovdje motiv leksičke strategije. Na temelju usporedbe sa stanjem u ostalim trima tiskanim glagoljskim misalima (*Prvotisku misala* iz 1483, *Senjskome misalu* iz 1494. i *Misalu Pavla Modrušanina* iz 1528), očigledno je da Kožičić provodi dosljedno zamjene ovih riječi u biblijskome tekstu.⁹

<i>znati</i> < <i>věsti</i> ;	<i>govoriti</i> < <i>glagolati</i> ;
<i>sopet</i> < <i>paki</i> ;	<i>obuča</i> < <i>sapogŕ</i> ;
<i>zane</i> < <i>ěko/ubo</i> ;	<i>počteno</i> < <i>blagoobraznĕ</i> ;
<i>otvori</i> < <i>otvrze</i> ;	<i>pokle</i> < <i>egda</i> ;
<i>mudri</i> < <i>vlsvi</i> ;	<i>dotaknu</i> < <i>prikosnĕ</i> ;
<i>tamĕnĕ</i> < <i>livano</i> ;	<i>potrebuetĕ</i> < <i>podobaet</i> ;
<i>vsakomu</i> < <i>komuždo</i> ;	<i>branaše</i> < <i>sablŭdaše</i> ;
<i>računu</i> < <i>čislu</i> ;	<i>milosti</i> < <i>blagodĕti</i> ;
<i>kadĕ</i> < <i>gdĕ</i> ;	<i>nepriĕtelĕ</i> < <i>vrag</i> ;
<i>taknu</i> < <i>kosnu</i> ;	<i>stotnikĕ</i> < <i>satnikĕ</i> ;
<i>načelniku odĕ gostinnice</i> < <i>arbitriklinu</i> ;	<i>vlastiŭ</i> < <i>vladikoŭ</i> ;
<i>ako</i> < <i>aĕe</i> ;	<i>tagda</i> < <i>ubo</i> ;
<i>vistinu</i> < <i>ubo</i> ;	<i>zato</i> < <i>ubo</i> ;
<i>vaspetĕ</i> < <i>i paki</i> ;	<i>plaĕŭ</i> < <i>mazdu</i> ;
<i>vladatelĕ</i> < <i>prĕposiĕ</i> ;	<i>nika</i> < <i>etera</i> ;
<i>gnev</i> < <i>ĕrostĕ</i> ;	<i>naukĕ</i> < <i>uĕenie</i> ;
<i>demuni</i> < <i>bĕsi</i> ;	<i>istoĕnikĕ/zdenacĕ</i> < <i>studenacĕ</i> ;
<i>piĕa</i> < <i>brašno</i> ;	<i>masti</i> < <i>glapiĕ</i> ;
<i>šĕap</i> < <i>žazalb</i> ;	<i>mastiŭ</i> < <i>murrromĕ</i> ;
<i>slediše</i> < <i>naslĕdovahu</i> ;	<i>blagobranilišĕi</i> < <i>gazupilakii</i> ;
<i>branimĕ</i> < <i>sablŭdaŭ</i> ;	<i>pismo</i> < <i>knigi</i> ;
<i>iže zoviše se</i> < <i>naricaemi</i> ;	<i>presno</i> < <i>sirovo</i> ;
<i>opita</i> < <i>vprosi</i> ;	<i>pogledavši</i> < <i>vzrĕvši</i> ;
<i>naide</i> < <i>obrete</i> ;	<i>sopet</i> < <i>abie</i> ;
<i>hĕeri/kĕeri</i> < <i>deĕeri</i> ;	<i>skerbi</i> < <i>peĕali</i> ;
<i>klnuĕe</i> < <i>blaspimiŭĕe</i> ;	<i>edinĕ</i> < <i>každo</i> ;
<i>zboru</i> < <i>sanmu</i> ;	<i>niednogo uzroka</i> < <i>niedinoe vini</i> ;
<i>hala</i> < <i>sukna</i> ;	<i>prosiše</i> < <i>moliše</i> ;
<i>ĕrvlenu</i> < <i>purpirnu</i> ;	<i>vidĕše</i> < <i>uzrĕše</i> ;

7 Često se *ěko* također zamjenjuje "narodnim" *kako* ili *da*.

8 Kao rijetku iznimku navodimo staroslavizme koji su ostali nepromijenjeni, odnosno rezervirani za svoj biblijski kontekst, npr. *rab*, *rabina*, *blagouhanie*, *riza*. Ovamo pripada i dosljedno korištena riječ *ĕzikĕ*, kojom se označuje politički, jezikom povezano mnoštvo ljudi.

9 Lijevo su Kožičićevi oblici, a desno iz uspoređivanih misala.

pismo < *knigi*;
igraŭtŭ < *glumĕtŭ se*;
škerina zaveta < *ktivotŭ*;
oprĕšnaki < *bes kvasa*;
svetlostŭ < *svĕtŭ*;
razdeli < *razlučĭ*;
živina < *skoti*;
začto < *vskuŭtŭ*;
svršenĭe < *iskonč(a)niĕ*;
prĕbivanŭe < *obitĕlbŭ*;

bituminomŭ < *aspalitomŭ*;
velmi < *zĕlo*;
stari < *vethi*;
istini < *rĕsnoti*;
vazva/nazva < *nareče*;
skoti < *zvĕri*;
počekaita < *poždita*;
zavezŭ < *sdruženĭe*;
pisci < *knĭžnici*;
kralŭ < *cĕsarŭ (...)*.¹⁰

U svim je parovima nepoznata ili “strano” obilježena riječ zamijenjena poznatijom, ‘domaćom’. Zamjenice su razmjerno dobro zastupljene u staroslavenskom obliku. Ne utječu bitno na razumijevanje teksta, zbog učestalosti su dobro poznate, a daju staroslavenski “ton”. Ipak, i među njima naći će se i hrvatskih zamjena: *ki* < *iže*; *nego* < *ego*; *nei* < *ei*; *kĕmŭ* < *eže*; *nih* < *ihŭ*, *tko* < *kto* (...). Kako bi se postiglo što bolje razumijevanje, katkad su i staroslavenske ili hebrejske riječi zamijenjene latinskom: *demunŭ* < *bĕstŭ*, *faza* < *paska* (u općem značenju, kao “prelazak”), *templi* < *crkvi* (kad nije riječ o kršćanskoj bogomolji), *pod elementi mira* < *pod stubiemŭ mira* i sl.

Drugom nizu razlika motiv je bilo postizanje što veće semantičke bliskosti s latinskom riječi u Vulgatinu predlošku (po metodi što bliskijega, gotovo doslovnoga prevedenja), za čim je, s jedne strane, postojala potreba i zbog razlika prema starijim hrvatskim crkvenoslavenskim prijevodima kojima je predložak bila Septuaginta, dok – s druge strane – potrebom da se doslovno prevede katkad je iznevjereno pravo značenje. Primjeri preciziranja, kakvi uglavnom vrijede i u suvremenim biblijskim prijevodima, prema latinskom su predlošku ovi:

otveča < *reče* (87v) : lat. *respondit* (Gen 22.11);
otrokŭ < *otročičŭ* (87v) : lat. *puer*;¹¹
hĕceri < *čedŭ* (90r) : lat. *filiarum* (Is 4.4);
v templi / s templa (48v) : lat. *in templo / de templo* (Jo 2.14,15);¹²

10 Navedeni su najreprezentativniji primjeri s pedesetak kritički obrađenih folija Kožičićeva misala. Kod nekih primjera nije jednostavno odlučiti o motivu. Naprimjer, u paru *kralestvo* < *c(ĕsa)rstvo*, posve dosljedno provedenom kroz cijeli Misal, razlog zamjene zasigurni nije u razumijevanju, nego u uobičajenosti uporabe. Riječ *skot* u hrvatskom jeziku očigledno je već tada poprimila, za razliku od staroslavenskoga, značenje divlje životinje (zvijeri). Zato se i staroslavenska riječ *skot* morala zamijeniti neutralnom *živina*, pa je time i, očigledno neobična, riječ *zvĕr* mogla biti zamijenjena istoznačnicom *skot*.

11 Latinski oblik, baš kao ni Kožičićev, nije u deminutivu.

12 Ovdje je Kožičić očigledno htio uspostaviti razliku prema kršćanskom hramu – crkvi.

učitelb < *moistarb* (53v) : lat. *magister* (Jo 11.28);
gulubice < *golubi* (48v) : lat. *columbas* (Jo 2.14).¹³

Nalazimo i primjere gdje je posve očigledno pretjerivanje u nastojanju da se riječi što više približe latinskome predlošku: *mečb* < *nožb* (87v) : lat. *gladius* (Gen 22.6,10);¹⁴ *razdělite* < *rasicite* (48v) : lat. *dividite* (3 Rg 3.25). Posve su rijetki, ali vrlo znakoviti primjeri, kada Kožičić inzistira na staroslavenskoj riječi: za lat. *gens*, *gentis*, f. (dakle politički organizirano i jezikom povezano mnoštvo) – rabi oblik *ézikb*, koji je u (staro)crkvenoslavenskome naslijede grčkoga prijevodnog predloška.¹⁵ Riječju *narodb*, uz *plkb*, koristit će se i dalje za označavanje mnoštva ljudi.¹⁶

U treći tip interveniranja uvrstavamo blage leksičke razlike, najčešće u prefiksionalnoj tvorbi riječi, do kojih nije nužno moralo dolaziti zbog obaziranja na predložak, nego i zbog prirodne elastičnosti različitih prijevoda:

<i>doidosta</i> < <i>pridosta</i> 87v;	<i>položi</i> < <i>vzloži</i> 87v;
<i>voéhu</i> < <i>privoéhu</i> 44r;	<i>odb daleče</i> < <i>izdaleka</i> 73v;
<i>podvračaŭča</i> < <i>razvračaŭča</i> 74r;	<i>nastoéhu</i> < <i>stoéhu</i> ;
<i>prosi</i> < <i>sprosi</i> ;	<i>umivenb</i> < <i>izmivenb</i> 76r.

Kožičićev odabir leksika, između naslijeđenoga crkvenoslavenskoga korpusa i aktualnih resursa književnoga hrvatskoga jezika kao i govornih idioma, odražava iznimnu skrb, kako za što doslovnijim i preciznijim prijevodom prema Vulgati, tako i za razumijevanjem teksta. Iako se ne može poreći ni na-

13 Ženski rod u latinskom jeziku (*columba, ae, f.*) naveo je Kožičića na odabir ženskoga spola.

14 Latinska riječ *gladius* doslovno znači “kratki dvosjekli mač”. Budući da biblijskome prijevodu ne pripada inzistiranje na terminološkim posebnostima, i u suvremenim slavenskim prijevodima Biblije, baš kao i u staroslavenskome, na tome mjestu stoji *nož*.

15 Na ovom se primjeru odlično iskazuje Kožičićeva čvrsta namjera da uspostavi što preciznije razlike u značenjima. Na mjestu Jo 7.35 (“[...] Egda v raseŭnie ézikb hoče poiti : i učiti hoče éziki”) svi uspoređivani glagoljski tiskani misali imaju oblik *narodb*. Oblik *ézikb* pronašli smo ipak u najstarijem hrvatskoglagojskom misalu *Illirico* 4, s početka XIV. st, što upućuje na to da je Kožičić dobro poznao i starije misalske tekstove i u njih se, po potrebi, ugledao.

16 Ovom nizu intervencija pripada i odustajanje u jednoj prilici (koju smo zapazili na obrađenom korpusu od cca 120 f., što je nešto manje od polovice Misala) od riječi *sobota* koja u uspoređivanim misalima i latinskom predlošku, odnosno njezina zamjena riječju *nedila* (121r: *iže vzdvignet snopake přědb g(ospode)mь : da priětanb budetz za vasb drugi danb nedile : i posvetit ga*; Lv 23.11: *qui elevabit fasciculum coram Domino ut acceptabile sit pro vobis altero die sabbati et sanctificabit illum*). Kožičić je očigledno latinsku riječ *sabbatum*, -i n. razumio kao “tjedni dan odmora”, pa ju je preveo na kršćanima istoznačnu riječ *nedila*, doduše lišenu svoga židovskoga konteksta.

stojanje da se i u leksiku osjeti staroslavenski trag, broj takvih karakterističnih riječi zanemariv je u odnosu na crkvenoslavenske gramatičke osobine, koje su najizraženije u morfologiji. Kada u posveti uglednom humanistu, biskupu Tomi Nigeru (Marulićevu prijatelju), na početku *Knjižica ot žitja...*, Kožičić piše o popravljaju starih knjiga, odnosno njihova jezika, on zapravo misli na prilagodavanje liturgijskoga jezika glagoljskih knjiga Vulgati. O tomu da je biblijske dijelove Misala pomno prilagođavao latinskom predlošku (“dijačkim misalima”), a neke iznova prevodio, pisao je i u incipitu svoga izdanja: “v njemže neičtena mēsta popravljena sut: mnoga ošče znova stlmačena i pridana sut”. Već i nakon djelimice provedenih istraživanja jezika *Misala bruackoga* (glagolskih oblika i leksika), očigledno je da je konačna redakcija hrvatskih prijevoda biblijskih tekstova (onih zasvjedočenih u misalu) provedena znatno prije nego što smo navikli govoriti, stotinjak godina prije Kašićeva prijevoda Biblije i Levakovićeva misala, još nekoliko desetljeća prije Tridentskoga sabora.¹⁷

Jezik *Misala bruackoga* možemo i dalje zvati hrvatskim crkvenoslavenskim, premda je udio elemenata narodnog jezika (osobito u leksiku) znatno veći nego u srednjovjekovnim hrvatskoglagojskim liturgijskim tekstovima. Kožičićeva je ideja bila da takav crkvenoslavenski jezik bude književni jezik za više, liturgijske i učene funkcije. Kao vrlo obrazovana osoba, zasigurno je računao s time da će se humanistička beletristika, uvjetno rečeno – niže frekvencije od crkvenih tekstova (liturgijskih i povijesnih naprimjer), u njegovo vrijeme u Hrvatskoj već djelimice afirmirana (u gradskim “oazama” Zadra, Splita, Dubrovnika...), pisati govorima bližim idiomom. U tom smislu i na početku novoga vijeka moramo na hrvatskom kulturnom prostoru i dalje računati s karakterističnom diglosijom (umjesto trojne podjele karakteristične za srednji vijek).¹⁸

Literatur

- BENVIN 1984 = Benvin, A.: “Zamisao liturgijskog jezika u Šimuna Kožičića”, u: *Slovo* 34, 203–218.
- CEKOVIĆ et al. 2011 = Ceković, B./Sanković, I./Žagar, M.: “Jezik *Misala bruackoga* Šimuna Kožičića Benje: glagolski oblici”, u: *Slovo* 60, 133–166.
- CORIN 1993 = Corin, A.: “Variation and Norm in Croatian Church Slavonic”, u: *Slovo* 41/42/43, 155–196.

17 Danas je poznato da se Rafael Levaković prilikom pripreme teksta svojega rusificiranog izdanja oslanjao na rješenja iz Kožičićeva misala, ali detaljne usporedbe još nisu provedene (HOŠKO-KOVAČIĆ 2003: 178).

18 O diglosiji u hrvatskome glagoljaštvu usp. CORIN 1993.

- DAMJANOVIĆ 2008 = Damjanović, S.: *Jezik hrvatskih glagoljaša*, Zagreb (= Hrvatska jezična baština 5).
- GABRIĆ-BAGARIĆ 2010 = Kašić, Bartol: *Izbor iz djela*, prired. i transkrib. D. Gabrić-Bagarić, Zagreb (= Stoljeća hrvatske književnosti 103).
- HOŠKO/KOVAČIĆ 2003 = Hoško, E./Kovačić, S.: “Crkva u vrijeme katoličke obnove”, u: Golub, I. (ur.): *Barok i prosvjetiteljstvo* (XVII–XVIII. st.), Zagreb (= *Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost* 3), 165–201.
- NAZOR 2008 = Nazor, A.: “Ja slovo znajući govorim...” *Knjiga o hrvatskoj glagoljici*, Zagreb (= Posebna izdanja).
- TOMAŠIĆ 2001 = Tomašić, T.: “Jezikoslovni stavovi i jezična praksa Šimuna Kožičića Benje”, u: Sesar, D. (gl. i odg. ur.): *Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova* 1, Zagreb, 275–282.
- TUTSCHKE 1983 = Tutschke, G.: *Die Glagolitische Druckerei von Rijeka und ihr historiographisches Werk. Knižice od žitiš rimskih arhieršov i cesarov*, München (= Slavistische Beiträge 169).
- ŽAGAR 1993 = Žagar, M.: “Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti (na fonološkom i grafemskom sustavu *Knjižica od žitiš rimskih arhieršov i cesarov*”, u: *Croatica* 37/38/39 (God. 23/24), 467–487.

3. Kulturen im Kontakt

Irena Avsenik Nabergoj

Temptation and Abduction in Epic Poems and Short Narratives from Antiquity, the Middle Ages and Modern Times: Intertextuality and the Slovenian Motif of Fair Vida*

This article stems from the main findings of my extensive research into the motifs of longing, weakness and temptation as manifested in literary texts from the ancient Near East (especially in Old Testament texts) as well as in literary texts from the Mediterranean and the broader European realm. Methodologically speaking, my two monographs (one in English and the other, more comprehensive one, in Slovenian) are concerned with intertextuality (AVSENİK NABERGOJ 2009 and 2010). The two academic works are extended literary analyses of well-known texts that deal with the same, or at least similar, literary themes and schemata. Though these texts span the period from antiquity to the present, and though they were written in various, unrelated languages, they exhibit valid and instructive semantic parallels. This diversity of cultural viewpoints enhances rather than diminishes the significance of their parallels and affinities.

The motifs and symbols of longing, weakness and temptation in their intertextual context have never been systematically researched, even though these motifs and symbols are key cultural determinants that are fundamental to human identity, culture, science, and art. Very similar types of temptation, seduction and abduction exist throughout the world; they are evident in the biblical stories of Adam and Eve and of Joseph of Egypt, and the similarity and specificity of the motif of Fair Vida is likewise evident in various versions of the folk ballad throughout the entire European Mediterranean space. However, it is only in Slovenia that Fair Vida has become a central symbol, and since France Prešeren's time (1800–1849) more than fifty artistic versions of this ballad depicting longing and temptation have been produced. The relevance of my research is in line with the relevance, as well as the influence, of the selected motifs and symbols, each of which has frequently appeared in literature from antiquity to the present. These various

* I would like to thank Jason Blake of the University of Ljubljana's English Department for proofreading this article.

texts are examined in both linguistic and literary terms, which ensures a more reliable and complete understanding of their content, and which in turn facilitates comprehension of the universal values expressed by the texts. Perceiving and comprehending these complex and profound values can lead to a richer, more intense linguistic and literary experience.

1. Temptation in Antiquity: A Literary Typology

The second story in the biblical account of the creation is indelibly linked with the theme of testing Adam and Eve, for it was the failing of that test that led to the Fall (Gen 2.4_b–3.24). Though the narrative, which critical exegesis attributes to Yahweh, is a neatly framed whole, we are nevertheless justified in analyzing it from interrelated thematic viewpoints. The main motifs of the story are: the creation of man (Gen 2.4_b–7); the laying-out of the Garden of Eden (Gen 2.8–17); the creation of the creatures of the earth and of woman (Gen 2.18–25); the testing of man and woman (Gen 3.1–7); the questioning of Adam and Eve after their wrongdoing (Gen 3.8–13); God's sentencing of the snake, along with His punishing of Adam and Eve (Gen 3.14–19); banishment from paradise (Gen 3.20–24).¹ The narrative's essence is that man, immediately after creation, lost his original innocence and happiness after having eaten the fruit which God had forbidden him to eat. God punished man for his disobedience and banished him from paradise. The story is remarkably simple as it presents God's creation, and some of its elements evoke ancient folk tradition. These elements of ancient tradition are transcended by means of a prophetic perspective, which provides great insight into the human soul and also provides an especially clear insight into the internal link between sin and the consequences of sin. These elements and links lead to new and original literary and theological endeavours. In the story the psychological viewpoint is especially interesting, as it reveals a human experience both in the moment of temptation and after his fall into sin. The story expressively depicts how human conscience necessarily—and strongly—reacts to sin.

In the Bible and even in world literary history it would be difficult to find a more classic example of the theme of testing than in the story of Joseph of Egypt, even if the word *testing* itself does not appear in the biblical story. The story as a whole speaks of the situations, states of the soul and the urgings of the heart of the individuals involved and of how each of them is tested in

1 For an overview of the historical sources and the textual tradition, cf. the standard biblical commentaries.

every moment, albeit in various manners. The test, however, is passed only by the righteous Joseph, because he is, in every situation, open to divine inspiration; never does he succumb to lustful temptation, to immediate gratification of physical urges. The story of Joseph and his brothers is the longest and most homogeneous biographical and artistic creation in the Bible. Focusing on the figure of the young Joseph, it is a manifestation of hidden spiritual power and the victory of moral values in the midst of changing events and fleeting opportunities. It is for this reason that the reader, too, is confronted with temptation, and the key to the explanation of the individual events remains hidden until the end. Joseph's brothers, blinded by jealousy, acted in opposition to both a general sense of good and to the concealed Divine plan; it is only after Joseph has withstood all the trials that he explains to his brothers aspects of their history they had probably never considered. "Even though you intended to do harm to me," says Joseph, "God intended it for good, in order to preserve a numerous people, as he is doing today" (Gen 50.20; cf. 45.5-7).

The moving and beautiful story about Jacob's youngest son Joseph, who was rejected, cast out and sold to strangers by his jealous brothers, invites the reader to delve into this very handsome young man's background. Even when he was in the foreign land of Egypt, Joseph remained steadfast, loyal to his foreign master Potiphar; he did not succumb to his master's wife's attempts to seduce him. Despite the many grievances suffered, Joseph never ceased to love all who had wronged him and who almost caused his death. Rather, he forgave them and helped them in both the spiritual and the material sense. The message of the story can be summed up thus: human evil cannot destroy God's plan and bring down one who respects moral order, trusts in God's guidance and responds to adversary with a dignified peaceful spirit (rather than reacting with violence to violent acts).²

There is a striking similarity between the biblical Joseph narrative and the Egyptian "Story of Two Brothers." In each story a married woman attempts to lead a chaste young man into adultery; in each case the failed attempt at seduction results in fear of shame and punishment; and in each case the woman accusingly projects her own intentions onto the innocent man. For this reason it is possible, or even likely, that the background of each story is drawn from a common cultural tradition of the old Near East, from material that considers the dark side of human passions and character. Herein lies the permanent and inestimable value of the story's elements. "The Story of Two

2 The exemplary quality of the story of Joseph has been described by, among others, Johann Wolfgang von Goethe in his autobiographical *Dichtung und Wahrheit*, so he acknowledges: "Die Geschichte Josephs zu bearbeiten war mir lange schon wünschenswert gewesen" (GOETHE 1998: 141).

Brothers” begins with an introduction of the individuals, emphasizing the extraordinary virtue of the younger brother (1.1):

Now they say that (once) there were two brothers of one mother and one father. Anubis was the name of the elder, and Bata the name of the younger. Now, as for Anubis, he [had] a house and a wife, [and] his younger brother (lived) with him as a sort of minor. He was the one who made clothes for him, and he went to the fields driving his cattle. He was the one who did the plowing and who harvested for him. He was the one who did for him all (kinds of) work from him which are in the fields. Really, his young [brother] was a good (grown) man. There was no one like him in the entire land. Why, the strength of a god was in him.

One day, Bata is sent home from the field by his older brother to retrieve some extra seed. At the house he finds the wife of his brother pleating her hair. She admires his vitality and strength, and falls into temptation. As the text reads:

“There is [great] strength in you. I see your energies every day.” And she wanted to know him as one knows a man.

Then she stood up and took hold of him and said to him: “Come, let’s spend an [hour] sleeping (together)! This will do you good, because I will make fine clothes for you!” Bata was greatly angered by the proposition, becoming like a leopard with [great] rage at the wicked suggestion which she had made to him, and she was very, very much frightened. Then he argued with her, saying: “See here—you are like a mother to me, and your husband is like a father to me! Because—being older than I—he was the one who brought me up. What is this great crime which you have said to me? Don’t say it to me again! And I won’t tell it to a single person, nor will I let it out of my mouth to any man!” And he lifted up his load, and he went to the fields. Then he reached his elder brother, and they were busy with activity (at) their work.

When the two returned in the evening, the woman, in spite of the promise of the younger brother that he would not mention her transgression, became fearful that her husband would indeed find out about the indecent act. To defend herself, and to avoid punishment, she accused the innocent Bata of the very act she had committed; she also suggests that her husband have him killed immediately. She spread “fat and grease” over her face in order to make it look as though she had been beaten, as if she had been the innocent victim of a brutal attack.³

Such emblems of temptation are also to be found in Greek literature. In *Iliad* 6_{152–170}, Homer speaks of Anteia, the wife of King Proetus, and her attempt to seduce the righteous Bellerophon. Homer describes how she falsely accused Bellerophon after having failed to seduce him; he also describes Proetus’

3 The translation version cited here is John Wilson’s. See PRITCHARD 1969: 23–24.

subsequent hatred of Bellerophon and the revenge he enacts on him on account of his wife's lie. Euripides uses this story in his remarkable tragedy showing that Stheneboea (another name for Anteia), the wife of Proetus, made advances on him. Bellepheron rejected these advances and then decided to leave the Tiryns in order to avoid the dishonour of yielding to Stheneboea, as well as the dishonour that would befall Proetus if he were to denounce the queen. The humiliated wife then slandered Bellerophon, who was then sent by Proetus to King Iobates of Caria with a secret message bidding Iobates to slay him. Since Stheneboea persisted in her attempts to destroy him, Bellerophon proposed to her that she fly with him on Pegasus to Asia Minor. She assented, and as they were flying near Melos, Bellerophon cast her down into the sea. So ended the deceitful and slanderous woman's existence. Ovid, in *Heroides*, and Seneca, in *Phaedra*, elaborated the motif on the basis of the older Euripides variant.

Longing, which leads one to transgress limits, allows for a great range of artistic and dramatic renderings. This is why the theme of human temptation, the Fall of man and the consequences of banishment from Eden have resounded strongly throughout world literature, music and visual art, as well as in theology, psychology, philosophy and other areas of human intellectual and artistic creation. In European literature, for example, the story of Adam and Eve is often used in both drama and prose. Perhaps the first biblical drama in a national language is *Jeu d'Adam*, which was written in England in Anglo-Norman. In the Middle Ages, the best-known works were the mystery plays about Adam and Eve from the end of the 12th century; during the Baroque it was Joost van den Vondel's 1664 drama *Adam in Exile*. There were many similar dramas in the 17th century, including *Paradise*, the first known Slovenian play, (from around 1657), which was most likely linked to the Medieval tradition. Milton's *Paradise Lost* is the most important literary working of the theme of Adam and Eve as a whole (1667).

The motif of trial and temptation also appears strikingly in various interpretations of the story of Doctor Faustus, especially in Johann Wolfgang von Goethe's celebrated verse drama. Goethe takes up the older folk tale about the historical Doctor Faustus, the German necromancer and alchemist who lectured at the University of Heidelberg in the early 16th century and who died around 1540. Even if the influence of the biblical conception of trial and fall is not as directly expressed in Goethe as it is in Milton (the very title *Paradise Lost* evokes the Bible), already in *Faust*, Part One, one can compare Faust's longing for limitless knowledge with the similar longing of Adam and Eve in Genesis. The desire for knowledge seduces Faust, as it does the first man, causing him to transgress the limits of his being, enter a pact with the devil and thus fail the test.

The biblical story of Joseph of Egypt became an extremely popular theme in the antique religious world, and greatly influenced Jewish, Christian and Islamic traditions. In so doing, it offered much material to those secular artists who made use of the biblical story as they emphasised various psychological, philosophical, religious, social and political ideas. In antiquity the biblical story was, for the most part, reformed into a spiritual allegory portraying life's seeming contradictions and presenting a moral message. In both sacred and secular literature, music, dance and the visual arts, interpretations reflecting spiritual and intellectual currents of various eras are clearly manifested. The Joseph story is presented from the perspective of trial and temptation in the apocryphal work *The Testaments of the Twelve Patriarchs* (HOLLANDER 1985), in the allegorical explanation of a story from the Koran (the 12th sure), and especially in Thomas Mann's great four-volume novel *Joseph und seine Brüder* (MANN 2007). In these works the themes of trial and temptation are given a central emphasis and are accorded an exceptional significance.

The four books of Thomas Mann's *Joseph und seine Brüder* (which were written between 1933 and 1943) rank among the greatest literary renderings of all time. This tetralogy, which is a conscious modernization and psychologically cogent version of the biblical story, employs a narrative technique that differs greatly from the Bible's version. The narrator of the biblical story lets the events speak for themselves, whereas Thomas Mann's version includes musings and meanderings which are very much under the influence of later Jewish literature as well as of the spirit of the modern age. In place of the narrative simplicity and a crystal-clear view of the world of "silent virtues" which are characteristic of the biblical story, Thomas Mann's humanist re-interpretation offers an imaginative, multi-faceted and realistic narrative composition that strives to explain in logical terms the powers that work in the background—powers that are not in fact accessible to the categories of reason. Particularly characteristic of Thomas Mann is the tendency to psychologise figures in a manner that is rational and thus comprehensible. Although Mann's symbolism is profoundly layered, in his treatment of the characters and the complications and entanglements of the biblical story as a whole, he shows Joseph's descent into the "human world"; at the same time, Mann's depiction of Joseph displays a relation to God that is seeking but also covertly doubting in nature.

2. Temptation and Abduction in the Mediterranean Space and in Slovenia—A Literary Typology

My research into temptation in literature is particularly concerned with the presence of the theme in the literatures of the coastal lands in the Mediterranean space, especially in Slovenian lands. This literary patrimony extends as far back as the Middle Ages and has, throughout history—primarily on account of the plundering and kidnapping committed by seafarers from the Arab, Moorish or Turkish world—been linked with the concept of longing and testing, whereby kidnapping appears as a common motif. In the folk tradition, this motif was often rendered in ballad form. In these ballads a young mother would be kidnapped by means of treachery or even outright violence. In the Slovenian tradition, the abducted woman is often called “Fair Vida,” while in Sicily, Calabria, Croatia and in other coastal lands, she appears as “Donna Irena,” “Donna Candia,” and “Donna Canfura,” among others. As an echo of traumatic historical experience, in these ballads the abductor or tempter or deceiver was a Moor, Arab, Turk, or merely an unnamed sailor, a stranger who behaves violently towards a young, beautiful woman. In the Slovenian ballad of Fair Vida the “black Moor” who abducts Fair Vida is not necessarily a black person but a Moor—that is, an Arab Mauritanian, an African or Spanish Muslim. Tradition has it that many seafaring Moors were sea bandits, but they were also merchants trading primarily in goods from the East (such as Arab medicines or even slaves); often the two enterprises would be combined, such as in the case of the “black Moor” in the ballad of Fair Vida.⁴

The ballad of Fair Vida, one of the best-known and best-loved Slovenian folk poems, describes how a stranger takes a woman by means of treachery or deception across the wide sea, away from home, her husband and child. My study focuses on several typological groups of this ballad in Slovenia—that is, the several categories into which the various individual ballads can be placed—and emphasises the differences in meaning between the ballads in Slovenia in relation to their Albanian, Sicilian and Calabrian predecessors.

4 The main section of the second part of my study strives for an in-depth investigation of the motif of Fair Vida from the perspectives of longing, temptation/abduction, but also represents an attempt at new perspectives in the investigation of the motif's historical circumstances and geographical surroundings—that is, how did the motif of an abducted mother find its way to Slovenia from Mediterranean lands? A study of the texts of similar ballads from the European Mediterranean space clearly shows that various forms of the folk ballad exhibit a similarity with the Slovenian motif of Fair Vida, thus illuminating its exceptional and specific nature.

Whereas in the variations that pre-date the Slovenian Fair Vida tradition Turks abduct a wife and mother who is of noble birth (specifically, while she is on the strangers' boat choosing silken goods, either for herself or for her mother-in-law), in the Slovenian versions the stranger abducts the young woman and mother under the pretence of having medicine on his boat (such as a soporific for her sickly and anguished son who cries the whole night through). Foremost in the Slovenian variations, thus, is a more beautiful theme: a mother's love for her child. She will try anything to heal her child. Although the mother's love is present also in the earlier Albanian/Italian text variants—for example, when the mother realizes that she has been abducted she thinks of her child and is filled with concern about who will nurse him and who will care for him—in the Slovenian ballads maternal love is the main focal point. If the mother were not concerned for her child, and if she were not in search of medicine, she would never have boarded the Moor's boat. It is this noble motive that heightens the drama in this traditional abduction story. She is torn from her child precisely when he is battling a sickness which she knows could prove fatal; she knows, too, that she is the only one who can help him. Psychologically speaking, it is understandable that the awareness of the loss and near-death of her son is also the cause of her own death-wish.

Interesting is that only one of the Slovenian folk variants does not contain the motif of luring the mother onto the boat by means of medicine for her son. In that unique variant, the stranger seduces the young mother and convinces her to flee her work-induced exhaustion and sleepless nights. He invites her to go with him in order to break away from her difficult life with a sick child and an elderly husband and to start a new, more pleasant life abroad. Here, Fair Vida is not as innocent and pure as in the ballads categorized under the first type, as it is her egotism that causes her to be lulled into abandoning her child and husband. Although she soon becomes aware of her error and wishes to return, she can no longer undo the fateful decision. Whereas in the first type of ballads there is a physical death, here there is a spiritual death as Vida vegetates in a foreign world—and the enslaved woman is guilt-ridden on account of her wrongdoing. This fate is perhaps even more tragic than that depicted in the first type of ballad, even if the mother's tragedy is experienced internally. Though she does not die, Fair Vida must live with her awareness of guilt without redemption, with her awareness that her child has died precisely because of her wrongful decision. The hopeful state of guilt without redemption and repentance of the abducted woman invokes dejection, sadness and empathy in the reader; the sin of a young woman who erred in a moment of foolishness and dreaminess, and who is now suffering and regretful, moves the reader. It is no coincidence that it was from this type

of folk ballad that Prešeren chose the model for his artistic rendering of Fair Vida. In contrast to the noble and brave behaviour of the woman from the first type of Vida ballad, which is almost unrealistic, Prešeren's Vida reflects an intimate experience felt by all, though not necessarily expressed. Only in the lives of saints and martyrs do we encounter such noble behaviour as in the first ballad type, and the first type of Fair Vida ballad is in fact evocative of legends of saints.

The third type of ballad of Fair Vida preserved in Slovenia is the least moving. This ballad type relates that the abducted woman becomes the partner and housekeeper of the stranger who abducts her. Knowing that Vida's child and her husband remain at home, the reader finds it hard to comprehend her happy acceptance of her destiny. The reader is moved in ethical and emotional terms by a woman who suffers abroad, a Vida who longs for home. However, even in the Slovenian ballads in which the woman accepts her destiny, she cannot stop longing for her child and because of that longing she returns home in order to retrieve her son (Vida is borne home either by the Sun or after having convinced her abductor to take her back briefly). In this type of poems there is a lack of tragedy, though it no doubt expresses more strongly than the other types the state of a society that has lost a sense of ethical values. The tragedy is thus transferred from a sad personal story about the destiny of an abducted woman to the state of a society that has lost a sense of ethical values.

Especially in the older type of ballads one also discovers a not insignificant characteristic that emphasises the religiosity of the young woman and mother. In most of the Albanian, Calabrian and Sicilian variants the abducted woman leaps into the water and commits suicide after having crossed herself. The Turkish kidnappers are clearly aware of the importance of the Christian faith; because they know that the woman would not trust them if they revealed themselves as Muslims, they disguise themselves as Christians—they took off their headdress "and pretended to be Christians." When the woman realizes that she has fallen into the hands of strangers, of heathens, she crosses herself and dies a martyr's death.⁵

5 This particular element is preserved only in the oldest Slovenian Fair Vida type of ballad, known from two poems (Breznik's from Ihan, and Kramar's from Goričica); however, in place of a Turk there is a Spanish Moor or a "black Moor." In this text-type, there is also great emphasis (in the first part of the narrative) on the mother's. It is this love that leads the young mother onto the boat in search of medicinal roots for her sickly child. Fair Vida is thus shown as an ethically pure, devoted and selfless individual, which differentiates her from the protagonist of similar Mediterranean ballads about an abducted wife and mother. That she is an adherent of the Christian faith—before she leaps into the water she crosses herself—shows the direct influence of the Al-

My study attempts also to verify how far into the past the roots of the ballad of Fair Vida reach. Researchers have dated it between the 9th and the 11th centuries, when Moors from Spain, Sicily and North Africa were attacking Adriatic coastal towns. Such an established development of the texts seems rather early and it must be again verified in the light of general historical occurrences, specifically through precise study of the preserved sources from various countries.

In social terms, Fair Vida represents an unprotected member of human society, yet another woman who has become a victim of the various sorts of violence exercised by men in power. The figure of the fair woman who is a victim is a significant one throughout the entire Mediterranean region, especially in Slovenian lands. In this region Vida has been present ever since the folk traditions of the Middle Ages and even today she appears in Slovenian literature as a constant literary motif. In an existential sense, the figure of Fair Vida embodies the tragic destiny of any defenceless woman who falls into the clutches of demonic forces and violent men. In the motif, Fair Vida's weakness is of particular importance. It seems that Fair Vida in Prešeren's poem yields to the sensuality of a personal desire that overwhelms her public obligation to be strong. Embodied and exemplified in Fair Vida is a specific cultural and societal need for a dramatic characterisation of the *weakness* of human nature; she becomes a telling metaphor for the suffering of all humans.

Of the many Slovenian folklore motifs it was precisely the Fair Vida motif that most inspired Slovenian artists, especially in the area of literature—France Prešeren (1800–1849), Josip Jurčič (1844–1881), Josip Vošnjak (1834–1911), Ivan Cankar (1876–1918), Oton Župančič (1878–1949), Alojz Gradnik (1882–1967), Boris Pahor (1913–), Zorko Simčič (1921–), among others, created their own versions. My study concerns itself with only a selection of the works in which the motif appears from the perspectives of longing, weakness, and temptation—specifically, Prešeren and Cankar's seminal versions of Fair Vida, the first Slovenian novel about Fair Vida (Jurčič's *Fair Vida*), as well as the first Slovenian drama about Fair Vida (Vošnjak's *Fair Vida*). Because the motif of Fair Vida is important also in the sense that it affirms the national identity of the Slovenian inhabitants of lands bordering on Slovenian—i. e. Slovenians living outside the current state—the study devotes particular attention to this motif in Boris Pahor (who addresses the problem of the linguistic assimilation of Slovenians in contact with the majority Italian-speaking population in Trieste), in Prekmurje (Kranjec—the problem of seasonal workers), in the Slovenian Porabje (the mythical tale “The King and Fair Vi-

banian, Sicilian and Calabrian ballads about an abducted wife and mother (“Donna Irena” and others).

da”) and, among Slovenian emigrants, Zorko Simčič (in whose work the return of Fair Vida can also symbolize the return of Slovenian emigrants to the homeland). In addition to Fair Vida poems that fall within the folk tradition there are also some art poems that employ the motif (including those by the poets Aljoz Gradnik and Oton Župančič, who, though contemporaries, had completely different poetic foundations and techniques). A broader view of the artistic creativity of authors who were inspired by this motif will follow as my research continues.

The consequences of history are evident in many tales and songs about the abduction of a woman (in the Bible, in antiquity, in folk tradition in Slovenia and in various peoples of the world, in rituals...) and, in connection with this, also about the temptation which sometimes overcomes the woman before her fateful decision. The precision of historiography and the poet’s inspiration converge and supplement each other, giving rise to a more complex conception of both history and literature. The importance of the venerable Fair Vida tradition to Slovenian culture and various art-forms parallels the importance of epic tales of other nations, such as the song of the Nibelungen, the High Middle German epic of Kudrun and other narratives that have permeated literature through the ages, engendering other literary motifs.⁶

The typology, which considers the geographical milieu, the specific motif, as well as the function of figures that appear in the stories (abductor/seducer/deceiver vs. abducted/seduced woman vs. rescuer, if there in fact is one in the particular variant), indicates formal variants of abduction/deception of a girl or woman in various cultures. In doing so, it considers myths, rituals and literature. An attempt at a typology of abducted/tempted/deceived men in various cultures is also made, again in consideration of place and motif and the function of figures such as the seducer/temptress and the seduced/tempted man and the rescuer (if such exists). Also presented is a typology of figures that appear in various stories about Fair Vida from their predecessors in the European Mediterranean, through folkloric ballads, up to contemporary literary works. The motif of weakness, abduction and tempta-

6 In addition to the Slovenian motif of Fair Vida the study deals also with folk traditions and artistic creations about the abduction of a girl or woman in other nations. It investigates this motif from both literary and thematic viewpoints, but also from an anthropological one as it investigates historical, literary, legend-based, religious, mythical and ritual figures in various cultures of the world. Because the theme is present in stories from antiquity to the present, there is an attempt to form a typology of stories about an abducted/seduced woman and about an abducted/seduced man in the manner of the Russian folklorist, philologist and structuralist Vladimir Propp.

tion is also typologically shown for other folk traditions about abduction/temptation in Slovenian, albeit to a rather limited extent.⁷

Conclusion

Already a cursory overview of stories about temptation, abduction and deception in various world cultures allows one to discern (generally and historically speaking) how violent society has been especially towards women in all societies and all times. In contrast, stories about abducted men reveal the archetype of woman as a temptress—an archetype already recognizable in the Old Testament story of Adam and Eve—that is, of a woman who can condemn a man by means of her erotic power. When we extend our gaze from the coastal lands in which the ballads of Fair Vida and her Mediterranean “sisters” in Albanian, Italian, Croatian and other variants exist and turn to the more removed world of the old Near East, we discover that in terms of content the thematisation of testing and temptation in the Biblical texts do not differ in essence from the secular folklore tradition.

An in-depth treatment and comparison of both types of text shows that temptation is a part of every human and, thus, every individual is tempted by the attractions and lures to which desire responds. The various stories about men and women from all peoples and times bear witness to the fact that man is prone to temptation. The power of temptation is determined by the degree of human weakness; it feeds on an individual’s inability to choose good over evil. A sociological view of the question of temptation reveals that society or environment often has a strong influence on man’s experiencing of and yielding to various temptations; society’s manner of thinking influences and often poisons. Especially the Romantic ballads of Prešeren, among others, as well as Thomas Mann’s, Goethe’s great works, and those of other great European and Slovenian authors who describe longing, weakness, trial and temptation, show man’s essential and ever-raging battle between the flesh and the spirit—a battle that they depict with great psychological acuity. The collective selfishness and arrogance that are common to all humanity often facilitate temptation.

Even today the phenomenon described in the Slovenian Fair Vida ballads about the abducted young wife and mother is widespread. We are witness to individual and mass abductions, including the horrible and widespread phe-

7 In view of this, the study indicates a direction for further and continued interpretation from other potentially rewarding perspectives, namely naturological, psychoanalytical and ethnological ones. Continued research will attempt to look in these directions, while also concentrating on thematic analysis.

nomenon of human trafficking, which often entails female sexual exploitation (similar to, though of course not exactly the same as in, the third type of folk ballad about Fair Vida, which describes how Fair Vida becomes a concubine, the wife and housekeeper of her “black Moor” gentleman). Longing and temptation, finally, appear as central themes in many narratives from all nations and times, from the oldest myths and legends in folk traditions up to the most modern of literary works. For as long as man has existed as a sentient being, he has been cognizant of the urges of the sensual world, including instincts, desires and temptations, the conscious or unconscious striving to feel good, and the instinctual avoiding of pain and unhappiness. On the other hand, every man has the power to circumvent the power of temptation by trying to master it and by acknowledging the significance of the spiritual world.

References

- AVSENIK NABERGOJ 2009 = Avsenik Nabergoj, I.: *Longing, Weakness and Temptation: From Myth to Artistic Creations*, Newcastle upon Tyne.
- 2010 = Avsenik Nabergoj, I.: *Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: Motiv Lepe Vide*, Ljubljana.
- GOETHE 1998 = Goethe, J. W.: *Autobiographische Schriften*, textkritisch durchges. v. L. Blumenthal, komm. v. E. Trunz, München (= *Goethes Werke*, hrsg. v. E. Trunz, Bd. 9) [Sonderausgabe, identisch mit ¹²1994].
- HOLLANDER 1985 = Hollander, H. W./de Jonge, M.: *The Testaments of the Twelve Patriarchs: A Commentary*, Leiden (= *Studia in Veteris Testamenti pseudepigrapha* 8).
- PRITCHARD ³1969 = “The Story of Two Brothers”, trans. by J. Wilson, in: Pritchard, J. B. (ed.): *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament with Supplement*, Princeton/NJ, 23–24.
- MANN 2007 = Mann, Th.: *Joseph und seine Brüder*, Frankfurt a. M.

Tomislav Bogdan

Urbana kultura i postanak ljubavne lirike u Dubrovniku

Na početku slijedi nekoliko tvrdnji što se mogu doimati samorazumljivima, barem u hrvatskoj književnoj historiografiji, a ovdje će poslužiti kao uvod. Ljubavna je lirika jedna od najzastupljenijih i najvažnijih književnih vrsta u dubrovačkoj književnosti 15. i 16. stoljeća. Dobro je poznat niz autora koji su napisali opsežnije zbirke ljubavnih stihova na narodnom jeziku – od Šišmunda Menčetića (1457–1527) i Džore Držića (1461–1501) s kraja 15. stoljeća, preko Nikole Nalješkovića (1505–1587) i Dinka Ranjine (1536–1607), sve do Dominika Zlatarića (1558–1613) i Horacija Mažibradića (1566–1641) na kraju 16. stoljeća. Ne spominjem pritom autore manjih opusa i ne uzimam u obzir mnoštvo anonimnih ljubavnih pjesama što su se sačuvale u dubrovačkim rukopisima. Ne samo da je ljubavna lirika bila izrazito važna za dubrovačku književnu kulturu, već je Dubrovnik u odnosu na ostale dalmatinske gradove postao ishodištem i žarištem petrarkizma i stvaranja ljubavne lirike općenito.¹ Značenje, stoga, prvih dubrovačkih ljubavnih pjesnika za razvitak dubrovačke i dalmatinske lirike, ali i renesansne književnosti u cjelini, teško da se može precijeniti. U Šišmunda Menčetića i Džore Držića izgrađen je pjesnički jezik čijim će se osnovnim elementima kasnije služiti cjelokupno, ne samo ljubavno, pjesništvo. U njihovoj su lirici prvi put na hrvatskom jeziku upotrijebljeni neki od osnovnih načina na koje se može konstituirati tekstualni subjekt u lirskome djelu; afirmiran je dvostruko rimovani dvanaesterac, metar koji će postati dominantnim u dubrovačkoj književnosti 16. stoljeća; oblikovani su leksik i frazeologija, što znači pjesnički idiom, koji će zadugo obavezivati kasnije pjesnike. Iako i Menčetićev i Držićev kanconijer sadržavaju mnoštvo nepetrarkističkih elemenata (primjerice brojne elemente srednjo-

1 Postoje i drugačija mišljenja, prema kojima je ljubavno pjesništvo na narodnom jeziku nastalo sjevernije od Dubrovnika, u Dalmaciji, samo što se ondje nije tako rano sačuvalo. Odande je, navodno, izvršilo utjecaj na najstarije dubrovačke pjesnike. O takvu stajalištu, za koje nema uvjerljivih dokaza, već postoje samo slabo utemeljene pretpostavke, od novijih radova vidi TOMASOVIĆ (2004), a za njegovu kritiku i kratak pregled te kontroverzije vidi BOGDAN (2010).

vjekovne semantike dvorske ljubavi u obojice autora ili hedonističku koncepciju ljubavnog odnosa u Menčetića), jednom od njihovih važnijih zasluga ostat će upravo posvajanje i adaptiranje petrarkizma, najvažnijega ljubavnoga diskurza u evropskoj ranonovovjekovnoj lirici.²

Ljubavna lirika stoji, dakle, na samome početku dubrovačke književnosti na narodnom jeziku, ali i autorske književnosti na hrvatskom uopće. Naime, njezino rano pojavljivanje u Dubrovniku prethodi svemu što je nastalo u dalmatinskim gradovima. U godini kada u Splitu nastaje Marulićeva *Judita* (1501) Džore Držić već je mrtav, a Menčetić je po svoj prilici već stvorio najveći dio svoga opusa. Prema jednoj od hipoteza, i to ne najmanje vjerojatnoj, Marulić je spominjući u proznome predgovoru *Judite* zagonetne “začinjavce” mislio upravo na dvojicu dubrovačkih ljubavnih pjesnika. Dok su se prvi dalmatinski autori mahom opredjeljivali za narativna stihovana djela, i to nerijetko političke naravi ili barem političkih konotacija, njihovi dubrovački prethodnici, pa i suvremenici, bili su skloniji intimističkoj i ispovjednoj ljubavnoj lirici. Navedene tvrdnje – koje su, kao što rekoh, gotovo samorazumljive ili u najmanju ruku dobro poznate – otvaraju mnoštvo zanimljivih pitanja. Primjerice, pitanje o uzrocima početne prevlasti ljubavne lirike u Dubrovniku, odnosno o razlozima nesklonosti dubrovačkih renesansnih književnika epici, ili pitanje o uzrocima diferencijacije dvaju osnovnih tipova dvostruko rimoivanog dvanaesterca – sjevernoga, dalmatinskog, koji nije ternarno fraziran, i južnoga, dubrovačkog, koji to jest, odnosno kojemu se polustihovi dodatno dijele na trosložne članke.³ Spomenuti zanimljivi problemi u ovoj će prilici ipak ostati u pozadini, a u prvi će plan biti postavljen odnos urbane kulture i dubrovačke ljubavne lirike, osobito one najstarije, s kraja 15. stoljeća.

Treba istaknuti da dubrovačku renesansnu ljubavnu liriku nije lako historizirati. Takvi su se pokušaji u prošlosti često svodili na naivna biografistička čitanja, u kojima bi se lirski subjekt, obično u liku zaljubljenika, izjednačavao s empirijskim autorom, a zatim bi se nagađalo o povijesnom identitetu njegove odabranice. Takav je pristup neprimjeren iz više razloga, a ponajviše zbog fikcionalne naravi većega dijela ranonovovjekovne ljubavne lirike i ste-

2 O petrarkizmu i ostalim ljubavnim diskurzima u hrvatskoj književnosti 15. i 16. stoljeća vidi BOGDAN (2006) i BOGDAN (2009). U tim se radovima oslanjam na studije nekoliko njemačkih romanista (npr. Klaus W. Hempfera, Gerharda Regna), osobito na njihovo selektivno shvaćanje petrarkizma, preciznije nego što je uobičajeno među hrvatskim književnim povjesničarima.

3 Dunja FALIŠEVAC (1997) slabu zastupljenost epike u dubrovačkoj renesansnoj književnosti pokušava objasniti razlozima političke naravi, prije svega političkom ovisnošću Dubrovačke Republike o Osmanskom Carstvu. Sâm sam uvjeren kako odgovori na dva gore izdvojena pitanja stoje u tijesnoj vezi, jer je u dubrovačkome ternarno fraziranom dvanaesteru, zbog njegovih strogih metričkih zahtjeva i ograničenja, bilo poprilično teško pripovijedati.

reotipnih uloga u kojima se pojavljuje njezin lirski subjekt. Riječ je o lirskoj fikciji koja kao svoj model najčešće, ali nipošto i isključivo, ima *Kanconijer* Francesca Petrarke. Iako je lirski subjekt u pravilu individualiziran, ispovjednost diskurza rijetko kada poprima autobiografski značaj. Doduše, u nekih je dubrovačkih autora moguće pronaći tekstove koji, po svemu sudeći, sadržavaju autobiografske aluzije, primjerice u Nikole Nalješkovića ili Horacija Mažibradića, a možda i kod Šišmunda Menčetića, ali takvi su slučajevi rijetki i u njima je, na kraju krajeva, riječ tek o nesigurnim aluzijama a ne o potvrđenim činjenicama. U jednome sam nedavnom radu kontekstualizaciju starije ljubavne lirike pokušao obaviti na nekim drugim razinama, razinama koje nemaju neposredne veze s pojedinčevim ljubavnim životom. Tada sam – polazeći od spoznaje kako između književnog i društvenog identiteta nema oštre, neprijelazne granice, a subjekt u jednakoj mjeri može biti i proizvodom i uzrokom diskurzivne prakse – zaključio da autori koji su u političkom poretku podređeni teže uspostavljanju podređena zaljubljenika te na taj način reproduciraju postojeće odnose moći. Pučani kao autori ljubavne lirike postaju, prema takvu shvaćanju, skloniji idealističkim ljubavnim diskurzima (primjerice petrarkizmu), postaju skloniji represiji nad seksualnošću i iskustvu neuzvraćene ljubavi u kojem žena figurira kao nedostupna i dominantna a zaljubljenik kao trajno depriviran. Vlastela su, s druge strane, sklonija alternativnim, konkurentskim ljubavnim diskurzima u kojima se zaljubljenik u većoj mjeri ovlašćuje.⁴ Iako takva, ovdje sasvim pojednostavljeno i sažeto prikazana, hipoteza o implicitnome političkom karakteru dubrovačke ljubavne lirike 15. i 16. stoljeća ponešto govori o dubrovačkom društvu toga vremena, pa posredno možda i o gradskoj kulturi, u ovoj će me prilici zanimati nešto drugo – eksplicitna, očitiža prožimanja urbane kulture i ljubavne lirike.

Budući da je ljubavna lirika u velikoj mjeri konvencionalna, a njezin predmet pripada području pojedinčeva intimnoga života, teško je u njoj očekivati neposredno i učestalo tematiziranje grada ili urbane kulture. Grad se, međutim, u tu liriku, a i ona u nj, u Dubrovniku upisuje na specifične načine. S jedne strane, govoreći na posve općenitoj razini, jasno je da imamo posla s urbanim fenomenom. Riječ je o autorskoj ljubavnoj lirici tipičnoj za evropsku književnost ranoga novovjekovlja. Ona pripada visokoj kulturi, kulturi pismenosti, s koncepcijama ljubavnog odnosa koje su velikim dijelom preuzete iz evropske književne tradicije i uglavnom su, ne i isključivo, idealističke. Grad je kulturni kontekst u kojem se ostvaruju uvjeti za nastanak takve književnosti, a pojavljivanje opisanog tipa ljubavne lirike u većini se evrop-

4 Usp. BOGDAN (2006: 75–78). Danas sam suzdržaniji prema takvu čitanju. Njegovi se rezultati, doduše, teško mogu apodiktički odbaciti, ali ne bi bilo dobro da oni, osobito u slučaju ljubavne lirike, umanje važnost književnih utjecaja za nastanak različitosti među autorskim poetikama.

skih književnosti povezuje s njihovim renesansnim prestrukturiranjem. Premda se u stručnoj literaturi ponekad pojavljuje mišljenje da se starija dubrovačka ljubavna lirika izvodila, odnosno da je bila namijenjena pjevanju i praćena glazbom, ne bi smjelo biti sumnje kako imamo posla s visokom književnošću, takvom književnošću koja je pisana za čitanje u sebi a ne za slušanje ili pjevanje. Da je bilo drukčije, zacijelo te pjesme ne bi bile napisane strogo normiranim i zahtjevnim dugim metrom te u složenu sustavu rimovanja, ne bi u njima akrostih igrao tako važnu ulogu, ne bi se pojavljivala opkoračenja ni grafičke rime. Popularnost ljubavne lirike u Dubrovniku zasigurno nije posljedica samo snažnih književnih i općenito kulturnih utjecaja što su dopirali s talijanske obale Jadrana nego i pojačanih procesa individualizacije. Oni su u to doba utjecali na nastanak književnih obrazaca za normirano istraživanje intime. Čini se da su baš ljubavne pjesme funkcionirale kao sredstvo uspostavljanja jezika za govor o unutrašnjem životu, njima su se osim literarnih kompetencija zadovoljavale i potrebe za introspektivnim spoznajnim radnjama. Time bi se, uz štošta drugo, mogla objasniti popularnost ljubavne lirike u 15. i 16. stoljeću – ona odražava, i ujedno pospješuje, procese individualizacije što su pokrenuti u zreleme srednjem vijeku, a zatim pojačani urbanizacijom, početnim razvojem građanskoga društva i njegovih vrijednosti, merkantilizmom, promijenjenim obrazovnim procesima i širenjem kulture pismenosti.⁵ Razumije se, kod takva otkrića sebstva u diskurzu riječ je o introspekciji koja u usporedbi s modernom introspekcijom i autorefleksijom raspolaže razmjerno siromašnim jezikom o psihičkom. Prema Niklasu LUHMANNU, u socijalnoj genezi individualnosti do presudne promjene težišta dolazi tek krajem 17. stoljeća, kada se društvo funkcionalno diferencira, a intimni odnosi sve snažnije osamostaljuju, kodirani prijateljstvom i ljubavlju. Prije toga, što znači i u književnosti 15. i 16. stoljeća, semantika ljubavi u velikoj je mjeri govorom društvene i literarne kompetencije. Drugim riječima, smatra LUHMANN, važan je njezin odnos prema hijerarhiji a ne njezin odnos prema individualnosti i intimi. Kako bilo, upravo u evropskim gradovima 15. i 16. stoljeća, prema raširenu mišljenju historijskih antropologa i povjesničara kulture, započinje nastanak modernoga individuuma i pojačana individualizacija društvenoga života.⁶

5 O povijesti procesa individualizacije u zapadnoevropskom društvu vidi zbornike FETZ (1998) i VAN DÜLMEN (2001), osobito radove R. HAGENBÜCHLEA i B. K. VOLLMANNA u prvome te priređivačev uvod i radove K.-H. OHLIGA i P. DINZELBACHERA u drugome, kao i VAN DÜLMEN (2005). O tome pak kako se subjekt, i to na primjeru književne obrade teme ljubavi od 14. do sredine 16. stoljeća, konstituira kroz diskurz, a ne isključivo diskurz kroz proizvodnu djelatnost subjekta, usp. HEMPFER (2001).

6 Usp. LUHMANN (1996) i većinu naslova koji se navode u prvome dijelu prethodne bilješke.

S druge pak strane, dubrovački autori štošta usvajaju iz talijanske književnosti, ponajprije, rekao bih, samu zamisao o pisanju na narodnom jeziku, a onda i osnovne tipove ljubavnih diskurza. Tako je i njihova ljubavna lirika polidiskurzivna, pluralistična: u njoj nalazimo petrarkizam, srednjovjekovnu semantiku dvorske ljubavi, hedonističke koncepcije ljubavnog odnosa, a prema kraju 16. stoljeća i neoplatonizam i pastoralnu ljubavnu liriku. Neke, međutim, posebnosti najstarije dubrovačke ljubavne lirike nije moguće u potpunosti objasniti literarnim utjecajima, već valja posegnuti za vezama s matičnom gradskom kulturom. Riječ je prije svega o karakterističnim oblicima otvorenosti prema iskustvu zajednice. U prvih je pjesnika moguće pronaći brojne motive koji potječu iz sfere autorova društvenog postojanja a ne iz sfere pojedinčeva intimnoga, ljubavnog života. Menčetić i Držić ljubav vole promatrati u njezinim izvanjskim manifestacijama, uz pomoć različitih društvenih rituala. Tako lirski subjekt Menčetićevih pjesama nerijetko komunicira sa širom javnošću i sudjeluje u različitim oblicima društvenih odnosa. Zajednica se u Menčetića pojavljuje kao proizvođač kraćih iskaza, kao adresat – i to obično u obliku imaginarne, anonimne javnosti – te kao poprište, tj. pozadina događanja. Menčetićev se zaljubljenik često obraća nekoj imaginarnoj poroti, traži od nje intervenciju i pomoć u slučaju neuzvraćene “službe”, služi se izrekama, poziva na uobičajena shvaćanja (“ovu čuju rič”, “ova rič vinu se govori”) i pridaje važnost komentarima okoline. Katkad neki od članova kazivačeve okoline kao sluge, pomagači ili zavidnici sudjeluju u oblikovanju mreže društvenih odnosa i rituala. Same kazivačeve aktivnosti odvijaju se na javnim prostorima, on posjećuje različita društvena okupljanja poput “tanca” ili “zbor”, nalazimo ga u gospojinu “dvoru”, kreće se sa svojom “družbom”. Kao dobar primjer kazivačeve socijalne angažiranosti može poslužiti početak pjesme br. 277 “Jednom se ja spravljah na niku rados poč, / gospoji ter pravljah da sa mnoom bude doč” ili početak pjesme br. 383 “Kolikat govoru, gospode, s kim na zbor, / tolikrat satvoru kigodi nerazbor”. Još je bolji primjer početak pjesme br. 119: “Poziram po tancu, od koga gospoje / ljeposti pjesancu za slavu dostoje: / ja lipši nigda zbor ne vidih u koli, / ter se vas ovi dvor za rados oholi”. U svega četiri retka te pjesme spomenuti su “tanac”, “zbor”, “kolo” i “dvor” – sve sama javna okupljanja i javni ambijenti. Zajednica se i u Držićevoj lirici pojavljuje kao važan element, ali ipak ne toliko važan kao u Menčetićevoj te ne toliko često. Osim toga, kazivačeva iskustva s društvenom okolinom u Držića su uglavnom nevesela i povezana s njegovim povlačenjem i izolacijom. Tako nesretni ljubavnik na početku pjesme br. 51 poručuje: “Svrći se kolo spjevaje, / Ne gledaj tužna na me, / Veselje gledat slava je, / Nu rados sad ni za me”. Ipak, i u Džore Držića muškarac gdjekad biva obuzet ženinom ljepotom u situaciji kakva javnog okupljanja (“Togaj cić u koli ovdi ju svak slavi / Ter njom se oholi s kim ju Bog sastavi”, br. 21). Očito je kako u obojice

autora imamo posla s pojedinostima iz dubrovačke svakodnevice i s elementima popularne kulture, ali po svemu sudeći one gradskoga a ne ruralnoga porijekla. To su, dakle, rituali koji pripadaju gradskoj zajednici, koji su svojstveni mediteranskome gradskom folkloru.⁷ Činjenica da se lirski subjekt ponekad predstavlja kao sudionik rituala koji pripadaju popularnoj kulturi ne znači da joj tada pripada i pjesma u kojoj se donosi njegov iskaz. Kada se, tako, zaljubljenik na početku Menčetićeve pjesme br. 323 obraća kolu “Svi ki ste u tancu, tako vam radosti, / slišite pjesancu od moje mladosti; / jer vam ću u koli spovidat gospoju / koja se oholi gdi pjesni njoj poju”, to ne znači da je pjesma namijenjena izvedbi ili da ju je sam autor pjevao u kolu, već samo znači da se u njoj tematizira jedna od situacija iz popularne kulture i da je kazivač u skladu s njom oblikovan. U toj pjesmi, koja inače sadržava autorski potpis u akrostihu (što dovoljno govori o njezinu pismenom karakteru), nakon obraćanja plesačima iz “tanca” slijedi opis gospojine ljepote uobičajen u onodobnoj ljubavnoj lirici. Da ne bi bilo zabune – u dubrovačkih se autora pojavljuju i elementi južnoslavenskoga književnog folkloru koje struka obično povezuje sa štokavskim ruralnim zaleđem, s “narodnom kulturom”, elementi, dakle, onakva književnoga folkloru kakav nam je poznat iz kasnijih zapisa. Ti se elementi ponajviše očituju na leksičkoj i formulnoj razini, odnosno na razini pjesničkoga idioma.⁸ Što se tiče koncepcije ljubavnog odnosa ili cijeloga sižea, tu je utjecaj narodne kulture rjeđi, ali istovremeno i vrlo prepoznatljiv. Tekstovi u kojima dolazi do izražaja obično se nazivlju pjesmama

7 Malo se zna o folkloru u Dubrovniku krajem 15. stoljeća. Za neke od pojava što sam ih izdvojio nije lako reći jesu li u ljubavnu liriku dospjele s gradskih ulica ili iz sela u zaleđu. Ako je ples koji se u pjesmama učestalo spominje bio pojava svojstvena gradskoj kulturi, pitanje je kako se u njoj razvio. Ipak, literatura ne oskudijeva shvaćanjima o posebnosti mediteranskoga gradskog folkloru onoga vremena i njegovoj različitosti u odnosu na folklor neposrednoga ruralnog zaleđa. Za vjerovanje o kolu što se u pjesmama spominje kao o pojavi koja pripada gradskoj kulturi vidi BOŠKOVIĆ-STULLI (1991) i GOY (2001). Arhivske potvrde o izvodenju kola u Dubrovniku 15. stoljeća – kola u kojemu su sudjelovali i vlastela i pučani, i žene i muškarci, koje se plesalo čak i u katedrali – donose ZANINOVIĆ (1932) i JIREČEK (1952: 293–294). Filip DE DIVERSIS, autor proznoga latinskog opisa grada Dubrovnika iz sredine 15. stoljeća, svjedoči da knez za procesije svetoga Vlaha u kolo “poziva mladu vlastelu oba spola” (2004: 94). Ne bi smjelo biti sumnje kako je u tim potvrdama riječ o plesu koji se spominje u Držićevim i Menčetićevim pjesmama. O ostalim gradskim običajima s kraja 15. stoljeća, od kojih neki podsjećaju na oblike društvenog ophođenja koji se tematiziraju u ljubavnoj lirici (npr. razmjena poklona između žene i muškarca), ako već ne onaj najranijoj, onda nešto kasnijoj, vidi JANEKOVIĆ RÖMER (2007).

8 Za pregled takvih folklorizama, uglavnom motiva, figura i stalnih izraza – o kojima se ne može sa sigurnošću znati kakvim su sve posredovanjima, ako su ona uopće bila nužna, dospijevali do autora iz gradske sredine – vidi PANTIĆ (1963; 1992), NEDIĆ (1967), BOŠKOVIĆ-STULLI (1978).

“na narodnu”. Budući da su načelno nevezani za semantiku ljubavnog odnosa, folklorni elementi kao sastavnice pjesničkoga jezika više se manje pojednako pojavljuju u različitim ljubavnim diskurzima. U pjesnika iz druge polovice 16. stoljeća, poput Dinka Ranjine, folklorizmi toga tipa postaju sve rjeđi, ali zato je odnos prema njima, kao elementima zasebne tradicije, izrazito osviješten. U starijih pak autora folklorizama je više, ali su integrirani u visoku kulturu kao sastavnice pjesničkoga idioma. Povrh svega, u ljubavnoj lirici prvih dubrovačkih pjesnika pojavljuju se i jasni tragovi nekih usmenoknjiževnih oblika koji su nesumnjivo nastajali u gradskoj sredini. Tako pjesma br. 43 Džore Držića predstavlja svojevrsnu počasnica s elementima kolende, zaljubljenik kao da u njoj vili drži zdravicu na prijelazu u novu godinu (“Pri-drago sej lito i svi dni ostali, / S veseljem čestito, često t' se zbirali! / Rajski mir da t' je dan s nebes u tve krilo / I pokoj ugodan ter zdravje primilo”). Elementa zdravice ili blagoslova ima i u Držićevoj oduljoj pjesmi br. 19, složenu i zanimljivu tekstu u kojem se kazivač kao neka vrsta prorocatelja ili nazdravljača pred skupinom slušatelja obraća gospođi, koja se očito nalazi u ulozi slavljence ili mladenke.

Nadalje, dubrovački su pjesnici izrazito skloni govoru obraćanja, osobito onoj njegovoj inačici u kojoj se simulira muškarčeva izvanknjiževna, kolokvijalna ljubavna komunikacija sa ženskim sugovornikom. To su pjesme tipa “Gospođe, sliši me: toliku slas ima / prislratko tve ime jer mi svis vazima” ili “Gdi t' kletve jur biše? Gdi je vira tvoja? / Vid'mi se kuniše, da ć' vinu bit moja”. Naravno, i u takvim su pjesmama govorne procedure u određenoj mjeri izmijenjene uz pomoć različitih književnih postupaka, tako da baš nisu identične onima u društvenom životu. U Šiška Menčetića nešto manje od polovine pjesama napisano je u dijaloškome modusu, a u Džore Držića čak više od pola (dijaloški modus pritom znači da se lirski subjekt nekome obraća, a ne da se u pjesmi izmjenjuju replike). Privrženost razgovornoj ljubavnoj pjesmi u dubrovačkoj je lirici mogla biti preuzeta iz dvorskoga pjesništva kasnoga talijanskog kvatročenta. Svoj krajnji literarni izvor gesta ljubavnog obraćanja ima u srednjovjekovnoj trubadurskoj lirici, odande je zaobilaznim putovima dospjela u talijansko dvorsko pjesništvo, a iz njega je mogla prodrijeti u liriku naših renesansnih pjesnika. Ipak, ne čini se vjerojatnim da se raširenost dijaloške ljubavne pjesme u dubrovačkoj lirici može objasniti samo unutarknjiževnim razlozima, ona vjerojatno stoji u nekakvoj vezi s ukorijenjenošću te lirike u neposrednu društvenome kontekstu, u svakodnevicu mediteranske gradske kulture. Na taj bi način izrazita zastupljenost kolokvijalne ljubavne pjesme i njezina povezanost s izvanknjiževnim komunikacijskim situacijama, s realnim udvaračkim gestama dijaloškog tipa, dobila i svojevrsno mimetičko obrazloženje. To, dakako, ne znači, kao što je već istaknuto, da su se te pjesme izvodile. Književno stiliziranje udvaračkih gesti, ili pak sastavlja-

nje čestitarskih, svadbenih i darovnih pjesama, u kojima se tematizira razmjena poklona između muškarca i žene, jednostavno je odraz nemogućnosti autorske ljubavne lirike da se u maloj, homogenoj gradskoj zajednici posve odvoji od intenzivnih društvenih i komunikacijskih odnosa.⁹

Posebno zanimljiv primjer za prožimanje ljubavi i gradske kulture nalazi se u pjesmi br. 57 Džore Držića. U njoj se jedan politički pojam upotrebljava kao prisposoba u okviru hipotetičke situacije i u svrhe amorozne argumentacije, što na zanimljiv način svjedoči o tome koliko je gradska zajednica prisutna u pozadini Držićeva razmišljanja o ljubavi. Zaljubljenik u pjesmi br. 57 jadikuje zbog bolna doživljaja personificirane ljubavi te se žali na njezinu snagu i nemilosrdnost. Ne obraćajući se nikome, nakon što je na početku teksta svoju ljubavnu muku i nevolju izrazio dojmljivom usporedbom (“Ljubav mi dodija, ka se bez razbora / O meni razbija jak vali kraj mora”), retorički zaziva boga kao svjedoka i prizivnu instanciju u vezi s nepravdom koja mu je nanesena uskraćivanjem milosti (stihovi 7–14):

Raju nam i svemu oj kralju jedini,
 Nepravdu tuj čemu ljubav mi učini?
 Er da sam nevirnik glavom i svim dužan,
 Taj bi me sam krvnik žaleći bil tužan,
 Mal hip da poslušā, gdi cvilim tužbeno,
 Ne takoj ni duša u mucī pakljeno;
 Aj li da moj vidi obraz jak u mrca
 Gdi sahne i blidi s uzdahom od srca.

U trećemu od navedenih stihova spominje se “nevirnik”, pri čemu se po svemu sudeći ne radi o nevjerniku u konfesionalnom smislu, već o pojmu političkoga predznaka. Taj “nevirnik” je *infidelis* ili *rebellis* iz srednjovjekovnih dalmatinskih statuta, član zajednice koji se od nje odmetnuo, odvojio, pojedinac koji ugrožava veze unutar zajednice i njezin poredak, koji čak može postati urotnikom. Za takav prijestup protiv vlastite zajednice predviđena je

9 Na vrlo sličan način o razgovornoj ljubavnoj pjesmi u starome Dubrovniku razmišljao je i Zoran KRAVAR, samo što je njega prije svega zanimala njezina raširenost nakon godine 1600. Dijaloški modus ljubavne pjesme KRAVAR smatra arhaičnom, konzervativnom subgeneričkom značajkom stilski inače moderne dubrovačke lirike 17. stoljeća, a njegovu raširenost promatra kao posljedicu sraslosti te lirike sa zajednicom u kojoj je nastala, usp. KRAVAR (1991: 81–87; 1993). U ovome radu pokušavam, među ostalim, pokazati da se ta sraslost očituje i na nekim drugim razinama književnoga teksta. O sklonosti najstarijih dubrovačkih pjesnika da ljubav percipiraju u njezinim izvanjskim pojavnim oblicima vidi kratka ali vrlo važna zapažanja u *id.* 1995.

smrtna kazna, i to odsjecanjem glave, pa se zato "nevirniku" u sljedećemu stihu u sroku pridružuje krvnik.¹⁰

Očito je iz svega iznesenoga da je prvim dubrovačkim autorima pomalo strana introspektivnost Petrarkina *Kanconijera*. Njihove su pjesme retorički, što znači govorom obraćanja, i sadržajno, što znači pridavanjem važne uloge zajednici i učestalim pozivanjem na *opinio communis*, okrenute prema okolini, prema užemu ili širem socijalnom kontekstu. Slično je donekle i s ostalim, kasnijim ljubavnim pjesnicima u Dubrovniku. Većini od njih nepoznata je dijalektika unutrašnjeg života Petrarkina kazivača, njegov složen i napetošću ispunjen odnos prema svjetovnoj strasti i religioznim vrijednostima. Ipak, dubrovačka ljubavna lirika s vremenom gubi svoju otvorenost prema iskustvu zajednice. Socijalni kontekst u Nikole Nalješkovića igra daleko manju ulogu nego u prvih pjesnika, zajednica se u njega pojavljuje rubno, kao pozadina događanja, ponekad, u obliku uže ili šire javnosti, kao adresat, a vrlo rijetko kao neposredno okruženje zaljubljenikovih aktivnosti. Istina, gesta obraćanja u njega ostaje vrlo zastupljena, više nego i u jednoga drugog autora, ali to se obraćanje odvija gotovo isključivo u okviru muško-ženskoga odnosa. Dinko Ranjina već se posve emancipirao od društvenih rituala i zajednice. Kod njega se obredi iz popularne kulture, poput plesanja kola, vrlo rijetko spominju. Zlatarićeva pak ljubavna lirika potpuno je posvećena zaljubljenikovu emocionalnom životu. Kolektiv i socijalni kontekst u njega se gotovo uopće ne spominju, a kada se i spomenu, samo su udaljena i nevažna pozadina događanja. Očito je da se u njegovo vrijeme takav oblik ritualizacije ljubavnog iskustva ipak već smatrao anakronim. Procesi individualizacije glasa u ljubavnoj lirici kod Zlatarića se – uostalom, već i kod Dinka Ranjine – doimlju završenima.

Opisana otvorenost prema okolini, prema iskustvu zajednice samo je donekle objašnjiva književnim utjecajima, prije svega onima talijanskoga dvorskog pjesništva s kraja kvatročenta. Vjerojatno su popularne crte u lirici talijanskih pjesnika potaknule hrvatske autore na analognu orijentaciju prema određenim elementima domaćega književnog folklora, bilo gradskog bilo seoskog, baš kao i prema lakšemu tonu i razgovornoj, kolokvijalnoj ljubavnoj pjesmi. Ipak, prisutnost gradskih folklorizama i retorike obraćanja u tolikoj je mjeri izražena da je plauzibilno pomišljati i na utjecaj dubrovačke gradske kulture. Ako je popularnost ljubavne lirike, kao što je ranije istaknuto, dijelom posljedica poodmaklih procesa individualizacije, onda bi njezina djelomična stopljenost s interesima zajednice mogla biti pokazateljem specifičnoga stanja samih tih procesa, odnosno stupnja na kojemu se oni u Dubrovniku

10 O političkoj nevjeri i izdaji u dalmatinskim gradovima kasnoga srednjeg vijeka te o okrutnim kaznama što su za takav prijestup bile predviđene u statutima vidi RAUKAR (2001: 248–249).

toga doba nalaze. Drugim riječima – ako bi ljubavna lirika gotovo po definiciji trebala biti zaokupljena privatnim, intimnim, njezina sraslost s okolinom mogla bi nešto govoriti o načinu na koji se odvijaju procesi individualizacije, kao i o specifičnom tipu zajednice u kojem je nastala. O svemu tome, daka-ko, teško je sa sigurnošću suditi, ali historiografija je primijetila kako je Dubrovnik krajem 15. stoljeća bio mala, prilično homogena, razmjerno čvrsto integrirana zajednica. Zajednica sa snažnim mobilizacijskim i integrativnim mehanizmima, u kojoj društveno i političko ustrojstvo, a posebice ograničenja vlasteoskog života, nisu pogodovali individualizmu. Odanost dubrovačkoga stanovništva vlasti neuobičajena je u usporedbi s drugim dalmatinskim gradovima, a po razini značenja za identitet grada i političkoj simbolici koju nosi, kult svetoga Vlaha može se usporediti samo s kultom mletačkoga svetog Marka. Čvrste političke strukture, živa proizvodnja mitologema, vrijednosnih i identitetskih sklopova koji su bili posvećeni učvršćivanju aristokratske republike i konzerviranju postojećeg stanja te samopodvrgavanje stanovnika netom opisanim mehanizmima potiču u zajednici duh kolektivismu.¹¹ Otprilike tu, negdje u procjepu između novog individualizma humanističke misli i municipalnoga kolektivismu, nastaje najstarija dubrovačka ljubavna lirika. Nije stoga čudno da se prvi rodoljubni iskaz na narodnom jeziku u dubrovačkoj književnosti pojavljuje u jednoj u osnovi ljubavnoj pjesmi, u pjesmi br. 77 Džore Držića, poznatoj pod priređivačkim naslovom *Čudan san*. U toj pjesmi Držić razrađuje motiv zarobljene žene koji će kasnije postati predmetom brojnih dramatizacija, a spomenuti rodoljubni iskaz na ilustrativan je način ambivalentan, kao dobar primjer prijepora između individualizma i kolektivnih vrijednosti, između intimnoga i javnoga. Zaljubljenik u pjesmi izvješćuje o snu u kojem je svoju gospoju ugledao kao gusarsku zarobljenicu. Zarobljena žena u snu se obratila trgovcima moleći ih da je oslobode, a zaljubljenik donosi cijelo njezino obraćanje u upravnome govoru dugom 128 redaka. Politički impuls pojavljuje se u tužaljci Držićeve robinje u trenutku kada zarobljenica govori o svom rodnom kraju, a ti su reci nesumnjiva aluzija na Dubrovnik (stihovi 79–84):

Ali sam kamena, sva slična k dubravi,
 U koj sam rođena i gdi me Bog javi?
 Jur ta je dubrava tvrda u mramoru,
 Pod gorom gizdava, veći dil na moru.
 Mnozi joj zavide ki nijesu slobodni,
 Nje blago gdi vide tere mir ugodni.

11 O svemu navedenome vidi ponajprije JANEKOVIĆ RÖMER (1999 i 2004).

Već u sljedećim dvama distisima, međutim, pohvala Dubrovniku prepušta mjesto nemiru i nesigurnosti: “Nu što mi pomaga toj slavno imanje, / Š nje mira i blaga kad ne imam ufanje, / I kad sam ja sama ovakoj vođena / Meu svim vilama jak zvir ulovljena”. U toj izjavi iz robinjine se perspektive relativizira netom istaknuta vrijednost dubrovačkog mira, slobode i blagostanja. Tako je u procjepu između intimnoga i javnoga duh rodoljubna kolektivizma u svome prvom literarnom pojavljivanju nagrizen sasvim intimnom rezignacijom i tjeskobom.

Literatura

- BOGDAN 2006 = Bogdan, T.: “Pluralnost hrvatske ljubavne lirike 15. i 16. stoljeća”, u: Benčić, Ž./Fališevac, D. (ur.): *Čovjek, prostor, vrijeme. Književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti*, Zagreb (= Biblioteka četvrti zid 21), 57–80.
- 2009 = Bogdan, T.: “Ljubavna lirika i petrarkizam”, u: *Umjetnost riječi*, 3/4 (2009), 245–278.
- 2010 = Bogdan, T.: “Jeronim Vidulić i počeci hrvatske ljubavne lirike”, u: Vuković, T. (ur.): *Muzama iza leđa: Čitanja hrvatske lirike*, Zagreb, 9–29.
- BOŠKOVIĆ-STULLI 1978 = Bošković-Stulli, M.: “Usmena književnost”, u: Bošković-Stulli, M./Zečević, D.: *Usmena i pučka književnost*, Zagreb (= *Povijest hrvatske književnosti*, Knj. 1), 7–353.
- 1991 = Bošković-Stulli, M.: “Folklorno događanje u gradu Dubrovniku”, u: Eadem: *Pjesme, priče, fantastika*, Zagreb (= Posebna izdanja: Knjižnica monografije, studije, kritike 15), 5–47.
- DINZELBACHER 2001 = Dinzelbacher, P.: “Das erzwungene Individuum. Sündenbewußtsein und Pflichtbeichte”, u: van Dülmen, R. (Hg.), *Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur Gegenwart*, Köln etc., 41–60.
- DE DIVERSIS 2004 = de Diversis, F.: *Opis slavnoga grada Dubrovnika*, predg., transkrip. i prijev. s lat. Z. Janeković Römer, Zagreb (= Biblioteka Suvremenost baštine).
- DRŽIĆ 1965 = Držić, Dž.: *Pjesni ljuvene*, prired. i osvrtn napis. J. Hamm, Zagreb (= Stari pisci hrvatski 33).
- VAN DÜLMEN 2005 = van Dülmen, R.: *Otkriće individuuma 1500–1800*, prev. s njemačkoga S. Lazanin, Zagreb (= Biblioteka Dialogica Europea).
- 2001 = van Dülmen, R. (Hg.): *Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis zur Gegenwart*, Köln etc.
- FALIŠEVAC 1997 = Fališevac, D.: “Mjesto epike u hrvatskoj renesansnoj književnosti u Dubrovniku”, u: Eadem: *Kaliopin vrt. Studije o hrvatskoj epici*, Split, 77–89.
- FETZ et al. 1998 = Fetz, R. L./Hagenbüchle, R./Schulz, P. (Hg.): *Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität*, Bd. 1, Berlin – New York (= European Cultures: Studies in Literature and the Arts 11).
- GOY 2001 = Goy, E. D.: *Love and Death in the Poetry of Šiško Menčetić and Džore Držić*, Beograd (= Sveske arhiva).
- HAGENBÜCHLE 1998 = Hagenbüchle, R.: “Subjektivität: Eine historisch-systematische Hinführung”, u: FETZ et al. 1998: 1–88.

- HEMPFER 2001 = Hempfer, K. W.: "Zum Verhältnis von Diskurs und Subjekt: von Bembo zu Petrarca", u: Wehle, W. (Hg.): *Über die Schwierigkeiten, (s)ich zu sagen: Horizonte literarischer Subjektstitution*, Frankfurt a. M. (= *Analecta Romanica* 63), 59–81.
- JANEKOVIĆ RÖMER 1999 = Janeković Römer, Z.: *Okevir slobode. Dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma*, Zagreb – Dubrovnik (= Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice 8).
- 2004 = Janeković Römer, Z.: "Grad trgovaca koji nose naslov plemića: Filip de Diversis i njegova pohvala Dubrovniku", u: *DE DIVERSIS* 2004: 9–31.
- 2007 = Janeković Römer, Z.: *Maruša ili sudenje ljubavi. Bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika*, Zagreb (= *Facta*).
- JIREČEK 21952 = Иречек, К.: *Историја Срба*, Књ. 2: *Културна историја*, прев. и допун. Ј. Радонић, Београд (= Библиотека фототипских издања).
- KRAVAR 1991 = Kravar, Z.: *Das Barock in der kroatischen Literatur*, Köln etc. (= Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe A: Slavistische Forschungen, N. F. 2 = 62).
- 1993 = Kravar, Z.: "Stil i genus hrvatske lirike 17. stoljeća", u: *Idem: Nakon godine MDC. Studije o književnom baroku i dodirnim temama*, Dubrovnik (= Biblioteka Prošlost i sadašnjost 9), 70–103.
- 1995 = Kravar, Z.: "Najstarija hrvatska ljubavna lirika", u: *Dubrovnik* 4, 171–180.
- LUHMANN 1996 = Luhmann, N.: *Ljubav kao pasija: o kodiranju intimnosti*, prev. s nje-mačkog D. Domić, Zagreb (= Biblioteka Polilog 5) [cf.: *Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität*, Frankfurt a. M. '1982].
- NEDIĆ 1967 = Недић, В.: "Зборник Никше Рањине и усмено песништво", u: *Анали филолошкој факултету* 7, 31–41.
- OHLLIG 2005 = Ohlig, K.-H.: "Christentum – Individuum – Kirche", u: *VAN DÜLMEN* 2005: 11–40.
- PANTIĆ 1963 = Пантић, М.: "Југословенска књижевност и усмена (народна) књижевност од XV до XVIII века", u: *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, 1/2, 17–44.
- 1992 = Пантић, М.: "Једна песма 'на народну' Шишка Менчетића из XV века", u: *Тартаља, И.* (гл. и одг. ур.): *Зборник у част Војислава Бурића*, Београд, 87–97.
- RAUKAR 2001 = Raukar, T.: *Hrvatsko srednjovjekovlje. Prostor, ljudi, ideje*, Zagreb (= *Clio Croatica*).
- REŠETAR 1937 = Rešetar, M. (prir.): *Pjesme Šiška Menčetića i Džore Držića, i ostale pjesme Ranjinina zbornika*, Zagreb (= *Stari pisci hrvatski* 2).
- TOMASOVIĆ 2004 = Tomasović, M.: "Jeronim Vidulić, petrarkist prije Šiška i Džore", u: *Idem: Vila Lovorka. Studije o hrvatskom petrarkizmu*, Split (= Biblioteka znanstvenih djela 138), 15–18.
- VOLLMANN 1998 = Vollmann, B. K.: "Die Wiederentdeckung des Subjekts im Hochmittelalter", u: *FETZ et al.* 1998: 380–393.
- ZANINOVIĆ 1932 = Zaninović, A.: "Zakon protiv plesanja, igranja kola i pjevanja svjetovnih popijevaka u stolnoj crkvi u Dubrovniku iz god. 1425.", u: *Sveta Cecilija* 2, 62–63.

Dagmar Christians

Byzantinische Seefahrtsmetaphern in slavischer Übertragung

Eine der häufigsten Allegorien in byzantinischen liturgischen Hymnen ist die von Schiffbruch bedrohte Fahrt über das grimmige Meer des Lebens. Seit Platon zu den festen Topoi antiker Literatur zählend, wurde sie von den Kirchenvätern aufgegriffen und christlich umgedeutet.¹ Der Mensch treibt in einem Schiff auf hoher See als Spielball hoher Wogen, aufgepeitscht vom Sturm der Leidenschaften. Mit Hilfe des Heiligen Geistes lenkt Christus als Steueremann unter günstigem Wind das Schiff in den schützenden Hafen.

Dieses Bild ist mit nautischer Terminologie gespickt.² Anker, Takelage, Segel, Steuerruder, schwere See und drohender Schiffbruch, die Unterscheidung zwischen Verderben bringendem Sturm und günstigem Wind, aber auch die Vorstellung eines windstillen Hafens als Kontrast zur sturmgepeitschten offenen See sind in der maritim geprägten Kultur des Byzantinischen Reiches mit seinen Mittelmeer- und Schwarzmeerküsten in metaphorischer Verwendung problemlos zu decodieren. Was aber geschieht mit den nautischen Metaphern bei der Übertragung der byzantinischen Hymnen in die Kultur der nicht in dem Ausmaße mit der Bedrohlichkeit des Meeres konfrontierten Slaven? Dieser Frage soll anhand einiger in den Hymnen sehr frequenter Metaphern nachgegangen werden.

1 Eine ausführliche Geschichte dieser Allegorie mit zahlreichen Zitaten aus vorchristlicher und patristischer Literatur bietet RAHNER 1964: 239–564; zu den mit dieser Allegorie verknüpften nautischen Bildern bei den Kirchenvätern vgl. jetzt auch DASSMANN 2010: 106–124; vgl. ferner GOLDAMMER 1941, PETERSON 1959 und JUNDZILL 1996; zur Allegorie bei Ambrosius von Mailand vgl. DASSMANN 2004: 414–416, bei Gregor von Nazianz LORENZ 1973.

2 So wird etwa, angefangen bei Hippolyt von Rom, von den Kirchenvätern gern katalogartig die gesamte Schiffsausstattung ekklesiologisch ausgelegt: vgl. RAHNER 1964: 307, Anm. 1, und 308–313, DASSMANN 2010: 108–116.

1. Ἰστίον τοῦ Σταυροῦ – *das Segel des Kreuzes*

Unter den nautischen Bildern sind zuallererst Mastbaum und Antenne des Schiffes als Metapher für das Kreuz³ zu nennen, bei der das Segel den am Kreuz ausgespannten Christus symbolisiert.⁴ Nikephoros Kallistos spricht von dem am Kreuz aufgehängten Segel (τῷ σταυρικῷ διακυβερνῶν ἰστίῳ) mit dem wir das bedrohliche Meer der Welt befahren (Niceph.Cal.e.h. enc.1,523, zit. bei RAHNER 1964: 403).⁵ Dieses Bild findet sich bereits bei Ambrosius von Mailand, auf dessen Vorliebe für nautische Metaphern erst kürzlich Ernst DASSMANN (2004: 414–416) erneut hingewiesen hat. In seiner Schrift *De virginitate* vergleicht Ambrosius die Kirche mit einem Schiff, das unter dem vollen Segel des Kreuzes vom Hauch des Göttlichen Geistes getrieben, sicher durch diese Welt fährt:

Cur enim navis eligitur, in qua Christus sedeat, turba doceatur, nisi quia navis Ecclesia est, qui pleno *Dominicae crucis velo* sancti Spiritus flatu in hoc bene navigat mundo? (Ambr.virginit.18,118, zit. bei GOLDAMMER 1941: 81, RAHNER 1964: 303).

Dieser Symbolik folgend lässt Joseph der Hymnograph, einer der herausragenden byzantinischen Hymnendichter, in einem Tropar aus seinem Kanon auf den Apostel Philemon das Schiff des Heiligen mit Hilfe des *Segels des Kreuzes* den sicheren Hafen erreichen:

Ἰστίῳ * τοῦ Σταυροῦ πτερούμενος * διεπέρασας ἀχειμάστως * τὸ χαλεπὸν πέλαγος * τῶν πειρασμῶν τοῦ βίου, μάκαρ, πολλοὺς * κυβερνήσας θαλλατεύοντας * πρὸς σωτηρίας ὄρμον θεῖα χάριτι (MR II: 242).

Auch in seinem Kanon auf Papst Clemens greift er zu dieser Metapher:

Ἰστίῳ πτερούμενος * τῷ τοῦ Σταυροῦ * διεπέρασας τοῦ βίου τὸ πέλαγος * μάρτυς πανάριστε * καὶ τὸν εὐδίων * κατέλαβες λιμένα * τῆς ἄνω λαμπρότητος, * κλήμη πανεύφημε (MR II: 263).

Welch großer Beliebtheit sich diese Wendung in der byzantinischen Hymnographie erfreute, zeigt ein Blick in die von Enrica FOLLIERI herausgegebene *Initia*-Sammlung: Dort (II: 230–231) sind 21 Hymnen verzeichnet, die allein mit dem Bild des das Kreuz symbolisierenden Segels beginnen.

3 Dieser Metapher widmet RAHNER 1964: 361–405 ein ganzes Kapitel seiner Monographie mit zahlreichen Zitaten aus der Patristik.

4 Vgl. dazu GOLDAMMER 1941: 81; ἰστίον im Schiffskatalog bei Hippolyt von Rom als Symbol für den Hl. Geist (RAHNER 1964: 308).

5 Alle Verweise auf byzantinische und spätantike Autoren werden hier nach den Corpora der Klassischen Philologie TLG und BTL/TLL angeführt.

Sehen wir uns nun die slavischen Übersetzungen der beiden oben erwähnten Hymnen von Joseph dem Hymnographen an, wie sie die von Vatroslav JAGIĆ (1886 [= JAG]) edierten frühesten überlieferten Handschriften des ostsl. Gottesdienstmenäums dokumentieren. Dort lesen wir für das Tropar aus dem Kanon auf Philemon:

*Вѣтрилъмъ крѣтънънѣмъ възвѣшаа сѧ, препололъ кси бес троѹда лютоѹю поучи-
ноу напасти житѣна, блѣжне, многѹи направивъ потапаѹщаа къ спѣсноѹмоу ти
пристанциоѹ бжствънънѣми ти словесѹи (JAG: 433),*

sowie für das Papst Clemens gewidmete Tropar:

*Вѣтрилъмъ възвѣшаа сѧ крѣтънънѣмъ, пристоуплъ (var. прѣпололъ) кси житѣни-
скоѹю поучиноу, мѣнѣ предобани, и тихок пристанище постигъ кси възшыаа
свѣтълости, климентѣ прѣхвальне (JAG: 453, var.: GIM, Sin 161, fol. 211v–212r).*

Als Entsprechung für τὸ ἰστίον τοῦ Σταυροῦ bezeugen beide sl. Hymnen **вѣ-
трило крѣтъноѹ**. Dies gilt auch für die sl. Übersetzung von zwei weiteren
Troparen aus Kanones, die in ihrer Akrostichis ebenfalls Joseph dem Hym-
nographen zugeschrieben werden, nämlich auf die Märtyrergruppe um Na-
zarios, Gerbarios und Prostasios (JAG: 103/MR I: 420) und auf den Märtyrer
Longinos (JAG: 118/MR I: 438), sowie aus zwei Kanones des Theophanes –
auf Nikephoros (GMF I: 610) und Martinianos (GMF II: 263).⁶

Neben **вѣтрило** belegen die Hymnen des Gottesdienstmenäums als Über-
setzungsäquivalent für ἰστίον auch **адрина**, so z. B. im Kanon auf den Apo-
stel Matthias:

*Ἰστίω, * μάκαρ, τοῦ Σταυροῦ * διελθὼν τὴν ἀγριαίνουσαν θάλασσαν * τοῦ βίου (MR VI:
368) – **Адриноѹ, блаженѣ, крѣтъноѹ · прѣѣхавъ сверѣпоѹюще сѧ морѣ · житѣна**
(GIM, Sin 168, fol. 56r–v).*

Im Aprilmenäum finden wir **адрина** für ἰστίον im Kanon auf Bischof Basi-
leios von Amasea (GIM, Sin 165, fol. 215r/АНГ VIII: 325). Die Lesart **адриноѹ**
gegenüber **вѣтрилъмъ** (GIM, Sin 165, fol. 218r) für ἰστίω bezeugt ein Frag-
ment des Aprilmenäums (RNB, Sof. 199, fol. 41r) in einem Tropar des Ka-
nons auf Symeon von Jerusalem (gr. MR IV: 398) ebenso wie die unter dem
Namen *I'ina kniga* bekannt gewordene Hymnensammlung *RGADA*, f. 381,
№ 131, fol. 57^r in dem oben zitierten Tropar auf Papst Clemens (JAG: 453).

6 Leicht abgewandelt verwendet Joseph der Hymnograph die Metapher auch in einem
Tropar auf Bischof Porphyrios von Gaza (GMF III: 512 f.): ἰστίω νοητῶ. Die sl. Version,
die wiederum **вѣтрилъмъ крѣтънънѣмъ** bietet, geht vermutlich auf eine metrisch iden-
tische Lesart τοῦ Σταυροῦ für νοητῶ zurück.

7 Vgl. IK-K: 270; IK-V 109 (facsim.) und 659.

SREZN (III: 1641) belegt **ѡдрьна** »Segel« in einer leichten Abwandlung des Bildes aus dem Kanon auf Symeon Stylites:

Бестрастѣмъ на възшьнее пристанище възпери си дѣшю ѡдрьною (JAG: 013) – Δι' ἀπαθείας * πρὸς τὸν ἄνω λιμένα * πτερώσας * τῆς ψυχῆς τὸ ἰστίον (AHG I: 13).

Die Äquivalenz ἰστίον – **вѣтрило/ѡдрина** war den Übersetzern des Menäums also offensichtlich geläufig. Das Hymnenverzeichnis des ostsl. Gottesdienstmenäums bei STERN (Nrr. 4458–4467, 24082) bietet allein elf Hymnen mit der Metapher vom *Segel des Kreuzes* bereits im Incipit.

Umso erstaunlicher ist es, dass wir im Maimenäum des Putjata (PM)⁸ an einer Stelle als Übersetzung für ἰστίον **правило** lesen:

Οἱ ἄγιοι μάρτυρες * τῷ ἰστίῳ τοῦ Σταυροῦ * πνευματικῶς πτερούμενοι, * τῶν πειρασμῶν τὸ πέλαγος ἀβλαβῶς * ἐν πίστει παρέδραμον (Kanon auf Timotheos und Mauria, MR V: 17) – **Сѣга мѣ · правиломъ кръстьнѣимъ · дхѣномъ възперекма · нскоусноуѣ поучинѣ безъ вѣда · вѣроуѣ прѣплюсѣга** (PM: 10v₁₂).

Dies ist indes kein Einzelfund. Nur 10 von den 21 bei FOLLIERI mit der Metapher beginnenden Hymnen sind auch in der slavischen Initia-Sammlung von STERN unter **вѣтрилизмъ**, eine unter **ѡдриною** ausgewiesen. Zwei weitere sind unter den mit **правилизмъ** beginnenden Hymnen zu entdecken:

Ἰστίῳ τῷ τοῦ Σταυροῦ τῶν πειρασμῶν διεκπερῶν πέλαγος (MR VI: 450) – **Правилизмъ кръстьнѣимъ · напастъноуѣ прѣплюсѣвъ поучиноуѣ** (Kanon für Andreas Stratelates, GIM Sin 168, 113v).

Ἰστίῳ πτερούμενοι τοῦ Σταυροῦ οἱ ἀθληταί (MR IV: 33) – **Правилизмъ възперимъ · кръстьнѣимъ стрѣче** (Kanon für die XLII Märtyrer, RGADA f. 381, № 106, fol. 22v).

правило kennt das Gottesdienstmenäum für Dezember und Februar ausschließlich als Äquivalent für κανὼν »Regel, Vorschrift, Richtschnur, Grundsatz« (vgl. für Dezember CHRISTIANS: 145). Vermeidet der sl. Übersetzer in den beiden oben zitierten Stellen den nautischen Terminus Segel und lässt den Seefahrer mit der Richtschnur des Kreuzes, also dem christlichen Glauben, auf den sicheren Hafen zusteuern?

8 Im Folgenden zitiert nach dem Facsimile in der Ausgabe von V. A. Baranov und V. M. Markov (= PM).

2. Οἶαξ und πηδάλιον – die Steuerruder

Nun steht **правило** in den sl. Hymnen nicht nur für das Segel des Schiffes. Es ersetzt an anderer Stelle, in einem Sticheron auf Antipas, den Bischof von Pergamon, auch οἶαξ,⁹ das Ruder, das der Schiffskatalog des Hippolyt von Rom als Symbol für das Alte und Neue Testament kennt:¹⁰

*Οἶακι τῶν λόγων σου, * τῆς Ἐκκλησίας, ἀοίδιμε, * κυβερνήτης ὡς ἄριστος * τὸ σκάφος διίθυνας, * ὑπερθεν κυμάτων * νηχόμενον πλάνης [...]*

Mit dem Ruder deiner Worte hast du, Ruhmvoller, als tüchtiger Steuerer Mann das Schiff der Kirche gelenkt, das über den Wellen des Irrwahns segelt [...]

*Правиломъ словесъ ти, * църкѣвънѣи, славыне, * тако ходѣоути кѣрмѣчии * коравль оуправивъ, * превъше вълнѣ * льстѣнѣиныхъ плаваѣ [...]* (GMA II: 56 f.).

Der sl. Übersetzer prägt eine neue *figura etymologica*, **правиломъ оуправивъ**, für οἶακι διίθυνας, indem er sich des mit dem Suffix **-λο** zu **правити** gebildeten Instruments bedient. Ähnlich verfährt der Übersetzer eines Sticherons auf Sergios und Bakchos, wo er mit **правило** πηδάλιον »Steuerruder« wieder gibt: καὶ πηδάλιῳ τοῦ Σταυροῦ κυβερνώμενοι (*Vind. Palat. Suppl. graec. 154, 26v*) – и **правиломъ крѣстѣнѣиныхъ направлаѣма** (JAG: 45).

Ebenso wie κανών¹¹ bezeichnete **правило** ursprünglich ein Messinstrument, mithilfe dessen ein Gegenstand, etwa eine Mauer, gerade ausgerichtet werden konnte, also eine Richtschnur in konkretem Sinne. Aksl. ist **правило** in dieser konkreten Bedeutung nicht belegt. Wie der SJS verzeichnen aber auch andere einschlägige Lexika des Südslavischen (RHSJ XI: 408, BENEŠIĆ X: 2295, RBE XIII: 967–968 oder BER V: 582) nur die metaphorische Bedeutung »Regel, Gesetz«. Das Ost- und Westslavisches aber kennt es als Handwerksgerät von Maurern, Schustern oder Schneidern.¹²

Auch die Bedeutungen »Steuerruder« für **правило**, oder »ein Schiff steuern« für **правити** sind aksl. nicht bezeugt.¹³ Stattdessen verwenden die frühen sl. Bibelübersetzungen **крѣмити** und Derivationen zur Wiedergabe des Wort-

9 Vgl. LS 1201: »handle of rudder, tiller«.

10 Vgl. RAHNER 1964: 308; DASSMANN 2010: 110; bei Johannes Chrysostomos, Basilius, Hippolyt, Germanos von Konstantinopel, Johannes von Damaskus symbolisiert das Holz des Steuerruders das Kreuz, vgl. RAHNER 1964: 311, 358 f.

11 Vgl. LS 875: »straight rod, bar, esp[ecially] to keep a thing straight«.

12 Vgl. z. B. SAR² V: 125, UŠAKOV II: 539; SSTP VII: 31 f.; LINDE IV: 461; SP XXX: 128; PSJČ IV.1: 1020.

13 Vgl. SJS III: 238 f. **правило, правити**.

feldes κυβερνάω¹⁴ und für das Steuerruder, πηδάλιον, das Äquivalent κρῆμι-
λο,¹⁵ das z. B. auch das Oktobermenäum in einem Tropar aus dem Kanon auf
Apostel Ananias als Entsprechung für οἶακες bietet:

Ἐδέξω ἐν ταῖς χερσὶ * τῆς Ἐκκλησίας τοὺς οἶακας * τῷ κυβερνήτῃ Χριστῷ * φοιτήσας,
ἀπόστολε * καὶ ταύτην τῷ Πνεύματῳ * ὡς ὀλκάδα θεῖαν, * Ἀνανία, ἐκυβέρνησας (MR
I: 309).

Принятъ си на роукоу црѣвноу крѣмилио, къ крѣмьникоу хѣлѣ пришьдъ, аплѣ, и
то¹⁶ дхѣмъ лѣко лодию бжѣствьноу, ананикѣ, направилъ кси (JAG: 6).

In den Schriftdenkmälern der alten Rus', deren lexikalischer Bestand in dem
von R. I. AVANESOV begründeten *Slovar' drevnerusskogo jazyka XI–XIV vv.*
(SDRJA) dokumentiert ist,¹⁷ finden sich allerdings durchaus Hinweise auf eine
nautische Verwendung von **правити** und seiner Derivationen, von denen hier
beispielhaft nur einige wenige genannt seien:

s. v. **правити** (2.) «поручити хоцеть г(с)ь правити црѣвь суцую сдѣ. (ἐμπιστεύ-
σει... τοὺς οἶακας) ЖАЮ к. XIV, 252» und (3.) «подобень кесмь въ корабли въ мо-
ри плавающимъ. иже не вѣдаще добръ правити корабра [так!]. [...] КР 1284,
193б; [...] моудръ правашимъ дшевные лодыа [...] ПНЧ к. XIV, 124б» u. a. m.
(SDRJA VII: 434);

s. v.: **правитель** (2.) «Аще корабль истопится. понеже не имѣша правителя [...].
(кубернѣтн) КР 1284, 295б»; «корабль бес правителя не сп(с)тъса [...] (ἀκυβέρ-
νητον) ЖВИ XIV–XV, 66в; «всего мира правитель. кораблю хѣс ѓгъ нашъ. (πη-
δαλιουχῶν) КЕ XII, 39а» u. a. (*ibid.*: 432).

Vereinzelte Belege stützen auch die in den zitierten Hymnen des Menäums
beobachtete Äquivalenz οἶαξ/πηδάλιον – **правило**. So enthält die Kartothek
des SDRJA neben den über 2500 Belegen, in denen **правило** gr. κανὼν wieder-
gibt, auch einen für **правило** als Äquivalent zu gr. οἶαξ, und zwar aus der Ha-
martolos-Chronik: «въ скорѣ Августъ Кесарь. ѿблада всѣми языки и...
Римьскими правили вса покори. (οἶαξι) ГА XIV₁, 133а» (*ibid.* 431). Aller-
dings ist οἶαξ hier in übertragener Bedeutung »Staatsrunder, Staatsführung«¹⁸
verwendet, die **правило** auch in der Bedeutung »Regel, Grundsatz, Vorschrift«
sinnvoll wiedergeben könnte. Dasselbe gilt für den Beleg aus dem *Izmaragd*,
den der *Slovar' russkogo jazyka XI–XVII vv.* (SRJA 18: 106) als Zeugnis für пра-

14 Vgl. SJS II: 74 f.: κυβερνάω – крѣмити, крѣмьчѣствовати, κυβερνήτης – крѣмьникъ, крѣ-
мьчни, κυβέρνησις – крѣмьчѣстеник, крѣмьчѣство.

15 SJS II: 73 mit Belegen aus der sl. Apostolos-Übersetzung (Act 27.40 und Jac 3.4).

16 Sl. то falsch bezogen auf крѣмилио, wohl aus urspr. тоу wie gr. ταύτην, also *die Kirche*.

17 Zur Datenbasis des Wörterbuchs vgl. SDRJA I: 8 f.

18 LS 1201: οἶαξ (2.) »helm of government« und οἰακίζω »govern, guide, manage«.

вило in der Bedeutung »руль, кормило« anführt: «Что ли добръе такового члѣка, иж<е> изообрящет правило дѣи свои, таковыи корабленному правителю подобень ес<т>ь». Изм., 150б. XVI в. ~ XIV в.». Beim zweiten dort genannten Beleg handelt es sich um die bereits oben zitierte Stelle aus dem Putjata-Menäum (PM: 10v₁₂). Der Vergleich mit der als Vorlage anzunehmenden gr. Hymne (MR v: 17) bestätigt die Semantik »Steuerruder« jedoch kaum, da hier, wie wir gesehen haben, **правило** nicht οἶαξ sondern ἰστίον »Segel« wiedergibt. Dieselbe Stelle bemüht auch SREZN[EVSKIJ] zum Nachweis der Bedeutung »руль, кормило« für ein auf der zweiten Silbe akzentuiertes **правило**. Sein zweiter Beleg stammt ebenfalls aus dem Putjata-Menäum, aus einem Tropar des Kanons auf die heilige Pelageja:

Пѣчинѣ твонхъ чюдесъ · пловжцѣ **правиломъ** дѣхѣномъ · нѣина **подаждь** ми
мнѣ хѣба · пелагикѣ прѣхвална · къ пристаницѣ твонхъ похвалении приведи
ма (PM: 13r₁₃).

In der gr. Vorlage allerdings bittet der Dichter um die Brise des Geistes,¹⁹ den günstigen Wind, unter dem das Schiff sicher in den Hafen zu segeln vermag:

Πελάγει τῶν σῶν θαυμάτων πλέοντι * *αὔραν τοῦ Πνεύματος* * νῦν μοι *παράσχου*, μάρ-
τυς τοῦ Χριστοῦ, * Πελαγία πανεύφημε, καὶ πρὸς λιμένα εὐδίων * τῶν σῶν ἐπαίνων
καθοδήγησον (MR v: 20).

Der sl. Übersetzer ersetzt hier das Akk.-Obj. zu παράσχου, nämlich αὔραν τοῦ Πνεύματος durch die ihm aus anderen Troparen bekannte Wendung im Instr., **правилом(ь) дѣхѣном(ь)**, wodurch **подаждь** jeglichen Objekts entbehrt. Auch dieser Beleg erweist sich also in Anbetracht der gr. Vorlage als kaum geeignet, um für **правило** eindeutig eine Bedeutung »Steuerruder« abzuleiten.

Ein Lexem **правило** mit Betonung auf der 2. Silbe und der nautischen Bedeutung »Ruder« verzeichnen auch das Akademie-Wörterbuch (SAR² v: 125)²⁰, das Lexikon von DAL' (III: 378) und UŠAKOV (II: 539), nennen aber leider keine Quellen. Außer dem Beleg aus der Hamartolos-Chronik bezeugen die Lebendigkeit eines nautischen Terminus in der Bedeutung »Steuerruder« nach meinen bisherigen Untersuchungen nur eine Stelle im Roman *Pereselency* von D. M. Grigorovič,²¹ sowie eine weitere in V. K. Arsen'evs *Dersu*

19 Vgl. bei Ambrosius »sancti Spiritus flatu«, *Ambr.virginit.* 18₁₁₈; auch bei Johannes Chrysostomos (*Chrys.cruc.* [PG]-50-817) symbolisiert der günstige Wind den Hl. Geist, vgl. RAHNER 1964: 311.

20 Aber auch schon bei НЕУМ (1800): 1470 nach SAR¹

21 SSRLJA XI: 16: «Правильными рядами лепятся по берегу длинные-длинные весла, служащие рулем, правилом на барках».

Uzala, auf die der SSRLJA hinweist.²² Zwei andere Einträge bezeugen **правило** als Bezeichnung der Schoten eines Rahseglers (Brassen) (SRNG 31: 54 und SRJA 18: 106). Angesichts dieser Beleglage stellt sich die Frage, ob tatsächlich ostsl. eine durchaus motivierte Bedeutung »Steuerruder« anzunehmen ist, die gewährleistete, dass **правило** von den mittelalterlichen Rezipienten als Seefahrtsterminus decodiert wurde. Oder wurden hier bei der sl. Übertragung der Hymnen die vermutlich bei den Übersetzern wenig geläufigen nautischen Termini für Steuerruder, οἶαξ und πηδάλιον, durch den allgemein verständlichen Begriff 'Regel, Richtschnur, Anleitung' ersetzt, und die Belege aus der Hymnographie, die allesamt an die erwähnte Metapher gekoppelt sind, haben dann in Unkenntnis ihrer griechischen Vorlagentexte dazu geführt, für **правило** die Nebenbedeutung »Steuerruder« anzunehmen? Letztere Überlegung wird durch die oben behandelten Textstellen gestützt, bei denen durch **правило** eben nicht οἶαξ oder πηδάλιον, sondern ἰστίον und sogar αὔρα wiedergegeben wurde.

3. **Ἄυρα τοῦ Πνεύματος – der günstige Wind als Symbol für den Hl. Geist**

Der günstige Wind, mit dem der Heilige Geist das Schiff des Lebens sicher durch die Wogen des Lebens segeln lässt, αὔρα τοῦ Πνεύματος, wird im Dezember- und Februarmenäum jeweils einmal mit **вѣтръ** übersetzt: im Kanon auf die Märtyrer um den hl. Thyrsos:

*Ταῖς αὔραις κινούμενοι * Θείου Πνεύματος, σοφοί, τὰ τῆς ψυχῆς ἀγωγήμα * εἰς νοη-
τοῦς λιμένας περιχαρῶς * ἐσώσατε [...] (MR II: 492).*

*Вѣтръмъ подвизающе сѧ · божествонааго доуха, моудрини, доушевьное брѣмъ ·
въ разоумьнѣна пристанница · радостно съпасли кѣте [...] (GMD II: 404).*

und im Kanon auf den hl. Timotheos (GMF III: 96):

*ἀλλὰ τῆς τοῦ Πνεύματος * ζωηφόροις αὔραις * εὐπλοήσας – нъ доуховьнѣимъ и жи-
воноснѣимъ · вѣтръмъ · добрѣ плававъ.*

In anderen Fällen aber taten sich die sl. Übersetzer mit diesem nautischen Terminus schwer, wie in dem bereits zitierten Tropar auf die heilige Pelageja

22 *Ibid.*: «Сбоку... прикрепляется длинная жердь, называемая правилом. Человек держит правило правой рукой, направляет нарту и поддерживает ее при крутых поворотах».

(PM 137¹³), wo αὔραν τοῦ Πνεύματος mit **правиломъ дхвѣномъ** wiedergegeben wurde.

So erreichen in einem Tropar des gr. Kanons auf Probos, Tarachos und Andronikos die Märtyrer dank günstiger Winde die himmlischen Häfen: ταῖς τοῦ Πνεύματος αὔραις * πρὸς τοὺς λιμένας ἐφθάσατε τοὺς ἐπουρανίους (MR I: 405). In der sl. Fassung finden wir die günstigen Winde durch Stille ersetzt: **дхвѣною тиχостью къ пристанищемъ придосте къ нѣснамъ** (JAG: 85). Nun erweist sich aber gerade völlige (Wind)Stille – oder, in nautischer Ausdrucksweise, die Flaute – als wenig hilfreich, um ein Schiff sicher in den Hafen zu manövrieren. Der Übersetzer hat das Bild offensichtlich nicht verstanden. Ebenfalls missverstanden wurde es in einem Tropar auf den hl. Nikephoros (GMF I: 610):

Κλύδωνος εἰδωλικοῦ * τρικυμίαν, ἀθλητὰ Νικηφόρε, τῷ τοῦ Σταυροῦ ἰστίῳ * καὶ ταῖς αὔραις τοῦ Πνεύματος * εὐσταλῶς διαπερῶν, * μάρτυς ἀήτητε, τῷ λιμένι * τῷ γαληνῷ Χριστῷ προσώρμισαι.

Des Götzensturmes Wellenberge, o Kämpfer Nikephoros, wohlgerüstet mit dem Segel des Kreuzes und den Winden des Geistes durchsegelnd, unbesiegbarer Märtyrer, bist du in den stillen Hafen Christus eingelaufen.

Богѣря коумирьскѣша стрѣмленіе · мучениче никифоре · кръстьнѣнимъ вѣтрилѣмъ · и облакѣ доуховнѣннимъ · благоукрашенъ · прѣшъдъ мучениче (·) неповѣдимъи · въ пристанище приста въ тихоѣ.

Das im Griechischen durchgängige Seefahrerbild ist im Slavischen gebrochen: die Wellenberge werden zum Anprall (**стрѣмленіе** statt zu erwartendem **трѣвъзленіе**) und statt des günstigen Windes, der das Schiff vorantreibt, ist hier von Wolken die Rede.

4. **Ἄγκυρα – Beständigkeit des Glaubens**

Als weiterer nautischer Terminus begegnet uns in der byzantinischen Hymnographie der Anker, seit Hbr 6.19 in christlicher Literatur ein Symbol der Beständigkeit des Glaubens und der Hoffnung auf Auferstehung.²³ Im Gottesdienstmenäum ist er vornehmlich in Theotokia als Epitheton für die Gottesmutter angesiedelt. So wird in einem Theotokion des Kanons auf die Märtyrer Probos, Ares, Makarios und Eugenios die Gottesmutter zum rettenden Anker für die, die durch Leidenschaften und Drangsale Schiffbruch erlitten haben:

23 Vgl. HEINZ-MOHR: 33; SEIBERT: 22 f., RIESE: 23 und JUNDZILL 1996: 86.

Ὡς ἄγκυράν σε θείαν κατέχοντες * οἱ ἐν τῷ σάλῳ τῶν δεινῶν (var. παθῶν sicut sl.) * καὶ τρικυμίας τῶν θλίψεων * κλυδωνιζόμενοι πάντες, * Παρθένε, ἀκυμάντως σωζόμεθα (AHG IV: 464).

In der sl. Übersetzung wird gr. ἄγκυρα nicht, wie zu erwarten, durch das schon in kanonischen Texten des Aksl.²⁴ belegte Lehnwort **анкѹра**, sondern durch das Abstraktum **твѣрдостъ** wiedergegeben, das konkrete nautische Instrument *Anker* also durch seine übertragene Bedeutung »Festigkeit, Beständigkeit« ersetzt:

Ѥко твѣрдостъ тѣ вожѣствѣноюю нмоуце · въ моуѣ стѣрастини · и въ трѣвѣланени скѣрвини · погрѣжающе сѧ вси · дѣво безвѣлнѣно сѣпасакѣмъ сѧ (GMD II: 672).

Diesen Austausch des konkreten Schiffsterminus durch ein Abstraktum, also die Auflösung der Metapher, begegnet uns in fast allen Hymnen aus dem Dezember- und Februarmenäum, deren griechische Vorlagentexte die Ankermetapher enthalten. Dabei finden sich als sl. Entsprechungen für gr. ἄγκυρα neben **твѣрдостъ** (auch in GMF II: 246 f., III: 596, 645), **твѣрдѣини** (GMF III: 633), **оуѣтвѣрженнѣ** (GMF III: 442), sowie einmal **дѣржава** (GMD III: 425²⁵). Meist thematisieren diese Theotokia allerdings nicht die Rettung aus Seenot im Sinne der bekannten Schiffbruchallegorie, sondern bestehen lediglich aus Aneinanderreihungen beliebter Epitheta der Gottesmutter. Zu denen gehören auch *στηριγμός/στήριγμα* und *όχύρωμα*, in den sl. Hymnen übersetzt mit **твѣрдѣини** und **оуѣтвѣрженнѣ**:

Σε στηριγμόν * καὶ προστασίαν πλουτήσαντες – **тѣ твѣрдѣиню и застоуѣпницю · нмоуце** (GMA II: 328; vgl. auch GMD II: 339, IV: 478; GMF III: 189; GMA I: 480).

In einem solchen Kontext ist denn auch nicht verwunderlich, wenn, wie im Theotokion der 1. Ode aus dem Kanon für die Unschuldigen Kinder, die sl. Fassung statt des Ankers das ebenfalls geläufige Gottesmutter-Epitheton *Hafen* nennt, zumal zu Beginn des Tropars bereits *όχύρωμα* mit **оуѣтвѣрженнѣ** übersetzt wurde:

Θεῖον όχύρωμα καὶ οἰκητήριον, Ἄγνή, * καὶ νοητὴ γέφυρα σαφῶς * καὶ ἀκαθαίρετος πύργος * καὶ ἄγκυρα καὶ σκέπη, * δι' ἧς σωζόμεθα πάντες κινδύνων, Θεοτόκε, σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς (AHG IV: 704).

24 Vgl. SJS I: 38 bzw. řSI (I.4: 250) mit Belegen aus dem Apostolos (Act 27, 29, 30, 40 u. Hbr 6, 19: *Christ, Slepč, Mak, Šiš*), *Supr.* und *Pochv.*

25 Nach derselben gr. Vorlage (MR II: 701) wie GMF II: 246 f., III: 596.

Божик оутвърженик · и стѣна нероушима, чиста, · и мостъ оумьнъ гавѣ · и нера-
зоримъи стѣапъ · пристанъ (var. пристанище) и кровъ · имъже вси спасаемъ
са отъ вѣдъ (GMD IV: 478).²⁶

Auffällig ist jedoch, dass **анкура** in den frühen ostsl. Handschriften des Gottesdienstmenäums kaum belegt ist: Es fehlt gänzlich bei SREZN, der auch den Wortbestand von Hymnen aus den von V. JAGIĆ edierten Menäen für September bis November berücksichtigt, ebenso wie in den Hymnen für die Monate Dezember und Februar und in den Wörterverzeichnissen des Putjata-Menäums für Mai (PM), des Dubrovskij-Menäums für Juni (DM) oder der Hymnensammlung *Il'ina Kniga* (IK-K). Zuweilen ließ es sich jedoch offensichtlich nicht vermeiden, den nautischen Terminus zu verwenden, wie z. B. in einem Theotokion aus dem Aprilmenäum, in dem als Epitheta für die Gottesmutter in einem Atemzug mit ἄγκυρα auch ὀχύρωμα – **оутвърженик** und λιμήν – **пристанище** erwähnt werden:

Ὅπλον καὶ λιμένα ἀσφαλῆ καὶ τεῖχος καὶ ὀχύρωμα * καὶ θεῖαν ἄγκυραν καὶ γέφυραν
καὶ σκέπην * τὴν σὴν, θεοnúμφευτε, * ἔχοντες προστασίαν * τῶν κινδύνων λυτρούμε-
θα πάντες (im Kanon auf Georg von Mytilene, MR IV: 269).

Ороужик и пристанище твърдо, градъ и оутвърженик · и свѣтоу **анкору**, мостъ
же и покровъ твою, богоневѣсто, имоуше помощь отъ вѣдъ избаваемъ са
вси (GMA I: 480).²⁷

5. Τρικυμία – die Wogen der Häresie, Dämonen und Versuchungen

Auf der Fahrt durch das Meer des Lebens (θάλασσα τοῦ βίου)²⁸ droht jederzeit Schiffbruch durch die hochaufgetürmten Wogen (τρικυμία) der Häresie, der Dämonen oder Versuchungen (vgl. RAHNER 1964: 299 ff.).

Der Ausdruck τρικυμία (LS 1820: »group of three waves«, »a mighty wave« oder »swell«) wird in den sl. Hymnen in morphematischer Nachbildung üblicherweise als **трывълненик** wiedergegeben. Dieses sl. Lexem scheint eng ver-

26 Zum Nebeneinander der beiden Gottesmutter-Epitheta vgl. etwa GMF III: 645: σὺ ὤφ-
θης γηγενῶν λιμήν καὶ ἄγκυρα – **тъи гави са земьнъимъ пристанище и твърдостъ**.

27 Zwei weitere Belege für die Verwendung des Terminus **анкура** in den Menäen liefern das Junimenäum *GIM, Sin 167*, fol. 55r: **яко анкору и отъчьскага своа · наслѣдне имоу-
щи слова** – καὶ ὡς ἄγκυραν * καὶ πατρικὸν κλῆρον τοὺς σοὺς * ἔχουσα λόγους (MR V:
256), sowie eine Stelle im Augustmenäum, auf die mich Dr. Roman Krivko (Moskau)
freundlicherweise aufmerksam machte: *GIM, Sin 168*, fol. 51v: **и оупъвани · юже о
тебе яко анкору доушамъ · имъюше** – καὶ τὴν ἐλπίδα * τὴν εἰς σὲ ὡς ἄγκυραν ψυχῶν *
κατέχοντες (MR VI: 352).

28 Begriff geprägt von Origines in seiner Jeremias-Homilie, vgl. RAHNER 1964: 279.

knüpft mit der Übersetzung des Gottesdienstmenäums, in deren Hymnen es zahlreich vertreten ist. 11 Belege enthält allein die Kartothek für das Dezember- und Februarmenäum, drei weitere sind aus den bisher untersuchten Hymnen des Aprilmenäums bekannt.²⁹ Auch die Nachweise bei SREZN (III: 1015) stammen aus Menäentexten, einer aus dem Oktober (JAG: 43),³⁰ sowie aus dem November ein Beleg für das Adjektiv **ТРЪВЪЛНЕНЪИИ** (JAG: 473). Das Glossar zum Putjata-Menäum (PM: 610) verzeichnet einen weiteren Beleg für Mai (81v₁₄). Außerhalb der Menäentexte scheint es indes kaum Verbreitung gefunden zu haben.³¹

In einigen Hymnen aber wird **τρικυμία** mit **БОУРА**, **БОУРЕННИК** übersetzt, so z. B. in Theotokia aus den Kanones zu Mariae Empfängnis (GMD II: 82), auf Paulus Confessor (JAG: 310/MR II: 59), Maria Aegyptiaca (GMA I: 48 f.), Georg Solitarius (GMA II: 328) oder Basileios von Amasea (RNB, *Sof* 199, fol. 39r/*Sinait. gr.* 614, fol. 87v) und in einem Tropar auf den hl. Blasius (GMF II: 66). Aus den Wogen des Lebens werden Stürme. Dadurch verliert sich in den sl. Übertragungen der Bezug zu der bei den Kirchenvätern so beliebten Schiffbruchallegorie. In dem früher bereits zitierten Tropar aus dem Kanon auf Nikephoros (GMF I: 610) werden die hohen Wogen zum Anprall, Angriff, vermutlich, weil **БОУРА** hier schon zur Wiedergabe von **κλύδων** verwendet wurde: **κλύδωνος** **είδωλικού** **τρικυμίας** – **БОУРА** **КОУМІРЬСЬКІІА** **СТРЪМЛЕНІК**.

Auch **ὁ κλύδων** und **τὸ κλυδώνιον** (LS: 962 »wave, billow«, »surf, rough water«) werden sl. mal als *Woge*, mal als *Sturm* wiedergegeben,³² wie der Vergleich zweier sehr ähnlicher Tropare auf die Klostergründerin Melania die Jüngere und die Märtyrerin Anysia illustriert:

Ἀβρόχως * τὸ τοῦ βίου διήλθεσ κλυδώνιον – **ПО** **СОУХОУ** **ЖИТІННСКОК** **ПРЕИДЕ** **ВЪЛНЕНІК** (Melania, GMD IV: 686).

Ἀβρόχως * τῶν ἀγῶνων διήλθεσ κλυδώνιον – **ПО** **СОУХОУ** **ПОДВИГА** **ПРЕИДЕ** **БОУРО** (Anysia, GMD IV: 627).

Durch die Übersetzung mit **БОУРА**, **БОУРЕННИК** verliert sich im Slavischen einmal mehr die ursprünglich eindeutige Lokalisierung des Bildes auf hoher See. Dies geschieht darüber hinaus durch die Verwechslung von **ВЕЗВЪЛНЕНЪИИ**

29 Vgl. für Dezember: CHRISTIANS: 213 (6 Belege), Februar: GMF I: 380; II: 45, 284; III: 530, 670; April: GMA I: 248, 279; II: 357).

30 Zu ergänzen ist ein weiterer Beleg aus dem Oktobermenäum: JAG: 210/MR I: 558.

31 In SJS nicht verzeichnet, bei MIKLOSICH fünf späte Belege aus Triodion (1560), Prolog (*prol.-mih.* 14. Jh., *prol.-mart.* 17. Jh.) und Homilien (*hom.-šaf.* 16. Jh., *chrys.-lab.* 1574).

32 Belege für die Übersetzung durch **ВЪЛНЕНІК**: JAG: 204/MR I: 547, GMD II: 244; IV: 509, 686; GMF II: 257; III: 494, 512) bzw. **БОУРА**, **БОУРЕННИК** GMD IV: 541; GMF I: 610; II: 556, 579, sowie in der Übersetzung des Hirmos (EE: 182): GMD I: 24 und II: 677, vgl. auch HANNICK: 162 f.

mit **ΒΕΖΜΒΛΒΗΝΗ** bei der Wiedergabe von ἀκύμαντος »wogenlos«, die in den Menäen ebenfalls mehrfach zu beobachten ist:

εἰσήλθεσ * εἰς ἀκύμαντον λιμένα καὶ ζωὴν – **ВЪННДЕ · ВЪ ΒΕΖΜΒΛΒΗНОК ПРІСТАНИЦЕ ЖИВОТА** (Kanon auf Marcellus, GMD IV: 482);

πρὸς τοὺς λιμένας ἔφθασας * τῆς ἀκυμάντου καταστάσεως – **КЪ ПРІСТАНИЦЕМЪ ПРІСТІЖЕ · ΒΕΖΜΒΛΒΗΝΗΧЪ ВЪСПРІАТІИ** (Kanon auf Nikephoros, *GIM, Sin 167*, fol. 13v und *RNB, Sof 206*, fol. 7r/MR V: 216).

Hier waren es offensichtlich die Kopisten, die den *wogenlosen* in einen *stillen* Hafen transformierten, eine Metapher, auf die an späterer Stelle noch zurückzukommen sein wird. Im Junimenäum bietet im Kanon auf Justinus die Synodal-Hs. für gr. ἀκυμάντως βασάνων τὸ πέλαγος * θεία κυβερνήσει διήλθετε (MR V: 212) die adäquate Übersetzung **ΒΕΖΒΛΗΝΗΟ ΜΟΥΚΑΜЪ ΠΟΥΧΗΝΟΥ · ΒΟЖЕСТВЪНІИМИ НСПРАВЛЕНІИ ПРЪИДОУТЕ** (*GIM, Sin 167*, fol. 4r-v), während die Handschrift der Sophiensammlung (*RNB, Sof 206*, fol. 2v) auch hier **ΒΕΖΜΒΛΒΗНО** bezeugt.

6. Ὅρμος / λιμὴν – *der Hafen der Ruhe*

Ziel der gefährvollen Fahrt über das stürmische Meer des Lebens ist die Ein- fahrt in den stillen Hafen, ὄρμος γαληνός bzw. λιμὴν γαληνός, als Symbol für die Ruhe nach dem Tode und die Rettung im Jenseits.³³ So erreicht Paulus der Bekenner den Hafen, nachdem er die hohen Wogen des Lebens hinter sich gelassen hat:

Ὅρμῳ γαληνῷ σὺ προσωρμίσθησ * τοῦ βίου τὰς τρικυμίας ἀπωσάμενοσ (MR II: 59) – **ВЪ ТИХѠМЪ ПРІСТАНИЦИ НЪННѠ ПРІСТА, ЖИТІИСКЪІА БОГІІА ОΥΓЪВРЪГЪ СѠ** (JAG: 310).

Die Märtyrer von Thessaloniki, Auktes und Taurion, segeln in die stillen Häfen des Heils: πρὸς γαληνοὺς σωτηρίας λιμένασ (AHG III: 194) – **КЪ ТИХОМОУ ПРІСТАНИЦОУ СЪСЕНОУМОУ** (JAG: 312), und die Apostel Onisidor und Porphyrios landen im Hafen des Himmelreiches:

ὄρμῳ * θείας βασιλείασ οὐρανῶν * προσωρμίσθητε (MR II: 97) – **ВЪ ПРІСТАНИЦЕ БЖСТВНОМОУ ЦРЪТВИЮ ПРІСТАТА НБСНОМОУ** (JAG: 332).

33 Vgl. dazu RAHNER 1964: 548–564; LORENZ 1973: 237 f.; SCHLIMME 1986: 300–302; zur Hafen-Metapher in ksl. Handschriften vgl. auch ZETT 1981.

In der sl. Übertragung werden dabei gewöhnlich sowohl λιμήν wie auch ὄρμος mit **пристаннице** wiedergegeben.³⁴ Entsprechend werden ὀρμέομαι und seine Derivationen mit der Bedeutung »den Hafen anlaufen, vor Anker gehen, landen, im Hafen einlaufen« im Sl. mit **пристаѣти** übersetzt.³⁵ Mehrfach sind dem Übersetzer dabei allerdings Fehler unterlaufen. In einem Tropar aus dem Kanon für den hl. Menas verwechselt er den Hafen (ὄρμος) mit dem Anprall, Angriff (ὄρμη):

τὰ δὲ σώματα τῶν μαρτύρων πελάγει ριπτόμενα * ἰθύνεις γαληνότατον πρὸς ὄρμον τῆς ταφῆς (MR II: 445) – **ТЕЛЕСА ЖЕ МОУЧЕНИКЪ ВЪ ПОУЧНИОУ ВЪМЪТАКЕМА НАПРАВ-ЛАНИИ · НА ТИХОК ОУСТРЪМЛЕНИК ГРОБА** (GMD II: 148).³⁶

Verwechslungen von καθορμίζομαι »in den Hafen einlaufen, vor Anker gehen«³⁷ und ὀρμάω »aufbrechen«³⁸ begegnen uns in einem Sticheron auf Georg Solitarius: Ἐν ἡσυχίας λιμένι καθορμησάμενος – **ВЪ ВЕЗМЪЛВИИ ПРИСТАНИЦА · ОУСТРЪМНИВЪ СИ** (GMA II: 324), und einem Tropar aus dem Kanon auf Georg von Mytilene: ἐπὶ λιμένα καθώρμισας καὶ γαλήνην (MR IV: 270) – **НА ПРИСТАНИЦА ТИΧΑΙΑ ОУСТРЪМНИВЪ СЪ** (GMA I: 490).³⁹

Weit häufiger als ὄρμος bezeugen die byzantinischen Hymnen in dieser Metapher λιμήν für *Hafen*, sl. vielfach ebenfalls mit **пристаннице** übersetzt.⁴⁰ Bemerkenswert sind allerdings zwei Fälle, in denen **пристаннице** nicht für λιμήν steht, sondern für λειμών »Wiese«, das der gr. Hymnus in Zusammenhang mit einem völlig anderen Metaphernbereich bietet, nämlich dem vor allem in Hymnen für Mönchsheilige angesiedelten Bild des λειμών πνευματικός.⁴¹ Dies betrifft ein Tropar aus dem Kanon auf den hl. Abt Theosteriktos (GMF III: 636 f.):

Θεῖον λειμῶνά σε, * πάτερ, ἐγνώκαμεν * ταῖς ἀρεταῖς ὡς ἄνθη * εὐωδιάζοντα κόσμον – **БОЖЕСТВЕНОКЪ ТЪ ПРИСТАНИЦЕ · ДОБРОДѢТЕЛЬМИ · ТАКО ЦВѢТЪТЪ БЛАГОУСХАЮЩА МИРА**

34 Zur Äquivalenz ὄρμος – **пристаннице** vgl. GMD I: 324, 583; IV: 686.

35 **пристаѣти** für καθορμίζομαι (GMD IV: 509), ἐγκαθορμίζομαι (GMF III: 96), προσορμίζω (GMF II: 282), προσορμίζομαι (GMF I: 610, III: 670; GMA I: 148).

36 Dieser Fehler ist übrigens auch bei der Übersetzung von Gregor v. Nyssas *De hominis opificio* unterlaufen, vgl. SELS/Ind: 75, 117.

37 Vgl. LS 856: καθορμίζω »bring a ship into harbour, bring to anchor«, Pass./aor. Med. »come into harbour«; *ibid.* 1253: ὀρμίζω »bring to a safe anchorage«; Med/Pass. »come to anchor, lie at anchor«; ὀρμέω »to be moored, lie at anchor«.

38 LS 1252: ὀρμάω »set in motion, urge on, cheer on«, »start«, »rush headlong at one«.

39 Umgekehrt **приставъ** für ὀρμημένος »hinstrebend, aufbrechend« – GMF II: 439.

40 Vgl. CHRISTIANS: 150 (11 Belege) sowie GMF I: 380, 610; III: 96, 645, 670; GMA I: 129, 148, 480, 490, 508, 548, 552; II: 324, 422, 455^{Sof}, 727.

41 Zu dem von Johannes Moschos in seiner gleichnamigen Schrift geprägten Topos der Wiese, auf der wie Blumen die Tugenden blühen, in den ostsl. Gottesdienstmenäen vgl. CHRISTIANS 2010: 218.

sowie ein Sticheron auf Eutychios, den Patriarchen von Konstantinopel (GMA I: 372 f.):

Κύριε, * σὺ ἐν τῷ λειμῶνι τῆς θείας * γραφῆς Εὐτύχιον ἠΰξησας – Herr, du hast Eutychios auf der Wiese der göttlichen Schrift wachsen lassen [...],

Господи, * ты въ пристаници божествѣнаго писаниа * писаниа еѹтѹхѹи * отъ-
вѣрзавъ кси – Herr, du hast dem Eutychios im Hafen der göttlichen Schrift die
Schriften ausgelegt [...].

Aufgrund phonetischer Ähnlichkeit ist hier λειμῶν mit dem in den Hymnen weit häufiger anzutreffenden λιμῆν verwechselt worden. Dass dabei den Übersetzer des Kanons für Theosteriktos die wohlduftenden Blumen im Kontext nicht gestört haben, lässt vermuten, dass sein Bild von einem Hafen eher dem einer Anlegestelle an einer Uferwiese entsprach als dem des in der Allegorie gemeinten Seehafens.

In den Hymnen des Aprilmenäums, und hier vornehmlich bezeugt durch die Handschrift aus dem Sophienzyklus, *RNB, Sof 199*, finden wir für λιμῆν statt der wörtlichen Übersetzung die Interpretation **привѣжице**, und zwar gleich dreimal in der Akoluthie für Bischof Basileios von Amasea, nämlich im Kathisma: πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον κατήνησας (*Sinait. gr. 614*, fol. 84v) – **къ привѣжице мѣъ бѣжице мѣъ оустави сѣ** (*RNB, Sof 199*, fol. 37v), in den Stichera: διὸ καὶ πρὸς τὸν εὐδιον * τῆς σῆς γαλήνης λιμένα ἡμᾶς [...] ἐγκαθώρμισον (*Sinait. gr. 623*, fol. 108r) – **тѣ мѣ и къ бѣговѣтрнѹ * твоєго ти хаго привѣжица нѣи [...] оѹтѣврди** (*RNB, Sof 199*, fol. 37v), und im Kanon: καὶ πρὸς λιμένα ἴθυνον (*Sinait. gr. 614*, fol. 87v) – **къ привѣжице направѹи** (*RNB, Sof 199*, fol. 39r).⁴²

Damit verlässt der Übersetzer das maritime Bild, der Hafen wird ganz allgemein zur Zufluchtstätte. Sonst fungiert **привѣжице** als Äquivalent vor allem für καταφυγή, καταφύγιον als beliebtes Epitheton der Gottesmutter.⁴³

Häufig aber gibt der sl. Übersetzer λιμῆν mit **тишина** wieder, dem üblichen Äquivalent für γαλήνη »Ruhe, Stille«, die in der Schifffahrtsallegorie durch λιμῆν verbildlicht wird. Der Hafen als Metapher für die *requies aeterna*, also den Tod, ist seit der Antike ein fester literarischer Topos, den schon Apuleius und Seneca verwenden.⁴⁴ Geläufig ist dabei seine Attribuierung als ruhig, sturmfrei oder wogenlos. Gregor von Nazianz, der selbst einen Schiffbruch erleben musste, vergleicht den Übergang ins Jenseits mit der Einfahrt der Seefahrer in einen ruhigen Hafen:

42 Vgl. außerdem im Kanon auf Agape, Irene und Chionia (GMA II: 422) und im Kanon auf den Märtyrer Lukullianos die Juni-Hs. *RNB, Sof 206*, fol. 10r (vgl. gr. MR V: 222).

43 Z. B. GMF I: 432; II: 32, 524 f., 602 f.; III: 656.

44 Vgl. dazu SCHLIMME 1986: 298; RAHNER 1964: 548–555; LORENZ 1973: 237 f.

καὶ ὅπερ ἐστὶ τοῖς πλέουσι λιμὴν εὐδῖος, τοῦτο τοῖς ἐνταῦθα χειμαζομένοις ἢ ἐκεῖ-
σε μετάστασις καὶ μετάθεσις (Gr.Naz.or.18.3[PG]-35-988_{4,7}, zit. nach LORENZ 1973:
237, vgl. auch DASSMANN 2010: 124.)

Im Sl. führt die Wahl des Abstraktums **тншнна** als Übersetzung für das Konkretum λιμὴν wieder einmal zur Auflösung der maritimen Metapher, wie wir dies bereits bei der Übertragung anderer nautischer Termini in Varianten der Schifffahrtsallegorie beobachten konnten. Diese Entsprechung kennt, wie SJS (IV: 459) belegt, bereits der *Codex Suprasliensis*: **на покaианiа прнбѣгаатъ тншннж** (λιμένα) *Supr* 523, 9. Aus den zahlreichen Belegen⁴⁵ in den Hymnen des Gottesdienstmenäums seien hier beispielhaft nur zwei Tropare vorgestellt, aus den Kanones auf Nikolaos von Myra (GMD I: 350):

Νεκρωθέντα με, μάκαρ, τοῖς πταίσμασι * καὶ ταῖς τῶν παθῶν τρικυμῖαις ποντούμενον
* ἐπιφανεῖς διάσωσον * *πρὸς λιμένα* τοῦ θεοῦ θελήματος.

**Огмьрцнвена ма, блажене, съгрѣшенин · н страстьнъими трѣвъланенин погрозжак.
ма · авнѣъ сѧ съпаси · въ тншнноу божѣствнънiа волл.**

und auf die Märtyrer um den hl. Thyrsos (GMD II: 411, gr. GMD IV: 866):

Διεθόντες τῶν βασάνων, παμμακάριστοι, * τὸ πέλαγος εἰσηλθετε * *πρὸς τοὺς λιμένας*
* κληρουχίας τῆς ἐν οὐρανοῖς – **прошьдъше моученнiа прѣвѣлаженнн · поучннноу въ-
шьлн кѣтѣ · въ тншнноу · наслѣднiа небесънааго.**

Seltener tritt in den Gottesdienstmenäen die Variante **отншник** auf, die ebenfalls schon im *Codex Suprasliensis* als sl. Entsprechung für λιμὴν fungiert:⁴⁶

Ἀχειμαστον ἡμῖν * λιμένα τοὺς ἀγίους * ἀνέδειξε Χριστὸς (ΑΗΓ Χ: 106) – **Безвѣръ-
нок намъ отншникъ свѣтънхъ · авн хръстоуъ** (GIM, *Sin* 167, fol. 124v).

Μὴ βραχεῖς ἀμαρτίαις διέπλεσθας * βίου τὸ κλυδώνιον τὸ πολυώδυνον, * καὶ τοὺς λι-
μένας ἔφθασας (MR I: 200) – **Не омоуъ сѧ грѣхъмъ препаоу жгтннскоую вѣрю
многoкoлѣзньноую н въ отншнѣ доидѣ** (JAG: 0150).

Ebenso wie **тншнна** kann aber auch **отншник** nicht eigentlich als Übersetzungs-
äquivalent von λιμὴν gelten, vielmehr bedeutet es als Übersetzung der von

45 Z. B. GMD I: 350; II: 410 (gr. IV: 866); III: 625; IV: 377, GMF II: 263, III: 494, 512, 633
sowie GMA II: 485 (vgl. hier aber die Variante **прнстаннцѣ** in *RNB, Sof* 199).

46 Vgl. dazu SJS II: 583 *Supr* 67,7, 143,28 und 424,22; zu **отншник** in den Hymnen von Kli-
ment von Ohrid und Konstantin von Preslav vgl. PИČHADZE 2009: 300, siehe auch:
PИČHADZE 2008: 37.

λιμὴν verbildlichten γαλήνη⁴⁷ die Entmetaphorisierung des byzantinischen Hafengebildes. Auch von den bei SREZN (II: 758) und SDRJA (VI: 206) unter der Bedeutung »гавань« genannten Belegen, stehen die Stellen aus der *Lavrentij-Chronik* (ЛЛ 1377: **радоуѣтса [...] кормъчни въ ѡтишьѣ**) und die vermutlich auf denselben gr. Ursprungstext zurückgehenden Zitate aus *Izbornik 1076* (**Радоуѣтса ꙗгда твориши добро нъ не въѣсиса · еда погразеник на отишьи боудеть** [62v₉₋₁₂]) und *Pčela* (**Радоуѣтса ꙗгда добро твориши, но не горди егда когда потопъ въ ѡтишни примеши** [5₂₃]), zweifelsfrei im Zusammenhang mit der hier besprochenen Hafenmetapher, wie im übrigen auch der in SDRJA (VI: 206) unter »успокоение« verzeichnete Beleg aus dem *Prolog* (**везвольное отишьѣ**).

* * *

Bei der Übertragung der byzantinischen Schiffahrtsallegorie spiegeln die Hymnen des ostsl. Gottesdienstmenäums gewisse Unsicherheiten in der Wiedergabe nautischer Termini wider. Dies zeigt sich vor allem in der Wahl des Lexems **правило** für die Übersetzung unterschiedlicher Schiffsausstattungen. Selbst wenn für das sl. Lexem die bisher noch eher dürftig belegte Semantik »Steuerruder« anzunehmen ist, also eine tatsächliche Übersetzungsäquivalenz für die Termini οἴαξ und πηδάλιον, irritiert doch der Ersatz von *Segel* und *Brise* durch das *Steuerruder*, der dann in einigen Hymnen zu beobachten ist und auf mangelnde Vertrautheit mit den Gegebenheiten der Fahrt auf hoher See hindeutet, auf der die klassische Schifffahrtsallegorie und ihre byzantinisch-christliche Umdeutung fußt.

Vielleicht muss man dies aber doch eher als Versuch deuten, die aus der im Kulturraum des Mittelmeers verankerten Ambivalenz zwischen Faszination und Grauen der Seefahrt entstandene Schiffbruchallegorie durch interpretierendes Übersetzen zu entmetaphorisieren, um die byzantinischen Hymnen in den sl. Kulturkreis einzubetten. Ähnliches konnte bereits bei den in byzantinischen Hymnen ebenfalls beliebten Bildern aus der Agonistik beobachtet werden.⁴⁸ Für Entsprechungen wie λιμὴν – **тишина, отишик** oder ἄγκυρα – **твърдостъ, твързѣнія, оутвържденик** wird sich mit fortschreitender lexikographischer Erfassung der Hymnen aus dem ostsl. Gottesdienstmenäum unweigerlich die Anzahl der Belege häufen. Die Quantität der Belege für solche Äquivalenzen darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihnen lediglich das Bemühen zugrunde liegt, nautische Termini durch interpretierende Übersetzung zu umgehen.

47 Vgl. dazu SJS II: 583 *Supr* 492,18; MIKLOSICH »locus tranquillus« *supr.* 377, *greg.naz.*; zu **тишина** als Übersetzungsäquivalent für γαλήνη vgl. auch: CHRISTIANS 211, sowie GMF I: 577; II: 220 f., 282 f., 556; III: 184 f., 670 f.; GMA I: 255, 522; II: 334.

48 Vgl. CHRISTIANS 2009a: 158; 2009b: 316–319, 322 f.

In der sl. Übersetzung der Allegorie verliert sich häufig ihr eindeutiger Bezug zum Meer: Durch die Übersetzung von *τρικυμία* und *κλύδων/κλυδώνιον* mit *βοῦρα/βοῦρικη* wird aus der byzantinischen Fahrt über das *Meer des Lebens* im Sl. der Kampf mit dem *Sturm des Lebens*. Noch weiter geht der Übersetzer in einem Tropar aus dem Kanon auf die Märtyrer von Kreta (GMD III: 625), wenn er kurzerhand aus den (*Wind*)*stille liebenden Häfen* (*φιλεύδιοι λιμμένες*) *zedernliebende Rubestätten* (*κεδρολιουβινβύια τρισηνή*) macht und damit deutlich das Bestreben erkennen lässt, die Hafemetaphorik, deren Decodierung an die unmittelbare Erfahrung des bedrohlichen Meeres gebunden ist, bei der Übersetzung ins Slavische in Bilder der Waldesruhe zu transformieren.

Literatur

Handschriftliche Quellen

a) Slavische Handschriften

GIM:

Sin 161 = Neumiertes Menäum für November, 12. Jh., SK Nr. 81.

Sin 165 = Neumiertes Menäum für April, 12. Jh., SK Nr. 87., vgl. ŠUL'GINA (2007: 110) sowie GMA I: IX.

Sin 167 = Neumiertes Menäum für Juni, 12. Jh., SK Nr. 91.

Sin 168 = Neumiertes Menäum für August, 12. Jh., SK Nr. 94.

RGADA, f. 381:

Nr. 106 = Märzmenäum, 13. Jh., SK Nr. 280.

Nr. 131 = *Il'ina kniga*, vgl. IK-K und IK-V.

RNB:

Sof. 199 = Fragment eines Aprilmenäums, 12. Jh., SK Nr. 88, vgl. auch GMA I: X.

Sof 206 = Junimenäum, 12. Jh., SK Nr. 92.

b) Griechische Handschriften

Sinait. gr. 614 = Aprilmenäum, 11. Jh., vgl. GMA I: XIX.

Sinait. gr. 623 = Aprilmenäum, 11. Jh., vgl. NIKIFOROVA 2005: 193, 195f; GMA I: XIX.

Vind. Palat. Suppl. graec. 154 = Menäum für Oktober, um 1100, vgl. HUNGER 1961: 74 f. (eine Kopie des Mikrofilms wurde uns freundlicherweise von Herrn Prof. Christian Hannick zur Verfügung gestellt).

Editionen

AHG = Schirò, J. (ed.): *Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae inferioris*, T. 1–13, Roma, 1966–1983.

- DM = Rothe, H. (Hg.): *Das Dubrovskij-Menäum. Edition der Handschrift F. n. 1.36 (RNB)*, besorgt u. komm. v. M. F. Mur'janov, überarb. u. m. dt. Übers. vers. v. H. Rothe u. A. Wöhler, Opladen – Wiesbaden 1999 (= NRW AkW Abh. 104, PS 5).
- GMA = Christians, D./Rothe, H. (Hg.): *Gottesdienstmenäum für den Monat April auf der Grundlage der Handschrift Sin. 165 des Staatlichen Historischen Museums Moskau (GIM). Historisch-kritische Edition:*
- I: Teil 1: 1. bis 9. April, besorgt u. komm. v. D. Christians, T. Chronz, I. Podtergera, D. Rafiyenko, E. Smyka u. V. S. Tomelleri, Paderborn etc. 2010 (= NRW AWK Abh. 124, PS 19);
- II: Teil 2: 10. bis 19. April, besorgt u. komm. v. D. Christians, T. Chronz, H. Rothe, V. S. Tomelleri, Paderborn etc. 2011 (= NRW AWK Abh. 127, PS 21).
- GMD = *Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember*, [ab T. 2:] *Historisch-kritische Edition:*
- I: Rothe, H./Vereščagin, E. M. (Hg.): *nach den slavischen Handschriften der Rus' des 12. und 13. Jahrhunderts*, Teil 1: 1. bis 8. Dezember, besorgt u. komm. v. D. Christians, A. G. Kraveckij, L. P. Medvedeva, H. Rothe, N. Trunte u. E. M. Vereščagin, Opladen 1996 (= NRW AkW Abh. 98, PS 2);
- II: Teil 2: 9. bis 19. Dezember, besorgt u. komm. v. D. Christians u. N. Trunte, Opladen 1997 (= NRW AkW Abh. 99, PS 3);
- III: Rothe, H. (Hg.): *auf der Grundlage der Handschrift Sin. 162 des Staatlichen Historischen Museums Moskau (GIM)*, Teil 3: 20. bis 24. Dezember einschließlich der Sonntage vor Christi Geburt, besorgt u. komm. v. D. Christians, D. Stern u. A. Wöhler, Opladen – Wiesbaden 1999 (= NRW AkW Abh. 105, PS 6);
- IV: Rothe, H./Vereščagin, E. M. (Hg.): Teil 4: 25. bis 31. Dezember einschließlich des Sonntags nach Christi Geburt, besorgt v. E. M. Vereščagin, A. G. Kraveckij u. O. A. Krašeninnikova, mit einem Nachtrag griechischer Vorlagen für Hymnen aus den Bänden I–III, zusammengestellt v. D. Christians, Paderborn etc. 2006 (= NRW AkW Abh. 114, PS 14).
- GMF = *Gottesdienstmenäum für den Monat Februar auf der Grundlage der Handschrift Sin. 164 des Staatlichen Historischen Museums Moskau (GIM). Historisch-kritische Edition:*
- I: Rothe, H. (Hg.): Teil 1: 1. bis 9. Februar, besorgt und komm. v. D. Christians, V. S. Tomelleri, D. Stern u. A. Wöhler, Paderborn etc. 2003 (= NRW AkW Abh. 109, PS 10);
- II: Rothe, H. (Hg.): Teil 2: 10. bis 19. Februar, besorgt u. komm. v. D. Christians, T. Chronz, A. Ludden u. V. S. Tomelleri, Paderborn etc. 2006 (= NRW AWK Abh. 113, PS 13);
- III: Rothe, H./Christians, D. (Hg.): Teil 3: 20. bis 29. Februar, besorgt u. komm. v. D. Christians, T. Chronz, E. Smyka u. V. S. Tomelleri, Paderborn etc. 2009 (= NRW AkW Abh. 120, PS 17).
- HANNICK 2006 = Hannick, Ch.: *Das altslavische Hirmologion. Edition und Kommentar*. Freiburg i. Br. (= MLS 50).
- Izbornik 1076 = Молдован, А. М. (ред.): *Изборник 1076 года*, Т. 1–2, изд. подгот. М. С. Мушинская, Е. А. Мишина, В. С. Голышенко, Москва 2009 (= Памятники славяно-русской письменности. Новая серия).

- ЈАГ = Ягичъ, И. В.: *Служебныя минеи за сентабрь, октабрь и ноабрь. Въ церковнославянскомъ переводѣ по русскимъ рукописямъ 1095–1097 г., С.-Петербургъ, 1886* (Памятники древнерусского языка 1).
- ІК-К = *Ильина книга: Рукопись РГАДА, Тип. 131. Лингвистическое издание*, подгот. греч. текста, ком., сл.-ук. В. Б. Крысько, Москва 2005.
- ІК-В = *Древнейший славянский богослужебный сборник «Ильина Книга». Факсимильное воспроизведение рукописи. Билинейно-статическое издание источника с филолого-богословским комментарием*, подгот. Е. М. Верещагин, Москва 2006.
- MR = Μηναία τοῦ ὄλου ἐνιαυτοῦ, Т. 1–6, Ῥώμη 1888–1902.
- Рčela = »Пчела«: *Древнерусский перевод*, Т. 1, изд. подг. А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева, Москва 2008 (= Памятники славяно-русской письменности. Новая серия).
- PM = *Новгородская служебная минея на май, XI в. (Путьятина Минея), Тексты, исследования, указатели*, изд. подгот. В. А. Баранов, В. М. Марков, Ижевск 2003.

Lexika, Handschriftenkataloge und Nachschlagewerke

- ВЕНЕŠИЌ = Benešić, J.: *Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića*, Sv. 10: *posrveniti – prebrana*, Zagreb 1989.
- ВЕР = Дуриданов, И. (отг. ред.): *Български етимологичен речник*, Т. 5: *надѣж – пѹска*, София 1996.
- BTL/TLL = *Bibliotheca Teubneriana* und *Thesaurus Linguae Latinae* als Kombi-Produkt auf einer Plattform. Online-Datenbank: http://refworks.reference-global.com/Xaver/start.xav?col=Coll_BTL-TLL [23.09.2011].
- CHRISTIANS = Christians, D.: *Wörterbuch zum Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember: slavisch – griechisch – deutsch, nach ostslavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts mit einem Glossar griechisch – slavisch*, Wiesbaden (= NRW AkW Abh. 107, PS 8).
- DAL' = Даль, В.: *Толковый словарь живаго великорускаго языка*, 2-е изд., испр. и значит. умнож. по ркп. автора, Т. 3: *Л*, С.-Петербургъ – Москва 1882 [Reprint: Москва 1955].
- FOLLIERI = Follieri, E.: *Initia hymnorum Ecclesiae Graecae*, Vol. 2: *Η–Ξ*, Città del Vaticano 1961 (= Studi e testi 212).
- HEINZ-MOHR = Heinz-Mohr, G.: *Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen Kunst*, Köln 71983.
- HEYM = Heym, J.: *Vollständiges Russisch-Deutsches Wörterbuch nach dem grossen Wörterbuche der Russischen Akademie bearbeitet*, Zweyter oder Russisch-Deutscher Theil, Riga – Leipzig, 1800.
- HUNGER = Hunger, H.: *Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek*, Teil 1: *Codices Historici. Codices Philosophici et Philologici*, Wien 1961 (= Museion, Veröffentlichungen der ÖNB, N. F., Reihe: 4: Veröffentlichungen der Handschriftensammlungen 1).

- LINDE = Linde, S. B.: *Słownik języka polskiego*, T. 4: P, Lwów, 21858 [Neudr.: Poznań 1951].
- LS = Liddell, H. G./Scott, R.: *A Greek-English Lexicon*, rev. and augm. throughout by H. Stuart Jones with the assistance of R. McKenzie, with a Supplement 1968, Oxford 21992.
- MIKLOSICH = von Miklosich, F.: *Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum*, Aalen 1977 [2. Neudr. d. Ausgabe: Wien 1862–1865].
- PSJČ = [Česká akademie věd a umění]: *Průruční slovník jazyka českého*, D. 4, Č. 1: P – *Průsvitně*, Praha 1941–1943.
- RBE = Крумова-Цветкова, Л./Пернишка, Е. (гл. ред.): *Речник на българския език*, Т. 13: *поен – прелестно*, София 2008.
- RHSJ = Maretić, T. (obrad.): *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, D. 11: *posmrtnik – priklađanje*, Zagreb 1935.
- RIESE = Riese, B.: *Seemanns Lexikon der Ikonografie. Religiöse und profane Bildmotive*. Leipzig 2007.
- ŘSI = Bláhová, E. (hl. red.): *Řecko-staroslověnský index = Index verborum graeco-palaeoslovenicis*, T. 1, Fasc. 4: *Tabellae synopticae monumentorum Slavicorum, á – ἀθλαλάμειντος*, Praha 2010.
- SAR = *Словарь Академии Российской*, по азбучному порядку расположенный, Ч. 5: *отъ п до с*, С.-Петербургъ 21822 [= фотомех. репродукция: *Словарь Академии Российской*, Т. 5: *пораз – р*, общ. изд. под ред. М. Г. Остербю, Odense 1970].
- SDRJa = Крысько, В. Б. (гл. ред.): *Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.)*, Т. 7: *поклепанъ – пращоуръ*, Москва 2004.
- SEIBERT = Seibert, J.: *Herders Lexikon der christlichen Kunst. Themen, Gestalten, Symbole*, Erfstadt 2007.
- SELS/Ind = Sels, L.: *Gregory of Nyssa. De hominis opificio. О ОБРАЗѢ ЧЛОВѢКА. The Fourteenth-Century Slavonic Translation. A Critical Edition with Greek Parallel. Index Slavonic-Greek and Greek-Slavonic (version 1 – 09/2009)*, Köln etc. (= Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe B: Editionen 21), www.boehlau-verlag.com/978-3-412-20605-5.html [23.09.2011].
- SK = Жуковская, Л. П./Тихомиров, Н. Б./Шеламанова, Н. Б.: *Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI–XIII вв.*, Москва 1984.
- SJS = Kurz, J./Hauptová, Z. (hl. red.): *Lexicon linguae palaeoslovenicae/Slovník jazyka staroslověnského*, T. 1–4, Praha 1966–1997.
- SP = Maýenowa, M. R.: *Słownik polszczyzny XVI wieku*, T. 30: *prababa – przywołany*, Warszawa 2002.
- SREZN = Срезневский, И. И.: *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникамъ*, Т. 1–3, С.-Петербургъ 1893–1903.
- SRJa = Богатова, Г. А. (гл. ред.): *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, Т. 18: *Потка – Преначальный*, Москва 1992.
- SRNG = Сороколетов, Ф. П. (гл. ред.): *Словарь русских народных говоров*, Вып. 31: *Почестно – Присутъ*, Санкт Петербург 1997.
- SSTP = Urbańczyk, S. (red. nac.): *Słownik staropolski*, T. 7: *Póć – Rozproszyć*, Wrocław etc., 1973–1977.
- SSRLJa = Филин, Ф. П. (председ. редкол.): *Словарь современного русского литературного языка*, Т. 11: *Пра – пятью*, Москва – Ленинград 1961.

- STERN = *Incipitarium liturgischer Hymnen in ostslavischen Handschriften des 11. bis 13. Jahrhunderts*, besorgt v. D. Stern, hrsg. v. H. Rothe, T. 1–3, Paderborn etc. 2008 (= NRW AWK Abh. 118.1–3, PS 16.1–3).
- TLG = *Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library of Greek Literature*: <http://www.tlg.uci.edu> (mit *site licence*) [23.09.2011].
- UŠAKOV = Ушаков, Д. Н. (ред.): *Толковый словарь русского языка*, Т. 2: *Н–П*, Москва 2001.

Sekundärliteratur

- CHRISTIANS 2009a = Christians, D.: »Athleten, Ackerbauern und Hirten. Typisierung der Heiligenverehrung im Gottesdienstmenäum«, in: CHRISTIANS et al. 2009: 150–175.
- 2009b = Christians, D.: »Dubletten bei der Übersetzung griechischer Komposita im ostslavischen Gottesdienstmenäum«, in: *Slavia* 78.3/4, 313–326.
- 2010 = Christians, D.: »Топои in liturgischen Hymnen zu Ehren heiliger Mönche«, in: Йовчева, М./Добрев, И./Турилов, А./Трайчев, Е. (ред.): **ПЪНИК МАЛО ГЕОРГИЮ**. *Сборник в чест на 65-годишнината проф. дфн. Георги Попов*, София, 210–225.
- CHRISTIANS et al. 2009 = Christians, D./Stern, D./Tomelleri, V. S. (Hg.): *Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag*, München – Berlin (= SLCCEE 3).
- DASSMANN 2004 = Dassmann, E.: »Beobachtungen zur Ekklesiologie des Ambrosius von Mailand«, in: Arnold, J./Berndt, R./Stammberger, R. M. zusammen mit Feld, Ch. (Hg.): *Väter der Kirche. Ekklesiales Denken von den Anfängen bis in die Neuzeit. Festgabe für Hermann Josef Sieben SJ zum 70. Geburtstag*, Paderborn etc., 405–429.
- 2010 = Dassmann, E.: *Die eine Kirche in vielen Bildern. Zur Ekklesiologie der Kirchenväter*, Stuttgart (= Standorte in Antike und Christentum 1).
- GOLDAMMER 1941 = Goldammer, K.: »Navis ecclesiae. Eine unbekannte altchristliche Darstellung der Schiffsallegorie«, in: *ZNW* 40.1, 76–86.
- JUNDZILL 1996 = Jundzill, J.: »Zum Verständnis der Bedingungen und Vorteile der Bewirtschaftung der Meerumgebung bei den Kirchenvätern (IV–V. Jh. n. Chr.). Grundriss des Problems«, in: *Pomoerium. Studia et commentarii ad orbem classicum spectantia* 2, 83–89.
- LORENZ 1973 = Lorenz, B.: »Zur Seefahrt des Lebens in den Gedichten des Gregor von Nazianz«, in: *Vigiliae Christianae* 33, 234–241.
- NIKIFOROVA 2005 = Никифорова, А. Ю.: *Проблема происхождения служебной мины: структура, состав, месяцеслов греческих миней IX–XII вв. из монастыря святой Екатерины на Синае*, Москва [Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук].
- PETERSON 1959 = Peterson, E.: »Das Schiff als Symbol der Kirche in der Eschatologie«, in: Idem: *Frühkirche, Judentum und Gnosis, Studien und Untersuchungen*, Rom etc., 92–96.
- PIČHADZE 2008 = Пичхадзе, А. А.: »Древнерусский перевод ›Пчелы‹«, in: *Pčela* 7–41.

- 2009 = Пичхадзе, А. А.: »О языковых особенностях славянских служебных миней«, in: CHRISTIANS et al. 2009: 297–308.
- RAHNER 1964 = Rahner, H.: *Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter*, Salzburg.
- SCHLIMME 1986 = Schlimme, L.: »Hafen«, in: RAC 13: *Gütergemeinschaft bis Heilgötter*, Stuttgart, 297–305.
- ŠUL'GINA 2007 = Шульгина, Э. В.: »Кодикологическое и палеографическое описание новгородских служебных певческих миней«, in: Rothe, H./Christians, D. (Hg.): *Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Beiträge einer internationalen Tagung, Bonn, 7.–10. Juni 2005*, Paderborn etc. (= NRW AWK Abh. 117, PS 15), 104–115.
- ZETT 1981 = Zett, R.: »Sicut navigantibus portus« – Ein Abschlusstospos kirchenslawischer Handschriften«, in: Riggenbeck, H. (Hg.): *Colloquium Slavicum Basiliense. Gedenkschrift für Hildegard Schroeder*, Bern etc. (= Slavica Helvetica 16), 781–792.

Zwei Anmerkungen zu Afanasij Nikitins *Reise über drei Meere*

1. Afanasij Nikitin in Karamzins *Istorija gosudarstva Rossijskago* und deren deutscher Übersetzung

Afanasij Nikitins berühmte Beschreibung seiner Reise nach Indien (1468–1474/75), genauer: der sog. *Troickij spisok*, wurde bekanntlich von Nikolaj Karamzin (1766–1826) entdeckt, der über die Entdeckung dieses Manuskriptes in seiner monumentalen *Geschichte des russischen Reiches* erstmals berichtet. Das Werk erschien – in 12 Bänden – in Petersburg 1816–1829, wobei der letzte Band schon nicht mehr von Karamzin selbst vollendet werden konnte. In diesem Werk bildet der Abschnitt zu Afanasij Nikitin das Ende des sechsten Bandes, mit einer kürzeren Passage im Haupttext (KARAMZIN 1817: [344–346]) sowie einer längeren Fußnote (629, S. 458–461 der »Anmerkungen«). Dem Textauszug ist Karamzins Notiz über die Entdeckung der Abschrift durch ihn selbst vorangestellt, und der Fußnote ist eine Notiz über das Auffinden einer weiteren Variante in der *Voskresenskaja letopis'* durch Pavel STROEV nachgestellt. STROEV publizierte seine Variante, den sog. *Archivskij spisok*, im Jahre 1821 als erste vollständige Publikation einer der Abschriften des Textes überhaupt (STROEV 1821: 145–164). Die von Karamzin entdeckte Abschrift, also der *Troickij spisok*, wurde erst 1853 (zusammen mit anderen in der Zwischenzeit aufgefundenen Abschriften) im sechsten Band der *Polnoe sobranie russkich letopisej* publiziert (vgl. AFNIK 1853).

Wer sich mit der Geschichte der Übersetzungen von Afanasij Nikitins Beschreibung seiner Reise nach Indien beschäftigt, erforscht einen interessanten Teilbereich des Themas – auch die Übersetzungen können ja immer nur so aktuell und gut wie der jeweils erreichte Kenntnisstand in der Erforschung des Originals sein. Die erste fremdsprachige, auf jeden Fall die erste deutsche Version (von einer eigentlichen Übersetzung mag man in diesem Falle noch nicht sprechen) ist nach landläufiger Meinung die von JAZYKOW (1835). Dieser Autor erzählt große Teile der STROEV-Ausgabe (und damit der damals einzigen bislang edierten Textfassung) nach. Die erste englische Übersetzung folgte mit

WIELHORSKY (1857) erst 22 Jahre später; sie ist auch heute noch – all ihren Fehlern zum Trotz – auch im Web weit verbreitet. Nach weiteren 50 Jahren ist erste Sekundärliteratur auf Deutsch (STÜBE 1908 und 1909) zu verzeichnen. 1920 dann erschien die erste »echte« deutsche Übersetzung, die Publikation von K. H. MEYER (1920), bekannt zwar, aber zugleich eher berüchtigt als berühmt, und zwar wegen der zahlreichen, von Max VASMER in seiner Rezension von 1925 nachgewiesenen Fehler. Es tritt eine Pause ein, bis GUDZIJ in seiner *Geschichte der russischen Literatur, 11.–17. Jahrhundert* Auszüge abdruckt (1959: 322–328; im russ. Original bereits 1938 erschienen). Die erste vollständige Übersetzung nach K. H. MEYER stammt dann von WINTER-WIRZ (1960), der seiner Untersuchung speziell den *Troickij spisok* zugrundelegt. Eine russische Prachtausgabe aus dem gleichen Jahr (mit einem Faksimile des *Troickij spisok* als Beilage – und damit dem ersten Faksimile einer der Textvarianten überhaupt, vgl. *Choženie* 1960) erscheint in veränderter Form 1966 in Deutsch und enthält eine neue deutsche Übersetzung (*Choženie* 1966). Die russische Originalausgabe enthielt neben phantasievollen, schön anzuschauenden, historisch aber wenig fundierten Illustrationen nach Palech-Art Übersetzungen ins Russische, ins Englische und interessanterweise auch ins Hindi, weshalb diese Ausgabe von Indologen geschätzt wird. Philologischen Ansprüchen genügt die Ausgabe jedoch nicht (vgl. die Rezension von LUR’E 1960), sollte sie wohl auch nicht.

Mit diesen vier Etappen ist die Geschichte der deutschen Übersetzungen des *Choženie* im Grunde auch schon skizziert – bis auf ein nicht unwichtiges Detail, das wir an dieser Stelle nachtragen wollen.

In der Geschichte der Übersetzungen des *Choženie* sind neben den eigentlichen Übersetzungen im oben genannten Sinne ja auch die Übersetzungen von Karamzins überaus populärer *Geschichte des russischen Reiches* zu berücksichtigen. So, wie im Original erste Auszüge aus dem aufgefundenen Text wiedergegeben (und kommentiert) werden, so werden ja in den Übersetzungen eben diese Auszüge auch übersetzt. Werfen wir also einen Blick auf die Übersetzungen des russischen Originals. Einen informativen Satz dazu findet man in der sechsten Auflage von *Meyers Großem Konversations-Lexikon* aus dem Jahre 1905 (MGKL X: 613):

Die beste Übersetzung ist die französische von Saint-Thomas und Jauffret, von K. selbst durchgesehen (Par. 1819–20, 8 Bde.); eine deutsche Übertragung, nach der zweiten Originalausgabe, erschien Riga 1820–27, eine andre Leipzig 1828–31.

Da beide Auflagen vor JAZYKOW erschienen sind, gilt also in der Tat: Die Geschichte der Übersetzungen des *Choženie* (und dabei auch der deutschen) beginnt mit der Geschichte der Übersetzungen der *Istorija gosudarstva Rossijskago*.

Wie im Original findet sich in der Rigaer deutschen Übersetzung die Afanasij Nikitin betreffende Passage am Ende des sechsten Bandes, 1824 erschienen, ab S. 289. Auf den Seiten 289 f. befindet sich Karamzins Notiz, auf den Seiten 312–314 folgt Fußnote 223. Betrachten wir Original (russ. = KARAMZIN²1819: 366 f., 138–142 Fn. 629) und Übersetzung (dt. = *id.* 1824: 289 f., 312–314 Fn. 223) etwas näher.

Wenn Karamzin vermutet (366; dt. S. 289), mit dem »Indischen Jerusalem« (*Индѣйскій Герусалимъ*) habe Afanasij Nikitin wohl die berühmten Felstempel von Ellora (bei Aurangabad) gesehen, so liegt er damit nach heutiger Kenntnis falsch. Von der indischen Stadt Beder aus führte Afanasij die Pilgerreise nach Osten, in Richtung des Indischen Ozeans, nach Sri-Parvata, nicht nach Norden. Eine andere Station der Reise wird von Karamzin falsch gelesen (russ. 140; dt. S. 312: *Bokara*, d. h. *Buchara*) und damit falsch lokalisiert (richtig wäre die Ortsangabe *Čebokar*, ein Dorf am Südrand des Schwarzen Meeres, identifiziert und lokalisiert erst von KEMPGEN 2010), eine andere Phrase falsch segmentiert (russ. 140: *Kopeю*; dt. S. 312: *Korea*; richtig *ko Reju*, nach *Rej* [Rej ist die alte Hauptstadt Persiens, der Verläufer Teherans]).

Die deutsche Übersetzung ist weitgehend in Ordnung, enthält aber doch kleinere Ungenauigkeiten. Erstens nennt sie die Aufzeichnungen Nikitins sein »Tagebuch« (S. 289), was vielleicht doch eine andere Vorstellung vermittelt als das russische *записки* (S. 366), zweitens ist dies, wie man heute weiß, falsch, da Nikitin seinen Text auf der Krym nach seiner Rückkehr noch einmal insgesamt überarbeitete und teilweise neu komponierte. Es fehlt ferner an einer Stelle ein nicht unwichtiges Komma: Richtig müsste es – in einer längeren Aufzählung der einzelnen Stationen – heißen, und so ist die Interpunktion im russischen Original, Nikitin sei »zu den Indischen Bergen, nach Beder« gereist.¹ Ohne das Komma entsteht der falsche Eindruck, die Stadt Beder (Bidar) liege selbst in den Indischen Bergen und dies sei ein und dieselbe Station der Reise. Tatsächlich handelt es sich um zwei Stationen, die genannten Berge sind das berühmte indische Küstengebirge der sog. »Western Ghats«, während Bidar viel weiter im Landesinneren liegt. Einige Zeilen weiter fehlt in der deutschen Übersetzung die Wendung »auf seinen Spuren« mit der Fortsetzung »in das vermeintliche Handelsparadies« Indien zu reisen,² aber das ist nur eine Kleinigkeit.

Erstaunlicher sind die Abweichungen zwischen Karamzins russischem Original und der deutschen Übersetzung in der Anmerkung. Karamzin zitiert hier im Original die berühmte Eingangspassage sowie die ganze Reisebeschreibung bis nach Baku – im Faksimile des *Troickij spisok* immerhin 4 ½ von insgesamt

1 Cf. russ. S. 366: «къ горамъ Индѣйскимъ, до Бедера»; dt. S. 289: »zu den Indischen Bergen bis Beder«.

2 Cf. russ. S. 367: «вздумаегъ ѣхать по его слѣдамъ въ сей мнимый рай купечества»; dt. S. 289: »auf den Gedanken kommt, in dies vermeinte Handelsparadies zu reisen«.

48 Seiten des Textes (*Choženie* 1960: fol. 369r–371r). Die Übersetzung dieser 4 ½ Seiten fehlt in der deutschen Übersetzung der *Istorija gosudarstva Rossijskago* vollständig! Karamzin fährt fort, »dies möge als Beispiel für den Stil genügen« und stellt dem folgenden eine wichtige Bemerkung voran: »jetzt, *mit anderen Worten*, legen wir einen Auszug vor.«³ »Mit anderen Worten« ist hier nicht die heute übliche Floskel, sondern etwas anders gemeint: Der nachfolgende Text ist, anders die lange Eingangspassage, nicht wörtlich von Nikitin übernommen, sondern wird von Karamzin *mit eigenen Worten* paraphrasiert und übersetzt. Der Leser der deutschen Ausgabe hingegen muss das Zitat (denn als solches ist es im Text gekennzeichnet) für ein wörtliches halten. In der der nacherzählenden Übersetzung angefügten Bemerkung über eine zusätzliche Passage, die STROEV in der Voskresenskijischen Chronik gefunden habe, fehlt in der deutschen Übersetzung übrigens der Name STROEVs.

Man sieht an diesem kleinen, aber lehrreichen Beispiel, dass die deutsche Ausgabe der *Geschichte des Russischen Reiches* nicht unbesehen als vollständige und exakte Übersetzung des Wortlautes der russischen Originalausgabe herangezogen werden kann.

2. Die islamische »Genußhe« als Quelle einer unverstandenen Passage bei Afanasij Nikitin

In seinem *Choženie* geht Afanasij Nikitin mehrfach auch auf das Verhältnis der Geschlechter zueinander ein. An einer Stelle berichtet er, wieviel man Prostituierten geben möge (ohne oder mit Verschleudern seines Geldes), er mokiert sich über Hurerei, Diebstahl und Giftmord, erwähnt aber auch die »schönen und schwarzen« Sklavinnen, die es in Indien wohlfeil gebe. Obwohl er auch die Inder als »schwarz« bezeichnet, sind mit den schwarzen Sklavinnen in diesem Falle übrigens wohl eher Afrikanerinnen gemeint. Wie wir nämlich von dem maghrebischen Weltreisenden Ibn Battuta wissen (1304–1368 oder 1371), wurden Sklaven aus Afrika nach Indien gebracht, und Ibn Battuta selbst wurden mehrfach Sklavinnen als Gastgeschenk angeboten – mit einem entsprechenden Tross lebte und reiste er zeitweilig (vgl. auch SHERIFF 2010: 189). An dieser Stelle soll uns eine weitere Erwähnung beschäftigen, die sich in Nikitins Reisebeschreibung in einer längeren Passage gegen Ende seines Indienaufenthaltes findet. In dieser Passage beschreibt der Autor summarisch weitere Städte, vornehmlich Häfen und ihre Waren, die er nicht selbst besucht hat, von denen er aber offenbar durch Hörensagen weiß. In dieser Passage berichtet Nikitin auch von Heiraten zwischen ausländischen Kaufleuten (Chorosanern) und

3 Cf. russ. S. 140: «Сего довольно для примѣра въ слоѣ. Теперь, *другими словами*, предложимъ извлечение» [Hervorh. orig.].

einheimischen Frauen, dem vielen Geld, das Kaufleute von den lokalen Herrschern für solche Heiraten bekämen, der Vorliebe der einheimischen Frauen für weiße Ausländer, und weißen und schwarzen Kindern aus deren Beziehungen.

Die betreffende Passage zitieren wir nach dem schon erwähnten *Troickij spisok* (*Choženie* 1960: fol. 381v–382v; cf. S. 32–34) in geringfügig vereinfachter Orthographie, wobei durch Kursivdruck die einschlägigen Sätze hervorgehoben werden, zur Wahrung des Kontextes aber einige weitere Sätze zitiert werden.

А Шабантъское пристанище Индѣйскаго моря велми велико. А хоросанцемъ даютъ алафу по тенкъ на день, и великому и малому. А кто в немъ женится хоросанецъ, и князь шабатъской даетъ по тысячи тенекъ на жертвоу, да на олафу, да пѣтъ на всякый мѣсяць по десяти денекъ [...].

А въ Пегоу же есть пристанище немало, да все в нем дербыши живоуть индѣйскія [...]. А Чиньское же да Мачиньское же пристанище велми велико [...]. А жены же их с мужи своими спяць в день, а ночи жены их ходяць к гарипомѣ да спяць с гарипы. Даютъ имѣ олафу, да приносяць съ собою яству сахарноюу да вино сахарное, да кормяць да поятъ гостей, чтобы ее любилъ. А любяць гостей людей бѣлых, занже их люди черны велми. А оу которые жены от гостя зачнется дитя, и мужъ даетъ алафу; а родится бело, ино гостю пошлины 18 тенекъ, а черно родится, ино емоу нѣтъ ничево. Что пил да пѣлъ, то емоу халялъ.

Шаибать же от Бедеря 3 месяца [...].

In einer (nur teilweise geglätteten) deutschen Übersetzung des Verf. lautet die Passage so:

Auch der Schabater ist ein sehr großer Hafen des Indischen Meeres. *Man gibt den Chorossanern Spenden, eine Tenga pro Tag, an Groß und Klein. Und wenn dort ein Chorossaner heiratet, so gibt der Schabater Fürst [ihm] tausend Tenga als Spende und Geschenk, und zum Essen für jeden Monat 10 Tenga.* [...]

Auch in Pegu gibt es einen bedeutenden Hafen. In ihm leben lauter indische Derwische, [...]. Auch der Hafen zu Tschin und Matschin ist sehr groß [...]. *Ihre Frauen aber schlafen mit ihren Ehemännern am Tage, nachts aber gehen sie zu den Fremden und schlafen mit den Fremden. Sie geben ihnen Spenden und bringen gezuckerte Speisen und Wein mit Zucker mit und sie speisen und tränken die Kaufleute, damit er sie liebt. Sie lieben nämlich die Kaufleute, die weißen Männer, denn ihre Männer sind sehr schwarz. Und wenn eine Frau von einem Kaufmann ein Kind empfängt, so gibt der Ehemann eine Spende; wird es weiß geboren, dann hat der Kaufmann 18 Tenka Abgabe zu zahlen; und wird es schwarz geboren, dann muss er nichts zahlen. Was er gegessen und getrunken hat, das ist ihm (gesetzlich) zugestanden.*

Schaibat aber ist von Beder 3 Monate weit [...].

Die markierten Passagen sind bislang von der Forschung ignoriert oder mehr oder weniger als Phantasien abgetan worden, als Männer-Phantasien, könnte man sagen, als Phantasien von Kaufleuten zudem, deren Berufskrankheit es wohl sein muss zu glauben, dass in den von ihnen noch nicht bereisten Gebieten und Städten die Handelsmöglichkeiten und Lebensbedingungen immer noch besser seien.

Schabat (Variante: Schaibat), einer der früher rätselhaften Ortsnamen, war vom Verf. (vgl. KEMPGEN 2008) mit Madras (bzw. seinen Vorläufern) identifiziert worden. Die Rede ist unzweifelhaft von einem Hafen an der Ostküste Indiens, nachdem zuvor vom heutigen Ceylon die Rede war und anschließend Pegu (heutige Benennung: Bago) auf der hinterindischen Halbinsel im heutigen Birma (bzw. Myanmar) erwähnt wird, von wo man weiter nach Süd- und Nord-China (Čin und Mačin) kommen könne. Im ersten Absatz ist ganz eindeutig von einem Brauch in Schaibat die Rede. Auf welche Stadt und welche Personengruppe (»Ihre Frauen aber [...]«) aber bezieht sich die zweite markierte Passage? Auf Pegu? Auf China? Dass sich die Aussage auf China bezieht, ist faktisch nicht möglich, denn Chinesen sind bekanntlich nicht schwarz; Afanasij könnte sich aber natürlich diesbezüglich in einem Irrtum befunden haben. Die Aussage könnte sich auf Pegu beziehen, wo es einen bedeutenden indischen Bevölkerungsanteil (nicht nur die Derwische, die in der Sekundärliteratur gewöhnlich mit buddhistischen Mönchen gleichgesetzt werden) gab, aber wohl auch auf Schabat, mit dessen Erwähnung die Aufzählung einiger Strecken beginnt. Dass die Muslime in Pegu (und Birma) zunächst als Händler und Seeleute ins Land gekommen waren und zeitweise, u. a. auch im 15. Jh., den Fernhandel mit Indien dominierten, ist bezeugt. Die Erwähnung von Pegu und China wäre dann so etwas wie ein Einschub, bevor der Autor zum Thema Schabat zurückkehrt. Für die Deutung der Stelle ist es aber glücklicherweise nicht wichtig, auf welchen der beiden Orte Nikitin sich eigentlich bezieht: Das, was zur Erklärung der Passage(n) dient, gilt in gleicher Weise für beide Städte.

Nun zur Deutung der Stelle:⁴ Mir scheint, dass Afanasij Nikitin in Indien etwas von der sog. »Genussehe« (*Nikāḥ al-Mut'ah* oder kurz *mut'a*) der schiitischen Muslime gehört (und, wie so oft, teilweise missverstanden) hat. Diese Form der Zeitehe, von ihren Gegnern auch als Prostitution bezeichnet, gingen z. B. Kaufleute auf Reisen auswärts mit Frauen ein, für eine vertraglich

4 An dieser Stelle vermerke ich gerne, dass den Anstoß zu den nachfolgenden Überlegungen die Antrittsvorlesung meines islamwissenschaftlichen Kollegen Patrick FRANKE gab, die er am 16.12.2010 an der Universität Bamberg hielt. Patrick FRANKE stellte mir dankenswerterweise auch das Manuskript seines Vortrages zur Verfügung (FRANKE 2010); ihm verdanke ich weitere sachkundige Hinweise und Ergänzungen zu einer ersten Fassung meiner Ausführungen.

festgelegte längere (bis 99 Jahre) oder kürzere (min. 1 Stunde) Zeit. Der Mann bezahlte die Frau und wohnte bei ihr (und ihr bei). Für Kinder aus der Genussehe hatte der Mann zu bezahlen. Näheres vgl. auch bei MURATA (1979) oder auf der Webseite www.mutah.com. Diese Art der Genussehe ist schon von Ibn Battuta (der sie selbst pflegte) für den indischen Raum bezeugt (z. B. für die Malediven), sie war aber – laut FRANKE (2010) – rings um den indischen Ozean verbreitet.

Es liegt also nahe, dass das, was Nikitin im ersten Absatz über Schabat sagt (»Und wenn dort ein Chorossaner heiratet [...]«), sich auf diese Form der Genussehe (oder einem Gegenstück dazu unter Nicht-Muslimen) beziehen dürfte. Da der Kaufmann der Reisende war, ist natürlich klar, dass der Mann primär bei der Frau wohnen konnte, jedenfalls nicht umgekehrt – deshalb spricht man auch von »uxorilokalen« Ehen. Der dann benannte Brauch allerdings, dem Chorossaner zum Dank viel Geld zu geben, hat mit der islamischen Institution dieser Eheform an sich nichts zu tun. Ausgeschlossen ist der Sachverhalt deshalb nicht zwangsläufig; wir hätten es dann mit einer Art »Blutauffrischung« zu tun, die belohnt werden sollte. Belege dafür gibt es (das einschlägige Stichwort lautet »Inseminationsehe«), u. a. für kleinere, geschlossenerere Gesellschaften (Haiti, 18. Jh.), für Schaibat kann dies an dieser Stelle jedoch nicht überprüft werden. Aus der Genussehe konnte allerdings eine reguläre Ehe hervorgehen, und es ist bekannt, dass bestimmte lokale Regenten die Ansiedlung arabischer Kaufleute in ihren Städten aktiv förderten – dies könnte einen alternativen Erklärungsansatz bieten.

Dass die Frauen, die eine Genussehe eingingen, gleichzeitig noch lokal anderweitig verheiratet waren, wie Nikitin im zweiten Absatz berichtet, hätte gegen islamisches Recht verstoßen – hingegen konnte der Kaufmann sehr wohl noch anderweitig (auch auf Dauer) verheiratet sein: *Mut'a*-Ehen sollten ausdrücklich auf die Höchstzahl von vier Frauen nicht angerechnet werden. Diese eine Bemerkung (»bei Tage [...] bei Nacht«) ist in früheren Kommentaren zum Text das einzige Faktum, das angemerkt wird: PETRUŠEVSKIJ (²1958: 231 [Historischer Kommentar, Anm. 207]) beispielsweise kommentiert mit dem Hinweis, dies sei eine »überholte archaische Form der Prostitution der Gastfreundschaft«,⁵ allerdings ohne Beleg, dass sie für diese Gegend und in dieser Zeit überhaupt vorkommt. Ein solcher Hinweis findet sich jedoch u. a. in den Berichten von Reisenden, die aus der entgegengesetzten Himmelsrichtung, nämlich China, in die Gegend des Indischen Ozeans gekommen waren. WATSON ANDAYA (1998: 13) beispielsweise zitiert den chinesischen Reisenden Ma Huan (15. Jh.) mit der folgenden Aussage über die Frauen von Siam:

5 Cf. im Original: «пережиточная архаичная форма проституции гостеприимства».

If a married woman is very intimate with one of our men from the Central country, wine and food are provided and they drink and sit and sleep together. The husband is quite calm and takes no exception to it; indeed, he says, 'My wife is beautiful and the man from the Central Country is delighted with her'.

Die Verpflichtung oder der Brauch, dass diese »gemieteten« Frauen für Speis und Trank zuständig wären, ist nicht Grundlage der islamischen Eheform an sich, aber, wie man sieht, für die Gegend bezeugt. Auch über Pegu gibt es entsprechende Berichte, z. B. von William Dampier (1652–1715), zitiert ebenfalls von WATSON ANDAYA (1998: 13):

The offering of women is a Custom used by several nations in East-Indies, as at Pegu, Siam, Cochinchina, and Cambodia. I did afterwards make voyage, and most of our men had women aboard all the time of our abode there... It is accounted a piece of Policy to do it.

Dass die Frauen ihre Männer verwöhnten, berichtet auch Ibn Battuta von den Malediven, Nikitins Bericht scheint also am Indischen Ozean eine gewisse Basis gehabt zu haben und nicht völlig abwegig zu sein (HUSAIN ²1976: 202 f.):

It is easy to marry in these islands because of the smallness of the dowries and the pleasures of society which the women offer. Most people do not even fix any dowry; only the witnesses are recorded and a suitable dowry consistent with the status of the woman in question is given. When the ships put in, the crew marry; when they intend to leave they divorce their wives. This is a kind of temporary marriage (*mut'a*).

The women of these islands never leave their country, and I have seen nowhere in the world women whose society was more pleasant. A woman in these islands would never entrust to anybody else the serving of her husband; she herself brings him food and takes away the plates, washes his hands and brings him water for ablution and massages his feet when he goes to bed.

Die Frauen, die diese Form von Ehe eingingen, scheinen eher niederen Kasten angehört zu haben (WINK 1997: 268):

From Ibn Battuta and later sources we learn that in the ports and towns of the Indian littoral Muslim merchants and preachers were kept at a distance by the high-caste, landowning Hindu population which did not eat with them and refused them access to their houses, but that they married or temporarily married (through the institution of *mut'a*) women of low-caste fishermen and seafarers who did accept to prepare food for them.

Dass die Musliminnen weiße Männer bevorzugten, bezeugt ebenfalls Ibn Battuta, explizit allerdings für die Stadt Zabid im Jemen.

Auch die Verpflichtung den Kindern aus *mut'a*-Ehen gegenüber ist Grundlage dieser Eheform. Erst wenn man dies weiß, kann man eine sprachlich doppeldeutige Passage aus Nikitins Bericht versuchen richtig zu verstehen, nämlich die Frage, ob eigentlich der Kaufmann die benannten 18 Tenka (als Unterhalt) zahlen muss oder ob ihm dieses Geld (als Belohnung) gezahlt wird. In Übereinstimmung mit der *mut'a*-Ehe wäre es, dass der (weiße) Kaufmann Unterhalt für augenscheinlich eigenen Nachwuchs zahlt, für fremden hingegen nicht.

Wir sehen also: Die Kernelemente der Genussehe (ausländischer Kaufmann heiratet Muslimin während seines Aufenthaltes zur Erfüllung sexueller Genüsse; Verpflichtung gegenüber Kindern) sind in Nikitins Bericht durchaus enthalten. Andere Details gehören nicht zu dieser islamischen Eheform konstitutiv dazu und können damit auf dieser Grundlage nicht verifiziert (aber auch nicht falsifiziert) werden (z. B. Belohnung durch den Fürsten für heiratende Kaufleute oder die Promiskuität der Frauen). Ein ganz wichtiges Detail wird übrigens von Nikitin gar nicht erwähnt: Natürlich musste der Kaufmann für die Genussehe eine Brautgabe zahlen, die vorab vereinbart wurde.

Fazit: Die im vorliegenden genauer beleuchtete Passage aus Afanasij Nikitin hat als Ergebnis einen korrekten historischen Kern seines Berichtes erbracht, ebenso aber ein weiteres Mal gezeigt, dass Nikitin manches eben doch nur unzureichend (jedenfalls nicht vollständig) verstanden hat und »phantastischen« Erzählungen gerne Glauben zu schenken scheint.

Literatur

- АФАНИК 1853 = Афанасий НИКИТИН: *Хождение за три моря*, in: ПСРЛ, Т. 6: *Софийскія лѣтописи*, С.-Петербургъ, Прибавленія: Г, 330–358, enthält: *аб. Троицк. IV, Арх. XVI. (Воскр.)*, 330–345; *сд. Унд.*, 345–354 sowie [Kazembek, A. K.]: »Примѣчания къ статьѣ под лит. Г«, 354–358.
- Chożenie 1960 = *Хождение за три моря Афанасия Никитина 1466–1472 гг.*, сост. И. Г. Веритэ, Москва [enthält: *Факсимиле рукописи из Троицкой летописи*].
- Chożenie 1966 = *Die Fahrt des Afanassij Nikitin über drei Meere (1466–1472)*, von ihm selbst niedergeschrieben, m. Vorwort v. N. Gurjew, in der Übers. v. I. Mirus unter wiss. Beratung v. N. Gurjew, m. Erläuterung u. einem Nachw. v. V. P. Adrianova-Perec, München.
- FRANKE 2010 = Franke, P.: *Gatten zu Besuch. Uxorilokale Eheformen in der Geschichte des Islams*. Antrittsvorlesung Universität Bamberg, 16.12.2010 [Manuskript].
- GUDZIJ 1959 = Gudzij, N. K.: *Geschichte der russischen Literatur, 11.–17. Jahrhundert*, aus dem Russ. übers., mit Anm. und Register vers. v. F. von Lilienfeld, Halle/Saale (= Slavistische Bibliothek 10).

- HUSAIN ²1976 = Husain, M.: *The Rebla of Ibn Battuta (India, Maldive Islands and Ceylon). Translation and Commentary*, Baroda (= Gaekwad's Oriental Series 122) [Reprint; '1953].
- ЖАЗЫКОВ 1835 = Jasykow, D.: »Reise nach Indien, unternommen von einem Russischen Kaufmann im 15. Jahrhundert«, in: *Dorp. Jahrb.* 48.4, 481–502.
- КАРАМЗИН 1817 = [Карамзинъ, Н. М.]: *Исторія Государства Россійскаго*, Т. 6, С.-Петербургъ.
- ²1819 = [Карамзинъ, Н. М.]: *Исторія Государства Россійскаго*, Т. 6, С.-Петербургъ.
- 1824 = Karamsin, [N. M.]: *Geschichte des Russischen Reiches, nach der zweiten Original-Ausgabe übersetzt*, Bd. 6, Riga.
- КЕМПГЕН 2008 = Kempgen, S.: »Zu einigen indischen Städten bei Afanasij Nikitin: Die Hinreise (Chaul – Pali – Umri – Junnar – Šabat – Dabhol)«, in: Brehmer, B./Fischer, K. B./Krumbholz, G. (Hg.): *Aspekte, Kategorien und Kontakte slavischer Sprachen. Festschrift für Volkmar Lehmann zum 65. Geburtstag*, Hamburg (= Studien zur Slavistik 16), 249–263.
- 2010 = Kempgen, S.: »Šebokar und die persische Reiseroute Afanasij Nikitins«, in: *WSLAI* 65, 23–51.
- ЛУР'Е 1960 = Лурье, Я. С.: »Издание без текстолога«, in: *РЛ* 3, 220–223.
- МЕЙЕР 1920 = *Die Fahrt des Athanasius Nikitin über die drei Meere. Reise eines russischen Kaufmanns nach Ostindien 1466–1472*, aus d. Altruss. übers., mit Einl., Anm. u. e. Kartenskizze vers. v. K. H. Meyer, Leipzig (= Quellen und Aufsätze zur russischen Geschichte 2).
- MGKL = *Meyers Großes Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens*, sechste, gänzlich neu bearbeitete und vermehrte Auflage, Leipzig – Wien 1905; Online-Ausgaben: <http://www.zeno.org/Meyers-1905>, sechste Auflage auch bei <http://www.peter-hug.ch/> [10.04.2011].
- MURATA 1979 = Murata, S.: »Temporary Marriage in Islamic Law«, in: *Al-Serat* 13.1, <http://www.al-islam.org/al-serat/muta/> [10.04.2011].
- ПЕТРУШЕВСКИЈ ²1958 = Петрушевский, И. П.: »Комментарий географический и исторический«, in: Адрианова-Перетц, В. П. (отв. ред.): *Хождение за три моря Афанасия Никитина 1466–1472 гг.*, Москва – Ленинград (= Литературные памятники).
- SHERIFF 2010 = Sheriff, A.: *Dhow Cultures of the Indian Ocean: Cosmopolitanism, Commerce, and Islam*, New York.
- СТРОЕВ 1821 = Строевъ, П. М. (изд.): *Софійскій времянникъ, или Руская лѣтопись съ 862 по 1534 годъ*, Ч. 2: *С 1425 по 1534 годъ*, Москва.
- STÜBE 1908 = Stübe, R.: »Die Reise des Afanassij Nikitin nach Indien in den Jahren 1466–72«, in: *GZ*, Jg. 14 (Oktober 22), 569–572.
- 1909 = Stübe, R.: »Ein altrussischer Reisebericht aus Indien vor Ankunft Vasco da Gamas«, in: *Deutsche Revue über das gesamte nationale Leben der Gegenwart*, Jg. 24, Bd. 4, 120–124.
- VASMER 1925 = Vasmer, M.: Rez. zu: MEYER 1920, in: *ZfSlPh* 2, 577–579.
- WATSON ANDAYA 1998 = Watson Andaya, B.: »From Temporary Wife to Prostitute: Sexuality and Economic Change in early Modern Southeast Asia«, in: *Journal of Women's History* 9.4, 11–34.

- WIELHORSKY 1857 = Wielhorsky, C.: »The Travels of Athanasius Nikitin, of Twer. Voyage to India. Translated from the Russian, with Notes, by Count Wielhorsky«, in: Major, R. H. (ed.): *India in the Fifteenth Century: Being a Collection of Narratives of Voyages to India, in the Century Preceding the Portuguese Discovery of the Cape of Good Hope*, from Latin, Persian, Russian, and Italian sources, now first translated into English, London (= Works issued by The Hakluyt Society 1), 3–32.
- WINK 1997 = Wink, A.: *Al-Hind: The Making of the Indo-Islamic World*, Vol. II: *The Slave Kings and the Islamic Conquest: 11th–13th centuries*, Leiden etc.
- WINTER-WIRZ 1960 = Winter-Wirz, P.: *Die Reise des russischen Kaufmannes Afanasiĭ Nikitin über drei Meere und sein Aufenthalt in Indien 1466–1472*, Heidelberg [Dissertation Basel].

Fred Otten

»Geh zum Henker, (du) Satan!«

Keineswegs sollte mit diesem Zitat der Jubilar angesprochen werden – es markiert jedoch in beredter Weise den Unterschied zwischen dessen wichtigen Beiträgen zur russisch-deutschen Kulturbeziehungs-forschung, darunter zu Russischkenntnissen in Deutschland im 18. Jh. (vgl. KEIPERT 2004 [2005]; 2006a,b), und dem Niveau der Konglomerate, die der Verständigung zwischen Russen und Deutschen zu Beginn des 19. Jh. dienen sollten. Diesem bislang vernachlässigten Teilbereich deutsch-russischer Sprachkontakte soll nachgegangen werden, auch in Bezug auf Gemeinsamkeiten und spezielle Züge einzelner Vokabularien, wobei natürlich auch sprachliche Aspekte angesprochen werden.

Illustrativ ist ein russisch-deutsches Vokabularium vom Beginn der Befreiungskriege:

Kleine Sammlung der nothwendigsten Russifischen Wörter und Redensarten, nach ihrer Aussprache und deutsch erklärt. Herausgegeben von einem der vier Jahr in Rußland war. Berlin 1813, bei Dieterici, Spandauerstr. 52. (2 Gr[oschen] kl[ingend] C[ourant]) (handliches Oktav-Format; 16 Seiten = 1 Bogen),¹

das der Berliner Bevölkerung als Hilfsmittel zur Verständigung mit den neuen russischen Alliierten dienen sollte, die im März 1813 in Berlin einmarschierten.² Folglich wurden für den deutschen Benutzer auch die russischen Voka-

1 Im Weiteren wird der heutigen Orthographie gefolgt, also *s* statt *f*, *ä* statt *ä* u. a.

2 Da diese Broschüre bereits ab dem 11. Februar 1813 beworben wurde (*Berlinische Nachrichten Von Staats- und gelehrten Sachen*, Nr. 18, s. p. (vgl. <http://books.google.de> [4.6.2011]), muss sie zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt vorgelegen haben. – S. a. BEITZKE 1854: 232: »Ein großer Uebelstand war die Unkenntniß der Sprache. Es waren zwar schon in Berlin seit dem 21. Januar in der Erwartung, daß die Russen nicht lange ausbleiben würden, deutsch-russische und russisch-deutsche Wörterbücher, russische Sprachlehren, russische Dolmetscher für die nothwendigsten russischen Wörter, Zahlen, Gespräche und Redensarten in Menge angezeigt und erschienen; aber wer konnte dies Alles so schnell lernen?«

beln in *Latinica* wiedergegeben. Die Druckschrift weist 379 Einträge auf,³ und zwar für die Wortschatzbereiche:

- I. *Bedürfnisse zum Essen und Trinken* (S. [2]–4),
- II. *Wäsche und Bekleidung* (S. 4),
- III. *Haus= und Hausgeräte und Personen* (S. 4–6),
- IV. *Kriegswesen* (S. 6),
- V. *Bedürfnisse bei Pferden* (S. 6–7),
- VI. *Schreiberei und Zählen* (S. 7–9),
- VII. *Geld* (S. 9–10),
- VIII. *Musikalische Instrumente* (S. 10) und
- IX. *Kurze Redensarten* (S. 10–16).

Fraglich bleibt indes, wie praktikabel dieses Glossar mit seiner russisch-deutschen Sortierung gerade für den deutschen Benutzer war, der kaum bzw. gar kein Russisch konnte (die immens wichtigen Betonungsangaben fehlen!) – wie auch umgekehrt ein Russe, so er überhaupt lesen und schreiben konnte (und dann womöglich eher französisch parlierte), mit Russisch in *Latinica* vermutlich nichts anfangen konnte. Zudem kann zwischensprachliche Kommunikation gewöhnlich kaum nur mit Nominativ- und Infinitivformen oder starren Redewendungen erfolgen, wobei darüber hinaus die zahlreichen Ungenauigkeiten und Fehler einer wirklichen Verständigung im Wege gestanden haben dürften.

Die Aufbewahrung der anonym erschienenen Broschüre im Archiv des Gymnasiums zum Grauen Kloster (sogar in 2 Exemplaren) sowie die Angabe auf dem Deckblatt, dass der Herausgeber 4 Jahre in Russland weilte, haben dazu beigetragen, dieses Glossar schon früh dem seinerzeitigen Direktor des Gymnasiums, Dr. Johann Joachim Bellermann (1754–1842), zuzuschreiben,⁴ der in der Tat 3 Jahre Hauslehrer bei Baron Clodt von Jürgensburg in Estland (1778–1781) war und anschließend in St. Petersburg weilte (Winter/Frühjahr 1781/82).⁵

Zur Wiedergabe von Kyrillica mittels *Latinica* ist festzuhalten, dass es seinerzeit noch keine verbindliche oder allgemein gebräuchliche Umschrift gab,

3 Sentenzen wurden jeweils als 1 Beispiel gerechnet.

4 Seit DINSE 1877: 547 war in der Tradition des Grauen Klosters die Zuordnung der Broschüre zu J. J. Bellermann unstrittig (s. a. HEXELSCHNEIDER 2000: 104 und ROHRLACH 2005: 20). – Bei einer Archiv-Besichtigung für Alumni präsentierte Frau S. Knackmuß, M. A., diese Rarität im Juli 2010 (der auch für weitere Unterstützung besonderer Dank gebührt!).

5 KAYSER 1835: 37 und ENGELMANN 1842: 262 verzeichnen *anno* 1813 sogar eine 2. Berliner Auflage (bei einem anderen Verleger). Demgegenüber wird Dieterici als Verlagsbuchhändler auch für die 2. Auflage in einem Inserat benannt: *Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen*, Nr. 27 (4.3.1813).

so dass – bekannt seit den zweisprachigen Vokabularien des 16./17. Jh. mit Russisch – die Wiedergabe häufig den muttersprachlichen Orthographieregeln des jeweiligen Autors folgte.⁶ So setzt auch die »Kleine Sammlung« in beiden Sprachen vorhandene Grapheme einfach um, also *a* = *a*, *o* = *o* etc. Russ. *ě* wird mit *e/(j) o/io* wiedergegeben

- S. 4: *Bjälje*=Weißzeug, Wäsche (*бѣльѣ*);
 S. 5: *Scholk*=Seide (*шѣлкѣ*);
 S. 11: *doschd idiot*=es regnet (*дождь идѣтъ*);

з = s

- S. 7: *Usda*=Zaum, Zügel (*узѣ*);

ѣ = f/w

- S. 4: *Kaftan*=Kleid (*кафтѣнѣ*);
 S. 5: *Salwetka*=Serviette (*салѣтѣка*);

x = g/ch

- S. 5: *Gasain*=Wirth (*хозѣинѣ*);
 S. [2]: *Chren*=Meerrettig (*хрѣнѣ*);

ы = i/ü

- S. 5: *Noschnizi*=Scheere (*ножницѣ*);
Butülka=Flasche, Bouteille (*бутѣлка*);

ь = e, ä, iä

- S. 5: *Diäwka*=Mädchen (*дѣвка*);
Swätscha=Licht (*свѣчѣ*);

ю = u/iu/ju

- S. 5: *Bluda*=Schüssel (*блюдо*);
 S. 7: *Koniuschta*=Stall (*конѣшня*);
 S. 12: *schelaju*=ich wünsche (*желаю*);

я = a/jä/ja/ä/ia

- S. 5: *Gasain*=Wirth (*хозѣинѣ*);
 S. 3: *Mjäso*=Fleisch (*мясо*);
 S. 4: *Schljara*=Hut (*шляпа*);
 S. 15: *präma*=gerade aus (*прямо*).

Transkribiert wird:

ц = tz, z | ч = tsch⁷

- S. [2]: *Gartschitza*=Senf (*горчѣца*);
 S. 7: *Tscherniliza*=Tintefäß (*чернѣлица*);

6 Vgl. dt. *ei /ai/* beim Lemma *Tschei=Thee* (S. 3 für *чай*). – Frau Prof. Dr. E. Günther, Berlin, deren Untersuchungen wegweisend waren, habe ich für verschiedene Hinweise sehr zu danken.

7 Für russ. *что* »was« steht *Schto* (der Aussprache folgend) neben *sto* (S. 10 und 11).

sch steht für *ш*, aber auch *ж*

S. 4: *Rubaschka*=Hemd (*рубашка*);

S. 3: *Scharkoe*=Braten (*жаркое*);

S. 4: *Loschka*=Löffel (*ложка*);

щ = *schtsch/sch*

S. 4: *Plaschtsch*=Mantel (*плащ*);

S. 10: *esche*=noch (*ещё*).

Probleme bereiten die Wiedergabe der Palatalisierung und der Stimmtonkorrelation. Da die Titelei die russischen Wörter »nach ihrer Aussprache« verspricht, lassen sich z. B. *Raduschka*=Kissen (S. 5, *подушка*), *Adin*=Eins (S. 8, *одинъ*) als *Akan'e*-Wiedergaben werten, die jedoch keinesfalls konsequent erfolgen (S. 4: *Topor*=Beil für *моноръ* ist evtl. auch dem nordgroßruss. Dialektzug *Okan'e* geschuldet [unbetontes *o* wird als /o/ realisiert]). Insofern lässt sich hinsichtlich der Annahme, der Philologe Dr. Bellermann sei Verfasser dieser Broschüre, eine gewisse Skepsis nicht verhehlen, zumal er sie in seiner Bibliographie nicht anführt.⁸

Interessanterweise erbrachten weitere Recherchen, dass die Berlin-Version beileibe kein Unikat darstellt, denn mit fast identischem Titel erschien in der Hansestadt Altona ebenfalls eine russisch-deutsche Verständigungshilfe, die der Besetzung durch russisches Militär – ebenfalls im März 1813 – geschuldet ist:⁹ »Kleine Sammlung der nothwendigsten Russischen Wörter nach ihrer Aussprache und deutsch erklärt. Altona 1813. Bei Gebrüder Bonn.«¹⁰ Erkennbar fehlen die Berliner Titelangaben «und Redensarten» (obwohl sie angeführt werden) sowie «Herausgegeben von einem der vier Jahr in Rußland war». Dieses Heft (15 Seiten; Oktav-Format) stellt mit 306 Einträgen eine knappere Version als der Berliner Druck dar, aber sie ist mehrfach dermaßen deckungsgleich, dass zumindest eine gemeinsame Vorlage denkbar ist. So sind die Überschriften der Wortschatzbereiche in der Altona-Version völ-

8 BELLERMANN 1826 ab S. 45 f. listet seine Veröffentlichungen auf.

9 Vgl. die Memoiren der Hamburger Kaufmannstochter Marianne Prell (1805–1877) zum 18. März 1813: »Die Hamburger taten aber auch alles mögliche, um ihnen [den Kosaken, F. O.] das Leben angenehm zu machen, und trugen ihnen fortwährend Brot, Kuchen, Wurst, Käse, vor allen aber Wein und Branntwein zu. Da natürlich niemand russisch verstand, so erschien auch bald ein kleines gedrucktes deutsch-russisches Wörterbuch, welches sehr bezeichnend gleich mit den Wörtern anfang: Wein, Branntwein, Bier, Wasser etc.«, vgl. www.lexikus.de/Erinnerungen-aus-der-Franzosenzeit-in-Hamburg-1806-1814/Der-18-Maerz-1813 [12.7.2010].

10 Mein Dank gilt Herrn M. Steinmetz, Bibliotheken der Stadt Mainz. – Ein weiterer Druck – *Sammlung der nothwendigsten Wörter und Gespräche in russischer und deutscher Sprache*. Breslau 1813 (Oktav) – gehört zu den Kriegsverlusten der Staatsbibliothek zu Berlin – *Preußischer Kulturbesitz*; ebenso: *Der russische Dolmetscher oder Sammlung der nöthigsten russischen Wörter in deutscher Aussprache*. [s. l.], 1813 (Oktav).

lig kongruent mit denen des Berliner Druckes (nur dessen römische Ziffern fehlen). Zudem ist der Anfang beider Vokabularien kongruent und weist auch identische Fehler auf:¹¹ *Chläba* [Altona: *Gläba*] = *Brod* für *хлѣбъ*, *Wino* | *Ren-ski-Wein* statt *pé[ü]нское*, *Gorok* = *Erbsen* statt *зорохъ*.¹² Schon ein flüchtiger Blick auf die erste Vokabelseite beider Drucke verdeutlicht, dass fast derselbe Grundwortschatz zum Essen und Trinken vertreten ist – nur wurde partiell die Reihenfolge verändert (*Utka* = *die Ente* führt die Berlin-Version erst auf S. 3 an) und in der kürzeren Altonaer Fassung fehlen 9 Vokabeln des Berlin-Druckes – ohne dass dies rationalen Gründen geschuldet wäre.¹³

Gegenüber der Berlin-Version mit *Rübi* = *Fische*, *Mjäso* = *Fleisch*, *Gusch* = *die Gans* (S. 3 für Pl. *рыбы* bzw. *мясо, гусь*) weist der Altona-Druck mit *Ribi*, *Miaso*, *Gush* (S. 3 f.) abweichende Umschriften auf. Befremdend ist zudem die Angabe (wohl des partitiven Genitivs) als Stichwort: *Täletini* = *Kalbfleisch*, *Solonini* = *Salz- und Pökelfleisch*, *Gawädini* = *Rindfleisch* und *Swinini* = *Schweinefleisch* im Berliner Druck (S. 3 = *телятина, солонина, говядина, свинина*), die ebenso die Altona-Version anführt, allerdings mit der »Ausnahme«: *Gawädina* = *Rindfleisch* (*говядина*). Ein weiterer Vergleich der Versionen Berlin/Altona zeigt auf: bei *Wäsche und Bekleidung* (S. 4/4 f.) stehen 17 Einträge vs. 16.¹⁴ Übereinstimmungen weisen auf: 37 Stichwörter unter *Haus- und Hausgeräthe* (S. 4 f./5 f.), 21 Lemmata sub *Bedürfnisse bei Pferden* (S. 6 f./7 f.) sowie 6 *Musikalische Instrumente* (S. 10/7).¹⁵ Hingegen fehlen bei *Kriegswesen* (S. 6/7) in der Altona-Version 10 Lemmata.¹⁶ In der Abteilung *Schreiberei und Zählen* (S. 7 f./8 f.) fällt die kongruente Reihenfolge der 49 Wörter auf (allerdings gehören auch die Zahlen 1–400 dazu).¹⁷

11 In der Abfolge Berlin: Altona.

12 Die weiteren Lemmata der Berlin-Fassung geben russ. *масло, сыръ, соль, уксусъ, перецъ, инбирь, горчица, хренъ, лукъ, луковица, чеснокъ* [mit *и* statt *н*], *супъ, чечевича, прѣсо, ячменная крупá* wieder.

13 *Inbir*, *Chren*, *Lukowiza*, *Tschetschewiza*, *Proso*, *Jotschmennaja* [!] *krupa*; zudem fehlen die Vokabeln der Berlin-Version (S. 3): *Wettschina* = *Speck* (*ветчина*), *Stossiski* [!] = *Bratwürste* (*сосиски*), *Okorok* = *Schinken* (*окорокъ*).

14 Im Altona-Druck fehlt *Platje* = *Kleidung*; identischer Fehler: *Halstuk* = *Halstuch* für *гальстукъ*.

15 Wie wichtig sind in diesem Kontext: *Trompete*, *Pauken*, *Flöte*, *Geige*, *Saiten* und *Fidelbogen*?

16 Es sind dies *General* = *General*, *Major* = *Major*, *Muschkater* [!] = *Musketier*, *Muschket* = *Flinte*, *Puschka* = *Kanone*, *Poroch* = *Pulver*, *Pochod* = *Marsch*, *Sraschenie* = *Treffen*, *Poraschenie* = *Niederlage*, *Pobjeda* = *Sieg*. – Beide Versionen führen *Oruschi* = *das Gewehr* für *оружие* an.

17 Übereinstimmend: *Lineka* = *Lineal* [*линейка*]; abweichend: *Tschetüre* = *Vier* vs. *Tschetüre* (dto. bei »14« und »400«) und *Dewänosta* = *Neunzig* vs. *Dewänosto*. Die Altona-Version hat die Fehler *Karaduasch* = *Bleyfeder* und *Tei* = *Drei*; die Berlin-Fassung nennt

Auch wenn zu berücksichtigen ist, dass beide Vokabelhilfen einen Grundwortschatz abbilden und deshalb Kongruenzen nicht überraschen, sind in beiden Drucken die identischen Einträge *Jablok*=*der Apfel* statt *яблоко* und (Pl.) *Wischni*=*Pflaume* [!] statt *вишня*/Pl. *вишни* »Kirsche(n)« (S. 3/4) besonders auffallend – auf sie wird noch zu rekurrieren sein.

Die seinerzeit üblichen Plagiate (Preußen führte erst 1837 das Urheberrecht ein) brachten zumindest den Vorteil einer schnellen und recht preiswerten Wissensvermittlung (»Groschenware«). Hierzu gehört zur Zeit der Befreiungskriege – neben dem Behelf »Kleine Sammlung« – eine ungleich häufiger aufgelegte dt.-russ. sortierte Verständigungshilfe (in *Latinica*) mit dem Titel »Russischer Dol(l)metscher« (zumeist Oktav-Format, 16 Seiten), die – dem russischen Vormarsch mehrfach vorausgehend – in vielen Städten eilig aufgelegt wurde,¹⁸ womit der Handel quasi seismographisch auf die militärische Lage reagierte. Die Vielzahl der in dieser Zeit aufgelegten Broschüren (zumeist anonym,¹⁹ Druckauflage/Verkaufszahlen unbekannt) lässt eine »Markt-

zusätzlich *Tüsjätscha*=*Tausend*, *Dwa Tüsjätschi*=*Zweitausend*, *Sta tüsjätsch*=*Hunderttausend*, *Milion*=*Million*.

18 Vgl. HINRICHS 1813: 105 f., HEINSIUS 1817: 135 f. und ENGELMANN 1842: 260 f. (variable Titelemente sind z. B. *Wörterbuch*, *Handbuch*, *Hand- und Hilfsbuch*, *Sprachmeister*, *Nothbelfer*, *Noth- und Hülfstafel*, *Sprach-Orakel*) mit den Verlagsorten: Berlin, Braunschweig, Cassel/Marburg, Dresden, Essen/Duisburg, Frankfurt, Freiburg, Glogau, Göttingen, Gotha, Leipzig, Naumburg, Quedlinburg, Stralsund; Preis: zumeist 2–4 Gr[o-schen].) – Auch das *Herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldisches Regierungs- und Intelligenzblatt*, Coburg, in dem der *Russische Dolmetscher* ab 27.2.1813 beworben wurde, nennt »mehrere Ausgaben in verschiedenen Preißen« (13. Oktober 1813, Sp. 596 f.) [www.bayerische-landesbibliothek-online.de/coburger-regierungsblatt (27.12.2010)]. – S. a. *Freyburger Wochenblatt*, Nr. 90 (10. November 1813), S. 744: »Russischer Dollmetscher, worin die nothwendigsten russischen Wörter, Gespräche und Zahlen, wie solche nach der deutschen Mundart ausgesprochen werden müssen, enthalten sind. Neue verbesserte von einem gebornen Russen corrigirte Auflage« [<http://az.ub.uni-freiburg.de/show/fz.cgi?pKuerzel-FZ> (27.7.2010)]. – *Zürcherisches Wochen-Blatt*, Vol. 25, No. 104 (30. Christmonat 1813), S. 44 mit der Annonce: »Rußischer Dollmetscher worin die nothwendigsten rußischen Wörter, Gespräche etc. Wie solche nach der deutschen Mundart ausgesprochen werden, zur leichten Verständlichung in dringenden Fällen, neue genau corrigirte Aufl[age]« (dto. No. 1, 3. Jenner 1814) [books.google.de (9.1.2011)]. – KAYSER 1834: 63 führt allein 20 Drucke für Russisch an, deren Titel z. B. lauten: »Kleiner russischer Dolmetsch, worin die allernöthigsten Wörter nach alphabetischer Ordnung [...] enthalten sind«, »Russischer Dolmetsch, oder Anweisung sich den Russen auch ohne nähere Kenntniss ihrer Sprache verständlich zu machen«, »Russischer Dolmetscher für den Bürger und Landmann, worin die nothwendigsten russischen Wörter, Gespräche und Zahlen enthalten sind, wie solche nach der deutschen Mundart ausgesprochen werden müssen«.

19 Eine Ausnahme bildet KÄSTNER/KRALITZKY ²1813, von dem es eine »Zweyte verbesserte Auflage« in demselben Verlag gibt, manifest durch die Veränderung des frz. Nebentitels von »Trucheman Russien« zu »Interprète Russien«. – HINRICHS 1813: 105,

lücke« erkennen.²⁰ Diese Handreichungen sind als Gebrauchsliteratur allerdings kaum auf uns gekommen, weil sie in der Regel nicht archiviert, sondern nach Erfüllung ihres Zweckes (als zerfledderte Exemplare) wohl schlicht entsorgt und nach dem Abzug russischer Truppen nicht mehr aufgelegt wurden.²¹ Deshalb gelingt ein Nachweis vielfach nur über zeitgenössische Rezensionen, nicht unbedingt zuverlässige Buchhandelsverzeichnisse und Zeitungsannoncen; letztere lassen sich mehrfach bereits in der »Franzosenzeit« nachweisen. Da Inserate nicht der strengen französischen Zensur unterworfen waren, wurden neben Textmeldungen zur siegreichen *grande armée* in Russland bereits russische Grammatiken, Wörterbücher und Vokabelhilfen (sogar Porträts des Zaren, seiner Heerführer und russischer Heiliger) beworben. Da sie mit Preisangaben versehen waren, müssen sie auch aktuell lieferbar gewesen sein. Beispielsweise lässt sich für ein nicht mehr eruerbares, aber beworbenes Exemplar »Deutsch-Russischer Dolmetscher« (Münster 1813) anhand einer örtlichen Zeitungsannonce mit einem längeren Zitat aus dem Vorwort dieses Druckes die wortwörtliche Übereinstimmung mit der Version *Russ. Dolmetscher* 1813 (Pirna/Dresden²²) nachweisen.²³ Nicht konform mit dieser Version ist wiederum eine Sentenz aus dem Vorwort »Neuer Russischer Dolmetscher. Oder Sammlung der gebräuchlichsten russischen Wörter

107 benennt C. G. H. Geißler (Leipzig 1813): »Dolmetscher, neuester und vollständigster russischer, enth[ält] alle diejenigen russischen Wörter und Ausdrücke, die jeder Bewohner einer Stadt, oder eines Dorfes, wissen muß, wenn er die Russen verstehen, sich ihnen verständlich machen, und manche Unannehmlichkeiten vermeiden will. Nebst Schilderung der russischen Nation, in Hinsicht ihrer Sitten, Gebräuche, Wohnungen, Kleidung, Speisen, [...]« (16 Seiten) sowie »Hand- und Hilfsbuch für Deutsche und Russen, um sich gegenseitig verständlich zu machen, welches alle nöthige Redensarten und ein Russisch-Deutsches und Deutsch-Russisches Wörterbuch nebst beigefügter Aussprache enthält« [Oktav] (s. a. HEXELSCHNEIDER 2000: 105).

20 Eine »Correspondenznachricht. Leipzig, den 12. Februar« vermeldet: »Der Buchhandel liegt jetzt gänzlich darnieder. [...] Ein Hauptartikel des Buchhandels sind jetzt die russischen Dolmetscher, die in Menge zum Vorschein kommen« (*Minerva* 1 (1813): 352). Dies unterstreicht ebenso das *Morgenblatt für gebildete Stände* (Tübingen), Nr. 65, Mittwoch, 17. März 1813, S. 260 aus dem renommierten Verlag Cotta: »Außer einigen russischen Dollmetschern verkünden die öffentlichen Anzeigen nichts Neues in der Literatur, [...]« [books.google.de (29.1.2011)].

21 Ein ganz anderer Stellenwert ist natürlich Wörterbüchern zuzusprechen, die aber ebenso aktuell neu aufgelegt wurden, vgl. *R.-Dt. Handb.* 1806 und 1813.

22 Im Vorwort (6 Seiten zu »Land und Leuten«) werden auch im Vokabularium nicht vertretene Wörter benutzt, z. B. »Ihre gekochte Grütze nennen sie S c h t s c h y. [...] Ihr Lieblingsgetränk ist Branntwein, den sie von besonderer Stärke, und in großer Menge vertragen können. Außer diesen haben sie ein Getränk, welches S o l d a t e n k w a s heißt, und aus einem dünnen Bier besteht« (S. 2).

23 *Münsterisches Intelligenzblatt*, Nr. 46, 12. November 1813; kürzere Inserate in Nr. 47 (19.11.) und Nr. 53 (31.12.), vgl. <http://miami.uni-muenster.de> [25.8.2010]. – S. KRATZ 2007: 5.

und Redensarten« (Quedlinburg 1813).²⁴ Nachzuweisen sind häufig also nur Bearbeitungen von Titel und Vorwort, die aber keine konkreten Aussagen über die Vokabularen an sich zulassen, die so schnell kaum unabhängig voneinander zu erarbeiten waren, so dass die Titelvarianten zu einem Großteil wohl der Marketingstrategie von Buchhändlern geschuldet sind.²⁵ Im Einzelfall lassen sich aber auch bei Kollektion und Umfang (16 vs. 24 S.) Unterschiede ausmachen: *Russ. Dolmetscher* 1813 vs. »Der Russische Dolmetscher in Fragen und Antworten für den Bürger und Landmann, in Büreaus für Reisende, im Handel, in Gasthöfen und für Militär von L. H. Hessell, Zweyte verbesserte Ausgabe, Nürnberg 1813«. ²⁶

In anderen Fällen liefern zeitgenössische Rezensionen allenfalls Anhaltspunkte: *Der Deutsch-Russische Dolmetscher für Jedermann* (1813) sei

Eins von den vielen zusammengerafften Nothhülfsbüchlein, Speisen und Getränke, Hausgeräthe, Zahlen, Gewerbe, Glieder des Leibes, Krankheiten, Kleidung, Verwandtschaft, Thiere, Reitzeug, Kriegswesen u. s. w. sind deutsch und daneben russisch, doch nur mit lateinischen Buchstaben abgedruckt. An genaue Richtigkeit ist dabey gar nicht zu denken, z. B. *βladkii pirog*, heisst eine süsse Pastete, nicht aber eine Torte, die ja auch sauer seyn kann. Z. B. von Zitronen; die Russen behalten Turt. Das Viertel heisst nicht *Tschertwert*, sondern *Tschetwert* von *tschetüre*, vier; die Flinte heisst nicht *Muschket*, sondern *Fuseja*.

Um nichts besser ist: Leipzig, b[e]. Klein: *Ssamüj nowüj rossysky perewootschik = Neuester Russisch-Deutscher Dolmetscher*. Mit russischer Schrift und deutscher Aussprache, damit sowohl die Russen als die Deutschen sich einander verständlich machen können. Die nöthigsten Wörter und Redensarten enthaltend und zum leichten Auffinden nach den Gegenständen geordnet. Vier heisst nicht *tschetu*, sondern *tschetüre*; fünf nicht *pät*, sondern *pjat*, eben so neun *dewjat*, zehn *desjat*, so wie nachher richtiger *wremja*, Zeit gesetzt ist. Wie kann ein so fehlerhafter Dolmetscher wahren Nutzen leisten? (ALZ 3,293 (1816), 741 f.).²⁷

24 GLÜCK/PÖRZGEN 2009: x f.: »Die Erfahrung hat gelehrt, daß der Russe gleich freundlicher und demüthiger, so wohl gegen Freund als Feind wird, wenn man ihn in seiner Sprache anredet oder von ihm etwas fordert«.

25 Vgl. »Taschenbuch, (deutsch-rußisches) enthaltend die für alle Verhältnisse des Umgangs nothwendigsten rußischen Wörter und Redensarten, wie sie von Deutschen ausgesprochen werden müssen, nebst einer genauen Berechnung der russischen Gewichte, Maaße und Münzen« (Berlin 1813), »Ueber die Soldaten und wie man es anzufangen hat, daß man mit ihnen gut auskommt«, »Der sorgsame und erfahrene Hausvater bei Einquartierungen in Kriegszeiten und bei Durchmärschen« (beide Leipzig 1813). – Ein »Brief aus Leipzig« (25. April 1813) nennt sie ausdrücklich deshalb, weil sie »schon mehr als eine Auflage erlebt haben« (*Minerva* 2 (1813): 174 f.).

26 *Bayerische Staatsbibliothek*. Signatur: J.germ.1998, auch als Digitalisat [21.3.2011].

27 Die monierten Fehler weist z. B. noch KÄSTNER-KRALITZKY ²1813: 11, 30, 27 auf.

In diese Phalanx gehört wohl auch »Der deutsch-französisch-russische Dollmetscher, oder Sammlung der nothwendigsten Wörter durch welche man sich den Franzosen und Russen verständlich machen kann, Halle 1808« (16 S., Oktav) – also bereits vor dem Russland-Feldzug Napoleons; er ist leider nur anhand einer Rezension einzuschätzen:

Ein elendes Machwerk für den gemeinen Mann im Kriege bloss nach dem Gehör zusammengeschrieben, ohne Kenntniss und Genauigkeit, z. B. Brod, *dü päng*, *Gläba* (*chljeb*); [...] Hosen, *ün külott* (*une culotte*), *Stani* (*Schtaniü*); Beil, *ün kongeh* (*une coignée*), *Tobor* (*Topor*) [...] (ALZ 2.218 (1808), 728).²⁸

Zumindest die falsche Angabe *Gläba* »Brot« könnte hier ihren Anfang genommen haben.

In diesem Kontext kann an ein vergleichbares Szenario – 14 Jahre zuvor – erinnert werden, denn der sog. 2. Koalitionskrieg gegen Napoleon führte im Jahre 1799 russische Truppen nach Süddeutschland und in die Schweiz (Besetzung Zürichs).²⁹ Abzulesen ist der analoge Bedarf an russ.-dt. Vokabellisten anhand von Einblattdrucken (in Latinica): »Verzeichniß der nöthigsten russischen Wörter, wie selbe auf Deutsch zu verstehen sind« sowie »Verzeichniß der nöthigsten russischen Wörter, wie selbe auf Deutsch zu verstehen sind, vermehrt, verbessert und gänzlich von Fehlern gereinigt« – diese sind mit nur 28 bzw. 67 Vokabeln (ohne Betonungsangaben) wirklich minimalistisch, wobei zweites deutlich um Fehlerbegrenzung bemüht ist, z. B. *Mascar*=*Butter* vs. *Masla*=*Butter*; *Gleba*=*Brod* vs. *Chleb*=*Brod*, *Luda*=*Schüssel* vs. *Bluda*=*eine Schüssel*, *Dailerga*=*Teller* vs. *Tarelka*=*Ein Teller*, *Serna*=*Heu* vs. *Siena*=*Heu*, *Habers*=*Haber* vs. *Aweos*=*Haber*.³⁰

28 Weitere Monita betreffen französische Lemmata.

29 Dem russischen Rückzug via Prag ist die anonym erschienene Broschüre (Oktav) geschuldet: »Neues Hülfsmittel, die Russische Sprache leichter zu verstehen, vorzüglich für Böhmen, zum Theile auch für Deutsche. Selbst für Russen, die sich den Böhmen verständlicher machen wollen. Ein zweckmäßiger Auszug aus Heyms Russischer Sprachlehre«, Prag 1799. Der Extrakt aus Johann Heym: *Russische Sprachlehre* (Moskau 1789; Riga ²1794) wird keinem Geringeren als J. Dobrovský (1753–1829) zugeschrieben (Dobrovský, Josef: *Spisy a projevy*, XIII: *Rossica*. Praha 1953, 51–95); erneut beim zweiten russischen Einmarsch a. 1813 durch František Jan Tomsa aufgelegt (PALACKY 1833: 61). Hierzu (und zum ersten deutsch-wendisch-russisch-polnischen Vokabularium anno 1813 in demselben politisch-militärischen Kontext) s. MARTI 2006.

30 Staats- und Stadtbibliothek Augsburg (Signatur4 s 582); für Hinweise und Digitalisate habe ich Herrn W. Mayer sehr zu danken. – In Konstanz wurde diese verbesserte Version anno 1799 (Oktav, 3 S.) nachgedruckt, allerdings unter dem ursprünglichen Titel »Verzeichniß der nöthigsten russischen Wörter, wie selbe auf Deutsch zu verstehen sind« (UB Basel, Signatur Falk 1165:19). – Vgl. zudem [wohl 1799] den Augsburger Druck »Tarif, oder Verzeichniß derjenigen Münzsorten, welche die russisch=kaiserlichen Truppen auf ihren Marsche durch Baiern und Schwaben ausgeben, und wie sol-

Ferner ist ein Heinrich Conrad HEINEMEYER³¹ zuerkanntes dt.-russ. Vokabularium (in Latinica) anzuführen: »Alphabetisches Rubrickwörterbuch der höchstnothwendigsten rußischen Wörter, Gespräche und Zahlen, wie solche nach der deutschen Mundart mit den langen und kurzen Zeichen ausgesprochen werden müssen. Augsburg, in der Klett- und Frankischen Buchhandlung, 1799« (ohne Paginierung: [2], [8]; 272 Lemmata – mit Kennzeichnung der Betonung »mit den langen und kurzen Zeichen« über den Silben, also mit dem Versuch, Aussprachehilfen zu geben).³² Hiernach wurde sogar eine französisch-russische Fassung (in Latinica) für das französische Emigrantenkorps *Corps de Condé* (in Koblenz, Trier und Rastatt)³³ erstellt: »Récueil des Mots Russes les plus nécessaires avec la prononciation Française. Ratisbonne [Regensburg] 1799« (16 S.; Oktav), die auch 21 neue »Redewendungen« aufnimmt, u. a. die Frage nach hübschen Mädchen vor Ort bzw. der Entfernung nach Paris: »Ya-t-il de jolies filles ici? – Yěst-li sdés gūārāchīque dēwītch (Crāsāwītch)?« | »Y-a-t-il loin d'ici a Paris? – Dālecō-li otsoudōwā do Paricha?« (S. 15).³⁴

Dem politisch wie militärisch letztlich bedeutungslosen russischen Intermezzo in der Schweiz (August – Oktober) sind immerhin gleich zwei Lexika mit Russisch geschuldet: neben einem fast identischen Nachdruck des Augsburger Rubrickwörterbuches in Basel (bei Johann Heinrich Waser; es fehlt z. B. die Kennzeichnung der »langen und kurzen Zeichen«)³⁵ ist anonym ein deutsch-russisch-französisches Wörterbuch (in Latinica) erschienen: »Kleine Sammlung der üblichsten Worte in Deutscher, Russischer und Französischer Sprache. Petit Recueil des mots les plus usités en Allemand, en Russe et en Français« (Basel 1799; bei Guillaume Haas, le fils).³⁶ Dieses Lexikon kommt allerdings nur dem Titel nach der Berliner *resp.* Altonaer Version vom Jahre

che gegen hieländische Valuta zu verwechseln sind« (SuStB Augsburg, Einblattdrucke nach 1500, Nr. 414) – dto., doch unter dem Titel »Tarif, wie die nachfolgenden rußisch=kaiserlichen, und andere Münzgattungen gegen hierländige Valuta zuverwechseln sind.« (s. l.) [<http://resolver.sub.goettingen.de/purl?PPN660185032>]

31 *Beiträge zur Specialgeschichte Jeverlands*, Jever 1853, S. xv, vgl. <http://www.archive.org/details/beitgezurspec0jjeveuoft/18.8.2010>. – Vgl. HAMBERGER/MEUSEL 1810: 77; ENGELMANN 1842: 262.

32 Ein Vergleich der Exemplare Göttingen/München belegt, dass Seite [1] neu gesetzt und gedruckt wurde, denn die Göttinger Version hat zusätzlich den Eintrag *Gulden gülden* (= *зълъденѣ*), obwohl in beiden Drucken *Gulden Güldenā* [!] angeführt wird (S. [5]).

33 Louis-Joseph Prince de Condé (1736–1818) emigrierte beim Ausbruch der Französischen Revolution (1789) und opponierte gegen die Revolution und die Herrschaft Napoleons.

34 Auch wenn Kriege in den russisch-deutschen Beziehungen leider eine große Rolle spielten, soll auf eindeutig militärisch ausgerichtete Hilfsmittel nicht rekuriert werden (etwa KASPROWICZ 1878).

35 *Catalogus* 1809: 355 (graphisch dort: *Rubrikwörterbuch*).

36 Ihn hält MARTI 1989 für den Verfasser (daselbst auch Angaben zum *Rubrikwörterbuch*).

1813 nahe, denn es ist ganz anders aufgebaut und bietet auch andere Redewendungen und Gespräche, führt für die drei Sprachen sogar 4 Sprichwörter sowie das *Vaterunser* an (20 S. + 1 S. Anmerkung).

Eher lassen verschiedene Besonderheiten das *Rubrickwörterbuch* 1799 in den Fokus geraten, denn es liegen hiermit identische Wortstrecken in den Drucken Berlin/Altona 1813 vor. Irritierende Einträge in letzteren gehen darauf zurück, dass das Augsburger Vokabularium außer *Rubriken* (vgl. *Bedürfnisse – Früchte*) auch einzelne Stichwörter (z. B. *Berg, Brücke, Buch, Dieb*) aufführt, jeweils alphabetisch am Deutschen ausgerichtet, unterstrichen durch entsprechende Druckformatierungen. Obsolet wurde diese Ordnung für die Versionen Berlin/Altona mit der Umstellung zu einer russ.-dt. Wortliste sowie der alleinigen Berücksichtigung von *Rubriken*. Deshalb landeten z. B. unter *Kurze Redensarten* [!]: *Gora*=*der Berg* [Altona: *Gorg!*]; *Most*=*die Brücke*; *Wor*=*Dieb*, wie auch *Trebowanie*=*die Forderung, Bitte* (S. 14 : 15);³⁷ in der Rubrik *Schreiberei und Zählen*: *Kniga*=*ein Buch* sowie im Wortschatzbereich *Geld*: *Dengi*=*Geld*; *Medni Dengi*=*Kupfergeld*; *Soloto*=*Gold*; *Srebro*=*Silber* [Altona: *Serbero!*]; *Guldena*[!]=*Gulden*³⁸ (S. 9 : 10).

Noch beweiskräftiger dürfte sein, dass beide Broschüren Fehler des *Rubrickwb.* 1799 tradieren:³⁹ *Wein*=*Wīnō* (*rěnskī*) statt *pé[ŭ]nskoe*; *Erbesen*=*gōrōk*⁴⁰ statt *zopōxō*; *Apfel, der*=*iāblōk* statt *яблоко*.⁴¹ Besonders frappant ist der

37 Dasselbst: *Ploschtschad*=*der Marktplatz*, *Gorod*=*die Stadt*, *Predmestje*=*Vorstadt*, *Zerkow*=*Kirche*. – Das dt. Lemma *Kirche*=*Zerkow* – alphabetisch nach *Instrumente, musikalische* – gerät als frz.-russ. Eintrag *L'église*=*Dzěrcōw* (*Récueil* 1799: 8) zum Wortschatz *Instrumens de musique* (S. 8). Ebenso gehören *La quittance*=*Rāspīscā* und *Le compte, le calcul*=*Tschēt* (S. 10; für *Quittung* und *Rechnung* – alphabetisch nach *Pferd*) nunmehr zu *Le cheval avec ses appartenances*.

38 Eingearbeitet wurde *Kopek*=*Kopeken*, eine Kupfermünze, 3 Pf[ennig]. Werth, *Jefimok*=*der Thaler* (für *копéйка, ефíмокъ*) – hingegen ausgesondert wurde *Ducaten, einen*=*Tschěrwōněz*. Die Berlin-Version ergänzt zudem: »4 Polluschken machen 1 Kopek. | 10 Kopeken – 1 Griewen. | 10 Griewen – 1 Rubel. | 10 Rubel machen 1 Imperial. | 1 Silberrubel ist etwa 26 Groschen Pr[euß]. Cour[ant].« [= *Полушка* »Poluschka (4. Teil einer Kopeke)«, *зрiвна* »10-Kopeken-Stück«, *имперiалъ* »Imperial (russ. Goldmünze, 10 Rubel)« (diese Angaben wurden nicht zu den russ. Lemmata gerechnet)].

39 Für *Kalbas-Wurst* (S. 3 : 4) < *Rubrickwb.*, S. [1]: *Wurst-Kālbās* statt heutigem *колбасá* ist zu verweisen auf: SRJA 7: 231: *Колбасъ/Колбаса* sowie SRJA-18: X, 87: *Колбасá* (*ка-*), *ы, ж.* /*Колбáс* (*ка-*), *а, м.*

40 D. U. Heinemeyer berichtet per 15.10.1799: »gārōch nicht gōrōk« (*Rubrickwb.*: [9]).

41 Das *Rubrickwb.* führt erstaunlicherweise *Brot* gar nicht als Lemma an, sondern nur die Sentenz »*Geben sie mir Brod.* | *Dāwěitě chlābā*« (S. 4 = *Давáйте хлiбá*), die auch Berlin/Altona (S. 14 : 10 – ohne Ausspracheangaben) anführt. – Beim Eintrag [*Fleisch*]=*Kalb* moniert Heinemeyer (wie Anm. 40): »Hinter Kalb sollte schon ein Stück stehen und sodann muß es heißen Kūszōk tēlātinī.« – Andere Fehlerquellen sind nicht auszuschließen, vgl. *Russ. Dolmetscher* 1813 mit der Angabe »*Brod.* | *Chleba.*« (= erstes Lemma auf S. 10), für die eigentlich die vorhergehende Seite beachtet werden muss: »*Gebt mir* | *Da-*

Fehler (Pl.) *Pflaumen* = *wīschni* (statt *wīшня* »Kirsche«⁴²), gefolgt von den hierin ebenso genannten übereinstimmenden Angaben: *Schtscholka* = *Bürste* statt *щётка* [*щёлка* »Ritze, Spalte«!],⁴³ *Kruscha* = *Krug* statt *кружка*, *Bluda* = *Schüssel* für *блюдо*, *Salwetka* = *Serviette* für *салфетка*, *Trupitza* = *Wischlappen* statt *тряпича*, *Gasain*, *Gasajka* = *Wirth*, *Wirthin* für *хозяинъ*, *хозяйка*. Andererseits führt das *Rubrickwb.*: [2] richtig an: *Halstuch* = *Gälstük*.

Besonders evident sind *Redensarten*, deren Kongruenz⁴⁴ nicht zufällig sein kann. Die Drucke Berlin/Altona bieten übereinstimmend eine unverständliche Wendung: *Podkowatoschadu* [!] = *Pferd beschlagen* (S. 6 : 8), die an ein fehlerhaftes Exzerpt nach dem *Rubrickwb.*: [3] sub *Pferd* denken lassen: »*beschlagen*, *pōdkōwāt löschādķī*« (*подковать лоша́дку*). – Der zweifachen Anführung von »*wie Ihnen gefällig*« in der Berlin-Version – mit »*Kat* [!] *wam ugodno*« (S. 13) und »*kak wam ugodno*« (S. 16) – entspricht im Altona-Druck nur der tradierte Fehler: »*Kat wam ugodno-wie Ihnen gefällig*« [S. 14]. Das *Rubrickwb.*: [8] bietet demgegenüber die korrekte Sentenz: »*Wie ihnen gefällig*. *Kāk wām ūgōdnō*.« (*какъ вамъ угодно*). Weitere Redundanzen im Berliner Vokabularium sind diletantischer Bearbeitung geschuldet: das bereits auf S. 12 erfolgte Notat »*dowro notsch* [!] ... *gute notsch*. [!] || *ja wam schelaju spo- | koinoi* [!] *notschi* ... *ich wünsche Ihnen gute | Nacht!*« wird nochmals auf S. 16 präsentiert: »*Dobroi notschi* ... *gute Nacht*. || *ja wam schalaju* [!] | *spokoinoi notschi* ... *ich wünsche Ihnen | angenehme Nacht*. | *schlafen Sie wohl*.« (*добрый/спокойной ночи* bzw. *я вамъ желаю спокойной ночи*) – vgl. Altona, S. 13: »*ja wam schelaju spo- | kolunoi* [!] *notschi* || *ich wünsche Ihnen gute | Nacht!*« – *Rubrickwb.*: [7]: »*Ich wünsche Ihnen angenehme Ruhe*. *iā wām schělājū Spōkōinōi nōtschī*.« Diese Abweichungen – »*gute/angenehme Nacht*« vs. »*angenehme*

waj mne || *Wasser, Bier*, | *Wodi, Pīwa*, || *Branntwein*. | *Wodki*. || [...] [S. 10] *Brod*. | *Chleba*.« – im weiteren gefolgt von: »*Rindfleisch*. | *Gawjadini*. || *Geräuchert Fleisch* | *Solonini*. || *Kalbfleisch*. | *Teljatini*. || *Schweinefleisch*. | *Swinini*.« – also alles subsumiert unter »*Gebt mir* ...« mit den entsprechend deklinierten Formen.

42 Bei Kompilation und Umstellung (plus Umschrift in *Latinica*) können schlicht Spalten verwechselt worden sein; vgl. НЕМ 1804: 252: »*Ein Apfel, яблоко*. | *eine Birne, груша*. | *Eine Pflaume, слива*. | *eine Kirsche, вишня*.«

43 Wird verbessert zu »*Schtschōtkā* oder *Stchōtkā*«; dto. »*krüşchkā*« (wie Anm. 40).

44 Hingegen lässt sich eine gewisse »geographische Adaption« konstatieren: *pokaschi nam dorogu* | *k'A* ... *zeig uns den Weg nach | A*. || *ja idu is Moskwa* [!] ... *ich komme von Moskau*. (Berlin, S. 11) vs. »*pokaschi nam dorogu* | *k'Hamburg* [!] ... *zeig uns den Weg nach | Hamburg* || *ja idu is Gothaka* [!] ... *ich komme von Gotba*« (Altona, S. 12) – *Rubrickwb.*: [6]: *zeig uns den Weg nach | Ulm*. || *pōkāshī nām dōrōgū k' | Ūlm* [!]. || *Ich komme von Augsburg*. *iā idū is Aūksbürgā*. – Récueil 1799: 13: *montre-moi le | chemin à Schafhouse*. || *pōcāchī nām* | *dōrōgōu k'Schafhausen* [!]. [...] *Je viens d'Augsbourg*. *Jā idōū is Aōūksbōürgā*.

Ruhe« – können (wie auch weitere) auf unterschiedliche Protographen resp. Bearbeitung deuten.⁴⁵

Raum für zusätzliche Missverständnisse bietet mehrfach die Druckaufteilung russischer Sätze. So gibt das *Rubrickwb.* 1799: [4] für die Satzform *тебѣ должно заплатить* noch nachvollziehbar an: »Du hast zu bezahlen, du musst tebe dölschnō || bezahlen. sāplātī.« – diese russ. Satzform wird in den Versionen Berlin/Altona ebenso auf zwei Zeilen realisiert, denen aber jeweils ein kompletter deutscher Satz zugeordnet wird (S. 15 : 11): »tebā dolschnō ... du hast zu bezahlen. || saplatit ... du mußt bezahlen.«

Die übereinstimmend angeführte Redensart »*nowoi tscheprok* [!] ... die neue Schabracke || *sawtra budet gatow* . wird morgen fertig.« (Berlin, S. 12/Altona, S. 13) folgt genau dieser Satzform im *Rubrickwb.*: [7] (orthographisch richtig: *чепракъ*): »Die neue Schabracke wird morgen fertig. || *nōwōi tschēprāk sāwtrā būdēt gā- | tōw*«. – Auch fehlerhafte Worttrennung ist misslich; vgl. die Wortform *обѣда* »Essen« (Berlin, S. 13/Altona, S. 14): »*Budete li poslā obā | Werden Sie nach dem || da Kuschat Kofe? | Essen Kaffe trinken?*« – *Rubrickwb.*: [8]: »*Werden Sie nach dem Essen Koffe | trinken? || Būdētē – līpōslē* [!] *ōbē dā Kūschāt | Kōvē?*« [= *Будете ли послѣ обѣда кѹшатъ кофе?*]⁴⁶.

Ebenso lässt sich die (im Titel zitierte) frappante Satzform nachverfolgen: »*padi k' tschortu, | ti Diabel || geh zum Henker, | du Satan.*« (Berlin, S. 15) – »*padi ketschortu, ti | Diabel || geh zum Henker, Satan.*« (Altona, S. 11) < »*Geh zum Henker, du Satan. pādī K' tschōrtū, tī diābēl.*« (*Rubrickwb.*: [4]) – *Récueil* 1799: 11: »*Va-t'en au diable, Satan | que tu es. – Pādī K'tschōrtōū, tī diābēl.*« Gerade diese Injurie lässt eine Verbindung mit dem Kopenhagener Druck zu: »Kleine Sammlung Russischer Wörter nach ihrer Aussprache, mit Deutscher (Dansk, Swensk) Erklärung« (o. J. = 1802), der nach Titel, Umfang und Format (Oktav/16 S.) kongruent wäre, vgl. die zeitnahe Rezension:

45 Die Berlin-Version nahm sub *Kurze Redensarten* [!] auch Einträge auf (S. 16), die der Altona-Druck und das *Rubrickwb.* nicht aufweisen, z. B. die 2 Vornamen *Iwan*=*Johann*, *Feodor*=*Friedrich* (andere Vokabulare haben ganze Listen!), vgl. HEYM 1804: 279 [die Auflagen M. 1789, Riga 21794 standen leider nicht zur Verfügung]: *Johann, Иоáннъ, Ивáнъ + Friedrich=Θεοδορѣ*. – Auch *Schtschi*=*Kohlsuppe* | *Schtschuka*=*Hecht* | *Wusbe* [!]=*ein Zimmer* lassen eine »schlampige« Konsultation von HEYM 1804: 7; 6 vermuten, der zur Aussprache (in Latinica) anführt: *щѹ, die Kohlsuppe = schtschi; щѹка, der Hecht = schtschuka; вѣ избѣ, im Zimmer = wúsbé!* Ebenso geht wohl »*Schto nobingago? Was giebts Neues?* || Ne mnogo ... nicht viel.« (S. 16) letztlich auf HEYM 1804: 323 zurück: »*Was giebts Neues? Чтo новинькаго?* || Nicht viel. *He mnogo*« (u. a. m.).

46 Diese »Redensart« beschließt eine in den Versionen Berlin/Altona/*Rubrickwb.* übereinstimmende thematische Einheit »Essen«. Sie lässt sich umfangreicher bei HEYM 1804: 316 nachweisen, so dass HEINEMEYER für sein *Rubrickwb.* evtl. nur die kyrillisch vorgegebenen Sätze gekürzt und mit Latinica wiedergegeben hat. Allerdings können derartig simple Sätze natürlich auch anderen der zahlreichen Handreichungen geschuldet sein.

Vermuthlich zum Gebrauch auf Reisen oder im Kriege sind die nöthigsten Wörter zum Essen und Trinken, Wäsche und Kleidung, Hausgeräthe, Musik, Kriegswesen und Pferden, zum Schreiben, Rechnen, Geld und Zeit in vier Spalten Russisch, Dänisch, Schwedisch und Deutsch, meistens nach der Folge der Russischen Buchstaben, aber alles in lateinischer Schrift zusammen gestellt; und den Beschluss machen einige kurze Redensarten. Aber weit möchte damit nicht zu kommen seyn, denn auf die Fragen Warum? Wer hat dich geschickt? Was beliebt Ihnen? u. s. w. können ja sehr verschiedene Antworten erfolgen, die der Reisende hier doch nicht verstehen lernt, und wozu dient wohl das schöne Compliment: *Geb zum Henker, du Teufel!* Wer auch nur einen Bogen drucken lassen will, der sollte doch erst darüber denken.⁴⁷

Die damaligen Probleme veranschaulicht in besonderer Weise das Exemplar des *Rubrickwörterbuches* der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, dem weitere Schriftstücke beigegeben wurden – so eine relevante Druckfehlerliste mitsamt Verbesserungen (3 S.), in der moniert wird,

daß es nicht leicht ist, russische Wörter mit lateinischen Lettera zu drucken, und daß die sorgfältigste Schreibart nicht hinreicht, etwas ohne Fehler abdrucken zu lassen, wenn man nicht an Ort und Stelle ist, um die Verbesserungen selbst übernehmen zu können.

Die besonderen Umstände werden in dem ebenfalls beigegebenen Brief von D[iedrich] U[lrich] Heinemeyer aus Jever (15.10.1799) an den Adressaten, einen »Hofrath«, unterstrichen:

Der Verfasser desselben hat mehrere Jahre in St. Petersburg gelebet und befindet sich gegenwärtig bey dem 3ten Russischen Hülf-Corps unter Commando des General-Lieutenants Rimskoy Korsakow. Er schrieb die Piece in den paar Rasttügen zu Augsburg auf Bitte der Klett- und Frankischen Buchhandlung. Es ist zu bedauern, daß die kleine Schrift so sehr von Druckfehlern verunstaltet worden ist [...]⁴⁸

Doch damit konnte D. U. Heinemeyer die vernichtende Bewertung des *Rubrickwörterbuches* (sowie des hierauf fußenden *Récueil*) in den GGA (12. Sept. 1801, S. 1472) nicht verhindern:⁴⁹

47 *Ergänzungsblätter zur Allgem. Literatur-Zeitung*, Num. 46 (17. April 1806), Sp. 367 f. (<http://books.google.de> [16.11.2010], Hervorh. – F. O.). – Vgl. KAYSER 1835: 37; ENGELMANN 1842: 262 »mit deutscher, dän. u. schwed. Erklärung«; ein direkter Transfer ist denkbar, da Altona zu dieser Zeit zum Königreich Dänemark gehörte.

48 Generell ist davon auszugehen, dass Setzer und Drucker, die kein Russisch konnten, die unzulänglichen Vokabelhilfen nach handschriftlichen Vorlagen (mit jeglichem Fehlerpotential) unter großem Zeitdruck und deshalb auch ohne gewissenhafte Korrekturen erstellten.

49 Herausgeber der GGA war Christian Gottlob Heyne (1729–1812), Professor und Bibliothekar in Göttingen (Hofrat seit anno 1770), dem die – seit 1764 unter seiner Aufsicht

(Zwey Druckschriften, die bey Gelegenheit des Einmarsches der Russen in Deutschland 1799, zum Vorschein gekommen, "Alphabetisches Rubrik-Wörterbuch der höchst nothwendigsten Russischen Wörter, Gespräche und Zahlen, wie solche nach der Deutschen Mundart mit den langen und kurzen Zeichen ausgesprochen werden müssen", in Augsburg, 6 Quartblätter, und "Récueil des mots Russes les plus nécessaires avec la prononciation française" (ausdrücklich pour Mrs. Les Gentilshommes du Corps de Condé etc.), Regensburg, 8 Octavblätter, sind bey ihrer Ärmlichkeit keiner Anzeige werth, auch abgesehen von den unzähligen Druckfehlern, mit denen jede Seite beladen ist.)

Dieser Rezension ist im Grunde nichts hinzuzufügen, doch bleibt bemerkenswert, dass derartige Vokabelhilfen (wahrlich »Groschenhefte«) über längere Zeit dennoch ihr Publikum finden konnten.

Literatura

- ALZ 1816 = *Allgemeine Literatur-Zeitung*, Jena – Leipzig, vgl. <http://zs.thulb.uni-jena.de/content/main/journals/alz/internal.xml> [15.1.2011].
- BEITZKE 1854 = Beitzke, H. L.: *Geschichte der Deutschen Freiheitskriege in den Jahren 1813 und 1814*, Bd. 1, Berlin 1854.
- BELLERMANN 1826 = Bellermand, J. J.: *Das graue Kloster in Berlin mit seinen alten Denkmälern als Franziskanerkloster und Gymnasium*, Stück 4: *Programme 1823–1826*, Berlin.
- Catalogus 1809 = *Catalogus librorum bibliothecæ Tigurinæ: in inferiore ædium parte collocatorum*, v. [Stadtbibliothek Zürich] 1809.
- DINSE 1877 = Dinse, M.: *Katalog der Bibliothek des Grauen Klosters zu Berlin*, Berlin.
- ENGELMANN 1842 = Engelmann, W. (Hg.): *Bibliothek der neueren Sprachen oder Verzeichniß der in Deutschland besonders vom Jahre 1800 an erschienenen Grammatiken, Wörterbücher, Chrestomathien, Lesebücher und anderer Werke, welche das Studium der lebenden europäischen Sprachen betreffen, wie auch derjenigen ausländischen Classiker, welche ebendasselbst vom Jahre 1800 bis zu Anfange des Jahres 1841 zum Abdrucke gekommen sind*, Leipzig, vgl. <http://books.google.de> [1.1.2011].
- GGA = *Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen*, 3. Band, 147. Stück (12.9.1801), vgl. <http://books.google.de> [9.11.2010].

stehende – Universitätsbibliothek viele Bücher verdankt, darunter auch das ihr im Jahre 1800 geschenkte *Rubrickwörterbuch*, das Heyne also bereits 1 Jahr vor Erscheinen der »Rezension« (mitsamt dem Brief und der Korrekturliste) »entsorgte«. Der Briefschreiber, D. U. Heinemeyer, ist der Bruder des seinerzeit schon vermuteten Verfassers, Pastor Heinrich Conrad HEINEMEYER, dessen eruierbare Lebensdaten mit den Angaben im Brief korrespondieren: Instruktor des ältesten Sohnes des Leibarztes von Freygang in St. Petersburg (1794–1796), Divisions-Prediger im russischen Corps von A. M. Rimskij-Korsakov und Teilnehmer am Schweizer Feldzug. Allerdings unterschlägt D. U. Heinemeyer, dass es sich um seinen Bruder handelt. – Der »Hofrath [?]
[?]« bei LAUER 1995: 33 f., Nr. 135 dürfte hiermit identifiziert sein.

- GLÜCK/PÖRZGEN 2009 = Glück, H./Pörzgen, Y.: *Deutschlernen in Russland und in den baltischen Ländern vom 17. Jahrhundert bis 1941. Eine teilkommentierte Bibliographie*, Wiesbaden 2009 (= Fremdsprachen in Geschichte und Gegenwart 6).
- HAMBERGER/MEUSEL 1810 = Hamberger, G. Ch./fortges. v. Meusel, J. G.: *Das gelehrte Teutschland oder Lexikon der jetzt lebenden Teutschen Schriftsteller*, Bd. 14, Lemgo.
- HEINEMEYER = [Heinemeyer, H. C.]: *Alphabetisches Rubrickwörterbuch der höchstnothwendigsten russischen Wörter, Gespräche und Zahlen, wie solche nach der deutschen Mundart mit den langen und kurzen Zeichen ausgesprochen werden müssen*, Augsburg 1799 (SUB Göttingen – Signatur: 4 LING IX, 896, <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN591416573> [20.9.2010]. – *Staats- und Stadtbibliothek Augsburg*: 4 S 254 – *Bayerische Staatsbibliothek*: 4 L.rel. 328, auch als Digitalisat [22.3.2011].
- HEINSIUS 1817 = Heinsius, W.: *Allgemeines Bücher-Lexikon oder vollständiges Alphabetisches Verzeichniß aller von 1700 bis zu Ende 1815 erschienenen Bücher, welche in Deutschland und in den durch Sprache und Literatur damit verwandten Ländern gedruckt worden sind, Nebst Angabe der Druckorte, der Verleger und der Preise*, Bd. 5, welcher die von 1811 bis 1815 erschienenen Bücher und die Berichtigungen früherer Erscheinungen enthält, Leipzig, vgl. <http://books.google.de> [15.11.2010].
- HEXELSCHNEIDER 2000 = Hexelschneider, E.: *Kulturelle Begegnungen zwischen Sachsen und Russland 1790–1849*, Wien etc. (= Geschichte und Politik in Sachsen 13).
- HEYM 1804 = Heym, J.: *Russische Sprachlehre für Deutsche*, Riga, vgl. <http://books.google.de> [14.3.2011].
- HINRICHS 1813 = *Verzeichniß neuer Bücher, die von Januar bis Juni 1813 wirklich erschienen sind, nebst Verlegern, Preisen und einem wissenschaftlichen Repertorium*, zu finden bei J. C. Hinrichs, Buchhändler in Leipzig, vgl. <http://books.google.de> [28.11.2010].
- KASPROWICZ 1878 = Kasprowicz, E. L.: *Tornister-Dolmetscher des Deutschen Reichs-soldaten im täglichen Verkehr mit den Grenzvölkern des Deutschen Reiches. (Dänisch, holländisch, französisch, russisch, polnisch und böhmisch.) Sammlung der nothwendigsten Wörter und Ausdrücke mit Wiedergabe ihrer Aussprache in deutscher Schrift*, Leipzig [Jagiellońska Biblioteka: 19820 1].
- KÄSTNER-KRALITZKY ²1813 = *Russischer Dolmetscher von Kästner und Kralitzky – Interpreter Russien par Kaestner et Kralitzky – Нѣмецкій и французскій переводчикъ*, Leipzig [SUB Göttingen: Gauss-Bibliothek 1224 = 1. Aufl.; frz. Nebentitel: *Trucheman Russien*], vgl. <http://digital.slub-dresden.de/ppn307574857> [23.8.2010].
- KAYSER 1834–1835 = Kayser, Ch. G.: *Vollständiges Bücher-Lexicon enthaltend alle von 1750 bis zu Ende des Jahres 1832 in Deutschland und in den angrenzenden Ländern gedruckten Bücher*, Th. 2: D–G, Leipzig 1834; Th. 5: S–T, Leipzig 1835, vgl. <http://books.google.de> [12.12.2010].
- KEIPERT 2004 [2005] = Keipert, H.: »Russischlernen im 18. Jahrhundert«, in: *ZfSLPh* 63, 71–95.
- 2006a = Keipert, H.: »Das Russisch-Lehrwerk von Jacob Rodde. Zur Kenntnis der russischen Sprache im deutschsprachigen Raum im 18. Jahrhundert«, in: Dahmann, D. (Hg.): *Die Kenntnis Rußlands im deutschsprachigen Raum im 18. Jahrhundert. Wissenschaft und Publizistik über das Russische Reich*, Göttingen (= Internationale Beziehungen. Theorie und Geschichte 2), 85–110.

— 2006b = Keipert, H.: »Wie gut konnte man um 1730 ins Russische übersetzen?«, in: Молдован, А. М. (отв. ред.): *Вереница литер. К 60-летию В. М. Живова*, Москва, 358–387 (= *Studia philologica*).

Kleine Sammlung:

[Bellermann, J. J.]: *Kleine Sammlung der nothwendigsten Russischen Wörter und Redensarten, nach ihrer Aussprache und deutsch erklärt*, hrsg. v. einem der vier Jahr in Rußland war, Berlin 1813 [Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Sammlungen des Berlinischen Gymnasiums zum Grauen Kloster (Streitsche Stiftung). Signatur: GKL A 101].

Kleine Sammlung der nothwendigsten Russischen Wörter nach ihrer Aussprache und deutsch erklärt, Altona 1813, bei Gebrüder Bonn (Bibliotheken der Stadt Mainz – Wissenschaftliche Stadtbibliothek. Signatur: m 542).

Kleine Sammlung der üblichsten Worte in Deutscher, Russischer und Französischer Sprache. Petit Recueil des mots les plus usités en Allemand, en Russe et en Français, Basle, chez Guillaume Haas, le fils 1799 [Reprint: Zürich 2005].

KRATZ 2007 = Kratz, G.: »Rossica in Münster«, in: *ABDOS-Mitteilungen* 27.1, 1–13.

LAUER 1995 = Lauer, R. (Hg.): *Slavica Gottingensia: ältere Slavica in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen*, Wiesbaden 1995 (= *Opera Slavica*, N. F. 30).

MARTI 1989 = Marti, R.: »Die dreisprachige Basler Wörtersammlung aus dem Jahre 1799«, in: Goehrke, C./Kemball, R./Weiss, D. (Hg.): *Primi sobran'e pestrych glav. Slavistische und slavenkundliche Beiträge für Peter Brang zum 65. Geburtstag*, Bern etc. (= *Slavica Helvetica* 33), 505–520.

— 2006 = Marti, R.: »J. S. F. Schindlers viersprachiges Wörterbüchlein von 1813«, in: Bunčić, D./Trunte, N.: *Iter philologicum. Festschrift für Helmut Keipert zum 65. Geburtstag*, München (= *Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники* 28), 111–123.

Minerva = Minerva. Ein Journal historischen und politischen Inhalts, vgl. www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/minerva/minerva.htm [28.9.2010].

PALACKY 1833 = Palacky, F.: *Joseph Dobrowsky's Leben und gelehrtes Wirken*, Prag.

R.-Dt. Handb. 1806 = *Russisch-Deutsches Handbuch zur nothdürftigen Verständigung zwischen Personen beyder Völkerschaften nebst Vergleichung der Russischen und Hannoverischen Maaße, Gewichte und Münzen*, Lüneburg, vgl. <http://books.google.de> [17.11.2010].

— ²1813 = *Russisch-Deutsches Handbuch zur nothdürftigen Verständigung zwischen Personen beyder Völkerschaften nebst Vergleichung der Russischen Maaße, Gewichte, und Münzen mit der unsrigen*, Lüneburg, vgl. <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN592019411> [17.11.2010].

Récueil 1799 = *Récueil des Mots Russes les plus nécessaires avec la prononciation Française*, Ratisbonne [Regensburg], vgl. <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN622988042> [20.3.2011].

ROHRLACH 2005 = Rohrlach, P. P.: »Johann Joachim Bellermann (1754–1842). Ein gelehrter Berliner Schulmann«, in: *Das Altertum* 50, 19–31.

Rubrickwb. 1799 = *Rubrickwörterbuch*, s. HEINEMEYER.

Russ. Dolmetscher 1813 = *Russischer Dolmetscher worin die nothwendigsten russischen Wörter, Gespräche und Zahlen, wie solche nach der deutschen Mundart ausgesprochen werden müssen, enthalten sind. Nebst einer kurzen Nachricht über das russische Mili-*

tair als Anweisung zur Behandlung desselben für Hauswirthe bei Einquartirungen, Pirna – Dresden, vgl. <http://digital.slub-dresden.de/id307527654> [17.1.2011].

SRJa = Филин, Ф. П. (гл. ред.): *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, Т. 7: *к – крагу-ярь*, Москва 1980.

SRJa-18 = Сорокин, Ю. С. (гл. ред.): *Словарь русского языка XVIII века*, Т. 10: *Ка-стальский – Кръпостца*, Санкт-Петербург 1998.

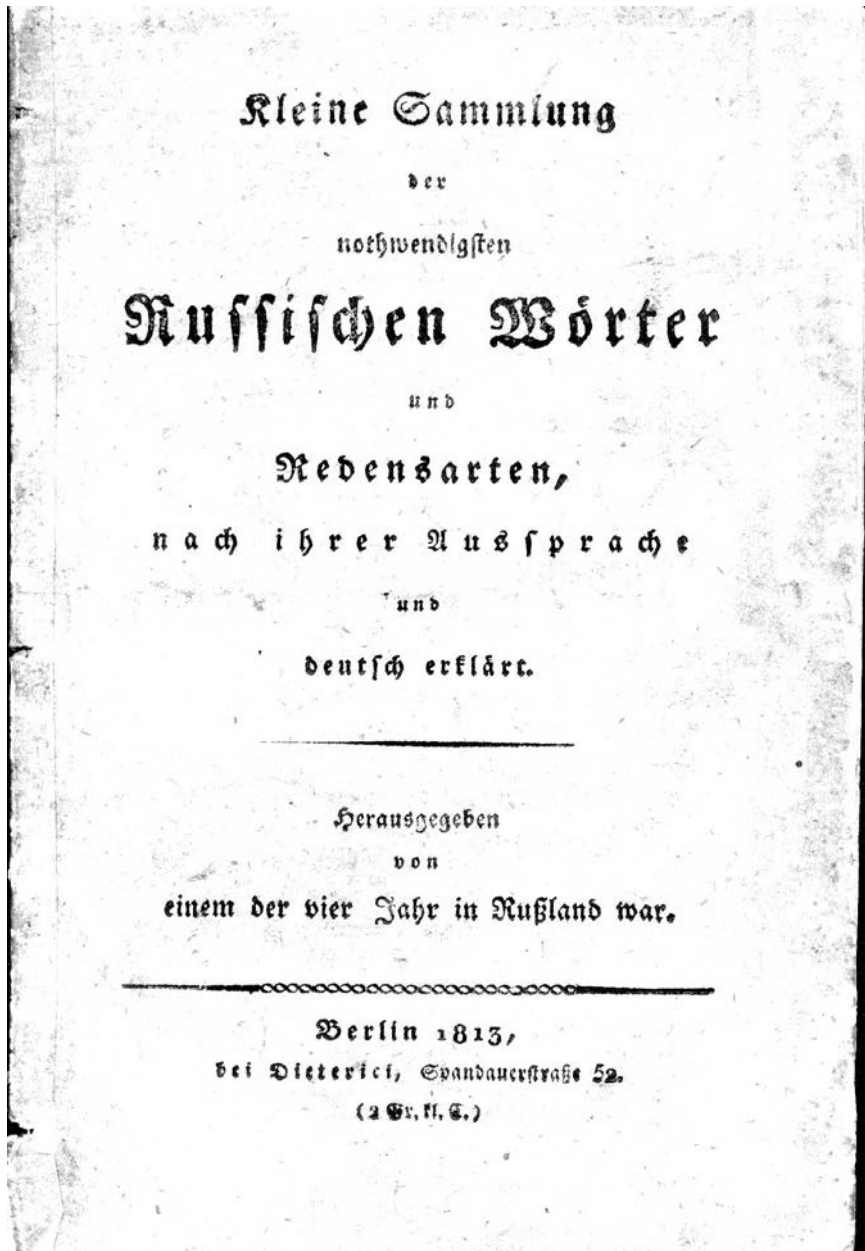


Abb. 1: Titelblatt. Quelle: s. Lvz.

GHC A 109 2:EX.		A 101	
I. Bedürfnisse zum Essen und Trinken.			3
Chlaba	Brod.	Kübl	Fische.
Piva	Vier.	Seld	Hering.
Bada	Wasser.	Wjaso	Fleisch.
Wobka	Branntwein.	Taletini	Kalbfleisch.
Wino }	Wein.	Solentni	Salz- und Pökelfleisch.
Kenoski }		Sawodlni	Rindfleisch.
Maslo	Butter und Öl.	Swinutni	Schweinefleisch.
Sir	Käse.	Bertschina	Speck.
Sol	Salz.	Kasok	ein Stück.
Ukus	Essig.	Kusok Taletini	ein Stück Kalbfleisch u. s. w.
Perez	Pfeffer.	Kusok Sira	ein Stück Käse.
Inbie	Ingber.	Kalbas	Wurst.
Sarschka	Senf.	Stoffel	Bratwürste.
Chren	Meerrettig.	Dorok	Schinken.
Lut	Zwiebel.	Scharfoe	Braten.
Lufowja	Zwiebeln.	Plätch	ein Hahn.
Schesnok	Knoblauch.	Gelus	eine Taube.
Sup	Suppe.	Kurja	ein Huhn.
Sorok	Erbsen.	Susch	die Gans.
Schetschewja	Linsen.	Uka	die Ente.
Proso	Hirse.	Tschel	Thee.
Sotshmennoja krupa	Gerstengraupen.	Mataka	Milch.
		Sachar	Zucker.
		Tabak	Tabak.
		Tabakierka	Tabaksdose.
		Jablok	der Apfel.
		Gruscha	die Birn.
		Wischni	Pflaume.

Abb. 2: Kleine Sammlung, Berlin 1813, S. [2]/3.

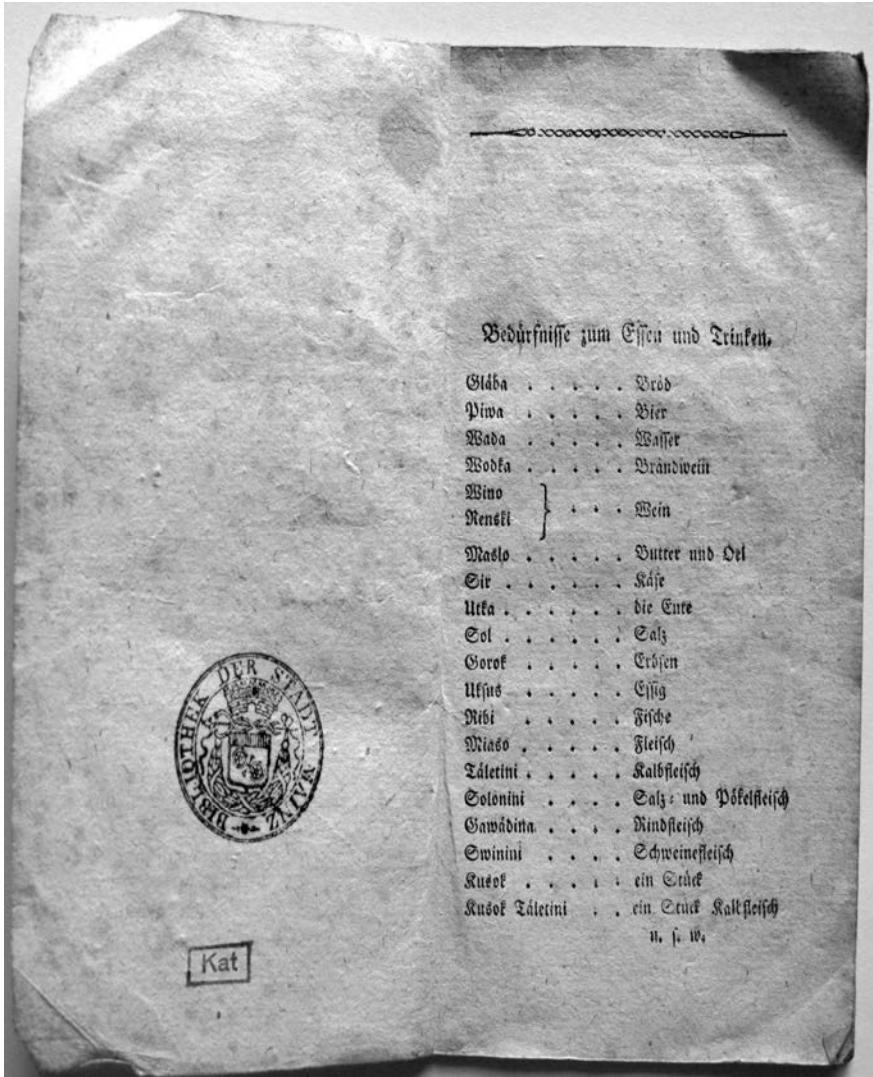


Abb. 3: *Kleine Sammlung*, Altona 1813, S. [3].

Bedürfnisse. Bier piwa	Suppen Szup
Brandwein Wodka	Taback tabak
Butter und Del maslo	Tabacksdose tabakierka
Ente, die, utka	Taube Golub
Erbfen gorok	Thee tschei
Essig uksus	Wasser Wada
Fische ribi	Wein Wino (renski)
Fleisch Mäszo	Wurst Kalbas
— Kalb Kuszok täletini	Zucker Szacher
— pöfel, ein Stück, Kuszok	Verg, der, gora
Szolonini	Brücke, die, most
— rind, ein Stück, Kuszok	Buch, das, Kniga
gawädina	Dieb, der, Wor
— schwein Kuszok Swinini	Ducaten, einen, tscherwonez
Feuer Agon	Eisen Scheleso
Gans, die, gus	Festung, die, Kräpost
Här ng Szeld	Forderung, die, trebowanie
Huhn Kuriza	Früchte. Apfel, der, iablok
Käse Szir	Birne, die, gruscha
Milch Malaka	Pflaumen wischni
Pfeffer peritz	Weintrauben Winogradi
Salz Szol	Geld dengi
Sand pesok	— kupfer, medni dengi
Senf gartschitza	Gold Soloto
	Gulden gulden

Abb. 4: Exemplar SUB Göttingen = Rubrickwörterbuch, Augsburg 1799, S. [1]

Johannes Reinhart

Wie alt ist die altkroatische Übersetzung der *Regula Benedicti*?

Die Mönchsregel des hl. Benedikt von Nursia (ca. 480–547; CPL: 600 f. Nr. 1852) ist im ersten Drittel des 6. Jahrhunderts auf der Grundlage der *Regula magistri* (CPL: 603 f. Nr. 1858) entstanden (vgl. VL ²1978, DE VOGÜÉ 1995). Die *Benediktinerregel* wurde in eine Reihe von Sprachen übersetzt: Altenglisch (10. Jh.; Übersetzung durch den hl. Aethelwold, Bischof von Winchester, †984),¹ Mittelenglisch,² Althochdeutsch (um 800; Interlinearversion³), Mittelhochdeutsch,⁴ Mittelniederländisch,⁵ Altfranzösisch (13. Jh.),⁶ Katalanisch (1519),⁷ Griechisch (auszugsweise; Handschrift aus dem 12. Jh.⁸), Armenisch (12. Jh.)⁹ und Altkroatisch bzw. Kroatisch-Kirchenslavisch. In diesem Beitrag zur Festschrift für Herrn Prof. Helmut Keipert soll die altkroatische Übersetzung der *Benediktinerregel* behandelt, und besonders der Frage nachgegangen werden, wie alt diese Übersetzung ist.

Die altkroatische¹⁰ *Benediktregel* ist in einem einzigen Pergamentkodex aus dem Ende des 14. Jh. überliefert. Die Handschrift, die 60 Blatt umfasst und das Format 17,2 x 12,8 cm besitzt, stammt aus dem Benediktinerkloster der hll. Kosmas und Damian in Tkon (nahe von Čokovac auf der mitteldalmati-

1 Vgl. WELLS ⁶1937: 365 f., 820; GRETSCH 1973.

2 Vgl. WELLS ⁶1937: 365 f., 820.

3 S. VL ²1978: 704–706; KARTSCHOKE 1990: 99 f. Edition in: von STEINMEYER ³1971: 190–289.

4 Vgl. PETRI/CREAN 1981; SIMMLER 1989. – PETRI und CREAN (1981: 151) zählen 70 Handschriften auf, von denen 16 ediert vorliegen. SIMMLER (1989: 139) erwähnt bereits 139 vollständige Textexemplare und dreizehn Fragmente. Vgl. auch VIZKELETY 2005.

5 Vgl. COUN 1981.

6 Vgl. DEAN/LEGGE 1964: 104, 107.

7 Vgl. ALBAREDA 1929.

8 Vgl. HANNICK 2006/07: 187.

9 Vgl. *ibid.*

10 Die Sprache der kroatischen Benediktregel enthält neben volkssprachlichen Elementen auch solche der kroatisch-kirchenslavischen Sprache (z. B. die Endung *-ši* in der 2. Person Singular oder die Endung *-t* in der 3. Person Singular und Plural), repräsentiert also einen Mischtypus. Trotzdem will ich sie »altkroatisch« nennen.

nischen Insel Pašman)¹¹ und liegt heute im Archiv der Kroatischen (früher: Jugoslawischen) Akademie in Zagreb (Signatur HAZU I a 74; vgl. ŠTEFANIĆ 1970: 85–90). Die Handschrift beinhaltet neben der *Regel* (fol. 1r–50r₉) zwei rituelle Texte (fol. 50r₁₀–51v₁₀: Vorschriften über Zusammenkünfte der Mönche im Kapitel; fol. 51v₁₁–54v: Aufnahmeeritus für Novizen), ein Inhaltsverzeichnis von späterer Hand (fol. 55r) sowie einen Kalender (fol. 56r–60v). Jedoch geht man in der Forschung davon aus, dass die Übersetzung der *Regel* aus dem Lateinischen viel früher geschah als die Abschrift. Dafür werden einerseits sprachliche Gründe geltend gemacht, andererseits wird argumentiert, dass die Mönche 1129 vom dalmatinischen Festland in der Nähe von *Biograd na moru* auf die Insel Pašman übersiedelt seien.¹²

Bei näherer Betrachtung gibt es eine Reihe von Gründen, die sich dieser Frühdatierung der Übersetzung entgegenstellen.¹³ Dies ist einmal die Sprache der kroatischen *Regel*, die eher ins 14. Jh. zu passen scheint. Dazu kommt, dass viele Schriftzitate eine jüngere Gestalt dieser Verse bezeugen. Als dritter, bisher nie berücksichtigter Grund ist das lateinische Original der *Regel* in Betracht zu ziehen. Als Vorlage der kroatischen Übersetzung kommt nur die zisterziensische Redaktion der *Benediktregel* in Frage, die nicht früher als im 12. Jh. entstehen konnte (der Zisterzienserorden wurde erst Ende des 11. Jh. gegründet).

Beginnen wir mit dem letzten der drei Gründe, der lateinischen Vorlage der altkroatischen *Regula Benedicti*.¹⁴ Ein Vergleich des »Normaltextes« der *Regel* mit der zisterziensischen Redaktion, die in einer kritischen Edition von Eugène MANNING seit 1966 vorliegt,¹⁵ ergibt zweifellos die Abhängigkeit des kroatischen Textes von dieser Redaktion. Ich teile im Folgenden eine Auswahl von Stellen mit, aus der diese Tatsache zu ersehen ist:

11 Zum Kloster vgl. OSTOJIC 1964: 221–234 (Sv. Kuzma i Damjan na Pašmanu).

12 Vgl. PAVIĆ 1875: 63 (11. Jh.); OSTOJIC 1960: 20 ff. (11. Jh.); 1965: 367 (»da je prvi prijevod regule nastao u nekom našem primorskom samostanu u XII, a možda još i u XI stoljeću«); WIEHL 1973: 41 (»die Übersetzung [...] im 12. oder vielleicht schon im 11. Jahrhundert entstanden ist«); HERCIGONJA 1997: 385 (»najvjerojatnije u ranom XII. stoljeću«); DAMJANOVIĆ 2005a: 87 (»s mnogo starijega predloška«), 2005b: 141 (»stariji od XII. stoljeća«); HANNICK 2006/07: 188 (12. Jh.); NIKOLOVA 2009: 76.

13 Kritisch zu der Ansicht von einer frühen Übersetzung äußerte sich die Historikerin Nada KLAIĆ (*1975; 419 m. Fn. 51): »Mišljenje da je rogovska opatija osnovana kao glagoljaška, nema, čini se, dovoljno opravdanja. – S obzirom na sve što je rečeno o radu reformnoga koncila u Splitu i o dolasku papinskih poslanika u Dalmaciju nemoguće je zamisliti da je rogovska opatija »osnovana kao glagoljaška« (vgl. OSTOJIC 1960: 19).

14 Editionen: PAVIĆ 1875, OSTOJIC 1965: 369–427 (lateinische Umschrift), 431–533 (Faksimileedition), *Regula* 1985 (Faksimileedition).

15 Einen Überblick über die Handschriften der zisterziensischen Redaktion der Benediktregel bietet MANNING 1964. – Auf die zisterziensische Redaktion machte bereits Rudolf HANSLIK (1960: LXIX) in seiner Edition aufmerksam. Die zisterziensische Redaktion ist freilich schon fast hundert Jahre vorher ediert worden, vgl. GUIGNARD 1878.

- 1a₁: Početakъ regulě i prologa. s(vetag)o Benedikta op(a)ta – [0.0, Prologus: Benedicti regula] – INCIPIT PROLOGUS REGULE SANCTI BENEDICTI ABBATIS (MANNING 1966: 218);
- 2a₁₈: tekuće – 0.22: curritur – currendo (*ibid.*: 219);
- 4a₁₄₋₁₅: iz'učeni sut' – 1.5: extracti – instructi (*ibid.*: 220);
- 7a₁₈: tv'rđosr'de – 2.28: duros – duros corde (*ibid.*: 222);
- 10b₆: gizdē i hv(a)len'ě – 4.69: elationem – elationem et iactantiam (*ibid.*: 225);
- 23a₁₇: naěmь – 35.2: merces et caritas – merces (*ibid.*: 243);
- 23b₂₁: Izlizuće – 35.16: Egrediens – Egredientes (*ibid.*: 244);
- 25b₁₇₋₁₈: ed'nogo – 39.2: ex illo – ex uno (*ibid.*: 246);
- 26a₁₅₋₁₆: skrozi zališno ob'jidanьe i pitьe – 39.9: crapula (Lc 21.34) – in crapula et ebrietate (*ibid.*: 246);
- 27a₅₋₆: da brez' mrmra budite bratiě – 40.9: ut absque murmuratione sint fratres – ut absque murmurationibus sint (*ibid.*: 247);
- 27b₃₅: v' ednomь městi – 42.3: in unum – in uno loco (*ibid.*: 247);
- 28a₆: pritacite – 42.7: Ø – occurrat (*ibid.*: 248);
- 29a₇₋₈: A na vrime oběda – 43.13: Ad mensam autem – Ad horam vero refectio nis (*ibid.*: 248 f.);
- 36a₄: O^t oditeli br(a)t(i)e – 55.0: DE VESTIARIO ET CALCEARIO FRATRUM – DE INDUMENTIS FRATRUM (*ibid.*: 254);
- 37b₁: zapovi – 57.1: permiserit – iusserit (*ibid.*: 255).

Eine wichtige Übereinstimmung der altkroatischen *Benediktregel* mit der zisterziensischen Redaktion ist die Zitierung der Anfangsworte der Psalmen im 10. und weiteren Kapiteln (vgl. OSTOJIĆ 1965: 391 m. Fn. 2 und MANNING 1966: 232 ff.).

Bei den Schriftziten beobachten wir solche, wo der lateinische Text der *Benediktusregel* vom Bibeltext abweicht, eine relativ große Anzahl von Stellen, bei denen eine wörtliche *ad-hoc*-Übersetzung vorliegt, und schließlich Bibelzitate, die mit dem kroat.-ksl. Text eines liturgischen Buchs (Brevier oder Missale) übereinstimmen. Zitieren wir für jede dieser drei Varianten einige Beispiele.

Unterschiede zwischen dem lateinischen Text der *Regel* und dem lateinischen Bibeltext:¹⁶

- 14v₁₆₋₁₈: На (!) насъ nevrědnihъ i v' z(ь)lomь děli ispračeniň. niki hipь v'zgleđa b(og)ь. – ne nos declinantes in malo et inutiles factos aliqua hora aspi ciat Deus (Ps 13.3: omnes declinaverunt simul inutiles facti sunt);
- Sin*: **ВЪСИ ОУКЛОНИША СЪА ВЪКОУПѢ НЕКЛЮЧИМЪ БЪШИМЪ НѢСТЪ ТВОРИМЪ БЛАГО СЪТИМЪ НѢСТЪ ДО ЕДИНОГО:**
- Lob*: Vsi ukloniše se vkuř i něključimi biše, něstvore (!) bl(a)gostině něst' do edinogo.

16 Diese Fälle wurden genau im Aufsatz von NIKOLOVA (2009: 73 f.) besprochen.

- 1708-9: poniženъ esamъ i umilenъ savsima. – Incurvatus sum et humiliatus sum usquequaque (Ps 37.7,9 & 118.107; 37.7: miser factus sum et curvatus sum usque ad finem; 37.9: adflictus sum et humiliatus sum nimis);
- Sin:* (37.7) **Пострадахъ ꙗ съльахъ съа до конца: (37.9) Озълбленъ бѣхъ ꙗ съмѣрихъ съа зѣло:**
- Lob:* Postradaхъ i sleh se do konca, vasъ d(ь)нъ setue hoždah'. – Ozloblen' bihъ i smerih se zelo, i rikah' ot vzdihaniě sr(ьdь)ca moego.

Die wörtlichen Übersetzungen sind häufig. Hier soll nur eine begrenzte Auswahl zitiert werden:

- 14r₂₀₋₂₂: Rastlēše se i omraziše se v svoihъ *volabъ*. – Corrupti sunt et abominabiles facti sunt in *voluntatibus* suis (Ps 13.1);
- Sin:* **растлѣшиа ꙗ омразишиа съа въ начинанъихъ**
- Lob:* Rastlēše se i omraziše se v *načinanihъ*.
- 17r₅₋₆: mužъ *žičanъ* na z(e)mli. ne budetъ bezъ grěhъ. – vir *linguosus* non dirigitur super terram (Ps 139.12);
- Sin:* **Мужъ оустатъ не исправитъ съа на земли**
- Lob:* Mužъ *ustatъ* ne ispravit se na z(e)mli [...].

Am interessantesten sind diejenigen Zitate, bei denen eine Übereinstimmung mit dem kroat.-ksl. Text der liturgischen Bücher vorliegt:¹⁷

- 14v₉₋₁₁: G(ospod)ъ s n(e)b(e)se priniče na s(i)ni *č(lověčъ)skie*. viditi esu li mudri. – Dominus de coelo semper respicit super filios hominum, ut videat, si est intelligens aut requirens Deum (Ps 13.2: Dominus de caelo prospexit super filios hominum ut videat si est intellegens ÷ aut: requirens Deum);
- Sin:* **Гъ съ нѣси прине на сѣи члчъа видѣти бшге естъ разоумѣваам ꙗ възискамъ бѣ:**
- Lob:* G(ospod)ъ s n(e)b(e)se priniče na s(i)ni *č(lověčъ)skie*, videti ače estъ razumevae li vziskae b(og)a.
- 2r₁₉₋₂₂: G(ospod)i kto *obitati v'čnet'* v žiliči s(ve)těemъ tvoem'. ili k'to vselit se v gorě s(ve)těi tvoei. – Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo, aut quis requiescet in monte sancto tuo? (Ps 14.1);
- Sin:* **Гꙗ кѣто обитаетъ въ жилишти твоимъ: ꙗ кѣто въселитъ съа въ сѣтѣи горѣ твои:**
- Lob:* G(ospod)i kto *obitati vačnětъ* v žiliči tvoemъ, ili kto vselit se v gore (ve)těi tvoei?¹⁸

17 NIKOLOVA (2009: 78 f.) bespricht die Übereinstimmungen zwischen Psalmenzitate im kroatischen Text der Regel und dem aksl. *Psalterium sinaiticum*. Da sie jedoch von den kroatischen Psalterien nur den kommentierten *Frašćić-Psalter* (1463) heranzieht, entgegen ihr die Übereinstimmungen der Regel mit den übrigen kroat.-ksl. Psalterien.

18 Dieser Vers wurde bereits von Christian HANNICK (2006/07: 192) besprochen.

- 2v₂₋₇: iže hodiť bes poroka dělae prav(ь)du. g(lago)le istinu v srci svoem'. Iže ne ulastit' žzikom' svoim'. ni stvori iskrnemu svoemu si z(ь)la. I ponošeně ne priě na bližnago svoego. – Qui ingreditur sine macula et operatur iustitiam; qui loquitur veritatem in corde suo et non egit dolum in lingua sua; qui non fecit proximo suo malum; qui opprobrium non accepit adversus proximum suum (Ps 14.2–3);
- Sin*: ХОДЬ БЕС ПОРОКА ДѢЛАЯ ПРАВЪДЖ ГЛЪА ИСТИНЖ ВЪ СРЪДЦИ СВОЕМЪ ИЖЕ НЕ ОУЛЪСТИТЪ ЖЗЪКОМЪ СВОИМЪ: НИ СЪТВОРИТЪ ИСКРЬНОМОУ СІ ЗЪЛА: ПОНОШЕНЬЕ НЕ ПРИАТЪ НА БЛИЖНЯ СВОЯ
- Lob*: Hode bes poroka delae pravdu; g(lago)lě istinu v sr(ьdь)ci svoem'. Iže ne ulasti žzikom' svoim', ni stvori iskr'němu svoemu si zla. I ponošeně ne priěť na bližnee svoje.
- 1v₁₃₋₁₅: Pridite čeda poslušajte *me* strahu g(ospodь)nju nauču vas'. – Venite, filii, audite me, timorem Domini docebo vos (Ps 33.12);
- Sin*: ПРИДЪТЕ ЧЕДА ПОСЛОУШАИТЕ МЕНЕ. СТРАХОУ ГНЮ НАУЧЖ ВЪИ:
- Lob*: Pridete čeda poslušajte *me*, strahu g(ospodь)nu nauču vi.
- 24r₃₋₅: B(ož)e na pomoč' m(ь)ně budi. G(ospod)i na sp(a)s(e)nie m(ь)ně *pospěši se*. – Deus, in adiutorium meum intende, Domine, ad adiuvandam me festina (Ps 69.2);
- Sin*: БЖЕ ВЪ ПОМОШТЬ МОЖ ВОНЪМИ Г ПМОШТИ МНЪНЪ ПОТЪШТИ СЯ
- Lob*: B(ož)e v pomoč' moju vanmi, g(ospod)i k pomoči mně *pospěši se*.
- 24r₁₁: Nemočanь bihь. *pohodiste me*. – Infirmus fui, et visitastis me (Mt 25.36)]
- Vat*₄: boln běh i posěstiste me.]
- = Roč, Nov, Lj162, 2Vrb, Nvlj (om. *me*) Pt]
- Berl*: Bolanь b(ě)hь. i *pohodis'te me*.] = Lj164, Vat8, Oxf349, NY]
- Oxf*₃₇₃: Nemoč(a)нь běhь. i pohodiste me.

Die zahlreichsten Schriftzitate der *Benediktusregel* stammen aus dem Psalter. In den oben angeführten Psalterzitate stimmt die kroatische *Benediktusregel* mit den kroat.-ksl. Psalterien (*Lobkowicz-Psalter* aus dem Jahr 1359 und *Pariser Psalter* cod. slave 11 aus dem 14. Jahrhundert; beide ediert bei VAJS 1916) überein, weicht jedoch vom Text des aksl. *Psalterium Sinaiticum* ab. Die kroat.-ksl. Psalterien wurden im Laufe ihrer Geschichte redigiert. Diese Redaktion wurde ausführlich von Matija VALJAVEC (1889, bes. auf S. 35–53) beschrieben. Oft handelt es sich um eine Angleichung an den lateinischen Psaltertext des Breviers. Daneben kommen auch andere – lexikalische und syntaktische – Veränderungen vor. Für die Frage der Entstehungszeit der Übersetzung der altkroatischen *Benediktusregel* wäre es wichtig zu wissen, wann diese Redaktion des kroat.-ksl. Psaltertextes stattgefunden hat. In einem einzigen Fall können wir die Chronologie um ein Jahrhundert, ins 13. Jahrhundert, hinaufverlegen, da die oben zitierte Variante *pospěšiti se* statt aksl. *potěšati se* (Ps 69,2) bereits in dem im Missale von Roč beigebundenen Brevierfragment belegt ist (vgl. PAN-

TELIĆ 1993: 100; *aRoč* 1d₃₀; Faksimileaufnahme auf S. 130). Die Zeit der Redaktion lässt sich aber noch um ein weiteres Jahrhundert hinaufverlegen. Eine Revision der Schriftperikopen des kroat.-ksl. Missales fand vermutlich im 12. Jahrhundert statt, da einige dieser Veränderungen bereits in der Matthäuspassion der Pergamentstreifen von Baška vorkommen (vgl. REINHART 1989/90; 1990). Nun stimmen aber einige lexikalischen Ersetzungen des Psalters mit denjenigen des Messbuches überein, vgl. z. B.:

- Ps 10.1: *glagolati – rešti* (~ Missale: Gen 22.11; Ioel 2.17; Mt 10.27; Lc 2.15, 6.39, 12.3, 18.9, 22.8; Ioh 7.38, 8.6,12, 18.21,22, 21.6; Act 8.26; 2 Th 2.4; Hbr 9.3);
 Ps 28.9: *glagolati – vžglagolati* (~ Missale: Is 49.9; Mt 10.19; Ioh 14.30, 16.25; 1 Cor 13.1);
 Ps 65.16: *slīšati – uslyšati* (~ Missale: Mt 24.6; Ioh 11.6,20,29,41, 16.13; Iac 1.19);
 Ps 67.5: *tvoriti – sōtvoriti* (~ Missale: Zach 8.16; Lc 16.9; Ioh 2.5, 15.2; 2 Tim 4.5);
 Ps 69.2: *pospēšiti – potōštati se* (~ Missale: *pospēšati se – potōštati se*, Lc 19.5,6);
 Ps 89.2: *prēžde neže – prēžde daže ne* (~ Missale: Gen 27.7,10; Ier 1.5, Mt 26.34,75; Mc 14.30,72; Lc 2.21,26, 22.15; Ioh 1.49, 4.49, 8.58, 14.29, 17.5; Act 2.20);
 Ps 104.4: *iskati – vžziskati* (~ Missale: Is 1.17);
 Ps 117.26: *přiti – grēsti* (~ Missale: Mt 16.28, 21.5, 23.39; Lc 14.17,26; Ioh 1.30, 3.21, 6.37, 11.27, 14.30).

Auf Grund dieser Übereinstimmungen kann man auch die Redaktion des kroat.-ksl. Psaltertextes ins 12. Jh. verlegen. Beide bisher besprochenen Kriterien, der lateinische Vorlagetext der kroatischen *Benediktusregel* sowie die Schriftzitate, bieten verlässliche Anhaltspunkte dafür, dass die Übersetzung nicht früher als im 12. Jh. stattgefunden hat, vermutlich aber sogar später.

Wie stellt sich die sprachliche Charakteristik der *Benediktusregel* dar? Der Wortschatz passt sicher besser in das 14. als in das 12. Jh. Eine Reihe von Wörtern taucht im Rahmen der kroat.-ksl. Texte gerade das erste Mal in der *Benediktusregel* auf bzw. ist sonst in keinem anderen Text belegt. Ich muss mich hier auf eine Auswahl beschränken.¹⁹ Sehen wir uns folgende Lexeme an: *čedьnь* (RegBen), *gizda* (Br, CIvan, CVinod, CTkon, RegBen),²⁰ *gizdati se* (RegBen),²¹ *gizdavь* (BrVO, 2 Macc 2.31; CVinod, CAC),²² *hipь* (RegBen), *hipьсь* (RegBen), *hrьlostь* (RegBen, BrN₂), *karba* (RegBen, BrVat₅, CPet), *karbnikь* (RegBen: 1x), *krušьсь* (RegBen: 1x), *kučina* (RegBen), *kurbovati* (RegBen), *kvary* (RegBen), *ljubostь* (RegBen, BrVO), *mrьmьnēti* (RegBen; cf. *mrьmьna-*

19 Ich konnte einige Male die Kartothek des kroatisch-kirchenslavischen Wörterbuchs des Staroslavenski institut in Zagreb zur Überprüfung des Wortschatzes der Benediktinerregel benutzen, zuletzt am 22. Dezember 2010. Für die Erlaubnis zur Benutzung der Kartothek danke ich der Direktorin des Instituts, Frau Dr. Marica Čunčić, herzlich.

20 RCJHR 13: 149.

21 *Ibid.*: 150.

22 *Ibid.*: 149.

nie: BrBar), *nakora* (RegBen; cf. *nakoritъ*: RitAc BrBar), *neposluhъ* (RegBen, BrVat₆, BrVO), *odětelъ* (RegBen: 2x), *skrozъ* (RegBen, CIvan), *skula* (RegBen, BrVat₅; cf. *skulъnъ*: BrN₂, BrLj, MNov), *smokъ* (RegBen, BrBar).

Eine interessante Gruppe von Wörtern stellen einige Germanismen dar: *hipъ* »Augenblick, Moment, kurze Zeit«, *smokъ* »Speise« und *vilabanъ* »(Lein-)Tuch«. Alle drei Wörter sind im Kroatischen das erste Mal in der *Benediktinerregel* belegt, ja, diese Wörter begegnen in den slavischen Sprachen überhaupt das erste Mal in diesem Text. *Hip* besteht nicht nur im Kroatischen,²³ sondern auch im Slovenischen.²⁴ Die Entlehnung aus dem Deutschen ist deswegen schwierig, da das Wort *Hieb* im Deutschen erst seit dem 15. Jh. auftaucht.²⁵ Neben einer deutschen Entlehnung wurde auch onomatopoetische Herkunft erwogen.²⁶ – Das Wort *smok* heißt im Kroatischen oft »Zuspeise«. Es ist im älteren Kroatischen gut belegt,²⁷ daneben auch im Slovenischen. Neben der Entlehnung aus dem ahd. *smac/smak*²⁸ (*a* > *o* zeugt von hohem Alter der Entlehnung) wurde auch onomatopoetische Herkunft oder Rückbildung aus dem Präfixverb **sъ-močiti* erwogen.²⁹ – *Vilaban* ist um einige Jahrhunderte später auch in zwei nordkroatischen Urkunden (1558 aus der Nähe von Topusko, 1588 aus Varaždin), bei einigen Lexikographen (Habdelić, Vitezović und Belostenec) und bei einem Schriftsteller des 18. Jh. (Mulih) belegt.³⁰ In dem Wort hat bereits MIKLOSICH eine Entlehnung aus dem Althochdeutschen erkannt.³¹ MIKLOSICH nimmt als Grundform des kroat. *vilaban* ahd. »willahan« an. Dies soll ein Kompositum aus dem lat. Lehnwort *wil* (< *velum*)³² und aus ahd. *labhan* sein. Das Problem dabei ist, dass ein solches Wort nicht bezeugt ist. Bezeugt ist in ahd. Glossen *līb-labhan* »Leintuch«³³ (*līb* »Leib, Körper«) bzw. mhd. *līnlachen*, *līlachen*, *-lach* »Bettuch«.³⁴ Das mittelhochdeutsche Vorderglied ist eine Adideation an das Wort *līn* »Leinen«.³⁵ Um der Ableitung von einem unbelegten Wort zu entgehen, scheint es ratsam, eine Dissimilation von **lilaban* zu *vilaban* anzu-

23 RHSJ III: 606 f., s. v. *hip*¹. Der erste Beleg wird aus dem 15. Jh. angeführt, d. h. dass damals die *Benediktinerregel* noch nicht wie in den späteren Bänden exzerpiert worden war.

24 STRIEDTER-TEMPS 1963: 136; BEZLAJ I: 193.

25 KLUGE ²⁴2002: 411, s. v. *Hieb*.

26 SKOK 1971: 667; BEZLAJ I: 193.

27 RHSJ XV: 755–757, s. v. *smok*¹.

28 SCHÜTZEICHEL ⁶2006: 319.

29 BEZLAJ III: 225, s. v. *smok* II (Autor: Marko Snoj).

30 RHSJ XX: 889, s. v. *vilaban*.

31 MIKLOSICH 1886: 169, s. v. *lilabenū*. Ebenso BERNEKER I: 721, s. v. *lilabən*.

32 SCHÜTZEICHEL XI: 138: <wīl> »Schleier«; *id.* ⁶2006: 416.

33 *Id.* VI: 87; ⁶2006: 214.

34 LEXER ³⁸1992: 148. – Das Slovenische kennt auch *lilaben*, vgl. STRIEDTER-TEMPS 1963: 169; BEZLAJ II: 141.

35 Vgl. PFEIFER 1989: 966, s. v. *Laken*.

nehmen. Der Entlehnzeitpunkt ergibt sich aus der spät-mhd. bzw. früh-nhd. Diphthongierung des *ī* zu *ei*, die im Südbairischen ab dem 12. Jh. beginnt.³⁶

Ein Wort, das nur in jüngeren Denkmälern des Kroatischen zu belegen ist, ist die Präposition *ot* (+ Genitiv) in der Bedeutung »über«, was wahrscheinlich eine Lehnbedeutung nach lat. *de* bzw. ital. *di* ist. An Beispielen für die Präposition *ot* (+ Genitiv) in der Bedeutung »über« seien auswahlweise folgende angeführt:

- 2*v*₁₂: o^t svoi^hь do^{bri}hь d^ěl^ь ne vznoset se gr^dinju. – de bona observantia sua non se reddunt elatos;
- 2*v*₁₉: Ěkože i P(a)v(a)l^ь ap(osto)l^ь o^t propovidan^ě svoego. sebe ne veličaše. – sicut nec Paulus apostolus de praedicatione sua sibi aliquid imputavit;
- 4*v*₂₁: o^t nihže vsi^hь si^hь uboga žiti^ě. Bole e(st^ь) m^lčati (s^r) nereli govoriti. – De quorum omnium horum miserrima conversatione melius est silere quam loqui;
- 7*v*₂₀: o^t kih mu e b(og)u račun' v'zdati. – (animas [...]) de quibus rationem redditurus est;
- 11*r*₁: Ot poniženⁱě – DE OBEDIENTIA;
- 11*r*₁₀: l^ěni nisut^ь v' do^{bri}hь d^ěli^hь o^t kih^ь g(ospod)l^ь govorit^ь. – moram pati nesciant in faciendo. De quibus Dominus dicit [...];
- 14*v*₂: O^t česa i pr(o)r(o)k^ь pravi g(ospod)u. – cum dicit propheta Domino;
- 15*r*₁₁: O^t togo pravi ap(osto)l^ь. – de quo dicit apostolus;
- 22*r*₁: O^t želez' – DE FERRAMENTIS;
- 24*r*₇: Ot nemočne brat'e – DE INFIRMIS FRATRIBUS;
- 30*r*₃: O^t tih' ki s'grišaju v službi – DE HIS QUI FALLUNTUR IN ORATORIO;
- 36*r*₄: O^t oditeli br(a)t(ě)e – DE VESTIARIO ET CALCEARIO FRATRUM (vgl.: DE INDUMENTIS FRATRUM);
- 41*v*₂₀: O^t popov' molstirskih' – DE SACERDOTIBUS MONASTERII;
- 42*v*₁₄: ere o^t vsi^hь d^ěl^ь i suda. ki bude tvoril^ь. račun^ь v^zdati mu e(st^ь) b(og)u. – quia de omnibus iudiciis et operibus suis redditurus est Deo rationem;
- 47*r*₉: O^tь bratie. ki na put^ě ot'ha^jaju – DE FRATRIBUS IN VIA DIRECTIS.

In dieser Bedeutung überwiegt in der *Benediktregel* die Präposition *ot*, obwohl auch Beispiele mit der älteren und gemeinslavischen Präposition *o* (+ Lokativ) vorkommen. Es seien einige Beispiele mit *o* angeführt:

- 6*v*₇₋₈: o vsakom' redu – de cuiuslibet ordine;
- 8*v*₁₀₋₁₂: o vsakom^ь d^ěli i riči meštar'stva. S(ve)te regule se držite. – In omnibus igitur omnes magistram sequantur regulam;
- 10*v*₁₁₋₁₂: O b(o)žiei m(i)l(o)sti upvani^ě nikadare ne ostaviti. – Et de Dei misericordia numquam desperare;
- 11*r*₁₀₋₁₁: o glas^ě ušnom^ь poslušajut^ь mene. – Obauditu auris obedivit mihi (Ps 17.45).

36 PAUL 22¹⁹⁸²: 54 (§ 20).

Der Gebrauch der Konjunktion *otъ* in der Bedeutung »über« ist im Kroatisch-Glagolitischen nicht vor dem 13. Jh. zu belegen. Und auch zu dieser Zeit konnte nur ein einziges nicht ganz sicheres Beispiel im Homiliar von Ljubljana festgestellt werden:

Ljub (= *FgLab*₁) 2c₆₋₁₀: Nikoli se *ot* nego b(o)ž(ъ)stvъnago veličъstviē otvъžena vѣrujuči. – nequaquam se *de* eius divina maiestate ambiguum docet (PANTELIĆ 1993: 113, 142).

Weitere vereinzelte Beispiele für die Konjunktion *otъ* in der Bedeutung »über« bieten die Missalien ab dem 14. Jh. Diese Beispiele sind einerseits in der Sprache der Rubriken belegt,³⁷ die größere Nähe zur Volkssprache aufweisen, andererseits kommen auch sonst seltene Beispiele vor:

Vat4 (5. Fastenmittwoch) o^t sebe da g(lago)letъ] = *Lj162, Nov, Oxf373, Oxf349*] *Zogr* o cεε^тъ] = *Roč, Lj164, Vat8, Nvlj, Berl, NY, Pt*] *Brib*: lacuna – de se loquatur (περὶ ἑαυτοῦ).

In der Syntax ist die Konjunktion *da* in Aussagesätzen als jüngere Erscheinung zu belegen. Relativ spät tritt in den westsüdslavischen Sprachen die Verwendung von *da* in Aussagesätzen auf. Im Altkirchenslavischen fehlen sichere Beispiele.³⁸ Die ersten sicheren Beispiele stammen aus den Freisinger Denkmälern:³⁹

Fris 1,8: I vueruiu *da* mi ie na zem zuete beusi iti se na on zuet. – Und ich glaube, daß ich, wenn ich auf dieser Welt gewesen bin, in jene Welt gehen soll (BS 48₁₁₁);

Fris 11,16: I pagi bratriia pomenem *ze da* i zinouue bosi naresem ze. – Und doch, Brüder, erinnern wir uns, daß wir auch Söhne Gottes heißen (BS 52₁₁₃);

Fris 111,7: To se uueruiu u Bog uzemogoki i u iega Zin i u Zuueti Duh *da* ta tri imena <sunt> edin Bog. – Auch glaube ich an Gott den Allmächtigen, und an Seinen Sohn, und an den Heiligen Geist, daß diese drei Namen ein Gott sind (BS 60₁₁₇).

Darauf folgt ein Beispiel aus der Urkunde von Povlja von 1250 (S. GRICKAT 1975: 160):

37 Z. B. *Vat4*, 1ra₆₋₇: o^t s(ve)tca spomenutie] *Nov*, 2ra₆₋₇: o^t s(ve)tca spomenenie.

38 S. GRICKAT 1975: 158 f. – Das Prager altkirchenslavische Wörterbuch nennt s. v. *да conj. et part.* unter der Teilbedeutung 4 (SJS 1: 454) neben einem Beispiel aus den Freisinger Denkmälern und einem aus der 1. Wenzelslegende (Hs. des 1. Breviers von Novi aus dem Jahr 1459; Parallel-Hs. hat jedoch *jako*) ein Beispiel aus den aksl. *Tetraevangelien Zographensis* und *Marianus* aus Mc 9.12: *І како естъ писано о с(ъ)нѣ ч(ловѣчъ)цѣмъ ꙗ да много постраждетъ і оуничьжатъ і – ἴνα πολλὰ πάθη καὶ ἐξουδενηθῆ.*

39 S. GRICKAT 1975: 159. Vgl. auch MIHALJEVIĆ 2003: 18–19 (4. izjavno *da*).

Povaljska listina, Z. 6–7: ТАКО ЕСЬМЬ СЛЫШАЛЬ: *Да з̄мле еже вы дръжите по коньцѹ кнеже: и жѹпане: есѹ были прѣе с̄таго ивана цр̄кве.* (MALIĆ 1987: 12).

In den kroatisch-glagolitischen Handschriften tritt es erstmals im Missale von Novak, im Missale *Vat. Illir. 4* und im *Borislavićev zbornik* von 1375–1379 auf.⁴⁰ Die Missalien kennen jedoch Belege nur aus den Rubriken (und Kolophon), wobei die von GRICKAT zitierten Sätze teilweise nicht einmal reine Aussagesätze sind, sondern auch zum Teil als Anordnung (vgl. lat. Original: »notandum quod [...]«) aufzufassen sind. Dem bei ihr angeführten Material lassen sich auch folgende Belege aus den Rubriken von *Vat 4* hinzufügen:

1ra₁₅₋₁₉: Navěčamo *da* prve n(e)d(ě)le o^t prišstva. đri očičena s(ve)te M(a)rie i o^t vskršena do osm' d(ь)ni po p(e)tikosteh' ne dēmo misu vь opčinu]

Nvk 2ra₁₅₋₂₀: v'zvěčamo *da* o^t pr've n(e)d(ě)le o^t priš'stiē daže po očičeni s(ve)te M(a)rie i o^t v'skršeniē do dz (= 8) d(ь)ni po p(e)tikosteh' ne dimo misu vь opčinu;

12rb_{30-12va}₂: Navěčamo *da* na mladēnci ne dēmo S(la)va vь višnih' b(og)u. ni al(e)lu.ē. *da* trahť poet se.]

Nvk: anders;

88rb₁₅₋₁₇: i navěčamo *da* o^t kogo ljubo ne govori se ne več edn(oga) verš(a)]

Nvk: I navěčamo *da* o^t koga ljubo ps(al)ma gl(agole)t se ne veče edin' v(e)rš';

110ra₁₄₋₁₇: Navěčamo *da* ki ljubo bl(a)gd(ь)n čto ljubo navlačno mьnka oficiē. iči o^t opčine s(ve)tihь.]

Nvk: anders;

110ra₂₈₋₃₁: Navěčamo *da* kьda ljubo na jutř(ь)ni bude spomenutie d(u)hovno o^t onoe budi spomenutie na misi.]

Nvk 109ra₁₅₋₁₉: Navičamo *da* kada ljubo bude na jutř'ni spomenutie d(u)h(o)vno o^t onogoje budi spomenutie na misi.

Die *Benediktregel* kennt bereits eine Reihe von Beispielen mit deklarativem *da*:

7r₁₃: kadi vidiši *da* shařajutь. – sed mox ut coeperint oriri;

7v₃₋₄: Viřь to *da* komu se veče vzdа. veče se hoče o^t nego. – (debet [...]) et scire, quia cui plus committitur, plus ab eo exigitur;

7v₁₂₋₁₄: *da* bole se radue *da* dobra stada pritekut'. – verum in augmentatione boni gregis gaudeat;

40 S. GRICKAT 1975: 160. – Das kroatisch-ksl. Wörterbuch (RCJHR 14: 242, s. v. *Da conj. et part.*, unter Nr. 4. *conj. declarativa*) nennt neben dem *Borislavićev (= Pariški) zbornik* weitere noch wesentlich jüngere Beispiele aus dem Sammelband von Žgombić (16. Jh.), dem Brevier *Vaticano Nr. 19* (15. Jh.) sowie den Sammelbänden von Berčić und von Oxford (beide 15. Jh.).

- 8r₄₋₆: I viǰь opate *da* ki si d(u)še priěľь pasti. pripravī se b(og)u računь o' nihь vzdati. – Sciatque, quia qui (vl.: Ø) suscipit (vl.: susceperit) animas regendas, parat (vl.: preparet) se ad rationem reddendam;
- 13v₁₈₋₂₀: Viǰь to č(lově)kь *da* b(og)ь s n(e)b(e)сь na vsaki hipь vь vsakomь městi ego děla vidi. – et aestimet se homo de coelis a Deo semper respici omni hora, et facta sua omni loco ab aspectu Divinitatis videri [...].

Daneben ist jedoch auch noch die in dieser Funktion ältere Konjunktion *jako* belegt:

- 3r₁₂₋₁₃: Ne vidiši li *ěko* krotostь b(o)žičь na pokačnie e(stь). – An nescis, quia patientia Dei ad poenitentiam te adducit? (Rom 2.4);
- 13v₇₋₉: *ěko* ti ki b(og)a ne pomene za svoje grěhi. v' oganь věčni vpadaju. – ut qualiter contemnentes Deum gehennam de (vl.: pro) peccatis incidunt [...];
- 16v₁₄₋₁₅: to bl(a)go m(b)ně *ěko* směril' me esi. – Bonum mihi, quod humiliasti me [...]. (Ps 118.71).

Die linguistischen Gründe, die für ein hohes Alter der Übersetzung in der Literatur angeführt wurden, überzeugen nicht. Verschiedene Archaismen glaubte Vjekoslav ŠTEFANIĆ (1970: 86) in seinem Katalog zu sehen. Einerseits verwies er auf die Schreibung der Endung des Akkusativ Plurals als *-ě* (Beispiel *uč(e)n(i)kě, 7r₃*). Die Endung *-e* des Akkusativs Plural (*masc. + fem.*) sowie des Genitivs Singular (*fem.*) der harten Stämme wird wirklich überwiegend mit *Jat* geschrieben, nicht jedoch die entsprechenden Endungen der weichen Feminina. Jedoch kann dieses *Jat* keineswegs der indirekte Reflex der ursprünglichen Endung *-y* sein. Im Westsüdslavischen begegnen die ersten Belege für die Endung *-e* in den Freisinger Denkmälern (1x *grěhe, 1x grěšnike, 1x zloděj-ne*). Im Serbokroatischen ist die Endung nicht vor dem 12. Jh. zu belegen (*Povelja bana Kulina, 1189: снлє; Grškovičev apostol, 12. Jh.: vь stьgne*). Auf der *Baščanska ploča* (Beginn des 12. Jh.) begegnet einmal der Reflex der alten Endung: *<тз>* (*< *ty*). Da die Übersetzung der *Benediktinerregel* jedoch nicht vor dem 12. Jh. entstanden sein kann, als es kein *-y* mehr gab, kann die Erklärung ŠTEFANIĆs nicht richtig sein, wir müssen die *Jat*-Endung als graphische, nicht sprachwirkliche Erscheinung interpretieren. ŠTEFANIĆ wies außerdem auf den archaischen Aorist *vznesь* (12v₂₁, Ps 130.2) hin. Jedoch findet sich diese Form auch noch viel später, z. B. im 2. Brevier von Novi aus den Jahren 1493–1495: *v'z'něsb* (314a₉). Irene WIEHL (1973; 1974: 137 f.) wies auf »Übereinstimmungen im Wortgebrauch« hin. Die zitierten lexikalischen Übereinstimmungen sind entweder banal (z. B. *oběť, oblastь, priimati, starostь, ugotovati, včěnyj životь, vьznenaviděti*), oder es handelt sich zwar um Archaismen (z. B. *neprijaznь*) bzw. regional gefärbte Lexik (*malomogy, ostati + Gen., ukloniti se + Gen.*), die jedoch ebenso nichts über das Alter der Übersetzung aussagen.

Auch die nicht wenigen Textverderbnisse, welche die altkroatische *Regel* aufweist und die in der Mehrzahl in der Edition von OSTOJIĆ vermerkt wurden, zeugen nicht von einem viel älteren Original der Übersetzung. Ich führe eine kleine Auswahl an:

3v ₉ :	složena (*služenně) – servitii
11v ₂₀₋₂₁ :	v'se (*veselo) danie – Hilarem datorem
13v ₂₀ :	Ačeli (*anjeli) – ab angelis
14v ₁ :	varuimo (*věruimo) – credamus

Die textologischen und sprachlichen Gegebenheiten sprechen also dafür, dass die altkroatische Übersetzung im 12., aber wahrscheinlich sogar erst im 13. Jahrhundert angefertigt wurde. Dies ließe sich gut mit einer historischen Tatsache in Verbindung bringen. Auf Veranlassung des Papstes Clemens IV. (1200–1268; Papst von 1265–1268) wurde im Jahre 1268 das Benediktinerkloster Čokovac von der Zisterzienserabtei Topusko in Kroatien aus reformiert und ihr unterstellt (OSTOJIĆ 1965: 211, 222). Es ist einleuchtend, dass die *Benediktinerregel* in ihrer zisterziensischen Redaktion zu dieser Zeit ins Alt-kroatische in glagolitischer Schrift übersetzt wurde. Dies schließt natürlich nicht aus, dass es schon vorher Übersetzungen der *Regel* ins Alt-kroatische bzw. Kroatisch-Glagolitische gegeben hat, von denen sich keine Spur erhalten hat. Möglich wäre es aber auch, dass die kroatischen Benediktinermönche die *Regel* in lateinischer Sprache gelesen haben.

Literatur⁴¹

1. Verzeichnis der abgekürzt zitierten Handschriften

Berl = Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. Ham. 444 (1402)

Brib = Arhiv HAZU (Zagreb), III b 3 (15. Jh.)

Lj162 = NUK, C 162^a/₂ (Beginn des 15. Jh.)

Lj164 = NUK, C 164^a/₂ (15. Jh.)

Nov = ÖNB, Cod. slav. 8 (1368)

Nvlj = Župni arhiv u Novom Vinodolskom [Pfarrarchiv in Novi Vinodolski] (1472–1493)

NY = Pierpont Morgan Library [New York], M 931 (15. Jh.)

Oxf349 = Bodleian library (Oxford), cod. Canonici liturg. 349 (15. Jh.)

Oxf373 = Bodleian library (Oxford), cod. Canonici liturg. 373 (1463)

41 Die im Prager altkirchenslavischen Wörterbuch (SJS I: LXII–LXX) verwendeten Abkürzungen wurden übernommen. Die Abkürzungen für Denkmäler, die im kroatisch-kirchenslavischen Wörterbuch exzerpiert wurden, entsprechen den dort verwendeten Abkürzungen (s. RCJHR I: XL–XLI: *Kratice izvora abecednim redom*), bei den Missalien wurden andere Abkürzungen verwendet.

- Pt* = Erstdruck des Missales von 1483
Roč = ÖNB, Cod. slav. 4 (Beginn des 15. Jh.)
Vat4 = BAV, cod. Borg. illir. 4 (vor 1387)
Vat8 = BAV, cod. Borg. illir. 8 (1435–1441)
2Vrb = Župni arhiv u Vrbniku [Pfarrarchiv in Vrbnik] (1463)

2. Lexika und Sekundärliteratur

- ALBAREDA 1929 = Albareda, A. M.: »Textos Catalans de la Regla de Sant Benet«, in: *Catalonia Monastica* 2, 9–109.
- BERNEKER = Berneker, E.: *Slavisches etymologisches Wörterbuch*, Bd. 1: A–L, Heidelberg 1908–1913 (= Indogermanische Bibliothek, I.2.2; Sammlung slavischer Lehr- und Handbücher, II. Reihe: Wörterbücher 1).
- BEZLAJ = Bezljaj, F.: *Etimološki slovar slovenskega jezika*, Knj. 1–3, Ljubljana 1977–1995.
- BS = *Brižinski spomeniki. Znanstvenokritična izdaja*, Ljubljana 1993 (= SAZU, Razred za filološke in literarne vede 39).
- COUN 1981 = Coun, Th.: »Die niederländischen Übersetzungen der Regula Benedicti 1373–1664«, in: RBS 6/7, 155–160.
- CPL = *Clavis patrum latinorum qua in corpus christianorum edendum optimas quasque scriptorum recensiones a Tertulliano ad Bedam, commode recludit E. Dekkers opera usus qua rem praeparavit et iuuit Ae. Gaar Vindobonensis, Steenbrugis* 1995 (= Corpus Christianorum, Series Latina).
- DAMJANOVIĆ 2005a = Damjanović, S.: »Glagolski oblici u glagoličnoj Reguli svetoga Benedikta«, in: Idem (ured.): *Drugi Hercigonjin zbornik*, Zagreb, 87–95.
- 2005b = Damjanović, S.: »Bilješke o jeziku glagoljaške benediktinske regule«, in: Tatarin, M. (ured.): *Zavičajnik. Zbornik Stanislava Marijanovića. Povodom sedamdesetogodišnjice života i četrdesetpetogodišnjice znanstvenoga rada*, Osijek, 141–148.
- DEAN/LEGGE 1964 = Dean, R. J./Legge, M. D. (ed.): *The Rule of St. Benedict: A Norman Prose Version*, Oxford 1964 (= Medium aevum Monographs 7).
- GRETSCH 1973 = Gretsche, M.: *Die Regula Sancti Benedicti in England und ihre altenglische Übersetzung*, München 1973 (= Münchener Universitäts-Schriften, Philosophische Fakultät: Texte und Untersuchungen zur Englischen Philologie 2).
- GRICKAT 1975 = Грицкат, И.: *Студије из историје српскохрватског језика*, Београд 1975.
- GUIGNARD 1878 = Guignard, Ph.: *Les monuments primitifs de la règle cistercienne, publiés d'après les manuscrits de l'abbaye de Cîteaux*, Dijon 1878 (= Analecta divoniensia 6).
- HANNICK 2006/07 = Hannick, Ch.: »Zur altkroatischen glagolitischen Regula Benedicti«, *Slovo* 56–57 [Jg. 2006/07]: *Akademkinji Anici Nazor o sedamdesetj obljetnici života*, erschien 2008, 187–195.
- HANSLIK 1960 = *Benedicti Regula*, rec. R. Hanslik, Wien (= CSEL 75).
- HERCIGONJA 1997 = Hercigonja, E.: »Glagoljaštvo i glagolizam«, in: Supićić, I. (gl. ured.): *Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost*, Sv. 1: *Srednji vijek (VII–XII. stoljeće)*. *Rano doba hrvatske kulture*, 1997, 369–398.

- KARTSCHOKE 1990 = Kartschoke, D.: *Geschichte der deutschen Literatur im frühen Mittelalter* = Kartschoke, D./Bumke, J./Cramer, Th.: *Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter*, 3 Bde, Bd. 1, München 1990 (= Dtv 4551).
- KLAIĆ ²1975 = Klaić, N.: *Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku*, Zagreb.
- KLUGE ²⁴2002 = *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache* von F. Kluge, bearb. v. E. Seebold, Berlin – New York.
- LEXER ³⁸1992 = Lexer, M.: *Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch*, m. den Nachtr. v. U. Pretzel, Stuttgart 1992 [= Leipzig ³1885]).
- MALIĆ 1987 = Malić, D.: »Povaljska listina. Latinička transkripcija teksta«, in: Marin-ković, J. (gl. i odgov. ured.): *Obljetnica povaljske listine i praga 1184–1984*, Supetar (= Brački zbornik 15), 11–16.
- MANNING 1964 = Manning, E.: »Les manuscrits cisterciens de la règle de Saint Benoît«, in: *Cîteaux: Commentarii cistercienses* 15.4, 312–329.
- 1966 = Manning, E.: »La règle de s. Benoît selon les mss cisterciens (Texte critique)«, *Studia monastica* 8, 215–266.
- MIHALJEVIĆ 2003 = Mihaljević, M.: »Veznik ›da‹ u hrvatskoglagoljskim tekstovima«, *Slavia Meridionalis* 4, 9–34.
- MIKLOSICH 1886 = Miklosich, F.: *Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen*, Wien 1886.
- NIKOLOVA 2009 = Николова, Г.: »Псалтирните цитати в глаголическата бенедиктинска регула от остров Пашман«, in: *Palaeobulgarica/Старобългаристика* 33.3, 69–97.
- OSTOJIĆ 1960 = Ostojić, I.: »Benediktinci glagoljaši«, in: *Slovo* 9/10, 14–42.
- 1964 = Ostojić, I.: *Benediktinci u Hrvatskoj i ostalim našim krajevima*, Sv. 2: *Benediktinci u Dalmaciji*, Split.
- 1965 = Ostojić, I.: *Benediktinci u Hrvatskoj i ostalim našim krajevima*, Sv. 3: *Benediktinci u Panonskoj Hrvatskoj i Istri. Cisterciti u našim krajevima. Katalozi opata i opatica. Pašmanska regula sv. Benedikta*, Split.
- PANTELIĆ 1993 = Pantelić, M.: »Fragmenti hrvatskoglagoljskoga brevijara starije redakcije iz 13. stoljeća«, in: *Slovo* 41/43, 61–146.
- PAUL ²²1982 = Paul, H.: *Mittelhochdeutsche Grammatik*, durchges. v. H. Moser, I. Schröbler u. S. Grosse, Tübingen 1982 (= Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte, A: Hauptreihe 2).
- PAVIĆ 1875 = Pavić, A.: »Regule sv. Benedikta«, in: *Starine JAZU* 7, 57–129.
- PETRI/CREAN 1981 = Petri, E./Crean, J. E., jr.: »Handschriftenverzeichnis mittelhochdeutscher Benediktinerregeln bis 1600«, in: *RBS* 6/7, 151–154.
- PFEIFER 1989 = *Etymologisches Wörterbuch des Deutschen*, Bd. 2: *H–P*, erarb. unter der Leit. v. W. Pfeifer, München.
- RBS = *Regulae Benedicti Studia. Annuarium Internationale*:
2: Jaspert, B./Manning, E. (éd.), Hildesheim 1973;
6/7: Jaspert, B. (éd.), [Jg. 1977/1978], Hildesheim 1981;
16/17: Hebler, M. (Hg.), Erzabtei St. Ottilien 1989.
- RCJHR = Grabar, B./Mareš, F. V./Hauptová, Z. (gl. ured.): *Rječnik crkvenoslavensko-ga jezika hrvatske redakcije*, Zagreb:
1: D. 1, Sv. 1–10: *a – vrědb*, 2000;
13: Hauptová, Z. (gl. ured.): Sv. 13: *věče – gorušъnъ*, 2005;
14: Eadem (gl. ured.): Sv. 14: *gorši – danъ*, 2007.

- Regula* 1985 = *Rogovskoga samostana sv. Benedikta Regula* (saec. XIV), Zagreb (Bibliofilska izdanja 15) [Pretisak].
- REINHART 1989/90 = Reinhart, J.: »Najstarije svjedočanstvo za utjecaj Vulgate na hrvatskoglagoljsku bibliju«, in: *Slovo* 39/40, 45–52.
- 1990 = Reinhart, J.: »Eine Redaktion des kirchenslavischen Bibeltextes im Kroatien des 12. Jahrhunderts«, in: *WSJb* 36, 193–241.
- RHSJ = *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Zagreb:
 III: Budmani, P. (obr.): D. 3: *đavo – isprekrajati*, 1887–1891;
 XV: Musulin, S. (ured.): D. 15: *simetričan – 1 spasti*, 1955–1956;
 XX: Musulin, S./Pavešić, S. (ured.): D. 20: *ustaraše – visokorode*, 1971–1972.
- SCHÜTZEICHEL = Schützeichel, R. (Hg.): *Althochdeutscher und Altsächsischer Glossenwortschatz*, Tübingen 2004:
 VI: Bd. 6: *leban – muzzarin*;
 XI: Bd. 11: *irwelzen – zwimerig*.
- ⁶2006 = Schützeichel, R.: *Althochdeutsches Wörterbuch*, Tübingen.
- SIMMLER 1989 = Simmler, F.: »Zur deutschsprachigen handschriftlichen Überlieferung der *Regula Benedicti*«, in: *RBS* 16/17, 137–204.
- SJS = Kurz, J./Hauptová, Z. (hl. red.): *Lexicon linguae palaeoslovenicae/Slovník jazyka staroslověnskeho*, T. 1: A–F, Praha 1966.
- SKOK 1971 = Skok, P.: *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Knj. 1: A–J, Zagreb.
- ŠTEFANIĆ 1970 = Štefanić, Vj.: *Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije*, D. 2: *Zbornici različitog sadržaja, regule i statuti, registri, varia, indeksi, album slika*, Zagreb.
- STEINMEYER ³1971 = von Steinmeyer, E.: *Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmäler*, Dublin – Zürich (= Deutsche Neudrucke, Reihe: Texte des Mittelalters).
- STRIEDTER-TEMPS 1963 = Striedter-Temps, H.: *Deutsche Lehnwörter im Slovenischen*, Berlin 1963 (= *Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin* 27).
- VAJS 1916 = Vajs, J.: *Staroslavenski psaltir hrvatsko-glagoljski. Glagoljski tekst kodeksa praškoga i pariskoga*, D. 1: *Opisi, tekstovi i snimci*, Krk – Praha.
- VALJAVEC 1889 = Valjavec, M.: »O prijevodu psalama u nekijem rukopisima hrvatsko-srpsko- i bugarsko-slovenskijim«, in: *Rad JAZU* 98, *Razredi filologičko-historički i filozofičko-juridički*, 27, 1–84.
- VIZKELETY 2005 = Vizkelety, A.: »Eine deutsche Benediktinerregel für ein Zisterzienserstift in Mähren«, in: Schwob A./Kranich-Hofbauer K. (Hg.), *Zisterziensisches Schreiben im Mittelalter – Das Skriptorium der Reiner Mönche. Beiträge der Internationalen Tagung im Zisterzienserstift Rein, Mai 2003*, Bern etc., (= *Jb. für Internationale Germanistik*, Reihe A: Kongressberichte, 71) 293–304.
- VL ²1978 = Ruh, K./Sonderegger, S./Wolf, N. R.: »Benediktinerregel« (deutsch), in: *Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon* [= VL], begr. v. W. Stammeler, fortgef. v. K. Langosch, Bd. 1: A – Col, Berlin – New York, 702–710.
- DE VOGÜÉ 1995 = de Vogüé, A.: »Regula S. Benedicti«, in: *Lexikon des Mittelalters*, Bd. VII: *Planudes bis Stadt [Rus’]*, München, 603–605.
- WELLS ⁶1937 = Wells, J. E.: *A manual of the writings in middle English 1050–1400*, New Haven etc.
- WIEHL 1973 = Wiehl, I.: »Übereinstimmungen im Wortschatz der Freisinger Denkmäler und der kroatisch-glagolitischen Benediktinerregel«, in: *RBS* 2, 39–47.

— 1974 = Wiehl, I.: *Untersuchungen zum Wortschatz der Freisinger Denkmäler: Christliche Terminologie*, München 1974 (= Slavistische Beiträge 78).

Barbara Schellewald

Rhetorik um 1200: Die Ausmalung der Kirche von Kintsvisi (Georgien) und Byzanz

Die Kirche von Kintsvisi, die kurz nach 1207 erbaut und wenige Zeit später ausgemalt wurde, hat in der Forschung längst nicht die Aufmerksamkeit gefunden, die ihr gebührt (Abb. 1).¹ Zwar liegen einzelne Studien vor, Fragen, die einen größeren Kontext betreffen, blieben bislang jedoch weitgehend ausgeklammert.² Durch die Studien von Antony EASTMOND durften wir eine substantielle Einsicht in die Konzeption der Bildausstattung gewinnen. Ihren Ausgangspunkt nimmt seine Untersuchung in den Bildern der königlichen Familie, die auf der Nordwand des nördlichen Kreuzarms im unteren Register dargestellt sind (EASTMOND 1998: 141–154).

Im Folgenden werde ich mich auf einige wenige Aspekte konzentrieren, über die sich eine Rückbindung an aktuelle bildrhetorische Positionen in Byzanz herstellen lässt. Dass im Umkreis der Königin Tamar (1184–1213) die georgische Kunst durchaus an hauptstädtischen, d. h. konstantinopolitanischen Entwicklungen nach Orientierung gesucht hat, lässt sich als generelle Diagnose vorausschicken.

Ein erster Ausgangspunkt ergibt sich aus der Architektur der Kirche, für die der Stifter Antoni Glonistavidze den Typus einer einfachen Kreuzkuppelkirche gewählt hat. Dadurch wie durch die Verwendung von Ziegeln als Baumaterial wird ein Rückgriff auf byzantinische Gepflogenheiten erkennbar. Die georgische Architektur hatte mit einer Reihe anderer Bautypen (Trikonchos etc.) längst eine eigene Bautradition etabliert, aus der heraus sich

1 Das Bildprogramm ist zuletzt 2007 untersucht worden (DIDEBULIDZE 2007, mit bibliographischen Angaben zur älteren Literatur). Ihrem Ergebnis nach sind dem Programm aktuelle dogmatische Auseinandersetzungen inhärent, zugleich werden historische Ereignisse gespiegelt. Der Vorschlag von DIDEBULIDZE, in den Bildern einen Reflex der Verehrung des Gründers für Nikoloz Gulaberidze, den Catholicos, auszumachen, ist zwar verführerisch, entbehrt jedoch eines unmittelbaren, sichtbaren Rekurses in den Bildern selbst. Die Argumentation wird nicht von dem visuellen Befund getragen.

2 Eine Ausnahme bildet VELMANS 1988.

attraktive Lösungsformen hätten realisieren lassen. Der Blick auf Byzanz scheint jedoch den Ausschlag für den Typus von Kintsvisi gegeben zu haben. Eine substantielle Modifikation lässt sich in der räumlichen Besetzung des Kernbaus durch die Bildausstattung beobachten. Während in Byzanz der Naos insgesamt für ein den Zentralraum umlaufendes Bildprogramm genutzt wird – mit Ausnahme des östlichen Kreuzarms –, findet in Kintsvisi durch die bildliche Besetzung des Raumes eine funktionale Separierung statt. Der westliche Kreuzarm ist mit den angrenzenden Seitenräumen als räumliche Einheit gedacht, im Osten hingegen werden die Seitenräume gegenüber dem zentralen Bemaum, dem östlichen Kreuzarm, in Gänze abgeschlossen. Gerade in der Kontrastierung der östlichen und westlichen Raumanlage erkennt man die funktionale Ausdifferenzierung. Der westliche Raumabschnitt wird mit einem Bildprogramm ausgestattet, das sich dezidiert als einem Narthex zugehörig zu erkennen gibt. Hierzu zählt ein Nikolauszyklus, einzelne Bilder männlicher und weiblicher Heiliger, aber auch die Szene der drei Jünglinge im Feuerofen, ein Bild des ersten ökumenischen Konzils und eine Wurzel-Jesse-Darstellung.³

Die dieser Architektur inhärente Ambivalenz – das Zitieren eines gängigen Bautypus aus Byzanz, die Abwandlung des Raumes durch die Bildbesetzung – wird noch einmal unterstrichen, wendet man sich den Bildern im südlichen und nördlichen Kreuzarm zu, die nicht nur einer spezifischen Ordnungslogik unterstellt, sondern vielmehr einer inhaltlichen Programmatik geschuldet sind. Alle Festbilder sind in diesen Raumsegmenten in drei übereinander liegenden Registern arrangiert (Abb. 2–4).⁴ Den Auftakt bildet die Verkündigung im oberen Register der Südwand, gerahmt von zwei Marienszenen – Geburt Mariens und Einführung in den Tempel – auf der Ost- bzw. Westwand dieses Kreuzarmes. Im Register darunter folgt die Geburt Christi. Die Fortsetzung findet sich im nördlichen Kreuzarm mit der Darstellung im Tempel und der Taufe Christi. Beide Szenen sind seitlich der Auferweckung des Lazarus in der Mitte platziert. Wie zuvor im südlichen Kreuzarm nimmt das zweite Register als nächste Szene die des Einzugs in Jerusalem (Abb. 4) in der Mitte auf, links und rechts auf den angrenzenden Wänden sind die Transfi-

3 Vgl. dazu die ausführliche Diskussion und Herleitung des Programms bei DIDEBULIDZE (2007: 68–74). Sie identifiziert es jedoch nicht als einem Narthex zugehörig. Selbst wenn in Byzanz Bildprogramme in Narthices keinem eindeutigen »Reglement« unterliegen, so lassen sich doch eine Reihe signifikanter Charakteristika ausmachen, wie ein Vita-Zyklus des Patronatsheiligen, aber auch ein Repertoire, das auf gewisse liturgische und zeremonielle Nutzungen des Raumes Bezug nimmt, so z. B. in Klosterkirchen eine Fußwaschung Christi als Hinweis auf den alljährlichen Fußwaschungsritus durch den Abt eines Klosters. Vgl. dazu Hinweise z. B. bei TOMKOVIĆ 1988.

4 Der Verteilungsplan der Bilder bei DIDEBULIDZE 2007: Abb. 5, 7–9 und 14.

guration und die Kreuzigung (Abb. 3) zu sehen. Statt eines abermaligen Wechsels in den gegenüberliegenden Kreuzarm folgen die Frauen am Grab im unteren Register; die Beweinung Christi auf der Westwand und die Anastasis auf der Ostwand dieses Kreuzarms (Abb. 3) beschliessen den Festbildzyklus auf dieser Seite. Das untere Register auf der Südwand nimmt den Zweifelden Thomas als zentrales Ereignis in die Mitte (Abb. 2), Ost- und Westwand zeigen die Koimesis und das Abendmahl Christi. Ein Wechsel in das zweite Register auf Ost- und Westwand ergänzt das Programm um Himmelfahrt Christi und Pfingsten. Erkennbare chronologische Sprünge wie auch gezielte Verteilungen auf beide Kreuzarme und die jeweiligen Register lassen erahnen, dass das Layout unterschiedlichen Gesetzmässigkeiten folgt. Die Herrscherfamilie nimmt das untere Register der Nordwand ein (Abb. 5): Königin Tamar erscheint hinter ihrem schon verstorbenen Vater Giorgi III., der seine Macht seiner Tochter übergeben hatte. Ihr nach folgt ihr Sohn Giorgi Lasa, den sie wiederum als ihren Nachfolger auserkoren hat.

Nun könnte man argumentieren, über die Malerei und das Layout der Bilder sei erst in einem zweiten Schritt, nach der Vollendung des Baus, eine Entscheidung gefällt worden. Eine Reihe von Indizien scheint uns jedoch nahelegen, dass Architektur- bzw. Raum- und Bildplanung in Kintsvisi Hand in Hand gegangen sind.

Planungsprozesse sind durch eine Reihe durchaus komplexer Phänomene bestimmt. Hierzu zählen nicht nur die zur Verfügung stehenden Baumaterialien, sondern auch die Konzeption der Durchfensterung des Baus, d. h. die Belichtung der Räume, einer der Strategien für die Inszenierung eines hochzeremoniell besetzten Raumes. Lioba THEIS (2001) hat auf diesen Umstand mit Nachdruck aufmerksam gemacht. Der in Byzanz gebräuchliche Begriff *photismos* wird synonym für die Erleuchtung eines Raumes wie auch für eine mentale Erhellung angewandt. Rückschlüsse, ob Planungen dieses umfangliche Verständnis zugrunde gelegen hat, eine wirkliche Kohärenz intendiert gewesen ist, ergeben sich aus der Untersuchung des Wechselverhältnisses zwischen der Anordnung der Bilder und Fenster, wobei die Größe der Fenster von entscheidender Bedeutung sein kann. In Kintsvisi lässt sich der Befund erheben, dass ein Raum für ein Bildprogramm konzipiert werden sollte, das mit dem Thema Licht und Erleuchtung operiert.

Die Fenster im nördlichen Kreuzarm sind so arrangiert, dass das reale Licht durch eine gewisse »Orchestrierung« für den Innenraum gestuft oder gefiltert wird. In zwei Ebenen wird ihm der Weg in den Innenraum gebahnt (Abb. 1). Im unteren Wandabschnitt sind es zwei Fenster, darüber liegt ein einzelnes in der Wandmitte. Auf der Außenwand fallen sie recht schmal aus, durch die Schrägstellung der Wände wird die Öffnung für die Innenwand jedoch weitaus breiter gestaltet. In dieser Auffächerung wird die Verteilung des Lichts

schon systematisch vorbereitet. Das zwischen den Öffnungen eingespannte Wandstück wird durch die Strahlen nicht unmittelbar tangiert. Durch die Kreuzung beider Lichtbahnen ergibt sich jedoch vor dieser Wand eine Art Lichtraum, von dem aus der Betrachter den Blick auf die dort inszenierten Bilder wirft. Ins Auge sticht der den Raum dominierende Engel am Grab Christi, der allein diesen Wandabschnitt beherrscht (Abb. 6). Seine imposante Figur zieht den Betrachter in ihren Bann, geschickt lenkt er mit dem Zeigefinger unseren Blick auf das rechts auf der Wand zu sehende Grab Christi, vor dem einer der Wächter in den Schlaf gesunken ist (Abb. 7).⁵ Der Engel ist, so meine These, der Fokus dieses Programms, von ihm aus ist die Programmplanung erfolgt, er ist Ausgangspunkt und Ziel.

Bevor wir jedoch diesem Gedanken nachgehen, sei auf ein anderes, ganz offensichtliches Phänomen verwiesen. Schon bei Betreten des Naos ist die Dominanz des in Blau gefärbten Hintergrundes aller Bilder auffällig. Aber nicht nur der Bildgrund ist durch die üppige Verwendung von *lapis lazuli* ausgezeichnet, sondern zusätzlich sind ganze Gewänder oder Gewandpartien mit diesem Farbpigment gestaltet. *Lapis lazuli* erfreute sich als die vermutlich teuerste Farbe durch das gesamte Mittelalter einer hohen Wertschätzung. Dieses Blau ist allerdings nicht allein im Bewusstsein seines ökonomischen Wertes eingesetzt worden, sondern Auftraggeber trafen eine Entscheidung für diese Pigmente unter der Prämisse, dass allein *lapis lazuli* eine Kompensation für die Nichtrealisierbarkeit von Mosaik darstellt.⁶ Es ist die Strahlkraft, die Affinität zum Licht, die dieses Blau auszeichnet. Der Effekt zeigt sich insbesondere bei eintretender Dunkelheit, wo einzig das Blau, d. h. die Partien mit dieser Farbe, aus dem Schatten noch hervortreten. Es kann gleichsam als »glühend« beschrieben werden.

In Byzanz gibt es nur wenige Monumente, die diesbezüglich als Vergleichsobjekte angeführt werden können.⁷ Es mag kein Zufall sein, dass alle in den Zeitraum der zweiten Hälfte des 12. bis in den Anfang des 13. Jahrhunderts gehören. An erster Stelle wäre die Kirche des heiligen Panteleimon in Nerezi anzuführen, die im Jahr 1164, wie uns die in Marmor gemeisselte Inschrift

5 Die Relevanz des Engels ist freilich auch anderen Autoren nicht entgangen (EASTMOND 1998: 150 f.). Der Zusammenhang mit der Lichtführung wie auch die Bedeutung des Einsatzes von *lapis lazuli* wurden jedoch nicht thematisiert. Zudem liegt sein Fokus nicht primär auf der Frage der Rückbindung an Byzantinisches. Vielmehr ist es sein Verdienst, die spezifischen georgischen Eigenheiten zu inspizieren.

6 Zur Verwendung dieses Pigments im byzantinischen Raum JAMES 1996: 29 f.

7 In Georgien gibt es allerdings seit dem 10. Jahrhundert Monumente, bei denen mit *lapis lazuli* gemalt worden ist. Eine Untersuchung zu diesem Phänomen steht noch aus. Die Fragen nach der spezifischen Materialität von Wandmalerei und Mosaik werden zwar in einzelnen Studien berührt, nicht aber zum zentralen Thema erhoben.

über der Tür vom Narthex in den Naos mitteilt, durch Alexios Komnenos, Enkel des byzantinischen Kaisers Alexios I. Komnenos (1081–1118) und Sohn der purpurborenen Theodora, gestiftet wurde.⁸ Im Gegensatz zu Kintsvisi ist das Blau jedoch weniger intensiv und kommt vor allem stärker für den Grund der Bildszenen ins Spiel. Weitaus direkter ist die Beziehung zum Katholikon des Kloster Studenica, dessen Gründung zwischen 1183 und 1191 erfolgte. Die Ausmalung des Kernbaus mit einem Marienpatrozinium wurde relativ spät im Auftrag des Prinzen Vukan 1208/09 bewerkstelligt (MALETIĆ 1968, ĆIRKOVIĆ et al. 1986).

Die These, dass die reiche Verwendung von *lapis lazuli* eine Alternative zur Mosaizierung darstellt, erhält gerade angesichts dieses Monumentes eine große Plausibilität. Im östlichen Teil der Marienkirche gibt es Partien, in denen Goldgrund im Mosaik suggeriert wird, indem der gemalte Hintergrund in einem Gold ähnelnden Gelbton gefasst ist.⁹ Im Bild der Kreuzigung auf der Westwand mit dem *lapis lazuli*-Grund sind Goldauflagen eingesetzt worden (Abb. 8). Sterne und Nimben erhalten auf diese Weise eine ihnen angemessene Brillanz. Zugleich ist es natürlich das Gold, das das Licht zumindest ansatzweise so reflektiert, wie es im Medium des Mosaiks durch die Tesserae der Fall wäre (JAMES 1996: 33). Als wertvolles Material steht es durchaus in Kohärenz mit dem Anspruchsniveau des Auftraggebers, der ein Mitglied der Nemanjidendynastie war. Bei der Klostergründung von Studenica manifestierte sich dessen Haltung vor allem in der Adaption des Typikons vom Evergetis-Kloster in Konstantinopel.¹⁰ Der Wunsch der Nemanjidendynastie, die Kultur ihrer Herrschaft nach dem Vorbild der (noch) machtvollen Hauptstadt zu gestalten, findet auch in diesem Rekurs ihren Niederschlag.

Folgt man den Ausführungen von EASTMOND zum Programm der Kirche von Kintsvisi, so zeigt dieses eine deutliche Konzentration auf die Herrscherdynastie der Bagratiden, obwohl die Stiftung nicht durch die Königin Tamar erfolgt ist, sondern durch ihren Minister, der auf der Südwand relativ genau gegenüber als Stifter das Kirchenmodell einer Ikone des Kirchenpatrons, des Heiligen Nikolaus, darbietet (Abb. 2). EASTMOND hat für das grund-

8 Die Inschrift auf dem Marmor-Architrav über der westlichen Eingangstüre zwischen Narthex und Naos lautet in Übersetzung: »Die Kirche des heiligen und berühmten Großmartyrers Panteleēmōn wurde verschönert (ausgeschmückt) mit Unterstützung des Herrn Alexios Komnēnos, Sohn der porphyrborenen Frau Theodora im Monat September der Indiktion 13 des Jahres 6673 (1164) zur Zeit, als der Mönch Joannikios Hēgoumenos war« (zit. nach THEIS 2005: 934). Grundlegend für Nerezi ist die Monographie von SINKEVIĆ 2000; vgl. auch THEIS/SHELLEWALD 2005.

9 Zur Verteilung der Bilder vgl. HAMANN-MACLEAN/HALLENSLEBEN 1963: Plan 10.

10 Zum Typikon in Konstantinopel s. THOMAS/CONSTANTINIDES HERO 2000: II, 454–506. Zum Text des liturgischen Typikons des Evergetis-Klosters vgl. JORDAN 2005.

sätzliche Phänomen der Wiedergabe der Herrscherdynastie in Kirchen, die von anderen Personen finanziert wurden, auf die Parallele Sizilien hingewiesen: die Kirche Santa Maria dell'Amiraglio (Martorana genannt) in Palermo, bei der ein Mitglied des Hofes von Roger II., Georg von Antiochien als Stifter fungierte (EASTMOND 1998: 214).¹¹ Auch dort wird nicht nur der Stifter ins Bild gesetzt, sondern ebenfalls Roger II. Nun ist der Fall in Palermo relativ eindeutig. Die enge Koppelung der Stiftung des Admirals an den Hof findet schon zu Beginn der Unternehmung ihren Niederschlag, als Roger II. die Stiftungsurkunde unterschreibt. Auch andere Indizien, wie die Referenz an die Bildausstattung der östlichen Partie in der Capella Palatina, der königlichen Hofkapelle, signalisieren eine intendierte Nähe zum königlichen Hof. In Kintsvisi scheint es nicht nur um eine derartige Anbindung an den Hof zu gehen, sondern vielmehr wird im Bildprogramm der königlichen Familie eine Bühne dargeboten, die letztlich vor allem auf ein zu erbittendes Seelenheil zielt. In der Martorana hingegen wird die Memoria des Stifters stärker prononciert. Beiden gemeinsam ist sicherlich der Aspekt, dass die Zugehörigkeit zur sozialen Elite für beide Stifter ein Anliegen gewesen ist. Letzterer Punkt ließ sich in Hinblick auf die ästhetischen Qualitäten, die zugleich einer dezidierten ökonomischen Werteskala entsprechen, erhärten. *Lapis lazuli* kam, soweit es Byzanz betrifft, in dieser Opulenz vor allem in Stiftungen des Kaiserhauses bzw. diesem nahestehenden Personen oder wie im Fall von Studenica im Auftrag von Herrschern, die darauf zielen, Byzanz soweit als denkbar zu imitieren, zur Anwendung. Zugespitzt könnte man von einem höfischen Phänomen sprechen. Die auch auf einer Farbskala basierende Rhetorik wäre damit auf dieser phänomenalen Ebene als Modus von Distinktion zu begreifen. Wenngleich James nachgewiesen hat, dass sich eine regelrechte Farbsymbolik in Byzanz nicht etablieren konnte, Farben vielmehr weitgehend in ihrem Kontext eine präzise Bestimmung erhielten, so gibt es in diesem System dennoch einzelne Ausnahmen. *Lapis lazuli* wird gemeinhin in dieser Form wie ein Goldgrund wahrgenommen. Die oben angesprochene Leuchtkraft ist im Kontext von spezifischen Lichtlenkungen zu beobachten. Basileios der Große erkennt im Blau die Vergegenwärtigung himmlischer Sphäre (JAMES 1996: 105). Neben dem Gold sei dies die Farbe göttlichen Lichts. Auch Johannes von Gaza spricht *lapis lazuli* die Eigenschaft zu, Himmlisches sichtbar werden zu lassen (*ibid.*: 106). In Studenica wird bei der Kreuzigung sogar das Kreuz im Nimbus Christi in Blau gefasst, und gerade diesem Phänomen begegnen wir in Kintsvisi auf der Ikone mit Christus wieder (Abb. 5 und 8). Auch die goldenen Sterne aus Studenica finden in Georgien

11 Zum Verhältnis von der Martorana zur Cappella Palatina vgl. SCHELLEWALD 2008a.

auf dieser Ikone ihr Pendant. Die Applikation ist auf der Bildoberfläche noch wahrnehmbar, nur das Gold ist nicht erhalten. Gerade das Motiv der Sterne unterstreicht erneut den Anspruch, auf Himmlisches Bezug nehmen zu wollen. Ein syrischer, anonym gebliebener Autor des 6. Jahrhunderts sprach vom Goldmosaik, es sei »wie die leuchtenden Sterne des Firmaments« (*ibid.*: 127). Ziehen wir an dieser Stelle erneut in Betracht, dass *lapis lazuli* als eine akzeptable Alternative zum Mosaik eingesetzt wurde, so sind es möglicherweise gerade diese Applikationen, über die diese Wertigkeit ablesbar gemacht werden soll. Da Licht und Leuchtkraft ganz im neuplatonischen Sinne als Brücke zwischen dem Irdischen und Himmlischen operieren, gilt es für uns im nächsten Schritt einen differenzierenden Blick auf die Relation zwischen Farbe und natürlichem Lichteinfall zu werfen. Das Licht, das sich in den Sakralraum ergießt, ist ja nur die eine Quelle, um einzelne Partien der Ausmalung zu akzentuieren. Hinzu kommen künstliche Lichtquellen, die eine *mise-en-scène* fundieren.

Bislang sind keine Quellen bekannt, die uns über Lichtinszenierungen in Kintsvisi Auskunft bieten würden. Lediglich die Nähe zu byzantinischen Denkmälern erlaubt es uns, an dieser Stelle aus den Informationen, die wir aus byzantinischen Typika gewinnen können, Rückschlüsse für Kintsvisi zu ziehen (THEIS 2000).¹² Licht war eines der Medien, über die eine Hierarchisierung der Festliturgie realisiert werden konnte. Das bedeutendste Fest war und ist Ostern, an dem die Auferstehung von Christus gegenwärtig wird. Davon ausgehend dürfte es kein Zufall sein, dass der großformatige Engel, der die Auferstehung verkündet, in Kintsvisi so prominent platziert ist (Abb. 6). Nahezu jeder Betrachter wird beim Betreten dieses Sakralraumes durch seinen Anblick gefangen genommen. Da das Gefieder seiner Flügel den Bildrand überschneidet, hat es den Anschein, als würde er aus seinem Bildgrund heraustreten und in den Realraum hinreichen oder -agieren. Sein Kopf ist dem Betrachter leicht zugeneigt, sein Blick ist uns entgegen gerichtet, als ob seine Rede über das leere Grab an die Frauen (Mt 28,5–6) nun nicht allein ihnen, sondern ganz unmittelbar uns gilt. Der Finger seiner rechten Hand ist seitwärts in Richtung auf das leere Grab gerichtet, aber zugleich mag man ihn als auf die Herrscherfamilie (Abb. 5) gezielt sehen. Noch einmal gilt unsere Aufmerksamkeit der Separierung der einzelnen Teile dieser Bilderzählung: Die Frauen, die Christus im Grab aufsuchen wollen, sind links an die Ecke gerückt, ebenso das leere Grab mit den Wächtern (Abb. 7), die hierzu den rechten Gegenpart bilden. Beide werden von dem eindringenden Licht

12 Vgl. insbesondere das Typikon des Pantokrator Klosters THOMAS/CONSTANTINIDES HERO 2000, II: 725–781).

kaum tangiert. Im Kontrast zu ihnen gewinnt der Engel an Präsenz durch den stärkeren Einsatz von *lapis lazuli*. Dies trägt dem Vers 3 bei Matthäus 28 Rechnung, in dem es heißt: »Seine Erscheinung war wie ein *Blitz*, und sein Gewand weiß wie Schnee.«

Der griechische Begriff für Blitz lautet *astrape*, unter dem auch das Strahlen verstanden wird. Über die räumliche und farbliche Inszenierung des Engels auf der einen Seite und die der Lichtführung auf der anderen Seite wird eine Gegenwärtigkeit des Ereignisses produziert, in die der Betrachter in Gänze eingeschlossen ist. Er wird durch das reale Licht »eingefangen«, im Angesicht des Engels und mit seinen Worten im Ohr (diese werden bei der entsprechenden Liturgie laut gesprochen) kommen das Blau des Engels und der »Lichtraum« des Betrachters in Kohärenz. So wie das Blau als Abbild göttlichen Lichts von den oben angeführten Autoren gepriesen wird, so erscheint in der Kohärenz beider irdisches und himmlisches Licht untrennbar verbunden. Das Spezifische an dieser Inszenierung zeigt sich beim Vergleich mit dem Mosaik, das als Referenzmedium verschiedentlich schon erwähnt worden ist. Die Wirkung des Goldgrundes bei den Mosaiken entsteht in hohem Maße durch ihre unregelmäßige Oberfläche, die durch den individuellen Neigungswinkel der einzeln eingelassenen Tesseræ erzielt wird. Das Licht wird zum einen gebrochen, zum anderen wird es reflektiert. Da Gold nicht als Farbe aufzufassen ist, sondern als Licht, dessen Eigenlicht oder Sendglanz in einzigartiger Weise Gegenständliches transzendiert, wird diese Qualität im Mosaik eindeutig akzentuiert.¹³ Die Reflektionspotenz des Goldgrundes ist in jeglicher Hinsicht zu unterstreichen. Bildwelt und Licht als Lichtquelle sind ungeschieden, das Licht ist dem Bild immanent. Licht und Bild (im Sinne des Erscheinenden) sind miteinander verwoben. *Lapis lazuli* ist zwar im Sinne der Strahlkraft vergleichbar, nicht aber auf der Ebene der Reflektion, durch die der Betrachter gleichsam eine unmittelbare Berührung mit dem Transzendenten erfährt. In Kintsvisi übernimmt diese Aufgabe auf einer ersten Ebene das natürliche Licht, möglicherweise haben künstliche Lichtquellen in der Osternacht einen darüber hinausreichenden Effekt bewirkt.

Der Engel als zentrale Figur des Gesamtprogramms übt auf verschiedenen Ebenen eine Funktion aus. Die von ihm ausgehende Botschaft ist in erster Instanz an die Mitglieder der königlichen Familie gerichtet, die in der Bildzone darunter sich (noch) einer Ikone von Christus zuwenden. Alle drei Personen, Königin Tamar, ihr Vater und ihr Sohn, sind im Gebet vor der schon erwähnten Ikone Christi präsentiert. EASTMOND (1998: 150) hat diese

13 Grundlegend JAMES 1996; zur Beziehung von Mosaik und byzantinischer Bildtheorie s. SCHELLEWALD 2011.

Konstellation als eine »visuelle Interpretation von Gebet« (»visual interpretation of prayer«) tituliert.

Die offensichtliche Zusammenschau von Herrscherbild und Engel am Grab führt uns in die Christi-Himmelfahrt-Kirche von Mileševa. Die Kirche wurde von Prinz Stephan Vladislav, dem dritten Sohn von Stephan Prvovenčani, finanziert, der in den Jahren von 1233 bis 1242 als König regierte. Als Prinz hatte er die Kirche schon als seine spätere Grablege vorgesehen. Die Malereien müssen kurz vor 1228 entstanden sein. Der Stifter erscheint auf der Südwand des westlichen Joches vor Christus, ihn anempfehlend ist die Theotokos ihm an die Seite gestellt. Sie hat ihn an die Hand genommen. Das Argument für ein zukünftiges Leben hält Vladislav in seinen Händen, das Kirchenmodell, mittels dessen er sich selbst Christus zu empfehlen gibt. Seine Hoffnung wird unterstrichen durch die Frauen am Grabe. In Mileševa ist der Engel aber Part eines Narrativs, das sich im Zusammenhang präsentiert. Dass es dennoch auch in diesem Bau um das Thema der Erleuchtung geht, ist zuerst an dem Goldgrund zu erkennen wie auch an der unmittelbaren Umgebung des Bildes. Das darüber angelegte Taufbild ist als erste Epiphanie Christi der Hinweis auf das neue Leben. Der Taufritus wird insbesondere am Osterfest praktiziert. Vergleichbar mit Kintsvisi ist die Kombination von lebenden Personen und die im Bild der Frauen am Grabe sich manifestierende Hoffnung auf Erlösung. Aber um wie viel größer ist das Raffinement im georgischen Bau, wo der Engel eine Hauptrolle einnehmen darf. Ein Detail ist in diesem Zusammenhang noch bemerkenswert: Die königliche Familie, die nicht als Stifter fungiert und somit auch kein Kirchenmodell überreicht, wendet sich nicht einem in gleicher Größe dargestellten Christus zu, sondern einer Ikone, die ihn als Thronenden zeigt. Geht man davon aus, dass die Königin Tamar als zentrale Figur agiert, so kann sie als lebende Regentin – zum Zeitpunkt der Ausmalung – nur Christus in Form einer Ikone ansichtig werden, so wie die Frauen am Grabe auch »nur« den Hinweis auf einen auferstandenen Christus erhalten. Christus ist nach seiner Auferstehung nicht mehr sichtbar.¹⁴

Diese Perspektive wird unterstrichen durch den auf der Gegenseite positionierten Zweifelnden Thomas (Abb. 2). Thomas allein ist es vorbehalten, Christus körperlich auf diese Weise noch zu berühren. Für die nach der Himmelfahrt Christi lebenden Personen wird die Ansichtigkeit allein über die Ikone erzielt. In Mileševa zielt das Bildformular mit dem Stifter und den heiligen Personen dezidiert auf eine eschatologische Ebene – der Stifter trägt

14 Die Ereignisse nach der Auferstehung bis zur Himmelfahrt sind zwar für das Narrativ in den Evangelien von hoher Relevanz, bezüglich des grundlegenden Verständnisses von Christus in diesem Moment jedoch sekundär.

sein Kirchenmodell als Argument für eine mögliche Erlösung. In Kintsvisi hingegen agiert die königliche Familie nicht als Stifter, sondern sie werden prioritär als Personen visualisiert, die noch im Diesseits agieren. Dass das Bild an dieser Stelle jedoch ambig bleibt, ist an der Tatsache ersichtlich, dass der verstorbene Vater Giorgi III. zu dieser Personengruppe zählt. Diese »Störung« basiert letztlich auf einer nicht bei Seite zu lassenden Bildkonvention der georgischen Herrscherbilder, die darauf zielt, dynastische Kontinuitäten zu akzentuieren.

Kehren wir noch einmal zur übergreifenden Frage der Rhetorik der Ausmalung in Kintsvisi zurück. Akzeptieren wir die Szene mit den Frauen am Grabe als Kernbild, so ordnen sich die anderen Festbilder diesem nicht unter, sondern, auch einer gewissen Chronologie folgend, diesem eher zu. Insbesondere die Frage, welche Szenen auf der Süd- und Nordwand ihren Platz finden, um aus ihrer Gegenüberstellung inhaltliche Aspekte zu verstärken, ist hilfreich. Die Verkündigung Christi, der Beginn der Inkarnation, wird einer Szene, die die Überwindung menschlicher Begrenztheit thematisiert, die Auferweckung des Lazarus, gegenübergestellt. Letztere bindet sich schlüssig in das Thema der Erlösungshoffnung ein. Kreuzigung und Anastasis sind, im Format deutlich kleiner, auf der Ostwand des Kreuzarmes situiert, wobei die Kreuzigung den narrativen Anschluss an den Einzug in Jerusalem bildet. Die Anastasis wird an die Frauen am Grabe insofern angeschlossen, als sie auch als ergänzendes, geradezu erhellendes Argument der Rede des Engels erkannt werden kann. Während das Grab Christi leer bleibt, wird er – und dies ein Privileg, das uns allein das Bild gewähren kann – in dieser Szene als Auferstehender vorgeführt. Die Rhetorik dieses Layouts steht im Einklang mit Konzepten, wie sie uns aus dem 12. Jahrhundert in Byzanz vertraut sind. Ein anschauliches Beispiel ist die oben schon erwähnte Ausmalung der Panteileimonkirche in Nerezi. Hier sind es zwei Szenen, die im südlichen und nördlichen Kreuzarm eine für das Bildprogramm fundierende Antithese bilden: die Darstellung im Tempel und die Beweinung Christi. Die Beziehung wird in den Bildern durch entsprechende Gesten und Analogien hergestellt. So korrespondiert z. B. die Umarmung von Mutter und Sohn in beiden Szenen. Während im Tempel Maria ihren späteren Schmerz antizipiert,¹⁵ wird sie bei der Beweinung auf eben diesen Zeitpunkt zurückschauen. Anamnese wie Prolepsis sind als rhetorische Grundstrukturen dieses Programms zu entdecken.¹⁶

15 Im Lukas-Evangelium (Lk 2,35) heißt es an der entsprechenden Stelle, dass Simeon Maria prophezeit, ein Schwert werde ihre Seele durchdringen.

16 Zum Verhältnis von Darstellung und Beweinung vgl. MAGUIRE 1981: 102 f.

Die Basis derartiger Programmredaktionen bilden unter anderem auch liturgische Texte, die präzise rhetorische Modelle bereithalten.¹⁷ Beide Szenen nehmen die gesamte Fläche der Außenwände beider Kreuzarme ein. Die Dimensionen beider Bilder reichen weit über die anderer Festbilder hinaus. So werden sie schon aufgrund ihrer Größe als Leitbilder identifiziert. Für das 12. Jahrhundert lässt sich eine Vielzahl entsprechender Monumente ausmachen.¹⁸

Kehren wir am Ende noch einmal nach Kintsvisi zurück, so sind die von EASTMOND als im Gebet gezeigten Mitglieder der königlichen Familie im Status den Betrachtern gleichgestellt. Die Grenze zwischen der Welt der Gläubigen und der Herrscher ist an dieser Stelle aufgehoben, indem die Bilder die Verschiebung von der Repräsentation zur Präsenz erkennen lassen. Wir teilen nicht nur den gleichen Raum, sondern vielmehr das Licht, in das der Raum gehüllt ist. Um auf diese Verschiebung unsere Aufmerksamkeit zu richten, werden sowohl bei der Herrscherfamilie wie auch beim Stifter Ikonen desjenigen eingefügt, an den sie ihre Bitten adressieren.

Literatur

- ĆIRKOVIĆ et al. 1986 = Ćirković, S./Korać, V./Babić, G.: *Studenica Monastery*, Belgrad.
- DIDEBULIDZE 2007 = Didebulidze, M.: »St. Nicholas in the 13th Century Mural Painting of Kintsvisi Church, Georgia«, in: *Iconographica. Rivista di Iconografia Medievale e Moderna* 6, 61–77.
- EASTMOND 1998 = Eastmond, A.: *Royal Imagery in Medieval Georgia*, University Park/Pa.
- HAMANN-MACLEAN/HALLENSLEBEN 1963 = Hamann-MacLean, R./Hallensleben, H.: *Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert*, Bd. 3–5, Bildband 1, Gießen (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe 2: Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas 3).
- JORDAN 2005 = Jordan, R. H.: *The Synaxarion of the monastery of the Theotokos Evergetis. Text and Translation*, Vol. 2: *March to August. The Movable Cycle*, Belfast (Belfast Byzantine Texts and Translations 6.6).
- JAMES 1996 = James, L.: *Light and Colour in Byzantine Art*, Oxford (= Clarendon Studies in the History of Art 15).
- MAGUIRE 1981 = Maguire, H.: *Art and Eloquence in Byzantium*, Princeton/N. J.

17 Für Georgien steht eine derartige Untersuchung noch aus.

18 Grundlegend für die Beziehung zwischen Bild und Rhetorik s. MAGUIRE 1981. Zu Nezezi vgl. Anm. 8. Die hier erwähnte Rhetorik wird ausführlich untersucht bei SCHELEWALD 2008b.

- MALETIĆ 1968 = Maletić, M. (ed.): *Studenica*, transl. into Engl. by M. Hrgović, Belgrade.
- SHELLEWALD 2008a = Schellewald, B.: »Und es war Bild... Zum Verhältnis von Bild und Text in byzantinischen Sakralräumen«, in: Ehrich, S./Ricker, J. (Hg.): *Mittelalterliche Weltdeutung in Text und Bild*, Weimar, 47–76.
- 2008b = Schellewald, B.: »Königlicher Blick und autorisierte Stiftung – die Mosaiken in der Cappella Palatina und in Santa Maria dell’Ammiraglio in Palermo«, in: Frings, J. (Kat.-koord.): *Sizilien. Von Odysseus bis Garibaldi*, [anlässlich der Ausstellung vom 25. Januar bis 25. Mai 2008 in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn], München, 111–117.
- 2011 = Schellewald, B.: »Im Licht der Sichtbarkeit. Mosaik und Bildtheorie in Byzanz. Die Wirkung des Mosaiks und seine Domestizierung«, in: *NCCR Mediality: Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen. Historische Perspektiven. Newsletter* 5, 10–19.
- SINKEVIĆ 2000 = Sinkević, I.: *The Church of St. Panteleimon at Nerezi. Architecture, Programme, Patronage*, Wiesbaden (= Spätantike, frühes Christentum, Byzanz, Reihe B: Studien und Perspektiven 6).
- THEIS 2001 = Theis, L.: »Lampen, Leuchten, Licht«, in: Stiegemann, Ch. (Hg.): *Das Licht aus dem Osten. Kult und Alltag im Byzantinischen Reich vom 4. bis 15. Jahrhundert. Katalog der Ausstellung im Erzbischöflichen Diözesanmuseum Paderborn, Mainz*, 53–64.
- 2005 = Theis, L.: »Nerezi [Teile A–C]«, in: THEIS/SHELLEWALD 2005: 932–946.
- THEIS/SHELLEWALD 2004 = Theis, L./Schellewald, B.: »Nerezi«, in: Restle, M. (Hg.): *Reallexikon zur byzantinischen Kunst*, Bd. 6: *Mandorla – Nubien*, Stuttgart, 932–965.
- THOMAS/CONSTANTINIDES HERO 2000 = Thomas, J./Constantinides Hero, A. (Hg.): *Byzantine Monastic Foundation Documents. A Complete Translation of the Surviving Founders’ Typika and Testaments*, Vol. 2, Washington/D.C. (= *Dumbarton Oaks Studies* 35).
- TOMEKOVIĆ 1988 = Tomeković, S.: »Contribution à l’étude du programme du narthex des églises monastiques (XIe première moitié du XIII e siècle)«, in: *Byz* 58.1, 140–154.
- VELMANS 1988 = Velmans, T.: »La peinture murale en Géorgie qui se rapproche de la règle constantinopolitaine (fin XIIe – début XIIIe siècle)«, in: Кораћ, В. (ур.): *Сцугденица и византијска уметност око 1200. године. Међународни научни скуп поводом 800 година манастира Сцугденице и сцогодишњице САНУ, септембар 1986*, Београд, 385–399.



Abb. 1 : Kintsvisi, Kirche von Norden (Quelle: Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, Fotograf Dror Maayan)



Abb. 2: Kintsvisi, Naos, südl. Kreuzarm, Südwand (Quelle: Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, Fotograf Dror Maayan)



Abb. 3: Kintsvisi, Naos, nördl. Kreuzarm, Nord- und Ostwand (Quelle: Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, Fotograf Dror Maayan)



Abb. 4: Kintsvisi, Naos, nördl. Kreuzarm, Nordwand, Einzug in Jerusalem (Quelle: Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, Fotograf Dror Maayan)



Abb. 5: Kintsvisi, Naos, nördl. Kreuzarm, Nordwand, Giorgi Lasca, Königin Tamar und Giorgi III (Quelle: Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, Fotograf Dror Maayan)



Abb. 6: Kintsvisi, Naos, nördl. Kreuzarm, Nordwand, Engel der Szene Frauen am Grabe (Quelle: Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, Fotograf Dror Maayan)



Abb. 7: Kintsvisi, Naos, nördl. Kreuzarm, Nordwand, leeres Grab Christi der Szene Frauen am Grabe (Quelle: Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, Fotograf Dror Maayan)



Abb. 8: Studenica, Naos, Kreuzigung (Quelle: Vanjagenije, wikimedia commons)

Vittorio Springfield Tomelleri

Überlegungen zum Novgoroder »Humanismus«

Et quand, affranchis du joug étranger, nous aurions pu, si nous n'eussions été séparés de la famille commune, profiter des idées écloses pendant ce temps parmi nos frères d'Occident [...]. Relégués dans notre schisme, rien de ce qui se passait en Europe n'arrivait jusqu'à nous.

P. Tchaadaieff,
Lettre Philosophique, I (1829)¹

Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха возрождения не имела на нее никакого влияния [...]

A. С. Пушкин,
О ничтожестве литературы русской (1834)²

1.

Seit nunmehr geraumer Zeit hat sich in der Slavistik die These durchgesetzt, wonach die Ostslaven keine nachhaltige Berührung mit den im Westen aufblühenden Ideen und Errungenschaften der Renaissance gehabt hätten (BRAUN 1956, MATL 1964: 161, VOLL'MAN 1966: 302 f., FREYDANK 1968).³ Dennoch gibt es hie und da Spuren eines kulturellen Dialoges zwischen West- und Mitteleuropa einerseits und den östlichen Gebieten der *Slavia orthodoxa* andererseits, die zu ebenso klaren, der oben erwähnten Behauptung widersprechenden Aussagen zu berechnen scheinen. So schreibt zum Beispiel MATL (1964: 162),

[...] daß bereits im 16., noch mehr im 17. Jahrhundert der Europäisierungsprozess in Rußland im vollen Gange war, humanistische Ideen und Renaissancevorbilder des Westens, neue Auffassungen der Wissenschaft und Kunst und Erziehung wirksam wurden und im 17. Jahrhundert, noch vor Peter d. Gr., zu einem Umbruch, zu einer Kulturkrise führten.

-
- 1 Č-PSS 1: 97–98, *ibid.* (S. 662) photomechanischer Nachdruck der russischen Übersetzung von D. I. Šachovskoj aus *Teleskop* 34 (1836) und moderne russische Übersetzung (S. 331); vgl. deutsche Übersetzung in MATL 1964: 161.
 - 2 P-PSS 11: 268, hier zit. nach BULANIN 1991: 10; vgl. deutsche Übersetzung bei MATL 1964: 160–161.
 - 3 MATL verweist dabei auf wichtige Forscher und Denker, wie etwa S. B. Ševyrev, M. P. Pogodin, A. N. Pypin, P. N. Miljukov, A. Brückner, S. F. Platonov und J. Pusino.

Dabei berief sich der Forscher in erster Linie auf die polnisch-ukrainische Vermittlung und die entscheidende Rolle von Übersetzungen, meistens aus dem Polnischen; diese räumlich-kulturelle Einschränkung begrenzt die Wirkung westlichen Kulturgutes lediglich auf die Vorfahren der Weißrussen und Ukrainer, welche im Polnisch-Litauischen Großfürstentum lebten. Wie war es aber in der Moskauer Rus'?

1.1.

In seinem ausführlichen Beitrag zur »russischen« (ostslavischen) Übersetzungsliteratur, der zugleich eine grobe, aber nützliche Periodisierung bietet, hebt BULANIN 1995 mit Recht die fast ausschließliche Orientierung der Süd- und Ostslaven am griechisch-byzantinischen Modell hervor, wobei die Wahl überwiegend auf Werke aus der patristischen oder frühbyzantinischen Zeit fiel (EREMIN 1966: 10 f., AVENARIUS 2000: 200 f.).

In der byzantinischen Welt konnte zudem die Renaissance als solche deshalb nicht entstehen, weil im Gegensatz zum mittelalterlichen Westen die griechische Tradition trotz religiöser Vorbehalte keinen Abbruch erlitt (BIRNBAUM 1969: 40–42). Dies mag zwar auf Byzanz zutreffen, wo die klassische Tradition natur- und kulturgemäß nie völlig verschwunden war, viel weniger kann es aber auf die byzantinisch geprägten Slaven angewandt werden, für die die Antike einen äußerst verdächtigten Fremdkörper darstellte; die Beschäftigung mit antiken Autoren setzte bekanntlich bei den Ostslaven erst gegen Ende des 16. Jh. ein (NEUMANN 1965: 738).

Von den Slaven wurden ja gerade die theologischen Vorstellungen der spätbyzantinischen Zeit übernommen und waren folglich für ein feindseliges und misstrauisches Verhältnis gegenüber der klassischen Kultur verantwortlich, welche als mit dem Christentum unvereinbar angesehen und pauschal als hellenisch gebrandmarkt wurde (BULANIN 1991: 23). Das soll, *mutatis mutandis*, auch für den am byzantinischen Hofe gebildeten Konstantin (Kyrill) gegolten haben, welcher

obwohl er während des ersten byzantinischen Humanismus aufwuchs, zur Zeit, als sich die byzantinische Gesellschaft unter Photios' Einfluß stärker ihrem antiken Erbe zuwandte, vor allem in der byzantinischen theologischen Tradition und Patristik verankert war, die den fundamentalen Rahmen seiner Spiritualität bildete (AVENARIUS 2000: 74).

Während in Byzanz die Bildung hellenisch blieb und das Lesen und Auslegen klassischer Autoren in den Unterricht vorbehaltlos miteinbezog, wurden bei den Süd- und Ostslaven das Trivium und Quadrivium nicht gepflegt; die

konfessionell-kulturelle Bindung an das Klostermodell (IKONNIKOV 1869: 225) verursachte ferner das Fehlen von Bildungsstätten bei den Slaven (BULANIN 1991: 25 und 269–271), was Ende des 15. Jahrhunderts der Novgoroder Erzbischof Gennadij als besonders schmerzhaft empfinden sollte.⁴

1.2.

Ein weiteres Hindernis für die Aufnahme humanistischer Strömungen seitens der Ostslaven bestand offensichtlich in der kirchenslavischen Sprache, welche die Entwicklung der profanen Volkssprachen länger als in Westeuropa hemmte (BIRNBAUM 1969: 43). Dieselbe Meinung vertritt ISAČENKO (1980: 125):

[...] the CS patrimony played an important role in the formation of the Russian standard language. At the same time, the retention of CS as the only language of the church and of culture in general turned out to be a serious handicap in the further development of Russian civilization. It was, in fact, the main reason why the Middle Ages lasted two centuries longer in Russian than in the West.

Die humanistische Sprachdebatte *questione della lingua* konnte folglich die Gebiete nicht erreichen, in denen die kirchenslavische Tradition dominierte.⁵

1.3.

Das Schisma von 1054 und der sich im Laufe der Zeit konsolidierende Gegensatz zwischen dem Westen und der *Slavia orthodoxa* führten zu einer religiösen Spaltung mit schwerwiegenden historischen und kulturellen Folgen: Der Austausch mit dem abtrünnigen lateinisch-katholischen Westen war nicht mehr erwünscht.⁶

Belege westlichen Kulturgutes in der Moskauer Rus' seien lediglich die Folge einer »beachtenswerten russisch-abendländischen Begegnung« (ANGERMANN/ENDEL 1989: 109), nämlich einer bis vor kurzem nicht gebührend be-

4 Vgl. sein Sendschreiben an den Metropoliten Simon über die Einsetzung von Subdiakonen (»о подъяческомъ ставленіи«) und über die Notwendigkeit Schulen für die Kandidaten einzurichten (Text in TURGENEV 1841: 146–148, Nr. 104 und POLEVOJ 1872: 101 f).

5 Vgl. dazu OSTERRIEDER 1999. Elemente eines Gegensatzes zwischen Latein und *volgare* erkennt dagegen VERNER (2010: 26) in den aus dem Lateinischen neuübersetzten Büchern der Gennadius-Bibel.

6 Zum Gegensatz zwischen einer westlichen und einer östlichen Slavia und dessen kulturell-literarischen Folgen vgl. GRACIOTTI 2006.

handelten Übersetzungsphase⁷ gewesen, die in Novgorod ihren Mittelpunkt hatte. Diese sogenannte Novgoroder Periode der ostslavischen Übersetzungsliteratur (BULANIN 1995: 45 f.) ist mit den Bemühungen des oben schon erwähnten Erzbischofs Gennadij verbunden, der mit Recht als wahre Schlüsselfigur bezeichnet werden kann (ANGERMANN 1966: 25, Anm. 19). Im Rahmen eines unerbittlichen Kampfes gegen die häretische Bewegung der so genannten Judaisierenden⁸ entfaltete er während seiner Amtszeit (1484–1504) eine rege literarisch-polemische Tätigkeit, nicht zuletzt unter Heranziehung von Texten und Modellen westlich-katholischer Herkunft (PORFIR'EV³ 1879: 451–457; WIECZYNSKI 1972).

Eben dieser Umstand hat schon Ende des 19. Jahrhunderts A. I. SOBOLEV-SKIJ dazu veranlasst, die damals gewagte These zu vertreten, das berühmte Fenster nach Europa sei bereits lange vor Peter dem Großen aufgestoßen worden (1903/1989: 39).⁹ Diese These wurde in unserer Zeit von JANIN (2004: 16) aufgegriffen:

Как удачно выразился недавно один молодой писатель, Петр I вынужден был рубить окно в Европу там, где раньше была широкая дверь [vgl. KISELEV 1984: 11, V. T.]. Иногда эта дверь захлопывалась войной, но все же на протяжении IX–XV вв. Новгородская земля оставалась важнейшей контактной зоной между всей Русью и Западной Европой.

1.4.

Alles in Allem kann man wohl mit ALEKSEEV (s. u.) sagen, dass noch Mitte des 16. Jahrhunderts das Interesse der russischen Gebildeten eher in dem durch die kirchenslavische Tradition bedingten und dominierten mittelalterlich-religiösen Bereich lag. Deshalb wundert es nicht, dass der vom Großfürsten

7 Im 7., der Literatur gewidmeten Kapitel der Monographie PORFIRIDOV'S (1947: 225 f.) sucht man vergeblich nach den Novgoroder Übersetzungen aus dem Lateinischen; nicht anders verhält es sich in weiteren Nachschlagewerken, wie z. B. in der IRL 1980 und PICCHIO 2002.

8 Vgl. dazu u. a. LUR'EV 1960 und 1984, BIRNBAUM 1973: 264–252, PLIGUZOV 1992. Dass es sich dabei um eine humanistische Bewegung gehandelt habe, die sich für westliche Werke wissenschaftlicher Natur interessierte (CAZZOLA 1977: 30), lässt sich nicht stichhaltig beweisen. BIRNBAUM (1973: 253) vertritt die Ansicht, die Judaisierenden seien Christen gewesen, die unter Umständen von jüdischen Traditionen und Riten beeinflusst waren. DE MICHELIS 1993 greift eine bereits formulierte These auf, wonach die Judaisierenden als Ausläufer vorreformatorischer Bewegungen zu identifizieren seien (vgl. aber die scharfe Kritik von KÄMPFER 1995 und die Replik in DE MICHELIS 1997).

9 Die westeuropäischen Kontakte der Kiever Rus' werden von HELLMANN 1993 behandelt; für das 15. und 16. Jahrhundert vgl. KAZAKOVA 1980.

Vasilij Ivanovič III. zu Papst Clemens nach Rom gesandte Eremej Trusov und seine Begleiter nichts Besseres zu übersetzen fanden als einen formal und vor allem inhaltlich typisch mittelalterlichen Text, nämlich die immer noch rätselhafte Legende von der Gottesmutter aus Loreto *Skazanie o loret-skoj bogomateri*:¹⁰

[...] очевидные доказательства того, как чужда и непонятна была представителям русских образованных кругов возникшая в Италии ренессансная культура: в городах, кипевших жизнью, создававших великие творения нового светского искусства, русские путешественники якобы увидели только то, к чему они уже привыкли у себя дома (ALEKSEEV 1960: 184).

Kommen wir nun zu den zwei Hauptthemen der vorliegenden Darlegung, nämlich zu Novgorod (§ 2) und dem Humanismus (§ 3).

2.

In der einschlägigen Literatur herrscht die bereits eingangs erwähnte Meinung, dass die Botschaft der westlichen Renaissance erst im 17. Jahrhundert durch die Ukraine und Polen zu den Russen gelangte (*ibid.* 1960: 184).

Nichtsdestotrotz wird Novgorod, der »Vater der russischer Städte«,¹¹ ebenso wie Pskov oft als »durch den Kontakt mit dem Westen bedingte Ausnahme« (HELLMANN 1991: 4) betrachtet, in der nur ein Schimmer neuer, humanistisch geprägter Ideen zum Vorschein kam. Bekanntlich hing die Besonderheit Novgorods mit der geographischen Lage der Stadt zusammen, »am Rande des römisch-katholischen Abendlandes wie am Westrande des orthodoxen russischen Reiches« (ONASCH 1969: 13). Wir sind berechtigt anzunehmen, dass die ersten glaubwürdigen Informationen zu Latein-Kenntnissen bei den Ostslaven auf das 15. Jahrhundert zurückgehen (D'JAČOK/ŠAPOVAL 1987: 54).¹²

Dank der weit- und vorsichtigen Politik des Aleksander Nevskijs blieb Novgorod zum Teil außerhalb des tataro-mongolischen Machtbereiches (ARUTJUNJAN 2001: 93 f.) und in verhältnismäßig enger Verbindung zum Westen. An

10 Vgl. detailliert zum Text СYPKIN 1990.

11 Dem Phänomen Novgorod hat BIRNBAUM zahlreiche, zum Teil sich wiederholende Aufsätze und Monographien gewidmet (vgl. z. B. 1977, 1981, 1996); der interessierte Leser sei auch auf VERNADSKY (1959: 27–66), TICHOMIROV 1960, BRATKOWSKI 1999 und den Sammelband GIPPIUS et al. (1999) verwiesen.

12 Zum Latein in Russland vgl. KEIPERT 1996; es ist zu bedauern, dass wir für die lateinische Tradition dieser Zeit über keine Monographie wie die von FONKIČ 2003 für das Griechische verfügen.

einem Knotenpunkt wichtiger Wasserstraßen gelegen (BIRNBAUM 1987: 4), vermochte Novgorod Handelsbeziehungen sowohl in der Nord-Süd-Richtung als auch in der West-Ost-Richtung zu entwickeln (RYBINA 2001b: 291), was einen regen Austausch von Waren mit den Hansestädten ermöglichte (ANGERMANN 1984, SCHUBERT 1994, BIRNBAUM 1996: 153–165, RYBINA 2001a: 123–165, ANGERMANN/FRIEDLAND 2002).¹³ Das »janusköpfige Novgorod« (STOEB 1995: 74–78) war im Mittelalter »die größte Stadt Nordosteuropas mit einem sehr verlockenden Warenangebot und hervorragenden Absatzmöglichkeiten« (ANGERMANN 1991: 60); noch im 16. Jahrhundert staunten die Europäer über die Größe der Stadt (KOVALENKO 2005: 14).

2.1.

Dieser Güterausaustausch könnte auch kulturelle Einflüsse nach sich gezogen haben (VON RAUCH 1964: 203, ANGERMANN 1994). BIRNBAUM (1996: 165) schreibt die an Florenz erinnernde [sic!]¹⁴ Atmosphäre am Hofe des Erzbischofs Gennadij fremder Wirkung zu, indem er von "the sober and partly perhaps freethinking attitude of local members of the Hansa, their ideas and impulses" spricht. Auch nach BULANIN (1995: 45) wird die früher in diesem Ausmaß undenkbar Beschäftigung mit westeuropäischen Texten durch die traditionellen Kontakte Novgorods mit dem Westen und dessen Kultur erklärt.

Jedoch dürfen die nicht immer friedlich verlaufenden Kontakte zwischen Novgorod und der Hanse im kulturellen und politischen Bereich nicht überschätzt werden.¹⁵ Die Kulturträgerrolle der Hanse wird zum Beispiel von RYBINA (2001b: 307) vehement bestritten (vgl. auch *ead.* 2001a: 167):

[...] die ständige Anwesenheit ausländischer Kaufleute in Novgorod wirkte sich in keiner Weise auf das lebhaft politische Leben und die allgemeine Entwicklung der Stadt aus. Es gibt keinen Grund, eine Abhängigkeit Novgorods von der Hanse in dem Sinne anzunehmen, wie es die Anhänger der Kulturträgertheorie tun. Es gab keinen Einfluß der Hanse auf das innere Leben der Novgoroder Republik.

13 ANGERMANN hat eine ganze Reihe wichtiger Beiträge zu Novgorod verfasst (zur Ergänzung der hier angegebenen Literatur vgl. das Publikationsverzeichnis in PELC/PICKHAN 1996: 9–15).

14 BIRNBAUM (1977: 252 f.) spricht sogar vom Humanistenkreis um den Erzbischof Gennadij.

15 Zur Hanse in Hinblick auf die Kultur vgl. ZIEGLER (1996: 320–344).

Auch FENNELL (1961: 32) hält Novgorod für eine in geistiger Hinsicht östliche Stadt. Im besten Fall könne man sie als eine zum Westen ausgespannte Brücke charakterisieren, wie auch BIRNBAUM (1996: 40) betont:

Novgorod, one of the great centers of Old Russian, Byzantine-inspired culture and of by and large unwavering official Orthodoxy, was the northernmost stronghold of the Byzantine East of Slavdom, of the *Slavia orthodoxa*, rather than of its opposite, the Latin West and the *Slavia romana*. Perhaps, metaphorically speaking, the Volkhov city can best be characterized as one of those points in space and time from where a bridge spanned toward the West, a bridge with a two-way, yet mostly West-to-East, traffic.

STÖKL (1957: 538) behauptet dagegen, dass Novgorod ein für Russland eher untypisches Phänomen sei: »Aber Novgorod ist niemals typisch für die russische Stadt gewesen und es ist vor allem nicht typenbildend geworden«. Die Bildung eines unter der Herrschaft der Moskauer Großfürsten zentralisierten Einheitsstaates (DONNERT 1972: 91–124) eröffnete Ende des 15. – Anfang des 16. Jahrhunderts lediglich eine Zone der Kontakte und Kontaktmöglichkeiten zu westlichen Ländern (STÖKL 1959: 430).

Unabhängig davon, ob Novgorod bei der kulturellen Entwicklung der Moskauer Rus' im 16. Jahrhundert, z. B. bei der Einführung des Buchdruckes in Russland (TICHOMIROV 1957: 7, RAAB 1958/59: 1961, MILLER 1978),¹⁶ tatsächlich eine entscheidende Rolle gespielt hat (ZABAROVSKAJA 2007), wurde die politisch-militärische Niederlage durch einen kulturellen Sieg kompensiert (NOVOSADSKIJ 1935: 31). Da seine Bedeutung im 16. Jahrhundert weiter bestehen blieb (KLJUČEVSKIJ 1914: 5, ROZOV 1977: 108),¹⁷ könnte man auf Novgorod und Moskau Horaz's berühmten Spruch anwenden: *Novgorod captus ferum victorem cepit* (PLATONOV 1912/1999: 188), vgl. BUSLAEV (1861/1970: 269):

[...] велико было влияние новгородской образованности на Москву даже в половинѣ того столѣтія. Могущественно расширяя свою вѣншнюю силу и покоривъ своей власти старый Новгородъ, эта новая столица не успѣла еще тогда стать въ главѣ древняго нашего образованія, какъ оно ни было впрочемъ малосложно и молодо. Покоренный Новгородъ долго отстаивалъ свои духовныя права передъ Москвою, уступая ея силамъ вѣншнимъ.

16 Diesbezüglich wird die älteste Handschrift der Gennadius-Bibel als Druckvorlage betrachtet, was tatsächlich erst fast hundert Jahre später geschah; zum Buchdruck in Russland vgl. SKRYNNIKOV (1996: II, 313–326) und die dort angegebene Bibliographie.

17 Ob dieser Umstand den Moskauern zu verdanken war, die sich nicht für Eroberer hielten (LIČAČEV 1959: 87), sei dahingestellt.

2.2.

Ein Dauerthema der historischen und kulturologischen Forschung ist der Gegensatz zwischen Novgorod und Moskau (BUSLAEV 1861/1970: 269–280). Laut VARENCOV/KOVALENKO (1999: 5–7) gibt es zwei völlig divergierende Interpretationen des Anschlusses Novgorods an das Moskauer Reich.

2.2.1.

Einige Forscher betrachten die Unterwerfung Novgorods durch Ivan III. im Jahr 1478 als einen Gewaltakt eines despotischen Regimes gegen eine durch freie und demokratische Institutionen ausgezeichnete Stadtrepublik (FENNEL 1961: 29–65; NIKITIN 1989: 94–98; STOOB 1995: 274–276; SKRYNNIKOV 1996: I, 11–25), »eine auf einer »burgstädtischen Volksversammlung« gegründete Stadtrepublik mit demokratischen Verfassungselementen« (GOEHRKE 1981: 462). Getrieben von antimoskovitischem Eifer publizierte z. B. ISAČENKO (1973) zum VII. Internationalen Slavistenkongress in Warschau einen Vortrag, in dem er die provokative Frage stellte, was in Russland im Fall eines Sieges Novgorods über Moskau geschehen wäre.

ISAČENKOS Fragestellung, die eine klare antisowjetische Orientierung erkennen lässt, wurde zutreffend als *opyt postroenija »virtual'noj« istorii Rossii* bezeichnet (NEROZNAK/SAL'NIKOV 1998: 969). Solche parahistorischen Konstrukte und Interpretationen sind kürzlich zu Recht relativiert oder heftig kritisiert worden (vgl. etwa KRYS'KO 1999), denn sie entsprechen nicht dem tatsächlichen Verlauf der Geschichte (BIRNBAUM 1996: 166–180).

Diese etwas romantische Interpretation der historischen Tatsachen, die sich bis auf Herberstein zurückverfolgen lässt (KOVALENKO 2005: 11),¹⁸ ist mit der politischen Einstellung von Denkern wie etwa Herzen und den Dekabristen verbunden, welche ihre politische Kritik der zeitgenössischen Situation auf die historische Vergangenheit zurückprojizierten:¹⁹

[...] dass die dort [bei Radiščev, V. S. T.] geschilderten Merkmale Novgorods in krassem Gegensatz zur damals in Rußland herrschenden Staatsphilosophie stehen. Gerade dieser Widerspruch, verborgen im historischen Mythos Novgorods, ist die Hauptsache für die Popularität und Aktualität des Novgoroder Themas, in dem die Schriftsteller, wie hier exemplarisch Radiščev, die Möglichkeit fanden,

18 Vgl.: «Противопоставив Новгород Москве, Герберштейн фактически поставил вопрос об альтернативах политического развития России. С тех пор эта тема присутствует во многих иностранных сочинениях о России, и до сих пор вызывает общественный интерес и наводит на политические раздумья»; vgl. dazu auch VARENCOV/KOVALENKO (1999: 158).

19 Zu Novgorod als literarisches Thema vgl. ŽAVORONKOV (1959: 5–38).

nicht nur ihren literarischen Intentionen zu folgen, sondern auch ihren historiosophischen, gesellschaftlichen und politischen Überzeugungen Ausdruck zu verleihen (LÜBKE 1984: 10).

2.2.2.

Während das erste Lager die Niederlage Novgorods im Kampf gegen Moskau beklagte, das in seinen Augen die autokratische Macht verkörperte, sah das zweite in Novgorod ein Symbol von Zerstrittenheit (*knjažeskie usobicy*) und mangelnder Eintracht; bei Novgorod handele es sich keinesfalls um eine mit den westlichen Stadtrepubliken vergleichbare Demokratie, vielmehr sei schon im 15. Jahrhundert das politische System zu einer von der Bojarenklasse dominierten Aristokratie ausgeartet (ARUTJUNJAN 2001: 95).

Es ging in der Tat nicht um einen Kampf zwischen Despotismus (Moskau) und Demokratie (Novgorod), sondern zwischen zwei Feudalsystemen, wobei der Novgoroder Aristokratie die Unterstützung der Massen fehlte, was unvermeidlich zur Niederlage der Volchov-Stadt führte (JANIN 2004: 18). Der Kontrast zwischen der im »Goldenen Zeitalter« frei blühenden Stadtrepublik der Vergangenheit und der seit der Unterwerfung durch Moskau im Niedergang befindlichen Provinzstadt sollte zum wichtigen Element eines »Novgoroder Regionalbewusstseins« werden (KAPPELER 2004b: 175).

2.3.

Trotz des Verlustes der politischen Unabhängigkeit verlosch das kulturelle Leben Novgorods nicht (GORDIENKO 2001: 286). Dies ist in der Literatur mehrfach betont worden (BIRNBAUM 1996: 36); man kann mit Recht vom Schwanengesang oder auch dem Herbst der Novgoroder Kultur sprechen, die auch über das von Gennadij veranlasste Übersetzungswerk hinausging und im 16. Jahrhundert weiter blühte.²⁰

Es ist deshalb nicht einfach zu sagen, ob Novgorod endgültig aufhörte, »Rußlands Tor nach dem Westen zu sein, als es Ivan III. zu seinem Erbbesitz erklärte« (STÖKL 1957: 538). Vielmehr scheint eine andere historische Angelegenheit den Ausschlag gegeben zu haben, nämlich zunächst die Schließung des Hanse-Kontors im Jahre 1494 (KAZAKOVA 1975: 261–273; 1984)²¹ und

20 CHOROŠKEVIČ (1980: 222–252) behandelt das kulturelle Leben Novgorods von der Eingliederung Novgorods (1478) bis zur Einführung eines einheitlichen Währungssystems (1533).

21 Die Wiedereröffnung im Jahre 1514 vermochte den alten Glanz nicht zurückzubringen (HAMMEL-KIESOW ³2004: 103 f.).

vor allem die Politik Ivans IV. mit der Vernichtung der gesamten wirtschaftlich-politischen Führungsschicht durch Massendeportationen (KÄMPFER 2004: 162) und die Verwüstungen seitens der Schweden anfangs des 17. Jh. (JANIN 2004: 18).

2.4.

Wesentlich wichtiger für unsere Darstellung scheint aber eine andere Frage zu sein, nämlich ob die Gegenüberstellung von Novgorod und Moskau in Bezug auf die von den Übersetzungen aus dem Lateinischen repräsentierte Schiene gerechtfertigt ist.

2.4.1.

Einige Forscher verweisen auf die Eigen- und Einzigartigkeit des Phänomens Novgorod in kultureller Hinsicht, indem sie den »partikularistischen Geist der uralten Handelsstadt« (ONASCH 1969: 177) unterstreichen, und lassen damit die oben besprochene »liberale« These wieder aufleben, wonach die demokratische Stadt am Volchov dem Moskauer Despotismus zum Opfer gefallen sei. BULANIN (1995: 45) spricht von einer zentrifugalen Trägheit Novgorods auch nach der Einverleibung, wobei Gennadij als repräsentativster Vertreter einer dem lateinischen Modell folgenden Theologie anzusehen sei.

Andere glauben sogar, in der Politik Gennadijs einen Gesinnungswandel zu erkennen: Gennadij sei zwar als »Repräsentant und Sachverwalter der Moskauer Belange und als Vertrauensmann des Großfürsten« in die Stadt eingezogen, habe dann die historische Sonderstellung Novgorods erkannt und dementsprechend unabhängig von Moskau gehandelt (HÖSCH 1975: 72 f.).

2.4.2.

Es ist allgemein bekannt, dass Gennadij der erste Novgoroder Erzbischof war, der nicht in Novgorod gewählt, sondern von Moskau aufgestellt wurde;²² sein am 12. Dezember 1484 angetretenes Amt soll er sich durch eine »illegale Spende« erkaufte haben, indem er dem Großfürsten 2000 Rubel zahlte (VARENCOV/KOVALENKO 1999: 124).

22 Tatsächlich war Sergij der erste nicht von Novgorod eingesetzte Erzbischof der Stadt am Volchov, der aber neun Monate nach seinem Ruf aus Krankheitsgründen sein Amt aufgab (FENNELL 1961: 56 f.); nach der Niederlage bei der Schlacht am Fluss Šelon', südwestlich von Novgorod, am 14. Juli 1471, war nämlich der Erzbischof von Novgorod und Pskov der Jurisdiktion der Moskauer Orthodoxie unterstellt worden (*ibid.*: 46).

Die Voraussetzungen und die Kompetenz für die Übersetzungstätigkeit, nämlich der fremdsprachenkundige Dolmetscher, waren zwar (nur) in Novgorod gegeben, das ja seit geraumer Zeit Handelsbeziehungen mit dem Westen pflegte, aber der entscheidende Impuls kam doch von Moskau, wie bereits von ORLOV 1935b: 9 f.). Ähnliche Gedanken waren schon vorher formuliert worden:

Всем известно, конечно, что Геннадий – московский ставленник, и думаем, что данное обобщающее предприятие не было плодом центробежной тенденции Новгорода. Предприятие это мы считаем не краевым, а центральным. Оно ясно указывает на выражение того абсолютизма, который в конце концов с наибольшей остротой сказался в Иване IV.

Wenn also die Ansicht völlig plausibel erscheint, dass es sich um eine zentrifugale Erscheinung handele, die charakteristisch für Novgorod und seine Traditionen sei, ist doch die Annahme, dass die Tätigkeit am Hofe Gennadijs von Moskau initiiert wurde, nicht von der Hand zu weisen. In ihrer postum erschienenen Monographie hat WIMMER (2005: 7) die Meinung geäußert, dass die von Gennadij und seinen Mitarbeitern angefertigten Übersetzungen aus dem Lateinischen ihre Entstehung der zentralen Macht verdanken:

Kein Hanseeinfluß, keine hansisch-Novgoroder Verbindung ist hier am Werk, sondern ein aus Moskau eingesetzter Erzbischof importiert lateinische und deutsche Bücher über einen griechischen Vertrauten.

3.

Eine weitere Frage betrifft den vermeintlich humanistischen Charakter des Novgoroder Übersetzungswerkes. Während einige den übersetzten Texten und deren Autoren einen für die ostslavische Kultur erneuernden und fast revolutionären Charakter zuschreiben, neigen andere zu ziemlich gewagten Äußerungen und vergleichen die humanistische Atmosphäre Novgorods, wie bereits gesagt, sogar mit den italienischen Höfen der Renaissance:

Man muß sich einmal die geistige Atmosphäre im »Hause der heiligen Sophia« Ende des 15. Jahrhunderts vorstellen, als dort humanistisch gebildete Gelehrte aus Ost und West aus- und gingen, als man dort neben griechischen auch lateinische theologische Werke ins Russische übersetzte (ONASCH 1969: 179).

Wenden wir uns aber dem Repertoire der Übersetzungen zu, ohne deren für die Zeit und den Ort sicher innovative Wirkung bestreiten zu wollen. Es besteht zwar kein Zweifel darüber, dass das Novgoroder Übersetzungswerk aus dem Lateinischen mit dem Buchdruck und dessen rascher Verbreitung in

Westeuropa zusammenhängt, offensichtlich durch die Vermittlung der Händler (SODMANN 1987).

Das Vorhandensein zahlreicher deutscher Frühdrucke auf ostslavischem Boden darf aber nicht täuschen, sowohl chronologisch als auch inhaltlich. Während der Ausbreitung des Buchdrucks zwischen 1470 und 1480 wurden überwiegend klassische Schulbücher, bekannte theologisch-philosophische Texte, liturgische und grammatische Handbücher, Erbauungsliteratur, Psalterien und Bibeln verlegt (MALEIN 1935: 121), »die schon den Handschriftenmarkt dominiert haben und nun in übergroßer Zahl die Lager füllen« (RAUTENBERG 2000: 239), wobei örtliche Kirchenstellen einen entscheidenden Einfluss ausübten (LANGE 1949: 62).

Die Textauswahl richtete sich fast ausschließlich auf altbewährte Werke, die einen schnellen Absatz und damit die Abdeckung der hohen Investitionen versprachen (NEDDERMEYER 1999: 87); vor allem in Deutschland lässt sich »eine konservative Haltung gegenüber neuen Werken beobachten« (*id.* 1998: 543 f.; vgl. auch *id.* 1993).

Demzufolge fragt sich MILLER (1978: 405), ob eine klare Trennung zwischen Mittelalter und Renaissance für Nordeuropa sinnvoll sei:

The translations which Ghotan and Bülow helped to bring to Russia were more medieval than Renaissance. They illustrate again that in northern Europe one looks in vain for clear-cut divisions between the two periods. [...] Yet it is justified to argue that they employed and combined traditional sources in a manner which suggested new and humanist, yet still thoroughly religious, preoccupations.

Jedenfalls darf der Umstand nicht außer Acht gelassen werden, dass die ersten Drucke fast ausschließlich mittelalterliche Texte beinhalteten, denn die Buchdrucker waren nicht bereit und gewillt, auf dem neu zu bildenden Markt allzu große Risiken einzugehen. Angefangen mit der *Vulgata*-Bibelübersetzung (ROMODANOVSKAJA 2004, HOWLETT/OSINKINA 2008), über den *Donat* (TOMELLERI 2002), die *Regulae grammaticales* (*id.* 1999) und das *Rationale divinatorum officiorum* (BENEŠEVIČ 1928, THOMSON 1994, MEDVEDEV 1997, ROMANOVA 2002, 130–145), bis schließlich zum kommentierten Psalter des Würzburger Bischofs Bruno (TOMELLERI 2008), haben wir es offenkundig mit Werken zu tun, die keine ideologische und/oder inhaltliche Verbindung mit dem Humanismus und der Renaissance vorweisen, sondern zweifellos dem mittelalterlichen Denken entspringen.

Folgendes textuelle, wenn auch marginale Beispiel soll diesen Umstand weiter bekräftigen. Die mittelalterliche Didaktik ist, wie bekannt, durch die eifrige Verwendung mnemotechnischer Verse (*versus memoriales*) gekennzeichnet, welche als Gedächtnisstütze das Erlernen kurzer Materien erleichtern sollten (HAJDU 1936: 54); »das Auswendiglernen mußte naturgemäß in

einer Zeit, wo Bücher eine Seltenheit waren, eine große Rolle spielen [...]« (PAULSEN 1919: 24).

So finden wir zum ersten Mal in der ostslavischen Welt den im Westen durch Nicolaus de Lyra so populär gewordenen Merkvvers des Augustinus von Dacia (ТОМЕЛЛЕРИ 2010a: 203 f.):

*Littera gesta docet, quid credas allegoria
Moralis quid agas, quo tendas anagogia*
писаніе содѣланоѣ оучитъ. Ѧ еже что вѣроуѣши, ѡносказаніѣ.
нравовѣбичноѣ же что дѣлаѣши, како помышлѣши. вѣсокій же рѣзоумъ

In dem grammatischen Traktat *Pravila grammatičnye*, der 20 Kongruenzregeln und weitere syntaktische Fragen schulmäßig behandelt, werden zahlreiche Verse, vor allem aus dem berühmten *Doctrinale* des Alexander de Villa Dei (1175–1240), in russischer Übersetzung zitiert, wobei, wie beim Merkvvers des Augustinus de Dacia, die metrische Struktur nicht wiedergegeben werden kann (ТОМЕЛЛЕРИ 2010b: 271):

*Post Alphabetum minus haec doctrina legetur;
inde leget maius, mea qui documenta sequetur*
Послѣ азбѣки меншиє снѣ ученіє да четѣтсѧ.
паки да четѣтѣ болшаѧ моѧ ученіѧ таже послѣдѣютсѧ

Nur an einer Stelle des *Rationale divinatorum officiorum* wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine metrisch gerechte Wiedergabe des lateinischen Hexameters unmöglich sei (MEDVEDEV 1997: 172, WIMMER 2005: 143, Anm. 417):

Cur fles has lacrimas, odiosum quaere tyrannum
Куръ. флѣсъ. асъ. лакримасъ. однозѣмъ. квѣре тиранноузмъ

Am Rande, neben der slavischen Übersetzung des lateinischen Textes (о чѣмъ плачѣши со слѣзы гнѣвливаго ници мѣчитѣла) wird vermerkt:

сен стихъ писанъ не рѣчи дла но склада ради. на инои языкъ преводити его нѣсть трѣбѣ – [Dieser Vers ist nicht des Inhalts wegen geschrieben, sondern wegen der Silben. Deshalb ist es unnötig, ihn in eine andere Sprache zu übertragen].

Solche Beispiele ließen sich vermehren; diese Kostprobe soll lediglich den mittelalterlichen Charakter der in Novgorod übersetzten Literatur belegen, nicht nur inhaltlich, sonder auch formal.

Bei den in Novgorod übersetzten Texten handelt es sich überwiegend um Werke der Spätantike und des hohen Mittelalters (КОПРЕЕВА 1982: 139). Auch Dmitrij Gerasimov, zweifellos das begabteste und fleißigste Mitglied des Kreises um Gennadij, zählt offenkundig zu den Vertretern der mittelalterlichen

(*absit iniuria verbis*) Kultur: «Д. Герасимов, разделявший восторги гуманистов, питался еще литературой средневековья» (GOLENIŠČEV-KUTUZOV 1963: 27).

4.

Aus dem oben kurz Dargelegten kann man zusammenfassend Folgendes schließen:

- 1) Novgorod hat zwar auf allen Ebenen des menschlichen Handelns ein zum Teil selbständiges und besonderes Leben geführt, aber die Tätigkeit des Erzbischofs Gennadij und das daraus resultierende Eindringen westlicher Kulturphänomene hängen viel enger mit der zentralen Macht Moskaus zusammen, als viele zugeben möchten;
- 2) von Humanismus kann man in diesem Fall gar nicht oder aber nur sehr bedingt reden. Die Texte, die Art und Weise ihrer Wiedergabe, Rezeption, Adaption und Bearbeitung verraten ein eindeutig mittelalterliches Verständnis, was die Bedeutung der Übersetzungen und deren Wirkung auf ostslavischem Boden in gar keiner Weise schmälert.

Literatur

- ALEKSEEV 1960 = Алексеев, М. П.: »Явления гуманизма в литературе и публицистике Древней Руси (XVI–XVII вв.)«, in: *Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике. Доклады советской ученых на IV Международном съезде славистов*, Москва, 175–207.
- ANGERMANN 1966 = Angermann, N.: »Kulturbeziehungen zwischen dem Hanseraum und dem Moskauer Rußland um 1500«, in: *HGBll*, 84, 20–48.
- 1984 = Angermann, N.: »Die Hanse und Rußland«, in: d’Haenens, A. (Hg.): *Die Welt der Hanse*, Genf, 267–271.
- 1991 = Angermann, N.: »Deutsche Kaufleute im mittelalterlichen Novgorod und Pleskau«, in: ROTHE 1991: 59–86.
- 1994 = Angermann, N.: »Die hansisch-russische kulturelle Begegnung im mittelalterlichen Novgorod der Rus’«, in: HENN/NEDKVIITNE 1994: 191–214.
- ANGERMANN/ENDELL 1989 = Angermann, N./Endell, U.: »Die Partnerschaft mit der Hanse«, in: Herrmann, D. (Hg.): *11.–17. Jahrhundert*, München, (= West-östliche Spiegelungen. Russen und Rußland aus deutscher Sicht und Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht von den Anfängen bis zum 20. Jahrhundert, Reihe B: Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht, 1), 83–115.
- ANGERMANN/FRIEDLAND 2002 = Angermann, N./Friedland, K. (Hg.): *Novgorod. Markt und Kontor der Hanse*, Köln etc. (= Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, N. F. 53).

- ARUTJUNJAN 2001 = Арутюнян, А. А.: »Россия и Ренессанс«, in: *Общественные науки и современность*, 3, 89–101, vgl. <http://ecsocman.edu.ru/data/826/668/1217/008aRUTx40NQN.pdf> [28.03.2011].
- AVENARIUS 2000 = Avenarius, A.: *Die byzantinische Kultur und die Slawen. Zum Problem der Rezeption und Transformation (6. bis 12. Jahrhundert)*, Wien – München (= Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 35).
- BENEŠEVIČ 1928 = Бенешевич, В.: »Из истории переводной литературы в Новгороде конца XV столетия«, in: Перетц, В. Н. (ред.): *Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского, изданный ко дню 70-летия со дня его рождения Академией наук по почину его учеников. Статьи по славянской филологии и русской словесности*, Ленинград (= Сб АН СССР, ОРЯС 101.3), 378–380.
- BIRNBAUM 1969 = Birnbaum, H.: »Some Aspects of the Slavic Renaissance«, in: *SEER* 47 (108), 37–56 [vgl. Idem: *On Medieval and Renaissance Slavic Writing. Selected Essays*, The Hague – Paris 1974 (= Slavistic Printings and Reprintings 266), 41–61].
- 1973 = Birnbaum, H.: »On Some Evidence of Jewish Life and Anti-Jewish Sentiments in Medieval Russia«, in: *Viator* 4, 225–255.
- 1977 = Birnbaum, H.: »Lord Novgorod the Great: Its Place in Medieval Culture«, in: *Viator* 8, 215–254.
- 1981 = Birnbaum, H.: *Lord Novgorod the Great: Essays in the History and Culture of a Medieval City-State*, P. 1: *The Historical Background*, Columbus/Ohio (= UCLA Slavic Studies 2).
- 1987 = Birnbaum, H.: »Kiev, Novgorod, Moscow: Three Varieties of Urban Society in East Slavic Territory«, in: Krekić, B. (ed.): *Urban Society of Eastern Europe in Premodern Times*, Berkeley etc., 1–62.
- 1996 = Birnbaum, H.: *Novgorod in Focus. Selected Essays*, with a Foreword by V. L. Yanin, Columbus/Ohio.
- BRATKOWSKI 1999 = Bratkowski, S.: *Pan Nowogród Wielki*, Warszawa.
- BRAUN 1956 = Braun, M.: »Das Eindringen des Humanismus in Rußland im 17. Jahrhundert«, in: *WdSl* 1, 35–49.
- BULANIN 1991 = Буланин, Д. М.: *Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVI вв.*, München (= Slavistische Beiträge 278).
- 1995 = Буланин, Д. М.: »Древняя Русь«, in: Левин, Ю. Д. (отв. ред.): *История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII век*, Т. 1: *Проза*, Санкт-Петербург – Köln etc. (= Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte: Reihe A, Slavistische Forschungen, N. F. 13), 17–73.
- BUSLAEV 1861/1970 = Буслаевъ, Ѳ.: *Историческіе очерки русской народной словесности и искусства*, Т. 2: Древне-русская народная литература и искусство, С.-Петербургъ [fotomech. Nachdr. der Originalausgabe 1861: Leipzig 1970].
- CAZZOLA 1977 = Cazzola, P.: *Il Cinquecento russo. Profilo storico-letterario-culturale*, Bologna.
- Ї-PSS = Чаадаев, П. Я.: *Полное собрание сочинений и избранные письма*, Т. 1: *Сочинения на русском и французском языках; варианты. Показания Чаадаева. Заметки на книгах. Комментарий. Дибія: повесть в стихах »Рыбаки«, стихотворение. Чаадаевiana*, отв. ред. З. А. Каменский, Москва 1991 (= ПФМ).
- СНОРОШКЕВИČ 1980 = Хорошкевич, А. Л.: *Русское государство в системе международных отношений конца XV – начала XVI в.*, Москва.

- СУРКИН 1990 = Цыпкин, Д. О.: »Сказание ›О Молукитцких островах‹ и Повесть о Лоретской Богоматери (Из сборника БАН, Архангельское собр., д. 193, XVI в.)«, in: *ТОДРЛ* 44, 378–385.
- D'JAČOK/ŠAROVAL 1987 = Дьячок, М. Т./Шаповал, В. В., »Вариативность принципов транслитерации латинских слов в русской традиции начала XVII в.«, in: Федоров, А. И. (отв. ред.): *Лексическая и фразеологическая семантика языков народов Сибири. Сборник научных трудов*, Новосибирск, 54–62.
- DONNERT 1972 = Donnert, E.: *Rußland an der Schwelle der Neuzeit. Der Moskauer Staat im 16. Jahrhundert*, Berlin.
- EREMIN 1966 = Еремин, И. П.: »О византийском влиянии в болгарской и русской литературах IX–XII вв.«, in: Idem: *Литература Древней Руси (этюды и характеристики)*, Москва – Ленинград, 9–17.
- FENNEL 1961 = Fennel, J. L. I.: *Ivan the Great of Moscow*, London – New York.
- FONKIČ 2003 = Фонкич, Б. Л.: *Греческие рукописи и документы в России в XIV – начале XVIII в.*, Москва (= Россия и Христианский Восток. Библиотека 4).
- FREYDANK 1968 = Freydank, D.: »Zu Wesen und Begriffsbestimmung des russischen Humanismus«, in: *ZfSl* 13, 98–108.
- GIPPIUS et al. 1999 = Гиппиус, А. А./Носов, Е. Н./Хорошев, А. С. (ред.): *Великий Новгород в истории средневековой Европы. К 70-летию Валентина Лаврентьевича Янина. Сборник статей*, Москва.
- GOHRKE 1981 = Goehrke, C.: »Groß-Novgorod und Pskov/Pleskau«, in: Hellmann, M. (Hg.): *Handbuch der Geschichte Rußlands*, Bd. 1.1: *Bis 1613. Von der Kiever Reichsbildung bis zum Moskauer Zartum*, Stuttgart, 431–483.
- GOLENIŠČEV-KUTUZOV 1963 = Голенищев-Кутузов, И. Н.: *Гуманизм у Восточных Славян (Украина и Белоруссия)*, Москва (= v *Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963). Доклады советской делегации*).
- GORDIENKO 2001 = Gordienko, E. A.: »Von der Sophienkathedrale bis zum Erzbischöflichen Palast. Kirche und geistiges Leben in Novgorod vom 11.–15. Jh.«, in: MÜLLER-WILLE et al. 2001: 245–289.
- GRACIOTTI 2006 = Graciotti, S.: »Slavia orientale e Slavia occidentale. Contenziosi ideologici e culture letterarie«, in: Capaldo, M. (dir.): *Lo spazio letterario del Medioevo*, 3: *Le culture circostanti*, Vol. 3: *Le culture slave*, Roma, 75–144.
- HAJDU 1936 = Hajdu, H.: *Das mnemotechnische Schrifttum des Mittelalters*, Budapest.
- HAMMEL-KIESOW ³2004 = Hammel-Kiesow, R.: *Die Hanse*, München (= Beck'sche Reihe. Wissen 2131).
- HELLMANN 1991 = Hellmann, M.: »Die Deutschen im europäischen Nordosten«, in: ROTHE 1991: 1–19.
- 1993 = Hellmann, M.: »Westeuropäische Kontakte der Alten Rus'«, in: Birkfellner, G. (Hg.): *Millennium Russiae Christianae. Tausend Jahre Christliches Rußland 988–1988. Vorträge des Symposiums anlässlich der Tausendjahrfeier der Christianisierung Rußlands in Münster vom 5. bis 9. Juli 1988*, Köln etc. (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 16), 81–94.
- HENN/NEDKVIITNE 1994 = Henn, V./Nedkvitne, A. (Hg.): *Norwegen und die Hanse. Wirtschaftliche und kulturelle Aspekte im europäischen Vergleich*, Frankfurt a. M. etc. (= Kieler Werkstücke: Reihe A, 11).
- HÖSCH 1975 = Hösch, E.: *Orthodoxie und Häresie im alten Rußland*, Wiesbaden (= Schriften zur Geistesgeschichte des östlichen Europa 7).

- HOWLETT/OSINKINA 2008 = Howlett, J./Osinkina, L.: »The heresy of the ›Judaizers‹ in 15th century Moscow and the production of the first complete Slavonic Bible: is there a connection?«, in: *Papers to be presented at the XIV International Congress of Slavists, Ohrid (10-16.09.2008)*, 28–36, vgl. <http://www.scribd.com/doc/51247195/Papers-to-Be-Presented-at-the-XIV-International-Congress-of-Slavists> [16.10.2010].
- ИКОННИКОВ 1869 = Иконниковъ, В. [С.]: *Опытъ изслѣдованія о культурномъ значеніи Византіи въ русской исторіи*, Кіевъ.
- IRL 1980 = Лихачев, Д. С./Макогоненко, Г. П. (ред. тома): *История русской литературы в четырех томах*, Т. 1: *Древнерусская литература. Литература XVIII века*, Ленинград.
- ISAČENKO 1973 = Исаченко, А. В.: »Если бы в конце XV века Новгород одержал победу над Москвой (Об одном несостоявшемся варианте истории русского языка)«, in: *WSJb* 18, 48–55 [vgl. Nachdr. in: *Вестник РАН* 68 (1998) 11, 970–974].
- 1980 = Issatschenko, A. V.: »Russian«, in: Schenker, A. M./Stankiewicz, E. (ed.): *The Slavic Literary Languages: Formation and Development*, New Haven (= Yale Russian and East European Publications 1), 119–142.
- JANIN 2004 = Янин, В. Л.: *Средневековый Новгород. Очерки археологии и истории*, Москва.
- KÄMPFER 1995 = Kämpfer, F.: Rez. zu: DE MICHELIS 1993, in: *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 43, 422–424.
- 2004 = Kämpfer, F.: »Moskowerpest« (Московский моръ): Woher hat Herberstein diesen Terminus?«, in: KAPPELER 2004a: 159–166.
- KAPPELER 2004a = Kappeler, A. (Hg.): *Die Geschichte Russlands im 16. und 17. Jahrhundert aus der Perspektive seiner Regionen*, Wiesbaden (= Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 63).
- 2004b = Kappeler, A.: »Quis potest contra Deum et magnam Neugardiam?« Novgorod und sein Verhältnis zum Moskauer Zentrum im Lichte von Ausländerberichten des 16. und 17. Jahrhunderts«, in: KAPPELER 2004a: 167–184.
- KAZAKOVA 1975 = Казакова, Н. А.: *Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения (конец XIV – начало XVI в.)*, Ленинград.
- 1980 = Казакова, Н. А.: *Западная Европа в русской письменности XV–XVI веков. Из истории международных культурных связей России*, Ленинград.
- 1984 = Казакова, Н. А.: »Еще раз о закрытии ганзейского двора в Новгороде в 1494 г.«, in: *Новгородский исторический сборник* 2 (12), 177–187.
- KEIPERT 1996 = Keipert, H.: »Das Lateinische in der Geschichte der russischen Sprache«, in: Munske, H. H./Kirkness, A. (Hg.): *Eurolatein. Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen*, Tübingen (= RGL 169), 106–128.
- KISELEV 1984 = Киселев, Б.: »Слово о Новгороде. Очерк«, in: *ЛУ*, 4, 3–22.
- KLJUČEVSKIJ 1914 = *Отзывы и отзывы*. Третий сборникъ статей В. Ключевскаго, Москва [= Петроград 1918].
- KOPREEVA 1982 = Копреева, Т. Н.: »Западные источники в работе новгородских книжников конца XV – начала XVI в.«, в: *Федоровские чтения* 1979, 138–152.
- KOVALENKO 2005 = Коваленко, Г. М.: »Великий Новгород глазами иностранцев«, in: Idem (сост.): *Великий Новгород в иностранных сочинениях XV – начала XX века*, Москва (= Золотая коллекция), 7–22.

- KRYS'KO 1999 = Крысько, В. Б.: »Без гнева и пристрастия...«, in: *Вестник РАН* 69.12, 1119–1121.
- LANGE 1949 = Lange, W. H.: »Buchdruck, Buchverlag, Buchvertrieb. Beiträge zur wirtschaftlichen und geistigen Situation des 15. und 16. Jahrhunderts«, in: Kunze, H. (Hg.): *Buch und Papier. Buchkundliche und papiergeschichtliche Arbeiten. Hans H. Bockwitz zum 65. Geburtstag dargebracht*, Leipzig, 55–74.
- LICHNAČEV 1959 = Лихачев, Д. С.: *Новгород Великий. Очерк истории культуры Новгородского княжества XI–XVII вв.*, Москва.
- LÜBKE 1984 = Lübke, Ch.: *Novgorod in der russischen Literatur (bis zu den Dekabristen)*, Berlin (= Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe 1: Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens 130).
- LUR'Е 1960 = Лурье, Я. С.: *Идеологическая борьба в русской публицистике XV–начала XVI века*, Москва – Ленинград.
- 1984 = Luria, Ja. S.: »Unresolved Issues in the History of the Ideological Movements of the Late Fifteenth Century«, in: Birnbaum, H./Flier, M. S. (ed.): *Medieval Russian Culture*, Berkeley etc. (= California Slavic Studies 12), 150–171.
- MALEIN 1935 = Малейн, А. И.: »Западно-европейская книга ко времени Ивана Федорова«, in: ORLOV 1935a: 119–130.
- MATL 1964 = Matl, J.: *Europa und die Slaven*, Wiesbaden.
- MEDVEDEV 1997 = Медведев, И. П.: »К истории изучения переводной новгородской письменности конца XV столетия«, in: *Новгородский исторический сборник* 6 (16), 165–174, vgl. <http://annals.xlegio.ru/rus/novgorod/7.htm> [16.10.2010].
- DE MICHELIS 1993 = de Michelis, C. G.: *La Valdesia di Novgorod. »Giudaizzanti« prima riforma (sec. XV)*, Torino.
- 1997 = de Michelis, C. G.: »Una replica tardiva su Giudaizzanti e »Valdesi«, in: *Russica Romana* 4, 253–257.
- MILLER 1978 = Miller, D. B.: »The Lübeckers Bartholomäus Ghotan and Nicolaus Bülow in Novgorod and Moscow and the Problem of Early Western Influences on Russian Culture«, in: *Viator* 9, 395–412.
- MÜLLER-WILLE et al. 2001 = Müller-Wille, M./Janin, V. L./Nosov, E. N./Rybina, E. A.: *Novgorod. Das mittelalterliche Zentrum und sein Umland im Norden Rußlands*, Neumünster (= Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete 1).
- NEDDERMEYER 1993 = Neddermeyer, U.: »Wann begann das »Buchzeitalter«?«, in: *Zeitschrift für Historische Forschung* 20.2, 205–216.
- 1998 = Neddermeyer, U.: *Von der Handschrift zum gedruckten Buch. Schriftlichkeit und Leseinteresse im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Quantitative und Qualitative Aspekte*, Bd. 1: *Text*, Wiesbaden (= Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München 61).
- 1999 = Neddermeyer, U.: »Lateinische und volkssprachliche Bücher im Zeitalter Gutenbergs. Überlegungen zu den Auswirkungen von medientechnischen Umstellungen auf den Buchmarkt – nicht nur im Mittelalter«, in: *Bibliothek und Wissenschaft* 32, 84–111.
- NEROZNAK/SAL'NIKOV 1998 = Нерознак, В. П./Сальников, Н. М.: »Имя из списка Главлита«, in: *Вестник РАН* 68.11, 969–970.

- NEUMANN 1965 = Neumann, F. W.: Rez. zu: Wolfgang Busch, *Horaz in Rußland. Studien und Materialien*. [München: Eidos Verlag 1964. 271 S. (Forum Slavicum. Hrsg. von D. Tschizewskij. 2)], in: *Gnomon* 37.7, 738–740.
- НИКИТИН 1989 = Никитин, В. А.: »Слава и щит Руси (Новгород Великий в X–XV вв.)«, in: *Богословские труды* 29, 74–105.
- NOVOSADSKIJ 1935 = Новосадский, И. В.: »Возникновение печатной книги в России в XVI в.«, in: Орлов, А. С. (ред.): *Иван Федоров первопечатник*, Москва – Ленинград, 27–69.
- ONASCH 1969 = Onasch, K.: *Groß-Novgorod. Aufstieg und Niedergang einer russischen Stadtrepublik*, Wien – München.
- ORLOV 1935a = Орлов, А. С. (ред.): *Иван Федоров первопечатник*, Москва – Ленинград.
- 1935b = Орлов, А. С.: »К вопросу о начале печатания в Москве«, in: ORLOV 1935a: 9–26.
- OSTERRIEDER 1999 = Osterrieder, M.: »Von der Sakralgemeinschaft zur modernen Nation. Die Entstehung eines Nationalbewußtseins unter Russen, Ukrainern und Weißruthenen im Lichte der These Benedict Andersons«, in: Schmidt-Hartmann, E. (Hg.): *Formen des nationalen Bewußtseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 31. Oktober bis 3. November 1991*, München (= Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 20), 197–232.
- PAULSEN ³1919 = Paulsen, F.: *Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart. Mit besonderer Rücksicht auf den klassischen Unterricht*, Bd. 1, hrsg. u. in e. Anhang fortges. v. R. Lehmann, Leipzig.
- PELC/PICKHAN 1996 = Pelc, O./Pickhan, G. (Hg.): *Zwischen Lübeck und Novgorod. Wirtschaft, Politik und Kultur im Ostseeraum vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Norbert Angermann zum 60. Geburtstag*, Lüneburg.
- ПИККИО 2002 = Пиккио, Р.: *Древнерусская литература*, пер. с итал. М. Ю. Кругловой, И. В. Михайловой, Е. Ю. Сапрыкиной, А. В. Ямпольской, предисл. А. С. Демина, Москва (= *Studia philologica*) [russ. Übers. von: Picchio, R.: *La letteratura russa antica*, Firenze ²1968 (= *Le letterature del mondo* 19)].
- ПЛАТОНОВ 1912/1999 = Платонов, С. Ф.: »Из истории Великого Новгорода и Москвы при Иване IV (Конспект лекции, прочитанной в Новгородском обществе любителей древности 5.IX.1912)«, in: VARENCOV/KOVALENKO 1999: 186–188.
- ПЛИГУЗОВ 1992 = Pliguzov, A.: »Archbishop Gennadii and the Heresy of the »Judaisers««, in: *HUS* 16.3/4, 269–288.
- ПОЛЕВОЙ 1872 = Полевой, П. [Н.]: *Исторія русской литературы въ очеркахъ и биографіяхъ (862–1852)*, С.-Петербургъ.
- ПОРФИР'ЕВ ³1879 = Порфирьевъ, И. Я.: *Исторія русской словесности*, Ч. 1: *Древний період. Устная народная и книжная словесность до Петра V.*, Казань.
- ПОРФИРИДОВ 1947 = Порфиридов, Н. Г.: *Древний Новгород. Очерки из истории русской культуры XI–XV вв.*, Москва – Ленинград.
- P-PSS = Пушкин, А. С.: *Полное собрание сочинений*, зав. ред. В. Д. Бонч-Бруевич, Т. 11: *Критика и публицистика, 1819–1834*, общ. редакция тома В. В. Гиппиус, Б. В. Томашевский, Б. М. Эйхенбаум, [Москва] 1949.

- РААВ 1958/59 = Raab, H.: »Über die Beziehungen Bartholomäus Gothans und Nicolaus Buelows zum Gennadij Kreis in Novgorod«, in: *Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock* 8, 419–422.
- 1961 = Рааб, Г.: »Новые сведения о печатнике Варфоломее Готане«, in: Пашуто, В. Т./Зимин, А. А. (ред.): *Международные связи России до XVII в. Сборник статей*, Москва, 339–351.
- VON RAUCH 1964 = von Rauch, G.: »Russland und Europa«, in: Idem: *Studien über das Verhältnis Russlands zu Europa*, Darmstadt, 201–214 [früher erschienen Spanisch: »Rusia y Europa«, in: *Oriente Europeo* 8 (1958) 32, 261–270].
- RAUTENBERG 2000 = Rautenberg, U.: »Von Mainz in die Welt: Buchdruck und Buchhandel in der Inkunabelzeit«, in: *Gutenberg, aventur und kunst. Vom Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution*. [Katalog zur Ausstellung der Stadt Mainz anlässlich des 600. Geburtstages von Johannes Gutenberg 14. April – 3. Oktober 2000], Mainz, 236–247.
- ROTHE 1991 = Rothe, H. (Hg.): *Deutsche im Nordosten Europas*, Köln – Wien (= Studien zum Deutschum im Osten 22).
- ROMODANOVSKAJA 2004 = Ромодановская, В. А.: »Заметки о переводе «латинских» книг Геннадиевской библии 1499 г.: библейский текст и энциклопедические глоссы«, in: *ТОДРЛ* 56, 235–250.
- ROMANOVA 2002 = Романова, А. А.: *Древнерусские календарно-хронологические источники XV–XVII вв.*, Санкт-Петербург.
- ROZOV 1977 = Розов, Н. Н.: *Книга Древней Руси (XI–XIV вв.)*, Москва.
- RYBINA 2001a = Рыбина, Е. А.: *Торговля средневекового Новгорода. Историко-археологические очерки*, Великий Новгород.
- 2001b = Rybina, E. A.: »Frühe Joint-ventures«. Die Beziehungen Novgorods im Ostseeraum«, in: MÜLLER-WILLE et al. 2001: 291–308.
- SCHUBERT 1994 = Schubert, B.: »Die Bedeutung des Hansehandels für die wirtschaftliche Entwicklung der Rus'«, in: HENN/NEDKVITNE 1994: 177–189.
- SKRYNNIKOV 1996 = Скрынников, Р. Г.: *Великий государь Иван Васильевич Грозный*, Т. 1–2, Смоленск.
- SOBOLEVSKIJ 1903/1989 = Соболевский, А. И.: *Переводная литература Московской Руси XIV–XVII вв. Библиографические материалы*, С.-Петербург (= Сб. ОРЯС 74.1) [Reprint d. Orig.-Ausg. von 1903–1908, mit e. russ.-dt. Nachbemerkung v. B. A. Uspenskij u. D. Freydank, Köln – Wien 1989 (= Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven 34)].
- SODMANN 1987 = Sodmann, T.: »Buchdruck, Buchhandel und Sprachkontakt im hansischen Raum«, in: Sture Ureland, P. (Hg.): *Sprachkontakt in der Hanse. Aspekte des Sprachausgleichs im Ostsee- und Nordseeraum. Akten des 7. Internationalen Symposions über Sprachkontakt in Europa, Lübeck 1986*, Tübingen (= Linguistische Arbeiten 191), 89–105.
- STÖKL 1957 = Stökl, G.: »Russland und Europa vor Peter dem Grossen«, in: *Historische Zeitschrift*, 184.3, 531–554.
- 1959 = Stökl, G.: »Das Echo von Renaissance und Reformation im Moskauer Rußland«, in: *JBfGOE*, N. F. 7, 413–430.
- STOOB 1995 = Stooob, H.: *Die Hanse*, Graz etc.
- THOMSON 1994 = Thomson, F. J.: »Greek, Latin and Slavonic – a Mediaeval Variant of the Theory of Three Preeminent Languages in the Late Middle High German

- Translation of William Durandus' *Rationale divinorum officiorum*. Together with a Note on the Slavonic Translation of the Latter«, in: *Anzeiger für slavische Philologie* 22.2 (= Festgabe für Rudolf Aitzetmüller zum 70. Geburtstag, Teil 2), 147–175.
- ТИХОМИРОВ 1957 = Тихомиров, М. Н.: »Предисловие«, in: Пронштейн, А. П.: *Великий Новгород в XVI веке. Очерк социально-экономической и политической истории русского народа*, под ред. М. Н. Тихомирова, Харьков, 3–7.
- 1960 = Тихомиров, М. Н.: »Великий Новгород в истории мировой культуры«, in: *ВИ* 1, 42–52 [Nachdr. In: Idem: *Русская культура X–XVIII вв.*, Москва 1968, 185–199).
- ТОМЕЛЛЕРИ 1999 = *Die Правила граматичные, der erste syntaktische Traktat in Russland*, hrsg. u. m. e. Einl. vers. v. V. S. Tomelleri, München (= *Specimina Philologiae Slavicae* 123).
- 2002 = Tomelleri, V. S.: *Der russische Donat. Vom lateinischen Lehrbuch zur russischen Grammatik*, Köln etc. (= Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe B: Editionen 18).
- 2008 = Tomelleri, V. S.: »Kritisch-historische Ausgabe der *Tolkovaja Psaltir' Brunona* (1535)«, in: *Studi Slavistici* 5, 31–48.
- 2010a = Tomelleri, V. S.: »I quattro sensi della Scrittura in Russia«, in: Bertolissi, S./Salvatore, R. (cur.): *forma formans. Studi in onore di Boris Uspenskij*, Vol. 2, Napoli, 199–217.
- 2010b = Томеллери, В. С.: »«Доктринале» Александра де Вилла Деи на Руси«, in: *ТОДРЛ* 61, 265–277.
- TURGENEV 1841 = Тургенев, А. И.: *Акты историческіе, относящіяся къ Россіи, извлеченные изъ иностранныхъ архивовъ и библиотекъ*, Т. 1: *Выписки изъ Ватиканскаго тайнаго архива и изъ другихъ римскихъ библиотекъ и архивовъ, с 1075 по 1584 годъ*, С.-Петербургъ.
- VARENCOV/KOVALENKO 1999 = Варенцов, В. А./Коваленко, Г. М.: *В составе Московского государства. Очерки истории Великого Новгорода конца XV – начала XVIII в.*, Санкт-Петербург.
- VERNADSKY 1959 = Vernadsky, G.: *A History of Russia*, Vol. 4: *Russia at the Dawn of the Modern Age*, New Haven – London.
- VERNER 2010 = Вернер, И.: »Лингвистические особенности перевода »латинских« книг Геннадиевской библии 1499 г.«, in: *Studi Slavistici* 7, 7–31.
- VOLL'MAN 1966 = Волльман, Ф.: »Гуманизм, ренессанс барокко и русская литература«, in: Берков, П. Н./Бушмин, А. С./Жирмунский, В. М.: *Русско-европейские литературные связи. Сборник статей к 70-летию со дня рождения академика М. П. Алексеева*, Москва – Ленинград, 301–311.
- WIECZYNSKI 1972 = Wieczynski, J. L.: »Archbishop Gennadius and the West: The Impact of Catholic Ideas upon the Church of Novgorod«, in: *CASS* 6.3, 374–389.
- WIMMER 2005 = Wimmer, E.: *Novgorod – ein Tor zum Westen? Die Übersetzungstätigkeit am Hofe des Novgoroder Erzbischofs Gennadij in ihrem historischen Kontext (um 1500)*, hrsg. v. J. Henning, Hamburg (= *Hamburger Beiträge zur Geschichte des östlichen Europa* 13).
- ZABAROVSKAJA 2007 = Забаровская, И.: »Дмитрий Сергеевич Лихачёв о значении древнего Новгорода в истории русской культуры«, опубли. 25.11.2007 на сайте: http://yro.narod.ru/Xronika_culture/LihecevNovg/DSL_VN.htm [8.03.2011].

ŽAVORONKOV 1959 = Жаворонков, А. З. (сост.): *Новгород в русской литературе XVIII–XX вв.*, Новгород.

ZIEGLER 1996 = Ziegler, U.: *Die Hanse. Aufstieg, Blütezeit und Niedergang der ersten europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Eine Kulturgeschichte von Handel und Wandel zwischen 13. und 17. Jahrhundert)*, Bern etc.

Anmerkungen zu den sogenannten Moravismen im Altkirchenslavischen*

In der Geschichte des Altkirchenslavischen unterscheidet man üblicherweise mehrere Entwicklungsphasen. Die älteste, »Ur-Altkirchenslavisch« oder »byzantinisch/thessalonisches Altkirchenslavisch« genannt, wird repräsentiert durch das Schrifttum, das als Vorbereitung für die kyrillo-methodianische Mission noch in Byzanz entstanden ist. Handschriftlich ist sie nicht bezeugt. Die zweite Etappe bezeichnet man als »mährisch« bzw. »mährisch-pannonisch«. Auch sie wird überwiegend nur hypothetisch rekonstruiert, obwohl es nicht ausgeschlossen ist, dass sie doch durch eine Handschrift, und zwar *Kij* (i. e. Kiever Blätter)¹ vertreten ist (vgl. weiter unten). Die dritte Phase betrifft das »klassische Altkirchenslavische« bzw. »Altbulgarische«. Es ist die Sprache der sog. »kanonischen Denkmäler«. Die weiteren Phasen nennt man meistens »Kirchenslavisch« unterschiedlicher Redaktionen. Für mich jedoch bleibt die Sprache des alten slavischen Schrifttums bis zum Jahr 1100 immer noch »Altkirchenslavisch« unterschiedlicher lokaler Typen, und erst danach spreche ich von »Kirchenslavisch« (VEČERKA 2006: 97–111).

In der kyrillo-methodianischen Schule in Großmähren setzte sich ein gewisser Einfluss der einheimischen Sprache auf die Norm des »thessalonischen Altkirchenslavischen« durch, und zwar nicht nur seitens der lokal begrenzten Mundarten, sondern auch des überregionalen Kulturdialekts, also der s. g. *lingua quarta*. Als *lingua quarta* wurde auf dem Territorium der Dreisprachendoktrin, die in der Liturgie nur drei Sprachen (Latein, Griechisch, Hebräisch) zuließ (KUJEW 1966), die für die Bevölkerung genuine Missions-sprache bezeichnet. Die Missionare mussten nämlich z. T. auch die lokale Volkssprache benutzen, um die vorgeschriebene katechetische und pastoral-theologische Tätigkeit ausüben zu können (ZAGIBA 1964 und 1971).

Um den Kontakt des Ur-Altkirchenslavischen mit der Sprache der alten Mährer darstellen zu können, ist es nötig, die geographische Lage Großmäh-

* Erarbeitet als Beitrag zum Forschungsvorhaben »Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních«, MSM 0021622435.

1 Für die aksl. Quellen werden die im SJS (I: LXII–LXX) angeführten Abkürzungen benutzt.

rens als Wirkungskreis der kyrillo-methodianischen Mission zu umreißen. Jahrelang gab es keinen Zweifel daran, dass sich diese Region im südlichen Teil des heutigen Mährens und der angrenzenden Slowakei am Unterlauf des Flusses Morava befand, der unweit von Bratislava links in die Donau mündet. Erst in den letzten drei Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts tauchten zwei Hypothesen auf, die das Wirkungsfeld der kyrillo-methodianischen Mission auf südslavisches Sprachgebiet verschieben. Laut BOBA (1971 bzw. 1991 u. a. m.) soll dieses von den Mojmiriden beherrschte Morava ein Fürstentum sein, angeblich nach dem Fluss Morava benannt, der in Ostserbien (östlich vom heutigen Beograd) rechts in die Donau mündet. Ende des 20. Jh. verlegte dann EGGERS (1996) dieses Fürstentum auf das südslavisches Stromgebiet des Flusses Theiß. Diese Hypothesen können jedoch kaum anerkannt werden, obwohl sie inzwischen schon in der westlichen Slavistik, insbesondere aber in den USA, gewissen Boden gewonnen haben. Auf den angenommenen neuen Territorien fehlen nämlich fast völlig die im traditionellen Mähren zahlreich vorhandenen archäologischen Funde aus dem 9. Jh., wie Spuren von Baugründen sakraler und weltlicher Bauten, unzählige Gräber mit unterschiedlichsten Geräten, Waffen, Schmuck u. ä. m., die unter anderem in Staré Město, Mikulčice, Pohansko, Líšeň und anderswo gefunden worden sind, vgl. bei GALUŠKA (1996), HRUBÝ (1965), KALOUSEK (1971), MĚŘÍNSKÝ (2002), POULÍK (1975) oder POULÍK et al. (1986) u. a.

Ferner: Die durch die Quellen bezeugten, überwiegend militärischen Ereignisse wie die Vertreibung des Fürsten Pribina aus Nitra (Mittelslowakei), die Überschreitung der Donau beim Feldzug gegen das Ostfränkische Reich (heute Österreich), der Krieg gegen den polnischen (Krakauer) Fürsten unter Teilnahme des Erzbischofs Method und die Machtergreifung Böhmens durch Svätopluk, lassen sich ja eher aus dem traditionellen Mähren als ihrem geographischen Zentrum denn aus einem in Ostserbien oder im südslav. Flussgebiet der Theiß befindlichen Fürstentum begreifen und erklären.

Dies bezeugt übrigens auch die Landkarte des anglo-sächsischen Herrschers (871–901) Alfreds des Großen, in der das Land der Mährer (Maroara) auf dem westslavisches Territorium in geographischem Kontakt mit Böhmen (Behemas/Beme) lokalisiert ist (vgl. Abbildung).

Allerdings sind derartige Überlegungen – sowohl *pro* als auch *contra* – lediglich mehr oder weniger überzeugende sachlich logische Spekulationen. Für mich als Linguisten sind mit entscheidender Beweiskraft allein linguistische Argumente ausgestattet. Dazu haben sich übrigens auch schon z. B. SCHAEKEN (1993), BIRNBAUM (1998) und VAVŘÍNEK (1998) sowie in breiteren historisch-kulturellen Zusammenhängen etwa MLADENOVA (1999) oder KØLLN 2003 u. a. m. geäußert.



Abbildung. Quelle: MMFH III: 339.

Die Verteidiger des südslavischen kyrillo-methodianischen Fürstentums Morava verweisen u. a. auf die Form des Ethnonyms *Moravljane* mit südslavischem l-epentheticum. BLAŽEK (2003) hat aber prinzipiell gegen die Beweiskraft dieses Sprachmerkmals und für die oben angedeutete traditionelle geographische Lage des alten Mährens plädiert. Die ksl. Form ist zwar tatsächlich an und für sich südslavisch, sie stellt jedoch ein Merkmal der *kirchenslavischen Sprachnorm* dar. Wie die alten Mährer *tatsächlich* hießen, kann jedoch nur in nichtkirchenslavischen, gegebenenfalls alten bayerischen, lateinisch verfassten Quellen festgestellt und bestätigt werden: In diesen findet sich aber vom l-epentheticum keine Spur. In *Annales Alamaniaci*, *Annales Regni Francorum*, *Annales Xantenses*, *Annales Fuldenses*, *Annalium Fuldensium Continuatio Ratisbonensis* (in: MMFH I: 28, 47, 110, 114, 115, 116, 121, 122) gibt es Formen wie *Moravianorum*, *Maravenorum* u. ä. m. ausschliesslich ohne -l- nach -v-, was offensichtlich die authentische Aussprache des Ethnonyms reflektiert und ein eindeutig westslavisches Sprachmerkmal repräsentiert.

Dasselbe Zeugnis bieten die sog. Moravismen (vgl. VEČERKA 2010: 12–14, 51, 91, 100–102, 119, 120). In Mähren drangen nämlich durch die einheimischen Mitarbeiter Kyrills und Methods vereinzelt Spracheinheiten aus ihrer Muttersprache in das Ur-Altchurchenslavische ein. Zum Teil sind sie auch noch in jüngeren Abschriften bewahrt geblieben. Ob diese »Moravismen« sprachlich südslavisch oder aber westslavisch waren, kann bei manchen Spracheinheiten allerdings durch eine gründliche historisch-vergleichende Sprachanalyse unzweifelhaft eindeutig entschieden werden.

Von den phonetisch/phonologischen und morphologischen Ausdrucksmitteln lokal mährischen Ursprungs sind es vor allem $c < *tj$ und $z < *dj$. In *Kij* findet man sie sogar ganz konsequent (genauso wie auch $šč < *skj$ und Instr. Sg. o-St. $-smь$). Es handelt sich jedoch um ein sehr eigentümliches Denkmal, das in der slavischen Philologie unterschiedlich gewertet wird (vgl. HAMM 1979, BIRNBAUM 1981, NIMČUK 1983; SCHAEKEN 1987, VEČERKA 1993, KØLLN 2003: 25–40 u. a. m.). Aller Wahrscheinlichkeit nach bezeugt das Denkmal einen Versuch, die Sprachnorm des mährischen Altchurchenslavischen zu konstituieren (MAREŠ 1961: 17–22). Es ist sogar nicht ausgeschlossen, dass die Kiever Blätter ein aus der kyrillio-methodianischen Schule stammender Proto-graph sind (VEČERKA 2010: 12, 13, 50, 51, 53, 62–65, 84, 98–102, 115, 117, 119–121).

Sonst tauchen in den übrigen alten Denkmälern zwar nur vereinzelt, aber doch sicher belegte symptomatische Beispiele mit westslavischem z für $*dj$ auf, vgl. **роꙋѣство** *Mar, Cloz* (dort 14a, wird es sogar durch das über z überschriebene **ꙋд** »normgerecht verbessert«, vgl. SJS III: 648–650), **порозѣствоꙋ** *Cloz* (SJS III: 177), vielleicht auch noch laut KURZ (1964) ein unter einer Schreibkorruption verborgener Beleg in *Zogr*.

Um einen weiteren Moravismus, der für ein westslavisches Fürstentum Morava spricht, handelt es sich bei einigen mit dem (eigentlich nordslavischen) Präfix *vy-* gebildeten Verben, vgl.: **вꙋгонити, вꙋгꙋнати, вꙋнести** *Cloz, вꙋринѣти, вꙋврѣци *Sin* (SJS I: 356, 358). Sie sind, alle sonst üblicherweise mit dem klassischen aksl. Präfix *iz-* bezeugt, das die eigentliche, durch Hunderte von Belegen bestätigte Sprachnorm der ältesten Texte repräsentiert.*

Wie seinerzeit BERŠTEJN (1951) dargelegt hat, sind die sehr wohl in *Zogr, Mar, Supr, Ostr* und *Kij* belegten Formen des Gen. Sg. **(ни)чꙋсо(же)** (cf. SJS II: 434 f.) sprachlich prototschechischen Ursprungs, während dieselben Formen mit *-e-* die in der Schriftsprache ursprünglichere südslavische Norm bewahren. KURZ (1958) hat zwar die Überzeugungskraft dieser Behauptung gewissermaßen geschwächt, denn er zeigte, dass die Formen mit *-b-* sich parallel zu denen mit *-e-* auch im slavischen Süden unter bestimmten Bedingungen und in einem gewissen, zeitlich jedoch begrenzten, Übergangsstadium entwickeln konnten. Heute hat man dort aber nur *-e-*. An und für sich bleibt allerdings die prototschechische Provenienz der Formen mit *-b-* auf der *langue-*

Ebene unbestritten. Die Hypothese von KURZ gälte lediglich auf der *parole*-Ebene: Bei den konkreten Belegen in den Denkmälern lässt sich nur schwer eindeutig beurteilen, ob sie Spuren der *langue*-Ebene und somit Moravismen sind oder als solche der *parole*-Ebene als Südslavismen zu werten sind.

Ferner werden in der Fachliteratur zahlreiche in *Sin* und *Euch* (auch *Prag*) belegte Formen des Gen. Sg. **МНЕ** (cf. SJS I: 18) als Moravismus definiert, sogar als unzweifelhaft westslavisches Sprachmerkmal (VAILLANT 1952: 176 f.).

Derselbe Autor (*ibid.*: 61 f.) interpretiert ausführlich die gelegentliche Verwendung des Präfixes *roz-* als westslavisches Moravismus (obwohl *Kij* und *Prag* als ganz kleine Denkmäler nur *raz-* aufweisen!). In *Supr* gibt es 17 Belege wie **РОЗВНТИ**, **РОЗВОННИКЪ** (SJS III: 555–556) u. a. m. In *Zogr* findet sich vereinzelt **РОВЪ** (SJS III: 541), in *Supr* sogar in dreißig Belegen. Die westslavisches Form soll sich in der Bedeutung »Sklave« im slavischen Süden im Zusammenhang mit dem Sklavenhandel sekundär verbreitet haben, dessen europäisches Zentrum ja Prag war. Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang die Variabilität **РОЗГА** – **РАЗГА**, **(НЕ)РОДИТИ** – **(НЕ)РАДИТИ** (SJS III: 649 f., 643) als Folge von Hyperkorrektheit interpretiert (MOSZYŃSKI 1958: 33).

In Einzelfällen erscheinen in den Denkmälern auch die mit *po-* gebildeten Formen des imperfektiven (!) Futurs, z. B. Joh 7,34: **ПОИЦЕТЕ МЕНЕ** *Zogr*, *Mar* – ζητήσατέ με (SJS III: 118); Mt 4,4: **ПОЖИВЕТЪ Ч<ЛОВЪ>КЪ** *Zogr*, aber **ЖИВЪ БЖДЕТЪ** *As*, *Sav* – ζήσεται (SJS III: 112); **НА РЖКОУ ПОНЕСЕШИ МЛАДЕНЕЦЪ** *Hom*, aber **НОСИТИ ИМАШИ** *Supr* 237^{21–22} – βαστάσεις (SJS III: 162; vgl. VEČERKA 1999) u. a. Diese Form mit imperfektiver Futurbedeutung ist in den modernen slavischen Sprachen lediglich begrenzt im Sorbischen und Slowakischen, aber sehr wohl eben im Tschechischen bezeugt, wo 115 Simplizia diese grammatische Funktion mit *po-* auch heute noch zum Ausdruck bringen (KOPEČNÝ 1961: 46–50). In den aksl. Denkmälern sind folglich diese seltenen Formen als westslavisches Moravismen bzw. Moravopannonismen zu deuten (in den Denkmälern tschechischen Ursprungs *Venc* und *Bes* allerdings bereits als klare Bohemismen).

Eine Reihe von Moravismen präsentiert MOSZYŃSKI (1958: 32) in statistischen Vergleichen zwischen den komplementären Teilen der Tetraevangelien mit den Aprakosevangelien und den aprakosevangelischen Teilen der tetraevangelischen Codices. Auf diese Weise erklärt er den anwachsenden Verlust des anfänglichen Verschlusslautes *d* in der Affrikate *dz* aus **g* (also *dz* > *z*) eben in den komplementären Evangelientexten. Diese phonologische Entwicklung war nämlich zu der Zeit im Urtschechischen bereits abgeschlossen, während sie im Altkirchenslavischen und dessen südslavischer sprachlicher Grundlage in der zweiten Hälfte des 9. Jh. bestenfalls erst begann (vgl. STANISLAV 1955: 360–361). Ähnliche statistische Verhältnisse findet der Autor bei der Variabilität von westsl. **БРАТЪ** gegenüber dem südsl. **БРАТЪ**, ferner bei der

Ausweitung u-stämmigen Form Instr. Sg. *-ѣтъ* auf die o-Stämme, bei der Unterstützung des Suffixes *-ѣstvije* neben dem sonst im Aksl. häufigeren *-ѣstvo*, oder bei der vereinzelt sekundären analogen Form Partizip Präsens Aktiv des Typs *bōdę* neben dem in der Schriftsprache normgetreuen *bōdy*.

Einen möglichen Moravismus nordslavischer (prototschechischer?) Provenienz stellt ferner die 3. Pers. des Imperativs – **приди** – dar. Funktionsmäßig ist es eigentlich kein Imperativ, sondern ein Optativ. Im Ur-Altkirchenslavischen war für diese Funktion sonst die Periphrase *<da + Indik. Praes.>* zuständig (**ДА ПРИДЕТЪ**), die aber im slavischen Norden unbekannt war. (Der im heutigen Russischen geläufige Optativtyp *да здравствует!* ist ein entwicklungsmässig sekundärer Slavjanismus. Einheimisch hatte und hat das Russische auch heute noch das in der Umgangssprache bewahrte *da* in kopulativer Bedeutung, vgl. *Щи да каша пища наша*). In den Denkmälern tritt sie im Vergleich zur synthetischen Form in der Distribution 10:1 auf (VAILLANT 1952: 255). Symptomatisch ist diesbezüglich die Verwendung der Periphrase im altkirchenslavischen, aus Byzanz mitgebrachten *Vaterunser*, vgl. **ОТЪЧЕ НАШЪ · ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСЕХЪ · ДА СЪВЛА·ТИТЪ СЯ ИМА ТВОЕ · ДА ПРИДЕТЪ Ц·К·СА·РЬ·СТВИЕ ТВОЕ · ДА БЖДЕТЪ ВОЛКЪ ТВОКЪ** Mt 6,9–10 *Zogr* (SJS II: 624; IV: 40, 843; I: 212). Das war die offizielle literarische Norm des Gebets, während die alten Mährer schon lange zuvor in ihrer *lingua quarta* anders beten mussten, nämlich offensichtlich so, wie es im Tschechischen bis heute erhalten geblieben ist, vgl.: *Otče náš, jenž jsi na nebesích, po světě se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá*, obwohl heute die synthetischen Formen schon einen archaisierenden stilistischen Beigeschmack tragen. Die wechselseitige Beziehung der Typen *da světitъ se – světi se* muss allerdings noch gründlicher erforscht und überprüft werden.

Lexikalische Belege als solche entbehren hingegen der notwendigen sprachgeographischen Präzision. Ein Beispiel. Als Moravismus tschechischen Ursprungs wurde in der älteren Slavistik mehrfach das Wort **равити** angeführt. Mit Unrecht. Es ist mir sehr wohl aus den bulgarischen Volksliedern bekannt. Der Verlauf der alten lexikalischen Isoglossen ist nämlich deshalb nicht sicher, weil sie inzwischen durch sekundäre interslavische Entlehnungen einerseits und durch jüngere lokale Verluste andererseits wechselseitig überdeckt werden konnten. Trotzdem werden in der Fachliteratur unterschiedliche Wörter als Moravismen bzw. Moravopannonismen bezeichnet (z. B. L'VOV 1965; 1968).

Dazu zählen vor allem einige Latinismen, wiewohl manche wie **оцѣтъ**, **поганинъ**, **олѣтарь** u. ä. m. als Entlehnungen vom balkanischen Vulgärlatein bereits im thessalonischen Slavisch üblich waren. Ähnlich auch Lehnwörter wie **комѣкати** (lat. *communicare*), **клеверѣтъ** (lat. *collibertus*) usw. Andere waren wiederum bereits in den griechischen Vorlagen der aksl. Übersetzungen ent-

halten und wurden von dort ins Aksl. entlehnt, wie **кѣнѣтоуѣрионѣ**, **коуѣсто-дѣна**, **преторѣ** u. a. m. (cf. MOSZYŃSKI 1969: 562).

Altem mährischen Ursprung zugeschrieben werden z. B. die entlehnten Termini wie **мѣша** oder **крижѣ** (BOČEK 2010: 127–132 und 82–90; cf. SCHRAMM 1985: 83–92) oder Lehnbildungen wie **кѣмотра** (BOČEK 2010: 72–77), ferner **вѣсемогѣи** – *omnipotens* (78 Belege!), sonst **вѣседрѣжа/вѣседрѣжитѣль** nach παντοκратѣр/-ικѣс, oder **недѣла цвѣтнаѣа** als heortologischer Terminus (MAREŠ 1956). Eine vermittelnde Rolle spielten dabei auch die ahd./abair. Dialekte (AUTY 1976), z. B. **мѣниѣ** (ahd. *munih*, vlat. *monicus*), **папежѣ** (ahd. *babes*, abair. **rapes*, möglicherweise direkt aus lat. *rapex* < *papa apex*) (cf. ESJS X: 625), **непригажѣ** (ahd. *unholda*), sonst **лѣкѣви**, vielleicht auch **рованиѣ** (*Kij, CanVenc*) (ahd. **arvani*, zugleich mit der westslav. Liquidametathese *rov-*, nicht mit südslav. **rav-*). Die mit ahd./abair. Territorium verbundenen inneren Sprachbeziehungen deuten jedoch eher auf das traditionelle Fürstentum Morava, wo sie sehr wohl denkbar wären, als auf ein entferntes ostserbisches Gebiet.

Das Wort **сѣбота** überwiegt mit dem Nasalvokal, viel seltener ist es aber auch als **собота** belegt (cf. SJS IV: 395–396). Die erste Form ist wahrscheinlich unmittelbar aus dem griech. volkstümlichen σαββατον entlehnt, die zweite unmittelbar aus dem im Patriarchat Aquilea üblichen lateinischen *sabbatum* (alles allerdings aus dem ursprünglichen hebr. *šabeth*). *Sobota* könnte also ohne weiteres als »textueller Moravismus« anerkannt werden (cf. ESJS XIV: 859 f.), da es aber neben dem Tschechischen und Slowakischen auch im Slovenischen und Kroatischen verwendet wird, sagt es über die Lage des alten Morava nichts ausreichend Genaues aus.

* * *

Wiewohl die lexikalischen Moravismen nur annähernd beweiskräftig sind, bieten sie doch nicht zu vernachlässigende linguistische Argumente für die Anerkennung der westslavischen geographischen Lage Mährens als Wirkungsfeld der kyrillio-methodianischen Mission. Die angeführten Merkmale aus Phonetik/Phonologie, Wortbildung und Morphologie sind jedoch völlig eindeutige und überzeugende Indizien.

Literatur

- AUTY 1976 = Auty, R.: »Lateinisches und Althochdeutsches im altkirchenslavischen Wortschatz«, in: *Slovo* 25/26, 169–174.
 BERNŠTEJN 1951 = Бернштейн, С. Б.: »Об одном чехо-моравизме в памятниках старославянского языка«, in: *Ученые записки Института славяноведения* 3, 320–327.

- BIRNBAUM 1981 = Birnbaum, H.: »Wie alt ist das altertümlichste slavische Sprachdenkmal? Weitere Erwägungen zur Herkunft der Kiever Blätter und zu ihrem Platz in der Literatur des slavischen Mittelalters«, in: *WdSl* 26, 225–258.
- 1998 = Birnbaum, H.: »More on the Parent Languages of the Slavs and Some of Its Sound Shifts with an Excursus on the Location of Moravia (apropos Two Recent Articles by Horace G. Lunt)«, in: *IJSLP* 42, 17–42.
- BLAŽEK 2003 = Blažek, V.: Rez. zu EGGERS 1996, in: *Philologia Fenno-Ugrica* 9, 83–91.
- BOBA 1971 = Boba, I.: *Moravia's History Reconsidered: A Reinterpretation of Medieval Sources*, The Hague.
- 1991 = Boba, I.: *Zur Geschichte Moraviens: Eine Neubetrachtung*, aus d. Engl. übers. v. U. Oestreicher, Dublin etc.
- BOČEK 2010 = Boček, V.: *Studie k nejstarším romanismům v slovanských jazycích*, Praha.
- EGGERS 1996 = Eggers, M.: *Das Erzbistum des Method. Lage, Wirkung und Nachleben der kyrillomethodianischen Mission*, München (Slavistische Beiträge 339).
- ESJS = *Etymologický slovník jazyka staroslověnského*, Praha:
 x: Erhart, A. (hl. red.): Sv. 10: *obrěsti – patěna*, 2000;
 xiv: Janyšková, J. (hl. red.): Sv. 14: *sice – sředobolja. Doplňky k bibliografickému aparátu IV*, 2008.
- GALUŠKA 1996 = Galuška, L.: *Uberské Hradiště – Sady. Křesťanské centrum Říše velkomoravské*, Brno.
- HAMM 1979 = Hamm, J.: *Das Glagolitische Missale von Kiew*, Wien (= ÖAW, phil.-hist. Kl., Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung 26).
- HRUBÝ 1965 = Hrubý, V.: *Staré Město – Velkomoravský Velehrad*, Praha (= Monumenta archaeologica 14).
- KALOUSEK 1971 = Kalousek, F.: *Břeclav – Pohansko, D. 1: Velkomoravské pobřežské u kostela. Archeologické prameny z pobřežské*, Brno (= Spisy filosofické fakulty 169).
- KØLLN 2003 = Kölln, H.: *Westkirchliches in altkirchenslavischer Literatur aus Grossmähren und Böhmen*, Copenhagen (= Historisk-filosofiske meddelelser 87).
- KOPEČNÝ 1962 = Kopečný, F.: *Slovesný vid v češtině*, Praha (= Rozpravy ČSAV, Řada společenských věd 72.2).
- KUJEW 1966 = Kujew, K. M.: »Zur Geschichte der ›Dreisprachendoktrin‹«, in: *Byzantinobulgarica* 2, 53–65.
- KURZ 1958 = Kurz, J.: »Staroslověnské formy *gen. sg. česo–čyso, ničesože–ničysože*«, in: Horálek, K./Kurz, J. (red.): *Sborník slavistických prací věnovaných IV. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvě*, Praha, 18–26.
- 1964 = Kurz, J.: »Vižďь ěchai vь glōbinq«, in: *Sborník filozofickej fakulty univerzity Komenského. Philologica [A] (K šest' desiatinám univ. prof. Jána Stanislava)* 16, 15–17.
- L'VOV 1965 = Львов, А. С.: »К вопросу о моравизмах в языке памятников старославянского письменности«, in: *Slavia* 34, 263–272.
- 1968 = Львов, А. С.: »Чешско-моравская лексика в памятниках древнерусской письменности«, in: Виноградов, В. В./Бернштейн, С. Б./Толстой, Н. И.: *Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов (Прага, август 1968 г.)*. Доклады советской делегации, Москва, 316–338.
- MAREŠ 1956 = Mareš, F. V.: »*недѣла цвѣтъная – květná neděle* – ›dominica in Palmis‹«, in: *Slavia* 25, 258–259.
- 1961 = Мареш, Ф. В.: »Древнеславянский литературный язык в Великоморавском государстве«, in: *ВЯ* 10.2, 12–23.

- MĚŘÍNSKÝ 2002 = Měřínský, Z.: *České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu*, D. 1, Praha.
- MLADENOVA 1999 = Младенова, М.: *Кирило-Методиева география и езикова история или западните славяни, Кирил и Методий и какво е (о)станало после, София*.
- MMFH = Bartoňková, D./Havlík, L./Masařík, Z./Večerka, R. (cur.): *Magnae Moraviae fontes historici*, Brno (= Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas Philologica):
 I: T. 1: *Annales et chronicae*, 2008 (= 104);
 III: T. 3: *Diplomata, epistolae, textus historici varii*, 1969 (= 134).
- MOSZYŃSKI 1958 = Moszyński, L.: »Wpływ morawski w obocznych formach Kodeksu Zografskiego«, in: Zwoliński, P. (red.): *Z polskich studiów slawistycznych*, T. 1: *Prace językoznawcze i etnogenetyczne na IV Międzynarodowy kongres slawistów w Moskwie (1958)*, Warszawa, 24–33.
- 1969 = Moszyński, L.: »Kriteria stosowane przez Konstantego-Cyryła przy wprowadzaniu wyrazów obcego pochodzenia do tekstów słowiańskich«, in: *Slavia* 38, 552–564.
- NIMČUK 1983 = Німчук, В. В.: *Київські глаголичні листки. Найдавніша пам'ятка слов'янської писемності*, Київ.
- POULÍK 1975 = Poulík, J.: *Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských*, Praha.
- POULÍK et al. 1986 = Poulík, J./Chropovský, B. und Koll.: *Großmähren und die Anfänge der tschechoslowakischen Staatlichkeit*, Praha.
- SCHAEKEN 1987 = Schaeken, J.: *Die Kiever Blätter*, Amsterdam (= Studies in Slavic and General Linguistics 9).
- 1993 = Schaeken, J.: »Sprachwissenschaftliche Überlegungen zur geographischen Lage Altmährens«, in: *ByzSl* 54, 325–335.
- SCHRAMM 1985 = Schramm, G.: »Balkanische Anfänge eines christlichen Wortschatzes der Slaven: *cъrky »Kirche« und *krъstъ »Christus, Kreuz, Taufe«, in: *ZfSlPh* 45, 58–94.
- SJS = Kurz, J./Hauptová, Z. (hl. red.): *exicon linguae palaeoslovenicae/Slovník jazyka staroslověnskeho*, T. 1–4, Praha 1966–1997.
- STANISLAV 1955 = Stanislav, J.: O prehodnotenie veľkomoravských prvkov v cyrilometodejskej literatúre, in: Димитров, М. (отг. ред.): *Сборник в чест на академик Александър Теодоров-Балан по случай деведесет и петата му годишнина*, София, 357–363.
- VAILLANT 1952 = Вайан, А.: *Руководство по старославянскому языку*, перевод с фр. В. В. Бородич, под ред. и с предисл. В. Н. Сидорова, Москва.
- VAVŘÍNEK 1998 = Vavřínek, V.: »On the Discussions concerning the Location of »Great Moravia«, in: Rusek, J./Siatkowski, J./Rusek, Z.: *XII Międzynarodowy kongres slawistów. Kraków 27 VIII – 2 IX 1998. Strzeszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo*, Warszawa, 77.
- VEČERKA 1993 = Večerka, R.: »Zur Herkunft der Kiever glagolitischen Blätter«, in: Růžička, R./Schütz, J./Wedel, E. (Hg.): *Methoden – Gestern und heute. Symposium Slavicum Erlangense. »Dreißig Jahre Ordinariat«*, München (= Slavische Sprachen und Literaturen 22), 59–71.
- 1999 = Večerka, R.: »Das Präfix po- als Morphem des imperfektiven Futurs in den altkirchenslavischen Denkmälern«, in: Hansack, E./Koschmal, W./Nübler, N./

- Večerka, R. (Hg.): *Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag*, München (= WdSl., Sammelbände/Сборники 5), 301–306.
- 2006 = Večerka, R.: *Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků*, Olomouc – Praha (Ediční řada – Učebnice).
- 2010 = Večerka, R.: *Staroslověnská etapa českého písemnictví*, Praha.
- ZAGIBA 1964 = Zagiba, F.: »Die Missionierung der Slaven aus ›Welschland« (Patriarchat Aquileja) im 8. und 9. Jahrhundert«, in: Hellmann, M./Olesch, R./Stasiewski, B./Zagiba F. (Hg.): *Cyryllo-Methodiana. Zur Frühgeschichte des Christentums bei den Slaven 863–1963*, Köln – Graz, 274–311.
- 1971 = Zagiba, F.: »Das Slavische als Missionssprache (lingua quarta) und das Altkirchenslavische als lingua liturgica im 9./10. Jhd. (Eine Einführung in die Problematik des Altkirchenslavischen als Lehr- und Liturgiesprache)«, in: Havránek, B. (věd. red.): *Studia palaeoslovenica. Josepho Kurz septuagenario dedicatum*, Praha, 401–414.



Jutta Riester

Die Menschen Dostojewskis

Tiefenpsychologische und anthropologische Aspekte

181 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-8471-0005-8

Dostojewski – Vordenker von Tiefenpsychologie, Anthropologie und Existenzialismus?

Lange vor S. Freud spricht Dostojewski vom Unbewussten, und vor A. Adler erwähnt er die Polaritäten von unten und oben im Persönlichkeitsgefühl der Menschen. Er verweist auf die widersprüchliche menschliche Seele, schildert Abwehrmechanismen und beschreibt sado-masochistische Beziehungen. Dostojewskis mit wenigen Strichen gezeichneten Typen können es gut mit den Extravertierten und Introvertierten von C. G. Jung aufnehmen. Mit seinem außerordentlichen Verständnis für die Entstehung von Delinquenz hat er einen nicht unerheblichen Beitrag zur modernen Kriminologie geleistet. Diesen avantgardistischen Leistungen spürt dieses Buch anhand von Alexej, dem Spieler, von Nastasja aus »Der Idiot« und von Rodion Raschkinow exemplarisch nach.

V&Runipress

Leseproben und weitere Informationen unter www.vr-unipress.de

Email: info@vr-unipress.de | Tel.: +49 (0)551 / 50 84-301 | Fax: +49 (0)551 / 50 84-333